

Presentando

COMOVIA

Annotation

«Рассечение Стоуна» – история любви длиною в жизнь, предательства и искупления, человеческой слабости и силы духа, изгнания и долгого возвращения домой. В миссионерской больнице Аддис-Абебы при трагических, истинно шекспировских, обстоятельствах рождаются два мальчика, два близнеца, сросшихся головами, Мэрион и Шива. Рожденные прекрасной индийской монахиней от хирурга-англичанина, мальчики осиротели в первые часы жизни. Искусство и мужество врачей, разделивших их сразу после рождения, определило их жизнь и судьбу. Мэрион и Шива свяжут свою жизнь с медициной, но каждый пойдет своей дорогой. Их ждет удивительная, трагическая и полная невероятных событий судьба. Абсолютно счастливое детство и драматическая юность, поиски себя и своих корней, любовь, похожая на наваждение, и ревность, изъедающая душу. И все это под сенью медицины. Что бы не происходило в жизни героев этого воистину большого романа, как бы не терзала их судьба, главным для них всегда оставалась хирургия – дело, ради которого они пришли в этот мир.

-
- [Абрахам Вергезе](#)
 - [Рассечение Стоуна](#)
 - [Пролог. Появление](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Глава первая. Тифозное состояние](#)
 - [Глава вторая. Недостающий палец](#)
 - [Глава третья. Врата слез](#)
 - [Глава четвертая. Чему не место в организме](#)
 - [Глава пятая. Последние мгновения](#)
 - [Глава шестая. Моя Абиссиния](#)
 - [Глава седьмая. Смертный смрад](#)
 - [Глава восьмая. Люди миссии](#)
 - [Глава девятая. В чем состоит долг](#)
 - [Глава десятая. Танец Шивы](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Глава первая. Язык кровати и спальни](#)
 - [Глава вторая. Край земли](#)
 - [Глава третья. Христова невеста](#)

- [Глава четвертая. Слово искупителя](#)
- [Глава пятая. Изворот змеи](#)
- [Глава шестая. Невеста на год](#)
- [Часть третья](#)
- [Глава первая. Тицита](#)
- [Глава вторая. Грехи отца](#)
- [Глава третья. Отдадим собакам должное](#)
- [Глава четвертая. Жмурки](#)
- [Глава пятая. Знать, что тебе предстоит услышать](#)
- [Глава шестая. Школа страдания](#)
- [Глава седьмая. Послед и другие животные](#)
- [Глава восьмая. Государственный переворот](#)
- [Глава девятая. Ярость как форма любви](#)
- [Глава десятая. Лицо страдания](#)
- [Глава одиннадцатая. Ответы на вопросы](#)
- [Глава двенадцатая. Хороший доктор](#)
- [Глава тринадцатая. Туфли Абу Касыма](#)
- [Глава четырнадцатая. Слово за слово](#)
- [Глава пятнадцатая. Плоть-владычица](#)
- [Глава шестнадцатая. Время сеять](#)
- [Глава семнадцатая. Форма безумия](#)
- [Глава восемнадцатая. Время жать](#)
- [Глава девятнадцатая. Тиф, и что из него следует](#)
- [Глава двадцатая. Прогностические знаки](#)
- [Глава двадцать первая. Исход](#)
- [Часть четвертая](#)
- [Глава первая. «Велкам вагон»*](#)
- [Глава вторая. Излечение от болезней](#)
- [Глава третья. Соль и перец](#)
- [Глава четвертая. Один узелок за раз](#)
- [Глава пятая. Кровные узы](#)
- [Глава шестая. Виток за витком](#)
- [Глава седьмая. Начни сначала](#)
- [Глава восьмая. Вопрос времени](#)
- [Глава девятая. Вид из окна](#)
- [Глава десятая. Пропавшие письма](#)
- [Глава одиннадцатая. Пять пальцев](#)
- [Глава двенадцатая. Переезд царицы](#)
- [Глава тринадцатая. Отрезать мышцу](#)

- [Глава четырнадцатая. Сатанинский выбор](#)
 - [Глава пятнадцатая. Пара непарных органов](#)
 - [Глава шестнадцатая. Она идет](#)
 - [Глава семнадцатая. Родные пенаты](#)
 - [Глава восемнадцатая. Послед](#)
-

Абрахам Вергезе

Рассечение Стоуна (Cutting for Stone)

Рассечение Стоуна

Джорджу и Мариам Вергезе

*Scribere jussit amor.**

Я люблю жизнь и потому

Знаю, что полюблю смерть.

Дитя заходится в плаче,

Когда мать от правой груди его отнимает,

И в следующий миг находит оно утешение в левой.

Рабиндранат Тагор. Гитанджали (Жертвенные песнопения)

* Любовь заставила писать (лат.). Цитата из Овидия.

Пролог. Появление

В год 1954 от Рождества Христова, тридцатого сентября, ближе к вечеру, мы с братом Шивой* появились на свет после восьмимесячного пребывания во мраке материнской утробы. Свой первый вдох мы сделали на высоте одиннадцати тысяч футов над уровнем моря в разреженном воздухе Аддис-Абебы, столицы Эфиопии.

Чудо нашего рождения состоялось в Третьей операционной госпиталя Миссии, в том самом помещении, где наша мать, сестра Мэри Джозеф Преиз, провела за работой немало часов и где она обрела себя.

Когда у нашей матери, монахини мадрасского ордена Пресвятой Девы Марии Горы Кармельской**, в то сентябрьское утро неожиданно начались схватки, в Эфиопии завершился сезон большого дождя, и стрекотание капель по рифленным жестяным крышам Миссии стихло, подобно оживленному разговору, прерванному на полуслове. Той ночью в опустившейся тишине зацвел мескель, щедро позолотивший горные склоны Аддис-Абебы. На лугах у Миссии осока восстала из грязи, и сверкающий переливчатый ковер подступил прямо к мощеным дорожкам госпиталя, суля нечто куда более существенное, чем просто крикет, крокет или бадминтон.

* Шива (санскр. «благой», «милостивый») – в индуизме олицетворение разрушительного начала вселенной и созидания; одно из божеств верховной триады, наряду с творцом Брахмой и поддержателем Вишну. – Здесь и далее примеч. перев.

** Первые женские общины, жившие по правилам кармелитского устава, появились при монастырях Италии и Германии в середине XV в.

Одно- и двухэтажные домики Миссии беспорядочно белели на зеленой возвышенности, словно исторгнутые из земных недр тем же могучим геологическим процессом, что породил горы Энтото. Неглубокие канавки клумб, куда стекала с крыш вода, крепостными рвами окружали приземистые строения. Розы матушки Херст карабкались по стенам, темно-красные цветы обрамляли каждое окно, цеплялись за крыши. Столь плодородна была суглинистая почва, что матушка – мудрая и чуткая распорядительница госпиталя Миссии – не велела нам ходить по земле босиком, дабы не отросли у нас новые пальцы.

От главного здания госпиталя, подобно спицам колеса, расходились пять обсаженных кустами дорожек, они упирались в рожицы эвкалиптов и

сосен, за которыми почти терялись соломенные крыши пяти бунгало. Матушке было очень по душе, что Миссия напоминает то ли дендрарий, то ли уголок Кенсингтонского парка (где она до приезда в Африку частенько прогуливалась молоденькой монахиней), а то и Эдем до грехопадения.

Мучительные роды не сорвали с уст сестры Мэри Джозеф Прейз ни стоны, ни вскрика. Один лишь гигантский автоклав (дар Цюрихской лютеранской церкви), притаившийся за распашной стеклянной дверью в соседнем с Третьей операционной помещении, мычал, всхлипывал и источал слезы, пока его обжигающий пар стерилизовал хирургические инструменты и салфетки, потребные для операции. В конце концов, именно под боком у этого сверкающего чудища, в святилище стерилизационной, прошли семь лет жизни моей матери в Миссии, что предшествовали нашему бесцеремонному появлению на свет. Ее одноместная парта (заимствованная из фондов приказавшей долго жить школы Миссии), над которой потрудились ножи многих отчаянных учеников, стояла здесь лицом к стене. Белый кардиган, который мама, как мне сказали, частенько набрасывала на плечи между операциями, висел на спинке парты.

Над партой мама прикрепила к стене календарь с изображением знаменитой скульптуры Бернини «Экстаз святой Терезы»*. Тело святой Терезы обмякло, будто в обмороке, губы приоткрыты в экстазе, веки полуопущены. С обеих сторон с молитвенных скамей бесстыже подсматривает хор. Мальчик-ангел, чье излишне мускулистое тело как-то не вяжется с юным лицом, парит над безгрешно-чувственной сестрой, кончиками пальцев левой руки приподнимая самый краешек одеяния, прикрывающего грудь. В правой руке ангел бережно, будто скрипач смычок, держит копье.

* Святая Тереза Авильская (1515-1582) – испанская монахиня-кармелитка, католическая святая, автор мистических сочинений, реформатор кармелитского ордена, создатель орденской ветви «босоногих кармелиток». Католическая церковь причисляет ее к Учителям Церкви.

К чему эта картина? Почему святая Тереза, матушка?

Четырехлетним мальчиком я тайком прокрадывался в эту комнату без окон и внимательно рассматривал картинку. Чтобы проникнуть за тяжелую дверь, одной лишь храбрости мне бы не достало, силы придавало страстное желание узнать побольше о монахиня, которая была моей матерью. Я садился за ее парту, и автоклав, разбуженный стуканием моего сердца, урчал и шипел, будто пробуждающийся дракон, и постепенно на меня нисходило умиротворение и чувство единения с мамой.

Позже я узнал, что никто так и не осмелился убрать ее кардиган со

спинки парты. Это была святая реликвия. Но для ребенка четырех лет все свято и все обыденно. Я набрасывал на плечи этот пахнувший кутикурой покров. Я водил пальцем по высохшей чернильной кляксе, ведь руки мамы когда-то касались этого пятна. Я подолгу смотрел на картинку на календаре, в точности, наверное, как мать когда-то смотрела на нее, и образ тот все глубже проникал мне в душу. (Многие годы спустя я узнал, что повторяющиеся видения святой Терезы именуются «трансверберацией», что, как следовало из словаря, означает «проникновение», а в случае святой Терезы – «проникновение Бога в самое сердце»; метафора маминой веры была и метафорой медицины.) Впрочем, для того, чтобы выразить свое почтение к этому образу, четырехлетке слова вроде «трансверберация» ни к чему. Фотографий на память не осталось, и фантазия подсказывала мне, что женщина с картинки – это моя мать, перепуганная недвусмысленными намерениями мальчика-ангела с копьем. «Когда ты явишься, мама?» – спрашивал я, и голос мой колотился о холодный кафель. Когда ты явишься?

И отвечал я себе шепотом: «С Богом!» Вот что осталось мне на память: слова доктора Гхоша, которые он впервые произнес, когда вошел сюда, разыскивая меня, и глянул поверх моих плеч на картинку со святой Терезой. Легко подхватив меня на руки, доктор прогудел своим низким голосом, столь похожим на рокот автоклава: «Она уже в пути, с Богом!»

Сорок шесть лет и еще четыре года протекло с минуты моего появления на свет, и случилось чудо: я вновь в этом помещении. Оказалось, парта теперь для меня маловата, а кардиган лежит у меня на плечах подобно кружевному омофору священника. Но и парта, и кардиган, и картинка с трансверберацией остались на своих прежних местах. Это я, Мэрион Стоун, изменился, а вовсе не окружающий меня мир. Эта застывшая комната подхватила меня и понесла сквозь память и время. Ничуть не поблекшая святая Тереза (для вящей сохранности ныне оправленная в рамку и помещенная под стекло), чудилось, призывала меня: приведи события в порядок, мол, вот это начиналось здесь и произошло по такой-то причине, и вот так сходятся концы с концами, и вот что привело тебя сюда.

Мы приходим в этот мир незванными и, если повезет, обретаем особую цель, которая возносит нас над голодом, нищетой и ранней смертью, составляющими, о чем не след забывать, общую участь. Став постарше, я определил для себя такую цель: стать врачом. Главным образом не для того, чтобы спасти мир, а чтобы излечиться самому. Немногие доктора, особенно из числа молодых, способны признаться в этом, но ведь вступая в профессию, мы все, пожалуй, подсознательно верим, что служение другим

уврачует наши собственные раны. Так-то оно так. Если только не разбередит окончательно.

Специальностью своей я избрал хирургию благодаря матушке-распорядительнице, чьим неизменным присутствием было окрашено мое детство и отрочество.

– Что для тебя было бы самым трудным? – спросила она меня, когда в самый черный день первой половины своей жизни я обратился к ней за советом.

Я поежился. Как легко матушка нащупала разрыв между амбициями и целесообразностью.

– А почему я должен обязательно бороться с трудностями?

– Потому что, Мэрион, ты – инструмент Господа. Не оставляй инструмент в футляре! Играй! Да откроются тебе все тонкости игры! Не бренчи «Три слепые мышки», если способен исполнить «Глорию».

Как несправедливо со стороны матушки было упоминать об этом грандиозном хорале, заставлявшем меня, как и прочих смертных, сознавать свое ничтожество и в немом изумлении взирать на небо! Ведь она понимала мой сформировавшийся характер.

– Но, матушка, я и мечтать не могу о том, чтобы исполнить «Глорию» Баха, – пролепетал я чуть слышно. Я не умел играть ни на струнных, ни на духовых. Я не знал нот.

– Нет, Мэрион, – она погладила меня по щеке своими шершавыми пальцами, – речь идет не о «Глории» Баха, а о твоей собственной «Глории», которая всегда с тобой. Это самый большой грех – не раскрыть то, чем одарил тебя Господь.

По темпераменту я был больше склонен к какой-нибудь познавательной дисциплине, терапии или психиатрии. Стоило мне только взглянуть на операционную, как меня бросало в пот. При мысли о скальпеле внутри все сжималось (и до сих пор сжимается). Ничего сложнее хирургии я и представить себе не мог.

Вот так я стал хирургом.

За прошедшие тридцать лет я не снискал славы ни своей быстротой, ни отвагой, ни техникой. Назовите меня спокойным, уравновешенным, тщательно подбирающим стиль и приемы, которые в наибольшей степени соответствуют конкретному пациенту и положению, и я почту это за наивысшую похвалу. Я набираюсь мужества от своих коллег-врачей, которые обращаются ко мне, когда им самим надо лечь под нож. Они знают, что Мэрион Стоун отнесется к пациенту с равным вниманием и до операции, и во время, и после. Они знают, что молодецкие фразы вроде «В

рассуждения не влезай, увидел – вырезай» или «Чем ждять-подждать, лучше сразу откромсать» не про меня писаны. Мой отец, к чьему дару хирурга я отношусь с глубочайшим уважением, говорит: «Наилучший прогноз дает операция, которую ты решил не делать». Умение отказаться от операции, четко осознать, что задача тебе не по силам, попросить помощи у хирурга калибра моего отца – такого рода талант не приносит шумной славы.

Однажды я попросил отца прооперировать пациента, который одной ногой уже был в могиле. Отец молча стоял у койки больного, держа руку на пульсе, хотя давно уже сосчитал удары сердца; казалось, чтобы ответить, ему было необходимо коснуться кожных покровов, ощутить ток крови в лучевой артерии. На его лице, словно созданном резцом скульптора, я видел полную сосредоточенность. Мне представились шестеренки, что вертятся у него в голове, померещились слезы, блеснувшие у него в глазах. Он тщательно взвешивал варианты. Наконец покачал головой и направился к выходу.

Я кинулся за ним. Окликнул:

– Доктор Стоун!

Хотя хотелось завопить: «Отец!» В глубине души я знал, что шансы больного бесконечно малы и что с первым же дуновением наркоза все может быть кончено. Отец положил руку мне на плечо и заговорил мягко, словно с коллегой-новичком, а не с сыном:

– Мэрион, помни одиннадцатую заповедь. Не берись за операцию в день смерти пациента.

Я вспоминаю его слова в лунные ночи в Аддис-Абебе, когда сверкают ножи, свистят пули, камни рассекают воздух, и мне кажется, что я на бойне, а не в Третьей операционной, и кровь и солод чужаков пятнают мою кожу. Я все помню. Однако перед операцией не всегда знаешь ответы. Оперировать-то здесь и сейчас, и только потом некий прожектор, устремленный в прошлое, любимый прибор шутов и мудрецов, что организуют совещания по вопросам заболеваемости и смертности, высветит правоту или неправоту твоего решения. Жизнь, она ведь тоже такая – мчится вперед, а понимание движется в обратном направлении. Только если остановишься и обернешься, увидишь мертвое тело под колесами.

Теперь, на пятидесятом году жизни, я испытываю благоговение перед вскрытой брюшной полостью или грудной клеткой. Мне стыдно за род человеческий, за его талант увечить, уродовать, осквернять тело. Хотя именно этот талант позволяет мне любоваться каббалистической

гармонией сердца, что проглядывает из-за легкого, или печени и селезенки – заединщиков под куполом диафрагмы, – и восторг лишает меня дара речи. Мои пальцы пробегают по кишке в поисках отверстия, оставленного ножом или пулей, петля за петлей, двадцать три фута, плотно уложенных в столь малом объеме, и во мраке африканской ночи кажется, что вот он, мыс Доброй Надежды, и я еще увижу голову змеи. Дива дивные, укрытые от своего владельца под кожей, мускулами и ребрами, предстают перед моим взором. Это ли не величайшая привилегия в земной юдоли?

В такие минуты я вспоминаю, что мне следует принести благодарность моему брату-близнецу, доктору Шиве Прейз-Стоуну, отыскать его отражение на стеклянной панели, разделяющей две операционные, и поклониться за то, что он позволил мне стать тем, кто я есть. Хирургом.

По мнению Шивы, жизнь в конечном счете заключается в латании дырок. Шива никогда не говорил метафорами. Латание дыр – его занятие в буквальном смысле слова. Такова наша профессия. Но есть и дырка иного рода – кровавый разрыв, что разделяет семью. Порой при рождении, порой позже. Все мы пытаемся сшить разорванное. Это цель жизни. Невыполненная, она переходит к следующему поколению.

Рожденный в Африке, живший в ссылке в Америке, в конце концов опять вернувшийся в Африку, я убежден, что география – это судьба. Именно судьба привела меня в точности туда, где я родился, в ту самую операционную. Мои руки в хирургических перчатках занимают точно тот же кусочек пространства у стола в Третьей операционной, что и руки моих отца с матерью.

Порой по ночам сверчки до того надрываются, что в их «заа-зи, заа-зи» тонет кашель и рычание гиен, шныряющих по окрестным холмам. Как вдруг все стихает, будто переключка закончилась, и тебе самое время найти во мраке своего напарника и удалиться. В надвигающемся вакууме тишины я слышу, как тонкими колокольчиками звенят звезды, и на меня нисходит ликование и благодарность за то крошечное место в Галактике, что занимаю я. Именно в такие минуты я чувствую, сколь многим обязан Шиве.

Братья-близнецы, мы до отрочества спали в одной постели, соприкасаясь головами, тела и ноги в разные стороны. Мы переросли нашу близость, но я до сих пор скучаю по ней, по голове брата рядом. Когда я просыпаюсь на рассвете, первое, что приходит на ум, это разбудить его и сказать: «Красотой этого утра я обязан тебе».

А еще я обязан рассказать эту историю. Ту самую, о которой молчала

моя мать, сестра Мэри Джозеф Прейз, – историю, которой всячески избегал мой бесстрашный отец Томас Стоун и которую мне придется восстановить по кусочкам. Только так можно преодолеть разрыв между братом и мной. Я бесконечно верю в хирургию, но ни один специалист не в силах вылечить кровоточащую рану, разделяющую двух братьев. Где шелк и сталь бессильны, слова должны помочь.

Начнем с начала...

Часть первая

...Ибо вся тайна ухода за пациентом в заботе о нем.

Френсис В. Пибоди. 21 октября 1925 года

Глава первая. Тифозное состояние

Сестра Мэри Джозеф Прейз прибыла в госпиталь Миссии из Индии, за семь лет до нашего рождения. Она и сестра Анджали были первыми послушницами мадрасского ордена кармелиток, кто после выматывающих курсов получил значки медсестер в Правительственной больнице общего профиля. В тот же вечер девушки постриглись в монахини, приняв на себя обет бедности, целомудрия и смирения. И в госпитале, и в монастыре к ним теперь обращались «сестра». Их аббатиса, пожилая и безгрешная Шесси Дживаругезе по прозвищу «Праведная Амма», благословила двух юных медсестер-монахинь и назначила им неожиданное послушание: Африку.

В день отплытия все послушницы монастыря выбрались на рикшах в гавань – проводить двух своих сестер во Христе. Так и вижу на причале стайку взбудораженных девушек, они восторженно щебечут, их белое облачение треплет ветер, и чайки прыгают подле обутых в сандалии ног.

Я часто пытался себе представить, с какими мыслями покидала мама берег Индии (а ведь им с сестрой Анджали было всего-то по девятнадцать) и поднималась по трапу на палубу «Калангута», сопровождаемая сдавленными всхлипываниями и пожеланиями милости Господней. Страшно ли ей было? Крепок ли был ее дух? В ее жизни уже было нечто подобное, когда в один прекрасный день она рассталась со своей семьей и ушла за тридевять земель в монастырь, из ее родного Кочина* до Мадраса надо было сутки ехать поездом, и родители понимали, что больше никогда с ней не увидятся. И вот теперь, проведя три года в Мадрасе, она расставалась со своей семьей по вере, отправлялась за океан. И снова пути назад не было.

* Кочин, или Коччи, – город в индийском штате Керала, крупный порт на Малабарском побережье Аравийского моря.

За несколько лет до того, как начать писать, я выбрался в Мадрас, чтобы пройти по следам мамы. В архивных документах кармелиток я не нашел о ней ничего, но мне попались дневники Праведной Аммы, где аббатиса отмечала события день за днем. Когда «Калангут» отчалил, Праведная Амма, словно дорожный полицейский, подняла руку и «звучным голосом, которым читаю проповеди и который, как говорят, никак не выдает мой возраст» отчеканила: «Оставьте земли свои ради меня»*. Для Праведной Аммы эта миссия была полна особого смысла. Да, потребности Индии неизмеримы. И да, так будет всегда, но оправданием это быть не

должно, и потому две юные монахини – самые добродетельные и самые непреклонные в вере – станут застрельщицами; индийцы, разгоняющие любовью Христовой мрак Африки, – таковы были великие амбиции настоятельницы. Из бумаг я понял ход ее мыслей: в Индии английским миссионерам открылось, что нести любовь Христову лучше всего через припарки и компрессы, мази и перевязочный материал, чистоту и комфорт. Так разве есть более важная миссия, чем миссия врачевания? Две ее юные монахини пересекут океан, и мадрасская Миссия начнет служить и в Африке.

* Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Марк, 10:29-30.

Две машущие фигурки на палубе постепенно превращались в белые точки, а аббатису терзали мрачные предчувствия. Что, если слепое подчинение ее великим планам обречет невинных девушек на ужасную судьбу? «За английскими миссионерами стояла могущественная империя, а что послужит опорой моим девочкам?» В дневнике своем она записала, что скрипучая перебранка чаек и брызги птичьего помета изрядно подпортили торжественные проводы. Да тут еще вонь тухлой рыбы, запах гниющего дерева и по пояс обнаженные грузчики, которые, увидев девушек, похотливо облизывали ярко-красные от бетеля губы.

Отец Небесный, вверяем тебе наших сестер, да пребудут в безопасности, – воззвала Праведная Амма к Господу, перестав махать и спрятав руки в рукава. – Босоногие кармелитки* молят о прощении и милости.

* Орден босых братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель (Палестина) – один из четырех нищенствующих католических орденов, отделившийся от основной ветви кармелитов в XVI в. Его возникновение связано с деятельностью великих кармелитских святых – Терезы Авильской и Иоанна Крестителя, а также с желанием части кармелитской братии жить по строгому первоначальному уставу ордена. Орден босых кармелитов был утвержден в 1593 г.

Был 1947 год, британцы окончательно уходили из Индии; исход, представлявшийся невозможным, свершился. Праведная Амма тихонько вздохнула. Мир менялся, требовались решительные действия, и она верила в них.

Черно-красная жалкая посуда, именующая себя кораблем,

пересекала Индийский океан, направляясь в Аден. Трюмы «Калангута» были заполнены разнообразным грузом – нашлось место и для бумажной пряжи, и для риса, и для шелка, и для сейфов «Годредж»*, и для канцелярских шкафов «Тата», и даже для тридцати одного мотоцикла «Ройял Энфилд Баллет» с моторами в промасленной ветоши. Судно не предназначалось для перевозки пассажиров, но грек-капитан выкрутился, взяв на борт «квартирантов». Многие тогда плавали на грузовых судах, отсутствие должной obsługi компенсировалось экономией. На судне находились две мадрасские монахини, три еврея из Кочина, семья из Гуджарата, трое подозрительного вида малайцев и несколько европейцев, среди которых были два французских матроса, в Адене собирающихся догнать свой корабль.

* Компания «Годредж» одна из старейших и крупнейших в Индии. Образованная в 1897 г., она поначалу специализировалась на производстве замков и сейфов, но во второй половине XX века постепенно стала расширять сферу своих интересов, и сегодня «Годредж» производит весь спектр бытовой техники.

Палуба «Калангута» отличалась небывалым простором – кусок суши, да и только. У кормы неким насекомым на спине у слона притулилась трехэтажная надстройка, где обитали команда и пассажиры. Венчал надстройку мостик.

Моя мама, сестра Мэри Джозеф Преиз, была малаяли* из Кочина, штат Керала. Христиане-малаяли ведут свою родословную от самого святого Фомы, который прибыл в Индию в 52 году от Рождества Христова. «Неверующий» Фома основал свои первые церкви в Керале задолго до того, как святой Петр попал в Рим. Мама была девочка богобоязненная, регулярно посещала церковь, а в средней школе попала под влияние харизматичной монахини-кармелитки, работавшей с бедняками. Мамин родной город лежит на берегах Аравийского моря на пяти островах, подобных драгоценным камням на перстне. Торговцы пряностями столетиями приплывали в Кочин за кардамоном и гвоздикой, среди них был и некий Васко да Гама. Португальцы основали на Гоа колониальное поселение и принялись силой загонять местных индусов в католицизм. В конце концов в Кералу явились католические священники и монахини, словно и не ведая о том, что святой Фома привез в Кералу незамутненное учение Христа за тысячу лет до них. К великому огорчению родителей, мама стала монахиней-кармелиткой, вышла из сирийско-христианской традиции святого Фомы и присоединилась к этим (по их мнению) выскочкам, к этой папистской секте. Если бы она перешла в мусульманство

или индуизм, они вряд ли огорчились бы больше. Хорошо еще, родители не знали, что она, ко всему прочему, медсестра и будет мараить свои руки будто неприкасаемая.

* Малаяли – народ в Индии, основное население штата Керала.

Мама выросла на берегу океана возле древних китайских рыболовных сетей, свисающих с бамбуковых шестов и стелющихся над водой, словно гигантская паутина. Для ее народа море было вошедшим в поговорку кормильцем, верным поставщиком креветок и рыбы. Но сейчас, на палубе «Калангута», вдали от знакомых берегов, она не узнавала своего кормильца. Неужели открытое море всегда такое – туманное, неласковое и беспокойное? В его объятиях судно раскачивалось, и моталось из стороны в сторону, и натужно скрипело. Казалось, воды вот-вот поглотят его.

Мама и сестра Анджали уединились в своей каюте, заперли дверь, чтобы никто не ворвался, ни мужчины, ни море. Пылкие молитвы Анджали пугали маму. Сестра Анджали возвела в ритуал чтение Евангелия от Луки; она утверждала, что это окрыляет душу и дисциплинирует тело. Две монахини вникали в каждую букву, каждое слово строчку и фразу до dilatatio, elevatio и excessus – созерцания, величия и экстаза. Древний распорядок Ришара де Сен-Виктора* доказал свою полезность при плавании за море, которому не видно ни конца ни краю. К исходу второй ночи, после десяти часов углубленного чтения, сестра Мэри Джозеф Преиз внезапно ощутила, что печатные буквы, да и сама страница, исчезли и ее и Господа более ничто не разделяет. Тело, ликуя, уступило тому, что свято, вечно и необъятно.

На шестой день плавания во время вечерних молитв они пропели гимн, два псалма, свои антифоны, возблагодарили Господа и как раз пели «Магнификат»**, когда пронзительный треск вернул их на грешную землю. Монахини нацепили спасательные жилеты и кинулись вон из каюты. Палуба вздыбилась, гранью пирамиды она вздымалась в небо. Капитан курил трубку и своей ухмылкой дал понять пассажирам, что пугаться нечего.

* Ришар Сен-Викторский (7 – 1173) – французский философ, теолог, представитель мистицизма, шотландец по происхождению, пытался примирить веру и разум с приоритетом веры. Ставил мистическое созерцание выше логического мышления.

** «Магнификат» (по первому слову первого стиха «Magnificat anima mea Dominum») – славословие Девы Марии из Евангелия от Луки (Лк, 1:46-55) в латинском переводе.

На девятый день плавания у четырех из шестнадцати пассажиров и у

одного матроса появился жар, а еще через день на теле выступили розовые пятна, составив на груди и животе рисунок сродни китайской головоломке. Страдания сестры Анджали оказались невыносимы, малейшее прикосновение вызывало у нее мучительную боль. На второй день болезни она впала в горячечный бред.

Среди пассажиров «Калангута» оказался хирург, молодой англичанин с ястребиными глазами, покинувший Индийскую медицинскую службу в поисках лучшей доли. Хоть он и избегал общих трапез, все заметили, как он высок и силен и как резки черты его сурового лица. Сестра Мэри Джозеф Прейз свалилась на него (в буквальном смысле слова) на второй день плавания, оступившись на металлическом трапе, что вел к кают-компани. Англичанин подхватил ее за копчик и за грудную клетку и поставил на ноги, будто ребенка. Когда она, запинаясь, пробормотала слова благодарности, он залился румянцем. Казалось, их внезапная близость смутила его куда больше, чем ее. Места, где его руки коснулись ее тела, побаливали, но в этой боли была некая сладость. А потом англичанин пропал из поля зрения на добрых несколько дней.

Сестра Мэри Джозеф Прейз набралась смелости и постучалась в дверь его каюты: все-таки врач. Слабый голос пригласил ее войти. С порога она почувствовала кислый запах желчи.

– Это я, – громко представилась она, – сестра Мэри Джозеф Прейз.

Доктор лежал на боку, лицо серо-зеленое, того же цвета, что и его шорты, глаза зажмурены.

– Доктор, – сказала она, помедлив, – у вас тоже жар? Он приподнял было веки, и глаза у него закатились. Его

вырвало. Метил он в пожарное ведро, но не попал. Впрочем, ведро и так было полно до краев. Сестра Мэри Джозеф Прейз бросилась к мужчине и пощупала ему лоб. Кожа была холодная и липкая, никакого жара. Щеки у него ввалились, тело скрючилось, словно его пытались запихать в тесный ящик. Никто из пассажиров не страдал морской болезнью. Единственный случай на корабле, и в такой тяжелой форме!

– Доктор, докладываю, что у пяти пациентов жар. Сопутствующие симптомы: сыпь, озноб, испарина, редкий пульс и потеря аппетита. Состояние у всех стабильное, за исключением сестры Анджали. Я очень беспокоюсь за Анджали...

Как только она высказалась, ей сразу же стало легче, хотя англичанин только и мог, что застонать в ответ. В глаза ей бросилась лигатура из кетгута, обмотанная вокруг изголовья койки, она являла собой великолепный набор узлов, один на другом, обративший изголовье в некое

подобие флагштока. Вот как доктор коротал время, когда его одолевала рвота.

Она опорожнила и вымыла ведро, поставила подле страдальца, протерла пол полотенцем, сполоснула его и повесила сушиться, поставила воду в изголовье и удалилась. Интересно, сколько уже дней он ничего не ел?

К вечеру ему сделалось хуже. Сестра Мэри Джозеф Прейз принесла чистые простыни, полотенца, бульон, попыталась покормить его, но от одного только запаха пищи его выворачивало всухую, глаза вылезали из орбит. Его обложенный язык был сер, как у попугая. В каюте стоял особый сладковатый запах, такой бывает, когда умирают от истощения, она знала. Если оттянуть кожу у него руке и отпустить, она так и оставалась стоять домиком. Ведро уже было до половины полно чистой желчи. Может ли морская болезнь закончиться смертельным исходом, недоумевала она. А вдруг это легкая форма болезни, что постигла и сестру Анджали? В медицине она не такой уж большой специалист. Посреди океана, окруженная больными, сестра Мэри Джозеф Прейз остро чувствовала бремя собственного невежества.

Но она знала, как ухаживать за больными. И знала, как молиться. С молитвой она скинула с него рубашку, пропитанную слюной и желчью, стянула шорты, обтерла тело и преисполнилась гордости, ибо ей никогда еще не доводилось производить подобные манипуляции с белым человеком, да еще доктором. Тело его покрывалось гусиной кожей, но сыпи не было. Он был хорошо сложен, с прекрасно развитой мускулатурой, и только сейчас она заметила, что левая половина грудной клетки у него меньше правой, слева в ямочку над ключицей влезло бы с полчашки воды, а справа – не больше чайной ложки. А от левого соска к подмышке тянулась впадинка, кожа на ней блестела и морщилась. Она коснулась провала, и у нее перехватило дыхание: двух или даже трех соседних ребер не было в помине, сердце сильно билось прямо у нее под пальцами, тут же за тоненькой перемычкой, очертания желудочков легко угадывались под кожей.

Мягкий, негустой волосяной покров на животе и груди, казалось, произрастал из поросли на лобке. Она бесстрастно обмыла необрезанный член, уложила набок и занялась жалким сморщенным мешочком под ним. Когда дело дошло до мытья ног, она не сдержала слез, на ум ей, само собой, пришли Иисус и его последняя земная ночь с учениками.

В каюте доктора она обнаружила книги по хирургии. Поля страниц были исписаны именами и датами, и только позже она догадалась, что это

имена пациентов, индусов и англичан, и больной Пибоди или Кришнан – типичный случай описываемой на странице болезни. Крест рядом с фамилией, видимо, означал смерть. Она отыскала одиннадцать блокнотов, густо заполненных убористым прыгающим почерком, строчки были кривые и на полях загибались книзу. Молчаливый с виду человек, на бумаге он неожиданно оказался весьма многословен.

В конце концов она нашла чистое нижнее белье и шорты. Что тут скажешь, если у мужчины больше книг, чем одежды? Ворочая его с боку на бок, она облачила его в свежее белье.

Теперь она знала, что его зовут Томас Стоун: имя значилось на учебнике по хирургии, лежащем на тумбочке. Про жар и сыпь в книге говорилось мало, а про морскую болезнь – и вовсе ни слова.

В тот вечер сестра Мэри Джозеф Прейз металась от одного больного к другому. На излом палубы она старалась не смотреть, он напоминал ей скорчившуюся человеческую фигуру. Накатила черная гора воды высотой с многоэтажный дом, и судно, казалось, провалилось в воронку водоворота. Потоки с ревом устремились на палубу.

Посреди разбушевавшегося океана, отупевшая от бессонницы и бессилия, она чувствовала, что ее мир стал проще. Он разделился на тех, у кого был жар, тех, кто страдал от морской болезни, и тех, кого миновала чаша сия. К тому же, кто знает, был ли смысл во всех этих разграничениях, вдруг им всем суждено утонуть.

Она очнулась от забытья рядом с Анджали. Казалось, не прошло и мгновения, но следующее пробуждение застало ее уже в каюте англичанина, она уснула, стоя на коленях рядом с его койкой, ее голова покоилась у него на груди, а его рука лежала у нее на плече. Не успела сестра Мэри это осознать, как сон опять ее сморил, на этот раз проснулась она в койке, лежа на самом краешке, тесно прижавшись к Томасу Стоуну. Юная монахиня вскочила и помчалась к сестре Анджали, той стало хуже, дыхание сделалось прерывистое и частое, кожу сплошь покрыли большие лиловые пятна.

Лица у измученных бессонницей матросов были напряженные, а один юноша упал перед ней на колени и взмолился: «Сестра, отпусти мне мои грехи», и она поняла, что судно по-прежнему в опасности. На ее просьбы о помощи команда не реагировала.

В тоске и отчаянии сестра Мэри Джозеф Прейз утащила из кубрика гамак (в полусне-полуяви ей явилось некое видение насчет него) и повесила в его каюте между иллюминатором и койкой.

Доктор Стоун был слишком тяжел, и только помощь святой

Екатерины, которой неустанно молилась юная монахиня, позволила стянуть неподвижное тело с койки на пол и затем затащить на гамак. Послушный законам гравитации, гамак не качался вместе с кораблем, сохраняя горизонтальное положение. Она опустилась рядом с ним на колени и предалась молитве, открыла свою душу Иисусу и закончила «Магнификат», прерванный на полуслове в ту ночь, когда палубу вспучило.

Сперва у доктора Стоуна порозовела шея, потом щеки. Она дала ему пару ложечек воды, а через час настала очередь бульона. Теперь его блестящие глаза следили за каждым ее движением. Стоило ей поднести ложку ему ко рту, как сильные пальцы ухватили ее за запястье. «Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем»*, – снова пришло ей на ум.

* Лука, 1:53.

Господь услышал ее молитвы.

Бледный Томас Стоун на подгибающихся ногах добрел вместе с сестрой Мэри Джозеф Прейз до одра Анджели. Он окаменел при виде широко открытых страдальческих глаз, изможденного лица, заострившегося носа, трепетавших при каждом вдохе ноздрей. Сестра Анджели, казалось, была в полном сознании, но никак не отреагировала на посетителей.

Доктор опустился подле нее на колени, но остекленевшие глаза Анджели смотрели мимо. Сестра Мэри Джозеф Прейз глядела, как отработанным движением он приподнял Анджели край века, обнажив слизистую, проверил на свет зрачки. Легкими и плавными движениями он нагнул Анджели голову, чтобы проверить подвижность шеи, пощупал лимфоузлы, покачал конечности, за отсутствием молоточка согнутым пальцем простучал коленный рефлекс. От его недавней неуклюжести не осталось и следа.

Он раздел Анджели и, не обращая никакого внимания на сестру Мэри Джозеф Прейз, бесстрастно осмотрел спину, бедра и ягодицы больной, длинными пальцами (будто нарочно для этого созданными) пальпировал селезенку и печень, приложил ухо к груди, затем к животу, перевернул Анджели на бок, послушал легкие и сказал:

– Тоны дыхания ослаблены справа... околушные железы увеличены... гланды не удалены – почему?.. Пульс слабый и частый.

– Пульс сделался редкий, как только начался жар, – подсказала сестра Мэри Джозеф Прейз.

– Да что вы говорите! – Тон был резкий. – Насколько редкий?

– Сорок пять-пятьдесят, доктор.

Ей казалось, он и думать забыл о собственном недомогании, забыл даже, что они на корабле. Он точно слился с телом сестры Анджели, и слова, произносимые им, метили во внутреннего врага. Она преисполнилась к нему таким доверием, что весь страх за Анджели куда-то делся. Юная монахиня стояла рядом с доктором на коленях, и ее переполнял такой восторг, будто только сейчас, встретив настоящего врача, она стала настоящей медсестрой. Она велела себе прикусить язык, хотя ей хотелось говорить и говорить.

– *Coma vigil**, – произнес он, и сестра Мэри Джозеф Преиз предположила, что он дает ей указания. – Видите, как у нее блуждает взгляд, будто она кого-то ждет? Дурной знак. И смотрите, как она подгребает под себя простыни, – это называется «карфология», все эти мелкие мышечные сокращения не что иное как *subsultus tendinum***. Это «тифозное состояние». Симптомы возникают на поздних стадиях многих видов заражения крови, не только при тифе. Однако, представьте себе, – он глянул на нее с легкой улыбкой, – я хирург, не терапевт. Что я знаю об этом заболевании? Лишь то, что оно не требует хирургического вмешательства.

* Бодрствующая кома.

** Внезапное подскакивание отдельных сухожилий кистей рук вследствие произвольных мышечных сокращений.

Его присутствие не только вселило уверенность в юную монахиню, казалось, оно успокоило море. Солнце, доселе прятавшееся за тучами, внезапно показалось за кормой. Матросы даже выпили по этому случаю, что лишний раз показало, в каком серьезном положении судно находилось каких-то несколько часов назад.

Но как ни гнала от себя эту мысль сестра Мэри, Стоун почти ничем не мог помочь сестре Анджели, да и средств не было. Содержимое корабельной аптечки составлял засушенный таракан – все прочее какой-то матрос пустил в оборот на последней стоянке. Рундук с медицинскими принадлежностями, используемый капитаном в качестве табурета, похоже, попал сюда еще в Средневековье. Ножницы, нож-пила и грубые щипцы – больше в изукрашенном резьбой вместилище ничего полезного не было. На что хирургу вроде Стоуна припарки или крошечные пакетики с полынью, тимьяном и шалфеем? Стоун только посмеялся над этикеткой *oleum philosophorum* (впервые сестра Мэри Джозеф Преиз услышала его смех, пусть даже глухой и невеселый).

– Послушайте только, – произнес он, – «содержит кафельную и кирпичную крошку, помогает от хронического запора».

Рундук полетел за борт. Стоун оставил только инструменты и

янтарную бутылочку Laudanum Opiatum Paracelsi*. Столовая ложка этого древнего снадобья – и сестре Анджали вроде как стало легче дышать. «Это разорвет связь между легкими и мозгом», – объяснил Томас Стоун сестре Мэри Джозеф Прейз.

* Настойка опия.

Явился капитан, красноглазый и краснолицый.

– Как вы смеее так обращаться с корабельным имуществом? – Непонятно, брызги слюны или бренди вылетали у капитана изо рта.

Стоун вскочил на ноги, словно мальчишка, готовый к драке, и уставился на капитана. Тот судорожно сглотнул и сделал шаг назад.

– Тем лучше для людей и тем хуже для рыб. Еще одно слово – и я подам на вас рапорт, что вы перевозите пассажиров, не имея на борту никаких лекарств.

– У нас была честная сделка.

– Вы совершаете убийство. – Стоун указал на Анджали.

Лицо у капитана поплыло, будто из него вынули каркас, глаза, нос и губы поползли вниз.

Томас Стоун заступил на дежурство и расположился бивуаком у койки Анджали, отлучаясь только затем, чтобы осмотреть всех и каждого на судне, – неважно, выражал осматриваемый свое согласие или нет. Он отделил тех, у кого был жар, от тех, у кого жара не было. Он завел картотеку, он набросал план кают и пометил крестиком помещения, где находились больные. Он настоял на окурировании всех кают. Тон, каким он отдавал распоряжения, приводил капитана в бешенство, но если даже Томас Стоун и заметил это, то не придавал никакого значения. Следующие двадцать четыре часа Стоун не спал совсем, не спускал глаз с сестры Анджали, осматривал больных и здоровых, выявил, что пожилая пара также серьезно больна. Сестра Мэри Джозеф Прейз неотступно следовала за ним.

Через две недели после отплытия из Кочина «Калангут» дотащился наконец до Адена. Судно шло под португальским флагом, но, несмотря на это, было подвергнуто строгому карантину. Корабль бросил якорь на солидном расстоянии от берега, этакий изгой-прокаженный, обреченный смотреть на город издали. Стоун накинулся на портового инспектора-шотландца, которого нелегкая дернула появиться в пределах досягаемости: если тот не предоставит аптечку, раствор Рингера для внутривенных вливаний и сульфамиды, тогда он, Томас Стоун, возложит на инспектора всю ответственность за смерть на борту граждан Британского Содружества. Сестру Мэри Джозеф Прейз восхитило его красноречие, Стоун будто занял

место Анджали в качестве ее единственного союзника и друга в этом злосчастном плавании.

Когда медикаменты прибыли, Стоун перво-наперво занялся Анджали. Обработав скальпель имеющимся под рукой антисептиком, он одним махом вскрыл большую подкожную вену ноги в том месте, где она уходила в лодыжку, вставил в сосуд иглу толщиной с карандаш и зафиксировал лигатурами. Узлы он вязал так быстро, что очертания его пальцев теряли четкость. Но, несмотря на внутривенные вливания раствора Рингера и сульфамида, никакого улучшения не последовало. Анджали так ни разу и не помочилась. Ближе к вечеру она умерла в ужасных судорогах, с разницей в несколько часов скончались и двое других, старик и старушка. Смерти оглушили сестру Мэри Джозеф Прейз, повергли в трепет, она никак не ожидала такого исхода. Радость от того, что Томас Стоун восстал с одра, ослепила ее – но оказалась непродолжительной.

В сумерках юная монахиня и Томас Стоун предали завернутые в полотно тела морю. Никто из команды к ним и близко не подошел. Суеверные матросы даже норовили не смотреть в их сторону.

Как ни старалась сестра Мэри Джозеф Прейз держаться, она была безутешна. Лицо Стоуна почернело от гнева и стыда. Не смог он спасти сестру Анджали.

– Как я ей завидую, – пролепетала сквозь слезы юная монахиня, душевная усталость и бессонные ночи развязали ей язык. – Она отошла к Господу. Уж наверно там лучше, чем здесь.

Стоун подавил смешок. Такое настроение, по его мнению, говорило о приближающемся расстройстве сознания. Он взял юницу за руку, отвел к себе в каюту, уложил на свою койку и велел спать. Сам он присел на гамак, подождал, пока блаженное забытие снизойдет на нее, и заторопился к пассажирам и команде – их надо было повторно осмотреть. Доктору Томасу Стоуну, хирургу, сон не требовался.

Спустя два дня, когда стало ясно, что новых заболевших нет, им наконец-то разрешили покинуть судно. Томас Стоун отправился на поиски сестры Мэри Джозеф Прейз и обнаружил ее в каюте, где они жили с сестрой Анджали. Четки, зажатые юной монахиней в руке, были мокрые, лицо тоже. Он чуть ли не с испугом отметил то, что раньше как-то ускользало от его внимания: она была необычайно красива, а столь огромных и выразительных глаз он не видел никогда. Краска бросилась ему в лицо, язык прилип к гортани. Он упер взгляд в пол, затем перевел на ее чемодан. Когда дар речи вернулся к Стоуну, он сказал:

– Тиф.

Это короткое слово было плодом длительных размышлений и книжных штудий. Видя ее озадаченность, он добавил:

– Несомненно, тиф, – в надежде, что точный диагноз принесет ей облегчение, но слез, казалось, только прибавилось. – По всей видимости, тиф. Разумеется, только серологическая реакция могла бы подтвердить это, – произнес он с легкой запинкой.

Стоун переступил с ноги на ногу, скрестил было руки и снова их опустил.

– Уж не знаю, куда вы направляетесь, сестра, а я еду в Аддис-Абебу... это в Эфиопии... В госпиталь... который высоко оценил бы ваши услуги, окажись вы там.

Стоун посмотрел на юную монахиню и покраснел сильнее, потому что на самом деле он ничего не знал про эфиопский госпиталь и тем более не имел понятия, нужна ли там вообще медсестра, и еще потому, что печальные карие глаза, казалось, видят его насквозь.

Но сестра Мэри молчала, занятая собственными мыслями. Она вспоминала, как молилась за него и за Анджали и как Господь откликнулся только на одну ее молитву. Стоун, восставший подобно Лазарю, весь отдался стремлению постичь причину болезни: врывался в каюты экипажа, набрасывался на капитана, требовал и угрожал. На взгляд юной монахини, он вел себя недостойно, но во имя достойной цели. Его самоотверженность и страсть стали для нее откровением. В больнице медицинского колледжа в Мадрасе, где она стажировалась, уполномоченные врачи* (в то время по большей части англичане) проплывали мимо пациентов небожителями, а в кильватере следовали их ассистенты, больничные хирурги и практиканты. Ей всегда казалось, что болезни стоят у них на первом месте, а сами больные со своими страданиями представляют собой нечто не столь существенное. Томас Стоун был не такой.

* Врачи, аккредитованные при Бюро гражданства и иммиграции в странах Британского Содружества.

Она чувствовала, что предложение поработать с ним в Эфиопии было спонтанным, неотретированным, оно само сорвалось с языка. Что ей делать? Праведная Амма упоминала о некой бельгийской монахине, что покинула Миссию в Мадрасе, отвоевав себе крошечный плацдарм в Йемене, в Адене, – плацдарм, впрочем, донельзя непрочный в связи с нездоровьем монахини. Праведная Амма предполагала, что сестра Анджали и сестра Мэри Джозеф Прейз укрепятся на Африканском континенте, что бельгийская монахиня научит их жить и нести слово Божие во враждебном окружении. А уж оттуда, списавшись с Аммой, сестры

отправятся на юг, ну конечно, не в Конго (где сплошное засилье французов и бельгийцев), равно как не в Кению, Уганду или Нигерию (где бесчинствует англиканская церковь, не терпящая конкуренции), а, скажем, в Гану или в Камерун. Сестра Мэри ломала себе голову, что Праведная Амма сказала бы насчет Эфиопии?

Мечты Праведной Аммы представлялись теперь молоденькой монахине мечтами курильщика опиума, ее исступленный евангелизм казался теперь почти болезненным, и сестра не решилась поведать обо всем этом Томасу Стоуну. Вместо этого она чуть дрожащим голосом сказала:

– У меня послушание в Адене, доктор. Но все равно спасибо. Благодарю вас за все, что вы сделали для сестры Анджали.

Он возразил, что не сделал ничего.

– Вы сделали больше, чем любой другой на вашем месте, – мягко произнесла она, взяла его ладонь в свои и заглянула в глаза. – Да благословит вас Господь.

Ее влажные от слез руки, сжимающие четки, были такие мягкие... Он вспомнил прикосновения ее пальцев, когда она мыла его, одевала, придерживала голову во время приступов рвоты, вспомнил выражение ее лица, обращенного к небу, когда она пела псалмы и молилась за его выздоровление. Шея у него предательски покраснела, уже в третий раз. В глазах у нее заплескалась боль, она едва слышно застонала, и только тогда он понял, что слишком сильно сжимает ей руку, плющит пальцы о четки. Он выпустил ее ладонь, открыл было рот, но, так ничего и не сказав, резко повернулся и зашагал прочь.

Сестра Мэри не шевельнулась. В покрасневших руках пульсировала кровь. Боль была благословенным даром, она поднималась к плечам, и в груди нарастало нечто, чего она уже не могла выносить, – чувство, будто что-то вырвали из нее с корнем. Ей хотелось вцепиться в него, крикнуть, чтобы не уезжал. Она всегда считала, что жизнь ее полна лишь служением Господу. Но теперь в ней будто образовалась пустота, неведомая прежде, о существовании которой она и не подозревала.

Ступая на землю Йемена, сестра Мэри Джозеф Прейз больше всего хотела остаться на борту «Калангута» навсегда. И что это ее так тянуло на берег, пока судно стояло в карантине? Аден, Аден, Аден – она и раньше о нем ровно ничего не знала, да и сейчас это для нее было не более чем экзотическое название. Правда, матросы на судне говорили, что все дороги ведут в Аден. Стратегическое положение порта было когда-то на руку британскому флоту, а сейчас беспошлинный статус привлекал покупателей

и позволял легко пересесть с корабля на корабль. Аден был воротами в Африку, а для африканцев – в Европу. Сестре Мэри он казался вратами ада.

Город был мертв и в то же время находился в непрерывном движении, словно гниющий труп, покрытый копошащимися червями. Она сбежала от одуряющей жары главной улицы в тень переулков. Дома, казалось, были вырублены прямо из скал. Ручные тележки, невероятно высоко груженные бананами, кирпичами, дынями (а одна колымага так даже везла двух прокаженных с культями вместо ног), так и сновали в толпе прохожих. Громадная женщина, с ног до головы закутанная в черный шаршаф и накидку, величественно шествовала с дымящейся углями жаровней на голове. Никто не находил это странным, зато все глазели на смуглую монахиню, бредущую в толпе. Ей чудилось, что с открытым лицом она здесь все равно что голая.

Где-то через час, в течение которого солнце нещадно палило ее кожу, и она едва ли не вздулась, подобно тесту в печи, сестра Мэри Джозеф Прейз, плутая и поминутно выпрашивая дорогу, набрела наконец на крошечную дверь в конце узкого проулка. На каменной стене светлел след от таблички, как видно недавно снятой. Сестра помолилась про себя, набрала в грудь воздуха и постучала. Хриплый мужской голос что-то каркнул в ответ. Юная монахиня истолковала это как приглашение и вошла.

На полу рядом со сверкающими весами сидел по пояс голый араб. Вокруг до самого потолка громоздились кипы увязанных листьев.

От оранжерейной духоты у нее перехватило дыхание. Аромат ката был для нее в новинку: свежескошенная трава с неким пряным оттенком.

Борода араба, крашенная хной, была такая красная, будто он макнул ее в кровь. Глаза у него были подведены, словно у женщины, и, глядя на него, сестра вспомнила описания Саладдина, не давшего крестоносцам покорить Святую Землю. Эти самые глаза сначала остановились на юном лице, окаймленном белым апостольником, затем перебежали на кожаный саквояж, который юная монахиня держала в руке. Араб показал золотые зубы и захохотал. Правда, грубый смех мигом стих, когда мужчина увидел, что монахиня близка к обмороку. Он усадил гостью, велел подать чай, а потом на варварском английском, помогая себе жестами, объяснил, что бельгийская монахиня, проживавшая здесь, скоропостижно скончалась. При этих словах сестру Мэри Джозеф Прейз бросило в дрожь, словно она слышала шаги самой смерти, шуршащие по листьям. Фотокарточка сестры Беатрисы была у юной монахини в Библии, и она увидела ее образ глазами души, и он обратился в маску смерти, а затем в лицо Анджали. Она заставила себя посмотреть мужчине в глаза, показать, что ее не смутили его

слова. О чем? Дела? Кто в Адене спрашивает о делах? Сегодня у тебя все хорошо, долги оплачены, жены счастливы, хвала Аллаху, а на следующий день тебя валит лихорадка, и твою кожу сжигает жар, и ты умираешь. О чем? О ерунде. О плохой коже. О чуме. О невезении, если хотите. Даже об удаче.

– Дом принадлежит мне, – сказал араб. Рот его был набит зелеными листьями ката. – У Бога старой монахини не хватило сил спасти ее, – продолжил он, заводя глаза и указывая на потолок, словно слабосильный Бог лично присутствовал в комнате.

Сестра Мэри Джозеф Преиз тоже невольно посмотрела вверх, но быстро опомнилась. Араб перевел затуманенные глаза с потолка на лицо юной монахини, на губы и на грудь.

Я столько знаю о подробностях странствия мамы, потому что она сама рассказывала о них другим людям, а другие передали мне. Но на Адене, на оранжерейно душном доме, ее рассказ внезапно обрывался.

Ясно только одно: она отправилась в дальнюю дорогу в полной уверенности, что ее миссия угодна Господу и что тот не оставит ее своей милостью. А вот в Адене с ней что-то стряслось, о чем никто не ведал. Но именно там она поняла, что ее Бог мстителен и суров даже с теми, кто в него искренне верит. Дьявол явил свой лик в искаженных чертах лиловой смертной маски Анджали, но ведь это Бог попустил. Для нее Аден был город зла, где Бог велел Сатане показать ей, сколь хрупок и разобщен мир, как неустойчиво равновесие между добром и злом и как наивна она была в своей вере. Ее отец говаривал: «Коли хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Ей было жаль Праведную Амму, чья мечта о просвещении Африки была порождена тщеславием, – тщеславием, которое стоило сестре Анджали жизни.

Долгое время я знал об этом периоде, занявшем несколько месяцев (а пожалуй, что и год), только то, что в один прекрасный день мама, которой исполнилось девятнадцать, бежала из Йемена, пересекла Аденский залив, высадилась, по всей видимости, где-то в окрестностях древнего эфиопского города Харрар, а может, даже в Джибути, села на поезд и через Дире Дава прибыла в Аддис-Абебу.

А вот как она появилась на пороге госпиталя Миссии, я знаю. В дверь кабинета матушки-распорядительницы трижды негромко постучали.

– Войдите, – крикнула матушка, и это слово круто изменило судьбу всей Миссии.

Затяжные дожди в Аддис-Абебе как раз сменились короткими ливнями, за многодневным плеском воды стали слышны иные звуки, и

очертания предметов начали проступать из-под серой пелены. Не эти ли перемены породили возникший перед матушкой-распорядительницей в дверном проеме смутный образ смуглой красавицы-монахини?

Теплый взгляд немигающих карих глаз коснулся лица матушки. Зрачки расширены (наверное, воспоминания об ужасах дороги еще были свежи, подумает позже матушка), нижняя губа такая пухлая, что, кажется, вот-вот лопнет. Апостольник подпирал подбородок, стягивал овал лица, но не мог скрыть пыла, которым дышало это лицо, равно как не мог скрыть боли и смущения. Ее грязно-бурое облачение некогда, по всей видимости, было белым. Матушка смерила пришлицу взглядом и там, где сходились ноги, узрела свежее кровавое пятно.

Девушка отличалась болезненной худобой, вроде бы даже нетвердо стояла на ногах, но голос, утомленный и печальный, звучал решительно: *Желаю очиститься душой, обратиться к Богу, внимать Его речам, обращенным к пастве Его. Прошу вас помолиться за меня, чтобы я провела остаток своих дней в непрестанном присутствии Христа в Евхаристии и подготовила душу для великого дня, когда грядет союз между невестой и Женихом.*

Матушка-распорядительница узнала литанию постулантки, слова, которые она сама произносила много лет тому назад, и невольно ответила, как ее мать-настоятельница:

– Радость о Господе и благословение Святого Духа. Только когда нежданная гостья прямо в дверях осела на

пол, матушка стряхнула с себя оцепенение, вскочила из-за стола и бросилась к ней. Голод? Изнеможение? Кровопотеря? В чем причина? В руках матушки сестра Мэри Джозеф Прейз казалась почти невесомой. Бедняжку уложили в постель. Облачение, покрывало и апостольник прятали торчащие ребра и впалый живот. Не женщина, девушка! Почти девочка. С длинными густыми волосами и не по годам развитой (и как это они не заметили?) грудью.

Материнский инстинкт в матушке-распорядительнице ожил, и она всю ночь просидела у койки юной монахини. Девушка спала беспокойно, несколько раз пробуждалась и в ужасе шарила вокруг себя руками.

– Дитя мое, что с тобой? Успокойся. Ты в безопасности, – успокаивала ее матушка, однако целая неделя прошла, прежде чем девушка стала спать одна. Румянец вернулся на ее щеки еще через неделю.

Когда короткие ливни закончились и солнце обратило свой лик к городу, будто желая сказать, что, несмотря ни на что, оно обожает его, в знак чего и дарует свои самые благословенные, ни облачком не

замутненные лучи, сестра Мэри Джозеф Прейз рука об руку с матушкой покинула уединенную келью. Вновь прибывшую надлежало представить сотрудникам госпиталя. При посещении Третьей операционной матушка с изумлением увидела, как на суровом и мрачном лице нового хирурга Томаса Стоуна при виде юной монахини расцветает что-то очень похожее на радость. Он залился краской, обеими руками ухватил ее ладонь и так сжал, что на глаза у девушки навернулись слезы.

Знать бы тогда маме, что она останется в Аддис-Абебе, в госпитале Миссии навсегда, до самой смерти пребудет в непрерывном присутствии этого хирурга. Работать вместе с ним на благо его пациентов, быть его квалифицированным ассистентом – таково было ее стремление, и гордыня тут была ни при чем. На то была Божья воля, и она ей покорилась. Возвращаться в Индию через Аден – она даже подумать об этом не могла.

В последующие семь лет, что она прожила и проработала в госпитале Миссии, сестра Мэри очень редко рассказывала о своем плавании из Индии и никогда – о том, что выпало на ее долю в Адене.

– Стоило мне заговорить об Адене, – рассказывала матушка, – как твоя мама невольно оглядывалась, словно аденские ужасы преследовали ее по пятам. На лице ее проступал такой страх, что пропадала охота расспрашивать. Это меня пугало. Все, что она сказала: «Это попущение Господне, что я попала к вам, матушка. Пути Господни неисповедимы». И никакого богохульства в ее словах не было, представь себе. Она верила, что ее работа угодна Господу. Затем-то он и привел ее в Миссию.

Такой зияющий пробел в жизни столь короткой невольно привлекает внимание. Биограф или, к примеру, сын должен копать глубже. Пожалуй, побочным эффектом таких поисков стало то, что я принялся изучать медицину. А может, и то, что нашел Томаса Стоуна.

В Третьей операционной начался последний этап в жизни сестры Мэри Джозеф Прейз. Первый ассистент доктора Стоуна, в шапочке и перчатках, она, когда надо, расширяла рану ретрактором, обрезала нитки после наложения шва, приводила в действие отсос. Через несколько недель она уже заменяла операционную сестру, а затем и первого ассистента. Кто лучше, чем первый ассистент, знал, когда Стоуну нужен скальпель для иссечения, а когда достаточно и намотанной на палец марли. Она была как бы о двух головах: операционная сестра, подававшая инструменты, и первый ассистент, своего рода третья рука Стоуна, приподнимавшая печень, сдвигавшая в сторону сальник – жирный фартук, прикрывающий кишки, – или пальцем приминавшая отечную ткань, чтобы Стоун увидел, куда всаживать иглу.

Матушка заходила понаблюдать за их совместной работой.

– Идеальная слаженность, милый мой Мэрион. Никаких тебе «скальпель», «тампон», «отсос», все подавалось без слов. Она и Стоун работали очень быстро. Мы больных им не успевали укладывать на операционный стол.

Семь лет Стоун и сестра Мэри Джозеф Прейз работали по единому графику. Операции порой длились до поздней ночи или даже до рассвета, и она неизменно была рядом, словно тень, послушная долгу, безропотная, умелая. Вплоть до того самого дня, когда брат и я заявили из утробы о своих правах на питание из груди, а не из плаценты.

Глава вторая. Недостающий палец

В Миссии у Томаса Стоуна сложилась репутация человека внешне спокойного, но страстного и даже загадочного, что-то вроде «в тихом омуте черти водятся». Правда, доктор Гхош, специалист по внутренним болезням и по совместительству мастер на все руки, решительно отвергал этот ярлык:

– Если человек составляет тайну прежде всего для самого себя, вряд ли можно назвать его загадочным.

Коллеги доктора Гхоша научились не делать из поведения Стоуна далеко идущих выводов, тем более что он был болезненно застенчив, особенно при посторонних. Неуклюжий и не находящий себе места за пределами Третьей операционной, у стола он был сосредоточен и подвижен, будто только здесь его тело и душа сливались воедино, а картина внутри головы полностью соответствовала картине снаружи.

Как хирург Стоун славился быстротой, смелостью, доходящей до дерзости, изобретательностью, скупостью движений и умением сохранять хладнокровие в самые ответственные моменты. Этими навыками он был обязан доверчивым и безропотным пациентам, с которыми ему довелось работать сначала в Индии, а потом в Эфиопии. Но когда у сестры Мэри Джозеф Прейз, его неизменного ассистента в течение семи лет, начались роды, все эти достоинства куда-то делись.

В день нашего появления на свет Стоун собирался вскрывать мальчику брюшную полость. Доктор уже привычным жестом растопырил пальцы и протянул руку, чтобы в нее, как всегда, словно сам по себе, лег скальпель. Но впервые за семь лет пальцы не ощутили немедленного холода стали, и это могло означать только то, что рядом не сестра Мэри Джозеф Прейз, а кто-то другой.

«Невозможно», – только и сказал он, когда чей-то сокрушенный голос объявил, что его бессменная ассистентка нездорова. За предыдущие семь лет ни одна операция не обошлась без нее. Ее отсутствие выводило из себя, словно капелька пота, что вот-вот скатится прямо в глаз, когда руки заняты хирургическими манипуляциями.

Производя разрез, Стоун даже не поднял глаз. Кожа. Жир. Фасция. Мускул. Иссечение – и вот она, блестящая брюшина. Палец хирурга скользнул в открывшуюся брюшную полость в поисках аппендикса. И на каждом этапе ему пришлось лишнюю долю секунды ждать или даже

отодвигать предлагаемый инструмент и требовать другой. Он беспокоился за сестру Мэри, даже если сам того не сознавал или не хотел признаться.

Он обратился к стажерке, юной беспокойной девушке из Эритреи, и попросил разыскать сестру Мэри Джозеф Прейз и напомнить, что доктора и медсестры не могут позволить себе роскоши болеть.

– Спросите ее, будьте любезны (губы перепуганной девчонки шевелились, точно она старалась заучить его слова наизусть, тем временем палец хирурга исследовал внутренности больного куда внимательнее, чем глаза), помнит ли она, что я вернулся в операционную на следующий день после того, как сам себе ампутировал палец?

Это произошло пять лет тому назад и обозначило важную веху в жизни Стоуна. Ковыряясь в заполненной гноем брюшной яме, он умудрился всадить кривую иглу, зажатую в держателе, в мякоть собственного указательного пальца. Стоун немедленно скинул перчатку и сделал себе подкожную инъекцию акрифлавина, 1 миллилитр раствора 1:500, прямо в канал, оставленный предательской иглой. Затем он обколол также окружающую ткань. Палец окрасился в оранжевый цвет, распух и превратился в подобие гигантского леденца. Но, несмотря на принятые меры, красная полоса поползла от пальца к сухожильному влагалищу. Таблетки сульфатриады перорально и уколы драгоценного пенициллина внутримышечно (доктор Гхош настоял) тоже не помогли: пурпурные прожилки, верный знак стрептококковой инфекции, показались на запястье, а лимфоузел возле локтя сделался размером с мячик для гольфа. Хирурга стал пробирать озноб, зубы защелкали, и койка затряслась. (Позже в его знаменитом блокноте появился очередной «Афоризм Стоуна»: «Если зубы щелкают, это всего лишь дрожь, ну а если койка трясется, это – настоящий озноб».) Он был вынужден принять быстрое решение: ампутировать себе палец, пока инфекция не распространилась дальше.

Стажерка подождала, не присовокупит ли он еще чего, а Стоун тем временем извлек из разреза червеобразный отросток и распрямил, будто рыбак пойманную добычу на палубе судна. На кровоточащие сосуды хирург снайперским движением поставил зажимы, затем перевязал ведущие к аппендиксу сосуды кетгутом и убрал все свисающие зажимы. Движения его были столь стремительны, что пальцев было не разглядеть.

Стоун протянул стажерке свою правую руку для осмотра. Через пять лет после ампутации ладонь на первый взгляд казалась совершенно нормальной, и только если присмотреться получше, становилось заметно, что указательный палец отсутствует. Эстетически этому способствовало то, что палец был удален целиком, между большим и средним пальцем не

осталось никакой культуры, зазор пошире, вот и все. Четырехпалые перчатки, изготовленные по спецзаказу, еще больше способствовали иллюзии. Физический недостаток не чинил помех в работе, средний палец с течением времени приобрел такую же ловкость, что и указательный, и к тому же был длиннее. Это, к примеру, позволяло извлечь аппендикс из его укрытия за слепой кишкой с большей ловкостью, чем у любого из ныне живущих хирургов. Стоун мог одними пальцами завязать узел в самой глубине операционного поля возле печени, тогда как другим хирургам требовался иглодержатель. Позже, уже в Бостоне, он на практике иллюстрировал свое знаменитое напутствие интернам: *Semper per rectum, Per anum salutem*, если не засунешь палец, дашь маху, – показывая, как его средний даже здесь догнал и перегнал указательный.

Никто из учеников Стоуна не пренебрегал ректальным исследованием пациента, и не только потому, что доктор вколотил им в головы: «Большинство раковых опухолей толстого кишечника прячутся в прямой и сигмовидной кишке и легко прощупываются пальцем», но также и по той простой причине, что он сразу выгнал бы за такое упущение. Многие годы спустя в Америке ходила такая байка. Якобы один из стажеров Стоуна, человек по фамилии Пастор, осмотрев пьяного и вроде бы утешив его недуг, уже ночью вдруг вспомнил, что забыл тому засунуть палец в прямую кишку. В страхе, что шеф покарает его за недосмотр, Пастор вскочил и ринулся в ночь. Пациента он обнаружил в баре и за бокал пива уговорил спустить штаны и подвергнуться осмотру – «благословил», так сказать. Только тогда угрызения совести стихли.

В день родов сестры Мэри Джозеф Прейз стажерка в Третьей операционной была прехорошенькая – а пожалуй, что и чрезвычайно красивая, – девушка из Эритреи. К сожалению, ее подчеркнута суровый настрой и слишком серьезное отношение к работе заставляли людей забыть о ее молодости и красоте.

Не задавая лишних вопросов, она бросилась разыскивать мою маму. Стоуну, разумеется, и в голову не пришло, что его слова могут принести боль. Как это часто бывает с застенчивыми и талантливыми людьми, Стоуну прощали его неумение ладить с окружающими, то, что доктор Гхош назвал «светской неотесанностью». Может, это неумение и раздражало других, но прочие качества незаурядного человека перевешивали этот недостаток.

В год нашего рождения стажерке не исполнилось и восемнадцати, и она еще не очень понимала, что важнее: каллиграфическим почерком заполнять историю болезни (это так нравилось матушке-

распорядительнице) или проявлять деятельную заботу о пациентах.

Из пяти стажерок школы медсестер Миссии самый большой стаж был именно у нее, и она очень тем гордилась, стараясь пореже вспоминать, почему так вышло. А штука была в том, что она осталась на второй год. Как выразился доктор Гхош, «занималась по долгосрочной программе».

Сирота с детства (оспа унесла ее родных и чуть тронула щеки ей самой), она с младых лет выказала себя усердной зубрилой – качество, которое старались в ней развить итальянские монахини, сестры Nigrizia, воспитывающие ее в приюте в Асмаре. Девочка демонстрировала прилежание, словно это была не просто добродетель, а дар Божий вроде родинки или шестого пальца. Какие надежды она подавала в детстве и отрочестве, перепрыгивая через классы в церковной школе в Асмаре, на каком прекрасном итальянском бегло говорила (не то что многие жители Эфиопии, в чьем киношно-ресторанном итальянском напрочь отсутствовали предлоги и местоимения), как превосходно знала таблицу умножения на девятнадцать!

Можно сказать, сама история определила юную девушку в Миссию. Ее родной город Асмара был столицей Эритреи, колонии Италии с 1885 года. Итальянцы при Муссолини в 1935 году вторглись из Эритреи в Эфиопию, тогда мировые державы и не подумали заступиться. Когда Муссолини поставил на Гитлера, его судьба была предрешена, и к 1941-му отряд полковника Уингейта «Сила Гедеона» нанес итальянцам поражение и освободил Эфиопию. Союзники преподнесли императору Эфиопии Хайле Селассие необычный подарок: прирезали старую итальянскую колонию Эритрею к вновь освобожденной территории Эфиопии. Император как мог лоббировал это решение, его не имеющая выхода к морю страна получала порт Массава, не говоря уж о прекрасном городе Асмаре. Похоже, британцы хотели покарать Эритрею за длительное сотрудничество с итальянцами, тысячи эритрейских аскари сражались в рядах итальянской армии, убивали своих черных соседей и умирали бок о бок со своими белыми хозяевами.

Для эритрейцев присоединение их земель к Эфиопии было тяжким ударом, как если бы освобожденную Францию вдруг присоединили к Англии по той лишь причине, что обе страны населяют белые, которые едят капусту. Эритрейцы тут же начали партизанскую войну за свободу.

Но в присоединении Эритреи к Эфиопии были и свои плюсы: так, стажерка получила стипендию на обучение в единственном в стране медицинском училище в Аддис-Абебе, в госпитале Миссии, – первая юная девушка из Эритреи, столь высоко отмеченная. До этой самой точки ее

восхождение к вершинам образования было блистательным и беспрецедентным, образцом для ровесников. Самое время судьбе вмешаться и подставить ножку.

Правда, в том, что карьера юной медсестры в клинике не заладилась, судьба оказалась ни при чем, как ни при чем были и затруднения с амхарским и английским языками (которые она достаточно быстро освоила). Зато выяснилось, что хорошая память («зубрежка», по определению матушки) ни к чему, когда надо у постели больного определить, угрожает ли что-нибудь его жизни. Да, конечно, она могла словно мантру повторить названия всех черепно-мозговых нервов (чтобы ее собственные нервы успокоились). Она могла верно смешать все компоненты *Mistura Carminativa* (один грамм бикарбоната натрия, два миллилитра нашатырного спирта и тинктуры кардамона, ноль шесть миллилитра настойки имбиря, один миллилитр хлороформа, долить мятной водой до тридцати миллилитров) от диспепсии. Но у нее никак не получалось то, что выходило у ее соучениц играючи, – развить в себе единственный дар, которого, по словам матушки, ей недоставало. Чутье сестры милосердия. Единственное упоминание об этом самом чутье, которое имелось у нее в тетради и которое она затвердила назубок, повергало девушку в тяжкое недоумение и вызывало только злость.

Чутье сестры милосердия важнее знаний, хотя знания только улучшают его. Чутье сестры милосердия – качество, которое невозможно определить, хотя оно неоценимо в случае наличия, а его отсутствие бросается в глаза. Если перефразировать Ослера, медсестра с знанием, но без чутья подобна моряку на достойном корабле, но без карт, секстанта или компаса. (Разумеется, сестра без книжного знания вообще не должна выходить в море!)

Во всяком случае, наша стажерка вышла в море – уж в этом-то она была уверена. Полная решимости доказать, что карта и компас у нее имеются, она кидалась исполнять любое поручение, до того ей не терпелось показать свой профессионализм и продемонстрировать свое чутье сестры милосердия (или скрыть отсутствие такового).

По переходу между операционной и прочими помещениями госпиталя она мчалась, будто за ней гнался джинн. Пациенты и родственники оперируемых сидели на корточках (а то и скрестив ноги) по обе стороны прохода. Босоногий мужчина, его жена и двое маленьких детей трапезничали: совали куски хлеба в миску с чечевичным карри, а младенец, почти полностью скрытый материнской шамой, сосал грудь. Семейство тревожно обернулось при виде бегущей девушки, что придавало ей важности

в собственных глазах. Во дворе женщины в белых шамах и алых платках обступили скамейки амбулаторных больных, ну вылитые куры с цыплятами, если смотреть издали.

Она взбежала по лестнице к комнате мамы. На стук никто не ответил, но дверь оказалась незаперта. В полумраке сестра Мэри Джозеф Прейз лежала под одеялом, повернувшись лицом к стене.

– Сестра? – негромко осведомилась стажерка и, услышав в ответ стон, приняла его за знак пробуждения. – Доктор Стоун прислал меня сказать... – Она с облегчением припомнила все, что ей велели передать, подождала ответа и, не дождавшись, подумала, что мама за что-то на нее рассердилась. – Я бы вас не беспокоила, меня доктор Стоун прислал. Извините. Надеюсь, вам лучше. Вам что-нибудь нужно?

Она помедлила еще, пожала плечами и покинула комнату. Поскольку доктору Стоуну в ответ ничего передать не велели, да к тому же начинались занятия по педиатрии, в Третью операционную она не вернулась.

Только во второй половине дня Стоун попал в сестринское общежитие. К тому времени он произвел одну аппендэктомия*, две гастроэностомии** в связи с пептическими язвами***, вправил три грыжи, прооперировал водянку яичка, произвел частичную резекцию щитовидной железы и пересадил участок кожи, но, по его понятиям, все это проходило недопустимо медленно. Он понял, что скорость его работы как хирурга в значительной степени – куда более значительной, чем он мог себе представить, – зависела от сноровки сестры Мэри Джозеф Прейз... Почему он должен забивать себе всем этим голову? Где его ассистентка? И когда она вернется?

* Операция удаления червеобразного отростка слепой кишки при его воспалении – аппендиците.

** Хирургическая операция, заключающаяся в соединении тонкой кишки с отверстием, сделанным в желудке.

*** Местное повреждение ткани внутренней оболочки того отдела пищеварительного тракта, который подвергается действию желудочного сока. Пепсин – основной желудочный фермент, который принимает участие в расщеплении белков.

На стук в дверь угловой комнаты на третьем этаже никто не ответил. Появилась жена рецептурщика с намерением заявить протест против вторжения мужчины. Хотя матушка-распорядительница и сестра Мэри были единственными монахинями на всю Миссию, жена рецептурщика, казалось, тоже не прочь была присоединиться к какому-нибудь воинствующему ордену. Голова у нее была повязана кушаком, распятие на

шее никак не меньше револьвера, юбка белая, словно монастырское облачение, – страж невинности, да и только. Будто паучиха, она легко отличала мужские шаги на вверенной ей территории. Однако, увидев, кто это, воительница отступила.

Стоун ни разу не был в комнате сестры Мэри Джозеф Прейз. Печатала и иллюстрировала его рукописи она или у него на квартире, или в кабинете рядом с клиникой.

Он повернул дверную ручку, позвал:

– Сестра! Сестра!

В нос ударил знакомый запах, не на шутку встревоживший, только было непонятно, откуда он взялся.

Доктор провел рукой по стене в поисках выключателя и не нашел его. Выругался, шагнул к окну, ударился о комод, потянул на себя рамы и распахнул деревянные ставни. Узкую комнату залил свет.

Солнечные лучи высветили стоящую на комодe тяжелую банку с завинчивающейся крышкой, доверху заполненную янтарной жидкостью. Поначалу ему показалось, что в банке какая-то реликвия, мощи. Тело покрылось мурашками, когда, опережая разум, узнало, что это. В жидкости, ногтем вниз (вылитая балерина, привставшая на пуанты), плавал его палец. Кожа возле ногтя своей текстурой напоминала старый пергамент, а на подушечках проступали лиловые пятна инфекции. Сосущее чувство охватило Стоуна, правая рука отозвалась зудом, снять который мог бы только этот самый палец, если бы вернулся на законное место.

– Я и не знал... – повернулся он к своей ассистентке – и сразу забыл, о чем хотел сказать.

Сестра Мэри Джозеф Прейз лежала на узкой койке, и весь облик ее отражал страшные мучения. Губы синие, тусклые глаза устремлены в никуда, лицо заливают смертельная бледность. Стоун пощупал ей пульс. Частый и слабый. Нахлынуло непрощеное воспоминание о плавании на «Калангуте» – перед глазами встал образ сестры Анджали в лихорадке и коме. Подступило чувство, которое он, как хирург, испытывал нечасто: страх.

У него ослабели ноги.

Стоун опустился возле койки на колени.

– Мэри? – позвал он. Потом еще. Имя поначалу звучало как вопрос, потом как ласка, потом как признание в любви. – Мэри? Мэри, Мэри!

Она не отвечала. Не могла ответить.

Неслыханное дело, он потянулся к ее липу, поцеловал в лоб и с внезапной болезненной гордостью осознал, что любит ее, что он, Томас

Стоун, не только способен любить, что он не представляет себе жизни без нее – вот уже семь лет. Если он не сознавал этого, то лишь потому, что все произошло слишком быстро: вот он подхватывает ее на скользком трапе «Калангута» – и вот она уже выхаживает его, обмывает, возвращает к жизни. Он полюбил ее, когда она, напрягая все силы, перетаскивала его тяжелое тело в гамак, когда кормила с ложечки. Он полюбил ее, когда они вместе склонялись над телом сестры Анджали. Своего апогея любовь достигла, когда сестра Мэри Джозеф Прейз перебралась в Эфиопию, чтобы работать вместе с ним, и с тех пор это чувство не ослабевало. Ровное и сильное, оно обходилось без взлетов и падений, без приливов и отливов, так что он целых семь лет не замечал его, ибо воспринимал как нечто само собой разумеющееся, как сложившийся порядок вещей.

Любила ли его Мэри? Да, любила. В чем, в чем, а в этом он был уверен. Но, послушная его намеку – всегда послушная его малейшим желанием, – она помалкивала на этот счет. А он что делал все эти годы? Пользовался. Мэри, Мэри, Мэри. Даже звук ее имени оказался для него открытием, иначе как «сестра» он ее никогда не называл. В ужасе, что потеряет ее, он глухо зарыдал, но и в этом увидел проявление эгоизма, желание, чтобы она снова оказалась рядом. Сможет ли он все исправить? Разве можно быть таким дурнем?

Сестра Мэри едва ли заметила его прикосновение. Щека у нее была куда горячее, чем у него. Он поднял одеяло. Глазам его предстал сильно вздувшийся живот.

Он всегда руководствовался аксиомой, что когда у женщины вздут живот, это беременность, если только не доказано обратное. Но его разум не принял, отверг эту мысль: все-таки перед ним была монахиня. В голове замелькали возможные диагнозы: кишечная непроходимость... асцит... геморрагический панкреатит... словом, что-то серьезное в брюшной полости.

Ухватив Мэри в охапку, он протиснулся в дверь, кряхтя от напряжения, пронес ее вниз по лестнице, по переходу к операционной зоне. Монахиня оказалась куда тяжелее, чем, по мнению Стоуна, следовало.

В Эдинбурге в Королевском колледже хирургии главный экзаменатор задал ему вопрос на устном экзамене (письменный Стоун уже успешно сдал): «Что надо проделать с органом слуха в качестве первой помощи при шоке?» Ответ Стоуна: «Вложить в него слова поддержки!» – вошел в анналы. Но сейчас, будто забыв об ободряющих и укрепляющих дух словах, что принесли бы несомненный терапевтический эффект, доктор громко взывал о помощи.

На его вопли, подхваченные стражем невинности, сбежались все, включая сторожа Гебре, что примчался от главного входа в сопровождении больничной собаки Кучулу и двух безымянных псов-побродяжек.

Вид рыдающего Стоуна потряс матушку-распорядительницу не меньше, чем ужасное состояние сестры Мэри Джозеф Прейз.

«Господи, он опять!» – первое, что пришло матушке в голову.

Дело в том, что со дня своего прибытия в Миссию Стоун три или четыре раза впадал в запой (что составляло тщательно охраняемую тайну). Оставалось только недоумевать, как подобное могло стрястись с человеком, который почти не пил и до того обожал свою работу, что забывал про сон. Запой приходили с внезапностью инфлюэнцы и свирепостью одержимости. По графику назначенный на утро пациент уже должен был лежать на операционном столе... а доктор Стоун отсутствовал. Когда это произошло в первый раз, бросились на поиски. Расхристанный белый человек метался по своей квартире и что-то неразборчиво бормотал. Он не спал, не ел, по ночам выскальзывал в город, чтобы пополнить запасы рома. В последний раз пьяное существо забралось на дерево под своим окном и просидело на нем несколько часов, словно курица на насесте. При падении с такой высоты он бы точно размозжил себе голову. Матушка, глянув раз в налитые кровью бессмысленные глаза, уставившиеся на нее с высоты, бежала, поручив сестре Мэри и Гхошу вести уговоры и переговоры: слезайте, съешьте что-нибудь, протрезвитесь.

Запой заканчивались столь же внезапно, как и начинались. Два, максимум три дня – и Стоун, отоспавшись, как ни в чем не бывало возвращался к работе. Сам он никогда не упоминал о том, в какое неловкое положение поставил госпиталь, помалкивали на этот счет и окружающие: вдруг Стоун в своей непьющей ипостаси обидится. А производительность у этой непьющей ипостаси была такая, что и трем хирургам на полной ставке впору. А уж эти эпизоды... что ж, не такая большая цена.

Матушка оставила без внимания причитания хирурга насчет заворота кишок, непроходимости и туберкулезного перитонита.

– В операционную! – только и сказала она, а прибыв на место, присовокупила: – Положите ее на стол.

Глазам матушки предстала картина, которую она уже наблюдала семь лет тому назад: в области лобка одеяние сестры Мэри было пропитано кровью. Кровавое пятно на облачении вызвало точно такие же тревожные мысли. Матушка тогда не осмелилась напрямую спросить девятнадцатилетнюю девушку, в чем причина кровотечения. Неправильная форма пятна толкала наблюдателя на различные выводы, заставляла

фантазию матушки работать. По прошествии стольких лет память перевела событие из разряда таинственных в мистические.

Поэтому-то матушка смотрела на руки и грудь сестры Мэри Джозеф Прейз таким взглядом, будто ожидала увидеть кровоточащие стигматы, перерождение одной загадки в другую. Оказалось, однако, что кровь была только на вульве. Много крови. С темными сгустками. По бедрам стекали ярко-красные ручейки. У матушки не осталось никаких сомнений: на этот раз кровотечение никак не связано с религией.

Вздувшийся живот не привлек внимания матушки, она не сводила глаз с промежности. Синие половые губы вздулись, палец в перчатке выявил, что шейка матки полностью расширена.

Слишком много крови. Матушка применила тампоны и смогла получше рассмотреть заднюю стенку вагины. Когда из легких пациентки вырвался жалобный вздох, у матушки затряслись руки и она чуть не выронила зеркало. Наклонилась ниже, напряженно всмотрелась. Перед ней камнем на дне скважины маячила голова ребенка.

– Господи, да ведь она же... – произнесла матушка, когда к ней вернулся дар речи, кощунственное слово будто прилипло к гортани, – беременна.

Все свидетели, с которыми я позже говорил, запомнили это мгновение. Казалось, атмосфера в Третьей операционной сгустилась и даже громкое тиканье часов стихло.

– Не может быть! – прохрипел Стоун уже во второй раз за сегодняшний день, и хотя эти слова явно расходились с действительностью, присутствующие почему-то облегченно вздохнули.

Но матушка-то знала, что права.

И ведь это ей придется принимать ребенка. Доктора К. Хемлаты – а для них для всех Хемы – нет на месте.

Матушка приняла сотни детей и сейчас постаралась взять себя в руки.

Прочь сомнения! Но что ей делать со стыдом? Христова невеста – и беременна? Невероятно! Разум отказывался принять это. Но ведь вот оно, неопровержимое доказательство, голова ребенка – прямо у нее перед глазами!

Эти же мысли тревожили операционную сестру, босоногую санитарку и сестру Асквал – анестезиолога. Они засуетились вокруг стола, опрокинули стойку для капельницы. И только стажерка, которую мучила совесть за утренний недосмотр и неоказание помощи, все гадала, от кого понесла сестра Мэри.

Сердце матушки, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди.

– Господи, ну почему ребенок должен появиться на свет в таких жутких условиях? Беременность – смертный грех. Будущая мать мне вместо дочери. Обильное кровотечение, бледность...

Да тут еще и Хема, единственный гинеколог Миссии, не просто лучший специалист в стране, но лучше которого матушка никогда не встречала, в отсутствии.

Бакелли с Пьяццы худо-бедно разбирался в родовспоможении, но после двух часов дня к его услугам лучше было не прибегать, и к тому же его теперешняя любовница-эфиопка с глубоким подозрением относилась к «вызовам на место». Жан Тран, улыбчивый полуфранцуз-полувьетнамец, был на все руки мастер. Но даже если предположить, что кого-то из этих двоих найдут, сколько времени пройдет, пока кто-нибудь из мужчин явится.

Нет, придется все сделать самой, забыть о том, что беременная – монахиня, сосредоточиться, вздохнуть и принять роды. Самые обычные.

Но в тот день события никак не желали идти обычным путем.

Стоун стоял, ожидая от матушки указаний, а матушка ждала, когда выйдет младенец. Хирург то скрещивал руки на груди, то опускал. Он видел, что сестра Мэри Джозеф Преиз все сильнее бледнеет. И когда медсестра Асквал голосом, полным отчаяния, возвестила о кровяном давлении («Систолическое – восемьдесят, прощупывается»), Стоун зашатался, словно вот-вот потеряет сознание.

Несмотря на маточные сокращения и на раскрытую шейку, ничего не происходило. Голова младенца в глубине чем-то напоминала матушке лысину епископа, торчащую из воротника. Но епископ не двигался. Да еще это кровотечение! Большая темная лужа образовалась на столе, а кровь все прибывала. Для родильных палат и операционных кровь – дело привычное, но уж очень ее было много.

– Доктор Стоун, – пролепетала матушка трясущимися губами, но Стоун никак не мог понять, зачем она его зовет. – Доктор Стоун, – повторила матушка.

Та, у кого есть чутье сестры милосердия, обязана знать, где предел ее возможностей. Ради всего святого, ей нужно произвести кесарево сечение. Но матушка не произнесла этих слов, неизвестно еще, как бы они подействовали на Стоуна. Вместо этого она отодвинулась, уступая место между раздвинутых ног сестры Мэри, и жестом пригласила Стоуна.

– Доктор Стоун. Ваш пациент, – сказала она человеку, которого все считали моим отцом. Тем самым она вверяла ему не только жизнь женщины, которую он любил, но и наши две жизни – мою и брата. Тех, кого он предпочел возненавидеть.

Глава третья. Врата слез

Когда у сестры Мэри Джозеф Прейз начались схватки, доктор Калпана Хемлата, женщина, которую мне суждено будет называть мамой, находилась на расстоянии пятисот миль от Третьей операционной – на высоте в десять тысяч футов. Под крылом самолета открывался чудесный вид на Баб-Эль-Мандеб, или Врата Слез, прозванный так из-за неисчислимых кораблекрушений, происшедших в этом узком проливе, что отделяет Йемен и прочую Аравию от Африки. На этой широте Африку представляют лишь Эфиопия, Джибути и Сомали, занимающие Африканский Рог. Хема проследила взглядом, как Врата Слез из трещинки шириной с волосинку превращаются в Красное море, простирающееся на север до самого горизонта.

Мадрасской школьницей Хема на уроках географии помечала на карте Британских островов, где производится шерсть и уголь. Африка в школьной программе представляла собой некую площадку, где сталкивались интересы Португалии, Британии и Франции, где Ливингстон открыл живописный водопад, который назвал в честь королевы Виктории, и где Стэнли нашел Ливингстона. В будущем, когда мы с братом Шивой и Хемой отправились в путешествие, она припомнила свои уроки географии.

– Представьте себе полоску воды вроде разреза на юбке, которая разделяет Саудовскую Аравию и Судан, а выше – Иорданию и Египет. Полагаю, Бог старался оградить Аравийский полуостров от Африки. Почему бы и нет? Что общего между людьми с противоположных берегов?

Венчает разрез узкий перешеек, Синайский полуостров, по замыслу Господню соединяющий Египет и Израиль. Рукотворный Суэцкий канал связывает Красное море со Средиземным и позволяет судам не пускаться в долгое плавание вокруг континента. Хема часто нам рассказывала, что именно над Вратами Слез на нее снизошло просветление, которое изменило всю ее жизнь.

– В этом самолете я услышала зов. Теперь-то я знаю: это были вы.

Казалось бы, трясущаяся военно-десантная жестянка – не слишком подходящее место для прозрения. А вот поди ж ты...

Хема сидела на боковой деревянной скамейке, что тянулась вдоль ребристого фюзеляжа DC-3. Она и не подозревала, что именно сейчас ее услуги позарез нужны в Миссии, в госпитале, где она трудилась вот уже девять лет. Полчаса полета, полчаса назойливого громкого жужжания двух

моторов – и ей стало казаться, что зуд поселился в ее теле навеки. Жесткая скамья, тряска, боль в спине – ее точно везли с горки на горку по ухабистой дороге в телеге, запряженной волами.

С ней вместе из Адена в Аддис-Абебу летели индусы из Гуджарата, малайцы, французы, армяне, греки, йеменцы и еще несколько человек, определить национальность которых по платью и говору было затруднительно. На самой Хеме было белое хлопковое сари, желтоватая блуза без рукавов, а ее левую ноздрю украшал бриллиант. Волосы у нее были посередине разделены на пробор и сзади заколоты, а через плечи перекинуты косички.

Она села так, чтобы глядеть в иллюминатор. По воде скользил серый дротик – тень от самолета, будто громадная рыбина следовала за ними по пятам. Море казалось прохладным и манящим – не то что внутренности самолета, где вроде бы стало не так душно, но коктейль из ароматов человеческих тел только сгустился. От арабов пахло затхлым амбаром, азиаты вносили нотку имбиря и чеснока, от европейцев веяло прокисшим молоком и детской.

За наполовину задернутой занавеской виднелся профиль пилота. Когда летчик оборачивался, чтобы взглянуть на груз, зеленоватые тени скрадывали его лицо, один нос торчал. Садясь в самолет, Хема обратила внимание на его бледный лоб и красные, как у мангуста, глаза. В дыхании его ощущался запах можжевельных ягод – свидетельство пристрастия к джину. Хема почувствовала к мужчине отвращение еще прежде того, как он разинул рот и, поторапливая пассажиров, гаркнул "Allez!«- словно перед ним были не люди, а животные. Ей стоило большого труда сдержаться – все-таки этот человек поднимет их в воздух.

Лицо летчика с оттопыренными ушами напоминало рисунок ребенка, сделанный карандашом на оберточной бумаге. Но подробностей – сеточку сосудов на щеках, черные крашенные бакенбарды, белое кольцо помутневшей роговой оболочки вокруг зрачка, седые брови – ребенок уже не изобразил бы. Она поражалась, как человек может не видеть в зеркале, насколько нелепа его внешность.

Хема пригляделась к собственному отражению в иллюминаторе. Лицо у нее тоже круглое, широко открытые глаза, задорный кукольный нос. Выделялось красное pottu посередине лба. Кобальт морской воды, коснувшийся щек, придавал ей чуть воинственный вид и подчеркивал необычный для индуски зеленый цвет глаз.

– Твои глаза влекут всех мужчин, они у тебя всегда страстные, чувственные, – говаривал доктор Гхош. – Они сводят меня с ума!

Гхош был насмешник и пустослов. Сказал – и забыл. Но эти слова запали Хеме в душу. Она припомнила волосатые руки Гхоша и содрогнулась. Волосатость с детства выводила ее из себя, хоть она и знала, что это всего-навсего предрассудок. А Гхоша шерсть покрывала, будто гориллу, завитки волос пробивались из-под майки и налезали на воротничок.

– Сводят с ума? Вот распутник, – пробормотала она с улыбкой, словно Гхош сидел напротив нее.

Но в одном Гхош был прав, следует отдать ему должное. Стоило ей посмотреть на мужчину хоть на секундошку дольше, чем следовало, как излишнее внимание со стороны представителя противоположного пола было обеспечено. Отчасти поэтому она носила особо большие очки, отчего глаза за стеклами казались меньше и тусклее. Ей нравился в себе задорный изгиб верхней губы... а вот щеки казались слишком уж пухлыми. Что поделаешь? Она крупная женщина. Не толстая, а крупная... Ну, может, чуть толстовата, пару-другую лишних килограммов она в Индии прибавила, но разве откажешься от вкуснейшей маминой стряпни? Ничего, я высокая, убеждала она себя. В сари почти ничего не заметно.

Она проворчала под нос что-то невнятное, вспомнив, что доктор Гхош придумал для нее особое определение: корпулентная. Годы спустя, когда индийские фильмы с их песнями и танцами завоюют Африку, ребята из отделения скорой помощи в Аддис-Абебе назовут ее Мать Индия, причем вовсе не в насмешку, а со всем почтением к душещипательной ленте с тем же названием, в которой играла Нарджис. «Мать Индия» целых три месяца шла в «Театре Империи», а затем переместилась в «Синема Адова», точно так же безо всяких субтитров. Ребята из отделения скорой помощи распевали Duniya Mein Hum Aaye Hain – «Мы прибыли в этот мир», не зная ни слова на хинди.

«Если уж я корпулентная, то каков ты? – пробормотала Хема, мысленно оглядывая старого приятеля с головы до пят. Красавчиком его назвать было трудно. – Как насчет „чокнутый“? Сильно сказано, конечно, но тебе ведь правда нет никакого дела до собственной внешности. Прямотаки искушение для всех остальных. Неухоженность превращается в привлекательность. Говорю это потому, что ты далеко. Находиться рядом с человеком, чья самоуверенность порядком превосходит первое о нем впечатление, – это искушение».

Во время отпуска имя Гхош самым таинственным образом то и дело всплывало в разговорах с матерью. Хотя Хема и не выказывала никакого интереса к замужеству, мать все равно была в ужасе, что дочь выскочит за

человека не из браминов, вот вроде Гхоша. Хотя с другой стороны, Хеме уже под тридцать, и самый заваливающий муж был бы все-таки лучше, чем вовсе никакого.

– Говоришь, он некрасив? А что с цветом кожи?

– Мама, он светлокожий... светлее меня, и у него карие глаза. Как у парса, бенгальца... Может, у кого-то еще.

– А он кто?

– Он называет себя «высшей кастой мадрасских дворняжек», – хихикнула Хема.

Мать сразу насупилась, и Хема сменила тему.

Ко всему прочему, невозможно было достоверно описать Гхоша человеку, который его никогда не видел. Она могла бы рассказать, что волосы у него гладко причесаны и разделены на пробор, – вид вполне благообразный... с утра и в течение минут десяти, после чего на голове воронье гнездо. Она могла бы рассказать, что в любое время дня щеки у него щетинистые, даже если доктор только что побрился. Она могла рассказать, что у него имеется животик, который он невольно выпячивает и который поддрагивает при ходьбе. Да еще голос... резкий и пронзительный, словно кто-то выставил регулятор громкости на максимум, да так и оставил. Как убедить мать, что все эти качества вместе взятые вовсе не отталкивают, а, напротив, придают Гхошу странную привлекательность?

Несмотря на сыпь на руках – след от ожога, – пальцы у него были чувствительные. Причиной ожога послужил древний рентгеновский аппарат «Келли-Коэт». При одной мысли об этом музейном экспонате Хема выходила из себя. В 1909 году император Менелик, прослышав о замечательном изобретении, которое вмиг разделается со всеми его врагами, закупил электрический стул. Когда оказалось, что стулу нужно электричество, император нашел ему применение в качестве трона. Похожая история случилась и с рентгеновским аппаратом. «Келли-Коэт» в тридцатые годы выписала американская миссия, которая, впрочем, быстро осознала, что электричество в Аддис-Абебу подается с перебоями, а напряжение в сети недостаточно. Когда американцы убралась, драгоценный аппарат так и остался нераспакованным. Госпиталю Миссии рентгеновский аппарат был нужен позарез, и Гхош, поколдовав над ним, подключил устройство через трансформатор.

Никто, кроме Гхоша, не осмеливался прикоснуться к чудовищу. Пук кабелей шел от гигантского выпрямителя к трубке Кулиджа, смонтированной на направляющих, по которым ее можно было перемещать туда-сюда. Гхош трудился над круговыми шкалами и переключателями

напряжения, пока между двумя латунными проводниками с оглушительным треском не проскакивала искра. Эту огненную дугу, при виде которой один парализованный соскочил с носилок и кинулся наутек, Гхош прозвал «лечебный курс Sturm und Drang». Уж тридцать лет, как компания-производитель канула в лету, а хитрое устройство тщаниями Гхоша все еще было на ходу. На экране он наблюдал за бьющимся сердцем и за кавернами в легких, мог определить, где образовалась опухоль – на кишке или на селезенке. Первое время он не считал нужным возиться с перчатками или свинцовым фартуком, и последствия такого обращения четко проявились на коже рук.

Хема попыталась представить себе, какими словами Гхош рассказывает о ней своей матери.

Ей двадцать девять лет. Да, в Мадрасском медицинском колледже мы учились на одном курсе, но она на несколько лет меня младше. Понятия не имею, почему она не замужем. Пока мы не поработали интернами в инфекционном отделении, мы были едва знакомы. Она акушерка. Из касты браминов. Да, из Мадраса. Она уже девять лет живет и работает в Эфиопии.

Эти сведения определяли биографию Хемы и вместе с тем почти ничего о ней не говорили и ничего не объясняли. Прошлое бежит от путника, подумалось ей.

Хема закрыла глаза и представила себя девочкой с двумя хвостиками на голове, в длинной белой юбке и белой блузе под половинкой лилового сари. В средней школе миссис Худ в Милапоре все девочки были обязаны носить эту самую половинку, кусок ткани, раз обернутый вокруг юбки и скотый на плече булавкой. Хема терпеть не могла эту одежду: ни то ни се, не взрослая и не ребенок, а какая-то полуженщина. Учительницы носили полноценные сари, а сама distinguished госпожа директор щеголяла в юбке. Хема довозмущалась до того, что заработала отцовскую нотацию.

Ты хоть сознаешь, как тебе повезло, что директрисой у вас британка? Знаешь, сколько народу стремилось попасть в эту школу, готовы были заплатить вдесятеро, но миссис Худ их не приняла. Для нее только личные достоинства играют роль. Или ты хочешь в мадрасскую муниципальную школу?

Так что Хема была принуждена изо дня в день носить ненавистную одежду, и ей казалось, будто, полураздетая, она выставляет на продажу частицу своей души.

Велу, сын соседа, одно время бывший ее лучшим другом, но годам к

десяти сделавшийся совершенно невыносимым, любил забираться на разделявшую участки стену и дразниться:

Девчонки в лиловых юбчонках, парле-ву?

Девчонки в лиловых юбчонках, парле-ву

с Юбчонки лиловые,

Девчонки фиговые,

У миссис Худ

Никак не растут и ревут, парле-ву!

Она не обращала на него внимания. Велу, особенно смуглый по сравнению с ней, не уставал повторять:

– Ты так гордишься своей светлой кожей. Смотри, как бы обезьяны не приняли тебя за плод хлебного дерева и не надкусили.

Вот Хеме одиннадцать лет, она отправляется в школу, велосипед «Рэли» кажется таким огромным рядом с ней, с плеча свисает санджи с кистями (там учебники), ремешок впивается в тело между грудей. В ее фигуре, движениях, в том, как неторопливо она крутит педали, уже угадывается будущая солидность.

Велосипед, некогда такой громадный и страшный, становится под ней все меньше, а груди по обе стороны ремешка от санджи делаются все больше, на лобке пробиваются волосы (как бы Велу ни дразнился, она все-таки растет). Хема хорошо учится, она староста, капитан волейбольной команды, подает большие надежды в «Бхаратанатьям»*, точно повторяет самые сложные комбинации движений в танце, увидев их всего один раз.

* Самый древний исторически задокументированный танец-театр, его возраст более 5000 лет. Слог «бха» означает «бхава» – чувства, эмоции; «ра» – «рага», мелодия; «та» – «талам», искусство ритма; «натьям» означает «танец».

Она не стремится в компании и не старается отгородиться от людей.

«Что это ты вечно такая сердитая?» – спросила раз у Хемы близкая подруга, и та очень удивилась и даже немного испугалась. Ее независимость приняли за недовольство. В медицинском колледже (на ней уже было полноценное сари, и ездила она на автобусе) это качество (независимость, а не недовольство) проявилось вполне. Кое-кто из сокурсников считал ее зазнайкой. Прочие поначалу липли как мухи на мед, но очень скоро понимали, что ничего из этого не выйдет. Мужчинам от подруг требовалась гибкость, а из нее никак не выходило ни жеманницы, ни дурочки. Парочки, со словами любви жавшиеся в библиотеке друг к другу над огромными анатомическими атласами, вызывали у нее изумление.

У меня нет времени на такие глупости.

Однако на чтение бульварных романов о похождениях какой-нибудь Бернадетты в замках и коттеджах время находилось. Она пускалась в фантазии о красавцах и смельчаках из богатого поместья со звучным названием вроде Чиллингфореста, Локкингвуда или Ноттипайна. В этом была ее беда – она грезила о любви, далеко превосходящей книжную. Ко всему прочему, ее переполняли неясные амбиции, ничего общего с любовью не имеющие. Чего именно ей хотелось? Трудно сказать. Во всяком случае, не того, к чему стремились другие.

Когда в Мадрасском медицинском колледже вдруг оказалось, что Хема питает особо восторженное чувство к профессору терапии (единственному индусу в учебном заведении, где даже после прихода независимости большинство штатных профессоров были британцы), восхищается его человечностью, знанием предмета (учти, Хема, это – страсть), когда оказалось, что она хочет к нему в дублиеры, а он согласен, она решительно сменила специализацию. Нельзя, чтобы кто-то получил над ней такую власть. И она выбрала акушерство и гинекологию, а не терапию. Если предмет профессора был неограниченно широк, от инфаркта до полиомиелита включительно, и требовал соответствующих знаний, то Хема выбрала иное поле деятельности, значительно более узкое и включающее в себя механический компонент – операции. Их перечень был не столь обширен: кесарево сечение, гистерэктомии, пролапс.

Она открыла в себе талант к манипуляционному акушерству, заделалась экспертом в определении предлежания плода, находила вкус в том, чего прочие акушеры просто боялись. Она вслепую могла определить, какие это щипцы, левые или правые, и правильно применить их, даже если ее разбудить ночью. Она могла наглядно представить себе изгиб таза пациентки и сопоставить его с формой черепа младенца, верно направить щипцы и ловко извлечь ребенка.

За границу она поехала под влиянием внезапного порыва. Но Мадрас остался у нее в сердце. Она долго еще плакала по вечерам, стоило ей представить, как родители рассаживаются на стульях на свежем воздухе в ожидании ветерка с моря, который обязательно задувал в сумерки даже в самые жаркие и душные дни. А уехала она потому, что все были решительно настроены против браминов и она бы никогда не получила должность в государственной больнице и не приобрела необходимый опыт. Ей было приятно думать о том, что она сама, Гхош, Стоун и сестра Мэри Джозеф Преиз работали и стажировались в Мадрасе в Правительственной больнице общего профиля, пусть и в разное время. Тысяча пятьсот коек и

еще два раза по столько мест между койками и под ними – целый город, что ни говори. Сестра Мэри Джозеф Прейз тогда еще была послушницей, подающей большие надежды стажеркой, – как это они не встретились! И, подумать только, Томас Стоун тоже какое-то время пребывал в должности в Правительственной больнице! Правда, родильный дом находился в отдельном здании, так что пути Хемы со Стоуном никак не могли пересечься.

Позади остался Мадрас, позади осталась ее каста со всеми условностями, здесь слово «брамин» не значило ровным счетом ничего. Работая в Эфиопии, она каждые три-четыре года старалась выбраться домой. Вот и сейчас она возвращалась уже после второй такой поездки. Она сидела в грохочущем самолете и размышляла, правильный ли совершила выбор. За последние несколько лет она, кажется, нащупала верное определение амбициям, забросившим ее в дальние края. Любой ценой избегать стадности.

В Миссии она сразу почувствовала себя в своей тарелке, совсем как в Правительственной больнице общего профиля, только размах не тот: очереди, целые семьи разбивают лагерь под деревьями и с бесконечным терпением ждут (а что еще им остается?). По правде говоря, ей доставляли тайное удовольствие экстренные случаи, когда душа уходила в пятки, на счету была каждая секунда и жизнь матери или младенца висела на волоске. В такие мгновения всякие сомнения в правильности выбора улетали прочь, жизнь приобретала резкие очертания, исполнялась значения безо всяких мысленных усилий, и Хема становилась лишь инструментом спасения.

Правда, в последнее время она остро чувствовала разрыв между своей практикой в Африке и достижениями медицины, что применяются в Англии и Америке. Си Уолтон Лиллехай из Миннеаполиса именно в этом году открыл эру операций на остановленном сердце с использованием аппарата искусственного кровообращения. Изобрели вакцину против полиомиелита, хоть она еще и не добралась до Африки. В Гарварде, штат Массачусетс, доктор Джозеф Мюррей успешно пересадила почку от одного родственника другому. Она видела в «Тайм» его фото – самый обычный с виду парень. А что, если и она способна на серьезное открытие?

Хема всегда обожала истории вроде той, как Пастер открыл микробов или как Листер ставил эксперименты с антисептикой. Для каждого индийского школьника примером был сэр Ч. В. Раман, чьи несложные эксперименты со светом были удостоены Нобелевской премии*. Но сейчас она проживала в стране, которую не всякий мог найти на карте.

(«Африканский Рог, верхняя половина, восточное побережье, та его часть, что смахивает на голову носорога и указывает на Индию», – объясняла она.) Еще меньше людей знало про императора Хайле Селассие или помнило, что журнал «Тайм» в 1935 году провозгласил его «человеком года», не говоря уже о стране, от имени которой тот обратился в Лигу Наций.

* Чандрасекхара Венката Раман получил Нобелевскую премию в 1930 году за эксперименты по рассеянию света и за открытие эффекта, получившего название «рамановское рассеяние» (комбинационное рассеяние); это открытие положило начало целому направлению в экспериментальной физике.

Конечно, на прямой вопрос Хема бы ответила: «Да, я занимаюсь любимой работой, которая меня вполне удовлетворяет». Только что еще она могла сказать? Статьи в «Хирургической гинекологии и акушерстве» (ежемесячные номера прибывали морем в покрытых пятнами крафтовых конвертах и с опозданием в несколько недель) казались ей фантастикой, восхищали и вместе с тем бесили, тем более что новости были уже несвежие. Она убеждала себя, что ее работа, ее тяжкий труд в Африке определенным образом способствует прогрессу, вести о котором приносит журнал. Но в глубине души знала, что это не так.

Послышался новый звук – скрежет дерева о металл. В хвосте самолета стояли две громадные деревянные клетки, там же громоздились штабеля цыбиков с чаем, перевязанные тонкими лентами со штампом LONGLEITH ESTATES, S. INDIA. Привязанная к распоркам сетка не позволяла грузу обрушиться на пассажиров, зато туда-сюда по полу он елозил свободно. Под ногами валялись пухлые джутовые мешки. Стершиеся армейские надписи виднелись на полу и на серебристом фюзеляже. Здесь когда-то размышляли о своей судьбе американские солдаты, переброшенные в Северную Африку, а может, и сам генерал Паттон. Или же самолет когда-то принадлежал французам и летал в колониях вроде Сомали и Джибути? Мысль перевозить пассажиров явно пришла владельцам авиалинии с их б/у самолетами и пожилыми пилотами в последнюю минуту. Престарелый летчик кричал что-то в микрофон, оживленно размахивал руками, прерывался, чтобы выслушать ответ, и снова начинал орать. Пассажиры, сидевшие ближе к носу, нахмурились.

Хема еще раз вытянула шею, чтобы посмотреть на ящик со своим «Грюндигом», но его не было видно. Стоило ей подумать о своем экстравагантном приобретении, как ее начинала мучить совесть. Хотя покупка до некоторой степени скрасила ночь в Адене. Этот город,

построенный в кратере дремлющего вулкана, – сущий ад на Земле, зато торгоя в нем беспощинная. Да еще и Рембо когда-то там жил... правда, не написал ни строчки.

Она прикинула, где именно поставит «Грюндиг» в своей гостиной. Лучше всего получалось под черно-белым изображением Ганди в рамке. А для Махатмы придется найти местечко поспокойнее.

Она представила себе, как Гхош потягивает свой бренди, а матушка, Томас Стоун и сестра Мэри Джозеф Преиз попивают херес или чай. Ее воображению явился образ Гхоша, вскакивающего на ноги при первых же тактах Take the «А» Train*. Потом следует нахальная мелодия – и не подумаешь никогда, что такое начало перетечет в такое продолжение. Ох уж эти первые аккорды... как она их слушала! И как сопротивлялась их обаянию – она терпеть не могла поклонения всему иностранному, столь расхожему среди индусов. Но эти ноты снились ей, она мурлыкала их про себя в ванной, – неблагозвучные, готовые разлететься на части, слитые воедино по одной лишь прихоти, эти ноты воплощали для нее все неординарное, смелое и достойное восхищения, что только было в Америке. Ноты, родившиеся в голове черного по имени Билли Стрэйхорн.

* Музыкальная композиция Уильяма Томаса «Билли» Стрэйхорна (1915-1967), которая стала особенно популярна в аранжировке Дюка Эллингтона и в исполнении Эллы Фитцджеральд.

С джазом и этой песенкой ее когда-то познакомил Гхош.

– Подожди... Внимание! Чувствуешь? – восклицал он, когда после вступительных аккордов полилась мелодия. – У тебя на лице сама возникает улыбка, от нее никуда не денешься.

И он был прав – таким броским и радостным оказался мотив. Ей очень повезло, что знакомство с западной музыкой началось именно с этой вещи. Хеме порой даже стало казаться, что она сама наткнулась на нее, а Гхош тут совершенно ни при чем. Просто курам на смех, до чего ей нравится Гхош, несмотря на все ее старания внушить себе отвращение к нему.

Но именно сейчас, когда в голове копошились все эти мысли и Хема уже предвкушала прибытие в Аддис-Абебу, с языка сорвалось имя бога Шивы: DC-3, рабочая лошадка воздушных перевозок, вдруг затрясся, словно смертельно раненный.

Она посмотрела в иллюминатор. Пропеллер с ее стороны резко сбавил обороты, а из-под внушительного обтекателя двигателя повалил дым.

Самолет заложил правый вираж, и Хему прижало к окну. Из груди пассажиров исторгся крик, чей-то термос шваркнулся о борт и, расплескивая чай, покотился дальше. Хема замахала рукой в поисках

перекладины, за которую можно было бы ухватиться, но тут самолет выровнялся и, казалось, завис в воздухе, после чего начал резко снижаться. Однако желудок ей тут же подсказал – никакое это не снижение, а падение. Гравитация ухватила серебристую птичку своими щупальцами и рванула вниз, в воду. Мягкого приводнения не будет, ведь у самолета колеса, а не поплавки, и вода мигом поглотит его. Пилот что-то вопил, это была ярость, а не паника, и Хема даже не успела задуматься, до чего это странно.

Многие годы спустя, когда Хема, вспоминая эти мгновения, попыталась взглянуть на происходившее с точки зрения клинициста («Зри в корень! Когда и как все началось? Отправная точка – это все. Диагноз кроется в анамнезе!» – говаривал ее профессор), она поняла, что перемена в ней назревала исподволь, долгие месяцы. А проявилась в те мгновения, когда самолет падал в Баб-Эль-Мандеб.

Маленький мальчик-индус – сын единственной малаяльской пары на борту (родители, несомненно, учительствовали в Эфиопии, она это поняла с первого взгляда) – ткнулся ей в грудь. В руке у тщедушного мальчика, утопавшего в мешковатых шортах, был зажат деревянный самолетик – ребенок весь полет оберегал его, словно игрушка была из золота. Нога мальчика застряла между двух мешков, и он повалился на Хему, когда самолет вышел из виража.

Она прижала мальчика к себе. Его глаза были полны ужаса и боли. Хема провела ладонью по его голени – тоненькие как веточки, косточки прогибались, перелом вряд ли будет чистым. Несмотря на то что самолет терял высоту, ее пальцы не утратили восприимчивости.

Молодой армянин, да будет благословенна его предприимчивость, закопошился, пытаясь высвободить ногу мальчика. Как ни удивительно, юноша улыбался, пытался сказать что-то ободряющее. Хему потрясло, что кто-то на борту среди всех этих воплей был спокойнее, чем она сама.

Она усадила мальчика себе на колени. Мысли у нее были ясные и вместе с тем бессвязные. Нога высвобождена, но кость наверняка сломана, самолет падает. Хема жестом остановила родителей мальчика, дернувшихся к нему, жестом же велела им успокоиться. Она ощутила привычное хладнокровие, как всегда в чрезвычайных обстоятельствах, и ее поразила неуместность собственного спокойствия.

– Пусть побудет со мной, – сказала Хема. – Доверьтесь мне. Я доктор.

– Мы знаем, – пробормотал отец.

Они втиснулись на лавку рядом с ней. Ребенок не плакал, только похныкивал. Лицо у него было белое от шока, щекой он вжался в грудь Хемы.

Доверьтесь мне. Я доктор. Вот и мои последние слова, с иронией подумала Хемлата.

В иллюминатор она видела белые гребешки волн, они становились все ближе и все меньше напоминали кружева на синей материи. Она всегда считала, что на поиски смысла жизни ей отведены долгие годы. А теперь оказалось, что в запасе у нее всего несколько секунд, и понимание этого принесло с собой прозрение.

Прижимая к себе мальчика, она осознала: трагедия смерти только в том, что осталось невыполненным. И как столь очевидная мысль пряталась от нее все эти годы? Пусть твоя жизнь воплотится в нечто прекрасное. Не ради ли этой максимы живет сестра Мэри Джозеф Прейз? А затем Хема подумала, что вот она приняла бесчисленное множество детей, отвергла замужество, уготованное для нее родителями, никогда не горела желанием родить самой, но если бы она завела ребенка, то обманула бы смерть. Ребенок стал бы ногой, просунутой в щель и не позволившей двери захлопнуться навеки, и вы проскользнули бы обратно, пусть и перевоплотившись в следующей жизни в собаку, мышь или блоху. А если существует воскрешение, как веруют матушка-распорядительница и сестра Мэри Джозеф Прейз, то у ребенка будет шанс увидеть воскресших родителей. При условии, конечно, что не погибнет с ними в авиакатастрофе.

Пусть твоя жизнь воплотится в нечто прекрасное... Например, в такого вот хнычущего малыша с «блестящими глазами, длинными ресницами, большой головой и попахивающими псиной взъерошенными волосами.

На лицах попутчиков был написан тот же страх, что сковал ее изнутри. И лишь молодой армянин все качал головой и улыбался ей, как бы говоря: «Это не то, что ты думаешь».

Вот болван, подумала Хема.

Пожилый армянин – наверное, отец юноши – бесстрастно смотрел прямо перед собой, словно ему было все равно, что с ними случится. Хема удивилась, что обращает внимание на такие пустяки, вместо того чтобы сжаться в ожидании удара.

Море стремительно надвигалось, и Хема вдруг вспомнила Гхоша. Ее захлестнула волна неведомой прежде нежности, словно это он должен был вот-вот умереть в авиакатастрофе, завершив свои захватывающие приключения в медицине, покончив с беззаботными шутками и безвозвратно упустив шанс осуществить мечту и жениться на Хеме.

Глава четвертая. Чему не место в организме

– Ваш пациент, доктор Стоун, – повторила матушка-распорядительница, поднимаясь с табурета, стоящего между ног сестры Мэри Джозеф Прейз.

Глянув доктору в лицо, матушка испугалась, что сейчас он швырнет чем-нибудь.

Такое уже с ним случалось, правда, не в присутствии матушки. Сестре Мэри Джозеф Прейз, пожалуй, ни разу не довелось подать ему не тот инструмент, но порой тугой зажим не хотел раскрываться или кончики биполярных ножниц не резали. Инструменты тогда летели прямо в цель – в некую точку на стене Третьей операционной чуть выше выключателя, что рядом со стеклянным шкафом.

Близко к сердцу это принимала одна сестра Мэри Джозеф Прейз, хотя она лично проверяла каждый инструмент, прежде чем заложить в автоклав. Матушка же считала, что пусть себе швыряется.

– Подавайте ему время от времени зажим, который не держит, – говаривала она. – А то он будет сдерживаться, пока пар из ушей не повалит, и вот тогда-то последует настоящий взрыв.

На штукатурке над выключателем виднелись многочисленные ямки, от которых лучиками разбегались трещины (ну точно следы от взрыва или обстрела). Предмет попадал в стену в короткий промежуток между словами НИКУДА и НЕ ГОДИТСЯ! А однажды Стоун наорал на сестру Асквал, анестезиолога, что доза кураре явно недостаточна и что, пока он копался в брюшной полости, мышцы живота сократились и сжали ему руки словно тисками. Не один пациент в ужасе пробуждался от наркоза под вопль Стоуна:

– Не можете как следует усыпить, так дайте мне мотыгу! Но сейчас, когда губы у сестры Мэри Джозеф Прейз

были пепельно-серые, дыхание поверхностное, глаза смотрели в никуда, кровотечение не останавливалось, да тут еще матушка передала бразды правления ему, Стоун молчал. Его охватила беспомощность вроде той, которую, наверное, испытывают родственники больного, и это чувство оказалось крайне неприятным. Губы у Стоуна позорно затряслись. Но хуже всего был охвативший его ужас и полный паралич мысли.

В конце концов он только и смог выдавить дрожащим голосом:

– Где Хемлата? Когда она вернется? Она нужна нам!

И этим продемонстрировал нетипичное для себя смирение.

Тыльной стороной ладони Стоун вытер глаза и, вместо того чтобы сесть на предложенный табурет, попятился, шагнул к стене, на которой виднелись следы его несдержанности, и стукнулся об нее своей монументальной, словно у горного козла, головой. Ноги его явно не держали, и он ухватился за стеклянный шкаф. Дабы не искушать Господа и не накликать несчастья, Матушка сочла нужным пробормотать неизменную мантру:

– Никуда не годится!

Конечно же, Стоун мог выполнить кесарево сечение, и все же, как ни странно это для тропического хирурга, именно эту операцию он до того никогда не проводил. «Увидел, сделал, освоил» – так называлась глава в его книге «Практикующий хирург. Краткие очерки тропической хирургии». Вот только читатели не догадывались, да и сам я узнал об этом многие годы спустя, что все, так или иначе связанное с гинекологией (не говоря уже об акушерстве), вызывало у него отвращение. Причины гнездились в событиях последнего курса медицинского института, когда он, неслыханное дело, закупил себе персонального покойника, чтобы повторить анатомию, уже пройденную на первом курсе на трупах, так сказать, общего пользования. Типичный образчик такого мертвеца в эдинбургских анатомических театрах представлял какой-нибудь мужчина преклонных лет с увядшими мускулами и сухожилиями, поступивший из больницы для бедных. Вместе со Стоуном на нем проводили занятия еще пятеро студентов. А вот с покупкой последнего трупа ему повезло: упитанная женщина средних лет (этот типаж он невольно связывал с фабрикой линолеума в Файфе). Вскрытие руки, произведенное Стоуном, получилось до того изящным (на среднем пальце он обнажил только сухожильное влагалище, а на безымянном пошел дальше и вскрыл *flexor sublimis*, представший перед зрителем наглядно, словно тросы подвесного моста, между которыми протянулся *profundus*), что профессор анатомии сохранил эту руку для демонстрации первокурсникам. Несколько недель Томас Стоун в поте лица трудился над покойницей и провел с ней куда больше времени, чем с любой другой женщиной, за исключением матери. Он вполне освоил тонкости анатомии, которые можно было почерпнуть только в близком общении. С одной стороны он вскрыл ей щеку до уха, пришив лоскут наизнанку, чтобы продемонстрировать околоушную слюнную железу и проходящий сквозь нее гусиной лапой лицевой нерв

(отсюда и название *pes anserinus*). С другой стороны лица он снял весь жир, обнажив мириады мимических мускулов, чьи сокращения передавали и радость, и грусть, и все промежуточные эмоции. Он не воспринимал эту женщину как личность, она была для него не более чем учебным пособием. Каждый вечер он укладывал на место мускулы, потом кожные лоскуты, потом прикрывал труп пропитанной формалином тканью. Порой, когда он заворачивал покойницу в клеенку и подтыкал края, ему представлялось, как мать укладывает его в кровать, и он особо остро чувствовал свое одиночество.

В тот день, когда Стоун удалил кишку, чтобы добраться до аорты и почек, его глазам предстала матка, и вовсе не в виде сморщенного мешочка, еле заметного в глубине таза. Она прямо-таки выпирала через верхний край. Через несколько дней он шаг за шагом занялся вскрытием органов таза по Каннингхему. Учебник велел произвести вертикальный разрез передней части матки, и ее содержимое явит себя любознательному хирургу. Стоун последовал указаниям, и наружу вывалился зародыш, голова не больше виноградины, глаза плотно закрыты, конечности прижаты к тельцу, будто у насекомого. Плод болтался на пуповине, словно некий непристойный талисман на поясе у охотника за головами. Почерневшая шейка матки была изъедена инфекцией или гангреной. Последствия трагедии сохранил формалин.

Стоун едва успел добежать до раковины, как его вырвало. Ему мерещилось предательство, казалось, за ним кто-то шпионил. А он-то думал, они с ней одни. Охота продолжать анатомические штудии у него пропала. Он не мог смотреть на нее, не мог уложить все на место, не мог прикрыть тело. Наутро он попросил озадаченного санитаря забрать труп, несмотря на то что вскрытие органов таза не было закончено, а нижние конечности и вовсе не тронуты. Но Томасу Стоуну было уже все равно.

В госпитале Миссии благодаря Хеме Стоуну никогда не приходилось вторгаться в область женских репродуктивных органов. Это поле битвы он без боя уступил ей (хотя уступать что-либо без боя было для него совершенно нехарактерно).

За пределами операционной они с Хемлатой были добрыми товарищами. В конце концов, в Миссии было всего три врача: Хема, Стоун и Гхош, и вышло бы неловко, если бы они враждовали. Но в Третьей операционной Хема и Стоун умудрялись бесить друг друга. Точность и осторожность – вот был стиль Хемы. Матушка считала ее живым примером того, почему больше женщин должно прийти в хирургию. Порой матушке казалось, что Хемлата сначала выслушивает пациента, а потом думает,

вместо того чтобы совмещать оба процесса. В качестве хирурга Хема исповедовала принцип «семь раз отмерь, один отрежь», тогда как другие считали, что семь раз – это чересчур. Она никогда не покидала операционной, не убедившись, что пациент очнулся от анестезии. Ее операционное поле было чистым и аккуратным, как на занятиях по анатомии, все уязвимые структуры четко определены, все меры безопасности предприняты, а кровотечение находилось под тщательным контролем. По мнению матушки, у Хемы все было статично, но живо, как на картинах Тициана или Да Винчи.

– Откуда хирургу знать, где он находится в данный момент, – любила повторять Хема, – если он не в курсе, где только что был?

По мнению Стоуна, важнее всего было не травмировать лишней раз ткань, у него не было времени для того, чтобы придать операционному полю эстетичный вид.

– Хема, если хочешь, чтобы рана была красивой, вскрывай трупы, – как-то сказал он ей.

– Стоун, если ты без ума от кровищи, подайся в мясники, – парировала та.

Опыт и натренированность Стоуна были столь велики, что его девять пальцев легко ориентировались в кровавом месиве, находя не видимые никому другому зацепки, движения были скупыми и точными, а результаты – неизменно превосходными.

В тех редких случаях, когда женщина поступала с проникающим ранением от рогов быка в области таза и с еще покрытыми грязью полями ногами или девушку из бара привозили с ножевым или пулевым ранением матки, Хемлата и Стоун трудились бок о бок и производили лапаротомию а deux, шипя друг на друга, стучаясь головами и порой обдирая друг друга костяшки пальцев ручками зажимов. Матушка уверяла, что записывает в журнале, кто именно из хирургов стоял при этом справа, и следит, чтобы очередность соблюдалась. Пока Хемлата без спешки вскрывала матку или возилась с разрывом мочевого пузыря, Стоун фальшиво насвистывал God Save the Queen*, чем выводил Хему из себя. Если первым за работу брался Стоун, Хемлата заводила разговор о знаменитых хирургах прошлого – Купере, Хальстеде, Кушинге – и о том, с каким недостойным пренебрежением современные тропические хирурги относятся к их бесценному наследию.

К прославлению хирургов и их операций Стоун точно относился скептически.

* «Боже, храни короля/королеву!» (англ. God Save the King/Queen) –

патриотическая песня, национальный гимн Великобритании.

– Хирургия – это всего-навсего хирургия, – повторял он, и нейрохирург для него был ничуть не выше ортопеда.

«Хорошему хирургу нужна отвага, для которой необходимая предпосылка – пара хороших яиц», – написал он в своей книге, прекрасно зная, что ни один редактор в Англии этого не пропустит. Зато с каким удовольствием Томас увидел эти слова написанными на бумаге. Для стиля Стоуна были характерны словоохотливость, задиристость и неистовость, что никак не проявлялись в обычной его жизни.

– Отвага? Что это ты такое написал про отвагу? – осведомилась Хема. – Своей жизнью ты, что ли, рискуешь?

Чисто технически Стоун вполне мог выполнить кесарево сечение. Но в этот роковой день сама мысль о том, чтобы вонзить скальпель в сестру Мэри Джозеф Прейз – его ассистентку, наперсницу, машинистку, музу, наконец, женщину, которую он, как оказалось, любил, – ввергала его в ужас. При столь тяжелом ее состоянии любое его действие могло стать последней каплей. С посторонним человеком он бы, пожалуй, отважился на кесарево сечение.

«Если доктор лечит себя самого, то пациент у него – дурак» – эту максиму он знал очень хорошо. Ну а как тогда назвать врача, что выполняет незнакомую операцию на любимой? Имеются мудрые афоризмы на сей счет?

После публикации книги Стоун неоднократно цитировал ее, будто напечатанные слова имели большее право на существование, чем не увековеченные на бумаге мысли.

Если доктор лечит себя самого, то пациент у него – дурак, но бывают обстоятельства, когда ему неоткуда ждать помощи...

Он описал в книге, как сам себе провел ампутацию под местной анестезией, как при поддержке сестры Мэри Джозеф Прейз произвел разрез, сделал то, что положено, левой рукой, тогда как сестра Мэри Джозеф Прейз замещала правую. И, глядя, как она режет кость, он понял, что она способна на куда большее, чем работа ассистентки. Именно история об ампутации – вкуче с фотографией на обороте титульного листа с растопыренными девятью пальцами – принесла книге такой успех. И что удивительно, особый успех работы по тропической хирургии случился в странах, далеких от тропиков. Наверное, причиной тому послужили ее язвительный тон, едкость и резкий и ничуть не преднамеренный юмор. Стоун исходил из своего опыта или из бережной трактовки опыта других. Читатели воспринимали его революционером, занявшимся вместо

земельной реформы операциями на бедных. Студенты писали ему восхищенные письма и обижались, если добросовестный ответ (написанный, разумеется, сестрой Мэри Джозеф Прейз) не соответствовал их напыщенно-исповедальному тону.

Иллюстрации в книге (художник – сестра Мэри Джозеф Прейз) были простенькими, схематичными, без соблюдения пропорций или законов перспективы, однако четкими и ясными. Книгу перевели на португальский, испанский и французский.

Смелые операции, выполненные в африканской глуши – такой подзаголовок вынес издатель на суперобложку. Воображению читателя сразу представлялся доктор Стоун: в палатке, при свете керосиновой лампы, что держит в руках готтентот, под топот слонов он лихо отсекает себе больные части тела, не забывая цитировать Цицерона, и в явном противоречии с клятвой Гиппократа: «Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом». Ни читатель, ни сам Стоун не понимали, что в ампутации пальца самому себе гордыни было не меньше, чем героизма.

– Ваш пациент, доктор Стоун, – в четвертый раз проговорила матушка.

Стоун опустился на табурет между ног сестры Мэри Джозеф Прейз. Эта точка не была для него привычной. С мужчинами такое положение приходилось занимать разве что при операции водянки мошонки или при дренировании ректальных абсцессов, перевязке и удалении геморроидальных узлов или fistula-in-ano – у обоих полов. Но он крайне редко оперировал сидя.

Неловким движением Стоун раздвинул половые губы, тут же хлынула кровь. Светя себе передвижной лампой, изогнувшись, он заглянул в родовые пути.

Попытался вспомнить «правило цитрусовых», затверженное в студенческие годы. Как оно звучало? Лайм, лимон, апельсин и грейпфрут соответствуют 4-, 6-, 8- и 10-сантиметровому расширению матки? Или 2, 4, 6 и 8? А виноградины и сливы в расчет не брались?

Увиденное заставило его побледнеть: расширение было явно больше грейпфрута, скорее уж размером с дыню. И на дне кровавого колодца виднелась голова младенца, свет лампы отражался от его мокрых черных волос. Ткани вокруг головы были расплющены.

В это мгновение Стоун словно пробудился ото сна.

Никакой связи между собой и ребенком он не видел. Но эта мокрая голова вывела Стоуна из себя. Ярость вытеснила страх, а у ярости имелась своя извращенная логика. Да как этот наглец смеет подвергать жизнь Мэри

опасности! Словно крот, прорыл себе нору в теле Мэри, и надо срочно вытащить зверька наружу и облегчить страдания женщины. Никакой нежности к крошечному существу Стоун не испытал, одно отвращение. И это навело его на мысль.

«Найти врага и победить в перестрелке», – частенько повторял он.

И он нашел врага.

– Газам, жидкости, экскрементам, инородным телам и доношенным младенцам не место в организме, – пробормотал он фразу из своей книги. И принял чудовищное решение. Куда лучше проделать отверстие в голове крота и вытащить его – он уже не думал о нем как о ребенке, – чем пускаться на эксперимент с кесаревым сечением, операцией почти ему незнакомой, которая к тому же может еще и убить Мэри. Ведь враг – это скорее инородное тело, что-то вроде раковой опухоли, чем плод. Наверняка это существо мертво. Да, он проделает в этом черепе дырку, опорожнит его, раздавит, как камень в мочевом пузыре, и вытащит эту сдувшуюся головку, а с ней и все то, что застряло в тазу. Если надо, он сокрушит ножницами ключицы, разрежет скальпелем ребра, вырвет, выскребет, размозжит, вычистит до последней косточки эту преграду, заткнувшую проход, и тем самым остановит кровотечение и спасет Мэри. Да, да! Все ненужное – вон из организма.

В границах его иррациональной логики это было разумное решение. Из зла получить добро, как сказала бы сестра Мэри Джозеф Прейз.

В глазах потрясенной матушки мужчина, сидящий на табурете, уже ничем не напоминал их Томаса Стоуна, человека сильного, хоть и застенчивого, высококвалифицированного хирурга, члена Королевского колледжа хирургов и автора знаменитой книги. Нет, это был какой-то расхристанный, взбудораженный прощельга, неизвестно как пробравшийся в операционную.

Стоун пристроил «Оперативное акушерство» Манро-Керра на вздувшийся живот Мэри на манер поваренной книги и несколько приободрился.

– Проклятие, Хемлата, когда же ты, черт тебя побери, вернешься? – пробормотал он сквозь зубы.

Целых два богохульства, отметила про себя матушка и пощупала себе пульс, ибо, несмотря на всю свою веру в Бога, очень тревожилась по поводу перебоев в сердцебиении, которые стали вдруг проявляться у нее в последний год. Вот и сейчас ритм сердца резко замедлился, и у нее тут же закружилась голова.

Необычные инструменты, которые матушка по просьбе Стоуна

извлекла из старых запасов, как-то не ложились ему в руку.

– Где, к чертям собачьим, Гхош? – закричал Стоун, покольку Гхош часто ассистировал Хеме при проведении абортотв и перевязки маточных труб и, будучи мастером на все руки, располагал куда большим опытом по части женских детородных органов.

Матушка еще раз отправила гонца в бунгало Гхоша, не столько надеясь, что тот вернется, сколько стремясь успокоить Стоуна. Пожалуй, лучше бы она отправила девушку с расспросами в бар «Голубой Нил» или его окрестности, ведь даже будучи в подпитии, Гхош наверняка дал бы Стоуну дельный совет, охарактеризовал бы его решение как неверное, даже идиотское, а его логику – как противоречивую. Матушка чувствовала, что в этой беременности есть часть ее вины: не уделила должного внимания. Правда, наблюдая такое обильное кровотечение, она была уверена, что ребенок давно мертв. Если бы матушка на секундочку поверила, что он жив (о наличии близнецов она и не подозревала), она бы вмешалась.

Стоун вертел туда-сюда головой, сравнивая картинки в книге Манро-Керра с оригиналом: ножницы Смелли, крани-окласт Брауна*, кефалотриб Жардена**. Инструменты у него в руках были далекими родственниками тем, что описывались в книге, но явно предназначались для той же злодейской цели.

* Хирургический инструмент, применяемый для отделения черепа плода от его туловища. Данная редкая процедура выполняется в случае мертвого плода для обеспечения возможности его естественного прохождения через родовые пути матери.

** Акушерский плодоразрушающий инструмент в виде громоздких тяжелых щипцов, применявшийся для раздавливания головки плода.

Двумя зажимами Жакоба Стоун ухватил моего брата за кожу головы.

– Попался, крот! Будь ты проклят за то, что принес Мэри такие мучения! – пробормотал он и ножницами разрезал кожу между зажимами, тем самым дав нежеланному существу первое представление о боли.

Следующий шаг – пристроить на черепе крота кефалотриб – или декапитатор – инструмент, предназначенный для раздавливания головки плода. Это странное средневековое орудие состоит из трех отдельных частей: копыя, призванного пробить череп и проникнуть в мозг, и двух похожих на щипцы конструкций, зажимающих череп снаружи. Когда инструмент наложен, три его хвостовика смыкаются и образуют что-то вроде ручки с удобными выемками для пальцев. Раздавливай и тяни – рука не соскочит.

В операционной было прохладно, тем не менее пот заливал ему глаза и

смачивал маску.

Он попытался надавить на ручку и всадить копьё в череп.

(Ребенок, мой брат Шива, после восьми месяцев пребывания во мраке, еще не родившись, почувствовал резкую боль и завопил в утробе. Я подтолкнул его, и копьё соскользнуло.)

Стоун решил, что лучше ему сперва ухватить головку щипцами, вытащить и только потом всадить копьё. В ограниченном пространстве руки его не слушались. Матушка содрогнулась при мысли о том, какую травму он может нанести сестре Мэри Джозеф Прейз и ребенку. Стоун наложил щипцы за уши и принялся тянуть, пока головка не оказалась, по его мнению, в пределах досягаемости.

Под матушкой подгибались ноги. «Обязанность операционной сестры – оказывать всяческое содействие доктору, предугадывать, что ему нужно». Не она ли сама не уставала повторять это своим стажерам? Но все шло не так, как надо, совсем не так, и она понятия не имела, как повернуть ход событий. Она горько жалела, что достала эти инструменты. Научи дурака Богу молиться, он и лоб разобьет. Человеколюбивые акушеры изобрели эти инструменты, чтобы их применяли, когда в отчаянном положении окажется мать, а не врач. А тут инструменты взяли верх над Стоуном и решали за него, что делать. Матушка знала: ничего хорошего из этого не выйдет.

Глава пятая. Последние мгновения

В последнюю секунду, когда она вся сжалась в ожидании удара о воду, океан внезапно превратился в сушу, поросшую лесом.

Не успела доктор Хемлата хорошенько это осознать, как самолет коснулся нагретого солнцем асфальта, визгнул колесами, качнул хвостом и, сбавив скорость, покатился по взлетно-посадочной полосе.

В улыбках пассажиров облегчение мешалось со смущением, ибо даже те из них, кто не верил ни в Бога ни в черта, только что молились о чуде.

Самолет остановился, но пилот продолжал пререкаться с диспетчером и даже закурил, вопреки грозной надписи НЕ КУРИТЬ, загоревшейся сразу после посадки.

Мальчик все хныкал, и Хема с неожиданной для самой себя ловкостью принялась его укачивать.

– Мы наложим крошечную, крошечную повязочку на ногу, и все пройдет. Ладно?

Молодой армянин где-то нашел бамбуковую палку, и они соорудили мальчику шину.

Когда рев двигателя стих, тишина заложила уши. Самодовольно улыбаясь, пилот оглядел пассажиров, словно желая убедиться, что они хорошо перенесли посадку, и раздумчиво изрек:

– Мы сели здесь, чтобы забрать кое-какой багаж и Очень Важных Персон. Это Джибути. – Он показал в улыбке плохие зубы. – Мне не разрешали посадку, только в экстренном случае. Так что у меня вышел из строя мотор. – И он скромно развел руками, словно ожидая аплодисментов.

Хемлата даже испугалась, насколько резко в наступившей тишине прозвучал ее собственный голос:

– Багаж? Ты, гнусный торгаш! За кого нас держишь? За скотину? Ты просто взял и вырубил двигатель, изобразил катастрофу, чтобы сесть в Джибути? Хоть бы предупредил!

Наверное, она должна быть благодарна ему за то, что осталась цела и невредима, но в ее иерархии эмоций гнев всегда главенствовал.

– Гнусный? – Летчик налился кровью. – Гнусный?! – Он выбрался из кабины, торчащие из-под шорт белые костлявые колени угрожающе топорщились.

Он остановился перед Хемой. Судя по всему, слово «гнусный» задело его значительно больше, чем «торгаш». Хотя презрение к женщине из

Индии взяло верх надо гневом, он занес руку.

– Если тебе не нравится, наглая ты баба, я тебя сейчас высажу.

Потом он будет уверять, что просто жестикулировал, у него, мол, и в мыслях не было ударить ее. Боже сохрани, чтобы француз, дамский угодник, бил женщину.

Но эти слова прозвучат слишком поздно. Хемлата так и вскипела от возмущения, и ее руки, казалось, действовали сами по себе, помимо ее воли, она словно со стороны смотрела на саму себя, совершенную незнакомку. А эта незнакомка решительно вскочила на ноги. Ростом она была никак не меньше пилота. На левой щеке у него синела сосудистая звездочка, она ее прекрасно видела. Хема сдвинула очки на лоб и посмотрела летчику в глаза.

Тот увидел, какая она красавица, и сник. Что он наделал! Ему бы выпить с ней сегодня вечером в отеле «Гион», проявить себя галантным кавалером, а не... Только сейчас пилот заметил, что вокруг хнычущего мальчика собрались люди. Только сейчас он обратил внимание, что отец ребенка в ярости, а кое у кого из пассажиров сжаты кулаки.

«Ну и тип, – подумала Хема. – Звездчатые гемангиомы по всей коже. Глаза желтые. Несомненно, грудные железы увеличены, волосы под мышками не растут, яички усохли до размеров ореха – и все потому, что печень больше не реагирует на эстроген, вырабатываемый мужским организмом. Да еще этот постоянный запах можжевельных ягод изо рта... Это не цирроз, нет, это подпитываемое джином неприятие реалий постколониальной Африки. Если в Индии таких, как ты, еще опасаются, то только по старой памяти. Ну а в эфиопском самолете ни о каком почтении и речи быть не может».

Ярость в ней переливалась через край, направленная не только на него, но и на всех мужчин, на тех, кто в Правительственном госпитале всячески помыкал ею, ни в грош не ставил, презирал за то, что она из касты браминов, не спросясь, менял график и гонял туда-сюда, даже не сказав «спасибо».

То, что она, нарушая запреты, стоит почти вплотную к нему, забавляло пилота. Но рука его была все еще поднята, и он, будто только заметив это, сделал неловкое движение – не для того, чтобы ударить женщину, как он впоследствии оправдывался, а всего-навсего чтобы убедиться: это его собственная конечность и она его слушается.

Занесенная рука сама по себе представляет собой оскорбление, а когда она еще и дернулась, Хема ответила так, что потом долго еще краснела при одном воспоминании.

Пальцы Хемлаты с необыкновенной легкостью (она сама удивилась) скользнули пилоту в шорты и ухватили за яйца, большой и указательный пальцы сжали семенные канатики. Много позже она придет к мнению, что на ее подсознание оказали влияние местные реалии – шифта и прочие уголовники в Восточной Африке имели обыкновение отсекалть жертве яйца. С волками жить...

Глаза у нее горели будто у мученицы. Пот превратил rottu у нее на лбу из точки в восклицательный знак, залил лицо. По случаю жары на Хеме было хлопчатобумажное сари, садясь, она подвернула его до колен – прочь скромность! – и теперь, когда она вскочила на ноги, очертания ее бедер вырисовывались четко. Она сжала пальцы – пусть француз напугается так же, как она при мнимом падении самолета в море.

– Слушай, лапа... – прошипела она (решив, что имеет дело с тестикулярной атрофией, и пытаясь вспомнить подробности: tunica albuginea, и tunica что-то там еще, и, разумеется, vas deferens, и еще эта морщинистая штуковина сзади, как она там называлась... Epididymis)

Пилот сгорбился, лицо его побелело, он весь сдулся, точно из него выдернули затычку.

– Твой сифилис пока не очень запущенный, ведь ты чувствуешь боль в яйцах, а?

Рука его медленно опустилась и аккуратно, почти нежно легла ей на предплечье, умоляя не давить сильно. В салоне стало тихо, как в церкви.

– Ты слушаешь? – спросила она, подумав, что выбрала все-таки не лучший метод познания мужской анатомии. – Мы с тобой на равных, так? Моя жизнь в твоих руках, а твои фамильные сокровища – в моих. Ты считаешь, что вправе так пугать людей? Из-за твоих штучек мальчик сломал ногу.

Она мотнула головой в сторону пассажиров, не сводя глаз с лица французика.

– У кого-нибудь есть нож поострее? Или бритва? Послышался легкий шорох, будто все мужское население

самолета невольно подтянуло мошонки, пытаясь получше укрыть свое хозяйство.

– Нам не давали посадки... Мне пришлось... – прохрипел пилот.

– Достань кошелек и заплати мальчику, – велела Хема, ибо не верила в долговые расписки.

Пока летчик тряс банкнотами, молодой армянин выхватил у него бумажник и передал отцу мальчика.

Один из йеменцев вдруг обрел дар речи и разразился ругательствами,

размахивая пальцами перед носом у пилота.

– А теперь верни деньги за авиабилеты мальчику и его родителям, – распорядилась Хема. – И давай-ка, взлетай поживее, а то не только станешь евнухом, но я лично попрошу императора, чтобы тебя не взяли даже в погонщики верблюдов, а не то что в летуны.

Грузовой люк открылся, послышались пронзительные голоса кули, столпившихся вокруг самолета.

Француз, выпучив глаза, беззвучно кивнул. Франция колонизировала Джибути, часть Сомали, а в Индии так даже постаралась перехитрить англичан, захватив плацдарм в Понди-шерри. Но в этот душный день некая смуглянка, в душе которой произошли необратимые перемены, Заручилась поддержкой малайяли, греков, армян и йеменцев и показала, что свобода ей дана не напрасно.

– Разве можно оставаться в здравом уме в такую жарницу? – хихикнула Хемлата, отпуская летчика и покидая самолет, чтобы омыть руки.

Глава шестая. Моя Абиссиния

Хема не отрываясь смотрела на землю, стараясь уловить момент, когда бурую пустыню и кустарники сменит пологий склон, предвестник поросшего буйной растительностью горного плато Эфиопии.

«Да, – подумала она. – Теперь это мой дом. Моя Абиссиния». На ее вкус, звучало это название романтичнее, чем Эфиопия.

Страна, в сущности, представляла собой горный массив, вознесшийся над тремя пустынями: Сомали, Данакилом и Суданом. Даже сейчас Хема чувствовала себя самым Дэвидом Ливингстоном* или, на худой конец, кем-то вроде Ивлина Во, – иными словами, настоящим исследователем этой древней цивилизации, оплота христианства, который до вторжения Муссолини в тридцать пятом никто не смог колонизировать. Ивлин Во в своих репортажах в «Лондон Таймс» и в книге осуждал его величество императора Хайле Селассие за бегство от Муссолини. У Хемы создалось впечатление, что Во не по душе древность африканского царствующего дома, ведущего свою родословную от царицы Савской и царя Соломона. По сравнению с ним Виндзоры или Романовы были просто выскочками.

* Дэвид Ливингстон (1813-1873) – шотландский миссионер, выдающийся исследователь Африки.

Новые пассажиры, поднявшиеся на борт самолета, были из Сомали и из Джибути (по мнению Хемы, их разделяла только линия на карте, проведенная западным картографом, больше никакой разницы не существовало). Они жевали кат*, курили сигареты «555» и, несмотря на скорбь в глазах, пребывали в прекрасном настроении. В самолет, ставший теперь для Хемы чуть ли не родным домом, погрузили целые тюки ката. Это было очень странно, обычно кат путешествовал в прямо противоположном направлении: выращивали его в Эфиопии, неподалеку от Харрара, на поездах отправляли в Джибути, а затем самолетами в Аден. Именно этим высокодоходным перевозкам были обязаны своим рождением «Эфиопские Авиалинии». Хема краем уха услышала, что с автомобильным и железнодорожным транспортом возникли проблемы и для удовлетворения резко возросшего спроса на кат в связи с некой свадьбой пришлось прибегнуть к реэкспорту и вынужденной посадке. Кат следовало жевать буквально на следующий день после сбора урожая, иначе он терял силу. Хема представила себе, как сомалийские, йеменские и суданские купцы в своих крошечных лавочках, заполонивших чуть ли не каждый

переулок, да и владельцы магазинов посolidнее на Меркато в Аддис-Абебе покрикивают на своих приказчиков и поглядывают на часы в ожидании, когда придет груз. Она представила себе свадебных гостей: с пересохшими ртами они пытаются сплюнуть и сердито бурчат, какая все-таки невеста страхолюдная с этой огромной родинкой на шее и наверняка такая же скупая, как и ее папаша.

* Кат – монотипный род вечнозеленых кустарников семейства бересклетовые. С древних времен свежие или сушеные листья ката используют для жевания или заваривания (как чай или пасту) в качестве легкого наркотика-стимулятора. В социальном и культурном смысле кат можно рассматривать как заменитель запрещенного во многих странах алкоголя.

Хема мысленно рассказала матери, что учинила с пилотом, и рассмеялась. Сидевший напротив сомалиец, один из вновь прибывших пассажиров, разудбался в ответ.

Те три недели, что Хема провела в Мадрасе, стояла адски душная жара, но по сравнению с Аденом это был рай. Дом ее родителей по соседству с Милапором* (целых три комнаты, и почти у самого храма) в детстве казался ей просторным, но сейчас теснота прямо-таки душила ее. Хотя Хема регулярно переводила родителям деньги, в доме ничего не менялось. Краска в комнатах облезала, образуя абстрактные узоры, темная кухня еще больше почернела от дыма и походила на фотолабораторию. Узкая улочка, где автомобиль был редким гостем, превратилась в шумную магистраль, а давно не беленый забор своим цветом стал напоминать землю, на которой стоял. Только саду время пошло на пользу, дом спрятался за зарослями бугенвиллеи. Два манговых дерева, густо обвешанные плодами, вымахали невероятно. Сорт одного из них назывался «Альфонсо», а второе дерево было гибридом, мякоть его казалась немного резиновой на зуб, но потом таяла во рту, словно мороженое.

* В Милапоре расположен крупнейший индуистский храм Ченная Капалишвара и величественный собор Сан-Томе.

Единственным украшением гостиной был календарь с рекламой сухого молока «Глаксо». Сверх меры упитанный кавказский ребенок тарачил с него голубые глаза. Лозунг провозглашал: «Дети Глаксо пышут здоровьем». При взгляде на эту картинку любая кормящая мать должна была почувствовать угрызения совести: она-то, оказывается, держит своего младенца впроголодь. Девочкой Хема не обращала на ребенка Глаксо никакого внимания, сейчас календарь мозолил глаза и бесил. Хема сняла

календарь со стены, но оставшийся светлый прямоугольник еще больше притягивал взгляды. Когда Хема уедет, другой ребенок Глаксо, несомненно, займет место прежнего.

За время своего короткого отпуска Хема покрасила дом и поставила потолочные вентиляторы. Сатиамурти, отец Велу, сущего наказания ее отроческих годов, смотрел из-за забора, как рабочие вмуровывают в цемент стульчак западного образца над башмаками традиционного индийского сортира.

– Это не для меня, старый ты болван, – сказала Хема по-английски. – У матери больные ноги.

А Сатиамурти ответил единственной известной ему английской фразой:

– К черту Китай, поцелуй меня, Эйзенхауэр! – Улыбнулся и помахал рукой, и Хема помахала ему в ответ.

У сомалийца в голубой синтетической рубашке, сидевшего напротив, на запястье болтались золотые часы. Пальцы ног, торчащие из сандалий, сверкали не хуже полированного эбенового дерева. Его лицо показалось Хеме знакомым. Сомалиец улыбнулся, выбросил руку, растопырил пальцы, как на аукционе, и проревел:

– Три ребенка, два захода, одна ночь. Она вспомнила. Его звали Адид.

– Тебя по-прежнему хватает на двоих?

От его сверкающей белозубой улыбки в салоне сделалось светлее. Он сказал что-то своим товарищам. Те ухмыльнулись и глубокомысленно закивали. Какие у них крепкие зубы, подумала Хема. Кожа у него была до того черная, что отливала лиловым. А вот директриса ее школы, миссис Худ, напротив, была такая белокожая, что ученицы верили: дотронешься до нее – и пальцы побелеют. От прикосновения к Адиду пальцы бы точно почернели. Его царственные манеры, неторопливая смена выражений на лице, игра губ и бровей заронили в голову Хемы безумную мысль: она была бы не прочь пососать его указательный палец.

В последний раз она видела Адида в травмпункте Миссии, он невозмутимо стоял в своем богатом головном уборе и просторном одеянии, а его беременная жена корчилась в муках. Когда Хемлата слой за слоем сняла с нее одежду, перед ней предстала бледная, худосочная девчонка. Артериальное давление у нее зашкаливало. Это была эклампсия*. Пока Хемлата делала ей в Третьей операционной кесарево сечение, Адид исчез и вернулся со второй женой, постарше, также на сносях. Родила она прямо в запряженной лошаадьми гари возле ступенек поликлиники. Хемлата выскочила как раз вовремя, чтобы перерезать второй жене пуповину, а

когда надавила ей на живот, то вместо последа выскочил второй ребенок – близнец. Хема в шутку предложила ему украсить грудь транспарантом: ОДНА НОЧЬ, ДВА ЗАХОДА, ТРИ РЕБЕНКА. Адид смеялся, как человек, не знающий в жизни ни забот ни хлопот.

* Эклампсия – тяжелое заболевание, возникающее во время беременности, родов и в послеродовой период; форма позднего токсикоза беременности.

– Да, да, – прокричал он, перекрывая рокот моторов. Рубленая речь, французский акцент, типичный для жителя Джибути выговор. – Богатство человека определяется числом детей. Ради чего же еще мы живем на этом свете, доктор?

«По этим меркам я – нищая», – подумала Хема. А вслух сказала:

– Аминь. По этой части ты, наверное, мультимиллионер.

Он с хитрым выражением показал глазами на одетую в оранжевое женщину в чадре, мелькнула ее бледная, выкрашенная хной нога. Она из Йемена, догадалась Хема. Или мусульманка из Пакистана либо Индии.

– И она тоже? – осведомилась Хема. Наверное, не будет невежливым спросить о ее национальности.

Адид энергично закивал:

– Еще целых три месяца. И еще одного ждем дома.

– Знаешь что, – Хема многозначительно посмотрела на его пах, – я попрошу доктора Гхоша сделать тебе иссечение семявыводящих протоков с большой скидкой. Этак выйдет дешевле, чем перевязывать трубы всем твоим женам.

Пара из Гуджарата сердито посмотрела на зашедшегося смехом Адида, который в восторге хлопал себя по ляжкам.

– Почему бы тебе не поместить жен в пренатальную клинику? – спросила Хема. – Смышленный человек вроде тебя не должен сидеть сложа руки и дожидаться неприятностей. Зачем им страдать?

– Я тут ни при чем. Ты же знаешь этих женщин. Они будут терпеть, пока сознания не потеряют.

«И ведь правда», – подумала Хема. Несколько лет тому назад арабка в Меркато рожала несколько дней, и муж, богатый торговец, привел доктора Бакелли, чтобы тот ее осмотрел. Но женщина, чтобы только не дать врачу-мужчине увидеть свое тело, втиснулась между стеной и дверью ванной, так что дверь было не открыть, не нанеся травмы роженице. За этой дверью она и умерла, и родственники ее одобрили.

Чтобы позлить пару из Гуджарата, Хема приняла от Адида пару листочков ката и сунула в рот. Раньше ей и в голову бы такое не пришло, но

события нескольких последних часов многое изменили.

Поначалу листья казались горькими, но, будучи разжеванными, приобрели куда более приятный, почти сладкий вкус.

– Восхитительно, – громко сказала она, надула щеки, словно бурундук, и принялась неторопливо, раздумчиво двигать челюстями, уподобляясь тем тысячам любителей ката, которых она видела за свою жизнь. Даже позу она приняла соответствующую: локтем оперлась на сумочку, одну ногу задрала на сиденье, другую согнула в колене, подтянула к подбородку и наклонилась поближе к Адиду, оказавшемуся на удивление разговорчивым.

– ...и большую часть сезона дождей мы провели вдали от Аддис-Абебы, в Авейде, вблизи Харрара.

– Я хорошо знаю Авейде, – подхватила Хема, что было неправдой.

Когда-то она выбралась туда в отпуск посмотреть крепостные стены Харрара. Авейде показался ей громадным торжищем ката, вот и все, что она запомнила. Дома самые незамысловатые, даже не побеленные.

– Я хорошо знаю Авейде, – повторила она, и кат заставил ее поверить в собственные слова. – Люди там богатые настолько, что каждый может себе купить по «мерседесу», но гроша не дадут, чтобы покрасить входную дверь. Ведь верно?

– Откуда вы знаете, доктор? – изумился Адид. Хема улыбнулась, как бы желая сказать: я все замечаю.

В голову ей полезли всякие анатомические подробности, относящиеся к мочеполовой системе француза: срединный шов разделяет два яичка, мясистая оболочка мошонки, клетки Сертоли... Мысли прыгали с предмета на предмет.

В кабине уже не было так жарко. От предвкушения, что скоро будет дома, у Хемы стало хорошо на душе, и ей вдруг захотелось рассказать Адиду одну историю.

– Когда я училась на медика, мы таким образом проверяли способность наших пациентов ощущать висцеральные боли. Висцеральный – значит относящийся к внутренним органам. Эти боли трудно охарактеризовать и локализовать, но боль есть боль. Если сдавить яички, будет неплохая проверка, поскольку при некоторых болезнях вроде сифилиса висцеральные боли пропадают. Однажды у койки сифилитика профессор велел мне продемонстрировать, как надо проверять висцеральные боли. Мужчины в нашей группе захихикали, но я ничуть не испугалась. У больного был запущенный сифилис. Обнажаю ему яйца – пардон, семенные железы – и сдавливаю. Пациент улыбается. Ничего. Никакой боли. Сдавливаю изо всей силы. Никакой реакции. Ноль. Но один

из моих сокурсников грохнулся в обморок.

Адид ухмыльнулся, будто она и правда рассказала ему эту историю.

Самолет снижался, пронзая облака. Город пока прятался за густыми эвкалиптовыми лесами. Когда-то император Менелик вывез эвкалипт с Мадагаскара – не ради масла, а ради дров, нехватка каких-то чуть было не заставила его покинуть столицу. Эвкалипт прижился на эфиопской почве и рос быстро – за пять лет двенадцать метров, а за двенадцать лет – все двадцать. Менелик засаживал им гектар за гектаром. Леса эти были неистребимы, легко восстанавливались при вырубках, а древесина отлично зарекомендовала себя как строительный материал.

Показались проплешины с круглыми хижинами под тростниковыми крышами и загонами для скота за колючей живой изгородью. Затем уже на границе города Хема увидела дома под рифлеными крышами, их становилось все больше, застройка уплотнялась. Мелькнул невысокий шпиль церкви, и открылся вид на сам город. Черчилль-роуд спускалась по крутому склону к Пьяцце, по ней ползло несколько автобусов и автомобилей. Центр города выглядел вполне современно, и это навело Хему на мысли об императоре Хайле Селассие. За время своего правления он ввел больше изменений, чем его предшественники за три столетия. Его портрет – крючковатый нос, тонкие губы, высокий лоб – украшал каждый дом на пронсящих под крылом самолета улицах. Отец Хемы был большим поклонником императора, потому что перед Второй мировой войной, когда Муссолини изготовился к вторжению, Хайле Селассие предупредил весь мир, какова будет цена невмешательства и чем обернется захват Италией суверенной страны вроде Эфиопии; подобное бездействие развяжет руки не только Италии, но и Германии, сказал он. «Господь и история запомнят ваше решение» – таковы были пророческие слова императора перед Лигой Наций. И обычно его изображали в виде маленького паренька, дерзнувшего схватиться с верзилой – и проигравшего.

– Мадам, вы видите госпиталь Миссии? – спросил Адид.

– Что-то не видать, – ответила та.

Весь склон горы рядом с аэропортом полыхал оранжевым пламенем цветущего мескеля, это означало, что сезон дождей закончился. Другой склон отливал различными оттенками ржавчины – то были гофрированные крыши, прикрывающие хибары и навесы. Каждая хижина была отгорожена забором от соседа, вместе они сверху смотрелись как прихотливо извивающийся железнодорожный состав, что карабкается в гору, зачем-то раскинув в разные стороны непонятные ответвления.

Француз на бреющем полете прошел над взлетно-посадочной полосой (так что таможенный агент успел вскочить на велосипед и прогнать приبلудившихся коров), сделал круг и сел.

Три ядовито-зеленых полицейских «фольксвагена» устремились к самолету, не замедлили явиться и все наличные сотрудники «Эфиопских Авиалиний». Лязгнула грузовая дверь, и торопливые руки принялись разгружать кат. Кипы листьев заполнили фургон, трехколесную тележку, потом настала очередь полицейских машин. Автомобили сорвались с места, взвыли сирены. Только теперь дело дошло и до выгрузки пассажиров.

Шестисоткубовый мотор бело-голубого «фиата-сейченто», которому машина была обязана своим именем, натужно тарахтел, унося вдаль Хемлату с ее «Грюндигом». Она лично проследила, чтобы большую коробку как следует закрепили в багажнике на крыше.

В Аддис-Абебе стоял чудесный солнечный день, и она забыла, что опаздывает из отпуска больше чем на два дня. Свет на такой высоте был совсем другой, чем в Мадрасе, он не сверкал, не слепил, а мягко заливал предметы. В ветерке не чувствовалось ни намек на дождь, хотя погода могла перемениться в одно мгновение. Ноздри ей щекотал древесный целебный аромат эвкалипта, совершенно непригодный для духов, но вселяющий бодрость духа. К нему примешивался запах ладана, что сгорал в печках вместе с древесным углем в каждом доме. Хема была рада, что благополучно пережила перелет, рада, что вернулась в Аддис-Абебу, и не могла понять, откуда на нее накатила волна ностальгии, томления духа, природу которого она и сама не могла определить.

Дожди закончились, и на лотках появились красные и зеленые перцы чили, лимоны и запеченная кукуруза. Мужчина, взваливший себе на плечи блеющего барана, всматривался в дорогу прямо перед собой. Женщина продавала связки эвкалиптовых листьев, на их пламени готовили инжеру* – блины из теффовой муки. Чуть подальше Хема увидела, как маленькая девочка растапливает масло на огромной плоской сковородке, водруженной на три кирпича, меж которых горел огонь. Когда инжера была готова, ее, словно скатерть, снимали со сковороды, складывали в восьмую долю и укладывали в корзину.

* Инжера – фундамент эфиопской кухни. Этот бодрящий хлеб сделан из эфиопского хлебного злака тефф, напоминающего нашу рожь. Инжера очень похожа на русские блины.

Пожилая женщина в черной траурной одежде остановилась, чтобы помочь женщине помоложе закинуть за спину ребенка в заплечном мешке;

мешок представлял собой часть ее же шамы – белого хлопчатобумажного одеяния, в которое кутались и мужчины и женщины.

Мужчина с высохшими ногами, подвязанными к груди, прыгал на руках вдоль грязной обочины, в каждой руке у него был зажат деревянный брусок с ручкой, ими он и отталкивался. Получалось у него на удивление споро, словно буква «М» шагала по земле. Казалось, Хема и отсутствовала-то недолго, а все эти сценки уже были ей в новинку.

По дороге трусило стадо мулов, нагруженных высоченными вязанками дров, животные кротко сносили кнут, которым их непрерывно охаживал босой хозяин. Таксист затрубил клаксоном, но дорогу ему не уступили. Пришлось ползти следом, будто еще одна скотина, изнывающая под непомерным грузом.

Их обогнал грузовик, до отказа набитый овцами. Это были овцы-счастливики, ведь их везли на бойню. Перед Мескелем*, праздником в честь обретения креста, скотину гнали в столицу целыми стадами, животные падали от изнеможения и запросто могли околеть по дороге к праздничному столу. Зато после торжеств овцы будто сквозь землю проваливались. Только торговцы шкурами бродили по улицам и переулкам, выкликая: «Ye beg koda alle!» (У кого найдется овечья шкурка!) Из какого-нибудь дома торговца окликнут, он поторгует, кинет шкуру на плечо поверх уже имеющих и опять заголосит.

* Религиозный праздник, отмечаемый ежегодно 27 сентября, а в високосные годы – 28 сентября. Само слово «мескель» в переводе с амхарского означает «крест». Считается, что в этот день Елене, матери императора Византии Константина, после долгих поисков удалось осуществить самое заветное желание: отыскать в Иерусалиме величайшую святыню христианства – Крест Господень, на котором принял мученическую смерть Иисус Христос. В честь этого знаменательного события императрица Елена зажгла на главной площади Иерусалима костер. Пламя взвилось так высоко, что его было видно в Эфиопии. Народ ликовал и праздновал это событие. Случилось это в начале VI в., и с тех пор Мескель отмечается здесь каждый год.

Внезапно Хемлате стали попадаться на глаза дети, все эти годы она их будто не замечала. Два мальчика катили палками металлические обручи, изображая гул мотора. Едва начавший ходить малыш, весь в соплях, завистливо смотрел на них. Голова у него была выбрита, за исключением пучка волос вроде островка безопасности. Еще в первый приезд в Эфиопию Хему просветили, какая цель у такой странной прически: если Господь захочет забрать ребенка (а он столько уже взял), то ему будет за

что ухватиться, чтобы переправить малыша на небеса.

Фигура матери мальчика выделялась на фоне бисерной занавески у входа в буна-бет – кофейню (на самом деле – бар), женщина предлагала нечто более существенное, чем кофе. Вечер преобразит ее, бар озарится неоновыми огнями, зеленым, желтым и красным, сделает предложение более привлекательным. Кофеварка за оцинкованной стойкой – наследие итальянской оккупации – определяла класс заведения. Пустые глаза женщины скользнули по машине, на мгновение остановились на Хеме (в них мелькнула злость, словно при виде конкурентки), задержались на странной коробке на крыше такси и сверкнули презрением, словно желая сказать: «Тоже мне, нашла чем удивить». Наверное, она из народа амхара, подумала Хема, ореховый оттенок кожи, высокие скулы. Красивая. Подружка Гхоша, не иначе. Из волос гребенка торчит, будто причесывалась, причесывалась, да и бросила. Ноги блестят от «Нивеи». Да она эту «Нивею», пожалуй, и внутрь принимает, чтобы цвет лица был лучше.

– Насколько я знаю, помогает, – вслух сказала Хема и поежилась.

Между новыми домами из шлакоблоков попадались некрашенные хижины, стены из прутьев и соломы обмазаны глиной. Достаточно было воткнуть в землю столб и увенчать его пустой жестяной, чтобы сказать: «Вот вам и еще буна-бет, пусть и без кофеварки „Экспресс“ и без бутылочного пива „Сент-Джордж“. Зато мы подаем теж* и таллу**, и во всем остальном у нас ничуть не хуже».

* Медовая брага крепости пива.

** Домашнее эфиопское пиво.

Древнейшая профессия мира не вызывала осуждения, даже со стороны Хемы. Она убедилась, что протестовать бесполезно. Но последствия такой терпимости были для нее очевидны: абсцессы труб и яичников, бесплодие, вызванное гонореей, выкидыши и дети с врожденным сифилисом.

На дороге Хема заметила группу белозубых, очень черных и коренастых рабочих гураге под присмотром бригадира-итальянца. Гураге, южане, пользовались заслуженной репутацией прекрасных работников, охотно берущихся за такие виды деятельности, от которых местные отказывались. Лебре, когда ему были нужны дополнительные рабочие руки, просто выходил из главных ворот Миссии и кричал: «Гураге!» Хотя с недавних пор это могли принять за оскорбление, и безопаснее было сменить призыв на «Кули!».

Рабочие были босиком, за исключением бригадира и еще одного человека в пластиковых чупалах не по размеру с прорезанными дырками,

из которых торчали пальцы ног. По всем меркам Хема должна была бы возмутиться при виде чернокожих рабочих и белого надсмотрщика и даже удивилась, почему же это ее не взорвало; наверное, причина была в том, что оставшиеся в Эфиопии после освобождения итальянцы были все такие душки, так охотно смеялись сами над собой, что злиться на них было просто нельзя. Жизнь для итальянцев представляла собой некую интерлюдия между трапезами. А может, они нарочно демонстрировали такой подход как наиболее оправдавший себя в сложившихся обстоятельствах. Хема видела, как стоило бригадиру отвернуться, и рабочие тут же замирали. Вот так, потихоньку-полегоньку, черепашим шагом, но все-таки возводились школы, конторы, почтамт, национальный банк, сооружения, вполне гармонизировавшие с величием церкви Святой Троицы, здания Парламента и Дворца Юбилея. Представление императора об африканской столице в европейском стиле воплощалось в жизнь.

Наверное, мысли об императоре, да еще тот факт, что такси остановилось на перекрестке, где вместо торговых рядов в свое время находилась виселица, вызвали в памяти Хемы жестокую сцену.

Именно здесь в 1946 году она и Гхош (они только пару месяцев как приехали в Аддис-Абебу) угодили в толпу, запрудившую улицу. Встав тогда на подножку «фольксвагена», Хема разглядела грубо сколоченную конструкцию и три болтающиеся петли. Подъехала Trenta Quattro с военными номерами. В кузове находились три человека, скованных наручниками. Они были без пиджаков, но по рубашкам, обуви, брюкам можно было догадаться, что их забрали прямо с какого-то обеда.

Офицер в форме императорской лейб-гвардии прочитал что-то по бумажке и отбросил листок в сторону. Хема завороченно наблюдала, как он накинул каждому петлю на шею, пристроив узел возле уха. Казалось, приговоренные покорились судьбе, что само по себе свидетельствовало об их чрезвычайной храбрости. Судя по выправке, высокий пожилой мужчина и двое его товарищей были военными. Высокий сказал что-то офицеру лейб-гвардии. Тот выслушал его, наклонив голову, кивнул и снял петлю. Приговоренный перегнулся через борт грузовика и протянул закованные руки рыдающей женщине. Она сняла у него с пальца кольцо и поцеловала ему руку. Приговоренный сделал шаг назад, словно актер на сцене, и поклонился офицеру. Тот отдал ему поклон и надел обратно петлю с нежностью жениха, возлагающего гирлянду цветов на шею невесты.

Хема никак не могла понять, что за картина перед ней разворачивается. Театральное представление? В отчаяние ее повергла не жестокость всего, что последовало – рев грузовика, предсмертные

судороги, шеи, выгнутые под невозможными углами, руки толпы, сдирающие с мертвецов обувь, – а сознание того, что она живет в стране, где такое возможно. Разумеется, и в Мадрасе не обходилось без разного рода жестокостей, но такое равнодушие к человеческим страданиям, такая развращенность были ей в новинку.

Несколько дней Хема была больна, подумывала об отъезде из Эфиопии. «Эфиопией Геральд» ни словечком не обмолвилась о казни, не последовало никаких комментариев со стороны правительства. Говорили, что эти люди планировали революцию и таков был ответ императора. Иначе нельзя, порядок в стране превыше всего.

Хеме на всю жизнь врезался в память образ палача, с явной неохотой выполняющего свои обязанности. Красивый мужчина, мужественное лицо не портил даже слегка расплющенный нос. Она никак не могла забыть, с каким достоинством он поклонился приговоренному, выполнив его последнюю просьбу. Этот жест говорил о конфликте между долгом и состраданием. Если бы этот офицер не исполнил приказ, его бы, наверное, самого повесили. Хема была уверена, что он поступил против совести.

Может быть, это-то и удерживает ее в Аддис-Абебе все эти годы, подумала Хема, сосуществование бок о бок культуры и жестокости, формирование нового из первобытной грязи. Город эволюционировал на глазах, и она чувствовала себя частью этих перемен, не то, что в Мадрасе, где все словно застыло за столетия до ее рождения. Заметил ли кто-нибудь, кроме родителей, ее отъезд?

– Почему бы тебе не остаться в Индии? Так много женщин из числа бедняков безвременно умирает в Мадрасе, – несмело сказал тогда отец.

– Мне их бесплатно обслуживать у нас на дому? – парировала она. – Попробуй найди мне работу. Хоть в муниципальной больнице, хоть в Правительственной. Если я нужна моей стране, почему меня никуда не берут?

Они оба знали почему. Работу получал тот, кто был готов дать взятку. Заново переживая прощание с родителями, Хема громко вздохнула, таксист даже обернулся.

Босоногие крестьяне с чудовищными грузами на головах и запряженные лошадьми гари, казалось, воплощали таинственный дух древнего царства, подтверждали самые завиральные сказки Иоанна-пресвитера*, что писал в Средневековье о магическом христианском государстве, окруженном землями мусульман. Да, настала эра, когда в Америке пересаживают почки, и вакцина против полиомиелита добралась даже до Индии, но Хема никак не могла отделаться от ощущения, что со

всеми своими знаниями, которыми ее щедро снабдил двадцатый век, она угодила в далекое прошлое. Частичкой власти Его Величество наделял расов, де-жасмачесу и феодалов меньшего ранга, а они – вассалов и преданных слуг. Хеме льстило, что профессия врача была такой редкой, такой востребованной повсюду – от бедняцкой хижины до императорского дворца. Не востребованность ли определяет само понятие родины? Ну да, ты родился не здесь, но ты здесь нужен.

* Пресвитер Иоанн, в русской литературе также царь-поп Иван, – легендарный правитель могущественного христианского государства в Средней Азии. Сам Иоанн и его царство являются, скорее всего, вымышленными, хотя многие исследователи находят его возможные прототипы.

Около двух часов дня ее такси подъехало к бурым воротам Миссии, государства в государстве.

Территорию больницы окружала каменная стена, за ней прятались строения, над ней возвышались эвкалипты, а где их не было – пихты, палисандровые деревья и акации. Для устрашения грабителей поверху в стену были вмурованы битые бутылки – воровство цвело в Аддис-Абебе буйным цветом, – хотя наводящий ужас вид несколько смягчали розы. Кованые ворота, обшитые листами железа, обычно были заперты, пеших посетителей на территорию впускали через калитку. Но сейчас и ворота, и калитка были распахнуты настежь.

Дверь и ставни хижины привратника Гебре также были раскрыты, а когда машина достигла вершины холма, Хема увидела и самого привратника (по совместительству священника), он подпирал дверь сарая камнем.

Заметив такси, Гебре в своем развевающемся одеянии и огромном тюрбане, под которым его маленькое лицо казалось совсем крошечным, бросился к машине; рука привратника сжимала крест и четки. Он словно хотел отогнать такси. Гебре и вообще-то был дерганый, с резкими движениями и речью скороговоркой, но сегодня даже для него было чересчур. Казалось, он был поражен, словно и не чаял уже увидеть Хему.

– Хвал а-Господу-за-то-что-вы-благополучно-добрались! Добро-пожаловать-мадам! Все-ли-у-вас-ладно? Господь-отве-тил-на-наши-молитвы! – выпалил привратник на амхарском.

Она ответила поклоном на поклон, но Гебре продолжал трещать, пока Хема не окликнула его по имени. Протягивая ему банкноту в пять быров, Хема сказала:

– Возьми миску, ступай в бар «Царица Савская» и принеси мне доро-

вот.

Речь шла о вкуснейшем курином красном карри, приготовленном с эфиопским перцем бербере. На амхарском она говорила неважно, только в настоящем времени, но слово доро-вот выучила сразу. Последние несколько ночей в Мадрасе она просто мечтала об этом блюде, – что неудивительно после многодневного вегетарианского меню. Кусочки мяса мысленно заворачивались в нежнейшую инжеру и с наслаждением поглощались. К тому времени как Гебре вернется, соус хорошенько пропитает инжеру... у Хемы потекли слюнки.

– Сию-минуту-мадам-там-отличный-повар-благослови-его-Господь...

– Скажи-ка, Гебре, почему двери и окна открыты? – Только сейчас она заметила, что его ногти и пальцы в крови, а на рукава налипли перья.

Тут-то Гебре и выдал:

– О, мадам! Об этом-то я и пытаюсь вам сказать. Ребенок застрял! Ребенок. И сестра. И ребенок!

Она не поняла. Никогда еще Гебре не представал перед ней в таком расхристанном виде. Хема улыбнулась и набралась терпения.

– Мадам! У сестры роды! Все идет не так, как надо!

– Что? Повтори! – Долго же ее не было, совсем забыла амхарский.

– Сестра, мадам! – Раздосадованный, что его не понимают, Гебре старался говорить все громче, пока не пустил петуха.

«Сестрой» в Миссии называли исключительно сестру Мэри Джозеф Прейз, ко второй монахине, матушке-распорядительнице Херст, обращались «матушка», других монахинь в наличии не было.

К ее ужасу, Гебре прохрипел сквозь рыдания:

– Нет хода! Я все перепробовал, открыл все окна и двери, разорвал курицу!

Он схватился за живот, изображая роды, и попробовал перейти на английский:

– Бэби! Бэби? Мадам, бэби?

Мысль, которую он хотел донести, была достаточно ясна, тут ошибка исключалась. Но поверить в это Хеме было трудно, на каком бы языке с ней ни говорили.

Глава седьмая. Смертный смрад

Дверь в операционную распахнулась. Стажерка взвизгнула. При виде выросшей на пороге женщины в сари – запыхалась, грудь вздымается, ноздри раздуты – матушка-распорядительница схватилась за сердце.

Все замерли. Откуда им знать, что это Хема, а не ее призрак? Женщина казалась выше и крупнее Хемы, и глаза у нее налиты кровью, будто у дракона. Только когда призрак заорал:

– Что за чушь мелет Гебре? Во имя Господа, что происходит? – всякие сомнения исчезли.

– Это чудо, – молвила матушка, имея в виду прибытие Хемы, но тем только окончательно ее запутала.

Раскрасневшаяся стажерка, сияя всеми оспинами на щеках, присовокупила:

– Аминь.

Морщины на лице Стоуна разгладились. Он не произнес ни слова, но вид у него был словно у альпиниста, который провалился в расщелину и в последний момент ухватился за ниспосланную небесами веревку.

Много лет спустя Хема вспоминала:

– У меня во рту все пересохло, сынок, лицо залил пот, хотя было прохладно. Понимаешь, даже прежде того, как я оценила происходящее с медицинской точки зрения, меня поразили этот запах.

– Какой запах?

– Ни в одном учебнике ты этого не найдешь, Мэрион, не стоит и трудиться. Но он впечатывается сюда, – она постучала себя по носу, затем по лбу. – Если бы мне довелось написать учебник – хотя я особенно не стремлюсь, – я бы целую главу посвятила только сопровождающим роды запахам. Повеяло чем-то вяжущим и вместе с тем сладковатым, эти два взаимоисключающие качества и определяют смертный смрад. Он всегда означает, что в родовой палате несчастье. Смерть матери, смерть младенца, одержимый мыслью об убийстве муж.

Она потрясенно смотрела на огромную лужу крови. Затем обвела взглядом разбросанные повсюду инструменты – они лежали на пациентке, рядом с пациенткой, на операционном столе. И уж совсем не укладывался в голове Хемы тот факт, что Мэри, милая сестра, которой полагалось стоять посреди суматохи в маске и шапочке воплощением стерильности и спокойствия, вместо этого почти без признаков жизни лежит на столе и

лицо ее заливают смертельная бледность.

Мысли у Хемы сделались бессвязными и какими-то чужими, словно картинки из книжки проплывали перед ней во сне. В глаза почему-то бросились скрюченные пальцы на левой руке сестры Мэри Джозеф Прейз, один лишь указательный палец был почти прямой, будто перед тем, как потерять сознание, она давала кому-то строгий наказ – совершенно нехарактерная для нее поза. Хема то и дело посматривала на эту руку.

Вид Томаса Стоуна, занимающего священное место акушера, вывел Хему из себя. Она быстро оттерла его в сторону, Стоун споткнулся и опрокинул табурет. Он бормотал не умолкая, стараясь представить ей всю картину: как он навел сестру, как они обнаружили, что она беременна, как плод не идет, симптомы шока нарастают, а кровотечение не останавливается...

– А это еще что такое? – изумилась Хема, увидев окровавленный трепан* и раскрытую книгу. – Что за барахло? – Она взмахнула рукой, книга и инструмент полетели на пол.

* Цилиндрический полый режущий инструмент с одним заточенным концом, который используется для вырезания круглого отверстия в кости или другой ткани. Второе название – трепан.

Сердце у стажерки колотилось о грудную клетку, как мотылек о лампу. Не зная, куда деть руки, она сунула их в карманы. В том, что касалось книги и барахла, ее вины не было. Ее вина (она начинала это понимать) лежала глубже, она не проявила чутья сестры милосердия и не оценила серьезности состояния сестры Мэри Джозеф Прейз, когда передавала ей слова Стоуна. Положилась на других, а другие-то ничего и не сделали. Никто, включая матушку, не узнал, что сестра тяжело больна.

Сестра Мэри Джозеф Прейз чуть повернула голову, и матушке показалось, что так она отвечает на прикосновение. Ничего подобного, из-за жестоких болей та и не почувствовала, что матушка держит ее за руку.

Длинное золотое копьё с железным наконечником и небольшим на нем пламенем было в руке его, и он вонзал его иногда в сердце мое и внутренности, а когда вынимал из них, то мне казалось, что с копьём он вырывает и внутренности мои.

Матушка вроде бы расслышала, что шептала сестра Мэри Джозеф Прейз – хорошо знакомые им обоим слова святой Терезы Авильской.

Боль от этой раны была так сильна, что я стонала, но и наслаждение было так сильно, что я не могла желать, чтобы кончилась эта боль. Благо душе, познавшей истину в Боге.

Только в отличие от святой Терезы сестра Мэри Джозеф Прейз явно

желала, чтобы эта боль кончилась, и, по словам матушки, боль взаправду вдруг ослабила свою хватку и сестра чуть слышно шепнула:

– Изумляюсь, Господи, твоему милосердию. Я не заслужила его.

Сознание ее на короткое время прояснилось, глаза блуждали, она снова и снова пыталась заговорить, но слов было не разобрать. В помещении посветлело, «словно пелена растаяла», как говорила потом матушка. Сестра Мэри Джозеф Прейз вроде бы поняла, что находится на своем рабочем месте – в Третьей операционной – в качестве пациентки и что обстоятельства складываются не в ее пользу.

– Пожалуй, она почувствовала, что заслужила смерть. – Матушка старалась угадать ход мыслей мамы. – Если вера и милость Господня призваны сглаживать грешную природу всех людей, то сейчас это равновесие было позорно нарушено. Но она, наверное, по-прежнему верила, что Господь любит ее и прощение ждет ее если не на земле, то в царствии небесном.

Монахиня не знала, пугает ли маму мысль, что смерть может настичь ее в Африке, вдали от родины. Ведь, наверное, в каждом человеке глубоко укрыто желание замкнуть круг своей жизни возвращением в то место, где родился, то есть в ее случае в Кочин.

Тут матушка ясно услышала, как мама шепчет: «Miserere mei, Deus» – и принялась проговаривать слова псалма на латыни, в такт беззвучно шевелящимся губам роженицы:

– ...Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину и сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега...

И пелена вернулась. Свет покинул ее мир.

– Подними табурет, Стоун, – рявкнула Хема. – А ты, – она щелкнула пальцами перед стажеркой, – вынь руки из карманов.

Она решительно опустилась на подставленный Стоуном табурет, бриллиант у нее в носу сверкнул. Хема сердито сдула упавшие на глаза волосы и расправила плечи. Каким бы ужасным ни представлялось открывшееся ей зрелище, следовало браться за дело. Она акушер, это ее работа, сколь бы опасной она порой ни была.

Хеме не хватало кислорода. Чтобы акклиматизироваться, легким требовалась примерно неделя. Как-никак ее Мадрас находился на уровне моря, а операционная – на высоте 8202 фута плюс табурет, на котором она сидела. Ноздри ее раздувались, как у чистокровного скакуна, пробежавшего четверть мили.

Но дыхание перехватило еще и от того, что предстало ее глазам. Гебре

не сошел с ума и не нахлестался таллы, он говорил правду. Сестра Мэри Джозеф Преиз зачала, и задолго до отъезда Хемы в Индию. Более того, сейчас беременность поставила ее между жизнью и смертью. А кто отец?

Кто же еще? Она глянула на бледное лицо Стоуна.

А почему бы нет? Чему тут удивляться?

– Рак шейки матки, – вспомнила она слова своего профессора, – чаще всего встречается у проституток и почти равен нулю у монахинь. Почему почти? Потому что монахинями не рождаются! Потому что не все монахини попадают в монастырь непорочными девами! Потому что не все монахини живут в celibate!

«Все это не имеет значения», – напомнила себе Хема, надевая перчатки, поданные матушкой.

Стажерка записала в журнал прибытие доктора Хемлаты Калпана и упрекнула себя за то, что забыла про перчатки.

Хемлата расставила затекшие во время полета ноги и попрочнее уперлась ими в пол. Пальцами левой руки раздвинула губы, затем привычным движением правой раскрыла родовой канал.

– Рама, Рама, орудие из каменного века, – вскричала она с отвращением, осторожно высвобождая щипцы декапитатора из-за ушей ребенка. Окровавленный инструмент полетел в сторону.

Матушка перевела дух. Что бы там ни произошло, по крайней мере за дело взялся акушер. Она не могла не заметить, как Хемлата и Стоун поменялись ролями: теперь Хема кричала и швырялась предметами.

Матушка поведала, что ужасные боли у сестры Мэри Джозеф Преиз одно время вроде бы прошли, она даже стала говорить... но потом возобновились с прежней силой.

– Господи, – выдавила Хема, зная, что в естественных условиях боли не прекращаются, пока ребенок не родится, – это похоже на разрыв матки.

Так вот откуда столько крови. Правда, есть еще вероятность Placenta previa* – плацента заткнула выход из утробы. В любом случае ничего хорошего.

* Предлежание плаценты – аномальное прикрепление и расположение плаценты над внутренним зевом или в непосредственной близости от него, перед предлежащей частью плода.

– Когда вы перестали слышать стук сердца плода?

Ответа не последовало.

– Давление?

– Шестьдесят при ощупывании, – помолчав, сказала сестра-анестезиолог, словно ждала, что кто-то сделает за нее ее работу.

Хема испепелила медсестру Асквал взглядом.

– Ждешь, пока оно упадет до нуля? Интубируй! Очнется, петидин внутривенно. Закончишь – скажешь. Где Гхош? За ним послали? А кто пошел за кровью? Как! Никто? Одни идиоты, что ли, вокруг? Живо! Марш! Двое кинулись к двери.

– Берите в оборот каждого встречного-поперечного, пусть сдает кровь! Крови нам нужно много!

Двумя пальцами правой руки Хема коснулась головки плода. Другой рукой она надавила сестре Мэри Джозеф Преиз на живот.

Медсестра Асквал дрожащими руками вставила трахеальную трубку. С каждым вздохом воздушного мешка полная грудь роженицы вздымалась.

Руки Хемы словно превратились в глаза, она тщательно прощупала будущее поле битвы, пальцы внутри были чуткими датчиками, пальцы снаружи были им в помощь. Она закрыла глаза, чтобы ничто не мешало верно оценить данные, ширину таза, предлежание ребенка.

– Что это у нас здесь такое? – произнесла она громко. Вот ребенок в положении головой вниз, а это что? Вторая головка? – Господи, Стоун? – Она отдернула руку, словно коснувшись раскаленного угля.

Стоун в молчании смотрел. Он ничего не понимал, но боялся спросить. А она уставилась на Стоуна в ожидании ответа, любого ответа. Из груди у нее рвался крик.

– Все ненужное – вон из организма? – пробормотал Стоун, полагая, что она имеет в виду его попытки сокрушить ребенку череп.

– Пошел ты, Томас Стоун, еще будешь мне тут цитировать свою идиотскую книгу. Думаешь, это все шуточки?

Стоун, который, напротив, полагал, что все серьезнее некуда и что Хема делает всю работу за него, покраснел.

Хема повернулась и еще раз оценила серьезность положения. Да, несомненно, целых две новые жизни под угрозой. Слова ее обрушились на Стоуна безжалостными ударами.

– Один раз посетить врача в период беременности? Почему ты не показал ее мне хотя бы один раз? Я бы никуда не поехала. А теперь смотри, что получилось. Чудо из чудес, черт бы его побрал. Всего этого вполне можно было избежать. Избежать! – Последнее слово свистнуло бичом.

Стоун стоял понурившись, как нашкодивший школьник перед директором. Что тут скажешь? Запинаясь, он проговорил:

– Я не знал!

В глубине души Хема не верила, что Стоун – отец ребенка, даже детей, сестры Мэри Джозеф Преиз. Разве такое возможно? Но цинизм акушерки,

которая повидала все на своем веку, быстро вернулся.

– Так, значит, непорочное зачатие, доктор Стоун? – Она обошла стол. – В таком случае знаешь что, господин практикующий хирург? Это круче вифлеемских ясель! У девы двойня! – Хема немного помолчала, чтобы до него дошло. – Черт бы тебя побрал, ты что, не мог сделать кесарево сечение?

Она почти пропела последние слова, и они повисли в воздухе.

– Перчатки и халат, быстро! – рывкнула Хемлата. – Кювету для кесарева! Пошевеливайтесь! Не хотите ее спасти, что ли? Живо! Живо! – И на всякий случай повторила по-амхарски: – Толу, толу, толу!

Все словно очнулись от оцепенения.

– А вы что, мозги себе накрахмалили? – накинулась она на медсестер, натягивая стерильный халат и перчатки. – Почему ничего ему не сказали? Матушка?

Монахиня уставилась в пол.

– Когда сердце плода перестало быть слышно? Какая была частота ударов?

– Это произошло слишком быстро. Мы...

– Замолкни, Стоун. Пусть один из вас даст мне четкий ответ. Остальные помалкивают. Давление какое?

– Около шестидесяти.

– Где кровь? Вы глухонемые? Отвечайте!

У больницы не было своего банка крови, так, пинта-другая в холодильнике, если больному повезет. Семьи пациентов не торопились сдавать кровь. Хема однажды накинулась на одного супруга, чтобы сдать для жены кровь, и тот отказался.

– Уж она бы наверняка отдала вам свою кровь, случись что, – упрекнула его Хема.

– Вы не знаете моей жены. Она ждет не дождется, когда я помру, чтобы заграбастать мое имущество и моих коров, – ответил муж.

Время от времени Хема, Гхош и матушка сами сдавали кровь и убедили кое-кого из медсестер последовать их примеру. По меньшей мере раз в год Гхош садился в машину и объезжал членов своей команды по крикету с той же целью.

– Никто так и не подумал про кровь? – кипятилась Хема. – Всем, кто не занят, пойти и сдать. Она – наш товарищ, черт побери! Быстрее! Нет, Стоун, только не ты. Не снимай перчаток. Постарайся принести пользу. Какая частота сердечных сокращений?

Стажерка уткнулась в медицинскую карту, не смея поднять глаз.

Мысль о том, что придется сдавать кровь, перепугала ее. К тому же она прекрасно знала, что частоту сердечных сокращений плода никто не слушал, все занимались исключительно роженицей. Стажерка перечеркнула заголовок «Показано кесарево сечение», чувствуя, что матушка-распорядительница этого не одобрит. Облегчения не приносил и вид доктора Стоуна, который сжался, опустив голову. Так нашкодивший пес инстинктом чувствует, что надо бежать прочь, но знает, что стоит пошевелиться – и на тебя обрушится наказание.

– Давление?

– Не могу найти...

– Неважно, вливайте кровь, плесните йода, живо! Она сорвала крышку со стерильной кюветы, схватила

скальпель – не до стерильности теперь – и произвела вертикальный разрез ниже пупка. Происходящее никак не укладывалось у Хемы в голове.

Вот сейчас Мэри сядет и запротестует, казалось ей.

Раздался шорох, она обернулась и успела увидеть, как матушка-распорядительница оседает на пол.

Глава восьмая. Люди миссии

– Спаси и сохрани, – вымолвила матушка, едва очнулась. Обморок ее не длился и пяти секунд, никто и с места

сдвинуться не успел. Стажерка подскочила, чтобы помочь ей встать. Несмотря на протесты Хемы, матушка вцепилась в табурет анестезиолога:

– Я остаюсь здесь! Времени на споры не было.

Матушка склонилась над Мэри, принялась рассматривать пальцы на ее руке, в которую наконец переливали кровь. Матушке не хотелось глядеть на то, что делают доктора, на их красные перчатки, мелькающие под животом больной. Голова у нее кружилась.

Пока матушка трясущимися руками растирала Мэри пальцы, у нее сами собой вырвались слова:

– Инструменты Господа.

У сестры Мэри Джозеф Прейз были изящно вылепленные пальцы, тонкие и нежные. Даже безжизненные, они свидетельствовали о прекрасной моторике. А вот на белых пальцах самой матушки не слишком красиво выпирали крупные костяшки – признаки возраста, тяжелого труда и тщания, с каким приходилось отскребать руки после работы, которой она занималась наравне с Гебре. Сторож, садовник, разнорабочий и священник в одном лице, он всегда считал, что матушке не пристало пачкать руки.

Матушку охватила дрожь.

– Боже, возьми меня, – взмолилась она, – только подожди, пока они закончат, чтобы не отвлекались на меня.

Как ей хотелось выпить кофе, выращенный ею самой на каменистой земле Миссии, а потом сделать хороший глоток, ощутить во рту кофейную гущу. Итальянцы оставили после себя пристрастие к macchiato и espresso, которые подавали в каждом кафе Аддис-Абебы. Этих напитков матушка не употребляла. Кофе в Миссии заваривали традиционным образом, и он поддерживал ей силы в течение всего дня, да и прямо сейчас оказал бы свое волшебное действие.

В уголках ее рта скапливались слезы.

– Одна из вверенных моим заботам, дочь, которой у меня никогда не будет, теперь с ребенком...

Столько невыразимых тайн раскрывали перед ней страшные болезни. Приближающаяся смерть внезапно срывала покровы с прошлого и нечестивым союзом соединяла его с настоящим.

Господи! – взмолилась она про себя. – Ты мог бы избавить нас от этого. Избавить ее!

Матушка задумалась о том порыве, который заставил сестру Мэри Джозеф Прейз спрятать свое тело под облачением монахини или под медицинским халатом и маской. Это не помогло, одежда только подчеркивала прелесть неприкрытых участков плоти. Даже вуаль не в состоянии скрыть чувственность милого лица и пухлых губ.

Не один год матушка подумывала о том, чтобы ей и сестре Мэри Джозеф Прейз скинуть белое монашеское одеяние. Эфиопское правительство закрыло школу американской миссии в Дебре Зейт за попытки обращения учеников в свою веру. Матушка заведовала больницей и не занималась охотой за заблудшими душами, но все-таки решила, что, быть может, с политической точки зрения разумнее переодеться в мирское платье. Но как-то раз ей попала на глаза сестра Мэри Джозеф Прейз, выходящая из Третьей операционной в юбке и блузке, и матушке захотелось прямо на месте завернуть ее в покрывало. В. В. Гонафер, лаборант в лаборатории Миссии, в тот момент стоял рядом с матушкой и тоже видел молодую монахиню в муфти. Он застыл, словно сеттер, сделавший стойку на перепела, и жарко по-краснел до корней волос. И матушка решила, что монахиням в Миссии лучше не менять форму одежды.

Внезапный вскрик то ли Хемы, то ли Стоуна вернул ее к реальности. Матушка испуганно вскинула голову, и увиденное повергло ее в дрожь, лишь чудом она удержалась от нового обморока. Матушка зажмурилась и постаралась унять головокружение...

Не было у нее святого, кого бы она почитала образцом, к кому обращалась в трудную минуту. Одна мысль о том, что святая Екатерина Сиенская пила гной инвалидов, наполняла матушку омерзением. Она полагала, что такие замашки – всего лишь особенная континентальная слабость, и не терпела воркующей пропаганды чудес, всех этих кровоточащих ладоней и стигматов. Святая Тереза Авильская... что ж, она ничего против нее не имела и не осуждала сестру Мэри Джозеф Прейз за поклонение Терезе. Но про себя она тайком соглашалась с доктором Гхошем, специалистом по внутренним болезням, что пресловутые видения и экстаз святой – не более чем разновидности истерии. Гхош показывал матушке фотоснимки истеричек, сделанные знаменитым французским неврологом Шарко* в парижском госпитале Сальпетриер. Шарко полагал, что источник бредовых идей находится у женщин в матке, в *hystera* по-гречески. Женщины на фото улыбались, принимали вызывающие позы,

которые Шарко назвал «Распятие» и «Блаженство». Как кто-то мог улыбаться перед лицом паралича и слепоты? *La belle indifference* – вот как Шарко определил этот феномен.

* Жан-Мартен Шарко (1825-1893) – французский врач-психиатр, учитель Зигмунда Фрейда, специалист по неврологическим болезням, основатель нового учения о психогенной природе истерии. Провел большое число клинических исследований в области психиатрии с использованием гипноза как основного инструмента доказательства своих гипотез.

Если у сестры Мэри Джозеф Прейз и были видения, она ни разу о них не обмолвилась. Порой по утрам вид у нее был такой, словно она не спала ночь, пылающие щеки и летящая походка показывали: ей стоит немалых усилий оставаться на этой грешной земле. Пожалуй, это объясняло то хладнокровие, с каким она сносила выходки Стоуна, ведь несмотря на все его таланты, работать с ним плечом к плечу было нелегко.

Вера матушки-распорядительницы отличалась большим прагматизмом. В себе она обнаружила стремление помогать людям. А кто сильнее нуждался в помощи, чем больные и страждущие, которых здесь было куда больше, чем в Йоркшире? Именно поэтому целую жизнь тому назад она и прибыла в Эфиопию. Несколько фотографий, памятных вещей, книг и документов, которые матушка привезла с собой, за эти годы пропали – или же она их куда-то засунула. Она не расстраивалась по этому поводу – в конце концов, одна Библия послужит ничуть не хуже, чем другая. А вещи, к которым она была привязана, также без особого труда можно заменить на новые: иголки с нитками, акварели, одежду.

А вот нематериальные ценности стали для нее значить чрезвычайно много: положение в городе, где каждый, включая ее саму, именовал ее «матушкой»; изобретательность, благодаря которой ей удалось создать из кучки домов уютную больницу – Восточноафриканский Эдем, как она в мыслях ее называла; репутация врачей, которых она сама набрала и которые со временем также превратились во «вверенных ее заботам». Пуповина, которая некогда связывала ее с Обществом ордена Христа-младенца, с Суданской внутренней миссией, была давно перерезана, и все они обратились в добровольных ссыльных – и сама она, и вверенные ее заботам.

Название «госпиталь Миссии», которое нещадно коверкали местные, было неофициальным: в документах больница фигурировала не то как Базельская Мемориальная, не то как Баденская Мемориальная – ее так называли в честь щедрой церкви не то из Германии, не то из Швейцарии. Баптисты из Хьюстона жертвовали значительные суммы, но им и в голову

не приходило увековечить свою благотворительность в названии. Доктор Гхош говаривал, что у больницы не меньше ипостасей, чем у индусского бога.

– В данный конкретный день только матушка знает, в каком госпитале мы трудимся – в Тенессийской баптистской клинике для амбулаторных больных или в Техасской методистской клинике для амбулаторных больных. Так что не ругайте меня за опоздания – ведь мне же надо восстать с одра и отыскать место работы... Ах, матушка, вот и вы!

«Да, мы все тут ссыльные, – думала матушка, – и сокамерников не выбираем».

Но даже к Гхошу, несомненно одной из самых странных божьих тварей, монахиня испытывала материнские чувства. Наряду с беспокойством за грешника.

Матушка вздохнула и вдруг ощутила на себе взгляды присутствующих. Оказалось, губы ее шепчут молитвы. На шестом десятке монахиня стала замечать, что порой слова и поступки у нее идут каждый своей дорогой. Например, в самые неподходящие минуты в голове вдруг оживут образы из прошлого и начнут сами собой укладываться в памятный альбом. Зачем? Когда этот альбом раскроется перед ней? На торжественном обеде? На смертном одре? У врат рая? Она давно уже не задумывалась об этих материях. Ее отец, шахтер, погрязший в пьянке и мраке забоя, называл врата рая «жемчужными вратами»*, Pearly Gates. По-английски «Перли Гейтс» звучит как имя неряшливой женщины, одной из тех, что стояли между отцом и семьей.

* А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Откровение Иоанна Богослова, 21:21.

Но в одном монахиня была совершенно уверена: образ, явленный ей, когда она подняла взгляд, привлеченная возгласом Хемы или Стоуна, она не забудет никогда. Солнце неожиданно заглянуло прямо в окно Третьей операционной, заиграло зайчиками на стекле, металле и кафеле и высветило то, что показалось из разверстой раны на месте живота сестры Мэри Джозеф Прейз, – два тельца, сцепившиеся наподобие гиен над падалью. Сине-черный сгусток крови – гематома – засиял как хлеб в таинстве причащения. Солнце будто нарочно искало нерожденного. Мы видели друг друга. Маски сорваны. Да, конечно, стечение обстоятельств можно было бы трактовать как чудо... но ведь ничего не произошло, законы природы не нарушались (что матушка считала *sine qua non** для чудес). Только все равно казалось, что место близнецов на небесном своде

и их земная судьба предопределены еще до рождения; и монахиня знала, что отныне ничто, ни аромат эвкалиптов, ни стрекот дождя по жестяным крышам, ни запах вскрытой брюшной полости, уже не будет таким, как прежде.

* Без чего нет; необходимое условие (лат.).

Глава девятая. В чем состоит долг

Хема орудовала скальпелем так, будто ее поджаривали. Нет времени пережимать кровоточащие сосуды, и вообще, если кровит мало – это дурной знак. Она вскрыла поблескивающую брюшину и быстро установила ретракторы. Матка выпирала из раны. И вдруг она озарилась светом... Хема так и замерла, пока не поняла, что это солнечный луч проник сквозь матовое стекло окна и упал на стол. Во время операции с ней такого не случилось ни разу – за все годы, проведенные в Миссии.

Как Хема и опасалась, на матке имелся боковой разрыв. Широкую связку с одной стороны заполняла кровь. Значит, как только она извлечет близнецов, придется удалять матку, при беременности задача нелегкая, что прикажете делать с маточными артериями, скрученными, утолщенными и подающими пол-литра крови в минуту? Не говоря уже об обширном сгустке крови, растущем на глазах, что, подобно улыбающемуся Будде, злорадно мерцал в луче света и, казалось, говорил Хеме: Я полностью деформировал анатомию, рассечение будет чертовски трудным, опознавательные точки исчезли. Ну же, за дело, медлить нельзя!

Хема верила в нумерологию, числа у нее были на втором месте после имен.

Какое сегодня число? – спросила она себя.

«Тридцатый день девятого месяца. Четверок и семерок нет... Самолет чуть не разбился, мальчик ногу сломал... Я раздавила французу яйца... Что еще случится, что?»

Она стукнула Стоуна ножницами по костяшкам пальцев:

– Стоп!

Он возился с кровоточащим сосудом, вместо того чтобы взяться за ретрактор.

Она рассекла матку и попыталась извлечь того близнеца, который находился выше, но тем не менее головой вниз. При нормальных родах он оказался бы вторым, но сейчас превратился в первенца. Рука его была прижата к щеке, и, странное дело, он не шевелился.

Она расширила рану.

Привела в действие отсос.

Громко вздохнула, так что маска на лице колыхнулась. Вот она, проблема.

Малютки срослись головами, темечки их соединяла короткая мясистая

трубка, она была уже и темнее пуповины, на ее стебле виднелся разрыв с неровными краями, нанесенный, несомненно, Стоуном с его базиотрибом. И через этот разрыв вытекала кровь, а ее и так в двойняшках было немного.

Господи, подумала Хема, пусть это будет мелкий кровеносный сосуд, только не мозг, не мягкие оболочки, не вентрикулярная или церебральная артерия, не спинномозговая жидкость, ничего такого. Она мыслила вслух, обращаясь к Стоуну, к операционной, к Господу и к близнецам, чьи жизни роковым образом зависели от того, какое решение она примет:

– У них могут начаться судороги, как только я ее перережу. Один мальчик истечет кровью, а другого кровь переполнит. У них может развиваться менингит...

Когда хирургу предстоит принять трудное решение, он порой заговаривает вслух со своим ассистентом, этот прием проясняет сознание. Теоретически это дает ассистенту время указать тебе на возможную ошибку, хотя в данном случае она бы не послушалась человека, натворившего столько дел. И все-таки решение надо было принимать взвешенное, чтобы опять не дать маху. Ведь часто именно вторая ошибка, призванная исправить первую, губит пациента.

– Выбора нет, – произнесла Хема. – Надо резать.

Она наложила зажимы на соединяющую головы близнецов трубку, помянула имя бога Шивы, задержала дыхание и произвела разрез, приготовившись к самому худшему.

Ничего не произошло.

Она перевязала культы, перерезала пуповину, извлекла первого малыша, мальчика, и передала стажерке. Малютке повезло – отец до него не добрался. Затем Хема вытащила второго ребенка – тоже мальчика, которого отец успел взять в оборот. Его головка кровоточила, и Стоун, несомненно, раздавил бы ему череп, если бы Хема опоздала.

Оба мальчика были крошечные, самое большее три фунта. Недоношенные, ясное дело. До законного срока еще месяц, если не больше. Оба не подавали голоса.

Из вскрытой брюшной полости послышалось тяжелое хлюпанье, и Хема повернулась от детей к матери.

– Давление? – глянула она на Асквал.

Анестезиолог, глаза по блюдцу, покачала головой. Прекрасное лицо сестры Мэри Джозеф Преиз выглядело отекившим и безжизненным.

– Перелейте еще крови! Ради Бога! Лейте! – закричала Хема.

Копаясь в сдувшемся животе, Хемлата вспомнила, что, когда передавала стажерке второго близнеца, та так и осталась стоять с первым

малышом на руках, а на лице у нее было недоумение. Но у Хемы не было времени беспокоиться по этому поводу. Дети приняты, теперь ее долг как акушера заниматься исключительно сестрой Мэри, которая стала матерью.

Глава десятая. Танец Шивы

Мы, безымянные малыши, явившиеся на свет, не дышали. Большинство новорожденных покидает материнскую утробу, чтобы разразиться пронзительным воплем, мы пожаловали в этот мир в гробовом молчании. Руки наши не были прижаты к груди, кулачки не сжаты, обмякшие тела были безвольны.

Наше жизнеописание следовало начать так: однояйцовые близнецы, мать – монахиня, умерла при родах, отец неизвестен, по всей видимости Томас Стоун, каким бы невероятным это ни представлялось. С течением времени этот зачин обогащался, от частого повторения обрастал подробностями. Но теперь, оглядываясь назад с высоты прожитых пятидесяти лет, я вижу, что кое-каких деталей недостает.

Когда схватки на время стихли, я потянул брата обратно в утробу, прочь от копий и гарпунов, что тянулись к нему от единственного выхода. Убийца не достиг своей цели. Потом я помню – правда, помню – приглушенные голоса, звуки какой-то возни. Мои спасители все ближе, вижу слепящий свет и чувствую на своем теле сильные пальцы. Тьма тает, я глохну и чуть не упускаю мгновение, когда нас физически разделяют, когда трубка, связывающая наши с Шивой головы, исчезает. Это потрясение. Бездыханный, неподвижный, я лежу в медном тазу, я только появился на свет, еще даже не начал жить – и все равно по сей день из памяти всплывает только мое расставание с Шивой. Но вернемся к жизнеописанию.

Стажерка уложила двух мертворожденных в медный таз, предназначенный для плаценты, поднесла таз к окну и сделала запись в карте: Японские близнецы, сросшиеся головами, произведено разделение. В своем стремлении услужить она совершенно забыла об элементарном: о дыхательных путях и кровообращении. Зато припомнилась прочитанная накануне ночью глава о желтухе новорожденных и благотворной роли солнечного света. Лучше бы в книге говорилось о японских близнецах (слово «сиамские» совершенно вылетело у нее из головы) или об асфиксии у новорожденных, подумала она. Только поставив таз у окна, стажерка сообразила, что ведь солнечный свет благотворно влияет на живых малюток. А эти мертвые. Ее охватил еще больший стыд и смущение.

Близнецы лежали лицом к лицу, чувствуя гальваническое прикосновение меди к коже. Чтобы описать их смертельную бледность,

стажерка использовала в карте слова «белая асфиксия».

Солнечные лучи, доселе равномерно освещавшие все помещение, упали на таз.

Медь испустила оранжевое сияние. Молекулы металла задвигались живее. Его прана облекла полупрозрачную кожу малюток и проникла в рыхлую плоть.

Хема иссекла широкие связки, поставила зажимы на маточные артерии, моля Бога, чтобы не пережать мочеточники и не вырубить почки в этой кровавой каше. Быстро, быстро, быстро! На этот раз ей захотелось треснуть Стоуна по лбу, а не по костяшкам пальцев.

– Оттягивай как следует, ты!

Анестезиолог потянула Мэри за руку в поисках подходящей вены. Голова роженицы мотнулась, как у тряпичной куклы. Стоун не сводил с нее глаз. Матушка, усталая и скорбная, шлепнула Мэри по другой руке.

Когда Хема извлекла наконец матку, пульсации в брюшной аорте не было. Хема наполнила шприц адреналином и насадила иглу в три с половиной дюйма. Руки у нее внезапно затряслись. Она приподняла Мэри левую грудь, помедлила, помянула имя Господа и вонзила иглу между ребер прямо в сердце. Потянула поршень на себя, и жидкость в шприце окрасилась кровью сердца.

«Сколько я ни колола адреналин в сердце, никогда ничего не выходило, – произнесла про себя Хема. – Может, я таким образом подаю себе сигнал, что пациент мертв? Ну хоть один-единственный раз пусть получится. Зачем же тогда нас этому обучали?»

Хемлата гордилась, что сохраняет хладнокровие в самых экстренных случаях. Но сейчас, пока она, погрузив правую руку в брюшную полость, ждала, не встрепенется ли аорта, не ощутят ли ее пальцы подрагивания, к горлу подступили рыдания. Ведь это сердце милой сестры Мэри она пыталась запустить, это из Мэри ускользала жизнь. Они были связаны, две женщины из Индии на чужбине, и эта связь завязалась еще в Правительственной больнице в Мадрасе, хотя они тогда были незнакомы. Общая география, общая память сделала из них сестер. И вот руки сестры на глазах у Хемы синели, ногтевые ложа серели, а кожа приобретала мертвенный оттенок. Перед ней лежал труп, и матушка держала покойницу за руку.

Хема ждала дольше, чем в нормальных обстоятельствах. Прошло некоторое время, прежде чем она собралась с силами и объявила срывающимся голосом:

– Мы ее потеряли.

Все в операционной замерли в бездействии. Именно в это мгновение новорожденный, тот, чья голова не была повреждена, возвестил о своем присутствии, заскреб пальцами по тазу, ударил пяточкой в медную стенку, воздел руки к небу, а затем махнул ими вправо, указывая на своего брата.

– Вот он – я, – объявил он. – Забудьте о всяких там «может быть», «наверное», «как» и «почему». Я все понимаю – и ситуацию, и обстоятельства, в свое время мы проясним подробности, и во всяком случае, Рождение, Зачатие и Смерть – это факты, от которых не отмахнешься... Я родился, и этого достаточно. Помогите моему брату. Ну же! Сюда! Немедля! Помогите ему!

Хема бросилась к младенцу, повторяя «Шива, Шива», это было имя ее бога-покровителя, которого большинство считает Разрушителем, но в кого она также верила как в Преобразователя, способного сотворить добро из зла. Потом она признается, что в отношении двойняшек ожидала самого худшего. У одного вся голова в крови, да тут еще эта трубка, что соединяла их, и одному Богу известно, через что малюткам пришлось пройти прежде, чем их вырезали из утробы. Но она также предполагала, что стажерка с матушкой займутся новорожденными, пока она возится с матерью... И тут она припомнила, что ведь матушка-то сидела не шелохнувшись.

Стажерка так и остолбенела, услышав крик ребенка у себя за спиной, до того это шло вразрез с ее вроде бы вполне обоснованным прогнозом. Ребенок был не белый, а розовый, и никаких следов желтухи. Второй младенец был весь синий и оставался неподвижным, словно некая куколка, из которой и должен вылупиться плачущий малютка. Матушка, услышав плач новорожденного, стремительно встала с табурета и наградила стажерку таким взглядом, что у той не осталось никаких сомнений в собственной безнадежности. Хемлата занялась тем близнецом, который не шевелился, а матушка принялась торопливо обмывать крошку, подавшего признаки жизни.

Тот, что дышал, обвел припухшими глазами помещение, пытаясь разобраться, что к чему.

Посреди операционной с потерянными видом стоял человек, которого все считали отцом, белый, высокий, жилистый. Руки у него были в тальке от резиновых перчаток, пальцы сплетены в жесте, характерном для хирургов, священников и кающихся. Над глубоко посаженными голубыми глазами нависал выпуклый лоб, обычно, видимо, сообщающий его обладателю энергичное выражение, сегодня сменившееся туповатым. Нос был крупный, острый, как и полагается для этой профессии, губы тонкие и прямые, будто проведенные по линейке. словно вырубленное из одного

куска гранита лицо состояло из прямых линий и острых углов, которые сходились к подбородку, формой напоминавшему ланцет. Волосы справа разделял пробор, возникший еще в юности вследствие тщательной, волосок к волоску, работы с гребенкой. Верх был пострижен неровно, будто мужчина сказал парикмахеру: «Сзади и с боков покороче» – и, несмотря на протесты мастера, поднялся с кресла, как только его просьба была выполнена. То было упрямое, решительное лицо офицера с какого-нибудь старинного военного корабля, не хватало только подзорной трубы да длинных волос, увязанных в конский хвост. Разрушали образ лишь слезы, катившиеся по щекам.

И этот плачущий человек неожиданно для присутствующих выговорил дрожащим голосом:

– А... к-к-ак же М-м-мэри? Хема глянула на него через плечо:

– Мне жаль, Томас. Слишком поздно.

Произведя отсос из глотки новорожденного, Хема качнула воздух в легкие малыша, все с лихорадочной поспешностью. Злость на Стоуна исчезла, уступив место состраданию.

Стоун издал скрипящий звук, плач мятущейся души. С момента прибытия Хемы он взял на себя роль стороннего наблюдателя, толку от него как от ассистента не было никакого. Он качнулся вперед, схватил из кюветы скальпель и положил руку Мэри на грудь. Хема решила, что благоразумнее не пытаться останавливать человека с режущим предметом.

Стоун приподнял Мэри грудь. Лозунг пионеров реанимации из Королевского гуманитарного общества зазвучал у него в ушах: «*Lateat Scintillula Forsan*» – может быть, осталась искорка.

Он сдвинул грудь в сторону, и под его ножом между четвертым и пятым ребрами появился разрез. Стоун провел скальпелем по ране еще раз, и еще, пока не прорезал мускул. От его медлительности не осталось и следа. Он перерезал хрящи, соединяющие два ребра с грудиной, раздвинул ребра и сам не поверил, когда его рука без перчатки скользнула в еще теплую грудную полость и пропала из виду. Губку легкого он сдвинул в сторону. Пальцы его коснулись сердца Мэри, лежавшего словно уснувшая рыба в плетеной корзине, он сжал его и поразился, какое оно большое, не охватить. Он отчаянно кивнул анестезиологу, веля качать воздух в легкие.

Правой рукой он массировал Мэри сердце, левой придерживал грудь, плотную и основательную в отличие от мягкого, скользкого сердца. Синие тени пятнами наползали на лицо – оттенок, не полагающийся ее смуглой коже. Живот ее опал сдувшимся воздушным шариком, две его половинки раскрылись, словно книга, из которой выдрали корешок.

– Боже! Боже! Боже! – выкрикивал Стоун с каждым сжатием, взывая к Господу, от которого отрекся и в которого не верил.

А вот сестра Мэри верила и молилась каждый день на рассвете и перед сном. Каждое мгновение ее жизни было ниспослано Богом, Господь благословил каждый съедаемый ею кусочек пищи. Пусть жизнь твоя будет прекрасной перед Господом. Если Томас Стоун и не понимал этого, то относился с уважением, ибо точно такой же подход был характерен и для его работы в операционной, и для книги, созданной, кстати, при ее участии. Поэтому-то он и призывал сейчас Бога, ведь тот явно задолжал своей преданной слуге сестре Мэри Джозеф Прейз чудо. Если оно не произойдет, то Бог просто бесстыжий мошенник, что Стоун всегда и подозревал.

– Если хочешь, чтобы я поверил в тебя, Бог, тебе как раз выпал случай. Двери операционной распахнулись.

Все уставились на появившегося в проеме человека.

Только это был всего лишь Гебре, священник, слуга Господень и сторож. В руках он держал прикрытую крышкой миску с инжерой и вотом, и аромат лакомства смешался с запахом плаценты, крови, околоплодных вод и мекония*. Гебре топтался на пороге, не решаясь войти в святая святых, и глаза его все расширялись. На алтаре святилища лежала сестра Мэри, живот ее был распорот как у жертвенного барана, а в грудь запустил руку Стоун. Гебре проняла дрожь. Он поставил миску на пол, присел у стены, достал четки и погрузился в молитву.

* Содержимое кишечника эмбриона. Состоит из переваренных во внутриутробном периоде интестинальных эпителиальных клеток, пренатальных волос, слизи, амниотической жидкости, желчи и воды.

Стоун удвоил усилия. Тело его раскачивалось взад-вперед.

– Я требую чуда, и немедленно!

Он продолжал массировать, даже когда сердце в руке сделалось мягким.

Теперь Стоун вопил:

– Дурацкие хлеба и рыба... Лазарь... Прокаженные... Моисей и Красное море...

Бормотание Гебре шло в такт с выкриками Стоуна, словно Бог в этом полушарии не знал английского и сторож выступал в качестве переводчика.

Стоун возвел глаза к потолку, будто ожидая, что кафель сейчас расступится, явится ангел и совершит то, что оказалось не по силам хирургам и священникам. Но увидел он только черного паука на паутинке, равнодушно взирающего на человеческие страдания. Погруженная в грудную полость рука больше не совершала резких движений и только

тихонько поглаживала сердце. Слезы Стоуна капали на мертвое тело, плечи тряслись, он зарыдал и уронил голову на руку, лежавшую на груди Мэри. Никто не осмелился подойти к нему.

Много времени прошло, прежде чем он поднял голову и непонимающими глазами обвел полоску из зеленого кафеля на стене, дверь в автоклавную, стеклянный шкаф с инструментами, залитую кровью матку и набор зажимов, разложенных на полотенце, сине-черную плаценту и матовые окна, сквозь которые сочился свет. Это все осталось, а Мэри больше нет. Как же так? Только сейчас он наткнулся взглядом на близнецов, уже покинувших свой медный трон, только сейчас заметил оранжевое сияние вокруг малышей. Надо же, оба младенца живы, поблескивают глазами, один вроде бы его изучает, а второй теперь такой же розовый, как первый...

– О нет, нет, нет, – жалобно произнес Стоун. – Не о таком чуде я просил!

Он выдернул руку из тела Мэри. Послышалось хлюпанье, и Стоун покинул операционную.

Он вернулся со шваброй на длинной ручке, смахнул с потолка паука и раздавил каблуком.

Матушка поняла. Это было богохульство. Если Господь воплотился в паука, Стоун убил Бога.

– Томас, – проговорила Хемлата, хотя в Третьей операционной никогда не обращалась к нему по имени, только по фамилии, официально.

Оба младенца были у нее на руках, обмытые и спеленутые. У того, кому Стоун пытался проделать дырку в голове, отсосали немного околоплодной жидкости, но теперь, с давящей повязкой вокруг раны, он вроде полностью оправился. Обрубок на голове у второго, оставшийся от перемычки, что соединяла братьев, был зашит куском из пуповины.

Хемлата убедилась, что мальчики шевелят руками-ногами, косоглазия нет ни у одного и что они вроде бы видят и слышат.

– Томас, – сказала она, но Стоун понуро отвернулся. Этот человек, с которым она проработала вместе семь

лет и которого, как ей казалось, хорошо знала, сгорбился под тяжестью горя.

«Висцеральная боль», – сказала себе Хема.

Как бы она ни была на него зла, его отчаяние и скорбь тронули ее. Ведь все эти годы окружающие считали Стоуна и сестру Мэри прекрасной парой, их бы чуть подтолкнуть, глядишь, и получилась бы семья. Сколько раз Хема видела, как сестра Мэри ассистировала Стоуну при операциях,

работала над его рукописями, заполняла больным карты. Откуда она взяла, что их отношения должны этим и ограничиться? Надо было шлепнуть его хорошенько и прокричать ему в ухо: «Ты что, ослеп? Посмотри только, это не женщина, а клад! Она же тебя так любит! Сделай ей предложение! Женись на ней! Пусть она покинет монастырь, снимет с себя сан. Ты – ее первейший обет». Но Хемлата не вмешалась, поскольку все считали Стоуна черствым сухарем. Кто знал, какое глубокое чувство сокрыто на самом дне его души?

И эти два свертка у нее на руках – его дети? До сих пор не верится. Но против фактов не попрешь. Обратной дороги нет, надо проявить настойчивость – кто-то ведь должен позаботиться о младенцах. Болван Стоун потерял единственную женщину на свете, предназначенную ему судьбой. Зато теперь у него двое сыновей. Вся Миссия будет их холить и лелеять. Стоуну есть откуда ждать помощи. Хема подошла поближе.

– Как назовем малышей? – спросила она неуверенно. Он, казалось, не слышал. Хема помолчала ц, повторила вопрос.

Стоун мотнул головой в ее сторону, мол, как хочешь, так и называй.

– Уберите их с глаз моих.

Он по-прежнему стоял спиной к новорожденным, не отрывая глаз от Мэри, и поэтому не увидел, как его слова подействовали на Хему. На нее словно кипящим маслом плеснули, глаза загорелись яростью. Хема неверно поняла его намерения, а он – ее.

Стоуну хотелось умчаться прочь, но не от детей и не от ответственности. Неразрешимая загадка, невозможность их существования заставила его повернуться к детям спиной. Все его мысли были заняты Мэри: как она могла скрыть свою беременность, чего ждала? А на вопрос Хемы он бы мог ответить просто: «Почему ты спрашиваешь меня? Насчет этого я знаю не больше, чем ты», если бы не мучительная уверенность, что он здесь – главный виновник, хоть и представить себе не может, как, когда и где все произошло.

Неужели единственным земным предназначением этого тела, что, бездыханное, лежит перед ними, было дать жизнь двум человечкам? Матушка закрыла сестре Мэри веки, но они наполовину приподнялись, и смерть снова явила миру невидящие глаза.

Стоун бросил последний взгляд на Мэри. Ах, если бы она осталась у него в памяти не как монахиня, не как ассистентка, а как женщина, которой он объявил о своей любви, о которой заботился, на которой женился! Запомнить хорошенько жуткий образ ее мертвого тела! Он жил работой,

работой и еще раз работой. Что еще мог он дать сестре Мэри? Но сейчас спасения не было и в работе.

Он глянул на ее раны. Ничего тут уже не излечишь, и раны не зарубцуются, и никаких шрамов на теле не появится. Это на его сердце останется шрам. Он не умел жить по-другому – и поплатился. Но если бы она только попросила, он бы изменился. Непременно. Знать бы только, как все обернется. Впрочем, какое это теперь имеет значение?

Он повернулся к выходу, оглядел операционную, словно стараясь запечатлеть в памяти место, где шлифовал и совершенствовал свое искусство, где все было уложено и расставлено, как он хотел, и где, как он считал, был его настоящий дом. Стоун жадно смотрел на все, что его окружало, ибо знал, что никогда сюда не вернется. Он удивился, когда на глаза ему опять попала Хема с двумя свертками на руках, и это зрелище заставило его содрогнуться.

– Стоун, подумай вот насчет чего, – проговорила Хема. – Можешь стоять ко мне спиной, если тебе так больше нравится, мне ты не нужен. А вот детям нужен. Я больше тебя просить не буду.

С младенцами на руках Хема ждала ответа. Откровенные слова уже вертелись у него на кончике языка, он готов был рассказать ей все. В его глазах она видела боль и озадаченность, но вот осознания связи с крошечными мальчишками в них не было.

– Хема, я не понимаю, кто... почему они здесь... почему Мэри умерла.

Она ждала. Скажет он что-нибудь дельное или так и будет крутить вокруг да около? Ей хотелось схватить Стоуна за уши и хорошенько встряхнуть.

В конце концов он посмотрел ей в глаза (на детей он так и не глянул) и сказал совсем не то, что она хотела бы услышать:

– Хема, я их видеть не могу.

Хема отбросила всякую сдержанность. Ей стало обидно за детей. Да что, у него у одного, что ли, горе, в самом деле?

– Что ты сказал, Томас?

Он, наверное, понял: войска приведены в боевую готовность.

– Они убили ее, – пробормотал Стоун. – Не могу их видеть.

«Вот оно как, – подумала Хема, – вот как мы уходим из чужой жизни».

Близнецы у нее на руках запищали.

– А чьи они тогда? Разве не твои? Разве ты не был соучастником убийства?

Он скривил рот от боли, ничего не ответил и направился к выходу.

– Ты меня слышал, Стоун, – возвысила голос Хема, – это ты убил ее.

Стоун вздрогнул. Хема торжествовала. Жалости она больше не испытывала. Какая жалость к человеку, который отрекается от своих детей?

Он так толкнул распашную дверь, что та крякнула.

– Стоун, ты убил ее! – крикнула Хема. – Это твои дети.

Повисшее молчание нарушила стажерка. Стараясь предугадать события, она открыла кювету для циркумцизии и натянула перчатки. Матушка позволяла ей лишь единственную процедуру проводить самостоятельно: орудовать гильотиной для крайней плоти.

Тут на нее накинулась Хема:

– Бог ты мой, милая, тебе не кажется, что детишки уже достаточно натерпелись? Они же недоношенные! Опасность для них еще не миновала. А ты им хочешь еще и писун урезать?.. А ты-то сама чем занималась все это время? Лучше бы занялась их дыхалкой, правда, она с другого конца.

Хема покачала малышей, умиляясь на их сопящие носики, на их благостные улыбки. У новорожденных обычно лица такие напряженные, перепуганные, а эти... Их мать лежит рядом мертвая, отец сбежал, а им и невдомек.

Матушка, Гебре, анестезиолог и прочие плакали. Весть разошлась среди санитарок и прислуги. Скорбные причитания, пронзительное лулулулулу наполнили Миссию. Рыдания не утихнут несколько часов.

Даже стажерка выказала первый намек на чутье сестры милосердия. Она перестала пыжиться и лезть из кожи вон, а дала себе волю, всплакнула по Мэри, единственной, кто ее понимал. Впервые стажерка увидела в детях не «зародышей» или новорожденных, а сироток, вроде нее самой, которых стоило пожалеть. Слезы полились у нее из глаз, тело обмякло, словно ненакрахмаленный халат. Неслыханное дело – матушка обняла стажерку за плечи. В глазах монахини стажерка увидела не только печаль, но и страх. Как-то пойдут дела в Миссии без сестры Мэри? Или без Стоуна? Ведь он наверняка не вернется, это очевидно.

Хемлата шикнула на плачущих и замурлыкала колыбельную; когда она переступала с ноги на ногу, ее ножные браслеты тихонько постукивали на манер кастаньет. Она особо остро чувствовала потерю, и вместе с тем что-то – наверное, воля сестры Мэри – приказало посвятить себя двум крошкам.

Близнецы мерно дышали, им было хорошо у нее на руках. Как прекрасна и ужасна жизнь, подумалось Хеме. Трагична – это еще слишком мягко сказано. Сестра Мэри, Христова невеста, ушла из жизни, едва родив двойню.

Хема подумала о Шиве, своем боге-покровителе. Чем ответить

тридцатилетней женщине на безумие жизни? Пусть безумие внутреннее поставит ему заслон. Надо исполнить танец Шивы, надеть его застывшую улыбку, вертеться и кружиться, и хлопать шестью руками, и притопывать шестью ногами под внутренний ритм, выстукиваемый на табле, небольшом гулком барабане, – тим-тага-тага, тим-тага-тим, тим-тага... Хема двигалась плавно, согнув ноги в коленях, с пятки на носок, в такт музыке, звучащей в голове.

Статисты в Третьей операционной уставились на нее как на полоумную, а она не прекращала свой танец, даже когда приводили в порядок мертвое тело, словно от ее легких па было рукой подать до самозабвенной, огненной пляски, которая одна способна удержать мир, спасти от неминуемого угасания.

В голову Хеме лезли всякие клочки и обрывки: ее новый «Грюндиг», губы и длинные пальцы Адида, обморок матушки-распорядительницы, бледнеющее на глазах лицо французского пилота, Гебре, облепленный куриными перьями... Что за поездка... что за день... что за безумный трагический день! Что тут делать, только танцевать, танцевать, танцевать...

Ноги несли ее на удивление легко и грациозно, шея, голова и плечи двигались, как велит традиция «Бхаратанатьям», брови перемещались вверх-вниз, глаза играли, и при этом близнецов она из рук не выпускала.

За пределами госпиталя, в клетках возле памятника Сидист Кило, в предвкушении трапезы громко рычали львы, сейчас зритель просунет им меж прутьев решетки мясо; на границе города, у подножия горы Энтото, при звуках рыка насторожились гиены – сделают три трусливых шажка вперед и на шаг попятятся; император в своем дворце составлял план официального визита в Болгарию, а может быть, и на Ямайку, где у него имелись последователи, раста, названные так в честь имени, которое он носил до коронации, Рас Тефери, – которые считали его богом (он не имел ничего против, чтобы его подданные верили в это, но когда эта вера неизвестно как объявилась в дальних краях, в нем пробудилась подозрительность).

Последние сорок восемь часов бесповоротно изменили жизнь Хемы. У нее появились два малыша, которые время от времени косились на нее, словно подтверждая тем свое прибытие в этот мир, свою удачу.

У Хемы кружилась голова.

«Я выиграла в лотерею, не купив билет, – думала она. – Близнецы заполнили брешь в моем сердце, о существовании которой я даже не подозревала».

Но в аналогии кроется опасность: она слышала о носильщике с

железнодорожного вокзала в Мадрасе, который выиграл несколько сот тысяч рупий, но быстро все просадил и был вынужден вернуться на платформу. Когда выигрываешь, часто теряешь, это факт. Ни за какие деньги не восстановишь надломленный дух, не достучишься до тщеславного, эгоистичного сердца – вот как в случае со Стоуном, думала она.

Томас молил о чуде. Глупец не видел, что новорожденные и были таким чудом. Прежде всего потому, что вопреки всему выжили. Хема решила назвать того близнеца, что первым начал дышать, Мэрион. Мэрион Симс*, скажет она мне позже, был обычный стажер из штата Алабама, который революционизировал хирургию женских органов. Он считается отцом акушерства и гинекологии, святым покровителем. Назвав меня в его честь, она воздала ему хвалу.

* Джеймс Мэрион Симс (1813-1883), один из пионеров гинекологии.

И Шива, в честь Шивы, – такое имя дала она мальчику с круглой дыркой в голове, который был почти мертв и ожил, только когда она помянула имя бога Шивы.

Да, Мэрион и Шива.

Она добавила к обеим именам «Прейз» в честь мамы.

И наконец, после некоторых раздумий (от судьбы не уйдешь, да и он не останется безнаказанным), в графе «фамилия» она поставила: Стоун.

Часть вторая

Кольшек в дырку вонзится,

Живая душа родится

И будет она притом

Либо дыркой, либо колом.

Четвертый закон движения Ньютона

(как учили старейшины Мадрасского христианского колледжа при посвящении в первогодки А. Гхоша, группа 1938, общежитие Св. Фомы, корпус «Д», Тамбарам, Мадрас)

Глава первая. Язык кровати и спальни

В то утро, когда родились близнецы, доктор Абхи Гхош проснулся в своей квартире под воркование голубей за окном. Птицы были и наяву, и во сне, перед самым пробуждением он сорвался с огромного баньяна, росшего возле дома его детства, – пытался рассмотреть, что творится в соседнем доме, где проходила свадьба. Но, хотя птицы услужливо чистили своими крыльями окна, ничего не было видно.

Перед глазами так и остался стоять древний баньян – дерево, которому нипочем оказались ни мадрасские муссоны, ни знойные летние дни, было его защитником и проводником. Военный городок возле горы Святого Фомы в предместье Мадраса кишел детьми железнодорожников и военных, что вполне устраивало мальчишку-безотцовщину, тем более что потрясенной смертью мужа матери было не до детей. Ананд Гхоши, бенгалец из Калькутты, был командирован в Мадрас «Индийскими железными дорогами». Со своей будущей женой, девушкой из англо-индийской семьи, дочерью начальника станции в Перамбуре, он познакомился на танцевальном вечере для железнодорожников, куда его занесло шутки ради. Обе семьи не одобрили этот брак. У них родилось двое детей, сперва девочка, потом мальчик. Маленькому Абхи Гхоши не исполнилось и месяца, когда отец умер от гепатита. Абхи вырос в самостоятельного, жизнелюбивого юношу, смело идущего по жизни. Сделавшись постарше, он выбросил «и» из своей фамилии, словно бородавку свел. Когда Абхи был на первом курсе медицинского вуза, у него умерла мать. Сестра с мужем смотали удочки, обиженные, что дом в военном городке переходит к нему. Сестра даже заявила, что у нее больше нет брата, и в свое время он убедится в справедливости ее слов.

По утрам Гхош особенно остро скучал по Хеме. Ее бунгало, спрятавшееся за живой изгородью, находилось совсем рядом, но за запертой дверью было тихо. Всякий раз, когда Хема отправлялась в отпуск в Индию, жизнь Гхоша делалась совершенно невыносимой, голову сверлила мысль: а вдруг она выскочит замуж?

Когда он провожал ее в аэропорту, его так и подмывало выпалить: «Хема, давай поженимся». Но он знал, что она откинет голову и расхохочется. Гхош любил, когда Хема смеялась, только не над ним. И так и не сделал предложения.

– Болван! – объявила Хема, когда он в который раз осведомился, не

намерена ли она заняться поиском перспективных женихов. – Ты же меня хорошо знаешь. С чего ты взял, что мне нужен жених? Лучше я подыщу невесту тебе, вот что! Ты человек матримониально озабоченный.

Хеме его ревность казалась шуткой: Гхош изображает, что увивается за ней, а она играет роль неприступной и дает ему от ворот поворот.

Знать бы ей, как мучили его незваные образы: Хема в сари невесты сгибается под тяжестью золотого ожерелья; Хема сидит рядом с уродливым женихом, и на шее у них буйволиным ярмом цветочные гирлянды...

– Валяй! Мне-то что за дело! – произносит Гхош вслух. – Но спроси себя, сможет ли он полюбить тебя, как я? Что толку в образовании, если ты позволишь своему отцу отвести тебя к бугаю брахманской породы, словно корову? – Тут ему представляется бычий пенис... и он издает стон.

На этот раз, когда стало очевидно, что отъезд Хемы неизбежен, Гхош повел себя иначе: он потихоньку отправил в Америку заявления о зачислении в интернатуру. Ну да, ему тридцать два, но еще не поздно начать все заново. Надо быть хозяином своей судьбы. Вот и больница округа Кук из Чикаго ответила телеграммой, что высылает ваучер на авиабилет. Когда официальное письмо и контракт прибыли, это никак не сказалось на его чувстве к Хеме, зато помогло ощутить себя не таким беспомощным.

На кухне Алмаз яростно гремела посудой, наливая воду из Муссолини.

– Ради бога, потише, – выкрикнул привычные слова Гхош.

Печь с водогреем была пузатая, что придавало ей сходство со свергнутым диктатором, отсюда пошло прозвище. Вода нагревалась быстро, стоило разжечь в Муссолини огонь. Правда, Алмаз ворчала, что приходится возиться с дровами и растопкой – и все ради чего? Чтобы приготовить чашку этого мерзкого порошкового кофе для гета! По утрам Гхош предпочитал растворимый кофе густому эфиопскому напитку. Но куда больше кофе Гхош ценил возможность помыться горячей водой.

Он завернулся с головой в одеяло, когда Алмаз прошествовала в ванную с дымящимся котлом.

– Бания! – проворчала она по-амхарски. Ни на каком другом языке она не говорила, хотя Гхош подозревал, что Алмаз знает английский лучше, чем показывает. Вылив котел в ванну, она закончила свою мысль: – Мыться каждый день вредно. Какая жалость, что у хозяина кожа не хабеша! Она была бы всегда чистая, скрести не надо.

Несомненно, Алмаз этим утром побывала в церкви. Когда он только приехал в Эфиопию, какая-то женщина на Менелик-стрит вдруг глубоко ему поклонилась, он даже шарaxнулся в сторону. Только позже Гхош понял,

что у него за спиной возвышалась церковь. Перед церковью прохожие приседали, троекратно целовали стену и крестились. Несогрешившие могли войти, прочие оставались на противоположной стороне улицы.

Кожа у высокой круглолицей Алмаз была цвета дуба, ее чуть скошенные к носу овальные глаза говорили о страсти, но квадратный, почти мужской подбородок, казалось, противоречил этому, что, впрочем, только привлекало восхищенные взгляды. У нее были большие, но красивые руки, широкие бедра и мощный зад, который до того оттопыривался, что на него, Гхош был убежден, вполне можно было поставить чашку и блюдце.

Она попала в Миссию в двадцать шесть лет с родовыми схватками, на десятом месяце беременности, очень гордая собой, что смогла выносить этого ребенка, тогда как все прочие не прижились в ее утробе. В женской консультации студенты дважды записали в ее карту: «Тоны сердца плода прослушиваются». Но в день предполагаемых родов Хема услышала только тишину. Как показал осмотр, за ребенка стажеры приняли гигантскую фиброму матки, а что до «тонов сердца плода», то они остались на их совести.

Алмаз категорически не согласилась с диагнозом.

– Смотри. – Она сдавила налитую грудь. Брызнула струйка молока. – Неужто сиська даст молоко, если не надо кормить ребенка?

Да, сиська даст, если ее обладательница верит. Прошло еще три месяца, никто не родился, ни черепа, ни позвоночника ребенка на рентгенограмме не оказалось, и Алмаз убедилась, что была не права. Вместе с фибромой Хеме пришлось удалить и саму матку, съеденную опухолью. В городе Сабата ждали возвращения Алмаз с новорожденным. Но Алмаз решила не возвращаться в родные места и осталась в Миссии.

Он слышал шаги Алмаз и стук чашки о блюдце. Запах кофе заставил его выглянуть из-под одеяла.

– Что-нибудь еще? – спросила Алмаз, изучающе глядя на Гхоша.

Да, мне нужно тебе сказать, что я уезжаю из Миссии. Честное слово! Не хочу быть игрушкой в руках Хемы. Но он не сказал этого, только головой покачал. Он чувствовал, что Алмаз интуитивно понимает, каково ему приходится без Хемы.

– Есус Христос, прости этого грешника, вчера вечером он опять где-то пьянствовал, – проворчала Алмаз, нагибаясь, чтобы достать из-под кровати бутылку пива.

Увы, на нее сошел дух прозелитизма. Гхош, казалось, подслушивал ее разговоры с Господом, не предназначенные для чужих ушей. Нет, Библию

следует выдавать только священникам, подумалось ему. А то каждый мнит себя проповедником.

– Да благословенны будут святой Гавриил, святой Михаил и все прочие святые, – продолжала она по-амхарски, уверенная, что он понимает, – я молилась, чтобы Хозяин обновился, оставил свои дурие замашки, но молитва моя не была услышана.

Слово дурие развязало Гхошу язык. Оно значило «грубый», «распутный», «нечестивый» и больно его укололо.

– Что дает тебе право так ко мне обращаться? – сердито осведомился он, хотя особого гнева не испытывал.

Он чуть было не добавил: «Ты ведь мне не жена!» – но осекся. К его неизбывному стыду, дважды за эти годы они с Алмаз были близки, оба раза он был пьян. Она лежала под ним, разметавшись, и что-то ворчала, даже когда их бедра вошли в единый ритм. Точно так же она ворчала, когда грела воду и заваривала кофе. Он решил, что Алмаз таким образом выражает и боль, и удовольствие. Когда все кончилось, она одернула юбку, спросила: «Что-нибудь еще?» – и оставила Гхоша наедине с его грехом.

Он был признателен ей за то, что она не стала раздувать эти два эпизода. Но они как бы дали ей право пилить его, причем постоянно. Впрочем, было похоже, что святые взаправду помогают тем, кто обращается к нему в таком тоне; она как могла защищала его самого, его имущество и его репутацию, пуская в ход не только свой язык, но, если надо, ноги и кулаки. Порой Гхошу казалось, что он – ее собственность.

– Зачем ты раздражаешь меня? – спросил он уже обычным тоном. Нет, ему никогда не набраться смелости, чтобы объявить ей о своем отъезде.

– А разве я с вами говорю? – огрызнулась Алмаз и вышла.

Он заметил на блюдечке рядом с чашкой кофе две таблетки аспирина, и сердце его растаяло.

«Женщины этой земли – бальзам на мои раны», – подумал Гхош, наверное, в сотый раз с момента своего прибытия. Эфиопия потрясла его до глубины души. Он, конечно, видел фото в «Нэйшнл Джиографик», но окутанная туманом высокогорная империя превзошла все ожидания. Холод, разреженный воздух, дикие розы, величественные деревья напомнили ему Конур, высокогорный курорт в Индии, куда он ездил мальчиком. Его императорское величество император Эфиопии, может, и представлял собой нечто исключительное по части державной осанки и царственного достоинства, но Гхош обнаружил, что многие его подданные очень похожи на него физически. Их острые, прекрасно вылепленные носы и выразительные глаза ставили их между персами и африканцами, с

курчавыми волосами последних и кожей более светлого оттенка, характерной для первых. Сдержанные, преувеличенно официальные и нередко угрюмые, они легко выходили из себя и оскорблялись. Всюду им мерещились заговоры, а уж по части черного пессимизма они далеко переплюнули весь остальной мир. Но под этой внешней оболочкой прятались люди смекалистые, любящие, гостеприимные и щедрые.

– Спасибо, Алмаз! – крикнул Гхош. Та притворилась, что не слышит.

В туалете Гхош ощутил резкую боль при мочеиспускании и принужден был снизить напор.

– Словно бритвой по яйцам, – проворчал он, вытирая слезы. Какое название придумали французы? – *chaude-pisse*, но это и в малой степени не передает всех ощущений.

Это таинственное раздражение вызвано простоем? Или это камни в почках? А может быть, скорее всего, эндемическое воспаление мочевыводящих путей? Пенициллин не действовал, боль то усиливалась, то отпускала. Он основательно изучил вопрос, подобно ученому прежних времен, провел многие часы за микроскопом, исследуя свою мочу и мочу больных со схожими симптомами.

После своей первой половой связи в Эфиопии (единственный раз он не пользовался презервативом) понадеялся на полевую методику союзных войск, «профилактику после сношения», как ее именовали книги, – вымыть с мылом и хлоридом ртути, затем закачать в уретру серебряную протеиназовую мазь и проспринцевать на всю длину члена. Ощущения при этом были, будто он подвергся епитимье, изобретенной иезуитами. Боли приходили и уходили и усиливались по утрам безо всякой связи с «профилактикой». Сколько еще таких «проверенных временем» бесполезных методик существовало? Подумать только, какие средства армии всего мира ухлопали на такие «аптечки»! А ведь до открытия Пастером микробов доктора дрались на дуэлях из-за достоинств «перуанского бальзама на дегте», незаменимого средства для заживления инфицированных ран. Невежество распространяется с той же динамикой, что и знание. Но по-прежнему каждое следующее поколение врачей считает, что невежество осталось в прошлом.

Специальность в конце концов определяется личным опытом, вот и Гхош *de facto* заделался сифилидологом, венерологом, авторитетом по заболеваниям, передающимся половым путем. Каждый сановник, от дворца до посольств, мчался со своей венерической болезнью к Гхошу. Может быть, в округе Кук в Америке заинтересуются его опытом?

Помывшись и одевшись, он проехал двести ярдов до поликлиники в

поисках Адама, одноглазого рецептурщика, который под чутким руководством Гхоша постепенно превратился в недурного диагноста. Но Адама нигде не было видно, и Гхош отправился к В. В. Гонаду. Титулов у В. В. была масса: лаборант, техник банка крови, младший администратор, и все они фигурировали на именном жетоне, красовавшемся на его просторном белом халате. Полное имя его было Бонде Воссен Гонафер, но он переименовал его на западный манер: В. В. Гонад*. Гхош и матушка-распорядительница поспешили объяснить несчастному, что означает его псевдоним, но оказалось, что В. В. не нуждается в наставлениях.

* Gonad – гонада, половая железа (англ.).

– У англичан ведь есть мистер Стронг? Райт? Хед? Карпентер? Мейсон? Миссис Манипенни? Мистер Рич? А я буду мистером В. В. Гонадом.

В. В. был одним из первых эфиопов, с кем Гхош свел короткое знакомство. С виду меланхолик, В. В. был жизнелюб и честолюбец. Урбанизация и образование дали В. В. gravitas, несколько преувеличенную обходительность, шея и тело изящно изогнуты в поклоне, разговор прерывается томными вздохами. Под влиянием алкоголя его манеры либо делались еще более изысканными, либо он вовсе забывал о них.

Гхош попросил В. В. сделать ему укол витамина В12. Игра стоила свеч – даже плацебо дает определенный эффект.

В. В. прокипятил шприц.

– Доктор Гхош, ни в коем случае не пренебрегайте профилактическими средствами, – застенчиво просопел он. Уж чья бы корова мычала.

– Я и не пренебрегаю. Сношений без резинки не допускаю. Веришь, нет? Понять не могу, откуда берется это жжение по утрам. А вы, сэр? Почему не пользуетесь кондомом, В. В.?

Гонад носил высокие каблуки, в связи с чем походка у него была страусиная. Голову его украшала шапка взбитых волос, эту прическу впоследствии назовут «афро». Он вытянулся во все свои пять футов один дюйм и надменно произнес:

– Чтобы заняться любовью с резиновой перчаткой, и из госпиталя-то выходить незачем.

Если бы Гхош знал, что сестра Мэри лежит сейчас в муках у себя в комнате, он бы кинулся на помощь и, быть может, ее жизнь была бы спасена. Но в ту минуту никто ни о чем не подозревал. Стажерка еще не доставила ей сообщение, а когда доставит, никому не скажет о том, как сестре плохо.

Вместе со старшей сестрой и стажерками Гхош неспешно совершил обход, продемонстрировал новым стажеркам случай сульфамидной сыпи, удалил асцитическую жидкость из живота больного циррозом. Прием больных в поликлинике занял большую часть дня, да еще лекция о туберкулезе будущим медсестрам. За делами он забывал про Хему, которая должна была вернуться два дня тому назад. На это у него имелось только одно объяснение, и оно его не радовало.

Ближе к вечеру Гхош уехал из Миссии – за несколько минут до того, как раздались вопли Стоуна, на руках несущего сестру Мэри в операционную.

Гхош припарковался возле величественного Иудейского Льва, украшавшего площадь у железнодорожного вокзала. Вытесанная из черносерых каменных блоков, с квадратной короной на голове, кубистическая скульптура смахивала на шахматную фигуру и придавала этой части города нечто авангардистское. Из-под нависших бровей глаза льва грозно озирали площадь.

Гхош шагнул в хромированный и лакированный мир заведения Ферраро, где постричься стоило в десять раз дороже, чем в «Джаи Хинд», индийской парикмахерской. Но у Ферраро, с его матовыми стеклами и столбиком парикмахера* в красно-белую полоску, человек сбрасывал пару лет. Зеркальные стены, круглые светильники, кресло из бычьей кожи, блистающее хромом рычагов и ручек, которых было больше, чем на операционном столе в Миссии, все это могло предоставить только это итальянское заведение.

* Традиционный отличительный знак парикмахерской. Представляет собой столбик со спиральными красными и белыми полосами. Когда парикмахерская работает, столбик вращается вокруг своей оси, когда закрыта, остается неподвижным.

Ферраро в своем белоснежном халате был вездесущ: принимал у Гхоша плащ, усаживал в кресло, набрасывал накидку и при этом непрерывно трещал по-итальянски. И неважно, что Гхош знал на этом языке только пару слов, болтовня пожилого мастера создавала некий музыкальный фон, не требующий ответа. «Остерегайся молодого врача и старого парикмахера», – гласит поговорка, но Гхошу казалось, что в их случае и сам он, и Ферраро попали в надежные руки.

Прежде чем стать парикмахером, Ферраро служил в войсках в Эритрее. Если бы они говорили на одном языке, Гхошу было бы о чем его расспросить. Он бы с интересом послушал об эпидемии тифа сороковых годов, когда в светлую голову какого-то итальянского чиновника взбрела

замечательная мысль опрыскать весь город ДДТ и тем самым избавиться от вшей и болезни. Или о том, как итальянцы боролись с венерическими заболеваниями в войсках, которым в Асмаре явно недоставало шести официальных итальянских гарнизонных путан.

Ему захотелось излить перед Ферраро душу, рассказать, как его мучает ревность и что приходится уезжать из страны из-за женщины, которая не воспринимает его любовь всерьез. Ферраро с легким щелчком опустил спинку кресла, вид у него был такой, словно он интуитивно прочувствовал проблему и сделал первый шаг к ее решению. Никто и не догадывался, что в это самое мгновение сердце сестры Мэри перестало биться.

Мастер нежно обернул Гхошу шею первым горячим полотенцем, потом взялся за второе, а закончив процедуру, тактично стих. Гхош услышал, как мастер на цыпочках подкрадывается к месту, где оставил сигарету, и затягивается.

Какое умение услужить, подумал Гхош. В том, что парикмахерское искусство – призвание Ферраро, не было никаких сомнений, его инстинкты были безошибочны, а на лысину не стоило обращать внимания.

Благоухая лосьоном после бритья, Гхош сел за руль, внимательно, словно в последний раз, огляделся по сторонам и поехал вверх по крутому склону Черчилль-роуд мимо Джаи Хинд. На светофоре пришлось виртуозно поиграть педалью газа и сцеплением, пока не зажегся зеленый. Свернул налево, миновал лавку пряностей Ванилала, ткани Вартаняна и остановился у почты.

Прокаженная девочка, застолбившая участок, где частенько попадались иностранцы, казалось, за одну ночь выросла, превратилась в девушку. Грудь ее распирала ткань шамы, нос сделался совсем плоский. Гхош положил в протянутую ладонь один быр.

На звук кастаньет он обернулся. Листиро, чистильщик обуви, с ящичком, украшенным бутылочными колпачками, смотрел на него снизу вверх. Перед почтой стояло с полдюжины мужчин, они курили или читали газеты, а листирос надраивали им ботинки. Это тоже занесли итальянцы, подумал Гхош, люди чаще чистят обувь, чем моются.

Начал накрапывать дождик, руки чистильщиков задвигались с удвоенной быстротой. На загровке у паренька Гхош заметил белое пятно. Неужели гумма?* Такой молодой – и уже рубцы от леченного сифилиса? *Venereum insontium* – благоприобретенный сифилис – по-прежнему фигурировал в учебниках, хотя Гхош в него не верил. Врожденный сифилис – другое дело, мать заражает ребенка еще в утробе, а все прочие формы, как он считал, передаются только половым путем. Он видел, как

пяtilетние дети, нимало не смущаясь, изображали половой акт.

* Глубокий узловатый сифилид – развивается в подкожной жировой клетчатке.

Внезапный ливень загнал Гхоша в машину. Зажглись уличные фонари. Автобусы «Амбасса» сделались ярко-красными. На крыше трехэтажного здания «Оливетти» (где размещались также «Пан-Ам», «Венеция Ресторанте» и «Мотилал Импорт-Экспорт») загорелась желтая пивная кружка, увенчанная шапкой белой пены, погасла и зажглась вновь. Когда эту рекламу только установили, она была предметом всеобщего удивления. Босоногие пастухи, что гнали стада овец на праздник Мескель, застывали, разинув рты, и мешали уличному движению, а скотина разбрелась куда хотела.

В «Баре святого Георгия» дождь гвоздил по зонтам с надписью «Кампари», установленным во внутреннем дворе. В помещении было полно иностранцев и местных, готовых потратиться на изысканную атмосферу. Из-за стеклянной двери просачивался аромат *canoli*, *biscoti*, шоколада *cassata*, молотого кофе и духов. Звуки патефона смешивались с гулом голосов, звяканьем чашек, скрежетом отодвигаемых стульев и стуком стаканов о покрытые пластиком столы.

Гхош уже было расположился возле бара, когда увидел в зеркале отражение Хелен – она сидела за столиком в дальнем углу. Близорукая, она, наверное, его не разглядела. Ее иссиня-черные волосы подчеркивали благородные черты. Она не обращала никакого внимания на своего кавалера, которым оказался не кто иной, как доктор Бакелли. Инстинкт подсказывал Гхошу немедленно удалиться, но бармен уже ждал, и он заказал пиво.

– Боже мой, Хелен, какая ты красавица, – пробормотал про себя Гхош, не отрывая глаз от отражения.

Своих девушек в штате «Бара святого Георгия» не имелось, но администрация не возражала, если к ним заглядывали высококлассные дамы. Хелен положила ногу на ногу, скромно прикрыв юбкой сливочно-белые бедра. Ягодицы у нее были такие, что подкладывать подушку не требовалось, родинка у подбородка придавала лицу особое очарование. Только почему у самых красивых девушек смешанной расы – килли, как их часто называли, хотя в этом определении было нечто унижительное – обязательно такой высокомерно-утомленный вид?

Бакелли – в кремовом пиджаке, с торчащим из кармана шелковым платком в тон галстуку – казался сегодня значительно старше своих пятидесяти с чем-то лет. Его тщательно постриженные усы в ниточку,

сигарета в руке, невозмутимая поза бесили Гхоша, поскольку напоминали о том, что он сам тяжел на подъем и в Африке все эти годы его удерживает только инерция. Гхошу нравился Бакелли, врач тот был не слишком выдающийся, но хорошо знал пределы своих возможностей в медицине, а вот в выпивке эти пределы соблюдал не всегда.

Ровно неделю назад Гхош был потрясен, увидев вдрызг пьяного Бакелли; тот семенил по проезжей части в районе Пьяццы и распевал «Джовинеццу»*. Близилась полночь, и Гхош, остановив свою машину, попытался усадить в нее пьяного, но тот оказал сопротивление, выкрикивая что-то насчет Адовы и реванша. Он будто снова грузился на военный корабль в 1934 году, снова был молодым офицером 230-го легиона национального фашистского ополчения и собирался сражаться за дуче, покорить Абиссинию и смыть позор поражения от императора Менелика в битве при Адове в 1896 году. Тогда десять тысяч итальянских солдат при поддержке эритрейских аскарри вторглись из своей колонии, чтобы захватить Эфиопию. Их разбили босоногие бойцы императора Менелика с копьями и ружьями «ремингтон» (которые им продал не кто иной, как сам Рембо). Ни одна европейская армия не понесла в Африке столь позорного поражения. Оскорбление оказалось настолько глубоким, что даже люди вроде Бакелли, которые родились позже, жаждали реванша.

* Гимн итальянских фашистов.

Гхош до своего приезда в Африку не понимал всего этого. Он не знал, что победа Менелика вдохновила движение Маркуса Гарви* «Назад в Африку», пробудила panafricanское сознание в Кении, Судане и Конго. Для осознания всего этого надо жить в Африке.

* Маркус Гарви (1887-1940) – активный деятель негритянского движения за равноправие и освобождение от угнетения.

Прошло сорок лет, и Муссолини, пылая жаждой мести, решил действовать наверняка – его лозунг был «Победа любой ценой». *Qualsiasi mezzo* – эфиопская кавалерия с кожаными щитами, копьями и однозарядными ружьями – наткнулась на единственного врага – облако фосгена, который успешно удушил всадников, и плевать на Женевский протокол. Бакелли участвовал во всем этом. И, глядя теперь в багровое лицо пьяного, карикатурно маршировавшего по Пьяцце, Гхош понял, как он, должно быть, гордился победой.

С того дня Гхош не видел итальянца.

Он тихонько сидел у бара, наблюдая за парочкой в зеркало. Когда Гхош впервые увидел Хелен, он безумно влюбился – на какие-то несколько дней. При каждой встрече она ему говорила: «Дай мне, пожалуйста, денег». А

когда он спрашивал, на что, подмигивала, надувала губы и выдавала первое, что придет в голову, типа «Мама умерла» или «Мне нужно сделать аборт». У большинства девчонок из бара были золотые сердца, и они в конце концов удачно выходили замуж, но сердце Хелен было из неблагородного металла.

Бедняга Бакелли был без ума от Хелен, и давно, хоть у него и имелась жена. Он давал ей деньги, кротко сносил ее эгоизм и называл *donna delinquente**, в качестве доказательства показывая на родинку на подбородке. Гхош давно хотел спросить Бакелли, взаправду ли он верит в тезисы гнусной книги Ломброзо** «*La Donna Delinquente*». Исследования, проведенные на проститутках и преступницах, привели Ломброзо к выводу о существовании явных «признаков дегенерации», таких как «примитивное» распределение волос на лобке, «атавистическое» строение лица, обилие родинок. Это была настоящая псевдонаука, хлам.

* Преступная женщина (ит.).

** Чезаре Ломброзо (1835 – 1909) – итальянский тюремный врач-психиатр, родоначальник антропологического направления в криминологии и уголовном праве, основной мыслью которого стала идея о прирожденном преступнике. Ломброзо сместил акцент изучения с преступления как деяния на человека – преступника, развив антропологическое направление в криминологии и уголовном праве, где главной оценкой является внешность человека, по которой оценивается его моральный и поведенческий потенциал, что нашло признание у теоретиков и практиков фашизма.

Не допив свое пиво, Гхош выскользнул наружу, сама мысль о том, что придется говорить с кем-то из этой парочки, показалась ему невыносимой.

Авакяны уже закрывали свою лавку по продаже газовых баллонов, за их торговой точкой на землю спускался мрак, огни Пьяццы, мимолетная иллюзия Рима, остались позади. Дорога шла в гору вдоль длинной, мрачной, чуть ли не крепостной стены. Пролом в заросших мхом камнях именовался Сабадеража – семьдесят ступеней, – здесь пешеход мог срезать путь к Сидист Кило, правда, ступени были до того истерты, что местами превращались в скат, и ходить было небезопасно, особенно в дождь. Гхош проехал мимо армянской церкви, затем обогнул обелиск в Арат Кило – еще один военный памятник, – миновал готические купола и шпили Троицкой церкви и здание Парламента, образцом которому послужило аналогичное учреждение с берегов Темзы. У Старого дворца, не желая пока ехать домой, он свернул к Casa INCES, кварталу красивых вилл.

Идти в «Ибис» или какой-нибудь большой бар на Пьяцце, где работало

по тридцать официанток, совершенно не хотелось. На глаза Гхошу попался самый обычный дом из шлакоблоков, в котором, похоже, находилось целых четыре бара. Таких заведений в Аддис-Абебе было не счесть. Подходы к дверям освещались тусклым неоновым светом, через сточную канаву перекинута доска. Гхош выбрал дверь справа, раздвинул бисерную занавеску. Баром заправляла, как он и подозревал, одинокая женщина. Оранжевая лампа освещала тесное помещение, дым от курящихся благовоний еще больше сужал пространство. Надписи на бутылках, заполнявших полки, впечатляли – Pinch, Johnny Walker, Bombay Gin, – хотя внутри был домашнего приготовления тедж. Его величество Хайле Селассие Первый в форме лейб-гвардейца взирал с плаката на стене. Длинноногая дама в купальнике улыбалась императору с календаря «Мишлен».

На оставшемся крошечном пятачке стояли стол и два стула. За ним сидела барменша с посетителем, который держал ее за руку; казалось, он пытается добиться ее внимания. Гхош уже решил было уходить, когда она вырвала руку, откинула назад волосы, встала и поклонилась. Высокие каблуки, стройные икры, темный педикюр. Какая хорошенькая, мелькнуло у Гхоша. Улыбка невымученная, настроение явно лучше, чем у Хелен. Мужчина угрюмо проскользнул мимо Гхоша и, не говоря ни слова, вышел.

Страна молока и меда, подумал Гхош. Молоко и мед, были бы доходы.

Гхош и барменша обменялись продолжительными любезностями, чередой поклонов, от глубоких вначале до чуть заметных в конце. Гхош уселся на барный стул, она прошла за стойку. Ей было лет двадцать, но, судя по широким бедрам и наполненности лифа, она успела родить как минимум одного ребенка.

– Мин те татале? – спросила она, поднося палец к губам на случай, если он не понимает по-амхарски.

– Глубоко сожалею, что ваш поклонник принужден был уйти из-за меня. Если бы я знал, что он здесь и как вы ему дороги, я бы не осмелился нарушить ваше уединение.

От удивления она разинула рот.

– Вы о нем! Он так бы и сосал свое пиво до самого рассвета, а мне бы и не подумал купить. Он из Тигреи. Вы лучше говорите по-амхарски, чем он, – просияла барменша, довольная, что сегодня вечером не придется изъясняться жестами.

Ее просвечивающее белое хлопчатобумажное платье заканчивалось чуть ниже колен. Узор цветной каймы повторялся на лифе и на сборках наброшенной на плечи шамы. Волосы у нее были распрямлены и подвиты

на западный манер. Татуировка в виде волнистых линий зрительно удлиняла шею.

Красивые глаза, подумал Гхош.

Ее звали Турунеш, но Гхош предпочел обращаться к ней так же, как ко всем прочим женщинам в Аддис-Абебе: Конжит, что означало «красавица».

– Да будет благословен святой Георгий. И себе налей, пожалуйста. Отпразднуем вместе.

Она поклонилась в знак благодарности.

– Так сегодня ваш день рождения?

– Нет, Конжит, даже лучше. – У него на языке вертелось: сегодня я освободился от цепей женщины, которая мучила меня больше десяти лет; сегодня я принял решение: мое пребывание в Африке заканчивается, меня ждет Америка. – Сегодня я увидел самую красивую женщину в Аддис-Абебе.

Зубы у нее были крепкие и ровные. Смеясь, она обнажала десны и, как видно зная об этом, прикрывала рот рукой.

При звуках ее радостного смеха что-то в нем растаяло, и впервые за день, начиная с самого пробуждения, у него улучшилось настроение.

Прибыв когда-то в Аддис-Абебу, Гхош впал в глубокое уныние и чуть было не уехал. Оказалось, он совершенно неправильно истолковал намерения Хемы. Да, Хема пригласила его, но вовсе не для того, чтобы триумфально завершились ухаживания, начавшиеся, когда они были интернами в Индии. Она была убеждена, что своим приглашением оказывает Гхошу (и Миссии) услугу. Гхош скрыл свое смущение и унижение. К тому же зарядили затяжные дожди, они одни были способны довести человека до самоубийства. Гхоша спасли «Ибис» и Пьяцца. Он собирался где-нибудь выпить, и его внимание привлекла увитая плющом арка, рождественские свечи, музыка и женский смех. А когда вошел, ему показалось, что его душа переселилась в какого-нибудь Навуходносора. Лулу, Марта, Сара, Цахай, Мескель, Шеба, Мебрат – в этих женщинах из «Ибиса», в просторном баре и ресторане, что занимали два этажа и три веранды, он обрел семью. Девушки приветствовали его точно вернувшегося после долгой отлучки друга, развеселили, растормошили. Красотки ливнем обрушились на него, цвет их кожи менял оттенки от safe-au-lait до угольно-черного. У некоторых полукровок кожа была оливковая или совсем белая, а глаза карие или даже зеленые. Слияние рас произвело на свет самые экзотические и прекрасные с виду плоды, а вот с внутренним содержанием обстояло хуже – на что нарвешься, неизвестно.

Но самым важным качеством местных женщин была их безотказность,

доступность. Многие месяцы после своего приезда в Аддис-Абебу и даже после первого визита в «Ибис» Гхош хранил целибат. Ирония заключалась в том, что единственная желанная женщина как раз его и отвергла, а все прочие, окружавшие его, никогда бы не отказали.

У него, двадцатичетырехлетнего, кое-какой опыт в Индии имелся – юная стажерка по имени Вирджин Магдалин Кумар. Роман их длился три месяца, после чего она вышла из ордена и выскочила замуж за знакомого ему парня (и по-видимому, стала именоваться просто Магдалин Кумар).

– Хема, я живой человек, – пробормотал он. Эту фразу он произносил всякий раз, когда упрекал себя в неверности.

Гхош потянулся через стойку бара и ухватил Конжит за бочок.

– Ах, дорогая, не послать ли нам за ужином? Тебе не помешает нарастить плоть. Да и подкрепиться перед тем, что нам сегодня предстоит. Признаюсь, это мой самый, самый первый раз.

Будь она постарше (а среди держательниц таких баров преобладали женщины в годах, скопившие достаточную сумму за годы работы в шикарном заведении вроде «Ибиса»), он бы повел разговор в ином тоне, помягче, попристойнее, повкрадчивее. Но с ней он пошел напролом, будто старшеклассник.

Когда она погладила его по голове, Гхош замурлыкал от удовольствия. Из радиоприемника донеслись негромкие звуки краара, рифф из шести нот китайской гаммы, характерных для эфиопской музыки, неважно, медленной или быстрой, повторился. Гхош узнал популярную песню. Называлась она «Тицита», этому слову в английском нет прямого соответствия, оно означает воспоминание, окрашенное сожалением. Будто бывают другие воспоминания, подумал Гхош.

– Какая у тебя красивая кожа! Ты кто? Бания? – спросила она.

– Да, моя прелесть, я индус. И поскольку ничего красивого, кроме кожи, во мне нет, очень мило с твоей стороны сказать мне об этом.

– Да что ты такое говоришь? Клянусь всеми святыми, мне бы твои волосы. Как ты здорово говоришь по-амхарски. Твоя мать правда не хабеша!

– Ты мне льстишь.

Он научился немного по-амхарски в больнице, но свободно говорить мог только в беседе с глазу на глаз, вот вроде этой. У Гхоша имелась теория, что амхарский хорош и в больничной палате, и в спальне. Ложитесь, пожалуйста. Снимите рубашку. Откройте рот. Глубоко вдохните... Язык любви совпадал с языком медицины.

– По-настоящему я знаю только язык любви. Я не смогу карандаша в

магазине купить, не знаю, как сказать.

Она засмеялась и снова прикрыла рот. Гхош взял ее за руки, она поджала нижнюю губу, чтобы заслонить зубы, это движение тронуло и возбудило его.

– Почему ты прячешь свою улыбку? Она у тебя такая красивая!

Много, много позже они удалились в подсобку, и Гхош закрыл глаза и, как всегда, постарался представить себе, что перед ним Хема. Самая желанная.

Когда Гхош вышел из бара, над землей клубился туман, принесший с собой кладбищенскую тишину и пронизывающий до костей холод. На обочине дороги Гхош помочился. Раздался смех гиены, непонятно, что ее так развеселило, то ли его действия, то ли мужское хозяйство. Он развернулся и увидел, как меж деревьев возле первой кучки домов блеснули чьи-то глаза. Пытаясь на ходу застегнуться, Гхош бросился бежать, открыл машину, запрыгнул внутрь, запустил мотор и тронулся с места. Писающему человеку есть чего бояться и помимо гиен. Шифта, леба, мажиратмачи и прочие злодеи после полуночи выходили на промысел даже на асфальтированных дорогах в самом центре города. Всего месяц назад двое мужчин ограбили и изнасиловали англичанку, да еще отрезали ей язык, чтобы не сболтнула лишнего. Другой жертве нападения отрезали яйца – распространенная практика, – чтобы недоставало храбрости мстить. Этим еще повезло. Остальных просто убивали.

Ворота Миссии оказались распахнуты настежь, что было странно. Гхош подкатил к своему коттеджу, свернул под навес. Фары высветили каменную стену, и Гхош в ужасе ударил по тормозам: перед ним поднялась с корточек и встала во весь рост призрачно-белая фигура, глаза ее отсвечивали красным, будто у гиены. Но это была не гиена, а впавшая в отчаяние заплаканная Алмаз, которая явно дожидалась его.

– Хема, Хема, что ты наделала, – пробормотал Гхош, уверенный, что случилось самое страшное и Хема выскочила в отпуске замуж. Иначе зачем Алмаз допоздна его дожидаться? Все вокруг знают, какие чувства он испытывает к Хеме. Только сама Хема не догадывается.

Призрачная фигура распахнула дверь со стороны пассажира и забралась внутрь. Самым официальным тоном, не глядя в глаза, Алмаз возвестила:

- Мне очень жаль, но у меня для вас дурные вести.
- Это Хема, правда ведь?
- Хема? Нет. Это сестра Мэри Джозеф Прейз.
- Сестра? Что с ней стряслось?

– Она отошла к Господу, да благословит он ее душу.

– Что?

– Да поможет нам Бог. Она умерла, – всхлипнула Алмаз. – Умерла, когда рожала двойню. Приехала доктор Хема, но не успела ее спасти. Доктор Хема спасла близнецов.

Гхош уже не слушал. Она повторяла одно и тоже снова и снова, приводила какие-то подробности, но всякий раз у нее выходило, что сестра умерла. И что-то насчет близнецов.

– А теперь мы не можем найти доктора Стоуна, – рыдала Алмаз. – Он пропал. Мы должны его найти. Так матушка сказала.

– Зачем? – выдавил Гхош, хотя и без того знал. Как-никак они со Стоуном были единственными врачами-мужчинами в больнице. Гхош знал Стоуна лучше, чем кто бы то ни было. За исключением сестры Мэри Джозеф Прейз.

– Зачем? Потому что он больше всех страдает, – сурово произнесла Алмаз. – Так говорит матушка. Мы должны найти его, пока он не натворил глупостей.

Опоздали немножко, подумал Гхош.

Глава вторая. Край земли

Наутро матушка Херст, как обычно, появилась в своем кабинете очень рано. Спала она каких-то пару часов. Накануне они с Гхошем допоздна колесили по окрестностям в поисках Томаса Стоуна, а служанка Стоуна Розина несла дозор у него на квартире. Но доктор исчез.

Матушка поправила бумаги, громоздившиеся на столе. В окно ей были видны больные, выстроившиеся в очередь в поликлинику, – точнее, их разноцветные зонтики. Люди пребывали в убеждении, что солнце обостряет болезни, так что зонтиков было столько же, сколько пациентов.

Матушка сняла трубку телефона.

– Адам? – уточнила она, когда к аппарату подошел рецептурщик. – Передай Гебре, пусть закроет ворота. Отправляй пациентов в русский госпиталь. – Ее амхарский, хоть и окрашенный акцентом, был безупречен. – И обслужи по высшему разряду тех, кто уже в поликлинике. Я попрошу медсестер сделать обходы палат. Сообщи стажеркам, что занятия отменяются.

Благодарение Богу за Адама, подумала матушка. Его образование прервалось на третьем курсе. Такая жалость, из него получился бы неплохой доктор. Он не только умело готовил пятнадцать микстур, мазей и смешанных композиций, которые Миссия предоставляла пациентам, у него еще было и сверхъестественное клиническое чутье. Своим единственным здоровым глазом (второй глаз был закрыт бельмом вследствие перенесенной в детстве инфекции) он быстро распознавал в толпе, кто серьезно болен, в точности отмерял ингредиенты. Как ни печально, самая распространенная жалоба среди амбулаторных больных звучала так: «Расен... Либен... Ходен...» То есть «голова... сердце-живот...», причем к соответствующей части тела прижималась рука. Гхош называл это «синдром РЛХ». Чаще всего от РЛХ страдали либо молоденькие девчонки, либо дамы в годах. Отвечая на вопросы, пациенты могли, конечно, сообщить более конкретные симптомы, но бормотали их себе под нос скороговоркой, ведь на то ты и доктор, чтобы самому разобраться с расен, либен, ходен. Матушке понадобился целый год в Аддис-Абебе, чтобы понять: таким образом в Эфиопии проявляют себя стресс, тревога, супружеские раздоры и депрессия, это чистой воды «соматизация» – так, по словам Гхоша, называли этот феномен эксперты. Болезни внутренних органов возникали вследствие психических конфликтов. Пациентки не

видели связи между дурным обращением мужа, придирами свекрови, недавней смертью ребенка и своим головокружением или судорогами. И все прекрасно знали, что именно излечит их хворь, – укол. То есть их могла успокоить и какая-нибудь микстура (*Mistura carminativa*, магнезия или белладонна), но по-настоящему действенное средство было одно: марфей – игла. Гхош был категорически против инъекций витамина В в качестве средства от синдрома РЛХ, но матушка убедила его, что пусть лучше больного уколут в Миссии, чем ему вкатит что-нибудь подкожно нестерилизованным шприцем какой-нибудь шарлатан на Меркато. Витамин В стоил недорого, а эффект от инъекции проявлялся немедленно, пациентка улыбалась и вприпрыжку сбегала по склону холма.

Зазвонил телефон, и впервые матушка была рада звонку. Как правило, назойливая трещотка выводила ее из себя. Маленький коммутатор Миссии был еще в новинку. У себя на квартире матушка не стала ставить телефон, но решила, что докторам и приемному покою без него никак не обойтись. Даже аппарат в своем кабинете матушка считала роскошью. Но сейчас она торопливо схватила трубку, надеясь услышать благие вести насчет Стоуна.

– Прошу подождать у аппарата, с вами будет говорить его превосходительство министр печати, – произнес женский голос.

Послышалось легкое цоканье, словно собачка пробежала по паркету дворца. Матушка посмотрела на баррикаду из штабелей Библий у дальней стены.

Заговорил министр, вежливо осведомился о здоровье и присовокупил:

– Его величество скорбит о вашей потере. Примите его глубочайшие соболезнования. – Наверное, министр поклонился. – Его величество лично просил меня позвонить.

– Это очень, очень любезно со стороны его величества, что он не забывает о нас... в такую минуту, – произнесла матушка.

Самым таинственным образом император был в курсе абсолютно всего, что происходило в его государстве. Быстро же дошли сведения до дворца. Доктор Томас Стоун с ассистенткой сестрой Мэри Джозеф Преиз удалили членам царствующего дома пару аппендиксов, а Хема произвела срочное кесарево сечение августейшей внучке, на Швейцарию времени не было. После этого Хема приняла роды еще у нескольких женщин из императорской семьи.

– Если вам что-нибудь нужно, достаточно только попросить, – продолжал министр. Тему смерти сестры Мэри и судьбы двух малюток министр поднимать не стал. – Кстати, матушка... – произнес он, и монахиня насторожилась, почувствовав, что вот она, истинная причина

звонка. – Если волей случая к вам в Миссию завтра-послезавтра за помощью обратится военный... старший офицер... лечение, хирургическая операция... то император хотел бы, чтобы его поставили в известность. Позвоните лично мне. – И министр сообщил номер.

– Что за офицер?

Молчание показало, что министр обдумывает ответ.

– Офицер лейб-гвардии. Офицер, которому – так скажем – незачем находиться в Миссии.

– Хирургическая операция, говорите? Это невозможно. Мы закрываем больницу. У нас нет хирурга. Понимаете, доктор Томас Стоун... нездоров. Они работали вдвоем...

– Благодарю вас, матушка. Так прошу дать нам знать.

Монахиня повесила трубку и задумалась. Император Хайле Селассие создал мощные современные вооруженные силы, состоящие из сухопутных войск, флота, военно-воздушных сил и лейб-гвардии. Эта последняя представлял* собой целый род войск, эквивалент английской королевской гвардии, стоящей на часах у Букингемского дворца. Лейб-гвардия выполняла не только представительские функции, в ней служили профессиональные солдаты, прошедшие ту же боевую подготовку, что и прочие представители вооруженных сил. Подающие надежды кадеты обучались в Сендхерсте, Вест-Пойнте и Пуне. Но такого рода учебные курсы пробуждали социальное самосознание. Император боялся заговора молодых офицеров. Есть основания гордиться второй или третьей по численности армией на континенте, но она несет с собой и опасность для короны. Император последовательно насаждал дух соперничества между четырьмя родами войск, их штаб-квартиры находились далеко друг от друга, генералы, забравшие чересчур много власти, перетасовывались. Матушка чувствовала здесь интригу именно такого рода – иначе зачем министру печати звонить лично?

Министр и представить себе не может, что значит для Миссии остаться без хирурга, подумала монахиня. Пока не прибыл Томас Стоун, Гхош отвечал за медицину внутренних болезней и педиатрию, а Хема – за акушерство и гинекологию. За прошедшие годы появилось и исчезло немало других специалистов, некоторые из них могли проводить операции. Но до Стоуна опытного полноценного хирурга у них не было. С ним у Миссии появилась возможность лечить сложные переломы, удалять опухоли, пересаживать кожу при ожогах, ликвидировать ущемленные грыжи, удалять увеличенные простаты и раковые груди, производить трепанацию черепа. Работа Стоуна (с такой ассистенткой, как сестра Мэри)

подняла Миссию на новый уровень. Без него все изменится.

Через несколько минут телефон опять задребезжал, на этот раз звук был зловеющий. Матушка осторожно поднесла трубку к уху.

Прошу тебя, Господи, только бы со Стоуном ничего не случилось.

– Алло? Это Эли Харрис. Конгрегация баптистов Хьюстона... Алло?

Для звонка из Америки связь была кристально чистая. Матушка так удивилась, что лишилась языка.

– Алло? – повторил голос.

– Да? – хрипло произнесла матушка.

– Я говорю из отеля «Гион» в Аддис-Абебе. Могу я говорить с матушкой Херст?

Прикрывая микрофон, матушка в ужасе положила трубку на стол. Она была совершенно сбита с толку. Каким чудом Харриса сюда занесло? Монахиня привыкла общаться с филантропами и благотворительными организациями по почте. Соображать следовало быстро, а голова, как назло, была тяжелая. Сделав над собой усилие, она подняла трубку.

– Я передам, мистер Харрис. Она вам перезвонит...

– А можно узнать, с кем я говорю?

– Понимаете, у нас умер один человек из персонала. Прежде чем она соберется вам позвонить, может пройти несколько дней.

Он собрался сказать еще что-то, но матушка резко нажала на рычаг и сразу же сняла трубку и положила на стол. Пусть теперь звонит!

Баптисты Хьюстона принадлежали к числу самых щедрых и верных Миссии спонсоров. Матушка каждую неделю рассылала написанные от руки письма религиозным организациям Америки и Европы, прося переслать ее просьбу другим благотворителям, если сами не в состоянии помочь. Обнаружив в ответе мало-мальский интерес, она немедленно отправляла адресату книгу Томаса Стоуна «Практикующий хирург. Краткие очерки тропической хирургии». Хотя получалось недешево, это было действеннее любого проспекта. Филантропы, как оказалось, проявляли прямо-таки похотливый интерес к болезням и уродствам, а фотографии и иллюстрации в книге (автор – сестра Мэри Джозеф Прейз) этот интерес удовлетворяли. В главе про аппендицит на картинке изображалось странное мохнатое существо с рылом свиньи и крошечными близорукими глазками, и матушка всегда закладывала эту страницу своим письмом. Подпись под иллюстрацией гласила: «Вомбат – норный, ночной вид сумчатых, встречающийся исключительно в Австралии и упомянутый здесь лишь потому, что кроме человека и обезьян аппендикс есть только у него». В обеспечении финансовой поддержки со стороны хьюстонских

баптистов книга сыграла куда большую роль, чем переписка.

Через полчаса прибыл Гхош, качая головой.

– Я был в британском посольстве. Объехал город. Еще раз наведалься к нему домой. Розина там, и она его в глаза не видела. Прошелся по территории Миссии...

– Давайте прокатимся, – перебила его матушка. Когда они подъехали к воротам Миссии, их взору предстало одолевающее подъем такси с белым человеком за окном.

– Это, наверное, Эли Харрис, – пролепетала матушка, сползая вниз по пассажирскому сиденью с удивившим Гхоша проворством, и рассказала о звонке Харриса. – Если мне не изменяет память, я получила с него деньги под ваш проект развернуть в городе широкую кампанию против сифилиса и гонореи. Харрис прибыл проконтролировать, как идут дела.

Гхош чуть не съехал в кювет.

– Матушка, но ведь у нас нет такого проекта!

– Разумеется, нет, – вздохнула монахиня.

По утрам Гхош никогда не выглядел особенно презентабельно, даже приняв ванну и побрившись. А сегодня он не мылся и не касался бритвы. Черная щетина проступила на шее, окружила губы и простерлась до самых глаз, налитых кровью.

– Куда мы едем? – спросил он.

– В Гулеле. Нам надо заняться организацией похорон. В машине воцарилось молчание.

Кладбище Гулеле находилось почти за городом. Дорога прорезала лес, под плотным покровом из листьев и веток было сумрачно. Путь неожиданно преградили кованые ворота, врезанные в стену из известняка. Посыпанная гравием дорожка вела к плато, поросшему соснами и эвкалиптами. Во всей Аддис-Абебе не было деревьев выше.

Они брели меж могил, увязая в опавшей листве. Шум большого города сюда не долетал, на землю опустилась тишина леса и безмолвие смерти. Прошел легкий дождик, с веток срывались крупные капли. Матушка не могла отделаться от ощущения, что они вторглись в чужие владения.

Она остановилась у могилы, не превышающей размерами алтарную Библию.

– Младенец, Гхош, – произнесла монахиня, чтобы хоть чей-то живой голос нарушил тишину. – Судя по фамилии, армянин. Господи, да он скончался в прошлом году.

Цветы у надгробия были свежие. Матушка про себя прочла «Аве Мария».

Далее находились могилы молодых итальянских солдат. Nato a Roma или Nato a Napoli, но независимо от места рождения все они были Deceduto ad Addis Ababa. На глаза у матушки навернулись слезы, стоило ей представить, как далеко от дома они погибли.

Лицо Джона Мелли явилось ей, и она услышала гимн Бэньяна*, который играли на его похоронах. Порой мелодия приходила к ней, и тогда непрощенные слова срывались с уст.

* Джон Бэньян (1628-1688) – английский общественный деятель и писатель, автор знаменитого религиозно-аллегорического сочинения «Путь паломника», опубликованного в 1678 г., и не менее знаменитого гимна «Быть пилигримом».

Монахиня повернулась к Гхошу:

– А вы знаете, что я однажды была влюблена? Гхош, которому и без того было не по себе, застыл.

– В смысле... в мужчину? – еле выдавил он.

– Разумеется, в мужчину, – фыркнула матушка. Гхош немного помолчал.

– Нам кажется, мы все знаем про товарищей по работе, а на самом деле не знаем ничего.

– Я не сознавала, что люблю Мелли, пока он не оказался при смерти. Я была так молода. Влюбиться в умирающего – на свете нет ничего проще.

– А он любил вас?

– По всей видимости. Ведь он умер, спасая меня. – Она смахнула слезинку. – Это было в тысяча девятьсот тридцать пятом. Я только прибыла в Эфиопию, и времена были самые лихие. Император бежал из города, итальянские войска приближались. Бесчинствовали мародеры, грабили, насиловали. Джон Мелли реквизирует машину, чтобы забрать меня. Я добровольно вызвалась работать в больнице, которая сейчас часть Миссии. Он остановился на улице, чтобы помочь раненому, и мародер подстрелил его. Просто так, без причины. – Она пожала плечами. – Десять дней, до самой его смерти, я была при нем сиделкой. Как-нибудь я расскажу вам об этом. – Матушка внезапно опустилась на какую-то скамейку и закрыла лицо руками. – Со мной все хорошо, Гхош. Дайте мне минутку.

Она оплакивала не столько Мелли, сколько пролетевшие годы. Матушка прибыла в Аддис-Абебу, успешно закончив монастырскую школу и поработав в лазарете для слушателей; она приняла должность в суданской Внутренней миссии. В Аддис-Абебе оказалось, что эта должность более не существует, и она прибилась к крошечной больнице, почти покинутой американскими протестантами. На ее глазах прибывали молоденькие

итальянские солдаты – некоторых здесь и похоронили, – а также штатские, чтобы заселять новую колонию, – плотники, каменщики, техники. Крестьянин Флорино после пересечения Суэца превращался в дону Флорино, водитель «скорой помощи» преображался во врача. Она умудрялась выживать, как во время оккупации выживали лавочники-индусы, торговцы-армяне, греки-содержатели гостиниц. Матушка оставалась там и в 1941 году, когда страны Оси* ринулись искать удачу в Северной Африке вслед за Европой. Позже она с балкона отеля «Белла Наполи» наблюдала, как Уингейт со своими британскими войсками торжественно входит в город вслед за императором Хайле Селассие, вернувшимся после шести лет изгнания. Матушка не сводила глаз с крошечной фигурки императора, а тот вертел туда-сюда головой и, казалось, был поражен произошедшими в городе переменами: кинотеатрами, гостиницами, магазинами, неоновым освещением, многоэтажными домами, замощенными зелеными улицами... Матушка ляпнула тогда корреспонденту агентства «Рейтер», что император, пожалуй, был бы не прочь провести еще пару годков в изгнании. К ее глубокому сожалению, слова эти подхватила чуть ли не каждая иностранная газета (к счастью, ссылаясь на «анонимного наблюдателя»). Воспоминание вызвало у матушки улыбку.

* Страны нацистского блока.

Она поднялась на ноги, вытерла слезы, и они двинулись дальше.

Прошли по одной дорожке между могилами, по другой, вернулись...

– Нет, – вдруг сказала матушка, – этого не будет. Представить себе не могу, что дочь, вверенная моим заботам, будет лежать в таком месте.

Только когда они вышли на солнечный свет, к матушке вернулось дыхание.

– Гхош, если вы похороните меня в Гулеле, я вам никогда не прощу, – проговорила она. Гхош почел за благо промолчать. – Мы, христиане, верим, что во Второе Пришествие Господа мертвые восстанут из могил.

Гхош по рождению был христианином, о чем матушка, казалось, постоянно забывала.

– Матушка, а вас порой не посещают сомнения? «Какой хриплый у него голос, – отметила она. – И глаза

опущены. Нет, горе постигло не одну меня».

– Вера держит у себя на службе много сомнений, Гхош. Если бы я не могла сомневаться, я не могла бы и верить. Наша возлюбленная сестра верила... Но из такого сырого и печального места, как Гулеле, даже сестре будет нелегко подняться, когда придет время.

– И что тогда? Кремация?

Один из парикмахеров-индусов по совместительству был пужари и организовывал огненные погребения для соотечественников, умерших в Аддис-Абебе.

– Разумеется, нет! (Нарочно он, что ли, дурачком прикидывается?) Погребение. И я уже вроде бы знаю где.

Они вышли из машины возле бунгало Гхоша и направились на зады Миссии, где красный хвощ был так густ, что все вокруг, казалось, пылает. Границу участка обозначали акации, их приплюснутые верхушки ломаной линией рисовались на небе. Дальняя западная оконечность Миссии клином вдавалась в огромную долину. Эта земля, куда ни кинь взгляд, принадлежала расу – герцогу, – родственнику императора Хайле Селассие.

Меж валунов журчал ручей, мальчик-пастух приглядывал за овцами, в зубах у него была зажата веточка, посох лежал рядом. Мальчик скосил глаза на матушку и Гхоша и помахал им. При нем, как во времена Давида, была рогатка. Многие века назад такой вот пастушок заметил, как оживляются козы, наевшись красных ягод. После этого судьбоносного открытия торговля кофе расцвела в Йемене, Амстердаме, на берегах Карибского моря, напиток завоевал весь мир. А началось все в Эфиопии, на поле вроде этого.

В этом уголке Миссии находился и неиспользуемый артезианский колодец. Пять лет назад в него свалилась собака. Отчаянный визг Кучулу привлек внимание Гебре. Воспользовавшись петлей, он с трудом вытащил бедняжку. Дыру следовало закрыть. Инспектируя площадку, матушка-распорядительница обнаружила у каменной стены целую кучу использованных презервативов и окурков и решила провести благоустройство. Кули выкорчевали кусты и посеяли траву. Месяца через два вокруг колодца уже простирался зеленый ковер. За лужайкой ухаживал Гебре – согнувшись в три погибели, он с серпом в руках обползал ее всю.

Дикий кофе в кусте у колодца распознала сестра Мэри Джозеф Прейз. Но, поскольку Гебре регулярно срезал верхние почки, урожай куст не приносил. Пара старых скамеек из поликлиники придала лужайке такое очарование, что даже Томас Стоун захаживал сюда посидеть с сигаретой, посмотреть, как сестра Мэри и матушка хлопочут над своими растениями, и развеяться. Правда, посидит-посидит, бросит окурочок в траву (матушка этого не одобряла) и помчится, будто по срочным делам.

Матушка помолилась про себя: Господи, только тебе ведомо, что теперь станет с Миссией. Мы потеряли двоих наших. Ребенок – это чудо, а у нас двойня. Но у мистера Харриса и его людей отношение будет другое.

Для них это постыдное, из ряда вон выходящее происшествие, предлог, чтобы выйти из игры. Пациенты не приносили Миссии сколько-нибудь ощутимого дохода. Она существовала на пожертвования и своим скромным ростом была обязана Харрису и нескольким другим филантропам. У матушки не было фонда «на черный день». Как тут откладывать деньги, когда их можно потратить на лечение трахомы, сифилиса, покупку пенициллина... список бесконечен. Что же ей делать?

Матушка оглядела окрестности невидящими глазами, мысли ее были обращены внутрь. Но постепенно долина, запах лавра, яркие краски, легкий ветерок, игра света, журчание ручья и надо всем этим небо со сбившимися на сторону облаками вернули ее к действительности. Впервые с момента смерти сестры Мэри на матушку снизошла умиротворенность. Вот место, где закончится долгое странствие сестры Мэри. Когда матушка только прибыла в Аддис-Абебу, и во всем была неопределенность, и ужасные события следовали одно за другим, одна смерть Мелли чего стоит, Господь явил ей свое милосердие и показал свои планы. Пришло время, и показал.

– Будущее темно для меня, но уповаю на тебя, Господи, – прошептала монахиня.

Глава третья. Христова невеста

Босоногие кули были людьми дружелюбными. Когда Гхош сказал им, какая предстоит работа, они сочувственно защелкали языками. Здоровенный детина с выступающей челюстью снял поношенный френч, его приятель стащил изодранный свитер. Они поплевали на руки, схватились за мотыги и принялись за дело; работа есть работа, пусть пришлось копать могилу, зато вечером появится бутылочка теджа или таллы, а глядишь, и женщина выкажет благосклонность. Пот выступил у них на лбах и руках, смочил лоскутные рубахи.

Небо хмурилось, вереницы серых туч неслись наперегонки, словно овцы на базар. Но к полудню распогодилось, чистый голубой свод простирался от горизонта до горизонта.

Матушка вызвала Гхоша в приемный покой. У колонны дожидался очень бледный сухопарый мужчина. Гхош понурился, уверенный, что это и есть Эли Харрис. Хорошо еще, спиной к нему стоит.

В помещении за занавеской Гхош услышал чье-то хриплое пыхтение, вдох-выдох, вдох-выдох, будто паровоз разводил пары. Вокруг носилок стояло четверо эфиопов, трое в пиджаках спортивного покроя, один – в плотной куртке. Их начищенные коричневые ботинки сверкали. Они потеснились, чтобы дать дорогу Гхошу, у одного под полой куртки мелькнула темно-красная кобура.

– Доктор, – человек на носилках протянул руку, попытался приподняться и сморщился от боли, – меня зовут Мебрату. Благодарю за то, что согласились осмотреть меня.

За тридцать, английский безупречен. Над волевым ртом тонкие усы. Во всех отношениях примечательное лицо, красивое, несмотря на сломанный нос, вот только осунулось от боли. Что-то в нем было знакомое. И ведь как стоически переносит боль. Его товарищи напуганы, а он спокоен.

– Клянусь вам, таких болей я никогда не испытывал. – Он улыбнулся, как улыбнулся бы человек, поскользнувшийся на банановой кожуре и желающий обратить все происшествие в шутку, и страдальчески сморщился.

«По-видимому, я не смогу вами сегодня заняться. Наша возлюбленная сестра умерла, и я с минуты на минуту жду известий о том, что обнаружили тело доктора Томаса Стоуна. Ради всего святого,

отправляйтесь в военный госпиталь». Вот что хотел сказать Гхош, но перед лицом таких мук воздержался.

Вместо этого он взял протянутую руку и пощупал лучевую артерию. Пульс был сто двадцать ударов в минуту. Гхош мог легко определять частоту, даже не глядя на часы.

– Когда это началось? (Раздутый живот совершенно не вязался с худощавым, спортивным телосложением.) Давайте подробно...

– Я пытался... опорожнить кишечник, – смущенно проговорил полковник. – И внезапно почувствовал боль здесь. – Он показал на низ живота.

– Вы все еще находились в туалете?

– Сидел на корточках, да. Меня моментально раздуло и закрепило. Словно молнией поразило.

Чуткое ухо Гхоша уловило ассонанс. Рифма вызвала в памяти книжечку доктора Захарии Коупа «Диагностика острого живота в стихах». Он нашел это сокровище на пыльной полке букинистического магазина в Мадрасе. Кто бы мог предположить, что текст, полный мультяшных иллюстраций и шутовских стихов, вместе с тем можно использовать как серьезное учебное пособие? Пришли на память такие строчки Коупа о кишечной непроходимости:

Если вздулся внезапно живот,

Доктор мимо уже не пройдет.

Он задал следующий вопрос, хотя заранее знал ответ. Бывает, диагноз буквально написан у пациента на лбу. Или раскрывается в первой же фразе. Или обнаруживает себя в запахе; врач еще даже не осмотрел больного, а ему уже все ясно.

– Вчера утром, – ответил Мебрату. – Перед тем, как начались боли. С тех пор ни стула, ни газов, ничего.

Порой кишка узлом завяжется,

Да так, что мало не покажется...

– И сколько всего клизм вы поставили? Мебрату издал короткий смешок.

– Догадались, да? Две. Результата никакого.

У него был не просто запор, а именно непроходимость – даже газы не отходили.

Мужчины за дверью, казалось, заспорили.

Язык у Мебрату был сухой, бурый и обложенный. Налицо обезвоживание, не анемия. Гхош обнажил неестественно раздутый живот, что даже не следовало за дыханием и вообще едва шевелился. Это моя

работа, подумал Гхош, доставая стетоскоп. День за днем. Животы, груди, плоть.

Вместо нормального бурчания через стетоскоп прослушивались высокие тоны, словно вода падала на оцинкованный лист. В качестве фона звучали размеренные тоны сердца. Достоинно удивления, как хорошо звуки бьющегося сердца проходят через наполненные жидкостью кишки. В учебниках это явление не описано, ему не попадалось.

– У вас заворот кишок, – произнес Гхош, вытаскивая трубки стетоскопа из ушей. Голос его доносился откуда-то издалека и, казалось, принадлежал кому-то другому. – Петля ободочной кишки заворачивается вот так, – он продемонстрировал процесс на трубках стетоскопа. – Здесь это не редкость. Колон у эфиопов длинный и подвижный. Да еще и питание, как мы полагаем, играет свою роль.

Мебрату сопоставил свои симптомы со словами Гхоша и рассмеялся.

– Я рта не успел раскрыть, а вы уже все знали, доктор.

– Пожалуй.

– А кишка может сама развернуться?

– Нет. Ее надо развернуть. Хирургическим путем.

– Не редкость, говорите. А что происходит с моими соотечественниками, если они попадают в такую переделку?

В это мгновение Гхош вспомнил, откуда он знает это лицо. Незабываемая сцена.

– Без операции? Они умирают. Понимаете, кровоснабжение основания петли также прекращается. Кровь перестает циркулировать, и начинается гангрена.

– Слушайте, доктор. Как все не вовремя.

– Ясное дело, не вовремя! – взорвался Гхош, напугав Мебрату. – Почему вы явились сюда, в Миссию, позвольте спросить? Почему не обратились в военный госпиталь?

– Что вы еще обо мне знаете?

– Вы офицер.

– Эти клоуны, – он дернул подбородком в направлении приятелей, – они даже переодеться в штатское толком не сумели. Если башмаки у них не надраены, они словно голые.

– Вообще-то дело не только в этом. Много лет назад, когда я только прибыл сюда, я видел, как вы проводили казнь. Никогда не забуду.

– Восемь лет и два месяца тому назад. Пятого февраля. Я тоже всегда буду это помнить. Вы были там?

– Волей случая.

Они с Хемой просто ехали по городу и наткнулись на толпу. Пришлось выйти из машины и присоединиться к зрителям.

– Прошу понять, это был самый мучительный приказ из всех, что мне довелось выполнять, – сказал Мебрату. – Они были мои друзья.

– Я почувствовал это. – Гхош вспомнил, с каким достоинством держались приговоренные и палач.

По лицу Мебрату пробежала судорога, и они оба подождали, когда приступ минует.

– Это другая боль, – попытался улыбнуться офицер.

– Вам следует знать, – проговорил Гхош, – что сегодня нам звонили из дворца. Они просили матушку-распорядительницу сообщить им, если какой-нибудь военный обратится за помощью.

Мебрату выругался и попробовал сесть. Тут же в кабинет вбежали его сопровождающие. Завязался горячий спор. Больше офицеры комнату не покидали.

– Кто-нибудь известил их, что я здесь? – спросил больной.

– Нет. Матушка сказала мне, что не может отказать в помощи, если вам некуда обратиться.

– Спасибо. Поблагодарите ее от моего имени. Я полковник лейб-гвардии Мебрату. Кое у кого из нас были планы встретиться сегодня в Аддис-Абебе. Я прибыл из Гондара. И оказалось, что встречу следует отменить. Мы боялись, что мы... скомпрометированы. Еще в Гондаре меня схватила боль. Я обратился к врачу. Так же, как вы, он, наверное, знал, кто я такой, но ничего не сказал. Только велел обратиться к нему завтра для повторного осмотра. Он-то, должно быть, и сообщил во дворец, иначе зачем им обзванивать столичные больницы? Если меня здесь найдут, то повесят, как и тех. Вылечите меня. Сегодня я не могу обратиться в военный госпиталь.

– Тут есть еще одна проблема, – произнес Гхош. – Наш хирург... пропал.

– Мы слышали о вашей... утрате. Мне жаль. Если доктора Стоуна нет, тогда проведите операцию вы.

– Но я не могу...

– Доктор, у меня нет выбора. Если вы не сделаете мне операцию, я умру.

– А если бы ваша жизнь оказалась под угрозой? Решились бы вы на операцию? – резко вступил в разговор один из прибывших с полковником офицеров.

Полковник взял Гхоша за руку.

– Простите моего брата. – Он улыбнулся, будто желая сказать: вот видите, на что приходится идти, чтобы сохранить мир! А вслух произнес: – Если что-нибудь случится, вы можете с чистой совестью сказать, что ничего обо мне не знали, доктор Гхош. Ведь это правда. У вас насчет меня одни догадки.

Гхош набрал номер телефона Хемы. Ему пришло в голову, что полковник Мебрату и его люди наверняка плетут какой-то заговор. Иначе зачем им тайная встреча в Аддис-Абебе? Вот ведь головоломка: офицер, исполнитель казни и вместе с тем крамольник. Как с ним поступить? Конечно, его врачебный долг – сохранять терпение. Гхош не чувствовал к полковнику антипатии, не то что к его брату. Какая может быть неприязнь по отношению к человеку, который так стойко переносил боль?

Шумы в телефонной трубке перекрывались пульсацией крови в ухе, в такт ударам сердца.

Отрывистое «Алло!» Хемы свидетельствовало, что она не в духе.

– Это я, – быстро сказал Гхош. – Знаешь, что у меня за пациент сегодня?

Он изложил ей суть.

– И к чему мне все это знать? – Хема даже не дослушала до конца.

– Хема, ты меня поняла? Нам придется оперировать. Это наш долг.

Молчание. Он добавил:

– Они на все готовы. Идти им некуда. И они вооружены.

– Если они на все готовы, пусть сами вскрывают брюхо. Я – акушер-гинеколог. Скажи им, что у меня на руках двое новорожденных близнецов и я не в состоянии оперировать.

– Хема! – От ярости Гхош позабыл все слова. А он-то думал, она на его стороне. Хотя бы в том, что касается заботы о больных.

– Ты хоть понимаешь, что на меня свалилось? – спросила она. – Через что я прошла вчера? Тебя там не было, Гхош. Теперь я в ответе за каждый вздох малышей.

– Хема, я и не говорю...

– Ты проведешь операцию, старина. Ты ассистировал ему при завороте кишок, ведь так?

Разумеется, она имела в виду Стоуна.

Тишину нарушало только его дыхание. «Неужели ей все равно, если меня застрелят? Откуда такое отношение? Словно я враг. Словно я причина вчерашней беды. А может, я и полковника сюда пригласил?»

– Что, если мне произвести резекцию и анастомозировать толстую кишку? Или выполнить колостомию?*

* Хирургическая операция, во время которой часть ободочной кишки выводится наружу через переднюю брюшную стенку и вскрывается для дренирования кишечника или уменьшения давления на него.

– Я после родов. Нетрудоспособна. На работе отсутствую. Меня нет сегодня!

– Хема, мы обязаны... пациент... клятва «Гиппократата... Она горько рассмеялась.

– Клятва Гиппократата актуальна, если сидишь в Лондоне и пьешь чай. Какие еще клятвы здесь, в джунглях! Я знаю свои обязанности. Больному повезло, что у него есть ты, вот все, что я могу сказать. Все лучше, чем ничего.

И повесила трубку.

Гхош был специалистом по внутренним болезням, от и до. Инфаркты, пневмонии, неврология, лихорадочные состояния, сыпь, непонятные симптомы – здесь он был в своей тарелке. Он мог диагностировать, показана ли операция, но его не учили оперировать.

В лучшие дни Миссии, стоило Гхошу заглянуть в операционную, как Стоун моментально ставил его ассистентом. Это позволяло сестре Мэри немножко отдохнуть и вносило разнообразие в жизнь. Присутствие Гхоша нарушало благопристойность операционной, придавало всему какой-то карнавальный оттенок, но Стоун не возражал. Гхош сыпал вопросами, при нем Стоун разливался соловьем, наставлял, даже предавался воспоминаниям. По ночам Гхошу случалось ассистировать Хеме, если приходилось в экстренном порядке делать кесарево. Хема посылала за ним и при обширной резекции раковой опухоли яичников или матки.

А сейчас он оказался на месте Стоуна – справа от пациента, со скальпелем в руке, совершенно один. На этой точке его не было долгие годы. В последний раз по правую руку от больного он стоял во времена интернатуры. В качестве награды за хорошую работу ему дали прооперировать водянку оболочек яичка, причем штатный хирург находился рядом, в любую секунду готовый вмешаться.

По его указанию сестра вставила пациенту в анус газоотводную трубку и продвинула ее как можно дальше.

– Начнем, – сказал Гхош сверкающей чистотой стажерке, которая в халате и перчатках стояла с другой стороны стола в полной боеготовности. Шапочка и маска скрыли оспины у нее на лице. Ее глаза, хоть и покрасневшие, были все равно прекрасны. – Не начнешь – не закончишь, так что если хочешь закончить, то лучше начать, так?

Большое рассечение проведи,

Здесь маленьким тебе не обойтись.
Добудь петлю, ощупай, огляди,
По часовой по стрелке поверни
И трубку вставь, и пропихни, и тут
Скопившиеся газы отойдут.

Если колон раздуло до размеров дирижабля, легче легкого повредить кишку и выплеснуть ее содержимое в брюшную полость. Он надрезал брюшную стенку по срединной линии, затем осторожно, как сапер на разминировании, углубил разрез. Когда уже отчаялся (ничего не происходило), перед ним внезапно раскрылась блестящая брюшина – нежная мембрана, выстилающая брюшную полость. Он рассек брюшину – выступила жидкость соломенного цвета. Вставив в рану палец и используя его в качестве ограничителя, Гхош произвел чревосечение на всю длину разреза.

Сразу же, словно аэростат из ангара, выплыл колон. Гхош затампонировал края раны, вставил большой ретрактор Бальфура, чтобы раскрыть операционное поле, извлек из раны перекрученную петлю и уложил на тампоны. Она была толщиной с автомобильную камеру, темная и налитая жидкостью, не то что прочие спирали, дряблые и розовые. Глубоко в брюшной полости он увидел точку перекрута. Осторожно манипулируя двумя участками петли, он повернул ее вокруг оси по часовой стрелке, как учил Коуп. Послышалось бульканье, и синюшность раздутой части стала исчезать. По краям к ней вернулся розовый цвет.

Сквозь стенку кишки прощупывалась трубка, которую вставила сестра. Он продвинул по твердому стержню кишку – словно занавеску натянул на карниз. Когда трубка достигла раздутой части, послышалось громкое шипение и в подставленное ведро толчками полилась жидкость.

– Все встанет на места, петля сократится, и мука моментально прекратится, – весело сказал Гхош, и стажерка, понятия не имевшая, о чем это он, подтвердила:

– Да, доктор Гхош.

Гхош пошевелил пальцами в перчатках. Они были ловкие и сильные – настоящие руки хирурга. Такого не испытаеть, подумал он, пока не возьмешь на себя высшую ответственность.

Когда он, закончив, сдирал с себя перчатки, за стеклом распашной двери мелькнуло лицо Хемы. Мелькнуло и исчезло. Гхош бросился за ней и догнал в коридоре. Хема тяжело дышала.

– Ну как? – спросила она. – Все хорошо? Оба улыбались.

– Да... Всего-то и надо было развязать петлю. В его возбужденном

голосе слышалась гордость.

– Она может опять закрутиться.

– Ну, выбора-то у него не было: я или ничего, тем более что другой доктор ни шиша не помог.

– Это верно. Счастливчик ты. Мне пора. Алмаз и Розина присматривают за малышами.

– Хема?

– Что?

– Ты бы мне помогла, возникни у меня осложнения?

– Нет, мне просто захотелось ноги размять... – В глазах у нее мелькнула искорка. – Болван. Сам-то как думаешь?

В устах Хемы даже сарказм звучал как подарок. Гхош чуть не запрыгал на месте, будто шаловливый щенок, уже забывший недавнюю затрещину.

– Вчера я проезжала мимо того места, где вешали, и думала об этом. – Хема задумчиво глядела на Гхоша. – Ты что-нибудь ел сегодня?

Только сейчас он заметил: его возлюбленная, его незамужняя мадрасская красавица стала еще курпулентнее. Между сари и блузой появились сочные складки, да и намек на второй подбородок стал бросаться в глаза.

– Я ничего не ем с тех пор, как ты укатила в Индию. (Что было почти правдой.)

– Ты похудел. Тебе не идет. Идем покушаем. Еды масса, целые тонны. Каждый приносит что-нибудь съестное.

И Хема направилась к выходу. Гхош смотрел, как плавно кольшутся у нее ягодицы, какие у нее мягкие, округлые движения. Любимого тела стало больше. Не время, конечно, но Гхош почувствовал возбуждение.

Одеваясь, он все думал про операцию. Может, стоило зафиксировать сигмовидную кишку на брюшной стенке, чтобы больше не заворачивалась? Он же видел, как Стоун это делает, – колопексия*, так, кажется, этот прием называется. Стоун предостерегал его против колопексии или, напротив, рекомендовал? Надеюсь, все тампоны удалили. Взглянуть бы еще разок, пересчитать, проверить, не кровоточит ли какой сосуд. Он вспомнил слова Стоуна: «Когда брюшная полость вскрыта, она под твоим контролем. Но стоит тебе ее зашить, под контролем оказываешься ты».

* Операция подшивания толстой кишки, рассчитанная на уменьшение ненормальной подвижности того или иного ее отдела.

– Теперь я понимаю, что ты имел в виду, Томас, – пробормотал Гхош.

Уже поздним вечером больничный персонал собрался у отверстой

ямы, стенки которой были укреплены досками. Времени терять не следовало, ибо по эфиопской традиции, пока тело не предано земле, никто не вправе съесть ни кусочка. То есть у медсестер и стажеров маковой росинки во рту не было. По тропинке, по которой санитары пронесли гроб, сестра Мэри частенько прогуливалась, в этой рощице сидела на скамейке. Хема шла за гробом со служанкой Стоуна Розиной и с Алмаз, служанкой Гхоша; женщины по очереди несли двух спеленутых крох.

Гроб поставили на краю могилы и сдвинули крышку. Те, кто еще не видел тело, столпились вокруг, слышались всхлипы и сдавленные рыдания.

Медсестры облачили сестру Мэри в наряд Христовой невесты. Скапулярий призван был свидетельствовать, что ее есть Царствие Небесное, символизировал, что она умерла для мира, но в сгущавшейся мгле больше не казался символом. Накрахмаленный нагрудник походил на детский слюнявчик, белая ряса была препоясана плетеным белым шнурком. Ее руки были сложены на груди и покоились на Библии и четках. Босоногие кармелитки и вправду изначально не носили обуви, но орден сестры Мэри Джозеф Прейз разрешал сандалии. Все-таки матушка велела ничего не надевать ей на ноги.

Матушка решила не посылать за отцом Делароза из церкви Святого Иосифа, потому что он вечно был чем-то недоволен, а уж в Миссии и подавно бы нашел к чему придраться. Монахиня чуть было не пригласила Энди Мак-гвайра из англиканской церкви, человека добродушного и легкого в общении, но в конце концов пришла к заключению, что лучше всего будет, если сестру Мэри проводит в последний путь ее семья – персонал Миссии. Тот же инстинкт подсказал матушке распорядиться, чтобы Гебре подготовил краткую молитву, и обрадовалась, увидев, как польщен оказался Гебре поручением. Сестра Мэри всегда относилась к Гебре с уважением, хотя обязанности сторожа и садовника мешали ему исполнять пастырский долг.

Воздух был холоден и неподвижен. Матушка воздела руки: – Сестра Мэри Джозеф Прейз сказала бы: не печальтесь обо мне. Во Христе мое спасение. Во Христе и наше утешение.

Тут матушка потеряла мысль. Что там еще было? Она кивнула Гебре, который был в кипенно-белом облачении до колен, дополненном брюками и тугим тюрбаном на голове. Это была его парадная экипировка, надеваемая только раз в году, на праздник Крещения, Тимкат. Богослужение Гебре проводил на языке геэз*, древнем библейском языке церкви.

* Один из языков эфиосемитской группы семитской ветви афразийской языковой семьи. Письменный язык Эфиопии с IV-V вв., а по

некоторым данным, и с несколько более раннего времени. Как язык литературы находился в употреблении вплоть до середины XIX в., когда был вытеснен из этой сферы амхарским. В качестве языка христианского богослужения, а также источника для образования научных терминов используется по настоящее время.

Читал он с выражением и был краток. Медсестры и стажерки подхватили любимый гимн сестры Мэри, которому она сама их научила и который они исполняли по утрам в часовне общежития:

Христос воскрес, и смерти нет!
Христос принес нам счастья свет!
Когда б остался мертвым Он,
Мир был бы в скверну погружен.
Он преградил дорогу злу,
За то поем Ему хвалу!
Аллилуйя!

Все подались вперед, чтобы бросить последний взгляд на покойную. Гебре потом говорил, что сестра Мэри сияла, лицо ее дышало умиротворением, земные мучения для нее закончились. Алмаз настаивала, что, когда крышку сдвинули, запахло сиренью.

Гхошу сестра Мэри, казалось, говорила: не теряй зря времени. Не носись попусту со своей неразделенной любовью. Оставьте земли свои ради меня.

Хема, стоя у гроба, молча поклялась сестре Мэри, что не оставит нас, как будто мы ее родные дети.

Кули на веревках опустили гроб в могилу. Высокий по эфиопской традиции возложил тяжелые камни на крышку, чтобы гиены не добрались до тела.

Двое мужчин закидали могилу землей, и погребение завершилось. Рыданиям конца-края не было видно.

Шиву и меня, для кого все было в новинку, причитания напугали. Мы открыли глаза и принялись всматриваться в этот мир, уже оказавшийся несовершенным.

Глава четвертая. Слово искупителя

Наутро после похорон Гхош поднялся рано. Для разнообразия его первая мысль при пробуждении была не о Хеме, а о Стоуне. Приведя себя в порядок, Гхош отправился на квартиру к Стоуну, но никаких признаков его возвращения не обнаружил. Расстроенный, он явился в кабинет к матушке. В ответ на ее вопрошающий взгляд Гхош отрицательно покачал головой.

Ему не терпелось осмотреть прооперированного. Это чувство поразило его. Наверное, Стоуна, опытного хирурга, такое предвкушение первого осмотра навещало регулярно.

– Еще пристрастишься, пожалуй, – пробормотал он, ни к кому не обращаясь.

Полковник Мебрату сидел на краешке кровати, брат помогал ему одеться.

– Доктор Гхош! – воскликнул Мебрату с улыбкой человека, у которого нет на свете никаких забот. Хотя явно побаливало. – Докладываю о своем состоянии здоровья. Вчера ночью отошли газы, сегодня появился стул. Завтра из меня пойдет золото!

Он явно привык очаровывать окружающих и прямо-таки лучился обаянием. Для человека, которому меньше суток назад сделали операцию, он выглядел замечательно. Рана была чистая, без осложнений.

– Доктор, – продолжал полковник, – я должен вернуться в свою часть в Гондар сегодня. Не могу долго отсутствовать. Понимаю, это слишком скоро, но у меня нет выбора. Если я не явлю свой лик, подозрения усугубятся. Вы же не для того спасли мне жизнь, чтобы меня повесили? Внутривенные вливания мне могут сделать дома, все, что вы скажете.

Гхош открыл было рот для протеста, но понял, что не вправе настаивать.

– Ладно. Но есть опасность, что у вас разойдутся швы, если будете напрягаться. Я дам вам морфий. Перевозка в лежачем положении. Внутривенные вливания мы сделаем. Завтра можете пить водичку, потом жидкую пищу. Я все вам напишу. Через десять дней надо будет снять швы.

Полковник кивал в знак согласия.

Бородатый брат хлопнул Гхоша по руке и низко поклонился, бормоча слова благодарности.

– Вы поедете с ним? – спросил Гхош.

– Да, разумеется. За нами приедет фургон. Как только у него все

образуется, я отправлюсь в Сибирь на новую должность. В ссылку.

– Вы тоже военный? – спросил Гхош.

– В данный момент нет, доктор. Меня нет. Я никто. Полковник Мебрату положил руку брату на плечо:

– Мой брат – скромный человек. Между прочим, получил в Колумбийском университете степень магистра по социологии. Его императорское величество направил его в Америку. Старик очень огорчился, когда брат присоединился к движению Маркуса Гарви, и не разрешил слушнику защищать докторскую диссертацию. Вызвал его обратно и назначил на должность провинциального администратора. Лучше бы дал закончить обучение.

– Нет, нет, я вернулся по собственной воле, – возразил брат. – Я желал помочь своему народу. И за это я еду в Сибирь.

Гхош ждал продолжения.

– Скажи ему, за что конкретно, – предложил полковник. – В конце концов, это связано со здравоохранением.

– Министерство здравоохранения построило больницу в нашей бывшей провинции. Его императорское величество прибыл перерезать ленточку. Половину моего бюджета ухлопали на то, чтобы навести лоск по маршруту следования. Покраска, заборы, даже бульдозер, чтобы сровнять с землей хижину. Как только император отбыл, больницу закрыли.

– Почему?

– Денег не хватило. Все потратили.

– И вы не протестовали?

– Конечно, протестовал! Но ответа не получил. Министр здравоохранения клал мои жалобы под сукно. Тогда я открыл медицинский центр вторично. Сам. Потратил на это около десяти тысяч быров. Раз в неделю приезжал доктор-миссионер из города, расположенного в пятидесяти милях. Перевязки делала армейская медсестра на пенсии, появилась акушерка. Поставками занимался я. Люди меня любили, а министр готов был убить. Император вызвал меня в Аддис-Абебу.

– А откуда вы раздобыли деньги? – поинтересовался Гхош.

– Взятки! Люди приносят большую корзину инжеры, а там денег больше, чем инжеры. Стоило мне направить взятки на благую цель, как мне стали давать еще больше: люди испугались разоблачения.

– Вы рассказали об этом его величеству?

– А! Штука сложная. Каждый нашептывает ему на ухо. Ваше величество, сказал я, когда удостоился аудиенции, медицинскому центру нужен бюджет для продолжения работы. И моя просьба не осталась без

внимания.

– Он знал, – вставил полковник.

– Он выслушал меня. От этих глаз ничего не ускользает. Я закончил. Его величество шепчет что-то на ухо Аба Ханна, министру финансов. Аба Ханна записывает. А другие министры, вы их видели? Они пребывают в постоянном ужасе. Они ведь не знают, в милости они или уже попали в опалу.

Его величество благодарит меня за службу и т. д. и т. п., а я кланяюсь и пачусь к двери. У выхода меня догоняет министр финансов и вручает триста быров\ Мне нужно тридцать тысяч, если не целых триста. Насколько я знаю, император вел речь о ста тысячах, а Аба Ханна оценил вопрос в триста быров. Или эту сумму ему император подсказал? У кого спросишь? На аудиенции уже другой проситель, и министр финансов рысью мчится на свое место рядом с повелителем. Я хотел закричать во всю глотку: «Ваше величество, министр, наверное, ошибся?» Друзья меня оттащили.

– Иначе бы тебе не довелось рассказать нам об этом, – заметил полковник, – мой безрассудно храбрый брат.

Он помрачнел, перевел взгляд на Гхоша и взял руку врача в обе свои ладони.

– Доктор Гхош. Как хирург вы лучше Стоуна. Один хирург на месте лучше двух, которых нет.

– Нет, мне просто повезло. Лучше Стоуна никого нет.

– Благодарю вас вот еще за что. Всю дорогу из Гондара сюда меня терзала мучительная боль. Обратная дорога будет куда легче. Боль такая... я знал, еще чуть-чуть – и она убьет меня. Но мне было к кому обратиться. И когда вы мне сказали, что если такая беда стряется с кем-нибудь из моих соотечественников, он просто-напросто умрет...

Лицо у полковника сделалось суровым, и Гхош не знал, гнев это или сдерживаемые слезы.

– Преступление – закрыть медицинский центр моего брата. По пути в Аддис-Абебу на встречу с моими... коллегами я готовился слушать. Но уверенности во мне не было. Можете сказать, что мои мотивы подозрительны. Если я желаю стать частью перемен, чисты ли мои помыслы? Или я просто стремлюсь к власти? То, о чем я говорю, не следует передавать никому, доктор, вы это понимаете?

Гхош кивнул.

– Моя поездка, моя боль, моя операция... – продолжал полковник, – Господь показал мне страдания моего народа. Это был знак. Вот как у нас

относятся к простым людям, вот какая судьба постигнет крестьянина, случись у него заворот кишок, вот она, мера нашей страны. Не истребители, не танки, не новый дворец императора. Вас мне послал Бог.

Потом, когда они уехали, Гхош понял, что как ни был предубежден против полковника Мебрату, в каких бы черных красках тот ему ни рисовался, свершилось обратное, и император предстал перед ним в куда менее благостном виде, чем ему, иностранцу, прежде представлялось.

Мистер Эли Харрис был одет неподобающим образом. Это первое, что бросилось матушке в глаза, когда он, прикрыв за собой дверь, подошел к ее письменному столу и представился. У Харриса были веские причины для раздражения: он два дня подряд приезжал в Миссию и так и не встретился с матушкой. А он, напротив, казалось, был рад ее видеть и извинялся, что отнимает время.

– Я понятия не имела, что вы прибудете, – отдельно проговорила матушка. – При любых других обстоятельствах я бы приняла вас с превеликим удовольствием. Но, видите ли, вчера мы похоронили сестру Мэри Джозеф Прейз.

– То есть... – Харрис сглотнул, пошевелил губами. В глазах у матушки была такая печаль, что он смутился, как не заметил этого сразу. – То есть... юную монахиню из Индии?.. Ассистентку Томаса Стоуна?

– Ее самую. Что касается Томаса Стоуна, он пропал. Я очень за него волнуюсь. Он потерял рассудок.

У Харриса было приятное лицо, добрые карие глаза, но слишком длинная верхняя губа и неровные передние зубы не добавляли ему красоты. Он пошевелился на стуле – явно не терпелось спросить подробности, – но промолчал. Матушка сообразила: он из тех людей, кто, даже будучи хозяином положения, не считает возможным настаивать на своем и драться за свои права, и прониклась к нему симпатией.

И она рассказала ему все – поток простых фраз, гнущихся под тяжестью передаваемых событий. А под конец произнесла:

– Вы посетили нас в самую тяжелую годину. – Она высморкалась. – Слишком многое из того, чем мы занимаемся в Миссии, крутилось вокруг Томаса Стоуна. Он был лучшим хирургом в городе и понятия не имел, что нам многое позволяют только потому, что он прооперировал кое-кого из членов царствующего дома и правительства. Правительство заставляет нас платить колоссальный ежегодный сбор за предоставление права оказывать медицинские услуги, можете себе представить? Если захотят, они нас попросту закроют. Даже тем, что вы, мистер Харрис, направляли нам средства, мы обязаны его книге... Наверное, Миссии пришел конец.

Пока матушка говорила, Харрис все сильнее вжимался в свой стул, словно кто-то толкал его ногой в грудь, и нервно теребил вихор у себя на голове.

На свете есть люди, над которыми тяготит проклятие всюду оказываться не вовремя, подумала матушка. Они попадают в аварию по дороге на собственную свадьбу, их отпуск в Брайтоне безнадежно портят непрерывные дожди, день их личного триумфа приходится на день смерти короля Георга VI, и все помнят эту дату только как кончину короля. Они достойны сожаления, ибо помочь им нельзя. Никакой вины Харриса в том, что сестра Мэри умерла, а Стоун исчез, нет. И все-таки эти события совпали с его приездом.

Если Харрис потребует документально подтвердить, что деньги были потрачены на то-то и то-то, матушке нечего ему предъявить. Финансовые отчеты спонсорам она направляла только при крайней необходимости, да и то в них отражались по большей части пожелания филантропов, а не реальные нужды Миссии. Она всегда сознавала, что однажды этот день настанет.

Харрис закашлялся. Теребя носовой платок, исподволь перешел к делу. Но тема оказалась для матушки совершенно неожиданной.

– Вы оказались правы относительно нашего плана открытия миссии в Оромо, матушка, – начал Харрис, и монахиня смутно припомнила какое-то письмо. – Доктор в Волло направил мне телеграмму. Полиция заняла здание. Губернатор пальцем не пошевелит, чтобы выселить их. Имущество распродается. Местная церковь выступает против нас, обзывает дьяволами! Мне пришлось приехать, чтобы расставить все по местам.

– Простите за тупость, мистер Харрис, но как вы могли выделить средства за глаза? – Ее кольнула совесть, ибо в Миссии Харрис также не побывал ни разу. – Насколько я помню, я написала, что это неразумно.

– Это моя вина, – стиснул руки Харрис. – Я убедил руководящий комитет моей церкви... Я их еще не поставил в известность... – Он опять закашлялся. – Мои намерения – надеюсь, комитет это поймет – были самые благие. Мы... Я надеялся донести слово Искупителя до тех, кто его еще не познал.

Матушка раздраженно вздохнула.

– Вы полагаете, что все они – огнепоклонники? Или поклоняются деревьям? Мистер Харрис, они – христиане.

Учение об искуплении грехов им нужно так же, как вам – средство для выпрямления волос.

– Но я чувствую, что это ненастоящее христианство. Язычество какое-

то. – Он погладил себя по макушке.

– Язычество! Мистер Харрис, когда наши, предки-язычники в Йоркшире и Саксонии использовали черепа своих врагов в качестве посуды, здешние христиане уже пели псалмы. Они верят, что ковчег Завета покоится в одной из церквей Гондара. Не палец руки святого или ноги Папы, а ковчег! Эфиопские верующие надевают рубахи людей, умерших от чумы. Они видят в чуме верное и ниспосланное Богом средство получить вечную жизнь, спастись. Вот до какой степени, – она постучала по столу, – они жаждут новой жизни. – И не смогла удержаться: – Скажите мне, у вас в Далласе прихожане тоже так истово стремятся обрести спасение?

Харрис побагровел и завертел головой, словно подыскивая, где бы спрятаться. Но не сдался. Люди вроде него стойко отстаивают свои заблуждения, ибо это все, что у них есть.

– Вообще-то в Хьюстоне, а не в Далласе, – произнес он мягко. – Но матушка, духовенство здесь почти неграмотно, Гебре, ваш привратник, не понимает молитв, которые произносит, поскольку они на языке геэз, на котором никто не говорит. Если он придерживается доктрины монофизитов, что в Христе только божественная ипостась, а человеческой нет, то...

– Остановитесь! Прошу вас, мистер Харрис, остановитесь! – воскликнула матушка, закрывая уши. – Как меня это возмущает!

Она поднялась из-за стола, и Харрис отпрянул, словно испугавшись, что она надерет ему уши. Но монахиня всего лишь подошла к окну.

– Когда вы видите, как босые дети в Аддис-Абебе дрожат от холода под проливным дождем, когда вы видите прокаженных, выпрашивающих на пропитание, что значат все эти монофизитские бредни! – Матушка прижалась лбом к стеклу. – Бог рассудит нас по... – тут она вспомнила о сестре Мэри, и голос ее дрогнул, – по делам нашим, по тому, что мы сделали, дабы облегчить страдания человеческие. Полагаю, Богу безразлично, какую доктрину мы исповедуем.

Это некрасивое морщинистое лицо, мокрые щеки, сплетенные пальцы поразили Харриса куда больше, чем слова. Эта женщина переступит через все ограничения своего ордена, если они встанут у нее на пути. Ее устами говорит изначальная правда, которая вследствие своей простоты не в ходу в церкви, представляемой Харрисом, где мелкие междоусобицы, перебранки и показуха составляют чуть ли не главную цель существования комитета. Какое счастье, что океан разделяет созидателей вроде матушки и их начальников, вместе им было бы до чрезвычайности неудобно.

Харрис посмотрел на стопки Библий у стены. Он только сейчас их

заметил.

– У нас больше Библий на английском, чем знающих английский в этой стране. – Монахиня повернулась к нему. – Польские Библии, чешские Библии, итальянские, французские, шведские... Некоторые попали к нам, я полагаю, прямым из ваших воскресных школ. Нам нужны медикаменты и продовольствие. А нам шлют Библии. – Матушка улыбнулась. – Неужели добрые люди полагают, что Писание может избавить от голода и глистов? Наши пациенты – люди неграмотные.

– Я смущен, – пробормотал Харрис.

– Нет, нет, нет. Прошу вас! Здешние люди любят Библии. Священное Писание – самая ценная вещь у них в доме. Знаете, что сделал император Менелик, который правил перед Хайле Селассие, когда заболел? Он съел несколько страниц из Библии. Сомневаюсь, чтобы это помогло. В этой стране бумага – воркету – высоко ценится. Знаете ли вы, как здесь бедняки заключают брак? Их имена записывают на листке бумаге. А чтобы развестись, достаточно бумажку порвать. Священники раздают клочки бумаги со стихами. Клочок тщательно складывают, оборачивают в кожу и носят на шее.

Я бы охотно раздала Библии. Но министр внутренних дел счел бы это прозелитизмом. «Какой может быть прозелитизм, если никто не умеет читать?» – спросила я. Но министр не согласился. Так что Библии собираются в штабеля, мистер Харрис. Размножаются как кролики. Растекаются по кладовым и по моему кабинету. Мы подпираем ими книжные полки. Оклеиваем стены. Словом, стараемся найти применение.

Она подошла к двери и поманила его за Собой:

– Давайте пройдемся.

В коридоре матушка указала на табличку над дверью ОПЕРАЦИОННАЯ 1. Комната оказалась битком набита Библиями. В ОПЕРАЦИОННОЙ 2 стояли ведра и швабры.

– У нас осталась только одна операционная, мы называем ее Третьей. Можете сурово осудить меня, мистер Харрис, но я принимаю все, что посылает Господь, чтобы служить этим людям. И если филантропы настаивают, я принимаю еще одну операционную для нашей знаменитости Томаса Стоуна, тогда как мне нужны катетеры, шприцы, пенициллин и деньги на кислородные баллоны. В итоге номинальных операционных целых три штуки, а работает только одна.

За пышно расцветшей бугенвиллеей не видно было столбов, и казалось, что навес над ступеньками, ведущими в поликлиническое отделение, парит в воздухе.

Подбежал человек в тяжелом белом покрывале поверх поношенной шинели. Белый тюрбан и опахало из обезьяньей гривы у него в руке особенно бросались в глаза.

– Вот это и есть Гебре, о котором мы говорили, – сказала матушка. Гебре поклонился. – Слуга Господень. И сторож. И... один из наших отшельников.

Харриса поразила относительная молодость Гебре. В одном из своих писем матушка упоминала о том, как в Миссию явилась девчонка из Харрара, лет двенадцати-тринадцати, при смерти, с перерезанной пуповиной, свисающей между ног. Несколько дней тому назад она родила, но послед не вышел, плацента застыла на месте. Семейство два дня добиралось до Миссии. Когда Гебре, орудие в руках Господа, помогал бедняжке выйти из повозки, то нечаянно наступил на пуповину, тем самым высвободив плаценту. Девчонка излечилась, даже не переступив порог амбулатории.

В фуфайке без рукавов Харриса пробрала дрожь, он поправил воротничок и нахлобучил на голову тропический шлем, которого матушка поначалу даже не заметила.

Она провела его через детское отделение, обычную палату, разве только выкрашенную лиловой краской. Дети лежали на высоких койках за металлическими прутьями, мамы расположились на полу рядом. При виде матушки они вскочили на ноги и поклонились.

– У этого столбняк, и он умрет. У этого менингит, если выживет, может ослепнуть или оглохнуть. А его мать, – она нежно обняла оборванку, – днюет и ночует в Миссии и совсем забросила троих остальных детей. Господи, чего у нас только не было. Дети дома падали в колодец, попадали быку на рога, их похищали, пока мать была здесь. По-человечески ее надо бы вместе с ребенком отправить домой.

– Так почему она здесь?

– Посмотрите, какая она анемичная! Мы ее кормим. Мы даем ей ее порцию и порцию ребенка, которую он не в состоянии съесть, и просим давать ей каждый день по яйцу, и колем железо. Через пару дней выпишем ее с ребенком (если будет жив) и оплатим проезд домой. Во всяком случае, со здоровьем у нее станет лучше и она сможет вплотную заняться другими детьми... Сейчас ребенок ждет операции...

В мужском отделении, узком и длинном, где лежало сорок человек, она продолжила свой рассказ. Больные, кто мог приподняться, приветствовали ее сидя. Один находился в коматозном состоянии, рот открыт, глаза ничего не видят. Другой сидел, опершись на особую подушку, и изо всех сил

старался дышать. У двоих, лежавших рядышком, животы разнесло, как на девятом месяце беременности.

– Ревматическое повреждение сердечного клапана, поделаться ничего нельзя... а у этих двоих цирроз, – поясняла матушка.

Харрис поразился, как мало нужно для того, чтобы сохранить жизнь. Большой ломоть хлеба в обшарпанной кювете и громадная жестяная кружка сладкого чая – это был завтрак и обед. Очень часто к трапезе присоединялись родственники, присевшие на корточки у кровати.

Выйдя из отделения, матушка остановилась перевести дыхание.

– А знаете ли вы, что на данный момент средств у нас всего на три дня? Бывает, я засыпаю, не имея представления, на что нам существовать наутро.

– И что вы предпринимаете в этом случае? – спросил Харрис и сразу понял, что уже знает ответ.

Матушка улыбнулась, глаза у нее превратились в щелочки, придав лицу детское выражение.

– Вот именно, мистер Харрис. Я молюсь. А потом беру из фонда на строительство или из любого другого фонда, где есть деньги. Господь знает мое затруднительное положение, говорю я себе, и благословляет перевод денег. Мы боремся не с безбожием – это самая набожная страна на свете. Мы боремся даже не с болезнями. Бедность – вот что страшно. Деньги на продовольствие, лекарства... вот что помогает. Когда мы не можем вылечить или спасти жизнь, наши пациенты хотя бы чувствуют заботу. Вот что должно быть основополагающим правом человека.

Все проблемы руководящего комитета показались Харрису сущей чепухой.

– Признаюсь, мистер Харрис, став старше, я перестала молиться о прощении. Я молюсь о деньгах, чтобы выполнить работу Господа. – Она взяла его руку в обе ладони и погладила. – И знаете ли, дорогой мой, что в самые черные минуты вы часто были ответом на мои молитвы.

Достаточно, подумала матушка. Это как в азартной игре. И правда – моя единственная ставка.

Глава пятая. Изворот змеи

Гхошу новорожденные казались химерами, игрой воображения, произвольным сочетанием носиков и складок, зародившимся в недрах дома Хемы, неудачным лабораторным экспериментом. Хоть он и изображал всеми силами интерес, про себя негодовал на то внимание, какое они к себе привлекали.

Минуло пять дней со смерти сестры Мэри. Ранним вечером, прежде чем отправиться на розыски Стоуна, он заглянул к Хеме. Оказалось, его Алмаз у нее и чувствует себя как дома; вся поглощенная малышами, она едва заметила появление Гхоша. Последние несколько дней он был принужден сам готовить себе кофе и греть воду для ванной. Матушка, сестра Асквал, Розина и парочка медсестер-учениц тоже были тут и суетились вокруг младенцев. Розина, которой после исчезновения Стоуна нечем оказалось заняться, также перебралась к Хеме.

Никто и не заметил, как он ушел из бунгало Хемы.

Сперва он заглянул в гостиницы «Гион» и «Рас», затем наведалься в полицейское управление, где разыскал знакомого сержанта. Ничего нового он не узнал. Гхош проехал Пьяццу вдоль и поперек, выпил пива в «Святом Георгии» и решил, что пора домой. Он основательно готовился к отъезду из Эфиопии. Через четыре недели он улетал в Чикаго через Рим, у него уже был авиабилет. К тому времени в Миссии все должно определиться. Сестра Мэри умерла, Стоун исчез, и Гхош не видел, где его место в сложившихся обстоятельствах. Но надо еще набраться храбрости, чтобы объявить матушке, или Алмаз, или Хеме.

Когда он загнал машину под навес, было уже темно. У задней стенки скорчилась Алмаз, по самые глаза закутанная в накидку. Она дожидалась его, совсем как в тот вечер, когда умерла сестра Мэри.

– Господи помилуй. Что еще стряслось?

Она распахнула дверь со стороны пассажира и забралась внутрь.

– Стоун нашелся? – спросил он. – Что случилось?

– Где вы были? Нет, Стоун не нашелся. Один из малышей перестал дышать. Идемте скорее в бунгало доктора Хемы.

В голубом свете ночника спальня Хемы являла собой зрелище сюрреалистическое, прямо сцена из фильма. Хема была в ночной рубашке, распущенные волосы падали на плечи. Гхош глаз не мог оторвать.

Два малыша находились в постели, грудь у них равномерно

поднималась и опускалась, глаза были закрыты, на лицах покой и умиротворение.

Зато Хема была сама не своя, она дрожала всем телом, даже губы тряслись. Гхош недоуменно развел руками, молча вопрошая, что случилось. Вместо ответа она бросилась ему в объятия.

Он подхватил ее.

За годы знакомства он видел ее радостной, раздраженной, печальной и даже подавленной, но под всем этим всегда тлела готовность дать бой всякому. Но ни разу не видел напуганной.

Гхош мягко подтолкнул Хему к двери, но она воспротивилась.

– Нет. Мы не можем уйти.

– Что происходит?

– Я их уложила, собралась выйти, посмотрела напоследок... Мэрион дышал ровно. А вот Шива... – Она всхлипнула, указывая на младенца с повязкой на голове. – Животик у него надулся, опал... и потом ничего. Я не поверила глазам. «Хема, тебе померещилось», – сказала я себе. Но он начал синеть, что было заметно даже при этом освещении, особенно по сравнению с Мэрионом. Я дотронулась до него, а он вытянул ручки, ухватил меня за палец и глубоко вздохнул. Он словно старался сказать: не уходи. Теперь он снова дышит. О, мой Шива... Если бы меня не было рядом, он бы уже умер.

От ее слез рубашка Гхоша намокла на груди. Он не знал, что сказать, и надеялся только, что Хема не почувствует запах пива. В какой-то момент она высвободилась из его объятий. Они стояли рядом, смотрели на Шиву, а Алмаз маячила у них за спиной.

С чего это Хеме вздумалось дать детям имена? Не поторопилась ли она? Как-то эти имена не выговариваются. А она их с кем-нибудь обсуждала? Что, если Томас Стоун объявится? И зачем называть дитя монахини и англичанина именем индийского бога? И откуда взялось имя Мэрион для мальчика? Нет, это все временно, пока Томас Стоун не придет в себя и британское посольство не предпримет необходимых шагов. Хема действовала так, словно была малышам матерью.

– Это повторялось? – спросил Гхош.

– Да! Еще раз. Спустя примерно тридцать минут. Я уже собиралась отвернуться. Он выдохнул... и застыл. Я решила подождать. Ждала, ждала... и не могла уже больше выдержать. Дотронулась до него, и он сразу же задышал снова, словно опомнился. Я здесь уже три часа, даже в сортир боюсь отлучиться. Никому не могу его доверить, да и объяснить толком не могу. Спасибо, Алмаз решила остаться и помочь мне с ночным

кормлением. Я послала ее за тобой, – ответила Хема.

– Делай свои дела. Я присмотрю за ними. Хема очень скоро вернулась.

– Что думаешь? – спросила она, вытирая глаза платком. – Не послушаешь ему легкие? Хотя ни кашля, ни хрипов не было.

Прижав палец к подбородку, прищурясь, Гхош внимательно наблюдал за ребенком. Молчание затянулось. Наконец он сказал:

– Я его тщательно осмотрю, когда проснется. Но мне кажется, я понимаю, что это.

Хема ответила таким взглядом, что у него дрогнуло сердце. Эта была какая-то другая Хема, не та, что встречала его слова с неизменным скептицизмом.

– Точнее, я уверен. Апноэ недоношенных. Недуг хорошо описан. Видишь ли, мозг у него еще незрелый, и дыхательный центр не развит до конца. Он попросту то и дело забывает дышать.

– Ты точно знаешь, что это не что-то другое? – Она не ставила его слов под сомнение, она, как всякая мать, желала от доктора твердости в суждениях.

Он кивнул:

– Убежден. Тебе повезло. Обычно апноэ кончается смертельным исходом прежде, чем его сумеют распознать.

– Не говори так. Господи. Что же нам делать, Гхош? Он чуть было не сказал ей, что поделаться ничего нельзя.

Совсем. Если ребенку посчастливится, он за несколько недель перерастет недуг. Правда, можно подключить новорожденных к аппарату искусственного дыхания, пока их дыхательные органы не сформируются окончательно. Это редкость даже в Англии и в Америке. Здесь же, в Миссии, и разговора быть не может.

Она, затаив дыхание, ждала, что он скажет.

– Вот что мы сделаем, – начал Гхош, и она выдохнула. План родился у него только сейчас, и непонятно было, сработает ли он. Но не говорить же ей, что поделаться ничего нельзя. – Принеси мне кресло из гостиной. Кроме того, ножные браслеты, кусачки и проволоку либо шпагат. Планшет или блокнот, если у тебя есть. И вели Алмаз сварить кофе, покрепче и побольше, и налить в термос.

Эта новая Хема, приемная мать близнецов, без лишних вопросов кинулась выполнять поручение. Он проводил ее взглядом.

– Если бы я знал, что ты так охотно согласишься, я бы заказал еще коньяк и массаж стоп, – пробормотал Гхош. – Ну а если не сработает... в конце концов, чемоданы у меня собраны.

Два часа ночи. Гхош сидит в кресле, прихлебывая кофе, в доме тихо. Один конец бечевки обвязан у него вокруг пальца, ко второму прикреплен ножной браслет Хемы, перекусанный пополам и надетый Шиве на ногу. С браслета свисает маленький серебряный колокольчик, издающий тонкий приятный звон, стоит малышу пошевелить ногой.

Свои часы на ремешке Гхош надел на ручку кресла. Первую страницу тетради он разделил на вертикальные колонки: дата и время. Шива пошевелился во сне, колокольчик ободряюще звякнул. До этого они покормили малышкой, добавив в бутылочку Шивы капельку кофе. Гхош надеялся, что кофеин, стимулятор и раздражитель нервной системы, не даст дыхательному центру отключиться. Малыш стал вести себя беспокойнее, чем брат-близнец.

Хема спит на диване в дальнем углу гостиной, комнате рядом со спальней. Торшер под абажуром, который они переставили в спальню, бросает свет на страницы.

Гхош разглядывает стены. Девочка с косичками и в половинке сари стоит между двумя взрослыми. Напротив Гхоша висит портрет в рамке: Джавахарлал Неру в задумчивости потирает подбородок. Гхош полагал, что в спальне Хемы все аккуратно расставлено по местам, а тут платья переброшены через спинку кровати, раскрытый чемодан на полу, стопки книг и кипы бумаг на стульях, груда одежды в углу. А сразу за дверью спальни он углядел ящик размером с буфет.

«Она его купила, – мелькает у него в голове. – „Грюн-диг“, не иначе. Лучшее, что можно приобрести за деньги».

Его собственные радиоприемник и проигрыватель несколько месяцев как сломались.

Периодически он посматривает на малыша: дышит. Примерно через полчаса Гхош зевает, смотрит на часы и с изумлением убеждается, что прошло всего лишь семь минут. Господи, придется нелегко, проносится у него в голове. Он приканчивает первую чашку кофе и берется за вторую.

Поднявшись с кресла, он принимается кружить по комнате. На полке книги в одинаковых переплетах. «Классики мировой литературы», – гласят золотые буквы на корешках. Гхош берет один том и садится. Прекрасный кожаный переплет, золотой обрез. Похоже, книгу ни разу не открывали.

В четыре утра Гхош идет будить Хему. Она спит, подложив обе ладони под щеку. Он легонько тормозит ее, она открывает глаза, видит его и улыбается. Он протягивает ей чашку кофе.

– Моя очередь? Гхош кивает. Хема садится.

– Остановки дыхания были?

– Дважды. Сомнений быть не может.

– Господи. Я и представить себе такого не могла. Нам повезло, что я заметила в первый раз.

– Выпей, умойся и топай в спальню.

Когда она возвращается, Гхош передает ей бечевку, привязанную к ножному браслету, и блокнот с ручкой.

– Делай что хочешь, только не ложись в кровать. Лучше сиди в кресле. А то заснешь. Я читал, помогает. Прочитаю страницу, посмотрю на младенца. Если браслет шевелится, колокольчик позвякивает, значит, можно не смотреть. Перестает дышать – я тяну за веревочку, и дыхание возобновляется. Малыш просто забывает дышать.

– Откуда же ему знать об этом? Бедняжка.

Едва Хема усаживается в кресло, как раздается странный звук. Через секунду она понимает: это храпит Гхош. Она на цыпочках подходит к дивану, где он лежит, накрывает одеялом и возвращается на вахту. Храп служит ей поддержкой, теперь она знает, что не одна, и берется за книгу.

Серию из двенадцати книг она купила у штатного сотрудника британского посольства. Как стыдно, что не прочла ни одной. Гхош оставил закладку на странице девяносто два. Неужто он зашел так далеко? А почему он взял эту книгу? Хема открывает первую страницу.

«Тот, кто ищет узнать историю человека, постигнуть, как эта таинственная смесь элементов ведет себя в разнообразных опытах, которые ставит Время, конечно же, хотя бы кратко ознакомился с жизнью святой Терезы и почти наверняка сочувственно улыбнулся, представив себе, как маленькая девочка однажды утром покинула дом, ведя за руку младшего братца, в чаянии обрести мученический венец в краю мавров»*.

* Джордж Элиот. «Миддлмарч». Пер. И. Гуровой, Е. Коротковой. М: Правда, 1988.

Хема целых три раза прочитывает первую фразу, прежде чем понимает, о чем она. Переворачивает книгу и смотрит на название. «Миддлмарч». Неужели писательница не могла выразиться яснее? Она продолжает читать только потому, что до нее эти страницы прочел Гхош. Однако понемногу повествование ее захватывает.

Наутро она поинтересовалась у Гхоша, пока тот жарил тосты, благополучно ли вернулся полковник в свой гарнизон в Гондаре? Если его арестовали или повесили, узнали бы об этом в Миссии? В «Эфиопией Геральд» ни словом не упоминалось об измене.

Закончив осмотр пациентов, Гхош раскопал на одном из складов, расположенных за бунгало матушки, инкубатор. В Миссии Гхош исполнял

еще и обязанности педиатра и в начале своей врачебной карьеры соорудил инкубатор для недоношенных. После того как шведское правительство открыло в Аддис-Абебе педиатрический госпиталь, Миссия всех своих недоношенных стала направлять туда и инкубатор стал не нужен.

Несмотря на хлипкую конструкцию – с четырех сторон стекло, основание из жести, – инкубатор оказался в целости и сохранности. Гебре сполоснул устройство из шланга, разогнал блох, прожарил на солнышке и помыл горячей водой. Прежде чем доставить инкубатор в спальню Хемы, Гхош еще и протер его спиртом. Как только он отошел в сторону, чтобы полюбоваться своим творением, Алмаз и Розина троекратно обошли инкубатор, громко цокая языками и чуть ли не плюясь.

– Чтобы отогнать сглаз, – пояснили они на амхарском, вытирая губы тыльной стороной ладони.

– Напомните мне, чтобы я ни в коем случае не приглашал вас в операционную, – сказал Гхош по-английски. – Хема? А как же антисептика? Листер? Пастер? Ты в это больше не веришь?

– Не забывай, у меня послеродовой синдром, – весело ответила Хема. – Отогнать злых духов – куда важнее.

Спеленутые близнецы лежали в инкубаторе двумя личинками, на головах чепчики, только морщинистые личики и видны. Как бы далеко друг от друга ни клала малышей Хема, возвращаясь, она неизменно заставляла их лицом к лицу в положении У головы соприкасаются. Так они лежали в утробе.

Порой по ночам, заступив на свою вахту у детской кроватки, усталый и сонный, Гхош говорил себе: «Зачем ты здесь? Стала бы она так стараться ради тебя? Снова ты поддался ее чарам, придурок! И когда наконец ты скажешь ей нужные слова?»

Гхош решил: вот наладится у Шивы дыхание – и уеду. Насколько он знал Хему, как только его помощь ей станет не нужна, все вернется на круги своя. Да еще неясно, какие последствия возымеет визит Харриса, будут ли хьюстонские баптисты по-прежнему давать деньги. Матушка на этот счет не высказывалась.

Они отдежурили при Шиве две недели. Днем им помогали, ночью они были предоставлены самим себе. Они закончили «Миддлмарч» за неделю и всесторонне обсудили книгу, затем Гхош взялся за «Париж» из трилогии «Города» Золя, и роман показался им обоим увлекательным. Остановки дыхания у Шивы сократились с двадцати в день до двух и затем исчезли. Они не оставили свой пост и на третью неделю, просто на всякий случай.

Диванчик Хемы для мужчины размеров Гхоша оказался маловат, и,

глядя, как он скукоживается, пытаюсь устроиться поудобнее, Хема чувствовала к нему благодарность за такое самопожертвование. Она была бы поражена, узнав, с каким наслаждением он располагается на нагретом ею местечке и укрывается одеялом, хранящим аромат ее снов. Звяканье колокольчика Шивы просачивалось в его сознание, и однажды ему приснилось, что Хема танцует для него. Обнаженная. Видение было таким живым, почти осязаемым, что наутро он помчался в бюро путешествий Кука и аннулировал свой билет в Америку. Даже кофе не выпил – чтобы только не передумать.

Матушка все больше сутулилась, после смерти сестры Мэри на лице у нее прибавилось морщин. Вечера она, как и все прочие, проводила у Хемы и не протестовала, когда Хема и Гхош к восьми часам отправляли ее домой в сопровождении Кучулу. Собака считала своим долгом охранять матушку, с двумя другими псами-спутниками получалась целая свита.

Недели через две после похорон сестры Мэри на глаза Гебре попался босоногий кули с загипсованной правой рукой, нелепо торчащей в сторону. Кули был до того плох, что еле держался на ногах, и казалось, вот-вот свалится и сломает себе шею, не говоря уже о второй руке. Гебре сделалось не по себе, ибо именно он отправил кули в русский госпиталь, когда тот явился в Миссию с переломом. Русские доктора обожали впрыскивать барбитураты, чем бы ты ни болел, и, поскольку все местные души не чаяли в уколах, пациенты покидали русский госпиталь, накачанные седативными средствами. За свои долгие годы в Миссии Гебре точно узнал, что сломанную конечность следует зафиксировать в нейтральной и функциональной позиции, локоть согнут под углом в девяносто градусов, предплечье посередине между пронацией и супинацией (хотя все эти термины и не были ему знакомы). Он провел шатающегося кули в приемный покой, где Гхош сделал рентген и гипс наложили по новой. В эту минуту, хотя никто из них этого не осознал, Миссия возобновила свою деятельность.

Хема не желала расставаться с близнецами. Она проявляла себя не как доктор, а как мать, которая дрожит за своих детей, хочет всегда быть с ними вместе и не выносит расставаний. Две мамиты – стоуновская Розина и гхошевская Алмаз – по очереди спали на тюфяке у нее в кухне и постоянно были под рукой.

Стоун исчез, Хема приняла на себя обязанности матери с полным рабочим днем, двери Миссии распахнулись для пациентов, так что нагрузка на долю Гхоша выпала колоссальная. Матушка наняла Бакелли, чтобы вел утренний амбулаторный прием, когда в Миссию являлось большинство

пациентов. Это позволило Гхошу проводить операции, когда выпадала возможность, и заниматься пациентами больницы.

Через шесть недель после кончины сестры Мэри на повозке, запряженной ослом, прибыло надгробие. Хема и Гхош пришли посмотреть, как его будут устанавливать. Каменотес высек на памятнике коптский крест, а под ним буквы, скопировав их с бумажки, которую ему дала матушка.

ΣΙΣΤΕΡ ΜΑΡΥ ΔΟΣΕΙΝ ΠΡΑΙΣΕ
ΒΟΡΝ 1928, ΔΙΕΔ 1954
ΣΑΦΕ ΙΝ ΤΗ ΑΡΜΕ ΟΦ ΘΕΣΥΣ

Тяжело дыша, прибыла матушка. Втроем они молча глядели на странные буквы. Камнерез скромно стоял в сторонке, ожидая похвалы. Матушка сердито вздохнула:

– Пожалуй, с этим уже ничего не поделаешь.

Она кивнула мастеру. Он собрал свои ваги и рогожки и повел осла прочь.

– Я что подумала, – произнесла Хема хриплым голосом. – Надо было написать «Умерла на руках хирурга. Ныне покоится с миром в объятиях Иисуса».

– Хема! – возмутилась матушка. – Не богохульствуй.

– Нет, правда, – продолжала Хема, – ошибки богача покрываются деньгами, ошибки хирурга покрываются землей.

– Сестра Мэри Джозеф Прейз покоится в земле, которую любила, – объявила матушка, надеясь положить конец разговору.

– А уложил ее туда хирург, – не сдавалась Хема, любившая, чтобы последнее слово оставалось за ней.

– Который теперь уехал из страны, – пробормотала матушка.

Оба уставились на монахиню. Матушка сконфузилась.

– Позвонили из британского консульства. Вот почему я опоздала. Если сложить все кусочки, получается, что Стоун прибыл на кенийскую границу, а затем в Найроби, не спрашивайте как. Он в плохом состоянии. Пьян, по-видимому. Этот человек обезумел.

– Но хоть жив? – спросил Гхош.

– Насколько я знаю, цел и невредим. Я только что говорила с мистером Эли Харрисом. Да, я его подключила. У них в Кении большое представительство. Харрис полагает, что Стоун сможет у них работать, если протрезвится. А если не захочет, Харрис переправит его в Америку.

– А как же его книги, вещи? – спросил Гхош. – Куда нам их переслать?

– Полагаю, как только он устроится, то напишет нам насчет этого, –

сказала матушка.

Новости рассердили и вместе с тем обрадовали Хему. Значит, Стоун бросил детей и претензий на них заявлять не будет. Хорошо бы ему еще подписать официальный документ на этот счет. А то как-то беспокойно на душе. Все-таки человеку, который сделал себе имя в Миссии, чья любовница похоронена в Миссии и чьи дети воспитываются в Миссии, не так легко будет порвать с Миссией всякую связь.

– Изворот змеи не помешает ей проскользнуть в нору, – сказала Хема.

– Он не змея, – резко возразил Гхош. Она так удивилась, что даже не ответила. – Он мой друг. Давайте не будем забывать, какую важную роль он играл, сколько сделал для Миссии, сколько жизней спас. Он не змея. – Гхош развернулся и зашагал прочь.

Его слова задели Хему. Конечно, она не могла предположить, что он целиком разделит ее чувства... Да ей-то что, в самом деле? Он всегда был сам по себе.

Она со страхом смотрела на удаляющегося Гхоша. Его чувства никогда ее особенно не волновали, но сейчас, у могилы, она вдруг почувствовала себя юной девушкой, которой у колодца впервые повстречался прекрасный незнакомец. Такая встреча бывает раз в жизни – а она сказала не те слова и прогнала его.

Глава шестая. Невеста на год

С молочной коровой Хема ошиблась, но, как только она сделала первый глоток жирного напитка, пути назад не было, даже если бы Гхош категорически выступил против коровы.

– Ты серьезно, Хема? Нельзя давать коровье молоко новорожденным!

– Кто сказал? – воспротивилась она, правда, убежденности в ее голосе не было.

– Я, – настаивал он. – Кроме того, им и на смеси неплохо. Они останутся на смеси.

После его резких слов на могиле сестры Мэри ее не покидало ужасное предчувствие, что он собирается покинуть Миссию, но в последующие дни он показал себя с лучшей стороны в своих бдениях над Шивой, в уравновешенном, методичном подходе к проблеме. На стену возле двери он прикрепил график, отражавший динамику тревожных симптомов. Хема никогда бы не набралась храбрости констатировать – как он это сделал однажды вечером, – что ночные дежурства можно отменять.

Он так и спал на диванчике с того самого дня, когда она позвала его, и ей хотелось, чтобы все так и оставалось – она прямо-таки под села на его храп. Правда, поспорить с ним она была горазда и сейчас – по старой привычке. «Это у меня так проявляется нежность», – думала она про себя.

Браслет с колокольчиком так и остался на ноге у Шивы, хотя нужда в нем отпала. Позвякивание как бы стало составной частью Шивы, без него он был будто без голоса.

Ранним утром на дороге появлялась процессия, состоящая из коровы, теленка и молочника Асрата, их колокольчик звучал в той же тональности, что и колокольчик Шивы. Доставка молокозавода на дом обходилась дороже, зато дойка проходила под бдительным оком Розины или Алмаз, так что о разбавлении продукта водой не могло быть и речи.

Ко времени пробуждения Хемы дом наполнялся запахом кипящего молока. Она добавляла его в свой утренний кофе все больше и больше. Вскоре стоило Хеме слышать коровий колокольчик, и у нее текли слюнки, как у подопечных профессора Павлова. По утрам она теперь выпивала две кружки «кофе» (молока в нем было куда больше) и еще две в течение дня, она обожала масляный привкус, мягко обволакивающий язык. Буйволиное молоко ее детства было совсем другим, высокогорные травы, на которых паслись коровы, придавали местному продукту несравненный вкус.

Однажды утром Асрат, будто набравшийся невозмутимости от своих коров, которые по ночам спали в хижине вместе с ним, сказал:

– Если Мадам купит кукурузных кормов, молоко станет такое густое, что ложка будет стоять.

Хема думала недолго. И вскоре кули прикатил на ручной тележке десять мешков с надписью **ФОНД РОКФЕЛЛЕРА** и **НЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ**.

– Моя лучшая инвестиция, – сказала Хема несколько дней спустя, облизывая губы, словно школьница. – С кукурузой совсем другое дело.

– Вряд ли это можно назвать контролируемым экспериментом, – съехидничал Гхош, – учитывая, что ты нарушила чистоту опыта, заплатив за кукурузу.

Асрат привязывал животных за кухней, теленка подальше от матери, и разносил по домам надоенное молоко. Корова и теленок переговаривались нежным, умиротворенным мычанием. Хеме вспомнились слова матери: «Корова несет в своем теле вселенную, Брама – в рогах, Агни – в челе, Индра – в голове..».

Призыв теленка к мамаше был ничто перед криком близнецов, но эмоции вызывал у Хемы, наверное, схожие. За годы своего акушерства Хема не слишком задумывалась о крике новорожденного, не вслушивалась в его тональность, не всматривалась в дрожащий язык и губки. Внешне беспомощный, настойчивый звук возвещал о рождении человека, о появлении новой жизни. А вот тишина вызывала тревогу.

Но сейчас плач ее новорожденных, Шивы и Мэриона, нельзя было сравнить ни с каким иным звуком на свете. Он поднимал ее из лабиринтов сна, заставлял трепетать голосовые связки в успокоительном ворковании, принуждал бежать со всех ног к инкубатору. Это был зов, обращенный к ней, – ее дети призывали мать!

Много лет ее преследовал необычный феномен: перед тем как погрузиться в сон, ей казалось, что кто-то окликает ее по имени. Теперь она сказала себе: это мои неродившиеся близнецы возвещали о своем пришествии.

Ее, новоиспеченную мать, окружали и другие, ранее незнакомые звуки. Шлепанье влажного белья по стиральному камню. Хлопанье на ветру висящих на веревке пеленок (знамен плодородия) – знак того, что сейчас хлынет дождь и что Алмаз и Розине надо поторопиться. Звяканье кипятящихся в кастрюле бутылочек. Пение Розины, ее постоянное ворчание. Грохот переставляемых Алмаз горшков и кастрюлек... Все это составляло хорал ее тихого счастья.

Вопреки возражениям Гхоша, Хема пригласила домой астролога из Махараштры, совершающего поездку по Восточной Африке, и заплатила ему за предсказание мальчишкам судеб. В своих очках и с торчащими из кармана рубашки авторучками провидец походил на железнодорожного служащего. Записав точное время рождения близнецов, он попросил даты рождения родителей. Хема сказала свою и Гхоша, бросив на того предупреждающий взгляд. Астролог покопался в своих таблицах, произвел на бумаге расчеты и пробормотал: «Невозможно». И встревоженно поглядел на Хему, а смотреть на Гхоша он избегал.

– Как бы ни сложилась их судьба, можете быть уверены, что она окажется связана с их отцом.

Гхош догнал астролога у ворот. От предложенных денег предсказатель отказался.

– Доктор-сааб, – проговорил он мрачно, – боюсь, что отец – не вы.

Гхош изобразил глубокое огорчение и, вернувшись, рассказал все Хеме, но она не поделила его восторга. В душе у нее зародился страх, будто ей предсказали, что Томас Стоун вернется.

На следующий день Гхош застал Хему сидящей на корточках у входа в спальню, она рассыпала по полу из горсти рисовую муку, выкладывая сложный декоративный узор – ранголи, – причем старалась, чтобы линии не пересекались и тем самым перекрыли проход духам зла. Над дверью в спальню в качестве защиты от сглаза Хема повесила маску бородатого демона с налитыми кровью глазами и высунутым языком. Каждое утро «Грюндиг» играл «Супрабхатам» в исполнении М. С. Суббулакшми. Икающие синкопы напоминали Гхошу о мадрасских женщинах, подметающих рано утром двор вокруг баньянового дерева, и о велосипедном звонке дхоби. Радиостанции обычно начинали свою программу с «Супрабхатама», и еще студентом Гхош слышал, как слова этого песнопения срываются с губ умирающих пациентов.

Гхош обратил внимание, что шкаф в спальне Хемы превратился в некое подобие гробницы, которую венчал символ Шивы – высокий лингам. Компанию бронзовым статуэткам Ганеши, Лакшми, Муруги составили изготовленное из черного дерева резное изображение загадочного бога Венкатешвары*, керамическое непорочное сердце Девы Марии и керамическое же распятие со стекающей по запястьям Христа кровью. Гхош не сказал ни слова.

* Ганеша, или Ганapati, – в индуизме бог мудрости и благополучия. Один из наиболее известных и почитаемых во всем мире богов индуистского пантеона, сын Шивы и Парвати. Лакшми – богиня изобилия,

процветания, богатства, удачи и счастья, воплощение грации, красоты и обаяния. Муруга (другое имя – Субраманиам) – сын Шивы и Парвати, поразивший копьем Парвати злого демона Су. Венкатешвара – одна из форм Вишну в индуизме. В переводе «Венкатешвара» означает «Господь, разрушающий грехи». Согласно вайшнавскому преданию, Вишну принял форму Венкатешвары с целью даровать спасение всему человечеству в эпоху Кали-югу.

Без грома фанфар, потихоньку-полегоньку Гхош сделался хирургом Миссии. Хоть он был и не Томас Стоун, однако провел несколько операций по поводу острого живота (внутри у него все сжималось, будто в первый раз), прооперировал колотые раны и серьезные переломы и даже вставил в грудь трубку в связи с травмой. В родовой палате у женщины с зобом внезапно развилась непроходимость дыхательных путей. Примчался Гхош и произвел разрез шеи, раскрыв перстнещитовидную мембрану; звук поступающего внутрь воздуха был ему наградой, равно как зрелище губ пациентки, из синих сделавшихся розовыми. На той же неделе, когда освещение в Третьей операционной было получше, он произвел свою первую тиреоидектомию*. Операционная сделалась для него местом привычным, хоть и таящим в себе множество опасностей. Все для него было в новинку.

* Хирургическая операция: удаление щитовидной железы.

В день, когда близнецам исполнилось два месяца, в разгар операции явилась стажерка и объявила, что он срочно нужен Хеме. Гхош ампутировал ногу, из-за хронической инфекции превратившуюся в мокнущую культю. Мальчишка прибыл из деревни под Аксумом, поездка заняла несколько дней, и умолил Гхоша отрезать ни на что не годную конечность.

– Она уже три года как такая, – говорил он, указывая на чудовищно распухшую ногу, что была раза в четыре больше другой ноги; пальцы еле просматривались.

Мадурская стопа проявляется всюду, где люди привыкли ходить босиком, но сомнительная честь названия болезни принадлежит городу Мадурай, что неподалеку от Мадраса. Нехорошо, если болезнь называется по географическому признаку. Начало мадурской стопе положено, когда работающий в поле наступает на гвоздь или колючку. Выбора нет, ходить надо, и в ноге поселяется грибок, постепенно поражая мышцы, сухожилия и кость. Спасти человека может только ампутация.

Вспомнив старую поговорку хирургов: «Даже идиот сможет ампутировать ногу...» – Гхош решил действовать. Сомнение внушало

только окончание поговорки: «...но чтобы спасти ее, нужен опытный хирург». Правда, эту ногу было уже не спасти.

Мальчишка был первым и единственным пациентом Гхоша, который на операционном столе принялся напевать и хлопать в ладоши, в восторге от того, что предстоит. Гхош надрезал кожу над лодыжкой, оставив сзади лоскут, чтобы прикрыть культю, перевязал кровеносные сосуды, отпилил кость и услышал, как отрезанная нога падает в ведро. Именно в эту секунду появилась стажерка.

Гхош закрыл рану влажной стерильной салфеткой и помчался домой, на ходу сдирая маску и шапочку. Его одолевали самые дурные предчувствия.

Задышавшись, он ворвался в спальню Хемы:

– Что стряслось?

Хема, в шелковом сари, рассыпала по полу рис, зернышками выкладывая имена мальчиков на санскрите. Шива был у нее на руках, Розина держала Мэриона. Присутствовало несколько женщин-индусок, они неодобрительно посмотрели на Гхоша.

– Почта пришла, – проговорила Хема. – Мы забыли провести нама-каранум, Гхош, обряд присвоения имен. Его следует проводить на одиннадцатый день, но можно и на шестнадцатый. Мы этого не сделали. Но мама пишет, что если я совершу церемонию, как только получу ее письмо авиапочтой, все будет хорошо.

– И ты заставила меня бросить операцию ради этого?! – Гхош был в ярости и чуть было не заорал, как это она может верить в подобное ведьмовство.

– Понимаешь, – смущенно прошептала Хема, – отец должен сказать на ушко ребенку имя. Если не хочешь, я позову кого-нибудь еще.

Это слово – «отец» – изменило все. Гхош необыкновенно взволновался, быстро прошептал на ухо малышам «Мэрион» и «Шива», поцеловал Хему в щеку, прежде чем она успела опомниться, изрек: «Пока, мамочка», чем скандализировал гостей, и помчался назад в операционную накладывать на рану лоскут.

Близнецов было не так легко различить, помогал браслет, который Хема оставила на ноге Шивы как талисман. Шива был тихий и смирный, а вот Мэрион, когда его брал на руки Гхош, сосредоточенно хмурил брови, как бы пытаясь сопоставить чужака с издаваемыми им забавными звуками. Шива был чуть поменьше, на голове у него остались следы от инструментов Стоуна, и шум он поднимал, только когда слышал плач Мэриона, будто в знак солидарности.

К двенадцатой неделе близнецы набрали вес, кричали энергично, двигались живо, сжимали кулачки на груди, то и дело тянули руки и смотрели на них с непомерным изумлением.

Если по поведению одного брата и нельзя было сказать, что он знает о существовании другого, то, по мнению Хемы, только потому, что они считали друг друга одним существом. Кормят их из бутылочки, один сидит на руках у Розины, другой – у Хемы или Гхоша, и, пока брат рядом, все спокойно, но стоит одного унести в соседнюю комнату, как оба поднимают шум.

В возрасте пяти месяцев стали пробиваться черные кудрявые волосенки. От Стоуна близнецы унаследовали близко посаженные глаза, казавшиеся необычайно бдительными, дети взирали на мир, будто клиницисты. Радужки, в зависимости от освещения, меняли цвет от светло-карего до темно-синего. Высокий круглый лоб и четко очерченные губы перешли к ним от сестры Мэри. «Они симпатичнее, чем дети Глаксо, – думала Хема, – и их двое. И они мои».

Оказалось, Гхош умеет замечательно укачивать детей, что привело в восторг его самого. Он подхватывал по младенцу на руку, головы лежат у него на плечах, а ноги упираются в живот, и нарезал круги по гостиной. За незнанием колыбельных он пел им неприличные песенки и читал таковые же стихи. Как-то вечером матушка отозвала его в сторону:

– Твои лимерики узурпируют мои молитвы.

Гхош представил себе, как монахиня читает, стоя на коленях:

У богатого дяди из Дели

Яйца взяли и заржавели,

Чуть подул ветерок,

Раздавалось: щелк-щелк

И из задницы искры летели.

– Прошу прощения, матушка.

– Вряд ли им пойдет на пользу выслушивать такие пакости в столь юном возрасте.

Гхош уже не представлял себе, как жил без близнецов. Когда они сидели у него на руках, улыбались, прижимались мокрыми подбородками, его сердце переполняла гордость. Мэрион и Шива, какие замечательные имена! Когда мамиты забирали у него спящих малышей, ему ужасно не хотелось их отдавать.

С тех пор как он переехал на диванчик Хемы, малейшие боли при мочеиспускании исчезли.

Хема отчасти вернулась к старой манере. Временами и его тянуло на

былую пикировку. Неужели он добивался ее все эти годы только потому, что цель была недостижима? А если бы она согласилась выйти за него, как только он прибыл в Эфиопию? Сохранилась бы его страсть? У каждого должен быть свой пунктик, его навязчивой идеей целых девять лет была она, честь ей за это и хвала.

Частенько по вечерам, уложив мальчиков, он был вынужден возвращаться в больницу, чтобы закончить дела. С той первой ночи на диване он капли пива в рот не брал. На узком одре он спал спокойно и просыпался отдохнувшим.

Проживая с Хемой под одной крышей, Гхош обнаружил, что она жует кат. Так ей было легче высидеть у постели Шивы. Ее закладка в «Миддлмарче» вскоре опередила его заложенную страницу, и за Эмиля Золя она взялась прежде него. Кат она от него прятала и трогательно смутилась, когда Гхош упомянул об этом.

– Понятия не имею, о чем это ты.

Больше он этой темы не касался, хотя понимал, когда она вязала до поздней ночи или не ложилась спать, дожидаясь его, и потом болтала на манер Розины, что без ката не обошлось. Листья ей поставлял Адид, очаровательный торговец, чьим обществом они оба наслаждались.

Для Гхоша наркотиком была его близость к Хеме. Он касался ее тела, когда укладывал спящих малышей в колыбель, заменившую инкубатор, и радовался, что она за это не сердится. Он пожирал ее глазами, попивая по утрам кофе, пока она составляла список покупок или обсуждала с Алмаз планы на день. Однажды она поймала на себе его взгляд.

– Чего? Я ужасно выгляжу по утрам. Все дело в этом?

– Нет. Как раз наоборот.

Она вспыхнула.

– Замолчи.

Но щеки у нее так и остались красными. Как-то вечером за ужином он сказал, обращаясь больше к самому себе, чем к ней:

– Интересно, что же такое случилось с Томасом Стоуном?

Хема резко отодвинулась вместе со стулом и встала:

– Прошу тебя, никогда больше не упоминай имени этого человека в моем доме.

В глазах у нее стояли слезы. И страх. Гхош подошел к ней. Он мог вынести ее гнев, но видеть ее терзания было для него невыносимо. Он взял ее за руки, привлек к себе, она поупиралась и сдалась, а он бормотал:

– Все хорошо. Я не хотел тебя расстроить. Все хорошо. Я бы все отдал, лишь бы обнять тебя вот так.

– Что, если он нагрянет и заявит свои права? Ты слышал, что сказал астролог? – Она вся дрожала. – Ты думал об этом?

– Он не нагрянет, – проговорил Гхош, но в его голосе ей послышалась неуверенность.

Она направилась в спальню:

– Через мой труп, слышишь? Пусть только попробует! Через мой труп!

Одной очень холодной ночью (близнецам исполнилось девять месяцев), когда мамиты уже спали в своих постелях, а матушка-распорядительница собиралась отойти ко сну, все изменилось. Причин, по которым Гхошу и дальше полагалось спать на диванчике, уже не существовало, но ни он, ни Хема и не думали заикаться о том, что ему пора съезжать.

Гхош явился около полуночи. Хема сидела за обеденным столом. Он подошел к ней поближе, заглянул в лицо – пусть увидит, что глаза у него ясные и что спиртным не пахнет. Так он ее дразнил, если возвращался поздно. Она отпихнула его.

Он зашел в спальню, полюбовался на близнецов и произнес:

– Ладаном пахнет.

Гхош вечно брюзжал, что малышам ни к чему дышать дымом.

– Это галлюцинация. Может быть, боги пытаются к тебе пробиться.

И она принялась накрывать на стол и притворилась, что всецело поглощена этим занятием.

– Розина приготовила для тебя макароны, – она сняла крышку с кастрюльки, – а Алмаз – куриное карри. Закармливают тебя наперебой. Бог знает почему.

Гхош заткнул за воротничок салфетку.

– Ты называешь меня безбожником? Почитай свои Веды или Питу. Помнишь, к мудрецу Рамакришне пришел человек и пожаловался: «Учитель, я не знаю, как полюбить Бога». А мудрец спросил, любит ли он кого-нибудь. «Да, я люблю моего маленького сынишку». А Рамакришна изрек: «Вот твоя любовь и служба Господу. В твоей любви и службе ребенку».

– Так где же вы шлетесь в такой час, благочестивый вы наш?

– Проводил кесарево сечение. Пятнадцать минут – и готово.

После рождения близнецов Хема сделала три кесаревых сечения: одно, чтобы продемонстрировать Гхошу, одно в качестве его ассистентки и еще одно в качестве наблюдательницы. Теперь ни одной женщине не дадут в Миссии от ворот поворот из-за кесарева, ни одна не умрет.

– У ребенка пуповина обмоталась вокруг шеи, но все обошлось.

Мамаша уже просит вареное яйцо.

Хема с наслаждением наблюдала, как Гхош ест. Он был жаден до всего на свете, вокруг него крутился целый ураган идей и проектов, они уже стопками громоздились вокруг диванчика.

Она отвлеклась и пропустила мимо ушей его слова.

– Я сказал, я бы сейчас проходил интернатуру в госпитале округа Кук, если бы уехал. Ведь знаешь, я уже был готов покинуть Эфиопию.

– Почему? Из-за исчезновения Стоуна?

– Нет, женщина. До того. До рождения малышей и смерти сестры Мэри. Понимаешь, я был уверен, что ты вернешься из Индии замужней женщиной.

Для Хемы это прозвучало неким напоминанием о давно прошедших временах невинности, до того неожиданным и абсурдным, что она расхохоталась, а замешательство Гхоша рассмешило ее еще больше. Булавка, которой был сколот верх ее блузы, расстегнулась и упала на тарелку. Хема согнулась пополам и вскочила со стула, прикрываясь руками.

Со дня ее возвращения из Индии и несчастья с сестрой Мэри посмеяться удавалось нечасто. Отдышавшись, она промолвила:

– Вот что мне в тебе нравится, Гхош. Я и забыла. Ты смешишь меня как никто на свете.

Гхош перестал жевать и отодвинул тарелку. Вид у него был донельзя расстроенный, она никак не могла понять почему. Он медленно и тщательно вытер губы салфеткой.

– Что тебя так рассмешило? Мое давнее желание жениться на тебе? – Голос его дрожал.

Хема отвела глаза. Она никогда не рассказывала ему, что творилось у нее на душе во время мнимой авиакатастрофы и что последняя ее мысль была тогда о нем. Улыбка искривила ей губы и пропала. Взгляд уперся в зловещую маску над дверью спальни.

Гхош уронил голову на руки. Бодрость сменилась отчаянием, Хема нажала на болевую точку. Получается, достаточно ей засмеяться, как все летит к чертям. Опять повторяется история, приключившаяся в день похорон сестры Мэри, невозможно понять, как она к нему относится на самом деле.

– Пора мне перебираться обратно к себе, – пробормотал Гхош.

– Нет! – выкрикнула Хема с такой энергией, что они оба испугались.

Она пододвинула свой стул поближе, взяла его за руки, посмотрела внимательно на странный профиль своего однокурсника, своего многолетнего друга, такого некрасивого и такого прекрасного, чья судьба

так замысловато переплелась с ее жизнью. Кажется, он всерьез задумал съехать. На нее и не посмотрит.

Она поцеловала ему руку (он не давал), придвинулась еще ближе, прижала его голову к груди. Никогда еще ее грудь (проклятая булавка!) не была так обнажена перед мужчиной. Вот так же они жались друг к дружке в ту ночь, когда у Шивы остановилось дыхание.

Немного погодя их лица сблизилась, и прежде, чем она успела подумать, что делает и как до этого дошло, она целовала его, обретая наслаждение в прикосновении его губ. Ей стало ужасно стыдно, до чего эгоистично она себя с ним вела все эти годы, как помыкала им. Право же, она не нарочно. И тем не менее только сейчас она поняла, как была к нему несправедлива.

Теперь настала ее очередь вздыхать. Она провела его во вторую спальню, используемую как кладовая и как помещение для утюжки вещей. Давно надо было отдать эту комнату ему, а не укладывать на диванчик. Они разделись в темноте, смахнули с кровати гору пеленок, полотенец, сари и прочего барахла и снова обнялись.

– Хема, а вдруг ты забеременеешь? – спросил он шепотом.

– Ты не понимаешь, – ответила она. – Мне тридцать. Наверное, уже слишком поздно.

К его стыду, сейчас, когда его руки мяти великолепные полушария, о которых он столько грезил, когда она была вся его – от мясистого подбородка до ямочек над ягодицами, – его жезл отнюдь не приобрел упругости бамбука. Хема все поняла и промолчала, что только усугубило горестное положение. Гхош не знал, что Хема ругает себя за излишнюю нетерпеливость, за то, что не так его поняла. Вдали закашлялась гиена, словно насмехаясь и над мужчиной, и над женщиной.

Хема лежала совершенно неподвижно. Можно было подумать, что стоит ей пошевелиться, и грянет взрыв. В какой-то момент она уснула и проснулась с ощущением, что ее вытаскивают из-под воды, чтобы вернуть к жизни. Ее левая грудь была у Гхоша во рту, он властвовал над Хемой, направлял ее движения, и она подумала, что он не терял времени даром, даже когда внешне бездействовал.

Стоило ей посмотреть на его голову и ощутить его губы там, где доселе не довелось побывать ни одному мужчине, как кровь прихлынула к щекам, к груди, к тазу. Одна его рука сжимала ее грудь, вторая ласкала бедра. Она почувствовала, что ее руки нежно отвечают, обхватывают его голову, гладят по спине, просят, чтобы он ее проглотил. Нечто, не вызывающее сомнений и сулящее наслаждение, коснулось ее бедер.

В это мгновение, отвечая на его животную страсть, она поняла, что навсегда потеряла его как приятеля, как живую игрушку. Он больше не был тем Гхошем, с которым она забавлялась, тем Гхошем, который представлял собой не более чем реакцию на ее собственное существование. Ей было стыдно, что она не видела его в таком качестве прежде, не понимала природы этого наслаждения и тем самым отрицала как себя самое, так и его. Достаточно было привлечь его ласковым словом – его, однокурсника, коллегу, чужака, друга и любовника. У нее сжималось горло при мысли о том, сколько вечеров они растранижирили попусту на шутки и прибаутки (причем это она в основном насмешничала и отпускала колкости).

Поутру она проснулась, покормила малышей, поменяла пеленки и, когда дети уснули, вернулась к Гхошу. Они начали сызнова, и было словно в первый раз: неповторимое, невообразимое наслаждение, стук спинки кровати о стену (стук извещал об их страсти Алмаз и Розину, появившихся в кухне, но Хеме было на это наплевать). Потом они снова уснули и только при звуках коровьего колокольчика и мычания теленка поднялись.

Хема уже выходила из спальни, когда Гхош остановил ее:

– Выйти за меня замуж – это для тебя по-прежнему шутка?

– Не поняла?

– Хема, ты пойдешь за меня?

Он не ожидал, что она немедленно ответит, и удивлялся потом, когда это она успела подготовиться.

– Пойду, но только на один год.

– Что?

– Рассуди сам. Нас свели дети. Не хочу возлагать на тебя какие-то обязанности. Я выйду за тебя сроком на год. Потом разбежимся.

– Но это же абсурд, – фыркнул Гхош.

– Мы можем продлить брак еще на один год. А можем и не продлевать.

– Я знаю, чего хочу, Хема. Чтобы наш брак был заключен навсегда. На веки вечные. Я заранее знаю, что буду наш брак продлевать.

– Ты-то знаешь, мой милый. А я? У тебя есть сегодня плановые операции, так? Передай матушке, что я снова берусь за гистерэктомию и все такое прочее. А тебе настал срок освоить и другие гинекологические операции, не только кесаревы сечения.

Выходя, она глянула на него через плечо. Ее робкая улыбка, беспокойные глаза, поднятые брови, крутой изгиб шеи, казалось, принадлежали танцовщице, привыкшей, чтобы ее понимали без слов. Гхош смолк. Целый год? Тут до ночи бы дожить. Каких-то двенадцать часов – а будто целая вечность.

Часть третья

Я ни в коем случае не буду делать сечения
у страдающих каменной болезнью,
предоставив это людям,
занимающимся этим делом...

Из клятвы Гиппократ

В плоде любви нет косточек

У тех, чья любовь взаимна.

Тируваллувар, из «Тирукурала»*

* Книга притч и афоризмов «Тирукурал» тамильского поэта
Тируваллувара считается у тамилы священным текстом.

Глава первая. Тицита

Помню ранние утренние часы, мы на руках у Гхоша, он танцевальным шагом проскальзывает на кухню. Раз, два... Раздватри. Мы крутимся, возносимся к потолку, опускаемся. Долгое время я буду думать, что танцы – его профессия.

Мы огибаем печь, подплываем к задней двери, Гхош изящным движением отодвигает засов.

Появляются Алмаз и Розина, быстро закрывают за собой дверь, чтобы не напустить холода и не впустить Кучулу, которая весело машет хвостом в ожидании завтрака. Обе мамиты укутаны словно мумии, по самые глаза. Они слоями разматывают с себя одежду, пахнет травой, свежевскопанной землей, бербере и угольным дымом.

Я заранее заливаюсь смехом, втягиваю голову в плечи, сейчас ледяные пальцы Розины коснутся моей щеки. Когда она проделала это в первый раз, я, вместо того чтобы заплакать, с перепугу засмеялся, и это положило начало каждодневному ритуалу, который я со сладким ужасом предвкушаю.

После завтрака Хема и Гхош целуют Шиву и меня на прощанье. Слезы. Отчаяние. Попытка удержать их. Но они все равно уходят, им пора в больницу.

Розина укладывает нас в двухместную коляску. Я тянусь к своей нянюшке и прошусь на ручки, мне нравится взирать на мир с высоты взрослого. Розина сдается. А Шива доволен, куда бы его ни положили, главное, чтобы ножной браслет оставался на месте.

Лоб Розины – шоколадный шар, волосы на голове уложены в ровные косички, а ниже свободно свисают до плеч. Укачивая меня, она движется куда энергичнее Гхоша. Ее платье в складках так и мелькает перед глазами, выписывая кренделя, розовые пластиковые туфли то появляются, то исчезнут.

Розина трещит не умолкая. Мы помалкиваем, безъязыкие, полные мыслей и впечатлений, которых не в силах выразить. Алмаз и Гебре смеются над Розининым амхарским, над гортанными, харкающими звуками, которые она издает, но ей все равно. Порой она переходит на итальянский, особенно когда старается убедить собеседника, переспорить. Италиния дается ей легко, и, странное дело, ее все понимают, хотя никто на этом языке не говорит. Такова сама природа итальянского. Разговаривает сама с собой или поет она на своем эритрейском – тигриния, – и тогда речь ее течет плавно и свободно.

Алмаз, которая когда-то была служанкой в доме у Гхоша, теперь кухарка в его совместных с Хемой владениях. Она стоит перед плитой непоколебимая, словно баобаб, великанша в сравнении с Розиной, и не издает ни звука, только сопит да бросит иногда: «Вунут!» (Да ты что!) – чтобы Розина или Гебре не умолкали, будто им для этого нужно поощрение. Кожа у Алмаз светлее, чем у Розины, и ее волосы заключены в прозрачный оранжевый шаш, образующий нечто вроде фригийского шлема. Если у Розины зубы так и сверкают, Алмаз своих почти никогда не показывает.

К середине утра, когда мы с Кучулу в качестве телохранителя возвращаемся из нашей первой экскурсии по маршруту Бунгалo-Приемный покой-Женское отделение- Главные ворота, кухня полна жизни. Пар клубится над кастрюльками, звякают крышки, свистит скороварка, ловкие руки Алмаз режут лук, помидоры и кинзу, рядом с крошечными кучками имбиря и чеснока громоздятся терриконы овощей. Под рукой у нее целая батарея специй: листья карри, куркума, кориандр, гвоздика, корица, семена горчицы, молотый перец, все в коробочках из нержавеющей стали, вставленных в коробку побольше. Безумный алхимик, она бросает в ступку щепотку одного, пригоршню другого, орудует пестиком, и чмокающее чок-чок вскоре сменяется скрежетом камня о камень.

Семена горчицы лопаются в горячем растительном масле. Алмаз придерживает над сковородкой крышку, чтобы они не разлетались, слышен стук, словно градины упали на жестяную крышу, добавляет семена кумина, они шипят и трещат, сухой благоуханный дым перебивает запах горчицы. Только потом в дело идет лук, целые пригоршни лука, и первобытный огонь пылает, и жизнь кипит.

Розина резким движением передает меня Алмаз и выбегает через черный вход, ее прямые ноги сходятся и расходятся, точно половинки ножниц. Мы еще не в курсе, но Розина вынашивает семя революции. Она беременна девочкой по имени Генет. Мы – Шива, Генет и я – вместе с самого начала, только она пока *in utero**, а мы с Шивой уже пытаемся столкнуться с окружающим миром.

* В утробе (лат.).

Розина передает меня Алмаз совершенно для меня неожиданно.

Я принимаюсь хныкать, булькающие кастрюльки в опасной близости.

Алмаз откладывает поварешку и сажает меня себе на бедро.

Запустив руку в блузу, она с кряхтением достает грудь: – На-ка вот. – И передает мне грудь на сохранение. Я получил за свою жизнь немало подарков, но это первый, который я запомнил. Этот дар всякий раз застаёт

меня врасплох. Когда его у меня забирают, образ стирается из памяти. А сейчас он оживает, высвобождается из одежды, вручается как медаль, которой я не заслужил. Алмаз, не тратя лишних слов, вновь берется за стряпню, будто поварешка такая же ее неотъемлемая принадлежность, что и грудь.

Шива в коляске слюнявит деревянную машинку. Если надо, он готов с ней расстаться, не то что с браслетом. При виде такого зрелища, как грудь, Шива роняет машинку на пол. Пусть грудь в моем полном распоряжении, пусть я мну ее и тискаю, все равно я его порученец, стенограф.

Восхищенный Шива отдает приказ без слов: Передай мне. Когда он видит, что это невозможно, следует новое распоряжение: Открой и посмотри, что там внутри. И это указание остается невыполненным.

Возьми в рот, велит Шива, ибо это для него главный способ познания мира. Я отвергаю этот замысел как несостоятельный.

Я пытаюсь приподнять грудь, тщательно осмотреть, она наполняет мне ладони и стекает между пальцев. Я провожу пальцами по склонам, вздымающимся к темному соску, через который грудь дышит и глядит на белый свет. Она опадает к моим коленям (а может, к коленям Алмаз, я не уверен), дрожит, будто желе, пар оседает на ее покровах, капельки воды скрадывают ее сияние. От нее пахнет имбирем и кумином, как и от Алмаз. Через много лет, когда я впервые поцелую женскую грудь, я буду ненасытен.

Вспышка света и холодный сквозняк возвещают о возвращении Розины. Я снова у нее на руках, меня отнимают от груди, которая таинственно исчезает, проглоченная блузой Алмаз.

Поздним утром, когда солнце давно прогнало холод и туман, мы играем на лужайке, пока щеки не покраснеют. Розина кормит нас. Голод и дремота сливаются воедино, как рис и карри, йогурт и бананы у нас в животах. Желания наши в эти годы просты, мир совершенен.

После обеда мы с Шивой засыпаем, обхватив друг друга руками, дыша друг другу в лицо, соприкасаясь головами. Сквозь сон я слышу песню, но ее поет не Розина. Это «Тицита», и напевает ее Алмаз, а я держусь за ее грудь.

Эта песня будет со мной все годы, что я проведу в Эфиопии. Когда молодым человеком я уеду из Аддис-Абебы, я возьму с собой кассету с записью «Тициты» и «Акваланга». Перед лицом отъезда или надвигающейся смерти волей-неволей определяешься, что тебе нравится на самом деле. В годы изгнания, когда кассета изнашивалась, мне на жизненном пути непременно попадались эфиопы. Мое приветствие на

родном языке послужит искоркой, связующим звеном, выстроит целую сеть: телефонный номер Войзеро Менен, которая за скромную плату приготовит инжеру и вот и подаст тебе в своем доме, надо только позвонить накануне; Ато Гирма, таксист, чей двоюродный брат работает в «Эфиопских Авиалиниях» и привозит кибе – эфиопское сливочное масло, ибо без участия коров с тучных высокогорных пастбищ твой вот будет отдавать Америкой. Если на праздник Мескель тебе нужен баран, в Бруклине обратись к Йоханнесу, а в Бостоне позвони в «Царицу Савскую». За годы, проведенные на чужбине в Америке, я увижу, насколько эфиопы незаметны для других и до чего бросаются в глаза мне. Через них я легко раздобуду новые записи «Тициты».

Глава вторая. Грехи отца

Чтобы тебя слышали в море шума, затопившем наш дом, надо было нырнуть в него с головой и пробиться вперед всех. Голос Гхоша звучал ревуном, разносился по всем комнатам и плавно переходил в смех. Хема щебетала, словно певчая птица, но если ее разозлить, то трели делались острыми, как ятаган у Саладина, который, как утверждала моя книжка «Ричард Львиное Сердце и крестовые походы», разрезал на лету шелковый платок. Алмаз, наша кухарка, внешне хранила молчание, но губы у нее непрерывно шевелились, уж не знаю, молилась она или напевала. Для Розины тишина была личным оскорблением, она разговаривала с пустыми комнатами и со шкафами. Генет, шести лет от роду, пошла в мать, певучим голоском рассказывала самой себе истории о самой себе, создавая целую мифологию.

Если бы Шива и Мэрион появились на свет обычным путем (что было невозможно, ибо мы срослись головами), первым, старшим, оказался бы Шива. Но кесарево сечение изменило естественный ход событий, это мне было суждено сделать первый вдох, значит, я оказался старше на несколько секунд. А потому за связь с внешним миром тоже отвечал я.

На Пьянце или на запруженном повозками, грузовиками и людьми рынке Аддис-Абебы Хема ни разу не произнесла: «Эта голубая рубашка так идет Шиве» или «Вот сандалии в самый раз для Мэриона». При появлении в лавке доктора Гхоша и доктора Хемы, несмотря на протесты, вытаскивались стулья, с них смахивалась пыль, мальчик посылался за теплой фантой или кока-колой и печеньем, нас обмеряли сантиметром, гладили шершавой ладонью по щекам, собиралась толпа зевак, будто Шива-Мэрион был львом из клетки. Кончалось все тем, что Хема и Гхош покупали по две единицы одного и того же, будь то одежда, биты для крикета, авторучки или велосипеды. Когда люди при виде нас восторгались: «Посмотри, какие миленькие!» – могло ли им прийти в голову, что наши одинаковые наряды мы выбрали сами? Признаюсь, в один прекрасный день я попробовал нарядиться по-своему. Мне стало не по себе уже у зеркала. Ну словно у меня ширинка расстегнута – что-то не так.

Мы – «Близнецы» – прославились не только тем, что одинаково одевались, но и тем, что бегали с бешеной скоростью, но всегда в ногу, странное четвероногое, перемещавшееся из пункта А в пункт В по единственному известному ему маршруту. Когда Шива-Мэрион был

принужден идти спокойно, мы всегда обнимали друг друга за плечи, словно участники «бега на трех ногах»*, хотя и понятия не имели, что такие состязания существуют. Садились мы всегда на один стул и даже туалетом пользовались на пару, направляя в фаянсовое вместилище двойную струю. Словом, часть ответственности за то, что люди воспринимали нас как единое существо, лежала на нас самих.

* Вид соревнований по бегу для детей; соревнующиеся бегут парами, причем правая нога одного участника привязана к левой ноге другого.

– Покличь Близнецов, время обедать.

– Мальчики, а купаться не пора?

– Шива-Мэрион, что хотите на ужин сегодня, спагетти или инжеру и вот?

«Ты» или «твой» относилось к нам обоим. Все равно, кто из нас отвечал на вопрос, ответ давался за обоих.

Наверное, взрослые считали, что Шива, мой прилежный, трудолюбивый брат, попросту скуп на слова. Хотя если считать звон колокольчиков на его браслете за разговор, он болтал без умолку и стихал, только когда перед школой натягивал на браслет носок. Наверное, взрослые полагали, что я не даю Шиве возможности говорить (что было правдой), но никто не просил меня заткнуться. Во всяком случае, в шуме и гаме нашего жилища, где дважды в неделю собиралась компания для игры в бридж, на «Грюндиге» вертелась 78-оборотная пластинка и от топанья Гхоша под румбу и ча-ча-ча звенели тарелки, прошло целых шесть лет, прежде чем взрослые заметили, что Шива перестал говорить.

В младенчестве Шива считался более нежным, все из-за черепа, который, пока не явилась Хема, пытался сокрушить Стоун. Но потом Шива благополучно миновал возрастные вехи, стал держать головку в одно время со мной, встал на четвереньки и сказал «Амма» и «Гхош» в положенные сроки, и мы оба начали ходить одиннадцати месяцев от роду. По словам Хемы, за несколько дней до того, как сделали первые шаги, мы забыли, как надо ходить, поскольку открыли для себя прелести бега. Шива говорил сколько нужно до пятого года жизни, когда принялся потихоньку откладывать слова про запас.

Сразу объясню, что Шива смеялся, плакал и вообще вел себя так, будто вот-вот что-то скажет, и тут в дело вступал я. Он охотно распевал ла-ла-ла вместе со мной в ванне, но, когда дело доходило до слов, они становились ему не нужны. Он бегло читал – только не вслух. Он моментально складывал и вычитал большие числа и записывал результат, пока я загибал пальцы. Он постоянно писал записочки, они устилали его

путь, будто навоз. Он прекрасно рисовал, правда, на чем попало: на картонных коробках, на бумажных пакетах. На этом этапе он обожал рисовать Веронику*. В доме у нас был один выпуск «Арчи Комикс» – я купил его в книжной лавке Пападакиса; на странице шестнадцатой были три сюжета с Вероникой и Бетти. Шива смог полностью воспроизвести эту страницу с пузырями высказываний, надписями и диагональной штриховкой. У него в голове будто имелся фотоаппарат, и в любое время он мог перевести зафиксированное изображение на бумагу, не забыв ни номер страницы, ни раздавленную муху. Я заметил, что он всегда выделяет линию груди Вероники, особенно в сравнении с Бетти. В оригинале обводы тоже присутствовали, но у Шивы линия был жирнее, темнее.

* «Бетти и Вероника» – комикс, рассказывающий о похождениях двух девушек, влюбленных в одного парня. И если Бетти – тихая, скромная мышка, то Вероника – соблазнительная секс-бомба.

Иногда он импровизировал и отходил от оригинала, изображая грудь в виде готовых к пуску ракет или реющих в воздухе воздушных шариков.

Генет и я прикрывали молчание Шивы. Я делал это неосознанно, если и болтал без меры, то как бы за двоих. Разумеется, у меня никаких проблем в общении с Шивой не возникало. Ранним утром звон колокольчика – чинь-динь – спрашивал: «Мэрион, ты проснулся?» Динь-чинь значило: «Пора вставать». Если он терся своей головой о мою, это обозначало: «Просыпайся, соня». Одному из нас достаточно было подумать о чем-то, чтобы другой уже бросился выполнять.

Приметила, что Шива перестал говорить, миссис Гарретти из школы. «Школа Лумиса для города и деревни» старалась угождать вкусам торговцев, дипломатов, военных советников, докторов, учителей, представителей Экономической комиссии ООН для Африки, Всемирной организации здравоохранения, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и особенно ОАЕ – Организации Африканского Единства. Император передал ОАЕ «Африка-Холл» – потрясающее здание, и благодаря этому хитрому ходу ОАЕ перенесла свою штаб-квартиру в Аддис-Абебу, что оживило всяческий бизнес, начиная с девушек из баров и кончая дилерами «Фиата», «Пежо» и «Мерседес-Бенц». Дети сотрудников ОАЕ могли посещать Лицей, что возвышался в самой тихой части Черчилль-авеню. Но посланцы франкоговорящих стран – Мали, Гвинеи, Камеруна, Берега Слоновой Кости, Сенегала, Маврикия и Мадагаскара – смотрели в будущее, и посему машины с табличками *Corps Diplomatiques* везли *les enfants* мимо Лицея к «Школе Лумиса для города и деревни». Для полноты картины упомяну еще о школе Св. Иосифа, где заправляли иезуиты, эти пехотинцы Христа,

которые, по словам матушки, веровали в Бога и в розги. Но у Св. Иосифа учились только мальчики, для Генет путь туда был заказан.

Почему же тогда нас не отправили в одну из государственных школ? Дело в том, что в таком учебном заведении мы бы оказались единственными неместными и угодили бы в немногочисленную группу учеников, у которых число имеющейся обуви превышало бы одну-единственную пару, а дома имелся водопровод и канализация. У Хемы и Гхоша не было выбора, кроме как отдать нас к Лумису, где преподавали британские экспаты.

У наших учителей за плечами была средняя школа, и неясно, где они раздобыли лицензию на право преподавания. Удивительно, но черная креповая мантия способна придать прощелье-кокни или разбитной цветочнице из Ковент-Гардена солидность оксфордского профессора. Акцент не играет в Африке никакой роли, главное, чтобы он был иностранный, ну и чтобы цвет кожи соответствовал.

Ритуал – вот бальзам на душу тех родителей, кто сомневался в качестве услуг, предоставляемых школой Лумиса за их деньги. День спортивных состязаний, школьная ярмарка, Рождество, школьные пьесы, ночь Гая Фокса*, день учредителей, церемония окончания школы – столько размноженных на ротаторе уведомлений мы приносили домой, что у Хемы голова кружилась. Кружки по интересам собирались по понедельникам, вторникам, средам, у каждого кружка были свои цвета, свои команды и свои руководители. В дни спортивных состязаний команды соревновались за кубок Лумиса. Каждый день начинался с общей молитвы, которую в присутствии мистера Лумиса мы возносили в актовом зале, затем зачитывался отрывок из Библии, один из учителей садился за фортепиано и пелся гимн из сборника.

* Вечер 5 ноября, когда по традиции отмечают раскрытие «Порохового заговора» сожжением пугала главы «Порохового заговора» Гая Фокса.

Как ни прискорбно, результаты сдачи экзаменов по программе средней школы первого уровня сложности у учеников школы Лумиса по сравнению с детьми из бесплатных государственных школ были ужасны. У индийских учителей, которых император взял в аренду в христианском штате Керала (откуда родом была сестра Мэри), имелись необходимые знания. Спросите у любого эфиопа, как звали его учителя математики или физики, – наверняка Курьен, Коши, Томас, Джордж, Варугезе, Нинан, Мэтьюз, Джейкоб, Джудас, Паулос, Чанди, Ипен, Патрос или Паулос. Эти учителя воспитывались в соответствии с ортодоксальным ритуалом, который ввел в Южной Индии сам святой Фома. Но на своем поприще они следовали

единственному ритуалу: наилучшим образом преподать своим исключительно способным к математике эфиопским ученикам умножение, периодическую таблицу и законы Ньютона.

Моя классная руководительница миссис Гарретти позвонила Хеме и Гхошу в конце того дня, когда я не пошел в школу из-за высокой температуры. Для нее мы были близнецами Стоун, темноволосыми светлоглазыми мальчиками, кто всегда одевался одинаково, весело пел, бегал, прыгал, хлопал в ладоши, болтал и рисовал. Без меня Шива точно так же пел, бегал, прыгал, хлопал в ладоши, но при этом не проронил ни слова.

Хема сначала не поверила, потом возложила вину на миссис Гарретти и в конце концов – на себя. Занятия танцами в клубе «Ювентус» были отменены, хотя Гхош уже почти освоил фокстрот, пластинки впервые за многие годы перестали вертеться, постоянные партнеры по бриджу перебрались в старое бунгало Гхоша, которое он использовал в качестве кабинета и где принимал частных пациентов.

В библиотеках Британского Совета и Службы информации США Хема взяла книги Киплинга, Раскина, К. С. Льюиса, Эдгара Аллана По, Р. К. Нарайана, и они с Гхошем принялись по очереди читать нам по вечерам, полагая, что большая литература пробудит в Шиве желание говорить. В до-телевизионную эпоху это было развлечение, за исключением К. С. Льюиса, чьи волшебные буфеты меня не впечатлили, и Раскина, которого ни Хема, ни Гхош не поняли и не могли долго читать, хотя настойчиво к нему возвращались в надежде, что Шива, подобно мне, возьмет да и крикнет: «Хватит!» Мы уже спали, а они не умолкали, Хема считала, что подсознание всегда настороже. Если после рождения они тревожились, выживет ли Шива, то теперь опасались отдаленных осложнений, вызванных древними абортивными инструментами. Они шли на все, лишь бы Шива заговорил.

Но он упорно молчал.

Однажды (недавно нам исполнилось восемь) возвращаемся мы домой из школы, а в гостиной школьная доска, и Хема, сверкая глазами, стоит перед ней с мелом наизготовку, и по пособию по каллиграфии Бикхема лежит на наших местах. На каждой книжке сверкает новая авторучка «Пеликан», мечта любого школьника, и новинка – сменные стержни – рядом.

Придет время, когда я буду рад, что я – хирург с хорошим почерком. Мои записи в медицинских картах намекают на таковую же сноровку во владении ножом (хотя никакого правила тут нет, каракули вовсе не

свидетельствуют о несостоятельности хирурга).

Шива уже вертел в руках свой «Пеликан». Генет помалкивала. В чистописании она не могла похвастаться достижениями.

Я застыл на месте. Хемой двигало чувство вины, а оно редко бывает хорошим советчиком. Кроме того, я собирался устроить на насыпи за домом смотр своим игрушкам и даже специально расчистил для этого участок. Не вовремя все это.

– А можно мы лучше поиграем во дворе? – спросил я. – Мне не хочется заниматься ничем таким.

Хема поджала губы. Ее, казалось, обидела не моя просьба, а мое упрямство. Подсознательно она и меня винила за то, что сделалось с Шивой. И я, и даже Генет за завесой своей болтовни скрывали молчание Шивы.

– Говори за себя, Мэрион, – сказала она холодно.

– Я и говорю. Почему нам, ну мне то есть, нельзя пойти поиграть?

Шива уже вставил в авторучку стержень.

– Почему? Я тебе скажу. Потому что твоя школа – это одна большая игра. Мне надо поглядеть, как ты на самом деле учишься. Садись, Мэрион!

Генет тихонько села.

– Нет, – упорствовал я, – это нечестно. И потом, Шиве это не поможет.

– Мэрион, пока я не надрала тебе уши...

– ОН БУДЕТ ГОВОРИТЬ, КОГДА ЗАХОЧЕТ САМ! -завопил я.

И выбежал из дома. Сворачиваю за угол, за другой и налетаю прямо на Земуя. Мне стукнуло в голову, что военного нарочно прислала Хема, чтобы поймал меня.

– Братец, где война? – улыбаясь, спросил Земуй и поставил меня на землю. Его оливковая форма была с иголочки, ремень, кобура и ботинки сверкали. Он притопнул правой ногой и отдал мне честь.

Сержант Земуй был водителем полковника Мебрату. Когда-то Гхош своей операцией спас полковнику жизнь. Тогда Мебрату был под подозрением, но сейчас пребывал у императора в фаворе. Он занимал сразу две должности – старшего командира лейб-гвардии и офицера по связям с военными атташе из Британии, Индии, Бельгии и Америки. В обязанности полковника входило участие в многочисленных дипломатических приемах, не говоря уже о партиях в бридж у нас. Бедняга Земуй добирался до дома, жены и детей, только когда шеф уже изволил почивать. Полковник предоставил в распоряжение Земуя мотоцикл, чтобы дорога не отнимала у него много времени. А поскольку Земуй, живший неподалеку от Миссии, не хотел уродовать шины на гравийной дороге, он испросил у Гхоша

разрешение ставить мотоцикл под навес. Тут его драгоценное транспортное средство находилось в безопасности от стихии и вандалов.

– Вот кто мне был нужен, – обрадованно произнес Земуй. – Что стряслось, мой маленький господин?

– Ничего, – внезапно смутился я. Мои беды казались сущей чепухой перед тем, что повидал солдат, только что вернувшийся из Конго, где шла гражданская война. – Что ты так поздно за своим мотоциклом?

– Шеф был на приеме до четырех утра. Когда я привез его домой, уже солнце всходило. Он меня отпустил до вечера. Слушай-ка, давай сядем. Прочитай мне письмо еще раз. – Он достал из кармана красно-синий конверт авиапочты, вручил мне, снял свой тропический шлем и выудил из-за ремешка окурков сигареты.

– Земуй, – сказал я, – давай я прочитаю его попозже, ладно? За мной гонится Хема. Я ей надерзил. Поймает – язык отрежет.

– Дело серьезное. Что ж, попозже так попозже. – Земуй спрятал письмо, в его движениях сквозила досада. – Как ты думаешь, Дарвин уже получил мое письмо?

– Думаю, ответ вот-вот придет. Сегодня-завтра.

Он отдал мне честь и скрылся за домом.

Дарвин был канадский солдат, раненный в Катанге, я читал его письмо Земую так часто, что успел выучить наизусть. Он писал, что в Торонто холодно, идет снег и что ему грустно и он никак не может привыкнуть к деревянной ноге. (Позарятся ли женщины в Эйтопии на одноногого белого с лицом, покрытым шрамами? Ха-ха!) Дарвин небогат, но если его другу Земую что-нибудь надо, то Дарвин в лепешку расшибется, ибо Земуй спас ему жизнь. Ответ Земую я постарался перевести на английский. Интересно, как эти двое общались между собой в Конго? Земуй показал мне золотой кулон, крест святой Бригитты, висевший у него на шее. Дарвин втиснул его в руку Земую, когда они расставались на поле битвы.

При виде Розины, вышедшей навстречу Земую, я снова кинулся наутек. То, что я бежал один, без брата, оставляло ощущение пустоты вокруг.

Могила мамы в нимбе свежесрезанных лекарственных растений и с эпитафией «Покоится с миром в объятиях Иисуса» не притягивала меня. Но в автоклавной рядом с Третьей операционной я осязал ее присутствие, вдыхал запах, чувствовал сродство душ. Ноги сами понесли меня туда. Вот где я спрячусь, и никто меня не найдет.

Я не понимал, почему Шива не любит здесь бывать. Наверное, ему казалось, что, зайдя сюда, он как бы изменит Хеме, которая следила за

каждым его вздохом и привязала себя к нему бечевкой. Среди того немногого, что я делал в одиночку, был и поход в автоклавную.

Сев за парту, за которой сидела мама, ощущая запах кутикуры, исходящий от ее кардигана, я говорил с ней, а вернее, с самим собой, жаловался на несправедливость у нас дома, делился страхами. Больше всего я боялся, что в один прекрасный день Хема и Гхош исчезнут, как пропали мама и Стоун. Частенько я околачивался у главных ворот Миссии – вдруг Томас Стоун возьмет да и вернется? Солнечным утром, когда слышно, как в холодном воздухе позвякивают льдинки, Гебре распахнет дверь и войдет Томас Стоун. То, что я понятия не имел, как он выглядит, да и маму никогда не видел, никак не отражалось на моей фантазии. Он войдет, увидит меня, и его лицо озарится гордостью.

Эта вера была мне нужна.

Когда я вернулся, в нашем бунгало гремела музыка, Хема, Генет и Шива танцевали. На ногах у них звенели браслеты, не такие, что обычно носил Шива, а большие кожаные с четырьмя кругами колокольчиков. Обеденный стол был отодвинут к стене. Звучала индийская классическая музыка со стремительным ритмом таблы. Хема подоткнула свое сари так, что, казалось, на ней штаны. Пока меня не было, она обучала Шиву и Генет сложному набору шагов и па. Взяться за руки, разъединить руки, взмахнуть руками, поклониться, выстрелить из воображаемого лука, повертеть головой, шаркнуть ногой, притопнуть, звякнуть колокольчиками... Мне было больно это видеть.

Шива, Генет и я появились на свет почти что в унисон. (Генет на полшага отстала, но потом ничего, нагнала.) Начав ходить, мы, к смятению Хемы, обменивались бутылочками и пустышками. Страсть Шивы прыгать в ведра с водой, лужи и канавы внушала взрослым страх, как бы не потонул. Матушка приобрела переносной бассейн-лягушатник «Джолли Бэби». В нем наша троица всласть плескалась голышом и позировала для фото, которые однажды приведут нас в смущение. Наш первый цирк, наш первый дневной сеанс, наш первый покойник – эти вехи на жизненном пути мы прошли вместе. В нашем домике на дереве мы содрали корку со ссадин и на крови поклялись, что мы, три Мисскетера, будем держаться вместе и не примем в нашу компанию других.

И вот мы впервые разлучились. Я стоял и смотрел. Хема поманила меня. Она больше не сердилась. Лоб у нее лоснился от пота, пряди волос прилипли к щекам. Если она собиралась меня наказать, то по моему лицу поняла, что наказание уже состоялось.

Браслет на ноге придал Генет женственности, стало ясно, что передо

мной девочка, а не просто товарищ по проказам. Раньше я как-то не задумывался об этом. В танце она была такая милая. Даже если она пропускала такт, сбивалась с ритма, все равно – я не мог этого не заметить – ее движения были исполнены кошачьей грации.

Мой близнец все па выполнял правильно. Танец входил в его плоть стремительно. Сандалии его стучали по полу в унисон с Хемой, все ее наклоны и движения он повторял в такт. Он словно следовал за браслетом, за звоном колокольчиков.

Шива мог изобразить по памяти все что угодно. Он легко ворочал в уме крупными цифрами. А сейчас он обрел новый приводной механизм, новый язык для самовыражения, отличающийся от моего. Я не хотел присоединяться к нему, уверенный в собственной неуклюжести. Я завидовал, будто ребенок-инвалид, который и рад бы принять участие, да не может.

– Предатель, – тихонько шепнул я Шиве.

Но он меня услышал, ведь с углами у него было все в порядке, да он бы понял, что я сказал, даже если б я только подумал.

Мой брат-близнец, чья голова некогда срослась с моей, продолжал танцевать, отводя глаза.

Глава третья. Отдадим собакам должное

За неделю до того, как Шива снял свой браслет, мы все ехали на машине в город, когда мотоциклист под вой сирены велел нам обратиться с дороги.

– Хорошо, хорошо, – проворчал Гхош, сворачивая на обочину. – Его императорскому величеству Хайле Селассие Первому, Льву Иудеи, необходимо проехать.

Машины сгрудились на авеню Менелика Второго. На склоне холма виднелся «Африка-Холл», похожий на коробку с акварельными красками, поставленную на бок. Перед штаб-квартирой Организации Африканского Единства развевались флаги всех государств континента, а фасад украшали портреты Насера, Нкрумы, Оботе и Табмена*.

* Шмаль Абдель Насер (1918-1970) – второй президент Египта (1956-1970), деятель панарабского движения, Герой Советского Союза. Нкрума Кваме (1909-1972) – деятель африканского национально-освободительного движения, основатель и первый президент Республики Гана. Аполло Милтон Оботе Опетто (1924-2005) – угандийский политический и государственный деятель, первый премьер-министр Уганды, позже – президент Уганды. Уильям Ваканарат Шадрок Табмен (1895- 1971) – государственный и политический деятель Либерии. С 1944 года и до самой смерти в 1971 году – президент республики и одновременно, в соответствии с конституцией республики, глава правительства.

Императорский Юбилейный дворец возвышался по другую сторону улицы. У ворот стоял караул – двое лейб-гвардейцев на лошадях. Резиденция, окруженная пышными садами, казалась бледной копией Букингемского дворца. В ночи залитый светом дворец сверкал, будто слоновая кость. На Рождество одну из елей перед резиденцией наряжали.

Пешеходы, повозки, автомобили – все замерло. Босой мужчина с бельмами вместо глаз обнажил курчавую седую голову. Три женщины в трауре с зонтиками над головами тоже ждали. Лица их покрывал пот, ибо им пришлось карабкаться вверх по склону. Одна из женщин присела на бордюр и поправила пластиковую босоножку. Двое молодых людей стояли на обочине, явно недовольные тем, что их тормознули.

Сидящая женщина проговорила:

– Может, его величество подбросит нас, куда надо. На автобус-то денег нет. Мои ноги меня убивают.

Губы стоящего рядом старика шевельнулись, словно желая оплевать ее в наказание за святотатство.

Показался зеленый «фольксваген» с сиреной и динамиком на крыше. Никогда бы не подумал, что «фольксваген» может нестись с такой скоростью.

– Спорим, его величество едет на своем новом «линкольне», – сказал я Гхошу.

– Маловероятно.

Был 1963 год. Состоялось покушение на Кеннеди. Один наш одноклассник, чей отец был членом парламента, уверял, что «линкольн» когда-то принадлежал президенту, правда, застрелили его в другой машине. У императора автомобиль был крытый и привлекал не изгибами кузова, а чрезвычайной длиной. Ходила шутка, что императору для того, чтобы попасть из Старого дворца на вершине холма, где он занимался государственными делами, в Юбилейный дворец достаточно забраться на заднее сиденье и выйти через переднюю дверь.

Среди двадцати шести машин императорского гаража насчитывалось двадцать «роллс-ройсов». Один был рождественским подарком английской королевы. Я попробовал представить себе, какие еще дары лежали под рождественской елкой монарха.

Мимо проехал «лендровер» – лейб-гвардия, не полиция, – задний борт откинут, в руках у солдат автоматы. Послышалось что-то вроде барабанной дроби, и прямо из воздуха материализовалось восемь мотоциклов, по два в ряду, дрожащий воздух обтекает моторы. На хромированных фарах и крыльях засверкало солнце. В своей черной форме, белых шлемах и перчатках мотоциклисты напомнили мне воинов, свирепых и готовых убивать снова и снова, что лихо скакали на лошадях на праздновании годовщины падения Муссолини.

Земля тряслась, когда могучие «дукати» проезжали мимо, и ясно было, что достаточно чуть повернуть ручку, чтобы целый табун лошадей сорвал мотоцикл с места.

Зеленый «роллс-ройс» его величества был отполирован до зеркального блеска. Специальное сиденье было установлено таким образом, чтобы монарх видел подданных, а подданные – монарха. В грохоте мотоциклов автомобиль передвигался почти бесшумно, слегка посвистывая двигателем.

– На эти деньги можно кормить всех детей империи в течение месяца, – пробормотал Гхош.

Старик рядом с нами опустился на колени и поцеловал асфальт, когда «роллс-ройс» проезжал мимо.

Я хорошо разглядел императора с собачкой Лулу на коленях. Монарх поглядел прямо на нас, улыбнулся в ответ на наш поклон, сложил ладони лодочкой. И проехал мимо.

– Вы видели? – горячо заговорила Хема. – Видели намаете?

– Это в твою честь, – произнес Гхош. – Он знает, кто ты такая.

– Не говори глупостей. И все равно, как мило!

– И чтобы ты сомлела от радости, большего не требуется? Один намаете, и все?

– Прекрати, Гхош. Политика меня не касается. А старичок мне очень нравится.

«Роллс-ройс» повернул к дворцовым воротам. Мотоциклы остановились. «Лендровер» подкатил к самым воротам. Двое залитых солнцем всадников в зеленых брюках, белых пиджаках и шлемах взяли на караул.

Одинокий полицейский сдерживал привычную кучку просителей, поджидавших у ворот. Размахивавшая бумагой пожилая женщина, наверное, попалась императору на глаза. «Роллс-ройс» остановился. Мне было видно, как крохотная чихуахуа царапает коготками по стеклу и трясет головой: собачка лаяла. Пожилая женщина с поклоном прижала бумагу к окну.

Похоже, она говорила, а император слушал. Старушка оживленно размахивала руками, ее тело тряслось.

Машина тронулась с места, но дама не сдалась. Прижимая руки к стеклу, она бросилась бежать за «роллс-ройсом». Когда стало ясно, что за авто ей не угнаться, она закричала: «Леба, лева» (вождь, вождь), искала глазами камень, не нашла, сняла туфлю и грохнула ею по крышке багажника, никто и глазом моргнуть не успел.

Полицейский поднял дубинку, и вот уже женщина мешком валится на дорогу. Ворота дворца закрываются. Мотоциклисты бросаются вперед и принимаются охаживать дубинками просителей, не обращая внимания на вопли. Пожилая женщина лежит неподвижно и тем не менее получает удар по ребрам. Всадники застыли на месте, их лица невозмутимы, только у лошадей дергается кожа.

Мы потрясены. Двое молодых людей хихикают и шагают восвояси.

Женщина рядом с нами хватается за голову: – Как они могли поступить так с бабушкой? Старик молча сжимает в руке шапку, но видно, как он огорошен.

Мы едем дальше и видим, как мотоциклисты задают взбучку полицейскому. Ему надо было вырубить старушку раньше, пока не открыла

рот и не смутила их всех.

Прошло столько лет, я повидал немало жестокостей, и все-таки та сцена как живая стоит у меня перед глазами. Избиение старушки сразу после того, как император тепло нас приветствовал, показалось неким предательством, да тут еще горькое осознание, что ни Хема, ни Гхош не в силах помочь.

На мой взгляд, лупоглазая чихуахуа тоже участвовала в позорном происшествии. Ведь только ей разрешалось ходить в присутствии его величества, она ела и спала куда лучше, чем большинство его подданных. С того дня я по-новому воспринимал императора и Лулу. И уж конечно, я был не в восторге от избалованной собачки.

Если Лулу была собачьей императрицей Эфиопии, то наша Кучулу с двумя безымянными псами относились к плебсу. Имя собаке дал дантист-перс, какое-то время работавший в Миссии. А дать кличку в Эфиопии означает спасти животное. Шерсть у двух шелудивых псов была до того грязная, что невозможно определить их природный окрас. Во время долгих дождей, когда все прочие собаки старались спрятаться, эти двое предпочитали мокнуть, чем нарываться на пинки. Да и вообще, может, безымянных псов была целая вереница, только заглядывали они к нам парочками.

После того как перс-дантист уехал, Кучулу кормила сестра Мэри. А после ее смерти за дело взялась Алмаз.

Выразительные глаза Кучулу были словно черные жемчужины. При всей ее проказливой игривости, в глазах Кучулу крылась неизбывная печаль. Знаю, у собак нет бровей, но, клянусь, у нашей имелись над глазами складки, которые жили своей жизнью. Они выражали опасение, изумление, а порой даже озадаченность. Мимика, прославившая Лорела и Харди*, два фильма которых мы видели в «Синема Адова». О том, чтобы Кучулу жила у нас дома, и речи быть не могло. Это коровы – животные священные. А собаки – нет.

* Стэн Лорел и Оливер Харди – американские комики, одна из наиболее популярных комедийных пар в истории кино. Стэн был худым, а Оливер – толстяком.

Мы понятия не имели, что Кучулу беременна, пока не наступил Новый год. Два дня она не попадалась нам на глаза, а перед школой мы ее нашли. Она лежала в сарае за поленницей в полном изнеможении, едва голову могла поднять. Присутствие мохнатых шариков, копошившихся у ее живота, объяснило все.

Мы бросились к Хеме и Гхошу, а потом к матушке, чтобы сообщить

потрясающую новость, мы придумали имена. Взрослые не проявили никакого энтузиазма, но мы не заподозрили ничего плохого.

После школы мы вышли из такси у главных ворот Миссии, поднялись на вершину холма и тогда увидели... мы даже не поняли что. Щенки были попиханы в большой пластиковый мешок, горловина которого была надета на выхлопную трубу такси и обвязана веревкой. Потом мы узнали, что таксист увидел, как Гебре возится с приплодом, собираясь утопить, и предложил новый способ избавиться от щенков. Гебре всегда благоговел перед техникой и легко дал себя уговорить.

На наших глазах шофер запустил двигатель, пакет раздулся, и через несколько секунд двигатель заглох. Кучулу, которая еле дотащилась до машины, впилась зубами в наполненный дымом пакет. Щенки, тычась мордочками в пластик, неуклюже возились в поисках выхода. Горе Кучулу было неопишимо, ее охватило отчаяние. Пациенты и случайные прохожие нашли зрелище интересным. Собралась небольшая толпа.

Я оцепенел, не в силах поверить своим глазам. Это какой-то особый ритуал, так полагается поступать со всеми щенками, просто я не в курсе? Я испытующе посмотрел на стоящих рядом взрослых – нет, это не так, судя по всему. На душе у меня сделалось так же тяжело, как у Кучулу.

Шива не нуждался в подсказках. Он бросился к машине и попытался, обжигая руки, оторвать пакет от выхлопной трубы, потом рухнул на колени, разорвал мешок. Гебре оттащил Шиву, тот пинался и размахивал руками. Только увидев, что щенки не шевелятся, брат прекратил сопротивление.

Меня потрясло лицо Генет. Казалось, ей были известны подводные течения, что правят миром, в котором мы живем, она будто знала все заранее. Ничто не могло ее удивить.

Я не понимал, как Кучулу сможет простить нас и остаться в Миссии. Она ведь ничего не знала об ограничениях на численность собачьей стаи и распоряжениях матушки на этот счет. А мы не знали, что Гебре уже не раз выполнял подобные указания и топил новорожденных щенков.

Шива ободрал колени и до волдырей обжег руки. Хема, Гхош и матушка заторопились в приемный покой.

Гхош смазал Шиве ожоги сальвадином и перевязал коленки. Взрослые ни словом не обмолвились насчет щенков.

– Почему вы позволили Гебре так поступить? – возмущенно спросил я.

Гхош даже головы не поднял. Он не мог нам лгать, он просто промолчал.

– Не осуждай Гебре, – произнесла матушка. – Он выполнял мои

указания. Мне очень жаль. Мы не можем допустить, чтобы целая стая собак носилась вокруг Миссии.

На извинения это было непохоже.

– Кучулу забудет, – успокаивала Хема. – Животные такого не запоминают, милые мои.

– А ты бы забыла, если б кто-нибудь убил меня или Мэриона?

Взрослые уставились на меня. Но это произнес не я. Более того, я стоял футах в восьми от того места, где Шиве накладывали повязку.

А ты бы забыла, если б кто-нибудь убил меня или Мэриона?

Эти звуки издали гортань, губы и язык моего впавшего в молчание брата. Звуки оформились в слова, которые не забыть никому из нас.

Взрослые перевели взгляд на Шиву, потом опять на меня. Я затряс головой и указал на брата.

Наконец Хема прошептала:

– Шива... Что ты сказал?

– Если нас убьют сегодня, завтра ты нас забудешь? Хема со слезами радости на глазах потянулась к Шиве,

желая обнять его, но тот отшатнулся, – не только от нее, но и от всех нас, как от убийц. Наклонившись, он спустил носок, снял с ноги браслет и швырнул на стол. Этот браслет всегда находился при нем, его снимали только для того, чтобы починить, расширить или обновить. Все равно как если бы он отрезал себе палец и выложил на стол.

– Шива, – помолчав, проговорила матушка, – если бы мы оставляли Кучулу ее потомство, в Миссии было бы уже с шестьдесят собак.

– Что случилось с остальными щенками?

Матушка пробормотала, что Гебре поступил с ними человечно и что насчет выхлопной трубы разрешения дано не было. И вообще Гебре должен был все проделать, пока мы в школе.

Сейчас я был с Шивой заодно.

Он коснулся моего плеча и зашептал на ухо.

– Что он сказал? – спросила Хема.

– Он сказал, если вы такие жестокие, то какой смысл разговаривать. Он сказал, что вряд ли сестра Мэри или Томас Стоун пошли бы на такое. Может, если бы они были здесь, до такого бы никогда не дошло.

Хема вздохнула, как будто так и ждала, что вот сейчас мы заговорим об отце с матерью.

– Милый, – проскрежетала она, – ты понятия не имеешь, как бы они себя повели.

Шива повернулся и вышел. Гхош и матушка застыли в позах людей,

которым только что явилось привидение. Пришла их очередь лишиться языка. Как могли эти взрослые, которых так тревожила немота Шивы, которые заботились о бедных, больных и сиротах, которых, как и нас, до глубины души потрясла жестокая сцена у императорского дворца, проявлять столь каменное равнодушие?

Позже я спросил матушку, оставила смерть детей шрамы на сердце Кучулу? Матушка ответила, что не знает, но совершенно уверена в том, что Миссия – не собачий питомник и больше трех псов мы позволить себе не можем. Нет, она не думает, что есть отдельный рай для собак, и, откровенно говоря, не ведает, какое число собак в Миссии угодно Господу, но в этом вопросе Господь облек ее доверием, и рассуждать со мной на эту тему она не намерена.

Кучулу после смертоубийства разуверилась в роде человеческом. Она стала сторониться людей, свернется клубком и замрет. Мы оставляли ей еду, но если она и ела, то никто этого не видел.

Долгие недели хвост ее приходил в движение в присутствии единственного человека – Шивы.

Когда Шива выучился танцевать «Бхаратанатьям», я впервые понял, что это человек, отдельный от меня. Теперь, когда он заговорил и мог самовыражаться, Шива-Мэрион уже не всегда двигался и говорил как одно существо. Доселе мы как бы дополняли друг друга, различия между нами стирались. Но после гибели щенков наши пути стали понемножку расходиться. Брат жалел животных. Налаживать отношения с людьми он предоставил мне.

Глава четвертая. Жмурки

Мистер Лумис, директор школы, специально подстроил, чтобы наши долгие каникулы приходились на сезон дождей, так что он вместе с миссис Лумис в июле и августе наслаждался жизнью в Англии, просаживая наши деньги за обучение, а мы торчали в Аддис-Абебе. Старожилы именовали месяцы муссонов «зимой», что совершенно сбивало с толку новичков, для которых июль не мог быть ничем, кроме лета.

Дождь лил даже в моих снах. Я просыпался радостный, что не надо идти в школу, но плеск воды моментально гасил эйфорию. Это была моя одиннадцатая зима, и я, отходя ко сну, молился, чтобы небеса разверзлись над мистером Лумисом, где бы он ни находился, в Брайтоне или в Борнмуте, и чтобы персональная грозовая туча всюду преследовала его по пятам.

Шива был нечувствителен к холоду, туману, сырости, а я делался мрачен и угрюм. Под нашим окном разлилось целое бурое озеро, усеянное островками красной грязи. Не верилось, что из этого безобразия воспрянет цветущая лужайка.

По средам Хема отвозила нас в библиотеки Британского Совета и Информационного агентства США, где мы возвращали прочитанные книги и загружали машину новыми, затем мы ехали на утренний сеанс в театр «Империя» или «Синема Адова». Мы были вольны читать что хотим, но Хема требовала, чтобы мы заносили в дневник новые слова и количество прочитанных страниц. Мы также выписывали мудрые мысли и делились ими за ужином.

Мне уже осточертело такое времяпрепровождение, но тут в мою жизнь на всех парусах ворвался капитан Горацио Хорнблауэр*. Матушка, которая как никто умела читать у меня в душе, попросила меня взять для нее «Линейный корабль». Я открыл книгу из любопытства и уплыл в мир куда более сырой и гадкий, чем тот, в котором жил, и тем не менее принеший мне радость. Сесил Форестер перенес меня на скрипучую палубу корабля, заставил взглянуть на мир глазами Хорнблауэра, человека, который – подобно Хеме и Гхошу – проявлял чудеса героизма в своей профессии. И вместе с тем он был вроде меня – «несчастливый и одинокий». Разумеется, я не познал подлинных несчастий и одиночества, но муссон навевал именно такое настроение. Несправедливость лондонского Адмиралтейства, злосчастная морская болезнь, оспа детей... Все это было очень мне близко,

хотя мои беды и не шли ни в какое сравнение.

* Горацио Хорнблауэр – вымышленный персонаж, офицер Королевского британского флота в период наполеоновских войн, созданный писателем Сесилом Скоттом Форестером (1899-1966). Этот персонаж стал символом жанра военно-морских приключений. Существует много параллелей между Хорнблауэром и реально существовавшими офицерами той эпохи, в особенности Томасом Кохрейном и Горацио Нельсоном.

После многочасового чтения мне не терпелось выйти на свежий воздух, и Тенет тоже – я знал. Шива увлеченно рисовал. Организованные Хемой уроки каллиграфии разбудили его перо, и он покрывал рисунками бумажные пакеты, салфетки и поля книг. Ему нравилось изображать «БМВ» Земуя, и он предавался этому занятию часто и со страстью. Если из-под его пера выходила Вероника, то непременно верхом на мотоцикле.

В пятницу, когда Гхош и Хема ушли на работу, загредел гром и пошел град. По крыше забарабанило так, что заложило уши. Я выглянул из кухонной двери и увидел, что под навесом прячутся три осла и их хозяин. В нос ударил запах мокрой шерсти. Если дрова, которые доставили ослы, такие же мокрые, как они сами, это не сулит ничего хорошего нашей печке. Животные стояли смиренно, вид у них был сонный, только загривки невольно подергивались.

Когда я вернулся в гостиную, Генет заорала, стараясь перекричать грохот:

– ДАВАЙ СЫГРАЕМ В ЖМУРКИ!

– Тупая игра, – высказался я. – Глупая девчоночья игра. Но она уже искала, чем бы завязать глаза.

Никогда не понимал, почему жмурки так популярны в школе, особенно в классе Тенет. Перед водящим прыгает целая толпа, пихает, требует, чтобы угадал, кто толкнул. Если поймал кого, назови по имени или отпусти.

Мы изменили правила, чтобы можно было играть в помещении. Никто водящего не толкает. Напротив, стоишь тихонько и не подаешь признаков жизни (хотя град так колотил по крыше, что хоть свисти, все равно ничего не услышишь). Можешь прятаться где угодно, только не в кухне и не за мебелью. Игра идет на время: кто быстрее отыщет двух остальных.

В то утро первой выпало водить Генет. Шиву она нашла за пятнадцать минут, на меня ушло на десять минут больше.

Не подумайте, что эти двадцать пять минут меня утомили. Я был заинтригован.

Чтобы стоять неподвижно, нужна самодисциплина. Я чувствовал себя Человеком-невидимкой, моим любимым персонажем комиксов. Человек-

невидимка не двигался, это весь остальной мир вертелся вокруг, и лукавый враг понапрасну суетился.

С тугой повязкой на глазах Генет осторожно переставляла ноги, водила перед собой руками и казалась воплощением беззащитности, пленницей на пиратском корабле. Она держалась очень прямо и уверенно, словно человек, который может изготовить колесо одной рукой, привязав вторую к туловищу, или ходить на руках с той же ловкостью, с какой Гхоша перемещают ноги. В волосы ее, разделенные посередине на пробор и свисающие двумя прядями, были понатыканы желтые и серебристые бисерные заколки. Генет не придавала большого значения одежде, зато всяким ленточкам, гребешками, булавкам и зажимам уделяла немало внимания. Разумеется, это вполне могла быть заслуга Хемы, Розины или Алмаз, они вечно расчесывали ей волосы и заплетали косички. Еще Хема порой наносила ей на веки коль. Эта черная линия подчеркивала глаза Генет, и они отражали огонь и лучились ярче зеркал.

Говорят, девочки взрослеют быстрее мальчиков, и я в это верю, ибо Генет казалась старше своих десяти лет. Она с недоверием относилась к миру, всегда отстаивала свою точку зрения; если я охотно уступал взрослым и считал, что им виднее, Генет, напротив, заранее предполагала за ними неправоту. Но сейчас, когда глаза у нее были завязаны, я увидел, насколько она уязвима; казалось, вся ее воинственность, весь оборонительный порыв скрылись под повязкой.

Дважды Генет чуть не наткнулась на меня, Человека-невидимку, в последнюю секунду поменяв направление движения. В третий раз она замерла в нескольких миллиметрах от меня, и Человек-невидимка с трудом сдержал смех. Она махала руками не хуже ветряной мельницы и чуть не выбила мне глаз.

А потом начались странности.

Завязав себе глаза, я поймал Генет в течение тридцати секунд, а на Шиву ушло пятнадцать. Как это у меня получилось? Я следовал за своим носом. Понятия не имел, что такое возможно. Обоняние заменило мне зрение. Меня вел инстинкт, который проявился, только когда я ослеп.

Шива, когда очередь дошла до него, нашел нас почти столь же быстро. Про дождь мы и думать забыли.

Я опять завязал Генет глаза, и на поиски у нее ушло даже больше времени, чем в первый раз. Толку от ее носа не было никакого. Целых полчаса я смотрел, как она шарится по комнате.

Расстроившись, она сорвала повязку и несправедливо обвинила нас, что мы сговорились и нарочно переходим с места на место.

Когда Гхош пришел домой на обед, Генет и я бросились к нему и наперебой принялись рассказывать про игру.

– Подождите! Прекратите! – взмолился тот. – Когда вы трещите на пару, ничего не могу понять. Генет, говори первая. Начни сначала. И продолжай, пока не доберешься до конца. Тогда и остановишься*. Чьи это слова?

* Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес» (пер. А. Кононенко).

– Твои, – ответила Генет.

– Это слова Короля из «Алисы в стране чудес», – сказал Шива. – Страница 93. Глава двенадцатая. И ты выбросил три слова и запятую.

– Ничего подобного! – воспротивился Гхош, не в силах скрыть удивления.

– Ты выбросил «мрачно ответил король, запятая».

– Ну ты даешь... – пробормотал Гхош. – Давай, Генет, рассказывай, что случилось.

Она изложила суть дела и призвала его в судьи. В какой бы точке комнаты Гхош ни поставил Генет, я с завязанными глазами неизменно выходил прямо на нее. Гхош попросил, чтобы мы завязали глаза ему, но у него получилось ничуть не лучше, чем у Генет. Мы бы и дальше продолжали «исследовать феномен», но Гхошу пора было возвращаться в больницу.

Генет весь день морщила лоб, хмурилась. Я ощущал на себе взгляд ее горящих глаз.

– Куда ты смотришь? – спросила она.

– А что, закон запрещает смотреть?

– Да.

Я показал ей язык. Она вскочила со стула и бросилась на меня. Врасплох она меня не застала. Мы покатались по полу. Вскоре она лежала на спине, закинув руки за голову, а я был сверху. Но победа далась мне нелегко.

– Слезь с меня.

– Еще чего. Чтобы ты опять на меня кинулась?

– Слезь, сказала.

– Ладно. Но если ты начнешь опять, я сделаю вот что. – Я сдвинул ей грудную клетку коленями.

Злость ее утекла в вопли и истерический смех.

– Отпусти! – взмолилась она.

Зная ее и памятуя о том, как быстро погасший с виду огонь может разгореться вновь, я для верности сдвинул ее еще раз и поднялся. Спиной к

Генет я старался не поворачиваться.

Генет бегала быстрее Шивы, а мне уступала только на коротких дистанциях. Поступь у нее была такая легкая, что она могла бежать хоть весь день. В лазании по деревьям, футболе, рукоборье или фехтовании она была ничуть не хуже нас.

Но жмурки выявили отличие.

За ужином, когда Хема и Гхош были рядом, Генет вела себя тише воды ниже травы. Голубые заколки в волосах уступили место устрашающим зажимам и булавке величиной со спицу. По просьбе Хемы она пересказала, что прочла в своей книге про «Тайную Семерку»*. От Алмаз и Розины, которые вертелись рядом, пытаюсь положить нам добавки, Генет отмахивалась. Служанки всегда ели в кухне после нас.

* Серия из 15 романов (1949-1963) Энид Блайтон (1897-1968), семеро детей разгадывают различные тайны.

После ужина Генет пожелала всем спокойной ночи и удалилась в комнату Розины, примыкающую к нашему бунгалу. Гхош листал «Алису в стране чудес». Я заглянул ему через плечо. На странице девяносто третьей все совпало вплоть до запятой. Шива оказался прав.

Дождь перестал, когда мы уже легли, нет чтобы днем. Тишина была облегчением и вместе с тем испытанием для нервов, ибо дождь мог возобновиться в любую минуту.

На сон грядущий Хема нам читала – ежевечерний ритуал, начало которому было положено, когда Шива лишился языка. Последние несколько дней мы слушали «Людоеда в Мальгуди» Р. К. Нарайана*. Гхош сидел у нашей постели с другой стороны и, склонив голову, слушал. Действие разворачивалось неторопливо, сюжет никак не мог набрать обороты. Но пожалуй, это был сознательный прием. Стоило нам привыкнуть к ритму, как «скучная» жизнь индийской деревни сделалась занятой и даже забавной. Мальгуди населяли персонажи, похожие на наших знакомых, рабы привычек, профессии, верований, зачастую на редкость дурацких, что, впрочем, было заметно только постороннему.

* Разипурам Кришнасвами Нарайан (1906-2001) – англоязычный индийский писатель. Действие всех его произведений происходит в мифическом индийском городке Мальгуди.

В размеренную жизнь Мальгуди ворвался телефонный звонок. Гхош подошел к аппарату.

– Сию минуту, – произнес он, глядя на Хему, и положил трубку. – Принцесса Турунеш рожает. Шесть сантиметров. Схватки каждые пять минут. Матушка с ней в отдельной палате.

– Что значит «шесть сантиметров»? – спросил я. Гхош собирался ответить, но Хема, уже расчесывая у

зеркала волосы, его опередила:

– Ничего особенного, милый. У принцессы будет ребенок. Мне надо идти.

– Я с тобой, – поднялся Гхош. Если предстояло кесарево сечение, он ассистировал.

Я не любил, когда они срывались с места ночью. Боялся я не грабителей, меня снедало беспокойство, вдруг что-то случится и Хема и Гхош не вернуться. Днем я ничего подобного не испытывал. Но по ночам, когда они отправлялись на танцы в «Ювентус» или на партию бриджа к миссис Редди, я места себе не находил, воображая всякие ужасы.

Стоило им выйти, как я босиком и в пижаме прокрался в гостиную и включил на «Грюндиге» коротковолновый диапазон.

Помехи перекрыл шум мотоцикла. На полпути к Миссии сержант Земуй обязательно глушил мотор, чтобы никого не беспокоить. В тишине слышался только скрип пружин и шуршание шин. Земуй вкатывал мотоцикл под навес и со щелчком откидывал подножку.

Мне нравился этот нескладный «БМВ» с его торчащими на обе стороны цилиндрами, Шиве тоже. У машин есть пол, и «БМВ» был дамой царского рода. Сколько себя помню, низкий рокот ее мотора звучал рядом по утрам и поздно ночью, когда Земуй уезжал на работу и возвращался. Я слушал удаляющуюся поступь его тяжелых башмаков, и мне делалось его жалко. Я представлял себе, как неуютно ему брести домой в одиночестве, особенно в дождь. Длинный плащ и пластиковый капюшон не спасали, все равно промокнешь.

Через пять минут я услышал, как скрипнула кухонная дверь. Вошла Генет в моей пижаме, из которой я вырос.

Давнишней злости не было и в помине. Ее сменило незнакомое выражение: печаль. Волосы у Генет были откинута назад и повязаны голубой лентой. Какая-то она была вялая, отстраненная, будто мы расстались пару лет тому назад.

– Где Шива? – спросила она, садясь напротив меня.

– В нашей комнате. А что?

– Ничего. Так.

– Хему и Гхоша вызвали в больницу.

– Знаю. Они сказали маме.

– С тобой все хорошо?

Она пожала плечами. Глаза ее смотрели сквозь светящуюся шкалу

«Грюндига» на какую-то отдаленную планету. На правой радужке у нее было размазанное пятнышко, след от попавшей искры. Это случилось, когда мы маленькими детьми раздобыли где-то целую ленту винтовочных капсулей и принялись колотить по ним камнями. Изъян был замечен только с близкого расстояния и под определенным углом, а то, что глаз чуть косил, только придавало ей мечтательный вид.

Хрипела китайская радиостанция, дребезжащий женский голос издавал звуки, которые невозможно было воспроизвести. Мне стало смешно, но Генет даже не улыбнулась.

– Мэрион? Сыграешь со мной в жмурки? – Голос у нее был нежный, мягкий. – Один-единственный разик.

Я застонал.

– Ну пожалуйста...

Ее настойчивость поразила меня. словно ее будущее было поставлено на карту.

– Ты пришла только ради этого? Шива уже в постели.

– Сыграем вдвоем. Прошу тебя, Мэрион.

У меня язык не поворачивался отказывать Генет. Только вряд ли ей повезет больше, чем днем. Еще сильнее расстроится, вот и все. Но если она так настаивает...

За окном чернела беззвездная ночь, чернота просачивалась через занавески в дом и проникала мне под повязку.

– Я передумал, – сказал я в пустоту.

Она и ухом не повела, завязывая второй узел на мешке из-под рисовой муки, что нахлобучила мне на голову. Только рот остался открытым.

– Ты меня слышишь? – рассердился я. – Я так не хочу, мы так не договаривались.

– Ты жульничал? Признаешься? – Голос был вроде как не ее.

– Мне не в чем признаваться.

Порыв ветра сотряс окно. Бунгало закашлялось, поперхнувшись дождем.

Она заставила меня вытянуть руки по швам и обвязала ремнем Гхоша.

– Так ты не сможешь сдвинуть повязку. Обхватила за плечи, крутанула вокруг оси. Еще и еще.

Я вертелся волчком.

– Прекрати! – закричал я.

– Сосчитай до двадцати. И не вздумай подглядывать.

Вокруг меня клубится мрак. Почему, если кружится голова, непременно тошнит? С размаху натыкаюсь на что-то твердое. Это диван.

Бок болит, но на ногах я устоял. Это нечестно! Связывать мне руки, лишать ориентации... Она просто издевается.

– Мошенница! – кричу я. – Если тебе очень уж хочется выиграть, так и скажи.

Резкий щелчок по жестяной крыше заставляет меня вздрогнуть. Желудь? Сейчас с грохотом скатится. Жду, но больше ничего не слышно. Вор проверяет, дома ли хозяева? С завязанными руками я вдвойне беззащитен. Чихаю. Сейчас чихну во второй раз. Не получается. Черт бы побрал грязный мешок.

– НАТЯНИ РЕШИМОСТЬ НА КОЛКИ!* – кричу я. Понятия не имею, что это значит, но Гхош частенько повторяет эту фразу. В ней есть что-то залихватски-неприличное, она придает храбрости. Сердце у меня колотится. Храбрость бы мне ой как пригодилась.

* Шекспир. «Макбет», акт 1, сцена 7 (пер. М. Лозинского).

Вот он, нужный мне запах, правда, куда более слабый, чем утром. Направление сразу и не определишь. Проклятый мешок на голове!

– Я тебя поймаю, – рычу я, – но со жмурками на этом покончено.

В столовой натыкаюсь на буфет. Словно мантру повторяю: «Натяни решимость на колки». Выбираюсь в коридор и иду к спальням.

Я хорошо знаю, куда ступать, чтобы половицы не заскрипели, не одну ночь провел у двери в спальню Хемы и Гхоша, подслушивая, особенно если между ними возникал спор. Хотя с ними никогда не поймешь, ссорятся они или милуются. Хема как-то сказала про меня: «Весь в отца. Такой же крепколобый» – и засмеялась. Я был потрясен. Мало того, что крепколобый (а я вовсе не считал себя таковым), так еще и унаследовал эту черту от человека, который, как я воображал, однажды войдет через главные ворота. Хема никогда не называла его по имени, но тон ее, когда она нас сравнивала, был скорее одобрительный. А как-то ночью я услышал следующие ее слова: «Где? В каком месте? При каких обстоятельствах? А тебе не кажется, что мы могли бы повнимательнее посмотреть в лицо ей или Стоуну и догадаться? Как так вышло, что мы ничего не знали? Почему они молчали? Скажи что-нибудь, Гхош!» Я ничего толком не понял. А Гхош почему-то промолчал.

Сейчас, с мешком на голове, отчетливо припоминаю каждое слово. Повязка на глазах словно расшевеливает память и обостряет обоняние. Чувствую, надо расспросить Хему и Гхоша, о чем они тогда говорили. Только как? Сознаться, что подслушивал?

Нос приводит меня к нашей спальне. Проскальзываю внутрь. Запах усиливается. Здесь должен быть комод. Тыкаюсь лицом в мягкую ткань.

Вот оно что. На дверце комода висит ее пижама. Умно. Принюхиваюсь, будто собака-ищейка, вожу носом по пижаме, зарываюсь в нее лицом.

Произношу вслух:

– Очень умно.

Знаю, Шива в постели. Зачем он нацепил свой браслет? Слышу звон бубенчиков, этакое уклончивое бормотание.

Меняю направление. Чиркаю плечом о стену коридора. След ведет в кухню, хоть это и против правил. К тому же аромат имбиря, лука, кардамона и гвоздики перебьет все прочие запахи.

В каком-то порыве становлюсь на колени и обнюхиваю кафель. Да! Беру след. У двуногого существа, что ходит, задравши нос, перед четвероногим нет шансов. Кто куда, а я направо.

Скольжу на коленях. Кладовая. Знаю: правила игры бесповоротно изменились. Точнее, никаких правил нет в помине. Ничто уже не будет таким, как прежде. Пусть мне всего одиннадцать, но мое сознание сформировалось. Мое тело будет расти, мои знания и опыт обогатятся, но все то, что является мной, Мэрионом, та часть меня, что воспринимает окружающую действительность и ведет внутреннюю летопись для потомков, уже вольготно расположилась в моем теле и жадно впитывает жизнь, которую я ощущаю так остро, как никогда. Хотя ничего не вижу и руки у меня связаны.

У двери в кладовую поднимаюсь на ноги.

– Я знаю, ты здесь. – Голос мой отдается эхом в длинном и узком помещении, и я иду прямо на Генет.

Она передо мной. Если бы руки у меня были свободны, я бы ее ущипнул или шлепнул. Слышу сдавленный звук. Смех? Нет, не думаю. Это плач.

Хочу утешить ее. Желание нарастает. Это первобытный инстинкт вроде того, что привел меня к ней.

Подаюсь вперед.

Она слабо отталкивает меня. Просит, чтобы не уходил?

Мне всегда казалось, что Генет довольна жизнью. Ест с нами за одним столом, ходит с нами в одну школу, она – член семьи. Отца у нее нет, но ведь и у нас нет родителей. Зато у нас есть Хема и Гхош, как и у нее. Я считал, она нам ровня, но, пожалуй, приукрашивал. Наша спальня больше, чем все ее продуваемое ветрами жилище, где всего одна-единственная комната. Сортир у них во дворе возле дровяника, если ночью приспичило, выходи под дождь. Если Гхош и Хема баюкали нас, переносили в волшебный мир «Мальгуди», а когда наступала пора, гасили свет, то Генет

читала сама при свете одинокой голой лампочки под звуки радио, которое Розина слушала допоздна. Мать и дочь спали в одной постели, обогревались жаровней, от одежды Генет пахло дымом и ладаном, что ее очень смущало. Нам ее жилище казалось уютным, а Генет его стыдилась. Пока мы были поменьше, мы бывали у нее так же часто, как и у нас дома, но потом, хотя Розина всегда была рада нас видеть, Генет перестала нас приглашать.

Я все это ясно вижу, хоть у меня и повязка на глазах. Впервые сознаю: в ней живет дух соперничества. Чтобы разглядеть то, что само бросалось в глаза, понадобилось их завязать.

Еще один шаг вперед. Жду. Никто не пихается и не щиплется. Мотаю головой в разные стороны и скольжу щекой Генет по уху. У нее щека мокрая. Чувствую на шее ее горячее прерывистое дыхание. Она медленно поднимает подбородок.

Дикарь во мне сохраняет бдительность. Будь настороже, говорит он мне. Мне уютно и хорошо. Чувствую себя победителем.

Ноги у меня сведены вместе. Наклоняюсь вперед. Генет чуть отступает, и я валюсь на нее, прижимая к полке. Наши бедра соприкасаются, мы тремся щеками. Жду, когда она оттолкнет меня, выпрямится. Но она и не думает.

Тела друг дружки нам прекрасно знакомы. Мы возились, боролись, карабкались в наш домик на дереве, а когда были помладше, купались вместе в бассейне-лягушатнике. В больших ящиках, набитых соломой, в которых в Миссию прибывала стеклянная посуда, мы играли в домашнего врача и не придавали значения нашим анатомическим различиям. Но сейчас, когда я не вижу ее лица, а мешок скрывает от нее мое, все это влечет нас своей новизной. Я уже не Человек-невидимка, а Слепой, чувства которого до того обострились, что он внезапно как бы прозрел.

Хотя руки у меня связаны, ладони свободны. И я касаюсь ее холодного бедра. Она не двигается. Ей нужно мое прикосновение, мое тепло. Я прижимаю ее к себе.

Она вздрагивает.

Она совсем голая.

Не знаю, сколько минут мы так стоим. Кажется, именно этого она и добивалась. Если бы мы лучше разбирались в самих себе, мы бы сорвали эту повязку... слава Богу, что этого не произошло.

Она просовывает руки мне под мышки и обнимает меня. Мне больно, но я помалкиваю. А то вдруг она уйдет.

По жестяной крыше зашуршал дождь.

Проходит вечность, прежде чем она убирает руки и снимает у меня с головы мешок.

Она развязывает мне руки. Слышу стук пряжки ремня об пол. Но повязку она не снимает. Я сам могу ее снять, если захочу.

Но я хочу, чтобы она опять обняла меня. Прямо сейчас, когда руки у меня свободны. Тянусь к ней. Нагая, она сделалась меньше, изящнее.

Что-то мягкое, телесное касается моих губ. Меня никогда раньше не целовали. В кино мы с Генет всегда прыскали и заливались смехом, когда актеры целовались. Киносеанс в «Синема Адова» обычно состоял из трех фильмов, из них один – итальянский, продублированный или с субтитрами, за ним – короткая комедия, Чаплин или Лорел и Харди. В итальянском непременно была масса поцелуев. Шива, набывшись, внимательно смотрел на экран, а мы с Генет отворачивались. Целоваться глупо. Взрослые сами не знают, до чего у них при этом дурацкий вид.

Губы у нас сухие. Ничего особенного, я так и думал. Наверное, у поцелуев та же цель, что у объятий. Чтобы стало хорошо и уютно. Склоняю голову набок, может, так станет лучше. Прихватываю губами ее нижнюю губу. Оказывается, рот может быть таким нежным, особенно когда ничего не видишь. Она проводит языком по моим губам, и мне хочется отдернуть голову. Вспоминаю о двадцатипятицентовом леденце, который мы по очереди лизали целый час. Нам в рот словно попадает конфета, хотя никакой конфеты нет. Мы никуда не торопимся. Приятно, но не особенно. Впрочем, и не противно.

Генет гладит меня по лицу. Как в кино. Моя правая рука обнимает ее за плечи, соскальзывает на грудь. Чувствую соски, они не больше моих. Ее пальцы щекочут мне грудь, но мне совсем не щекотно. Провожу рукой ей по животу, потом ниже, под моей ладонью гладко, здесь ничего не торчит, здесь только нежная щель, и это удивительнее всего.

Ее рука скользит у меня по талии, изучает мое тело. Когда она касается меня, это совсем иначе, чем когда я трогаю себя сам.

Дверь со двора на кухню открывается.

Наверное, это Розина. Или Гхош и Хема. Шаги направляются в гостиную.

Отшатываюсь. Срываю с глаз повязку. Передо мной темная кладовая. Я точно инопланетянин после посадки на Землю.

В свете, падающем из кухни, глаза у Генет влажные, губы набрякли, лицо вспухло. Она отводит глаза. Со мной слепым ей было проще. Нос у нее вздернут, лоб высокий, она совсем не похожа на круглоголовую Розину скорее на бюст Нефертити из моей книги «Заря истории».

Хотя повязки уже нет, чувства мои по-прежнему напряжены до предела. Я в состоянии провидеть будущее, оно написано у Генет на лице. Спокойные миндалевидные глаза скроют бешеный безрассудный темперамент, столь ярко проявившийся сегодня; скулы четко обозначатся, выдавая сильную волю; нос заострится; нижняя губа выпятится вперед; из бутончиков зрелыми плодами разовьются груди; обретут совершенные формы ноги. На земле красивых людей она будет первой красавицей. Мужчины – я уже знал это – почувствуют ее презрение и кинутся помогать ей всеми силами. И я окажусь из их числа. А она будет чинить всяческие препятствия. Никогда больше между нами не наступит близость, такая, как сегодня, и я буду знать это и все-таки не оставлю попыток.

Я это чувствую, вижу. Словно вспышка осветила мое сознание. Жизнь покажет, прав ли я был.

Где-то в доме Розина окликает дочь.

Поднимаю с пола ремень. Не понимаю, почему мы оба так спокойны.

Касаюсь плеч Генет, нежно, осторожно. Она смотрит на меня. Что у нее в глазах – любовь или ненависть?

– Я тебя всегда найду, – шепчу я.

– Может быть. – Ее губы у самого моего уха. – А мне надо научиться лучше прятаться.

Входит Розина и застывает при виде нас.

– Чем это вы таким заняты? – спрашивает она по-амхарски. На губах у Розины привычная улыбка, но брови нахмурены. – Я вас повсюду искала. Где твоя одежда? Что это такое?

– Мы играем, – отвечаю на вопрос я, помахивая в воздухе повязкой, но в глотке у меня до того сухо, что она, наверное, меня не слышит.

Генет проскальзывает мимо меня и направляется в гостиную. Розина хватает ее за руку:

– Где твоя одежда, дочка?

– Пусти меня.

– Но почему ты голая? Генет дерзко молчит. Розина толкает ее в плечо:

– Ты чего разделась?

Голос Генет звучит резко, вызывающе:

– А ты чего раздеваешься для Земуя? Когда ты меня прогоняешь, не ты ли сама обнажаешься?

Рот у Розины изумленно открывается. Дар речи возвращается к ней не сразу.

– Он тебе отец. А мне – муж.

На лице у Генет никакого удивления. Она смеется жестоким

издевательским смехом, будто слышала эти слова раньше. Мне делается жалко свою нянюшку.

– Твой муж? Мой отец? Врешь ты все. Мой отец оставался бы на ночь. Мой отец жил бы с нами в настоящем доме! – Она в бешенстве, слезы текут у нее по щекам. – У твоего мужа не было бы другой жены и троих детей. Твой муж не выгонял бы меня, не говорил «Иди поиграй», чтобы заняться игрой с тобой.

Она вырывается и направляется к своей пижаме.

Розина на время забывает о моем присутствии.

Вспомнив, она поворачивается ко мне, и мы смотрим друг на друга как два незнакомца.

У меня будто повязку с глаз сорвали. Земуй – отец Генет. Наверное, я – единственный, кто об этом не знал. Вот ведь дурак. Почему не спросил? А Шива знает? Те долгие часы, что полковник играл у нас в бридж... ведь Земуй тоже находился где-то рядом. Улики были налицо. Я слепой наивный болван. В письмах, которые я под диктовку Земуя писал Дарвину, никогда не упоминалось, что Генет – Земую дочь. Только все эти слова, написанные и сказанные, просто солнечные зайчики на поверхности глубокой и бурной реки, а что на дне, неизвестно; вспомни все те ночи, когда ты слышал, лежа в постели, мотоцикл Земуя, и представлял себе, как он в потемках под дождем бредет домой. Не одному тебе было его жалко тогда.

Розина знала меня так хорошо, что могла проследить за ходом любой моей мысли. Склоняю голову: а как же быть с уважением к моей любимой нянюшке? Краешком глаза вижу, что она тоже понурилась, словно подвела меня, словно ни за что не хотела, чтобы я узнал ее с этой стороны. Хочу сказать: «То, что ты видела, была игра...»

И не говорю ничего.

Из коридора доносятся шаги Шивы, ритмичный звук кастаньет.

Возвращается Генет в пижаме и, ни разу не обернувшись, уходит к себе. Розина за ней.

Шива в столовой, подходит к кухонной двери.

Гляжу на полки кладовой. В помещении остался легкий запах озона, который породили наши с Генет желания.

Шиву я не вижу, но слышу хорошо. Наверное, он знает, что произошло в кладовой. У частичек Шивы-Мэриона нет тайн. Слышу его шаги, звон колокольчиков большого браслета для танцев, который он надел. Да, точно, он танцует, будто пытается расширить мир или найти ритм, который внесет какой-никакой порядок в хаос.

Глава пятая. Знать, что тебе предстоит услышать

Казалось, ничего такого не произошло. Розина, как и прежде, ерошила мне волосы, как и прежде, гладила мне рубашки перед выходом в люди. Но за внешней, привычной стороной я стал видеть скрытую подоплеку. Она старалась не терять меня из виду и в случае чего грудью бы встала на защиту дочери.

Как Розина и боялась, в ту ночь тайное сделалось явным. Я, словно персонаж комиксов, оперся на скрытую панель, провалился и случайно оказался по другую сторону, совсем не там, куда стремился. Больше всего на свете я хотел быть рядом с Генет, и Розина это знала.

Я увидел в Розине новое измерение – назовем его хитростью. Такая же хитрость проявилась и во мне – мне теперь представлялось опасным делиться с ней мыслями. Но переживаний своих мне было не скрыть. Рядом с Генет вся кровь бросалась мне в лицо. Я забыл, как быть естественным.

Остаток каникул Генет вертелась вокруг Шивы. Его присутствие не вызывало неловкости, не то что мое. Я смотрел, как они ставят пластинку, расчищают в гостиной пространство, надевают браслеты и исполняют набор движений «Бхаратанатьяма». Я не ревновал. Шива действовал вроде бы от моего имени, как я был его доверенным лицом, когда играл с грудью Алмаз. Если уж я не мог быть с Генет, то пусть уж лучше с ней будет Шива.

Пожалуй, даже моя ищейкина способность обнаруживать Генет по запаху куда-то делась. Впрочем, может, и нет. Ведь мы больше не играли в жмурки. Сама мысль об этой игре внушала тревогу.

Я старался не попадаться на глаза Земую, когда он ставил под навес свой мотоцикл или когда полковник Мебрату приезжал на партию бриджа. Оказалось, полковник обожает садиться за руль своего «пежо», или джипа, или служебного «мерседеса»; недавно мне повстречалась их машина, и Земуй не крутил баранку, а гордо восседал на месте своего босса. Он улыбнулся мне и помахал рукой.

Когда мы с Земуем все-таки столкнулись, я так и выискивал, к чему бы придраться, очень уж много в нем имелось общего с Томасом Стоуном, хотя Земуй и встречался каждый день со своей дочерью. Но Земуй пожал мне руку, с радостным видом достал из кармана новое письмо от Дарвина,

и мы с ним как ни в чем не бывало расположились на ступеньках кухни. Меня так и подмывало спросить: «А что ж ты дочку не попросишь прочитать?» Но тут до меня дошло, что у 1енет с отцом не все гладко. Я читал и писал письма для Земуя, потому что дочка отказалась.

Как-то в пятницу вечером полковника попутным ветерком занесло в Миссию, и он ворвался в старое бунгало Гхоша, так и брызжа энергией. Через полчаса игра шла за двумя столами. Игроки – Хема, Гхош, Адид, Бабу, Эвангелина, миссис Редди и приглашенный новичок – целиком погрузились в карты, молчание нарушали только возгласы вроде «пас» или «три без козыря». Если все наперебой заговорили, это значило, что роббер сыгран. Я обожал быть рядом со взрослыми во время игры.

У полковника, только что вернувшегося из Лондона, были припасены бутылочка виски «Гленфиддик» для Гхоша, шоколадки для нас и духи «Шанель № 5» для Хемы. Курили сигареты «Данхилл» и «555» – еще один дар полковника. Хотя на Мебрату был блейзер и рубашка с расстегнутым воротничком, благодаря вздернутому подбородку и прямой спине казалось, что он в военной форме. Вот уйдет он, подумалось мне, и все остальные куклами осядут на пол, как по команде «вольно».

Эванджелина, отпрыск англо-индийской семьи, повернулась к полковнику:

– Птичка мне напела, что скоро мы будем вас величать «бригадный генерал». Это правда?

Мебрату нахмурился:

– Какие гнусные слухи! Какое порочное общество! И боюсь, Эванджелина, за всем этим стоите лично вы. Но в данном случае вынужден вас поправить, моя дорогая. Меня не будут величать «бригадный генерал» скоро. Я и есть бригадный генерал со вчерашнего дня.

Тут уже веселье грянуло на полную катушку Земуи и Гебре дважды отправлялись за угощением в отель «Рас».

Поздним вечером генерал и Гхош болтали за коньяком и сигарами:

– В Корее в пятьдесят втором мы были одной из пятнадцати стран, составивших войска ООН. Я только закончил обучение, как угодил туда. Прочие страны нас недооценили. Они не знали, насколько храбры эфиопы, не слышали о битве под Адовой. Но мы показали себя в Корее. В Конго все уже знали, чего от нас ждать. Командиром у нас сначала был ирландец, потом швед, а на третий год командовать войсками ООН стал наш генерал Гуэбре. Знаете, Гхош, это была вершина моей карьеры в качестве военного. Большой успех, чем даже вчерашнее повышение.

Уж не знаю как, но Гхош понял, что со мной творится. Может быть, он

заметил, что меня, в отличие от Шивы, не допускают до Генет, может быть, ему бросилось в глаза мое замешательство перед Земуем. Наверное, у меня на лице было написано, что я вплотную столкнулся со сложностью (чтобы не сказать лживостью) человеческой природы. Я пытался разложить по полочкам открывшуюся мне правду, найти свое место, и мне очень помогало, что Гхош остался преданным отцом – не переменчивым, не надоедливым, а четко знающим, когда он мне нужен. Если бы до ушей Хемы дошло, что случилось в кладовой, я бы знал об этом через две секунды. А Гхош сохранял спокойствие, был готов меня выслушать и, похоже, не торопился рассказывать все Хеме.

Как-то дождливым днем, когда Генет и Шива занимались с Хемой танцами, позвонил Гхош и предложил встретиться в приемном покое.

– Хочу показать тебе весьма необычный пульс.

Гхош теперь главным образом исполнял обязанности хирурга, проводил три плановые операции в неделю плюс экстренные случаи. Но, как он говаривал за ужином, в душе остался терапевтом и не мог отказать себе в удовольствии осмотреть пациента, поставить которому верный диагноз не смогли ни Адам, ни Бакелли.

Я был благодарен Гхошу за звонок. Меня совершенно не интересовали танцы и раздражала Генет, которой нравилась всякая ерунда, где мне не находилось места. Я влез в калоши, дождевик, взял зонтик и пошлепал в приемный покой.

Демисс, молодой человек за двадцать, сидел перед Гхошем на табурете в одних поношенных бриджах. Я сразу заметил, как у него трясется голова. Это был мой первый официальный осмотр пациента, и я пребывал в смущении. Что этот босой крестьянин подумает о мальчишке, вмешивающемся в действия врача? Но больной был в восторге. Позже я понял, что пациентам очень по душе, когда их осматривает несколько человек. Не только Адам его посмотрел, не только тилик – доктор, который лечит родственников самого императора, но и – в качестве своеобразного бонуса – я.

Гхош накладывает мои пальцы на запястье Демисса. Вот он, пульс, сильное биение легко прощупывается. Теперь я вижу, что голова его дергается в такт ударам.

– А теперь пощупай мой, – Гхош протягивает мне свою руку. Это задача посложнее, его пульс бьется не так сильно.

Мои пальцы снова на руке Демисса.

– Опиши, – предлагает Гхош.

– Сильный... Напряженный. Слово живое существо бьется под

кожей, – говорю я.

– Точно! Классический подскакивающий пульс. По-научному пульс Корригана. Водяной молот.

Он протягивает мне тонкую стеклянную трубку длиной в фут.

– Держи вертикально. А теперь переверни.

Трубка запаяна с обоих концов, в ней вода, но ее немного. Когда я переворачиваю стеклянный сосуд, вода с чмокающим звуком неожиданно резко ударяется о дно.

– Там внутри вакуум, – поясняет Гхош. – Это игрушка ирландских детей. Водяной молот.

Гхош сделал водяной молот для меня: запаял горелкой Бунзена с одного конца стеклянную трубку и налил внутрь несколько капель воды через оставшийся открытым конец. Затем нагрел участок трубки над налитой водой, чтобы вышел воздух, и быстро запаял отверстие.

– Сердце Демисса выбрасывает кровь в аорту. Это магистраль, идущая от сердца. – Гхош делает на бумаге набросок. – Вот этот клапан на выходе должен закрыться после того, как сердце сократилось, чтобы кровь не пошла обратно. А он закрывается не полностью. Так что половина прокачанной его сердцем крови возвращается обратно, потому-то пульс и подскакивает.

– Как это замечательно: коснулся человеческого тела кончиками пальцев – и уже столько о нем знаешь! – восхищаюсь я.

У Гхоша на лице такое выражение, будто я изрек мудрость.

На этих каникулах он часто посылал за мной. Бывало, появлялся и Шива, но только если это не мешало танцам или рисованию. Я научился распознавать медленный, низкий, платообразный пульс, характерный для стенозированного аортального клапана, – полную противоположность подскакивающему пульсу. Через суженное отверстие сердцу трудно качать кровь. В результате пульс делается слабый и вместе с тем продолжительный. *Pulsus parvus et tardus**, как определил его Гхош.

Эти латинские слова нравились мне своей отчужденностью, солидностью и даже тем, как их выговаривал язык. Выучить язык медицины значило овладеть новым оружием. Это была чистая, благородная сторона жизни, без тайн и обмана. Как замечательно, что одним словом можно выразить запутанную историю болезни! Я попытался объяснить это Гхошу, и он разделил мой восторг.

* Пульс малый и медленный (лат.).

– Да! Целая сокровищница слов! Взять хоть кулинарные метафоры! Мускатная печень, саговая селезенка, малиновый язык, желеобразный стул,

ПГГ – арбузная корка, да мало ли! Не будем уже говорить о невегетарианской кухне!

Как-то я показал Гхошу блокнот, куда записывал все, что он мне говорил насчет медицины. Я тщательно перечислил различные виды пульса: *pulsus paradoxicus*, *pulsus alternans*, *pulsus bisferiens** и набросал картинки. На форзаце Гхош написал: *Nam et ipsa scientia potestas est!*

* *Pulsus paradoxicus* – парадоксальный пульс; *pulsus alternans* – альтернирующий пульс; *pulsus bisferiens* – двойной пульс (лат.).

– Это значит «Знание – сила!». Как я верю в это, Мэрион!

Разными видами пульса мы не ограничились. Когда у меня выдавалась свободная минутка, я шел к Гхошу. Ногти, языки, лица – скоро мой блокнот заполнили рисунки и новые слова. Занятия каллиграфией были мне в помощь: подписи под рисунками получались четко и разборчиво.

Под самый конец каникул, в пятницу вечером, я поехал вместе с Гхошем к Фаринаки, слесарю-инструментальщику. Гхош передал Фаринаки два старых стетоскопа и набросок того, как, по его мнению, должен выглядеть стетоскоп – учебное пособие. Фаринаки, суровый сутулый сицилиец, в кожаном фартуке поверх жилетки, окутался сигарным дымом и внимательно изучил чертежик, водя по бумаге длинным указательным пальцем. Он уже изготавливал для Гхоша разные хитрые приспособления, вот и сейчас только плечами пожал, как бы говоря: хотите – сделаем.

На обратном пути Гхош вручил мне сверток:

– Подарок.

В свертке оказался новенький стетоскоп.

– Зачем тебе ждать, пока Фаринаки раскатается. С видами пульса ты уже знаком, пора начинать слушать тоны сердца.

Я был тронут. Первый подарок, который вручили лично мне, а не нам вдвоем с Шивой.

Оглядываясь назад, могу сказать: когда Гхош позвал меня пощупать пульс Демисса, он меня спас. Мама моя умерла, отец вроде бы и не существовал, я все более отдалялся от Шивы с Хемой и винил в этом себя самого. Вручая мне стетоскоп, Гхош как бы говорил: Мэрион, будь самим собой. Все отлично. Он открыл передо мной мир, пусть не тайный, но сокровенный. Без проводника тут было не обойтись. Надо знать, что ты ищешь, но вместе с тем и как искать. Надо совершить над собой некоторое усилие. Но если в тебе теплится интерес к другим людям, к их благополучию, если ты вошел в эту дверь, происходит странная штука: свои собственные злоключения ты оставляешь у порога. И это быстро

переходит в привычку.

Глава шестая. Школа страдания

Конец осени. Утро. Я, Шива и Генет направляемся в школу с портфелями в руках. Вижу: в гору по дороге навстречу нам из последних сил бегут мужчина и женщина, у мужчины на руках безжизненное тело ребенка. Они еле держатся на ногах, задыхаются, но пока ребенок с ними, им кажется, что он жив, значит, есть надежда.

Не медля ни секунды, Шива-Мэрион бросается им навстречу. Мы не обсуждали, что будем делать, некий высший разум решил все за нас, стоило нам увидеть, в каком отчаянии родители, и мы действуем слаженно, будто единый организм. Помню, у меня еще мелькнула мысль, как я соскучился по такому единообразию и какая радость снова стать Шива-Мэрионом. Даже когда я выхватил малыша у спотыкающегося измотанного отца и во весь дух понесся к приемному покою, рука Шивы у меня на спине придавала мне дополнительное ускорение, а его ровный бег рядом наполнил уверенностью, что мне есть кому передать ношу, если выбьюсь из сил. Кожа ребенка холодила ладонь, высасывала из меня тепло, я понял, что значит определение «тепловкровный».

Мы передали малыша в приемный покой и, задыхаясь, вышли во двор. Подросли родители, мы открыли им дверь. Через несколько минут до нас донесся вопль ужаса, громкие голоса, затем раздались рыдания – язык, понятный всем.

Был в Миссии еще один звук, насыщавший мою кровь адреналином, – торопливый пронзительный скрип главных ворот, открываемых Гебре. Этот звук всегда означал: стряслось нечто экстренное.

Детство в Миссии дало нам уроки гибкости, силы духа и хрупкости жизни. Я лучше других детей знал, сколь небольшое отделяет мир здоровья от мира болезни, живую плоть от мертвой, твердую почву от предательской трясины.

О страдании я узнал нечто такое, чего мне не преподавал Гхош. Прежде всего, у страдания белые одежды и пошиты они из хлопка. Ткань эта может быть тонкой (шама, нетта-ла) или толстой и тяжелой, будто одеяло (и тогда это габби), главное, чтобы данный предмет одежды держал голову в тепле и закрывал рот от ветра и солнца, ибо они несут с собой митч, биррд и прочие дурные испарения. Даже министр в жилетке и при карманных часах набрасывает на себя нетта-лу, заталкивает в нос лист эвкалипта, принимает дозу косо от ленточного червя и спешит на осмотр.

День за днем толпы в белых одеждах перехлестывали через наш холм, борясь с силой притяжения. Те, кого одолевала одышка, а также калеки и увечные на полпути останавливались и возводили глаза к небу, где над верхушками росших вдоль дороги эвкалиптов парили африканские ястребы.

Покорив подъем, пациенты направлялись в регистрацию для получения карты. Здесь решения принимал Адам, величайший в мире одноглазый клиницист, по определению Гхоша.

– Одышка, говорите? – спрашивал Адам у больного. – Как же это вы поднялись на холм и получаете карту за номером четыре на сегодня?

В книге Адама номер меньше десяти на карте амбулаторного больного обозначал ипохондрический синдром с не меньшей точностью, чем осмотр Гхоша.

Со своего наблюдательного пункта я как-то увидел в потоке величавую женщину из Эритреи с тяжелой корзиной в руках. В корзине находилось что-то большое, разросшееся, красное и мокрое. То была ее грудь. Раковая опухоль на ней приняла такие чудовищные размеры, что перемещаться иначе оказалось невозможно.

Такое я зарисовывал в блокнот. Мои наброски были не чета тем фотографически точным рисункам, что делал Шива, но свою роль выполняли. Посмотрю на рисунок – и сразу все вспомню.

На странице тридцать четвертой я изобразил в профиль толстощекого здорового ребенка. Но на оборотной стороне одной щеки, ноздри и глаза не имелось, так что были видны блестящие зубы, розовые десны и глазница. От Гхоша я узнал, что такое жуткое зрелище именуется *Cancerum oris**. Начинается все с банальной инфекции десны или зуба, которая распространяется дальше вследствие недостаточности питания и неприятия мер; болезнь может также развиться как осложнение после кори или ветрянки. Течение у нее стремительное, многие дети не доживают до визита в Миссию. Порой болезнь выдыхается, либо срабатывают защитные силы организма, и она отступает, но забирает с собой пол-лица. Пожалуй, лучше смерть, чем такое уродство. Я видел, как Гхош оперировал такого ребенка. Поначалу мне было очень страшно, но потом любопытство взяло верх: на что способен человек, который каждый вечер ужинает с нами за одним столом. Гхошу предстояло прикрыть кожным лоскутом щеку и другим лоскутом – нос. Дальнейшую реконструкцию планировалось провести во время последующих операций. Хотя нормальное лицо так и не восстановится, все-таки вид будет уже не столь ужасен. После операции Гхош сказал:

* Стоматит язвенно-некротический – гангренозное воспалительное изъязвление губ и полости рта.

– Ты не обольщайся. Я в хирургии – человек случайный, сынок. Я делаю все, что могу. Но вот твой отец... его работа была бы на уровне лучшего пластического хирурга из ныне живущих. Понимаешь, твой отец был настоящим хирургом. Пожалуй, не видел никого лучше.

– А что определяет настоящего хирурга? – спросил я.

– Страсть, – немедленно ответил Гхош. – Мастерство. Ловкость. Руки у него всегда были «спокойные». Никаких лишних движений, драматических жестов. Все банально, незатейливо. И только посмотрев на часы, ты видел, как быстро он работает. Но самое главное – уверенность в себе, она позволяет сделать больше и лучше. Конечно, я могу делать простые операции. Но в половине случаев мне очень страшно.

Он скромничал. Но Гхош и правда становился совсем другим человеком, когда осматривал пациентов, присланных для консультации Бакелли или Адамом. Дар диагноста у Гхоша в полной мере проявлялся в работе с людьми, на мой взгляд, совершенно здоровыми. Спрятавшись от «неопытного глаза, болезнь тем не менее проявляла себя.

Женщина, что плела корзины, говорила:

– В День святого Стефаноса я выплеснула воду на колючую проволоку.

А вот слова мрачного, смятенного кули:

– Наутро после поста я случайно наступил в лужу воды, пролитой проституткой.

Гхош слушал, смотрел на волдыри, покрывавшие грудину, говорившие о том, что больного «консультировал» местный лекарь, отмечал сиплую речь – по-видимому, следствие повторного визита к тому же шарлатану, ампутировавшему небный язычок, и ловким вопросом пытался вскрыть глубинный пласт, подпадавший под ту или иную категорию. Потом шел осмотр кожных покровов, пальпирование, простукивание, прослушивание при помощи стетоскопа. Гхош знал, чем история кончается, пациенту было знакомо только ее начало.

Еще сцена, подсмотренная мною в Миссии в то самое время, – на этот раз ничего общего с Гхошем, – она объясняет, почему жизнь Шивы пошла иным путем, отличным от моего.

Поздним утром сидим мы с Шивой на дренажной трубе на склоне холма Миссии и видим: в гору на негнущихся ногах ковыляет босая девочка не старше десяти лет. Скрюченная, будто старушка, она опирается на своего отца-великана. Перемазанные, латанные мосты пузыряются над его ступнями-серпами, которые в двадцать шагов могли бы взлететь на наш

холм, но вместо этого мелко семят рядом с дочкой. Отец и дочь ползут будто улитки, их все обгоняют и, поравнявшись, ускоряют шаг. Когда они подходят ближе, я понимаю почему. Отвратительная вонь гниения, разлагающихся тканей и еще чего-то несказанно мерзкого достигает наших ноздрей. Задерживать дыхание или затыкать нос бесполезно, зловоние наваливается на нас сразу и окрашивает все наши чувства, будто капля туши ведро воды.

Мы по-детски твердо знаем: она не виновата. Пахнет от нее, но она сама ни при чем. Непонятно, что хуже, сам смрад или выражение ее лица: ведь она знает, какое неодолимое отвращение внушает окружающим. Потому-то она и не смотрит людям в лицо: она потеряна для мира, а мир – для нее.

Она останавливается, чтобы перевести дыхание, и у ее босых ног образуется лужа. По дороге за ней тянется мокрый след. Никогда не забуду лицо ее отца под соломенной крестьянской шляпой. Оно дышит любовью к дочери и пышет гневом на мир, отвергнувший ее. Его налитые кровью глаза смело отвечают на любопытные взгляды, скользят по лицу тех, кто отворачивается. Он проклинает их матерей, проклинает богов, которым они поклоняются.

Я сказал, она никому не смотрит в глаза? Никому, кроме Шивы. Пролетают секунды, и выражение ее чуть заметно смягчается, словно Шива приласкал ее. Веки у нее делаются мокрые, на них блестит солнце. Ее отец, который ругался на протяжении всего подъема, стихает.

Мой брат, который некогда разговаривал, звякая колокольчиками, и чей танец своей сложностью не уступает полету пчелы, не знает, что посвятит свою жизнь таким женщинам, изгоям общества, будет выискивать их в автобусах, прибывших из провинции, посылать платных гонцов в отдаленные деревни, куда сошлют этих женщин мужья и семьи, что с грузовиками кока-колы его памфлеты разойдутся всюду, где только есть мощные дороги, и в этих памфлетах он будет призывать этих женщин – девушек на самом деле – выйти из укрытия, явиться к нему, чтобы он их вылечил; не знает, что станет всемирно известным экспертом в этом вопросе...

Но я забегаю вперед. Шива позже поймет, каковы медицинские причины зловония. Однако в тот день, один из многих дней, когда я задумался о своем будущем, Шива уже начал действовать. Не отрывая глаз от девочки, он отводит ее к Хеме. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что тем самым он предопределил свой жизненный путь. И судьба его сложится совсем не так, как моя.

Глава седьмая. Послед и другие животные

Дожди закончились, и уже недели две как начались занятия, когда Хема разбудила нас поутру новостью, которую я принял за хорошую:

– Школа отменяется. Сегодня вы сидите дома.

Оказалось, в городе неспокойно. Такси не ходят. Впрочем, после «школа отменяется» я уже не слушал.

Остаться дома – как здорово! На носу праздник Мескель, и поля Миссии уже оделись в желтое. Наш футбольный мяч завязнет в маргаритках, мы заберемся в домик на дереве... И тут я вспомнил: ведь Генет под бдительным присмотром Розины и прежней игры не получится.

Я распахнул деревянные ставни в спальне и забрался на подоконник. Солнце залило комнату. К полудню температура вырастет до двадцати четырех градусов, но пока ногам было зябко. С моего насеста открывался вид на пустынную дорогу, что вилась у восточной стены Миссии, пропадала за холмами, словно проваливалась под землю, и снова выныривала тонкой ниточкой уже на значительном расстоянии. Этой дорогой мы не пользовались, я даже не знал, куда она ведет, но она была неотъемлемой частью моего пейзажа. Слева от дороги возвышалась почти крепостная стена, дорога рядом с ней дыбилась косогором. Через стену перекачивались лиловые валы бутенвиллеи, обдавая белые шамы немногочисленных прохожих. В ясном утреннем свете и живых красках было нечто такое, что гнало прочь тревожные мысли.

В столовой я обратил внимание, какое напряженное, озабоченное у Гхоша лицо. Он был в рубашке, пиджаке и при галстукке. Похоже, он уже давно поднялся. Хема в пеньюаре жалась к нему, нервно накручивала на палец прядь волос. К своему удивлению, в столовой я обнаружил Генет, ее голова дернулась, когда я вошел, словно она была не в курсе, что я тоже живу в этом доме. Розины, которая обычно всем по утрам заправляла, нигде не было видно. На кухне у плиты стояла Алмаз; только когда яичница на сковороде уже задымилась, она переложила ее мне на тарелку. В глазах у Алмаз блестели слезы.

– Император, – выговорила она в ответ на мои приставания. – Как они смели так поступить с его величеством? Какие неблагодарные люди! Они что, забыли, что он спас нас от итальянцев, что он помазанник Божий?

Она рассказала мне, что стряслось. Пока император находился с государственным визитом в Бразилии, группа офицеров лейб-гвардии

ночью захватила власть. Во главе заговора наш любимый бригадный генерал Мебрату.

– А Земуй?

– Разумеется, он с ними! – прошептала Алмаз, неодобрительно качая головой.

– Где Розина?

Алмаз мотнула головой в сторону помещения для слуг. В кухню вошла Генет. Она направлялась к себе. Вид у нее был перепуганный. Я остановил ее и взял за руку:

– С тобой все хорошо? – В глаза мне бросились золотая цепочка и странный крест у нее на шее.

Она кивнула и вышла через заднюю дверь. Алмаз не удостоила девочку взглядом.

Гхош посмотрел на Хему так, словно они старались что-то от нас скрыть. Только тревогу было не спрятать.

Накануне вечером генерал Мебрату явился к наследнику престола и объявил, что против его отца плетут заговор. По настоянию генерала кронпринц созвал верных императору министров. Когда они прибыли, генерал Мебрату всех их арестовал.

Блестящая военная хитрость, но как она меня расстроила! Я представить себе не мог Эфиопию без Хайле Селассие – и никто не мог. Страна и повелитель были едины. В наших глазах генерал Мебрату был герой без страха и упрёка, да и лик императора успел несколько потускнеть.

Но такого я от генерала не ожидал. Что это было: предательство, проявление темной стороны души – или борьба за справедливость?

– Как вы об этом узнали? – спросил я.

У одного министра, человека старого и больного, случился приступ астмы, и Гхоша ранним утром вызвали во дворец к наследнику.

– Генерал не желает смертей. переворот должен быть бескровным.

– Он хочет сам стать императором? – спросил я. Гхош покачал головой:

– Не думаю. Речь вообще не об этом. Он хочет накормить бедняков, дать им землю. А для этого надо отобрать ее у императорской семьи и у Церкви.

– Так это хороший поступок или плохой? – спросил Шива.

В этом вопросе был он весь: терпеть не мог двусмысленности и неопределенности. Порой он не видел того, что для меня было ясно как день. Но в данном случае я бы тоже хотел это знать.

– Разве в задачи лейб-гвардии не входит защита императора? – спросил Шива.

Гхош поморщился, будто от боли.

– Я иностранец, не мне судить. Мебрату хорошо жилось. Обстоятельства его не вынуждали. Полагаю, он пошел на это ради своего народа. Когда-то он был под подозрением, потом угодил в фавориты, а недавно вновь попал под подозрение, и его могли арестовать в любую минуту.

Когда Гхош покидал дворец наследника, Земуй проводил его до машины и передал золотой кулон для Генет. Этот кулон – крест святой Бригитты – Дарвин Истон снял у себя с шеи и вручил Земую. Земуй просил сказать Генет и Розине, что он их любит.

Хема оделась, и они с Гхошем отправились в больницу.

– Будьте рядом с домом, мальчики. Слышите? Ни в коем случае не выходите за территорию Миссии.

Я подошел к воротам, насчитав всего трех пациентов на дороге. Ни машины, ни автобуса. Вместе с Гебре мы озирали окрестности. Тишина была жуткая, хоть бы цоканье копыт или звон колокольчика.

– Если четвероногие такси не покидают стойла, видать, дело серьезное, – сказал Гебре.

Поблизости от нас в шлакобетонных домиках находились два бара, портновская мастерская и ателье по ремонту радиоаппаратуры, но сегодня все будто вымерло. Не вняв наказу Хемы и Гхоша и увещеваниям Гебре, я перешел через дорогу к крошечной арабской лавчонке – ярко-желтой фанерной будке, притулившейся между двумя домами. Окошко, через которое шла торговля, было закрыто ставнями, но из приотворенной двери вышел мальчишка с газетным кулком. На десять центов сахару к утреннему чаю. Я проскользнул в ларек. Густой от благовоний воздух. Теснота. Все арабские лавочки в Аддис-Абебе одного покроя. С потолка на веревочках с прищепками праздничными украшениями свисают одноразовые пакетики «Тайда», аспирин, жвачки и парацетамола. На мясной крюк наколоты квадратики газетной бумаги, в нее заворачивают товар. На другой крюк надет моток бечевки. Сигареты поштучно натыканы в банку на прилавке, нераспечатанные пачки стоят рядом. Полки ломаются от спичечных коробков, бутылочек с содовой, ручек «Бик», точилок, кремов, блокнотов, резинок, чернил, свечей, батареек, кока-колы, фанты, пепси, сахара, чая, риса, хлеба, растительного масла и невесть чего еще. Банками с карамельками и печеньем заставлен весь прилавок, только посерединке небольшое свободное пространство. На циновке сидит Али Осман в феске,

рядом с ним жена, маленькая дочь и еще двое мужчин. Если Али с семьей, поджав коленки, улягутся на полу, места больше не останется, а тут еще и гости. Перед ними куча ката.

Али озабочен.

– Мэрион, настали времена, когда фаранги, иностранцы вроде нас с тобой, могут пострадать.

Странно слышать от него слово фаранги по отношению к себе или ко мне. Ведь и он, и я родились на этой земле.

Я перебежал обратно через дорогу и поделился с Гебре купленными карамельками.

Мимо нас внезапно прошла Розина.

– Присмотри за Генет, – бросила она через плечо, непонятно к кому обращаясь, ко мне или к Гебре.

– погоди! – крикнул Гебре, но Розина и ухом не повела.

Я бросился ей вслед и схватил за руку:

– Подожди, Розина. Ты куда? Прошу тебя.

Она резко повернулась, как бы желая меня прогнать. Лицо у нее было бледное, глаза опухли от слез, челюсть выпячена, уж не знаю, что было тому причиной, страх или решимость.

– Мальчик прав. Не ходи никуда, – проговорил Гебре.

– А что мне делать, поп? Я не видела Земуя неделю. Он парень простой. Я волнуюсь за него. Он меня послушается. Я скажу ему, чтобы хранил верность Богу и императору. Это самое главное.

Я внезапно испугался, обхватил Розину руками. Она легким движением высвободилась из моих объятий, по привычке ущипнула меня за щеку, взъерошила волосы и поцеловала в макушку.

– Подумай хорошенько, – не отступал Гебре. – Штаб лейб-гвардии далеко. Если Земуй с генералом, значит, он во дворце. А путь туда лежит мимо армейских казарм и шестого участка полиции. У тебя уйдет куча времени.

Но Розина только рукой помахала и была такова. Глаза у Гебре слезились. Трудно сказать, трахома ли была тому причиной. Казалось, он сейчас закричит. Он чувствовал: надвигается страшная опасность. Такая, что я и представить себе не мог.

Минут через десять подъехал джип с установленным на нем пулеметом, за ним бронемашина. Лица лейб-гвардейцев были мрачны, на головах каски, камуфляж сменил оливковую парадную форму. Из громкоговорителя на бронемашине раздался голос:

– Люди, сохраняйте спокойствие. К власти пришел его величество

наследник престола Асфа Воссен. Он выступит с заявлением сегодня днем по «Радио Аддис-Абеба». Слушайте «Радио Аддис-Абеба». Люди, сохраняйте спокойствие...

Я заглянул в больницу. В. В. Гонад сидел в проходе у шкафа с запасами крови, сжимал в руке транзисторный приемник. Вокруг него сгрудились медсестры и стажерки. Вид у В. В. был радостный, возбужденный.

В полдень мы собрались в нашем бунгало у «Грюндига» и транзисторного приемника Розины, один настроен на Би-би-си, второй – на «Радио Аддис-Абеба». Алмаз стояла в сторонке, мы с Генет сидели на одном стуле. Хема взяла с камина часы и принялась их заводить, на ней лица не было от волнения. Матушка с самым беззаботным видом пила черный кофе и улыбалась мне. Хорошо поставленный голос произнес по-английски:

– Говорит Би-би-си, всемирная служба.

Диктор долго распинался насчет забастовки шахтеров в Британии и наконец перешел к самому для нас важному:

– Как сообщают из Аддис-Абебы, столицы Эфиопии, здесь произошел бескровный переворот, пока император Хайле Селассие находился с государственным визитом в Либерии. Император был вынужден сократить визит и отменить поездку в Бразилию.

«Переворот» – новое для меня слово. В нем было что-то древнее и изящное, и прилагательное «бескровный» подразумевало, что переворот может быть и «кровавым».

Признаюсь, в ту минуту я был горд, что о нашем городе и даже о лейб-гвардии императора говорят по Би-би-си. Британцы ничегошеньки не знали о Миссии и о том виде, что открывается из моего окна. А теперь мы привлекли их внимание. Многие годы спустя, когда Иди Амин пустился во все тяжкие, я понял, что им двигало стремление встряхнуть добропорядочных людей гринвичского меридиана, оторвать их от чая с лепешками-сконами и заставить пробормотать: «Ох уж эта Африка». На какую-то секунду они вспомнят о нас, как мы помним о них.

Но как такое возможно, чтобы Би-би-си в Лондоне было лучше осведомлено о том, что у нас творится, чем мы сами?

Ближе к вечеру «Радио Аддис-Абеба» сыграло марш, послышалось шуршание бумаги, и в эфире прозвучал запинаящийся голос наследника престола Асфы Воссена. По газетным фотографиям и по тому, что довелось видеть лично, старший сын императора представлялся мне дородным бледным человеком, которому покажи мышку – и он завизжит. Харизмы и царственной осанки, столь характерных для императора, в нем не было ни

на грош. Кронпринц зачитал заявление – ясно было, что по бумажке – на высокопарном официальном амхарском, вполне понятном только Гебре и Алмаз. Когда он закончил, расстроенная Алмаз выскользнула из комнаты. Через несколько минут – и как они только успели – Би-би-си передала перевод.

– Народ Эфиопии долго ждал того дня, когда с бедностью и отсталостью будет покончено, но все ожидания оказались напрасными...

Политика его отца провалилась, уверял кронпринц. У власти должен встать новый человек. Занимается новый день. Да здравствует Эфиопия!

– Это слова генерала Мебрату, – заметил Гхош.

– Скорее, его брата, – не согласилась Хема.

– Они, наверное, держали наследника престола на мушке, – высказалась матушка. – Убежденности я в его голосе не услышала.

– Что ж он тогда согласился это читать? – недоумевал я. Все повернулись ко мне. Даже Шива оторвался от книги. – Сказал бы – я этого читать не буду. Умру, а отца не предаю.

– Мэрион прав, – произнесла матушка после продолжительного молчания. – Это показывает кронпринца не с лучшей стороны.

– Это не более чем хитрость, – проговорил Гхош. – Они не хотят сразу хоронить монархию. Пусть публика привыкнет к мысли о переменах. Видели, как расстроилась Алмаз, услышав, что император низложен?

– А что им публика? У них оружие. У них власть, – возразила Хема.

– А гражданская война? – стоял на своем Гхош. – Крестьяне молятся на императора. Не забывай про территориальную армию, там заслуженные бойцы, которые сражались с итальянцами. Резервисты превосходят числом и регулярную армию, и лейб-гвардию. Они легко просочатся в город.

– Могут, – согласилась матушка.

– Мебрату не в силах склонить на свою сторону армию. О полиции и ВВС вообще еще рано говорить, – продолжал Гхош. – Чем больше людей он привлечет к перевороту, тем больше вероятность, что его предадут. Когда я утром прибыл во дворец, генерал и Эскиндер спорили. Эскиндер настаивал на том, чтобы заманить всех армейских генералов в ловушку за компанию с министрами. Но Мебрату не согласился.

– А ты виделся там с генералом? – спросил я.

– Лучше бы он с ним не виделся, – фыркнула Хема. – Нечего ему путаться под ногами, когда такие дела.

Гхош вздохнул:

– Хема, я же прибыл как врач. Когда я вошел, Тсигу Дебу, шеф полиции, вместе с Эскиндером уговаривал Мебрату напасть на штаб армии,

пока они не успели организовать. Но генерал не согласился. В нем говорили... эмоции. Как-никак это его друзья, товарищи по оружию, равные по рангу. Он был уверен, что порядочные люди пойдут за ним. Знаешь, он проводил меня до двери, поблагодарил. Сказал, что приложит все усилия, только бы избежать кровопролития.

Остаток дня прошел во все той же зловещей тишине. Новых пациентов почти не было, ходячие больные расползлись по домам. Мы не отходили от приемников.

Генет сидела у себя одна. Ближе к вечеру Хема отправила меня за ней, и я привел Генет, крепко держа за руку. Она храбрилась, но я видел, как она расстроена и напугана. Этой ночью она спала у нас на диване, Розина не появлялась.

На следующий день в городе было тихо, только слухи кружили. Лишь храбрейшие из лавочников рискнули открыть свои магазины. Говорили, что армия еще колеблется, примкнуть к перевороту или сохранить верность императору.

К полудню Гебре передал, чтобы мы подошли к воротам. Мы прибыли на место вовремя: мимо шла целая процессия студентов университета, в руках у них были эфиопские флаги, потные лица вдохновенно сияли. Над толпой возвышались транспаранты: «Колледж искусств и наук», «Колледж инжиниринга»... Распорядители с нарукавными повязками следили за порядком. К моему изумлению, под транспарантом «Школа бизнеса» шагал В. В. Гонад, на лице у него расплылась глуповатая улыбка. Тоже мне студент!

Вдоль улицы выстроились настороженные зеваки вроде нас, бродячие собаки лаяли на демонстрантов. Красивая студентка в джинсах втиснула нам в руки листовки, Алмаз с омерзением отшвырнула их, будто заразные.

– Эй, мисс! Тебя ради этого послали в университет? – крикнула Алмаз вслед красавице.

Старик с бородой размахивал мухобойкой, будто старался прихлопнуть демонстрантов.

– Вы должны учиться, а не тратить зря время! – орал он. – Не забывайте, кто построил вам университет, кто научил читать!

Позже В. В. Гонад нам расскажет, что на рынке лавочники-мусульмане и эритрейцы встретили студентов восторженно. Но вообще в Аддис-Абебе демонстрацию приняли холодно, а когда она направилась было к казармам, чтобы убедить солдат присоединиться к восставшим, на пути колонны оказался отряд военных в полной боевой экипировке. Молодой командир прокричал, что у толпы есть ровно десять минут, чтобы убраться, а потом

он прикажет солдатам стрелять. Студенты пытались вступить в спор, но щелканье затворов оказалось убедительнее. В этот момент В. В. Гонад покинул ряды.

Я по-прежнему радовался, что не надо ходить в школу, но тревога взрослых передалась и мне. Гхош и матушка отправились в больницу, чтобы подготовить все необходимое в приемном покое. Хема проводила «поворот на головку». Шива, доселе не слишком интересовавшийся происходящим, вдруг встревожился, словно почувствовал что-то недоброе. Неслыханное дело, он попросил Хему остаться дома и не ходить на работу.

– Я бы не пошла, мой милый, – Хема не знала, что ей предпринять, – но у меня сегодня «поворот на головку».

– Возьми нас с собой, – взмолился Шива. – Мы занимались каллиграфией. Посмотри на мой листок. Все, как ты сказала. – Буквы у него выходили лучше, чем в учебнике Бикхема. – Ну пожалуйста.

– Да не могу я... Мне сперва в предродовую палату надо.

– Мы пойдем с тобой, – настаивал Шива.

– Нет уж. Нечего вам делать в предродовой. – Она увидела, какое расстроенное у Шивы лицо. – Вот что. Идите в женскую клинику и ждите меня там. Только будьте все время вместе.

Вот это да! Ведь Хема никогда не брала стетоскоп домой, ее белый халат тоже не покидал больницы. Я так даже забывал, что наша приемная мать – врач. У Гхоша медицина не сходила с языка, Хема на этот счет помалкивала. Мы знали, что она акушер и что по понедельникам и средам у нее операции, слышали, что она хороший врач и от пациентов отбоя нет, но ни о чем конкретном при нас не говорилось. Зато мы жили под ее постоянным приглядом и знали, что наше воспитание для Хемы на первом месте и ничто, никакая работа не в состоянии ей помешать. «Поворот на головку» – прекрасный пример. Мы слышали о нем много раз, но не имели ни малейшего представления, что это такое.

Если Хема отлучалась ночью, это сопровождалось таинственными фразами через плечо вроде «эклампсия», или «послеродовое кровотечение», или (самое для нас любопытное словосочетание) «задержанный послед». Этот самый «послед» почему-то бывал только «задержанный», хотя его прибытия очень ждали. Нам казалось, что «послед» – это какая-то птица, и мы высматривали его на деревьях, ветки которых могли его задержать.

Шива даже рисовал послед, и не раз, у его птицы не было ни глаз, ни ног, только вытянутый треугольник крыльев, отличающийся, впрочем, изысканностью и красотой. Неужели смерть мамы как-то связана с

задержанным последом? Спросить у Хемы? Но тема была под запретом – во всяком случае, так нам казалось.

Ярко-зеленое здание женской клиники, спрятавшееся за главным корпусом больницы, даже цветом своим отличалось от остальных построек – те были белые. Дерево хигении засыпало оранжевыми цветками ступеньки. Земля под деревом горела голубым пламенем лобелии, переливалась розовыми искрами клевера. На ступеньках сидела стайка беременных, головы закутаны слепяще-белыми платками, в руках розовые номерки, ну вылитые гусыни. Некоторые так и пришли босиком, прочие скинули пластиковые туфли. В городе было беспокойно, но под их смех, под разговоры о распухших коленях, изжоге, непутевых мужьях в это как-то не верилось.

Женщины подозвали нас, пожали руки, засыпали вопросами: да как нас зовут, да сколько нам лет, да почему мы так похожи? Пригласили посидеть с ними. Я бы отказался, но Шива с радостью согласился. Мне было неловко, рядом с ними я сам себе казался цыпленком меж курами, Шиве же явно нравилось их общество.

Одна женщина держала в руке розовую бумажку, которые тучами разбрасывали над городом с самолета. Она одна умела читать, хоть и медленно.

– Послание его святейшества патриарха Церкви Абуне Василиоса, – произнесла она, и беременные сразу склонили головы и перекрестились, будто его святейшество объявился перед ними собственной персоной. – К моим детям, христианам Эфиопии, и ко всему эфиопскому народу. Вчера около десяти часов вечера солдаты лейб-гвардии, кому были доверены безопасность и благоденствие августейшей семьи, совершили государственную измену...

В гуще народа, на солнцепеке меня пробрала дрожь. Слова патриарха эти женщины восприняли как истину. Его устами говорил Бог. Это не сулило ничего хорошего генералу Мебрату, человеку, которым мы так восхищались.

Дамы оживились, принялись передразнивать лейб-гвардейцев и вообще мужчин, пересмеиваться, им стало так весело, будто они на свадьбе. Шива в полном восторге улыбался от уха до уха, словно и не было никаких мрачных предчувствий, словно компания беременных – лучшее место на Земле. Многого в брате оставалось для меня непонятным.

При появлении Хемы женщины вскочили на ноги, как она ни протестовала. В глазах у нее мелькнула материнская гордость: нас с Шивой приветили.

Женщины подходили на осмотр по трое, прикрывали юбкой пах, задирали сорочки и демонстрировали округлившиеся животы. Одна дама поманила Шиву, чтобы подал ей руку, он послушно вошел, и я за ним. Хема смолчала.

– Тридцать пятая неделя у всех, – немного погодя сказала Хема, не пояснив, что это значит.

Она ощупывала пациенток обеими руками, стараясь определить, «вниз головой расположен ребенок или как-то иначе. А то ему будет нелегко выбраться. Поэтому их на пренатальном осмотре направили сюда для поворота плода на головку». Пренатальный осмотр проводила тоже Хема и в том же самом помещении, но в другой день недели.

Она достала стетоскоп, только какой-то маленький, этот инструмент именовался «фетоскоп». От головки стетоскопа отходила никелированная дуга, в которую Хема упиралась лбом, прижимая инструмент к коже, а обе руки у нее оставались свободными и давили на живот. Она подняла палец, требуя тишины. Разговоры стихли, пациенты на носилках и за дверью смолкли, затаили дыхание. Наконец Хема поднялась и произнесла:

– Скачет как жеребец! Хор голосов подхватил:

– Хвала святым!

Нам послушать Хема не предложила, сразу принялась объяснять:

– Этой рукой я нащупываю головку ребенка, другую руку накладываю на нижнюю часть его тела. Откуда я знаю, где верх, а где низ? – Она посмотрела на Шиву так, будто он задал неприличный вопрос. – А ты знаешь, сынок, сколько тысяч детишек я так поворачивала? Тут большого ума не надо. Головка твердая, как кокосовый орех. Нижняя часть куда мягче. Руками я определяю картину. – Она указала на приспущенную юбку пациентки: – Ребенок повернут ко мне спиной. А теперь гляди...

Хема расставила ноги, уперла руки в живот женщины и толкнула головку плода в одну стороны, а ягодицы – в другую, одновременно сближая руки. Что-то в ее движении напомнило мне «Бхаратанатьям».

– Вот! Видишь? Сначала идет туго, потом делается податливым и поворачивается.

Я ничего не видел.

– Разумеется, не видел. Ребенок погружен в воды. Я даю начальный толчок, и последние четверть оборота ребенок делает сам. Это не ягодичный ребенок, он расположен головкой вперед, как и полагается. – Она еще послушала сердце плода, убедилась, что тоны нормальные, и взялась за следующую пациентку.

Хема действовала, как и во всем прочем, очень энергично, очередь

рассосалась в два счета. Один ребенок не захотел проделать кульбит.

– Насколько я знаю, труды могут оказаться напрасными. Гхош просит меня изучить, сколько детей сохраняют после поворота продольное положение. Знаете его поговорку: «Непроверенные приемы неприемлемы»? – Она фыркнула. – В детстве у меня был приятель по имени Велу. Он держал кур. Если несущка как-то по-особому кудахтала, Велу уже знал, что яйцо встало поперек и застряло и надо его повернуть в вертикальное положение. Курица переставала кудахтать и нормально неслась. В ваши годы Велу был несносный мальчишка. Но я сейчас вспоминаю, что он проделывал с курами, и мне кажется, я его недооценила.

Я помалкивал, чтобы не перебить настроения. Хема так редко рассуждала о своей работе вслух.

– Между нами, мальчики, у меня нет никакого желания публиковать статью, которая может лишит меня работы, пусть даже отчасти. Мне так нравится поворот плода.

– Мне тоже, – подхватил Шива.

– Что в Индии, что в какой другой стране все женщины устроены одинаково.

Хема посмотрела на стайку пациенток. Ни одна не ушла – после операции полагались чай с хлебом и витамины. Дамы улыбались Хеме с симпатией – даже нет, с обожанием.

– Поглядите-ка на них! Какие они радостные и счастливые! Придет пора рожать, и они будут визжать, кричать, проклинать мужей, обратятся чуть ли не в дьяволиц, изменятся до неузнаваемости. А сейчас они чисто ангелы. – Хема вздохнула. – В этой стране женщины – само воплощение женственности.

Мы с Шивой забыли о том, что творится в городе и стране. Как нам повезло, что в родителях у нас Хема и Гхош! С ними можно не бояться.

– Мам, – сказал вдруг Шива, – а Гхош говорит, что беременность – это болезнь, передающаяся половым путем.

– Это он тебя дразнит так. Знает, что ты мне расскажешь. Вот негодяй. Учит вас всяким гадостям.

– А ты нам покажешь, откуда появляются дети? – любопытствовал Шива, и хотя он спросил совершенно серьезно, настроение было перебито.

Я на него разозлился. Таким же таинственным образом, как выпадали молочные зубы и появлялись постоянные, во мне зрели застенчивость и стыдливость, сдерживающие любопытство; я бы постеснялся лезть к Хеме с такими вопросами. У Шивы тоже выросли постоянные зубы, но стыдливость его, как видно, обошла стороной. Интересно, что ему ответит

Хема?

– Ну что же. Довольно. Вам, детки, домой пора.

– Мам, а что означает «половым путем»? – не отставал Шива.

– Мне надо заглянуть в палаты, – выпроваживала нас Хема. – Не выходите никуда из дома.

Тон у нее был сердитый, но мне показалось, что она с трудом удерживается от смеха.

Глава восьмая. Государственный переворот

В стране, где о красоте пейзажа не расскажешь, не упомянув небо, при виде трех реактивных самолетов, стремящихся ввысь, захватывает дух.

Я находился на лужайке перед главным корпусом. Земля затряслась у меня под ногами, по спине пробежала дрожь, и только потом я услышал звук взрыва. Я замер на месте. Вдали за клубился дым. Гробовая тишина сменилась вознесшимся к небу птичьим гвалтом. Залаляли все собаки в городе.

Я старался убедить себя, что все это – самолеты, бомбы – не более чем часть некоего всеохватного плана, что события развиваются по намеченному сценарию и Гхош с Хемой понимают суть происходящего куда лучше меня. Да и вообще – все утрясется.

Когда Гхош со всех ног выбежал из дома и подхватил меня на руки, ужас и тревога в его глазах сказали мне: не обольщайся. Взрослые не у дел. Конечно, такой вывод напрашивался и раньше, но даже когда я видел, как лейб-гвардейцы колотят старушку, это не поколебало моей веры, что вселенная в подчинении у Гхоша и Хемы.

А на самом-то деле они были бессильны что-либо изменить.

Гхош, Хема и Алмаз вытащили тюфяки в коридор – белые стены, глина с соломой, ни от чего не защищали. Коридор от улицы все-таки отделяли целых три глинобитные стены, вдруг пули застрянут. А они, казалось, свистели совсем близко, тогда как выстрелы и взрывы гремели вроде бы в некотором отдалении. В кухне зазвенело стекло, потом выяснилось, что пуля разбила окно. Я лежал на тюфяке, не в силах пошевелиться, и ждал, что кто-то придет и скажет: «Это страшная ошибка, ее скоро исправят», и можно будет выйти во двор и заняться играми.

– Пожалуй, можно предположить, что армия и ВВС не присоединились к заговору, – проговорил Гхош и поискал глазами Хему, оценила ли она его деликатную формулировку. Она оценила.

У Генет тряслись губы. Я мог лишь догадываться, в какой она тревоге; меня холодом охватывало, стоило только подумать о Розине, которая отсутствовала уже более суток. В протянутую мною руку Генет так и вцепилась.

В сумерки перестрелка усилилась и очень похолодало. Матушка-

распорядительница бесстрашно сновала между бунгало и больницей, несмотря на все наши мольбы. Выходя в туалет, я видел трассирующие пули на фоне темнеющего неба.

Гебре запер главные ворота, обмотал их цепью и перебрался из своей сторожки в больницу. Медсестры и их ученицы расположились на ночь в сестринской столовой под присмотром В. В. Гонада и рецептурщика Адама.

Ближе к полуночи раздался стук в заднюю дверь. Гхош открыл. На пороге стояла Розина! Генет, я и Шива бросились ее обнимать. Генет плакала и кричала, что мать ее бросила и заставила волноваться.

За спиной Розины стояла, улыбаясь, матушка-распорядительница. Какой-то инстинкт велел матушке и Гебре подойти лишний раз к запертым воротам. Оказалось, с той стороны свернулась калачиком Розина, пытаясь укрыться от ветра.

Жадно глотая пищу, Розина рассказала нам, что дело обстоит куда хуже, чем она думала.

– Центр города оцеплен армией. Пришлось искать лазейку, то туда сунешься, то сюда.

Перестрелка возле какой-то виллы заставила ее спрятаться, а потом армейские танки и бронетранспортеры отрезали путь назад. Она провела ночь на ступеньках лавки на рынке еще с несколькими людьми, которых застигла темнота. А наутро части армии стали прочесывать улицы. На то, чтобы пройти три мили, у нее ушел весь день до самых сумерек. Розина подтвердила наши худшие опасения. Лейб-гвардейцев атакуют армия, ВВС и полиция. Стычки происходят повсюду, но армия сосредотачивает силы вокруг позиции генерала Мебрату.

Розина поспешила к себе, чтобы умыться и переодеться, и скоро вернулась с тюфяками и карамельками для нас. Генет все еще дулась. Розина прижала к себе дочь.

Матушка села на тюфяк, вытянула ноги, вытащила из-под свитера револьвер и засунула между тюфяком и стеной.

– Матушка! – вырвалось у Хемы.

– Знаю, Хема... Денег баптистов я на него не тратила, если ты это имеешь в виду.

– Я об этом вообще не думала. – Хема глядела на оружие, словно оно вот-вот взорвется.

– Клянусь, это был подарок. Он у меня спрятан, где ни одна живая душа не найдет. Но, понимаешь, грабители... вот что должно нас беспокоить, – проговорила матушка. – Револьвер может их отпугнуть. А еще два ствола я купила. Передала В. В. Гонаду и Адаму.

Алмаз принесла корзинку инжеры и карри из ягненка. Мы ели пальцами из общей миски. А потом опять потянулось ожидание. Мы вслушивались в далекие хлопки и разрывы. Я был слишком напряжен, чтобы читать или заняться чем-то еще. Лежал, и все.

Шива сидел, скрестив ноги, вертел в руках тетрадную страничку, перегибал пополам, рвал, опять перегибал и рвал, пока не получалась кучка крошечных квадратиков. Я знал: события потрясли его так же, как и меня. Его методичные движения успокаивали меня, казалось, мои руки тоже движутся. Он отложил в сторону бумажный квадратик, потом три, потом отсчитал 7 квадратиков, затем 11. Я спросил, что он делает.

– Простые числа, – ответил он, словно это все объясняло, и принялся раскачиваться взад-вперед, шевеля губами.

Меня изумлял его дар отрешаться от происходящего, забываться в танце, целиком погружаться в рисование мотоциклов или, вот, игру с простыми числами. У него имелось много способов забраться в уме в домик на дереве, втащить за собой лестницу и тем отрешиться от царящего внизу безумия. Я завидовал.

Но сегодня ему не удалось полностью уйти в себя, уж я-то знал. Ведь сколько я на него ни смотрел, мне ничуть не становилось легче.

– Брось, – шепнул я Шиве. – Давай спать. Он тотчас отшвырнул бумажки.

Розина и Генет уже спали. Переволновались, бедняжки. Возвращение Розины сняло камень с души, но наибольшее умиротворение снизошло на меня, когда мы с Шивой соприкоснулись головами. Я как бы обрел блаженное пристанище на краю света. Нет, Шива-Мэрион никогда не разлучится окончательно, какая бы беда ни стряслась, достаточно чуть поднатужиться, и он вернется, воссоединится. Хотя мы уже давненько вроде как порознь... Меня кольнула совесть. Я пихнул его в бок, он улыбнулся (я почувствовал это с закрытыми глазами) и ответил мне тем же. У нас было несомненное преимущество перед всем остальным миром.

Проснулся я внезапно. Все, кроме матушки и Гхоша, спали. Перестрелка то усиливалась, то внезапно стихала, и тогда я слышал слова матушки особенно отчетливо:

– Когда император в тридцать шестом бежал из Аддис-Абебы, перед приходом итальянцев воцарился хаос... Мне бы отправиться в представительство Британии, под охрану сикхов-пехотинцев. Тюрбан, борода, штык на винтовке, вид до того грозный, что ни один мародер близко не смел подойти. А я сделала большую ошибку и не пошла туда...

– Почему?

– Засмушалась. Мне как-то довелось обедать с посланцем и его супругой. Было ужасно не по себе. Благодарение Господу за Джона Мелли, молодого врача-миссионера. Он сидел рядом со мной, говорил о вере, о том, что надеется открыть здесь медучилище... – Голос ее смолк.

– Вы как-то говорили мне о нем, – негромко произнес Гхош, – вы любили его. Вы еще сказали, что когда-нибудь расскажете мне все.

Повисло долгое молчание. Меня так и подмывало открыть глаза, но я знал, что, поступив так, все испорчу.

Голос матушки звучал низко.

– Я осталась здесь, и это послужило причиной смерти Джона Мелли. Тогда здесь тоже был госпиталь, хоть и не имевший отношения к миссии. Ну, в больницу-то сунуться не посмеют, решила я. Еще как посмели. Наш собственный санитар привел сюда целую банду. Они схватили молоденькую помощницу медсестры и изнасиловали. Я спряталась в изоляторе на другом конце здания. Там был доктор Соркис. Вы с ним никогда не встречались. Ужасный хирург, мрачный тип. Оперировал, будто неживой, будто его ничего не интересует. У нас была целая череда бездарных докторов, пока не приехали вы, Хема и Стоун. – Она опять вздохнула. – Впрочем, в ту ночь, если бы не Соркис... У него был дробовик и револьвер. Когда мародеры подошли к изолятору, я через закрытую дверь вступила в переговоры с Тесфае – так звали нашего санитаря. «Ради Бога, не твори зла». А он меня высмеял. «Никакого Бога нет», – говорит. И много еще чего сказал. Богохульствовал.

Они высадили дверь, и Соркис первый свой выстрел произвел на уровне глаз, а второй – на уровне паха. Грохот меня оглушил. Когда ко мне вернулся слух, я услышала стоны. Соркис перезарядил дробовик и выстрелил мародерам по коленям.

Признаюсь, для меня было удовольствием увидеть, как они ковыляют прочь. Страх сменила ярость. А Тесфае сунулся в дверь опять. Наверное, думал, за ним, как раньше, идет толпа. Соркис поднял револьвер – вот этот самый – и нажал на спуск. Выстрел я услышала потом, сперва увидела, как у Тесфае разлетаются в разные стороны зубы, а из затылка выплескивается кровавое месиво. Остальные нападавшие бежали.

На следующее утро в город вошли итальянцы. Можете назвать меня предательницей, Гхош, но я их приветствовала... Тогда-то я и узнала, что Джон Мелли ехал за мной. Он остановил свой грузовик, чтобы помочь раненому, к нему подошел пьяный мародер, приставил пистолет к груди и выстрелил. Без всякой причины!

Как только мне рассказали, я помчалась в представительство и

приняла на себя уход за больным. Он мучился две недели, но его вера не поколебалась. Это одна из причин, по которой я его не оставила. Я была ему обязана. Я держала его за руку, и он попросил меня спеть гимн Джона Баньяна. Наверное, пока он был жив, я спела его не меньше тысячи раз.

Какие невероятные открытия можно совершить с закрытыми глазами: в жизни не слышал, чтобы матушка говорила о своем прошлом, в моем представлении она так и появилась на свет в монашеском одеянии и всегда распоряжалась Миссией. Ее негромкий рассказ, в котором были страх, любовь, убийство, показался мне куда страшнее, чем отдаленная перестрелка. В темном коридоре, где на стенах плясали тени от разрывов и трассирующих пуль, я тесно прижался своей головой к голове Шивы. Что еще мне неизвестно? Мне хотелось спать, но дрожащий голос матушки так и звучал в ушах.

Глава девятая. Ярость как форма любви

К следующему вечеру все было кончено: государственный переворот потерпел крах, сотни лейб-гвардейцев были убиты и еще больше сдались. Я видел, как из дома напротив Миссии выволакивали человека в трусах и майке, одно то, что он снял с себя бросающуюся в глаза форму, выдавало мятежника.

Армейские танки и бронетранспортеры неумолимо наступали, и генерал Мебрату с кучкой сторонников под покровом ночи бежали из Старого дворца и направились на север, в горы.

Наутро император Хайле Селассие Первый, Победоносный Лев Иудеи, Царь Царей, Потомок Соломона, вернулся в Аддис-Абебу на самолете. Весть о его прибытии разлетелась с быстротой молнии; дорогу, по которой ехал кортеж автомобилей, обступила вопящая, танцующая толпа. Император уже давно проехал, а люди все выкрикивали его имя и радостно прыгали, взявшись за руки. Среди них были Гебре, В. В. Гонад и Алмаз; по ее словам, лицо его величества дышало любовью к своему народу, благодарностью за верность.

– Я видела его так близко, как тебя сейчас. Клянусь, у него в глазах стояли слезы. Бог накажет меня, если я вру.

Студенты университета, чья демонстрация за несколько дней до того прошла по улицам, будто попрыгались.

Настроение в городе было праздничное. Лавки открылись. Такси (как на конной тяге, так и на бензиновой) заполнили улицы. Над Аддис-Абебой сияло солнце, и день был прекрасен во всех отношениях.

А вот у нас в бунгало царило уныние. В моих глазах генерал Мебрату и Земуй были «хорошие парни», герои. Правда, и император вовсе не представлялся мне злодеем, что бы там ни говорили руководители переворота. И все-таки я бы желал, чтобы затея генерала увенчалась успехом. Однако события пошли по наихудшему сценарию, мои герои преобразились в «плохих парней», и никто не осмелился бы с этим спорить.

Розина и Генет жадно кидались на новости, наперед зная, что ничего хорошего не услышат.

Я только сейчас осознал, что Земуй никогда больше не придет за своим мотоциклом, а Дарвин не получит писем от друга. Да и с партиями в бридж с участием генерала Мебрату, скорее всего, покончено.

Император назначил колоссальную награду за поимку Мебрату и его брата. В ночь после возвращения императора в городе еще гремели выстрелы, шла охота на последних мятежников. Мне было очень жалко рядовых гвардейцев вроде того, что выволакивали на улицу из дома напротив, все его преступление заключалось в том, что он выполнял приказы генерала Мебрату. А генерал проиграл.

Я уж и не знал, что мне думать о нашем генерале; у человека, которого мы знали и любили, не могло быть ничего общего с ужасным мятежом. Всякий раз, когда я слышал выстрелы, мне казалось, что это казнят его или Земуя.

На следующее утро меня разбудили громкие рыдания из комнаты Розины. В коридоре я наткнулся на Гхоша и Хему, прямо в пижамах мы бросились к служанке.

У двери Розины с мрачными лицами стояли Гебре и еще двое. Розина истерически причитала на языке тигринья, но суть была понятна и без перевода.

Мы узнали, что небольшой отряд генерала Мебрату отступил в горы Энтото, а затем спустился в долину неподалеку от города Назрета. Они направились к горе Зиквала, спящему вулкану, где надеялись укрыться на землях, принадлежащих семье Можо.

Их выдали громкими криками лулулуду попавшиеся навстречу крестьяне.

Вскоре отряд окружили силы полиции. В последней перестрелке, когда кончились патроны, генерал Мебрату отобрал оружие у одного раненого полицейского, потом подполз к другому, чтобы отнять пистолет и у него, позвал на помощь своего брата Эскиндера, а тот выстрелил генералу в лицо, а себе – в рот. Непонятно, заранее они договорились о самоубийстве или Эскиндер решил за них двоих. Что касается Земуя, отца Генет и друга Дарвина, он не пожелал сдаться, полицейские его окружили и застрелили.

Пуля Эскиндера угодила генералу в щеку, выбила правый глаз, который повис на ниточке, и застряла под левым глазом. Каким-то чудом пуля не проникла внутрь черепа. Генерал потерял сознание, но остался жив. Его срочно перевезли за сто километров в Аддис-Абебу, в военный госпиталь.

Мы вчетвером сидели за обеденным столом, стараясь не слушать завываний Розины. Сквозь них до меня доносились рыдания Генет. Хотя Хема уже навестила Розину и вернулась к нам, я никак не мог заставить себя пойти повидать убитую горем служанку. Шива закрыл руками уши, глаза у него были мокрые.

Пока мы сидели за столом, позвонили из канцелярии школы.

– Занятия возобновляются, – объявил Гхош, положив трубку, – не забудьте физкультурную форму.

Гхош отмел наши опасения и убедил нас, что лучше сидеть на уроках, чем слушать причитания Розины. Он повез нас в школу на машине, мы с Шивой расположились на переднем сиденье.

Возле Национального Банка на проезжую часть высыпала толпа, заряженная странной энергией, и направилась к нам. Машина ползла вперед. Вдруг прямо перед собой я увидел три трупа, болтающихся на виселице. Гхош велел нам отвернуться, но было уже поздно. Неподвижные тела, казалось, висят здесь давным-давно. Шеи у них были неестественно выгнуты, руки связаны за спиной.

Толпа обступила нашу машину. Зрелище, судя по всему, только-только завершилось. Вперед выступил молодой человек в компании еще двоих, они забарабанили кулаками по капоту машины, грохот заставил меня подпрыгнуть. Злоумышленник ухмыльнулся и сказал что-то, явно нелестное для нас. Что-то стукнуло по крыше у нас над головой, и наш автомобиль принялись раскачивать туда-сюда.

Сейчас нас повесят рядом с этими, мелькнуло у меня в голове. Крик застрял у меня в горле, я вцепился в приборный щиток.

– Спокойно, мальчики, – прошептал Гхош. – Улыбайтесь, машите, показывайте зубы! Кивайте... делайте вид, что мы прибыли полюбоваться на зрелище.

Не знаю, вымучил ли я улыбку, но крик сдержал. Мы с Шивой напустили на себя беззаботный вид, помахали руками. То ли толпу порадовал вид двойняшек, то ли у людей возникла уверенность, что мы такие же безумцы, как и они сами, только слышался смех, после чего по машине стали колотить уже как-то добродушно, без злости.

Гхош раскланивался на все стороны, широко улыбался, бормотал оживленно:

– Знаю, знаю, ты такой крутой, и ты тоже, привет, я приехал полюбоваться казнью, а давай-ка лучше повесим тебя, как любезно с вашей стороны, спасибо, спасибо...

Машина потихоньку ползла вперед. Прежде я никогда не видел Гхоша таким, фальшивая улыбка, скрывающая презрение и ярость, была мне в новинку. Наконец толпа осталась позади, путь был свободен. Обернувшись назад, я увидел, как с повешенных сдирают кожаные ботинки.

Мы с Шивой прижимались друг к дружке. Нас била дрожь. На парковке у школы Гхош выключил зажигание и притянул нас к себе. Из

глаз у меня полились слезы. Я плакал по Земую, по генералу Мебрату с выбитым глазом, по Генет и Розине, наконец, по себе самому В объятиях Гхоша мне было хорошо и спокойно. Он вытер мне лицо своим носовым платком, а другим его концом промокнул слезы Шиве.

– Вы совершили самый храбрый поступок в жизни. Вы сохранили хладнокровие, натянули решимость на колки. Я вами горжусь. Вот что – на уик-энд мы уедем из города. К горячим источникам – в Содере или Волисо. Поплаваем всласть и забудем обо всем.

Он стиснул нас на прощанье.

– Если найду Меконнена, он будет здесь со своим такси в обычное время. Если не найду, приеду сам в четыре.

У дверей школы я обернулся. Гхош смотрел нам вслед, он помахал мне.

Школа гудела. Дети наперебой рассказывали, что видели и делали. У меня не было никакого желания вносить свою лепту. Слушать тоже не хотелось.

В тот день, пока мы были в школе, четверо мужчин на джипе приехали за Гхошем. Его забрали как обычного уголовника, сковали руки за спиной и погнали перед собой, награждая тычками. В. В. Гонад, который и рассказал все Хеме, пытался убедить людей в джипе, что это ошибка, что Гхош – уважаемый человек, хирург, но лишь получил удар тяжелым башмаком в живот.

Хема, не поверив, что Гхоша арестовали, стремглав помчалась домой. Да он наверняка сидит в кресле, задрав босые ноги на стол, и читает книгу! Хема даже заранее на него разозлилась.

Она бурей ворвалась в бунгало:

– Видишь, как для нас оказалось опасно связываться с генералом? Что я тебе говорила? По твоей милости нас всех могли убить!

Всякий раз, когда она накидывалась на него, Гхош становился в позу матадора и принимался вертеть перед разъяренным быком воображаемой мулетой. По-нашему, это было смешно. Хема этой точки зрения не разделяла.

Но сейчас, в отсутствие матадора, в доме было тихо. Звеня браслетами, Хема пронеслась по комнатам. В голове ее роились образы один страшнее другого. Ему связали руки за спиной и бьют по лицу, по гениталиям... Хема кинулась в туалет, и ее вырвало. Когда тошнить перестало, она зажгла благовония, позвонила в колокольчик и дала обет, что совершит паломничество в храмы Тирупати* и Веланкани, если Гхош вернется целым и невредимым.

* Город в округе Читтур в индийском штате Андхра-Прадеш, одно из крупнейших мест паломничества в индуизме. В 10 км к северо-западу от Тирупати расположен храм Тирумалы Венкатешвары, самый богатый индуистский храм в мире. Его называют «индуистским Ватиканом».

Хема сняла телефонную трубку, чтобы позвонить матушке. Но линия была мертва. Телефоны перестали работать, когда посыпались бомбы, и с тех пор включались лишь время от времени. Хема уперла взгляд в кухонное окно.

Машина Гхоша стояла у больницы. Ну хорошо, сядет она в авто, и куда ехать? Куда его увезли? А если ее тоже арестуют, сыновья останутся одни... Невероятным усилием воли Хема заставила себя дожидаться нас.

Из помещения для слуг неслись причитания – голос у Розины был хриплый, чужой. Она обращалась к Земую, или к Богу, или к людям, которые убили ее мужа. Начала она с утра пораньше, и конца-края ламентации было не видно.

В окно Хема увидела, как Генет (глаза у девочки были заплаканные, но держалась она молодцом) ведет шатающуюся Розину в сортир. Разделить с ними горе могли только Алмаз и Гебре, больше никому. А они, как назло, отсутствовали. Генет резко повзрослела, лицо у нее сделалось суровое, вся сладость и нежность куда-то делись.

Хема плеснула себе в лицо водой, глубоко вздохнула. Ради детей возьми себя в руки, велела она себе.

Налив стакан воды из очистителя, она залпом выпила. Не успела она поставить стакан на место, как в кухню ворвалась Алмаз:

– Мадам, не пейте воды! Говорят, мятежники отравили водопровод.

Но было уже поздно. Лицо у Хемы словно огнем зажглось, живот скрутили колики, подобных которым у нее в жизни не бывало.

Глава десятая. Лицо страдания

Когда Гебре встретил нас у ворот и объявил, что Гхоша забрали, мое детство кончилось.

Мне было двенадцать, не маленький уже, но я заплакал второй раз за день. А что еще мне оставалось делать?

Будь я не мальчик, но муж, я бы пробрался туда, где держат Гхоша, и спас его.

«Перестань реветь», – сказал я себе и сжал зубы.

Смертельно бледный Шива молчал.

Хема лежала на диване, белое лицо в испарине, растрепанные волосы слиплись. Заплаканная Алмаз, от невозмутимости которой не осталось и следа, с ведром в руке стояла рядом.

– Она напилась воды, – опередила наши вопросы Алмаз. – Не пейте воду.

– Со мной все хорошо, – пролепетала Хема, но ее слова никого не убедили.

Сбывался мой худший кошмар: Гхоша нет с нами, а Хема смертельно больна.

Я спрятал лицо в ее сари, мои ноздри втянули ее запах. Мне казалось, я виноват во всем: в неудавшемся мятеже генерала, в том, что арестовали человека, который заменил мне отца, даже в том, что отравили воду...

Входная дверь распахнулась, впуская матушку и доктора Бакелли. Тяжело дышавший доктор держал руке потертый кожаный саквояж. Матушка, тоже изрядно запыхавшаяся, выговорила:

– Хема! С водой ничего не случилось. Это только слухи. Вода такая же, как всегда.

Хема смутилась:

– Но ведь... У меня были колики, тошнота. Меня вырвало.

– Я ее сам пил, – заверил Бакелли. – С водой полный порядок. Через несколько минут вам станет лучше.

Шива посмотрел на меня. Проблеск надежды.

Хема поднялась, пощупала руки, голову. Позже мы выясним, что похожие сцены разыгрывались по всему городу. Это был для нас ранний урок медицины. Порой, если уверишься, что заболел, взаправду заболеешь.

Если Бог есть, он снял у нас камень с души. А ну, как и здесь повезет?

– Мам, а что с Гхошем? За что его забрали? Его повесят? Что такого он

сделал? Его избили? Куда его увезли?

Матушка усадила нас на диван, достала свой белоснежный носовой платок.

– Ну же, малыши, ну. Разберемся. Всем нам надо быть сильными, ради Гхоша. Паника нам ни к чему.

Алмаз встрепенулась:

– Чего мы ждем? Надо в тюрьму Керчеле. Вот приготовлю еду и побегу! И надо взять с собой одеяла. И одежду!

Когда за рулем Хема, «фольксваген» сам на себя не похож. Бакелли расположился спереди, сзади – Алмаз и матушка, мы у них на коленях. На ухабах потряхивало.

Я как бы увидел Аддис-Абебу заново. Я всегда считал ее красивым городом, с широкими проспектами в центре, многочисленными площадями, памятниками, скверами: площадь Мехико, площадь Патриотов, площадь Менелика... Иностранцы, представление которых об Эфиопии сводилось к толпе голодающих в слепящей пыли, глазам своим не верили, выходя из самолета в затянутый дымкой ночной холодок Аддис-Абебы и видя бульвары, трамваи, огни Черчилль-авеню... Наверное, произошла ошибка и они сели в Брюсселе или в Амстердаме.

Но после того, как провалился переворот, после ареста Гхоша я смотрел на город другими глазами. Площади, посвященные битве при Адове или изгнанию итальянцев, превратились в места, где кровожадная толпа устраивала самосуд. В виллах, которыми я так восхищался, розовых, лиловых, желто-коричневых, утопающих в зарослях бутен-виллеи, встречались заговорщики и держали совет те, кто подавил мятеж. Измена наводняла улицы, предательство гнезилось в виллах. Этот запах – смрад вероломства, – неужели он всегда был здесь?

Вскоре мы подъехали к зеленым воротам тюрьмы, именуемой в народе Керчеле, от искаженного итальянского сагсеге, что значит «арестовывать». Узилище называли также «Алем Бекагне», что с амхарского можно перевести как «прощай, жестокий мир». Вход помещался за железнодорожным переездом, асфальт резко обрывался, и начиналась полоса глубокой грязи, истоптанной ногами сотен снедаемых тревогой родственников заключенных, наших товарищей по несчастью. Беспомощные, они сгрудились у ворот, но перед нами расступились, пропуская в караульное помещение.

Не успела матушка рта раскрыть, как один из тюремщиков выпалил скороговоркой, не поднимая глаз:

– Не знаю, здесь ли человек, которого вы ищете, и не знаю, когда ко

мне поступят сведения о нем, если вы принесли передачу, еду или одеяла, можете оставить, если человека здесь нет, передачу получают другие. Напишите его имя на бумаге и приложите к передаче. На вопросы не отвечаю.

Люди подпирали стену, женщины по привычке раскрыли зонтики, хотя солнце сегодня пряталось за тучами. Алмаз отыскала точку, с которой было хорошо видно, кто приходит и уходит, села на корточки и застыла.

Прошел час. У меня начали ныть ноги. В толпе мы были единственными иностранцами, и к нам отнеслись сочувственно. Один человек, преподаватель университета, рассказал, что его отец много лет тому назад сидел в тюрьме.

– Мальчиком я каждый день пробегал три мили, еду относил. Он был такой худой, но перво-наперво старался накормить меня, а потом требовал, чтобы я забрал домой добрую половину принесенного. Однажды, когда передачу принесли мама со старшим братом, они услышали страшные слова «в дальнейшем передачи не понадобятся». Так мы узнали, что отец умер. А знаете, за что сегодня арестовали моего брата? Ни за что. Он бизнесмен, работает с утра до ночи. Но родителей когда-то записали во враги. Сын в ответе за отца. Бог знает, почему меня не тронули. Это я был со студентами на демонстрации. А забрали брата. Наверное, потому, что он старше.

Бакелли взял такси и поехал в клуб «Ювентус», разузнать, не удастся ли подключить итальянского консула. Оттуда – в Миссию. Когда один доктор арестован, а его жена томится возле тюрьмы, всю работу возьмет на себя третий доктор, то есть он, Бакелли. Примет пациентов, приглядит за медсестрами и за рецептурщиком Адамом.

Шива, Хема, матушка и я минут пятнадцать сидели в машине, греясь, а потом снова шли к тюремным воротам. Уходить не хотелось, хотя пока мы ничего не добились.

Уже совсем стемнело, когда мимо нас прошел человек, с головой укутанный в покрывало. Мы как раз выбирались из машины. Посетитель, который махнул на все рукой? Но он вышел откуда-то из боковой двери, и ботинки у него очень уж сияли. В руке он держал узелок, в котором угадывались очертания кастрюли с крышкой. Человек посмотрел на матушку, повернулся спиной к дороге и остановился за машиной, будто собираясь помочиться.

– Не поворачивайтесь ко мне! – хрипло выговорил он по-амхарски. – Доктор здесь.

– Он жив? – прошептала матушка. Человек помедлил.

– Пара синяков. А так все в порядке.

– Умоляю вас! (В жизни не слышал, чтобы Хема кого-нибудь умоляла.) Он мой муж. Что с ним будет? Его выпустят? Он никак не связан со всем этим...

Мужчина шикнул. Мимо нас прошествовало многочисленное семейство. Когда они растворились во мраке, он произнес:

– Одного того, что я с вами говорю, достаточно, чтобы меня обвинить. Если хочешь обезопасить себя, обвини кого-нибудь. Будто звери, честное слово. Плохие времена. С вами я заговорил, потому что вы спасли жизнь моей жене.

– Спасибо. Что мы можем для вас сделать? Для него...

– Не сегодня. В десять утра будьте здесь. Нет, дальше. Видите вон тот столб с фонарем? Приходите туда. Захватите одеяло, деньги и миску. Деньги для него. А сейчас идите домой.

Я бросился к неподвижно стоявшей у ворот Алмаз. Юбки топорщились вокруг нее, словно цирковой шатер, белая габби обматывала голову и плечи, только глаза оставались открытыми. Она и слышать не хотела о том, чтобы покинуть пост, собиралась провести здесь всю ночь. Ничто не могло ее убедить. В конце концов мы принуждены были уступить. Алмаз согласилась надеть Хемин свитер и поплотнее укуталась в габби.

Телефоны, к счастью, работали. Матушка позвонила из дома в британское и индийское посольства, и те обещали прислать утром своих представителей. Говорить с членами августейшей семьи матушке не имело смысла, если уж сын императора был под подозрением, то племянницы и внуки тем более. Ходили слухи, что младшие офицеры армии ропщут и считают ошибкой неучастие своих генералов в перевороте; наверное, частичка правды в этом была, а то с чего бы императору поднимать сразу всем армейским офицерам довольствие. Поговаривали еще, что только извечное соперничество между лейб-гвардией и армией спасло его величество.

В ту ночь Шива и я спали в одной постели с Хемой. Подушка пахла брильянтином Гхоша. Стопка его книг громоздилась на тумбочке, в «Указателе дифференциальной диагностики Френча» страница была заложена ручкой, на книге лежали его очки для чтения. В выполняемых им на сон грядущий ритуалах – десятикратном втягивании живота, возлежании на тьюфяке с закинутой назад головой (он называл это антигравитационными процедурами) – не было ровно ничего выдающегося, но в его отсутствие они стали казаться особо важными.

«Еще один день в раю», – неизменно говаривал он, касаясь головой подушки. Теперь я понимал, что он имел в виду, день без происшествий – драгоценный дар. Мы втроем лежали в постели и ждали, как будто он вышел на кухню и вот-вот вернется. Хема всхлипнула и прошептала, вторя нашим мыслям:

– Господи, обещаю никогда больше не помыкать этим человеком.

Матушка, решившая заночевать в нашем доме и лежавшая в нашей с Шивой постели, отозвалась:

– Хема, спи. Мальчики, помолитесь. Не надо волноваться.

Я помолился всем божествам в комнате, начиная с Муруги и заканчивая кровоточащим сердцем Иисуса.

Алмаз воротилась ранним утром. Новостей не было никаких.

– Но когда приезжала или отъезжала машина, я вставала. Если в машине был доктор, он меня видел.

Хема и матушка собирались отправиться к десяти на условленное место с едой, одеялами и деньгами, а потом заняться посольствами и императорским семейством. Хема убедил нас остаться дома.

– А вдруг Гхош позвонит домой? Надо кому-то быть у телефона.

Мы оставались не одни, с нами были Розина и Генет. Алмаз, подкрепившись горячим чаем с хлебом, настояла на том, что поедет в Керчеле с матушкой и Хемой.

К полудню они еще не вернулись. Под присмотром Розины я, Шива и Генет соорудили бутерброды. Глаза у Розины были заплаканы, голос хрипел:

– Не волнуйтесь. С Гхошем не случится ничего дурного. Почему-то уверения служанки ободрили нас. Генет, бледная, с застывшим взглядом, стиснула мне руку.

Кучулу была очень тихая собачка. И если уж залаяла, значит, неспроста. Поэтому, услышав ее лай, я насторожился. В окно гостиной увидел, как какой-то неопрятный мужчина в зеленой армейской форме идет по подъездной дорожке, сворачивает за угол нашего дома. Кучулу зашла в лае.

Она явно хотела сказать: на ступеньках нашего дома очень опасный человек.

Я бросился на кухню. Розина, Генет и Шива уже стояли у окна. Кучулу словно взбесилась, шерсть на загривке дыбом, клыки оскалены. Человек расстегнул китель и вытащил из-за пояса револьвер. Ни ремня, ни кобуры, ни гимнастерки, одна белая нижняя рубашка. При виде оружия Кучулу быстро ретировалась. Собачка она была храбрая, но дурой ее назвать было

нельзя.

– Я его знаю, – прошептала Розина. – Земуй катал его на мотоцикле пару раз. Он служит в армии. Часто стоял у ворот, ждал Земуя. Льстил ему. Я Земую говорила: за лестью скрывается зависть. Земуй стал прикидываться, что его не замечает, или говорил, что им не по пути.

Военный заткнул револьвер обратно за пояс, подошел к «БМВ» и погладил седло.

– Видите? Что я говорила! – заволновалась Розина.

– Выходите! – крикнул человек в военной форме. – Я знаю, что вы там.

– Оставайтесь здесь. – Розина глубоко вздохнула. – Хотя нет. Бегите через парадную дверь в больницу. Найдите В. В. Дождитесь меня. – Она отодвинула засов и вышла. – Закройте за мной.

Не могу сказать, почему мы трое не послушались Розину а отправились вслед за ней. Храбрость тут была ни при чем. Скорее всего, бежать куда-то показалось нам куда страшнее, чем остаться рядом с единственным взрослым, на которого мы могли положиться.

Глаза у чужака были налиты кровью, и, похоже, он спал в своем мундире, не раздеваясь, но в его манерах было нечто шутливое. Мундир был ему слишком широк, а рукава коротки. Берет на голове отсутствовал, лоб разрезала посередине темная вертикальная морщина, напоминающая шов между двумя половинками лица. Несмотря на неопрятные усы, лицо у него было молодое.

– Вот это, – почти промурлыкал он, похлопав мотоцикл по бензобаку, – теперь принадлежит... армии.

Розина набросила себе на голову черное покрывало, будто собиралась войти в церковь, и не проронила ни слова.

– Ты меня слышала, женщина? Эта штука принадлежит армии.

– Как скажете, – произнесла Розина, потупив взор. – Пусть армия придет и заберет его.

Тон у нее был очень почтительный, наверное, поэтому слова доходили по назначению с задержкой в несколько секунд. Я потом удивлялся, почему она решилась злить его, чем поставила нас под удар.

Солдат сначала заморгал, а потом выкрикнул:

– Я и есть армия! – Схватил ее за руку и рванул на себя. – Я – армия!

– Да. Это дом доктора. Если вы что-то забираете, сообщите доктору.

– Доктору? – Чужак рассмеялся. – Ваш доктор в тюрьме. Когда я увижу его снова, я ему сообщу. А заодно спрошу, зачем он нанял такую нахальную шлюху, как ты. Тебя надо повесить за то, что спала с изменником.

Розина не поднимала глаз.

– Ты глухая, женщина?

– Нет, сэр.

– Так говори. Расскажи мне что-нибудь хорошее про Земую.
РАССКАЖИ!

– Он отец моего ребенка, – мягко произнесла Розина, избегая смотреть ему в глаза.

– Бедный выbleднок. Скажи еще что-нибудь. Ну!

– Он держал свое слово. Он старался быть хорошим солдатом. Как вы, сэр.

– Хорошим солдатом? Как я? – Он повернулся к нам, как бы призывая в свидетели ее дерзости.

Размахнулся коротко и ударил. Все произошло молниеносно. Розина покачнулась, но устояла на ногах, уж не знаю как. Закрыла покрывалом лицо. Мы с Шивой отшатнулись.

Что-то потекло у меня по голени. Неужели заметит, мелькнуло в голове, но он был весь поглощен ссадиной на костяшке среднего пальца. В ранке мелькало что-то белое – сухожилие, что ли. А может быть, кусочек зуба.

– Черт! Ты порезала меня, редкозубая шлюха! Уголком глаза я увидел Генет. С хорошо мне знакомым

выражением на лице она кинулась на него. Ударом ноги в грудь он отбросил ее в сторону, вытащил револьвер и наставил на Розину.

– Только посмей еще раз, пригульная, и я убью твою мать. Поняла? Хочешь остаться сиротой? А «вы двое, – он впервые обратился к нам, – прочь с дороги! Не то всех убью и медаль получу за это!

На ключе, который он вытащил из кармана, болтался хорошо нам знакомый пластиковый брелок. Он повторял очертания государства Конго на карте. В нашем мире был только один такой, и он принадлежал Земую.

Снимая мотоцикл с подножки, он чуть не упал. Усевшись в седло, поискал ногой стартер. Нашел, топнул по нему несколько раз. Двигатель завелся, но передача была включена, и мотоцикл рванулся вперед, чуть не сбросив неумелого седока. Вцепившись в руль, он оглянулся на нас.

Защелкал педалью, пытаюсь найти нейтралку. Ну полная противоположность Земую, который включал передачу одним пальцем ноги и под которым «БМВ» казался легче пушинки. Земуй чуть надавливал ногой на рычаг стартера и потом резким движением с первого раза запускал мотор. Земуй предпочел смерть плену, мелькнуло у меня в голове. А я-то что же? В смущении я сжал Шиве руку.

Солдат топтал рычаг стартера, словно поверженного врага, лицо у него горело, на лбу выступил пот. До меня донесся запах бензина. Этот болван залил карбюратор.

День был холодный, солнечные лучи с трудом пробивались сквозь облака и сверкали на хроме мотоцикла. Солдат перевел дыхание, снял китель, бросил на седло за собой, потряс рукой с окровавленным пальцем, глухо зарычал. Какой он тощий, хилый. И опасный.

– Давайте мы его толкнем. Вы залили двигатель, и иначе его не заведешь. – Это Шива.

– Когда доедете до самого низа, включите первую передачу, – подхватил я. – Моментально запустится.

Он изумленно оглянулся. Бессловесные заговорили, надо же. Да еще на его родном языке.

– Он так его заводил?

«Он никогда его не заливал», – подмывало меня сказать. Вместо этого я произнес:

– Почти всегда. Особенно если мотор капризничал. Солдат нахмурился:

– Ладно. Будете толкать мотоцикл.

Засунул револьвер поглубже за пряжку, перебросил себе под зад свернутый китель.

От навеса посыпанная гравием дорожка тянулась к приемному покою, затем уходила вниз и пропадала за гребнем, из-за которого виднелись деревья, обозначающие периметр участка. Только примерно с половины пути становилось видно, что дорожка делает резкий поворот задолго до гребня и кольцом огибает приемный покой.

– Толкайте! – рявкнул солдат. – Живее, ублюдки. Мы толкнули. Он, ухватившись за руль, отталкивался

ногами. Колеса завертелись, солдат радостно облизал губы. Мотоцикл раскачивался, руль мотало из стороны в сторону.

– Внимание! – закричал я.

Шива-Мэрион действовал слаженно, трехногая рысца быстро перетекла в четвероногий спринт.

– Нет вопросов! – заорал он в ответ, подняв ноги от земли и упершись ими в педали. – Жмите!

Дорога шла под уклон, мотоцикл набирал скорость.

– Откройте задвижку! Задвижку! – крикнул Шива.

– Что? Ах да. – Он снял правую руку с руля и принялся шарить под бензобаком.

– С другой стороны! – завопил я.

Он положил правую руку обратно на руль и начал искать кран левой. Не нашел. Впрочем, бензина в карбюраторе и так хватило бы на целую милю.

Мотоцикл мчался теперь на приличной скорости, звеня пружинами и брэнча грязевыми щитками. Солдат отвел взгляд от дороги, поискал задвижку глазами. Шива-Мэрион несея во весь дух. Левая рука солдата все ласкала бензопровод.

– Включайте передачу! – выкрикнул я, отчаянно, из последних сил, толкнув мотоцикл.

– Полный газ! – проорал Шива.

Солдат реагировал не сразу. Отпустил бензопровод, поглядел вниз на рычаг переключения передач. Сейчас он врубит первую, заднее колесо заклинит и вся затея провалится...

Но не успел я это подумать, как двигатель неистово, мстительно взревел и мотоцикл рванул вперед, обдав нас гравием и едва не сбросив седока. Тот вцепился в руль изо всех сил.

И только сейчас увидел, что впереди. Чтобы успеть повернуть до гребня, у солдата оставалось несколько секунд. Есть известная всем мотоциклистам аксиома: надо всегда смотреть в том направлении, куда хочешь ехать, а не в том, куда тебе путь заказан. А он, я уверен, уставился на приближающийся обрыв.

«БМВ» ревел, набирая скорость. Переднее колесо ударилось о бетонный бордюру, заднее взмыло в воздух. Сам мотоцикл не перекувырнулся, мотор был слишком тяжел. Зато седок с криком перелетел через руль и покатился вниз по склону, пока не врезался в дерево. Послышался звук удара и что-то, похожее на громкий выдох, словно весь воздух разом покинул легкие. Солдата отбросило в сторону и протащило еще футов десять.

«БМВ», сбросив седока, рухнул на бок, заднее колесо продолжало вращаться.

Я первым оказался возле солдата. Мне хотелось, чтобы с ним стряслось несчастье, но когда оно взаправду стряслось, я испугался. Как ни удивительно, солдат находился в сознании. Он лежал на спине, кровь заливала его лицо, сочилась из носа и разбитого рта. Ничего от военного в нем не осталось, передо мной был ребенок, наказанный за жадность.

При взгляде на неестественно подвернутую под тело ногу меня затошнило. Он схватился за живот, застонал.

Казалось, больше всего ему досаждают живот, не лицо и не нога.

– Умоляю, – простонал он, задыхаясь и скребя себе грудь. Его глаза нашли меня. – Умоляю. Убери это.

На мгновение я забыл, что он сделал Земую, Розине и Генет и как он расправился бы с Гхошем. Я видел только страдания, и мне стало его жалко.

Я оглянулся на подоспевшую Розину, губа у нее распухла, переднего зуба не хватало.

– Умоляю, – повторил он, держась за грудь. – Вытащи это. Во имя святого Гавриила, вытащи.

Он все возил руками по животу, и теперь я видел почему. Рукоятка револьвера вонзилась ему в тело – почти целиком ушла под ребра с левой стороны.

– Гляди-ка, – взвизгнула Розина, – за пушку хватается!

– Нет, – неслышно произнес я. – Ручкой ему раздробило ребра. – И громко: – Держись. Я его сейчас вытащу.

Я ухватился обеими руками за револьвер и что есть силы дернул. Солдат вскрикнул. Револьвер не двинулся с места.

Я переменял руки и снова потянул.

Выстрел я услышал потом. Сперва меня словно мул копытом ударил.

Револьвер сам прыгнул мне в руку.

Запахло горелой материей и порохом. Я увидел красную яму у солдата в животе. Жизнь уходила у него из глаз с той же легкостью, с какой капля росы скатывается с лепестка розы.

Я пощупал ему пульс. Этой разновидности Гхош мне не демонстрировал: пульс отсутствовал.

Розина послала Генет за Гебре.

Он примчался бегом. Выстрела он не слышал. Бунгало находилось достаточно далеко, да и револьвер стрелял в упор.

– Живее. Его могут начать искать, – поторапливала Розина. – Но перво-наперво надо убрать мотоцикл.

Впятером мы подняли «БМВ» и откатали под навес у поворота. Мотоцикл был как новенький, если не считать вмятины на бензобаке. Мы быстро переложили поленницу, переместили штабель Библий, переставили козлы, навалили сверху инкубатор и прочий хлам, так что мотоцикл совершенно скрылся из виду.

Потом вернулись к покойнику, помолчали. Гебре и Шива прикатали тачку и с помощью Розины и Генет взгромоздили на нее мертвеца. Я, привалившись к дереву, наблюдал. Тело лежало в ржавом кузове тачки в неестественной позе, сразу было видно, что неживое. Под водительством

Розины мы покатали тачку вдоль забора по спрятавшейся за деревьями тропке к обводненному участку. Здесь глубоко под землей находился старый больничный септик, давным-давно переполненный и выведенный из эксплуатации. Фонд Рокфеллера и греческий подрядчик по имени Ахиллес построили новый отстойник. А на месте старого образовалась топь. Разросшийся пушистый мох маскировал западню: любой предмет тяжелее гальки моментально тонул. Хорошо, путников отпугивала неизменная вонь. В конце концов матушка обнесла опасное место колючей проволокой и повесила табличку на амхарском: «Зыбучие пески», что было самым близким переводом такого понятия как «топь».

Вонь стояла страшная. Повалив столб, так что колючая проволока легла на землю, Розина и Гебре подкатили тачку к самой топи и уже собирались вывалить тело.

– Нет, – завизжал я, хватая Розину за руку. Меня била дрожь. – Так нельзя. Розина... Господи, что я наделал...

Розина оттолкнула меня, они с Гебре взяли за ручки тачки и сбросили тело в мох.

Зеленый ковер прогнулся. Нет, нас запугивал совсем другой человек, настоящий монстр, а у покойника лицо было исполнено печального достоинства.

Тело исчезло, Розина плюнула туда, где оно только что было, и повернулась ко мне. Ярость и жажда крови исказили ее черты.

– Что это с тобой? Ты что, не понимаешь, что он бы поубивал нас всех просто ради забавы? В живых мы остались только потому, что ему не терпелось заграбастать мотоцикл Земуя. Ты должен гордиться своим поступком.

Возвращались мы в молчании. Уже в кухне Розина обратилась ко всем нам:

– Никому ни слова о том, что случилось. Ни Хеме. Ни Гхошу. Ни матушке. Ни единой живой душе. Шива, ты понял? Генет? Гебре?

Она повернулась ко мне:

– А ты? Мэрион?

Я глядел на свою нянюшку и не узнавал ее. Лицо в крови, зуб выбит...

Но она вдруг обняла меня. Так женщина обнимает сына. Или своего героя. Я прижался к ней. Она жарко выдохнула мне в ухо:

– Ты такой храбрый.

Ее слова чуть успокоили меня: Розина и не думает сердиться.

Генет стиснула меня в объятиях.

Так вот какая она, храбрость – я стою оцепенелый, онемевший, пальцы

в крови, меня обнимает девчонка, сердце колотится, – ну и храбрец из меня, чудо!

Глава одиннадцатая. Ответы на вопросы

Похоже, всех, кто был близок к генералу Мебрату, ждала одна судьба – виселица. Гхоша пока спасало только то, что он был гражданином Индии. И еще мольбы его семьи и легионов друзей. Заключение Гхоша в тюрьму не просто застопорило мою жизнь, оно лишило ее смысла.

Именно тогда я обратился мыслями к Томасу Стоуну. До переворота я целыми месяцами о нем не вспоминал. Фотографий отца у меня не было, я понятия не имел, что он написал знаменитую книгу (позже я узнал, что Хема позаботилась о том, чтобы ни одного экземпляра в Миссии не осталось), Томас Стоун был для меня призраком, бесплотной идеей. Представлялось невероятным, чтобы у моего отца кожа была такая же белая, как у матушки. Мать-индианку было легче себе представить.

Но сейчас, когда время застыло, человек, чье лицо я никогда не видел, не шел у меня из головы, был позарез мне нужен. Ведь он мой отец. Когда солдат заявился за мотоциклом и мог отправить нас всех на тот свет, где был Стоун? Когда я убил налетчика – а я ведь его убил, – где был Стоун? Когда его мертвое лицо маячило у меня перед глазами и тьма ледяными руками хватала меня, где был Стоун? И самое главное, когда мне было надо, чтобы единственный человек, которого я называл отцом, вышел на свободу, где был Стоун?

В эти ужасные дни, исподволь растянувшиеся до двух недель, когда мы метались между домом и тюрьмой, или индийским посольством, или министерством иностранных дел, во мне крепла уверенность, что, будь я Гхошу хорошим сыном, я бы каким-то чудом смог избавить его от мучений. Может, еще не поздно.

Я переменюсь. Но что это будет за перемена? Я ждал знака.

И знак явился мне в ветреное утро, когда слухи о новых виселицах на рыночной площади достигли наших ушей. Безо всякой конкретной цели я бросился к воротам, на месте не сиделось. На бегу я вдруг ощутил сладковатый, фруктовый запах. Мимо меня к портику приемного покоя проехал, покачиваясь, зеленый «ситроен» с закрытыми брызговиками задними колесами. На заднем сиденье, поддерживаемый двумя юношами, полулежал дородный мужчина. Запах усилился. Кожа у мужчины была цвета *safe-au-lait*, лицо полное, обрюзгшее, словно этот член августейшей семьи вырос на сливочном креме и английских лепешках, а не на инженере и воте. Вид у него был какой-то сонный, сопел он как паровоз. С каждым

выдохом он выделял этот сладкий запах, у которого даже свой цвет был: красный.

Я знал: нечто подобное мне уже нюхать доводилось. Когда? При каких обстоятельствах? Я замер, ломая голову, а человека под руки ввели в приемный покой. А ведь я занимаюсь познанием мира, мелькнула у меня мысль, то есть тем, что мне так нравилось в Гхоше. Я вспомнил, как он завязал себе глаза и проверил мою способность находить Генет по запаху.

Потом доктор Бакелли скажет мне, что у этого человека была «диабетическая кома», одним из симптомов которой и является фруктовый запах. Я отправлюсь в кабинет Гхоша – его старое бунгало – и прочту в учебнике о «кетонах», которые образуются в крови, это заставит меня прочесть про инсулин, потом про поджелудочную железу, диабет... одно звено влекло за собой другое. Наверное, впервые за две недели, что Гхош просидел в тюрьме, я занял свою голову чем-то другим. Я думал, что важные книги Гхоша окажутся непонятными. Но выяснилось, что кирпичами и раствором для медицины служат слова, надо только правильно их уложить. Кое-каких терминов я не понял и тщательно их выписал: посмотрю в медицинском словаре.

Не прошло и двух дней, как все повторилось. На этот раз пахло от пожилой женщины, лежащей на скамейке повозки в окружении родственников. Она тоже задыхалась, а исходящий от нее дух перешибал даже конский пот.

– Диабетический ацидоз, – сообщил я Адаму.

– Вполне возможно, – согласился тот. Анализ мочи показал, что я прав.

Жизнь в Миссии текла своим чередом. Один у нас был доктор или целых четыре, пациенты шли потоком. Случаи попроще – обезвоживание у младенцев, лихорадки, неосложненные роды – обслуживались без проблем. Но никакое хирургическое вмешательство не проводилось. Я торчал возле приемного покоя с Адамом либо сидел в старом бунгало Гхоша над книгами. Время по-прежнему тянулось медленно, моя тревога за Гхоша не заставляла часы двигаться быстрее, но я хотя бы обрел увлечение, которое не давало унывать, вот вроде рисунков Шивы или его танцев. Причем мое занятие было куда серьезнее; оно представлялось мне чем-то вроде средневековой алхимии, что может открыть ворота тюрьмы.

Гхош сидел в камере, Алмаз дежурила у ворот узилища, император сделался очень подозрительным и давал Лулу обнюхать каждый кусочек пищи, предназначенной для его величества, а у меня чрезвычайно обострилось обоняние, пробудился дикарский инстинкт. Этот инстинкт всегда различал множество запахов, но теперь с его помощью я мог

находить причину запахов. Затхлая аммиачная вонь печеночной недостаточности и желтые глаза появлялись в сезон дождей; характерный для брюшного тифа запах свежесдобитого хлеба присутствовал круглый год, в этом случае глаза были тревожные, матово-белые. Абсцесс легкого давал зловонное дыхание; ожоги, инфицированные синегнойной палочкой, пахли виноградом; почечная недостаточность – прокисшей мочой; золотуха – пивом... Перечень был обширен.

Как-то вечером после ужина матушка дремала на диване, Шива увлеченно рисовал что-то за обеденным столом, Хема мерила шагами комнату. Внезапно она остановилась возле моего кресла, в любимом месте Гхоша. Я сидел задржав ноги, рядом громоздились книги. Кажется, она поняла: эту часть пространства я как бы оставил для него. В глаза Хеме бросилась ее книга по гинекологии, будто нарочно открытая на картинке, изображающей громадную кисту бартолиновой железы. Своих занятий я не скрывал. Хема провела рукой по моим волосам, нерешительно тронула за ухо (сейчас схватит за ушную раковину, подумал я, еще одно недавно выученное слово), хлопнула меня по плечу и пошла прочь.

Я ощутил всю тяжесть невысказанных ею слов. Мне хотелось крикнуть ей вслед: «Мам! Ты все поняла не так!» Но она промолчала, и я решил последовать ее примеру. Надо взрослеть и вести себя соответственно: спрятать мертвеца, не раскрывать душу, постараться понять мотивы других людей. Ведь взрослые действуют по отношению к тебе точно так же.

Уверен, Хема полагала, что на страницу, изображающую вульву, меня привел похотливый интерес к женской анатомии. Отчасти так оно и было. Но только отчасти. Может, Хема и не поверила бы, но эти пожелтевшие рисунки пером, эти зернистые фотографии изуродованных болезнью органов давали мне особую надежду. «Акушерство» Келли, «Гинекология» Джеффкоута или какой-нибудь «Указатель дифференциальной диагностики Френча» в моем детском восприятии были чем-то вроде карты Миссии, путеводителя по территориям, где мы родились. Где, как не в таких книгах, где, как не в медицине, искать мне ответы, куда нас может завести наша путаная, трагичная судьба, убившая нашу мать и лишившая нас отца, как мне понять то, что прорвалось наружу, когда солдат похищал мотоцикл (неужели я взаправду хотел убить человека, спрашивал я себя, просыпаясь по ночам), и почему меня так тянет скрыть убийство и вместе с тем рассказать о нем? Может, ответы найдутся в книгах. Но, оказавшись без Гхоша, погрузившись в отчаяние, я обнаружил, что познание добра и зла дает медицина. Я верил в медицину. И только моя вера могла принести

Гхошу свободу.

Гхош сидел вот уже третью неделю. Как-то утром я подошел к главным воротам Миссии. На колокольне церкви Св. Гавриила пробили часы, и Гебре открыл калитку. Через узкий проход пациенты входили по одному. Сутолоки и свалки удавалось избежать только потому, что Гебре появлялся в облачении священника.

Отпихивая друг друга, через высокий порог калитки перескочили двое мужчин.

– Ведите себя достойно! – упрекнул их Гебре.

За мужчинами последовала женщина, она ступала с такой опаской, словно сходила на берег с корабля. Пациенты по очереди четырехкратно прикладывались к кресту, который держал в руке Гебре: раз – за Христа, два – за Деву Марию, три – за архангелов, четыре – за четырех зверей Апокалипсиса, после чего терпеливо ждали, пока Гебре коснется их лба, – порядок был соблюден. Посетители Миссии страшились болезни и смерти, но пуще всего боялись осуждения на вечные муки.

Я вглядывался в лица, каждое – загадка, двух похожих нет, и живо представлял себе, как мой настоящий отец – Томас Стоун – войдет в эти ворота. Я буду стоять здесь – к тому времени уже доктор – в зеленом хирургическом халате или в белом пиджаке, рубашке и галстук. Хотя портретов Стоуна я никогда не видел, я, конечно же, сразу его узнаю.

И я скажу ему:

– Ты здорово опоздал. Мы постарались обойтись без тебя.

Глава двенадцатая. Хороший доктор

Я проснулся до рассвета, выбежал из дома и под покровом темноты со всех ног помчался в автоклавную. Меня разбудила пронзительная мысль: вдруг сестра Мэри Джозеф Прейз, если ее попросить, вмешается и освободит Гхоша? На «отца» рассчитывать нечего, но вдруг та, что дала мне жизнь, проявит благосклонность и простит, что я так долго не касался ее парты?

Я глядел на «Экстаз святой Терезы», смутные очертания репродукции терялись во мраке, и мне казалось, что я в исповедальне. Хотя я был совершенно не расположен исповедоваться. Минут десять я просидел в молчании.

– Знаешь, я раньше думал, что все дети рождаются парами, – заговорил наконец я. Мне казалось как-то неловко сразу начинать с Гхоша. – Кучулу приносила щенков по четыре и по шесть. На ферме у Мулу мы видели свинью с двенадцатью поросятами.

Мы однойцовые близнецы, но, по правде, не такие уж мы одинаковые. Не то что две банкноты, отличающиеся только номером серии. Шива – как бы мое зеркальное отражение. Я правша, а Шива – левша. У меня волосы на макушке закручиваются в левую сторону, а у Шивы – в правую.

Я коснулся носа. Об этом я ей рассказывать не стал. За месяц до попытки переворота у меня была стычка с Валидом, который задразнил меня моим именем. Я получил удар головой – testa – и отключился. Testa – «голова» по-итальянски, – как говорят, прием из древних эфиопских боевых искусств. Единственная защита – наклонить голову, спрятать лицо. Валид боднул меня, когда я не ожидал.

К моему изумлению, мне помог Шива. Столь чувствительный к страданиям животных и беременных, он мог оставаться совершенно равнодушным к человеческой боли, особенно когда сам был ее причиной. У меня на глазах Шива налетел на Валида. Тот нанес еще один удар головой. Их лобные кости встретились с противным треском. Проморгавшись, я увидел, что Шива стоит себе как ни в чем не бывало, а мальчишки помладше слетаются, словно стервятники на пададь, ибо падение грозы малышей – штука редкая. Валид лежал навзничь на земле. Поднявшись, попробовал еще раз. Стук был такой, что я смертельно испугался за Шиву. Но он и глазом не моргнул. А Валид отрубился окончательно. Когда он,

прохворав положенное, вернулся в школу, то был тише воды ниже травы.

В тот вечер Шива разрешил мне обследовать его голову. На темени у него была легкая выпуклость, а лобная кость была очень толстая и крепкая. Я спросил Гхоша, почему так получилось, и он ответил, что это, вероятно, ответная реакция организма на примененные при нашем рождении инструменты. А может быть, это последствия того, что наши тела были соединены между собой. Из гордости я тогда не уточнил, что он имел в виду.

В огромной книге в библиотеке Британского Совета имелись портреты Чанга и Энга из Сиама, самых знаменитых «сиамских» близнецов. Чуть подальше в той же книге был портрет некоего индуса, Лалу который объехал весь свет в качестве циркового урода. «Из груди у Лалу выросал близнец-паразит». Лалу стоял в набедренной повязке, а из его голой груди торчали ягодицы и пара ног. По мне, так близнец-паразит вовсе не выросал из тела Лалу, а, напротив, стремился забраться обратно.

Я с трудом оторвал взгляд от картинок, и каждое слово в книге стало для меня открытием. Я узнал, что когда два эмбриона растут в утробе одновременно, то получаютс я двуайцовые близнецы – неодинаковые и, вполне возможно, разнополые. А вот если один эмбрион на очень ранней стадии развития делится на две обособившиеся половинки, близнецы выходят однойцовые, как я и Шива. Соединенные близнецы – это те же однойцовые, оплодотворенное яйцо которых на ранней стадии разделилось не полностью, и между двумя половинками осталась перемычка. В результате на свет появляются Чанг и Энг два разных человека, сросшихся животами или иной частью тела. Яйцо может разделиться на неравные части, вроде Лалу и его паразитного «близнеца».

– Ты знаешь, что Шива и я были краниопаги! Что мы срослись головами? – спросил я у сестры Мэри Джозеф Прейз. – Пришлось разделить эту перемычку при рождении. Шла кровь.

Я надолго замолк в надежде, что она поняла: я говорю со всем уважением. С моей стороны было эгоистично упоминать о нашем рождении, ведь оно совпало с ее смертью. Молчание было неловким.

– Пожалуйста, сделай так, чтобы Гхоша выпустили из тюрьмы.

Все. Просьба высказана.

Я подождал ответа. Наступившая тишина, казалось, только усугубила мой стыд. Меня грызла совесть. Я ничего не сказал маме ни про то, что вырвал из библиотечной книги и похитил картинку, изображающую Лалу, ни про то, что убил солдата и страшусь грядущего ужасного возмездия.

Промолчал я и еще кое о чем. Насмотревшись на Чанга, Энга и Лалу, я

понял: хотя пульсирующей кровью перемычки между мной и Шивой давным-давно нет, связь между нами осталась. Ведь в моем теле есть частички Шивы, а в его теле – меня. Что это нам сулит, не знаю, но это так. Нас не разделить.

А что, если бы у Шивы-Мэриона головы так и остались сросшимися или – представить только – из одного туловища росли бы две головы? Готов был бы я – готовы бы мы были – шагать по жизни в таком виде? Или все-таки обратились бы к докторам, чтобы нас попробовали разделить?

Но выбирать нам не пришлось. Нас разделили, разрезали соединяющий нас стебелек. Как знать, может быть, неординарный – даже эксцентричный – характер Шивы, равно как мое беспокойство, вечные поиски недостающего звена, зародились именно в то мгновение? Ведь в конечном счете мы все равно единое целое, нравится это нам или нет.

Я вскочил и выбежал из автоклавной, даже не попрощавшись. Разве сестра Мэри поможет мне, если я столько от нее утаил?

Я не заслужил ее заступничества.

Так что через час меня постигло настоящее потрясение.

Оно явилось в виде тайной записки на рецептурном бланке. Ее передал Гебре привратник русского госпиталя, которому ее вручил русский доктор, взявший с него слово не называть имен. С одной стороны доктор нацарапал: У Гхоша все хорошо. Он вне опасности. С другой стороны листка сам Гхош написал: Ребята, НАТЯНИТЕ РЕШИМОСТЬ НА КОЛКИ! Спасибо Алмаз, не надо больше приходить по ночам. Мое почтение матушке. Надеюсь, годовой контракт будет возобновлен.

Я помчался обратно в автоклавную, встал перед партой словно кающийся грешник и поблагодарил сестру Мэри Джозеф Прейз. Я рассказал ей все, ничего не скрыл, попросил прощения – и дальнейшей помощи в деле освобождения Гхоша.

Увидев Алмаз, я восхитился силой ее духа и решимостью, с какой она отбывала ночные бдения у тюрьмы. А вот всякое уважение к императору я потерял. Даже Алмаз, стойкая монархистка, поколебалась в своей вере.

Никто всерьез не полагал, что Гхош участвовал в заговоре. Дело было в другом (и это касалось многих сотен задержанных): все решения принимал лично его величество Хайле Селассие – и не слишком торопился.

Каждый день мы ездили в Керчеле, оставляли передачу из разрешенных продуктов и забирали емкость из-под вчерашней. В очереди у тюрьмы все нам были теперь как родные. Здесь мы узнавали последние новости и свежие слухи. Говорили, например, что император каждое утро выходит в дворцовый сад на прогулку, где к нему каждый в свой черед

обращаются с докладами министр госбезопасности, министр внутренних дел и министр юстиции. Император гуляет, а государственные мужи почтительно следуют за ним и с расстояния в три шага сообщают о реальных происшествиях, а также передают сплетни, причем каждый последующий тщится разгадать, где расставил ловушки предыдущий, и осторожно подбирает слова. Лулу, монарший предсказатель, вроде бы пописал кое-кому на ботинок, и теперь все ломают голову, знак ли это особого доверия или, напротив, человек угодил в опалу...

На следующий день, ровно через сутки после того, как я наведалься к сестре Мэри Джозеф Прейз, нам разрешили свидание с Гхошем.

Тюремный двор с лужайкой и громадными тенистыми деревьями выглядел как место для пикников. На этом фоне заключенные казались какими-то стволиками без листьев.

Я сразу заметил в толпе Гхоша. Шива и я бросились ему в объятия, не замечая бритой головы и исхудалого лица. Боль из груди исчезла – вот это я успел заметить. Густой запах немытого тела, которым пропиталась его одежда, расстроил меня, разве можно так опускаться? Подошли матушка и Хема, мы немного посторонились, но из опасения, что Гхош исчезнет на глазах, я придерживал его одной рукой. Некоторым людям худоба к лицу, но Гхош без своих пухлых щек и второго подбородка казался каким-то усохшим.

Алмаз стояла немного позади, ее лицо почти целиком скрывал платок. Гхош высвободился из объятий Хемы и матушки и подошел к ней. Алмаз низко поклонилась и хотела коснуться его ног, но Гхош перехватил ее руки и поцеловал. Они обнялись.

– Пока нас возили туда-сюда в крытых джипах, я видел тебя. Ты стояла и махала. Я был так рад. Хотя ты меня увидеть не могла.

Алмаз, зубы которой мне доселе видеть не доводилось, улыбалась от уха до уха. По лицу ее текли слезы.

– Я так волновался за всех вас, так мучился. Я же не знал, вдруг они и Хему арестовали. Или даже матушку. Когда я увидел на тюремном дворе Алмаз с семейным фото в руках, я понял, что все благополучно. Алмаз, ты сняла у меня камень с души.

Никто из нас не знал, что Алмаз отправляется на ночные дежурства с семейной фотографией, показывает ее всем проезжающим мимо тюремным автомобилям и улыбается.

Минуты летели, и мы принялись умолять Гхоша рассказать нам все. Вряд ли он хотел нас напутать. Просто не стал лгать.

– Первая ночь была самая тяжелая. Меня посадили в эту клетку, – он

указал на грязный приземистый сарай, – ни повернуться, ни встать в полный рост. Здесь держат уголовников, убийц, бродяг, карманников. Душно ужасно, а ночью, когда запирают дверь, дышать нечем вообще. Пахан решает, где кому спать. Единственное место, где есть хоть какой-то воздух, возле самой двери, и в обмен на часы он меня туда пустил. Еще одна ночь в этой камере – и я бы помер. Ни простыней, ни одеял, спи на голом полу. К рассвету меня уже вовсю ели вши.

Прямо из дворца прибыл майор с приказом перевезти меня в военный госпиталь и предоставить все, что нужно, для оказания помощи генералу Мебрату. Император не слишком доверял врачам, под чьей опекой находился генерал. Когда майор увидел, в каких меня содержат условиях, поглядел на мое распухшее лицо, на то, как я припадаю на ногу, он пришел в ярость. Майор забрал меня в военный госпиталь, где я принял душ и переменял белье.

В госпитале мне показали рентгеновские снимки, а потом отвели к генералу. И кого я там вижу? Славу – доктора Ярослава из русского госпиталя. Он весь трясся с перепоя. А Мебрату либо был без сознания, либо крепко спал. Слава сказал, что эфиопские врачи к нему и близко не подходят – боятся, что, если умрет, их в этом обвинят и запишут в сочувствующие. Слава, сказал я, ты вкатил ему успокаивающее? Он ответил, что генерал, когда его доставили, был в полном сознании, говорил, никакой слабости в руках и ногах не наблюдалось. Я был против седативов, сказал Слава. Все время рядом со Славой находилась женщина-врач, тоже русская, доктор Екатерина. Она заспорила: успокоительное показано, у него травма головы, предстоит операция. А я возразил: травмы головы угрожают жизни, если угрожают мозгу. Эта пуля мозгу не угрожает. «А как вы это назовете?» – спросила она, указывая на глаз генерала. «Товарищ, – поспешил с разъяснениями я, – это называется глазная впадина». Особого внимания она на меня не обратила, а мне не понравилось, с каким неуважением она отнеслась к Славе. Может, он и алкоголик, но до того, как его сослали в Эфиопию, много нового совершил в ортопедии. Слава шепнул мне у нее за спиной: «КГБ!» Обращаюсь к майору: «Какие у вас инструкции относительно моих полномочий?» Майор говорит: «Все что пожелаете. Ответственность на вас». «Заберите врачу обратно в Большой госпиталь и не пускайте сюда больше. Мне нужно бренди, нюхательную соль – и прикажите поставить в этой палате две койки для меня и Славы». Мы влили генералу все наличные антибиотики и на пару со Славой прямо на больничной койке удалили поврежденный глаз, отрезав все, что висело, и не касаясь более ничего. Генерал даже не пошевелился. Удалять пулю я

не планировал.

Следующие две ночи я не разлучался со Славой и спал в нормальной постели. Седативы действовали еще дня три. «Слава, доза была лошадиная?» – спросил я. «Нет, но ее прописала кобыла. По имени Екатерина».

Когда генерал Мебрату очнулся, то пожаловался на легкую головную боль и насморк. В остальном он пребывал в хорошей форме. Мне больше не разрешили постоянно находиться при нем, да и Славу отправили прочь. Тогда-то я и написал вам записку. В тюрьме мне предоставили приличную камеру с порядочными соседями. В госпиталь меня таскали по два-три раза в день, но говорить с генералом не разрешали. Обменяемся парой слов – и все.

Я видел, как две громадные крысы среди бела дня вылезли из сточной канавы между двумя корпусами. Гхош кое-чего недоговаривал. Мы тоже не сообщали ему всего.

Нам разрешили свидания дважды в неделю. Только один вопрос оставался открытым: когда же его освободят?

То один, то другой высокопоставленный пациент Гхоша появлялся на горизонте с подношениями: какая-нибудь особенная ручка, пачка бумаги, книга по его просьбе. С собой они приносили рецепты на латыни, выписанные рукой Гхоша, и я отправлял их к Адаму, рецептурщику.

В отсутствие Гхоша я понял, какого рода доктор он был. Все эти члены царствующего дома, министры, дипломаты не были серьезно больны, во всяком случае, на мой взгляд. Им недоставало полномочий освободить Гхоша из тюрьмы, но получить свидание было в их власти. Гхош оттягивал им нижнее веко и определял цвет слизистой оболочки, просил высунуть язык, щупал пульс, ставил диагноз, ободрял. Современное определение «семейный врач» далеко не полностью отражает ту роль, которую он играл.

Через три недели после нашего свидания с Гхошем генерал Мебрату предстал перед судом, спектаклем для иностранных наблюдателей. Эфиопская подпольная газета и ряд иностранных изданий публиковали отчеты о процессе. Генерал держался достойно, не изображал раскаяния и не сваливал вину на других. Его поведение произвело сильное впечатление на людей, допущенных в зал суда. Со скамьи подсудимых прозвучала программа: земельная реформа, политическая реформа и конец привилегиям, превращающим крестьян в рабов. Те, кто подавлял заговор, теперь не понимали, почему выступили против. Ходили слухи, что группа младших офицеров сговорилась освободить Мебрату, но генерал категорически отказался. Смерть братьев по оружию тяготила его совесть.

Суд приговорил Мебрату к смерти. Его последние слова были: «Я отправляюсь к своим товарищам с вестью, что брошенные нами в землю семена дали всходы».

Ближе к вечеру, на сорок девятый день после ареста Гхоша, к дому подъехало такси. Я услышал крик Алмаз и успел подумать: что еще опять стряслось?

Из машины, вертя во все стороны головой, будто попал сюда впервые, выбрался Гхош. С подножки спрыгнул Гебре, хлопнул в ладоши и пустился в пляс. К ним подбежали Розина и Генет. Воздух наполнился радостными криками. Розина восторженно улюлюкала, Кучулу махала хвостом, лаяла и весело подвывала, два безымянных пса последовали ее примеру – правда, близко подойти не отважились.

Пробило полночь, когда мы вчетвером – я, Шива, Хема и Гхош – отправились в постель. Было тесно, неудобно, но мне никогда еще не спалось лучше. Тяжкий храп Гхоша разбудил меня – и это был самый замечательный звук на свете.

Наутро мы проснулись в праздничном настроении, не ведая, что в это самое мгновение генерал Мебрату, ветеран Кореи и Конго, выпускник Сандхерста* и Форт-Левенуэрта**, прощается с жизнью.

* Королевская военная академия в Великобритании.

** Военная база, местонахождение Командно-штабной школы сухопутных войск США.

Его повесили на Меркато – быть может, потому, что именно здесь прошла демонстрация студентов и именно здесь переворот получил самую горячую поддержку. Руководил казнью, как мы потом узнали, адъютант императора, человек, которого Мебрату знал долгие годы. Говорили, что Мебрату произнес: «Если ты когда-нибудь любил солдата, завязывай узел тщательно». Когда петля была надета и грузовик уже собирался тронуться, генерал сам сделал последний шаг, причисливший его к мученикам.

Мы узнали о казни ближе к середине дня. В тот вечер в каменных виллах, в казармах молодые офицеры, закончившие военные академии в Холета, в Хараре, академию ВВС в Дебре Зейт, решили, что завершат дело, начатое генералом Мебрату.

День ото дня фигура генерала росла, он обращался в неофициального святого. Его изображение появилось на анонимных листовках, стилизованных под эфиопский лубок, преобладали желтый, красный и зеленый цвета, по правую руку от чернокожего Христа стоял Иоанн Креститель, по левую – генерал Мебрату, вокруг голов их сияли желтые нимбы, а у ног текла река Иордан. Текст гласил:

Ибо он тот, о котором сказал пророк Исая: глас вопиющего в пустыне:

приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему*.

* Матфей, 3:3.

Глава тринадцатая. Туфли Абу Касыма

Через два дня после казни генерала персонал больницы во главе с Адамом и В. В. Гонадом устроил прием в честь возвращения Гхоша. Купили корову, взяли напрокат шатер и наняли повара.

Адам перерезал животному глотку. Особо ретивый санитар, которому не терпелось отведать горд-горд – сырой говядины, – отхватил из пашинки тонкий трепещущий кусок, пока корова еще стояла на ногах. Потом корову отвязали от дерева, разделали и отнесли мясо повару.

Когда в проезде показался армейский джип, у меня сердце ушло в пятки. Все вокруг замерли и уставились на офицера в форме, который вошел в наше бунгало. Я проскользнул поближе к дому. Офицер сразу же вышел обратно в сопровождении Гхоша и Хемы. Шива находился рядом со мной.

– Мальчики, – произнес Гхош. – Мотоцикл. Кто-нибудь приходил за мотоциклом? – Гхош был совершенно спокоен, ибо не видел ни малейшего повода для тревоги.

Сперва я ощутил громадное облегчение: пришли не за Гхошем! Облегчение сменилось переполохом: так вот зачем этот человек здесь! Мы впятером заранее придумали историю: Объявился солдат с ключом и уехал на мотоцикле, мы с ним и слова не сказали. История была поведена Хеме в тот же день, когда солдат пропал. У нее все мысли были заняты арестом Гхоша, и она пропустила ее мимо ушей.

Я уже собирался заговорить и перевел взгляд на офицера.

Это был он, грабитель, тот самый, что пришел за мотоциклом!

То же лицо. Тот же лоб, те же зубы, только... Этот держится посolidнее и не такой тощий. На отглаженной форме ни пятнышка, берет заткнут за погон, вид подтянутый, как и положено профессиональному солдату.

Нет, это не он.

Румянец начал возвращаться на мои щеки. Примчались Розина и Генет. Вокруг нас собралась небольшая толпа.

– Объявился какой-то солдат с ключом и уехал на мотоцикле, – проговорил Шива.

Я кивнул:

– Да.

Офицер улыбнулся, наклонился ко мне и вежливо спросил по-

английски:

– А больше ничего не помните? Может, вы о чем-то не упомянули?

– А вот и Розина, – прервал его Гхош по-амхарски обратился к ней: – Розина, этот офицер интересуется мотоциклом Земуя.

Розина низко поклонилась. Ну да, с грабителем она тоже была очень вежлива, зато нашла слова, которые его сразу вывели из себя. Хоть бы сейчас была поосторожнее.

– Да, сэр. Я была с мальчиками, когда он пришел. – Она прикрыла покрывалом рот, округлила глаза. – Простите, сэр. Тот человек... он был так похож на вас. Когда я увидела ваше лицо... простите меня. – Она опять поклонилась. – Он был... не такой вежливый, как вы. И одет был... по-другому.

– У нас одна мать, – криво улыбнулся офицер. – Это правда, мы с ним похожи. Как он был одет?

– Армейский китель. Без рубашки. Белая майка. Ботинки, брюки.

– Не заметили в нем ничего особенного?

– Револьвер у него был заткнут вот сюда, – Розина показала себе на верхнюю часть живота, – а не лежал в...

– Кобуре? – подсказал офицер.

– Да. И выглядел он... глаза красные. Он как будто был...

– Пьян? – опять подсказал брат, очень мягко. – Вы спросили, на каком основании он требует мотоцикл?

– Прошу вас, сэр. У него был револьвер. Он сердился. У него были ключи.

– Что он сказал вам?

– Много чего. Сказал – забираю мотоцикл. Я не возражала. – Розина отступила от отрепетированного сценария, но все шло гладко.

– А что такое? Что случилось? Что произошло с мотоциклом? – спросил по-английски Шива, и я поразился его отваге.

– Этого-то я и не знаю. – Английский у офицера был безукоризненный, манеры мягкие. – И мотоцикл был ему ни к чему. В армии ему бы все равно не разрешили на нем ездить. – Он помолчал, как бы раздумывая, сказать ли еще что-нибудь, и продолжил, обращаясь больше к Гхошу и Хеме: – Его никто после не видел. Я выяснил только, что две недели назад он сбежал в самоволку. Женщине, с которой живет, он сказал, что отправляется за мотоциклом. – Он повернулся ко мне с Шивой: – Вы видели, как он уезжал?

– Я слышал звук мотора, – сказал я. Он кивнул.

– Доктор, не будете возражать, если мы немножко осмотримся?

– Пожалуйста, пожалуйста, – сказал Гхош.

Офицер и его водитель обошли дом, зашагали по посыпанному гравием проезду. Меня словно притиснуло к земле. Только-только все начало складываться, Гхоша выпустили, и вот этот офицер собирается снова ввергнуть нас в ад? Генет не спускала с меня глаз, Розина присела на корточки, ковыряя в зубах веточкой эвкалипта. Двое военных дошли до гребня, обогнули приемный покой и скрылись из виду. Если они на обратном пути заглянут под навес, все пропало. Мотоцикл хорошо спрятан, но кто ищет, тот всегда найдет.

Прошла целая вечность, прежде чем они вернулись.

– Благодарю, доктор. – Офицер пожал руку Гхошу. – Я опасаясь самого худшего. В тот день, когда император возвратился, кое-кто из наших солдат дорвался до больших денег. Брат оказался как-то в это замешан. Пожалуй, даже к лучшему, что он исчез.

Когда джип скрылся, Гхош испытующе посмотрел на нас. Он почувствовал что-то неладное, но спрашивать ни о чем не стал. Стоило Гхошу и Хеме удалиться обратно в дом, как я свернул за угол и меня вырвало. Генет и Шива бросились было за мной, но я замахал им рукой, чтобы шли прочь. У желудочно-кишечного тракта имелись свой разум и свое сознание.

В шатре складные стулья мягко встали на траву. Вскоре на столах появились стаканы с теджем и тарелки с едой. Моим любимым блюдом было китфо – грубо помолотое сырое мясо, перемешанное со сливочным маслом и пряностями. Дома у нас его никогда не готовили, но с самых ранних лет меня угощали им Розина либо Гебре. Сегодня у меня не было аппетита. После китфо последовало горд-горд – кубики сырого мяса, сдобренные жгучим соусом из красного перца. Блюда следовали одно за другим: тефтели, мясное карри, чечевичное карри, язык и почки – все части туши, еще утром пасшейся под деревом, пошли в ход. Лепешки инжеры стопками лежали на столе.

Гхош сидел в кресле на возвышении. Медсестры, их ученицы и прочие сотрудники Миссии подходили по одному, пожимали ему руку и возносили благодарность святым за то, что он благополучно перенес суровые испытания.

Розина не показывалась, но Генет была здесь, старалась держаться понезаметнее. Я расположился рядом. Вся в черном, она мрачно ковырялась в еде и казалась далекой родственницей той Генет, которую я знал, – после смерти Земуя она почти не выходила из дома. Подошедшего санитаря, который поздравил ее с освобождением Гхоша и расцеловал в обе

щеки, она едва удостоила слова.

– Ты когда вернешься в школу? – спросил я.

– Они убили моего отца. Ты что, забыл? Плевать я хотела на школу. – И она прошипела мне в ухо: – Только не ври. Ты сказал Гхошу?

– Нет!

– Но ты собирался, правда ведь?

Она меня сразила. Там, в тюремном дворе, когда Гхош впервые обнял меня после долгой разлуки, признание висело у меня на кончике языка и я на самом деле чуть было не проговорился.

– Собирался, да не сказал... Не смотри на меня так. Она взяла свою тарелку и отошла от меня подальше.

Даже если я сам в себе сомневался, от нее я хотел полного доверия. Меня кольнуло, что она больше не видит во мне героя, пристрелившего грабителя.

Ближе к вечеру шатер разобрали и явились новые гости, до которых дошла весть об освобождении Гхоша. Для Эвангелины и миссис Редди к радости примешивалась горечь: Гхош-то вернулся, а вот бедный генерал Мебрату покинул нас навсегда. Эвангелина все повторяла, вытирая слезы:

– Такой молодой. Подумать только, такой молодой и его больше нет.

А миссис Редди утешала ее, прижимая к своей могучей груди. Дамы принесли с собой целый котел биряни и жгучие пикули из манго, любимое лакомство Гхоша.

– Это твой второй медовый месяц, радость моя, – сказала Эвангелина Гхошу и подмигнула Хеме.

Адид, старый приятель, явился с тремя живыми курами, связанными за лапы, передал их Алмаз и тщательно почистил от перьев свою белую нейлоновую рубашку, надетую поверх просторного клетчатого маависа, ниспадающего до пят. За ним пришел Бабу, партнер генерала Мебрату по бриджу, и принес бутылку «Димпл Пинч», любимого виски генерала. Когда спустились сумерки, заговорили о том, что неплохо бы разложить карты и тряхнуть стариной. Мне уже стало казаться, что того и гляди прибудет Земуй вместе с генералом Мебрату.

В доме стало душно, и я распахнул окна. В какой-то момент Гхош отправился в ванную снять свитер, Хема за ним. Я встал у дверей. Гхош принялся чистить зубы. Казалось, он никак не налюбуется на льющуюся из крана воду. Хема не сводила глаз с его отражения в зеркале.

– Я тут подумал... – услышал я слова Гхоша. – Мы потрудились на славу. Не пора ли нам... и честь знать.

– Что? Уехать? Куда? Обрато в Индию? – воинственно спросила

Хема.

– Нет... ведь тогда мальчикам придется учить хинди или тамильский в качестве обязательного второго языка. Поздновато им. Не забывай, почему мы уехали, какая была главная причина.

Они не знали, что мне все слышно.

– Многие учителя-индусы уехали отсюда в Замбию, – сказала Хема.

– Или в Америку? В округ Кук? – засмеялся Гхош.

– Персия? Говорят, им позарез нужны специалисты, не меньше, чем здесь. Зато у них денег куры не клюют.

Замбия? Персия? Они это серьезно? Ведь Эфиопия – моя родина, это моя страна. Да, здесь не все гладко, беспорядки и жестокости могут повториться. Но это наш дом. Как, должно быть, ужасно пройти через муки, да еще на чужбине!

Мы потрудились на славу.

Слова Гхоша будто ударили меня в солнечное сплетение: ну да, это моя страна, но ведь для Хемы и Гхоша она чужая. Что она им? Неужели только место работы?

Я незаметно выскользнул из дома.

Воздух был свежий, духовитый, животворный. Дым эвкалиптовых дров, запах мокрой травы, навоза, табака, тины и поверх этого аромат сотен роз – вот чем благоухала Миссия. Да, пожалуй, и не только Миссия. Весь континент.

Назовите меня нежеланным ребенком, погубителем собственной матери, исчадием, порожденным падшей монахиней и сбежавшим отцом, хладнокровным убийцей, лгущим в глаза брату своей жертвы, но эта суглинистая земля, породившая матушкины розы, была у меня во плоти. Я говорил: Эфиопия – как абориген. Пусть чужестранцы тянут: Эээ-фии-опиии-я, будто это составное имя вроде Шарм-аль-Шейх, или Дар-эс-Салам, или Рио-де-Жанейро. Исчезающие в темноте горы Энтото вздымались на горизонте; если я уеду, они провалятся под землю, уйдут в небытие, я нужен этим горам, чтобы было кому любоваться их поросшими лесом склонами, и они нужны мне – как еще я узнаю, что жив? Эти звезды, они тоже принадлежат мне по праву рождения. Небесный садовник посеял семена мескеля, и, когда сезон дождей заканчивается, цветы расцветают. Даже топи на задах Миссии, «зыбучие пески», поглотившие лошадь, собаку, человека и неизвестно что еще... они тоже мои.

Свет и тьма. Генерал и император. Добро и зло.

Все это жило во мне, куда я от этого денусь? Если уеду, что останется от меня?

В одиннадцать часов Гхош извинился перед компанией в гостиной и вместе с нами и Хемой проследовал в нашу комнату.

– С тех пор как тебя забрали, мы здесь не спим, – сказал Шива.

Гхош тронут. Он ложится посередине, мы – по обе стороны от него. Хема садится в ногах.

– В тюрьме отбой был в восемь. Гасили свет, и мы принимались рассказывать истории. Я пересказывал книги, которые мы читали вам. Один из моих соседей по камере, купец по имени Тофик, поведал историю Абу Касыма.

Эту сказку знают дети по всей Африке. Абу Касым, мелкий багдадский торговец, никак не мог избавиться от своих поношенных, чиненых-перечиненых туфель, над которыми все смеялись. Наконец они осточертели даже ему самому. Но любая попытка выкинуть их влекла за собой несчастье: бросит он их в окно – они свалятся прямо на голову беременной женщине, у нее случится выкидыш, и Абу Касыма посадят в тюрьму; кинет в канаву – они закупорят сток, вызовут наводнение, и опять Абу Касыма упекут в кутузку...

Тофик закончил свой рассказ, и другой заключенный, полный собственного достоинства старик, сказал: «Абу Касым мог бы построить особое помещение для своих туфель. Зачем зря стараться, если от них все равно никуда не деться?» И старик радостно засмеялся. В ту же ночь он умер во сне.

На следующую ночь нам не терпелось поговорить про Абу Касыма. Точка зрения у всех была одна и та же. Старик был прав. Смысл сказки про старые туфли таков: все, что ты видишь, чего касаешься, каждое семя, которое ты посеял или не посеял, становится частью твоей судьбы... Я повстречал Хему в инфекционном отделении в Правительственной больнице общего профиля в Мадрасе, и эта встреча привела меня в Африку. Благодаря ей я получил самый большой дар в своей жизни – стал отцом вас двоих. В связи с этим я прооперировал генерала Мебрату, который стал моим другом. Из-за своего друга я угодил в тюрьму. Потому что я доктор, я спас ему жизнь, и меня выпустили. Потому что я спас ему жизнь, его повесили... улавливаете, о чем я?

Я не улавливал, но он говорил с такой страстью, что не хотелось его прерывать.

– Я рос без отца и считал, что прекрасно без него обхожусь. Моя сестра очень остро воспринимала его отсутствие и была вечно недовольна, любых благ ей было мало. – Он вздохнул. – Свою скрытую тоску по отцу я старался восполнить успехами в учебе, в работе, добивался похвалы. В

тюрьме я окончательно понял: для меня и для сестры жизнь без отца была вроде туфель Абу Касыма. Чтобы избавиться от них, надо признать, что они – твои, и тогда они сами исчезнут.

Столько лет мы вместе, а я и не знал, что отец Гхоша умер, когда он был ребенком, что он, как и мы, безотцовщина. Но у нас, по крайней мере, есть Гхош. Вот уж кому пришлось хуже, чем нам.

Гхош опять вздохнул.

– Надеюсь, однажды вы увидите все так же ясно, как я в Керчеле. Ключ к счастью – признать, что туфли твои, осознать, кто ты есть, как ты выглядишь, кто твои близкие, какие у тебя есть таланты и каких нет. Если ты только и будешь твердить, что туфли не твои, ты до смерти не обретешь себя и умрешь в горьком сознании, что подавал какие-то надежды, но не оправдал их. Не только наши поступки, но и то, чего мы не сделали, становится нашей судьбой.

Гхош ушел. Получается, покойный солдат был для меня парой туфель? И они вернулись ко мне в виде солдата брата? А какое обличье они примут в следующий раз?

Мысли мои стали путаться, как всегда перед сном, когда кто-то вдруг поднял накомарник. Миг – и она уже сидит у меня на груди, распластав меня по кровати, рукой не пошевелить.

Я мог бы спихнуть ее с себя. Но не спихнул. Ведь было так здорово – ее тело прижималось к моему, ноздри мне щекотал запах угля и ладана. Может, она так извиняется за грубость? Наверное, залезла в открытое окно.

В зыбком свете, падающем из прихожей, я увидел застывшую улыбку у нее на лице.

– Ну так что, Мэрион? Сказал Гхошу про грабителя?

– Если ты подслушивала, сама знаешь.

Шива проснулся, посмотрел на нас, повернулся на другой бок и закрыл глаза.

– Ты чуть было не рассказал все этому офицеру, его брату.

– Но не рассказал же. Я просто очень удивился...

– Мы считаем, ты проболтался Гхошу и Хеме.

– Ничего подобного. Никогда в жизни.

– Почему это?

– Сама знаешь почему. Если это всплывет, меня повесят.

– Нет, повесят меня и маму. Из-за тебя.

– Мне снится его лицо.

– И мне. И я каждую ночь его убиваю. Лучше бы я его убила, не ты.

– Это был несчастный случай.

– Если бы я его убила, я бы не стала упираться на несчастный случай. И ни у кого не было бы поводов для беспокойства.

– Тебе легко говорить. Убил-то я.

– Мама думает, ты проговоришься. Мы за тебя волнуемся.

– Что? Передай Розине, чтобы не тревожилась.

– Однажды это всплывет и всех нас убьют.

– Прекрати. Если так уверена, что я проболтаюсь, зачем затеяла этот разговор? Слезь с меня.

Она легла на меня плашмя. Ее лицо было совсем рядом, и на секунду мне показалось, что она меня сейчас поцелует. С чего бы, ведь мы ссорились. Я смотрел ей в глаза, на пятнышко в правой радужке, чувствовал на лице ее свежее, легкое дыхание, видел, какой роковой красавицей она станет. Меня одолевало воспоминание о нашей близости в кладовой.

Зрачки у нее расширились, она прищурилась.

Там, где ее бедра прижимались к моим, я ощутил растекающееся тепло.

Пижама у меня сделалась мокрая. Воздух под накомарником наполнился запахом свежей мочи. Глаза у нее закатились, стали видны одни белки. Она закинула назад голову. Содрогнулась, выгнула спину дугой. Подарила мне последний взгляд.

– Ты обещал. Не вздумай забыть.

Она спрыгнула с меня и была такова. Догнать ее, разорвать на кусочки!

Шива схватил меня за плечи. Ее ли он хотел защитить или просто выступил в роли миротворца, не могу сказать. Глаза он отводил в сторону. Меня всего трясло от ярости, а он сдирал постельное белье. Мои пижамные штаны были насквозь мокрые, Шива обходился без них. Я набрал в ванну воды и помылся, Шива сидел на стульчаке. Вернувшись в спальню, я надел свежую пижаму. Тут вошел Гхош.

– У вас свет. Что стряслось?

– Несчастный случай, – буркнул я.

Шива промолчал. Запах было ни с чем не спутать. Я сгорал со стыда. Можно было свалить все на Генет, но я не стал. Открыл на пять минут окно, и все.

Гхош вытер тюфяк, помог мне его перевернуть, принес свежие простыни, перестелил постель. Мне показалось, он расстроен.

– Возвращайся к гостям, – велел я. – С нами все отлично. Ей-богу.

– Мальчики мои, мальчики... – Пробормотал Гхош. Он решил, что это я намочил постель. – Представить себе не могу, что вы пережили.

Это была правда. Он и представить не мог. Как и мы не могли себе представить, что пережил он.

– Никогда больше с вами не расстанусь.

При этих словах у меня кольнуло в груди. Зачем он это сказал? Как будто все зависит только от него. Как будто забыл про судьбу и туфли Абу Касыма.

Глава четырнадцатая. Слово за слово

Со смерти Земуя прошло шестьдесят дней, а Генет по-прежнему безвылазно сидела дома. Розина из-за своего выбитого зуба старалась не улыбаться и была сурова как абиссинский кабан.

– Довольно, – сказал ей Гебре в День святого Гавриила. – Я переплаваю крест, чтобы сделать тебе серебряный зуб. Пора бы начать скалить зубы и носить белое. Того хочет Господь. Из-за тебя его мир делается мрачным. Даже законная жена Земуя сняла траур.

– Ты называешь эту шлюху его женой? – закричала Розина. – Да стоит подуть сквозняку, как она уже ноги расставила. Не говори при мне о ней.

На следующий день она вскипятила целый котел черной краски и погрузила в него все свои вещи и большую часть школьной одежды Генет.

Хема попыталась уговорить ее разрешить дочке ходить в школу и получила отпор:

– Траур еще не закончился.

Через два дня, в субботу, выходя на кухню, я услышал из жилища Розины лулулу с оттенком некой торжественности. Я постучал. Розина чуть приоткрыла дверь и оглядела меня горящими глазами. В руках у нее была бритва.

– У вас все в порядке?

– Все хорошо, спасибо.

И она захлопнула дверь. Но я успел заметить Генет с полотенцем на лице и какие-то кровавые тряпки на полу.

Я тут же рассказал все Хеме, и теперь уже она постучалась к Розине. Розина замялась.

– Входите, если приспичило, – сказала она наконец. – Мы закончили.

В комнате пахло женщинами. И ладаном. И еще свежей кровью. Прямо нечем было дышать. Голая лампочка под потолком не горела.

– Закрой дверь, – бросила мне Розина.

– Не закрывай, Мэрион, – возразила Хема. – И включи свет.

У кровати Генет на тумбочке стояла спиртовка. Рядом лежали бритва и окровавленный кусок ткани.

Генет сидела смиренно, уперев локти в колени, руки ее с зажатými в них тряпками обхватывали лицо. Поза мыслителя, если бы не эти тряпки.

Хема отняла ее руки от лица. На висках возле бровей – глубокие вертикальные разрезы вроде цифры 11, по два с каждой стороны.

Свернувшаяся кровь была черная как смола.

– Кто это сделал? – возмутилась Хема, прижимая к ране тампон.

Ответом ей было молчание. Розина с улыбкой смотрела куда-то вдаль.

– Я спрашиваю, кто это сделал? – Тон у Хемы был острее бритвы, которая нанесла раны.

Генет ответила по-английски:

– Это я ее попросила.

Розина резко одернула ее на языке тигринья. Я знал, что эта короткая гортанная фраза значит «Замолчи». Генет не послушалась.

– Это знак моего народа, – продолжала она, – знак племени отца. Если бы отец был жив, он бы мною гордился.

Хема немного помолчала. Черты ее смягчились.

– Твой отец умер, девочка. Ты, по милости Господней, жива.

Розина нахмурилась. Слишком много английских слов, по ее мнению.

– Идем со мной. Позволь мне обработать раны, – проговорила Хема.

Я опустился на колени:

– Пойдем с нами. Ну пожалуйста.

Генет тревожно посмотрела на мать и прошипела:

– Вы только все испортите. Мы с ней обе хотим, чтобы остались следы. Прошу вас, уходите.

Гхош посоветовал сохранять спокойствие.

– Она нам не дочь.

– Ошибаешься. Она ест с нами за одним столом. Мы оплачиваем ей школу. Если с ней приключилось что-то недоброе, мы не можем просто взять и умыть руки.

Слова Хемы потрясли меня. Какое благородство! Но если Хема считает, что Генет сестра мне, это все осложняет. Ведь мои чувства к ней... не подобают брату.

Гхош произнес успокаивающе:

– Это все для того, чтобы предохранить ее от сглаза. Все равно что pottu в Индии, милая.

– Моя pottu легко стирается, милый. Никакого кровопролития.

Неделю спустя Хема и Гхош вернулись домой под громкие причитания Розины. Впрочем, их уход на работу сопровождался теми же завываниями. Она горько жаловалась на судьбу, Бога, императора и упрекала Земуя за то, что оставил ее.

– Вот-вот, – сказала Хема. – Бедная девочка совсем рехнется. А мы, значит, так и будем стоять в сторонке?

Хема объявила общий сбор. Под ее знамена собрались Алмаз, Гебре,

В. В., Гхош, Шива и я. Всем составом мы ворвались к Розине, Хема взяла Генет за руку и отвела к нам, предоставив остальным принуждать Розину к миру. А та надрывалась, что у нее похитили дочь...

Дверь в спальню Хемы была закрыта. Мы слышали, как Генет плещется в ванне. Хема вышла за молоком и попросила Алмаз порезать папайю, сбрызнуть лимоном и посыпать сахаром. Вскоре Алмаз прошествовала в спальню, да так и осталась за закрытой дверью.

Через час Хема и Генет вышли рука об руку. На Генет была желтая блузка в блестках и переливчатая зеленая юбка – часть танцевального облачения Хемы. Волосы зачесаны назад, глаза подведены, голова высоко поднята, осанка царственная – ну прямо королева, которую освободили из темницы и вернули на трон. Да, она была моя королева, никакая не сестра, и я хотел ее видеть рядом с собой, и восхищался ею, и был ее вернейшим подданным. Блестящее зеленое сари Хемы оказалось в тон наряду Генет. На этом фоне Алмаз чуть было не проскользнула на кухню незамеченной. А посмотреть было на что: глаза подведены, губы накрашены, щеки нарумянены, в ушах огромные серьги, очень идущие к ее волевому лицу...

Впятером мы забрались в машину. Генет расположилась на заднем сиденье между мной и Шивой. На Меркато Хема приобрела ей новый комплект нарядов. Рождество, Дивали* и Мескель слились в один радостный день.

* Дивали – главный индийский и индуистский праздник. Отмечается как «Праздник Огней», символизирует победу добра над злом, в знак этой победы повсеместно зажигаются свечи и фонарики, запускаются фейерверки.

Поход по магазинам мы завершили в кафе Энрико. Гёнет сидела напротив меня, улыбалась и лизала мороженое. Потихоньку она разговорилась. Если ей промыли мозги, как выразилась Хема, то теперь рассудок к ней возвращался.

Я воспользовался моментом, убедился, что под столом мне ничего не мешает, и со всей силы пнул ее в голень. Любовь переполняла меня, но из головы не шла постельная сцена двухнедельной давности, а также ее прискорбные последствия. Красота ее тела, словно парящего надо мной в воздухе, потрясала. А мокрое белье я бы охотно стер из памяти.

Гримаса боли исказила лицо Генет, на глаза навернулись слезы, но она не издала ни звука.

– Что случилось? – участливо спросил Гхош. Она пролепетала:

– Мороженым подавилась.

– Ай-ай-ай. Мороженое в голову ударило. Феномен, достойный

изучения, а, Хема? Это какой-то эквивалент мигрени? Недуг всех поражает или только некоторых? Какова длительность болезни? Имеются ли осложнения?

– Милый, – Хема поцеловала его в щеку, редчайшая демонстрация чувств на публике, – наконец-то ты нашел явление, которое я не прочь исследовать на пару с тобой. Как я понимаю, для эксперимента понадобится масса мороженого?

В машине Генет показала мне след от удара.

– Доволен? – спросила она спокойно.

– Нет, это только разминка. Я с тобой еще рассчитаюсь.

– Еще испортишь мой новый наряд, – произнесла жеманно Генет и навалилась на меня. Шрамы возле глаз еще отливали красным.

Хема сочла их варварством, но на мой вкус, они были прекрасны. Я приобнял Генет. Шива не сводил с нас глаз: интересно, что я еще выкину? Шрамы придавали Генет не по годам мудрый вид, ибо находились на местах, где у людей пожилых образуются морщинки. Она улыбнулась, и морщинки задвигались, растянулись. Сердце у меня колотилось в истоме. Кто эта красавица? Она не сестра мне. И не подруга. В определенном смысле она – мой противник. И любовь всей моей жизни.

– Ну так что? – осведомилась она. – Если серьезно. Отомстил сполна?

Я вздохнул:

– Да. Сполна.

– Вот и хорошо.

Она ухватила меня за мизинец, согнула и, ей-богу, сломала бы, если бы я не вырвал руку.

Теперь Генет спала в кровати, которую поставили для нее в нашей гостиной. На следующее утро, перед тем как нам отправиться в школу, Хема послала за Розиной. Шива, Генет и я подслушивали в коридоре. Розина стояла перед Хемой в той же позе, что перед солдатом-мародером, я видел в щелку.

– Возвращайся на свое место в кухне рядом с Алмаз. С сегодняшнего дня дверь и окно в твоё жилище днем всегда будут открыты, пусть как следует проветрится.

Если Розина собиралась пожаловаться на дочку, минута настала.

Мы затаили дыхание.

Она не произнесла ни слова. Слегка поклонилась – и покинула помещение.

Потянулись обычные школьные будни: куча заданий на дом, затем занятия с Хемой, каллиграфия, обсуждение того, что случилось за день, и

новых прочитанных книг. Крикет для меня и Шивы и танец для Шивы и Генет. По вечерам подавать шар-другой частенько выпадало Гхошу. Для такого крупного мужчины подача у него была очень мягкая, и он обучал нас разным приемам.

Хема и Гхош переговорили с учителями, и в этом году Шиву перестали загружать дополнительными заданиями. Довольны остались обе стороны. Если Шива не хотел писать сочинение про битву при Гастингсе, никто его не заставлял. Школа исправно взимала плату за обучение Шивы и допускала его на занятия, только чтобы не хулиганил, а Шива соблюдал школьный распорядок. Учителя нас знали и с пониманием относились к брату. Насколько глубоким было это понимание, другой вопрос. Кое-кому, например мистеру Бейли, только что прибывшему из Бристоля, пришлось потрудиться. Бейли был в нашей школе единственным учителем с дипломом и вынужден был поддерживать высокий уровень. Две трети из нас завалили первую контрольную по математике.

– Один из вас написал на «отлично», но забыл написать свою фамилию. Прочие результаты никудышные. У шестидесяти шести процентов оценки неудовлетворительные, – кипятился учитель. – Что скажете про это число? Шестьдесят шесть!

С Шивой риторические вопросы обращались в ловушку, он никогда не выдавал ожидаемый и прекрасно всем известный ответ.

Шива поднял руку. Я съезжился. Брови мистера Бейли поползли вверх, будто с ним заговорила мебель.

– Ты что-то хочешь сказать?

– Шестьдесят шесть – мое второе любимое число.

– А почему второе? – поинтересовался мистер Бейли.

– Потому что если сложить все числа, на которые делится 66, включая само 66, получится квадрат.

Мистер Бейли не устоял. Записал на доске 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33 и 66 и сложил. Получилось 144.

– Двенадцать в квадрате! – хором воскликнули учитель и Шива.

– Поэтому число 66 – особенное, – продолжал Шива. – 3, 22, 66 и 70 – тоже особенные. Сумма их делителей дает квадрат.

– Скажи же, какое твое самое любимое число? – Сарказма в голосе Бейли больше не было. – 66, говоришь, второе?

Шива бросился к доске, хотя его не вызывали, и написал: 10 213 223.

Бейли долго смотрел на доску и наливался краской, наконец, как-то по-женски, развел руками:

– А почему это число должно нас заинтересовать?

– Первые четыре цифры – это номер вашей машины. (Судя по лицу мистера Бейли, он понятия об этом не имел.) Но это так, совпадение. Это число, – Шива постучал мелом по доске, – единственное, которое само себя описывает, если прочитать его вслух. Один ноль, две единицы, три двойки и две тройки! – Тут мой брат радостно засмеялся, чем поверг класс в изумление, отложил мел и сел на свое место.

Только это я и усвоил из математики за весь год. Что касается ученика, написавшего контрольную на «отлично», – кем бы он ни был, – то вместо своей фамилии он изобразил на листке Веронику.

Я ломал голову над превратностями судьбы, что так обособили его от меня по части школьных заданий, и, кажется, нашел ответ. Если Шива не мог или не хотел сделать то, что от него требовалось, это требование снималось. Я же в любом случае был обязан выполнить задание.

Как только позволяло расписание уроков, Шива присутствовал при «повороте на головку». Он даже как-то уговорил Хему, чтобы позволила ему посмотреть на кесарево сечение, и операция его покорила. Его библией стала «Анатомия» Грея, он выдавал рисунок за рисунком, они устлали пол нашей комнаты. Теперь он изображал не мотоцикл «БМВ» и не Веронику, а вульву, матку, кровеносную

систему женских органов. Чтобы сократить расход бумаги, Хема велела ему перейти на блокноты, что он и сделал, заполняя страницу за страницей. С «Анатомией» он не разлучался.

Я тоже нашел себе занятие – после школы пускался на поиски Гхоша. Найти его было легко: Третья операционная, приемный покой, послеоперационная палата. Мое клиническое обучение набирало обороты. Порой я ассистировал ему в его старом бунгало при проведении вазэктомии*.

* Вазэктомия – хирургическая операция, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков у мужчин. Эта операция приводит к неспособности иметь потомство при сохранении половых функций. Вазэктомию применяют в качестве радикального средства контрацепции.

Как-то вечером мы с Генет упражнялись в каллиграфии, копируя афоризмы из учебника Бикхема. Внезапно глаза у нее наполнились слезами.

– Если «Добродетель – сама себе награда», – выпалила она, – то отец не должен был умирать, ведь так? И если «Правду нет необходимости приукрашивать», то почему мы притворяемся, что его величество не коротышка и что его любовь к этой гадкой собачонке – нечто нормальное?

Знаешь, у него есть особый слуга, который повсюду носит за ним тридцать подушек и подкладывает ему под ноги, только бы они не болтались в воздухе.

– Перестань, Генет. Не смей так говорить, – остановил Генет я. – Если не хочешь, чтобы тебе свернули шею.

Даже до неудавшегося переворота выдавать такое об императоре было ересью. Можно было прямым ходом угодить на виселицу. Ну а после подавления мятежа следовало быть стократ более осторожным.

– Мне плевать. Ненавижу его. Можешь рассказать кому захочешь.

И она выбежала вон.

Занятия в школе подошли к концу, и Розина выкинула номер – попросила разрешить ей съездить на север страны, в Асмару, сердце Эритреи. Генет она забирала с собой – дескать, повидает свою семью и родителей Земуя. Хема испугалась, что она не вернется, напустила на нее Алмаз и Гебре, пусть откажется от поездки или отправляется одна, но Розина была непреклонна. В конце концов дело решила Генет.

– Что бы ни случилось, – сказала она Хеме, – я вернусь. Но мне очень хочется увидеться с родственниками.

На автобусную станцию их отвозило такси. Генет радостно махала на прощанье, дорога занимала три дня, и последнее время Генет говорила только о поездке. А у меня (и у Хемы) разрывалось сердце. В ту же ночь поднялся ветер, зашумели деревья, и к утру разбушевался ураган, предвещающий долгие дожди.

Теперь, на пороге своих тринадцати лет, я хорошо понимал, что для матушки, Бакелли, Гхоша – для больницы Миссии – сезон дождей означал сезон крупа, дифтерии и кори. Работы было невпроворот.

Как-то утром, подойдя к воротам, я увидел женщину с зонтиком, с которого струями стекала вода. Вид у нее был напуганный. Я узнал ее – она работала в одном из двух баров в шлакоблочном доме напротив Миссии. По утрам она выглядела скромно: милое ненакрашенное лицо, простенькая юбка и топ. Но пару раз она попала мне на глаза вечером совсем в другом, шикарном облике: прическа с начесом, высокие каблуки, яркий наряд.

Она спросила у меня дорогу. Позже я узнал, что ее звали Циге. Увязанный в покрывало ребенок, которого она тащила на спине на манер североамериканских индейцев, зашелся в кашле. Словно гусак загоготал. Услышав этот звук, я прошел мимо приемного покоя и направился напрямиком в крупозный бокс. Не так давно это помещение было боксом для поносников/обезвоженных. По периметру комнаты стояли кушетки,

застеленные красной клеенкой, вдоль стен на высоте головы тянулся карниз, на нем были подвешены капельницы. Одним махом Миссия могла привести в чувство целых шестнадцать, а бывало, что и двадцать младенцев.

Глаза у крохи были плотно закрыты, пальцы скрючены, полупрозрачные ногти впились в ладонь. Грудь вздымалась и опускалась слишком быстро для четырехмесячного малыша. Медсестра нашла на голове вену и поставила капельницу. Появился Гхош, быстро осмотрел крошечного пациента, разрешил мне применить стетоскоп. Невозможно было поверить, чтобы такая маленькая грудка производила столько хрипов, сердце с левой стороны билось с невыносимой частотой.

– Видишь эти скрюченные конечности, этот выступающий лобный бугор? – спросил Гхош. – А плоский затылок? Это все стигматы рахита.

На уроках закона Божьего в школе меня учили, что стигматы – это раны на теле Христа от гвоздей, от тернового венца, от копья сотника Лонгина. Но Гхош употреблял это слово для обозначения телесных симптомов заболевания. Как-то на Пьянце он показал мне стигматы врожденного сифилиса у апатичного мальчика, присевшего на корточки, – седловидный нос, мутные глаза, заостренные резцы... Я прочел и о прочих стигматах сифилиса: ягодицеобразный череп; саблевидные голени и поражение внутреннего уха.

Все дети в крупозном боксе были сморщенные, пучеглазые, большеголовые, у всех проявлялись стигматы рахита в большей или меньшей степени.

Гхош уложил ребенка в кислородную палатку, сделанную из куска полиэтилена.

– Круп следует за корью на фоне недостаточного питания, вдобавок к рахиту, – шепнул мне Гхош. – Какой-то набор несчастий.

Он отвел Циге в сторону и на амхарском объяснил ей, что с ребенком, предупредил, что надо продолжать кормить грудью, «какие бы советы вам ни давали». Когда Циге пожаловалась, что ребенок плохо сосет, Гхош сказал:

– Все равно это его успокоит, он будет знать, что вы рядом. Вы – хорошая мать. Это нелегко.

Уходя, Циге попыталась поцеловать Гхошу руку, но он не позволил.

– Я попозже еще раз попробую посмотреть ребенка, – сказал Гхош, выходя. – Вечером у нас вазэктомия. Доктор Купер из американского посольства придет брать урок. Принеси, пожалуйста, стерильный комплект из операционной. И включи стерилизатор у меня в квартире.

Я не отходил от Циге, чувствовал, что она совсем одна на белом свете. Ребенку лучше не становилось. Мне вспомнились лавки на Черчилль-авеню, туристы останавливались рядом, думали, здесь торгуют цветами, а оказывалось – венками. И гробиками размером с обувную коробку. Специально для младенцев.

По щекам у Циге катились слезы: ее малыш был самый больной среди детей. Прочие матери шарахались от нее, чтобы не сглазила. Я взял ее за руку, искал в памяти слова, которые бы ее успокоили, и не нашел. Ребенок хрипел все сильнее, и Циге зарыдала у меня на плече. Как мне хотелось, чтобы Генет была рядом, – чем бы она там ни занималась у себя в Асмаре, горе матери было важнее. Генет изъявила желание стать врачом – для умной девочки, воспитывающейся в Миссии, это было, пожалуй, неизбежно. Вот только к больнице у нее было отвращение, и за Гхошем и Хемой хвостом не ходила. Я никак себе не мог представить, чтобы она сидела с Циге.

В три часа дня малыш Циге – ни дать ни взять утопающий, зафиксированный замедленной съемкой, – умер. Недостало сил дышать.

Младшая медсестра, как и полагалось по инструкции, бросилась под дождем в главный корпус, делая мне отчаянные знаки. Но я не двинулся с места. Родительскому горю нужен козел отпущения, и виноватым часто оказывается тот, кто случился рядом, кто старался помочь. Только я знал: Циге мне нечего бояться.

Через полчаса Циге с завернутым в погребальную тряпку тельцем на руках была готова отправиться домой. Прочие матери сгрудились вокруг нее, задрали головы и испустили свое лулу лулу лу, будто их горестное причитание могло защитить детей.

Я проводил Циге до ворот. Она посмотрела на меня глазами, полными боли. Я ответил ей долгим сочувственным взглядом. Она поклонилась и пошла прочь со свертком на руках. Мне было ее очень жалко. Страдания ребенка закончились, а ее – только начинались.

Доктор Купер прибыл ровно в восемь на посольской машине. Одновременно на своем «комби» приехал и поляк-пациент.

Гхош изучал технику вазэктомии еще интерном, его учителем был сам Джавер, индийская знаменитость, которого Гхош охарактеризовал так: «Маэстро перевязки протоков, лично ответственный за миллионы нерожденных». Операция была для Эфиопии в новинку, и теперь все больше экспатриантов, в особенности католиков, обращалось к Гхошу за операцией, которую в их родных странах почему-то не делали.

– У меня к вам деловое предложение, доктор Купер. Я научу вас делать

вазэктомию, вы освоите операцию и в знак благодарности сделаете ее одной высокопоставленной особе.

– А я знаю эту особу? – спросил Купер.

– Вы имеете честь говорить с ней, – засмеялся Гхош. – Как видите, я лицо, непосредственно заинтересованное в том, чтобы подготовить вас наилучшим образом. Мой ассистент, Мэрион, поможет мне оценить ваши навыки. Мэрион, ни слова Хеме о моих планах. Вы, Купер, тоже держите язык за зубами.

У Купера была прическа ежиком и торчащие квадратные зубы. Сильный американский акцент резал ухо, но Купер так приятно растягивал слова, так располагал к себе своими мягкими, любезными манерами, будто жизнь доселе доставляла ему одни радости и никогда не переменится к худшему.

– Увидел, сделал, освоил, так ведь, старина? – рассмеялся Купер.

– Воистину так, – ответил Гхош. – Сама по себе операция легкая, но есть свои тонкости. Я всегда велю пациентам сделать накануне клизму, ибо ничто их так не напрягает, как запор. В клизму добавить теплое молоко с медом и держать кружку Эсмарха повыше, вот что я рекомендую.

– Помогает?

– Еще как! Вот бы как я это определил: если пациент как раз пьет виски с содовой, стакан валится у него из рук.

– Уловил, – усмехнулся Купер.

– Я также прошу пациента принять до операции теплую ванну. Расслабляет. – И Гхош добавил вполголоса: – А также положительно воздействует на мой орган обоняния...

Пациент не произнес ни слова. По словам Гхоша, он был консультантом Экономической комиссии по Африке, экспертом по контролю за рождаемостью и отцом пятерых девочек. То, что ему уделяется столько внимания, его не пугало.

– Если не начнем, то никогда не кончим, так что лучше начать, правда? Мэрион, обогреватель, будь так любезен. (Я уже включил электрический обогреватель под столом.) Вот первая оговорка: если не хочешь, чтобы мошонка съежилась, а яйца убежали к подмышкам, в помещении должно быть очень тепло. Вторая оговорка: релаксация, снятие психического и мышечного напряжения. Это очень важно. Барбитурат или наркотик могут помочь. Рекомендую одну унцию виски «Джонни Уокер». Красная или черная этикетка, неважно. Замечательный релаксант. Только не забудьте, налейте также и пациенту.

Купер размеренно захохотал.

Надеюсь, он заметил, сам я обратил на это внимание еще раньше. Когда интимные части пациента обнажились, даже несмотря на то, что в комнате было тепло, мошонка поджалась, а *musculus cremaster** поднял яички. Только после хорошего глотка виски (употребленного внутрь пациентом именно в эту минуту, никак не раньше) мешочек опал.

* Мышца, поднимающая яичко.

Оба хирурга были в перчатках. Гхош тщательно продезинфицировал операционное поле и обложил стерильными салфетками.

– Еще нюанс, мистер Купер. Пусть даже это несложная операция, не допускайте кровотечения. Вы знаете, на что похож бринжал?

– Нет, сэр.

– Э-э... Как его... Melanzana?.. Баклажан?

– Ах вот оно что.

– Если вы не будете тщательно контролировать кровотечение, получится баклажан. Или два. Вроде тех баклажанов, которыми меня пять лет кормили в медицинском институте. Так разнесет, не обрадуетесь.

Я снова подал пациенту виски, он осушил стакан.

Я обожал ассистировать Гхошу. С тех пор как он решил, что я достаточно взрослый и восприму все как надо, я очень серьезно относился к своей роли. Присутствие Купера меня сильно взволновало.

Гхош, находясь с правой стороны от пациента, коснулся большим и указательным пальцами основания мошонки:

– Чувствуете, сколько здесь всего понакручено: лимфатические сосуды, артерии, нервы, чего только нет! Семявыносящий проток тоже здесь, и при некоторой практике вы легко отличите его от прочих трубочек. У него самая толстая мышечная стенка по отношению к просвету, хотите верьте, хотите нет. Вот он. Слово хлыст. Пощупайте пальцем. Вот здесь, где мой палец.

Купер выполнил, что он велел.

– Поймал. Порядок.

– Теперь подцепите его кончиком указательного пальца и сожмите, чтобы не выскользнул.

Гхош давал Куперу примерно те же указания, что и мне, когда я ассистировал. Он обожал быть наставником, а Купер был благодарным слушателем. Если Купера поражал блеск изложения, то потому, что Гхош оттачивал его на мне. Лечить и учить были для Гхоша понятия тесно связанные. Когда учить было некого, он страдал. Но такое случалось нечасто. Он охотно делился премудростями со стажером или даже с членом семьи – кто под руку попадет.

– Чтобы минимизировать кровотечение, я вместе с местным обезболивающим использую адреналин. – В оттянутую пальцем ткань он опорожнил пятимиллитровый шприц. – Если вколоть хоть чуточку меньше, ему будет больно и яички снова эмигрируют к подмышкам. Придется вскрывать грудную клетку, чтобы спустить их обратно. Теперь... видите, мой указательный палец по-прежнему цепляет семенной проток? Делаю крохотный разрез на коже мошонки, тяну за проток... вот он! Когда он покажется в ране, захватываю его.

Он вытянул крошечный фрагмент ткани, похожей на белый шнурок.

– Ставлю комариный зажим сюда и сюда... и делаю разрез между зажимами. Удаляю кусочек сантиметра в два. В идеале его надо бы отправить патологоанатому В этом случае, если ваша жена через год после операции забеременеет, вы всегда можете показать справку от патолога, что это не вы выполнили работу некачественно, а третья сторона потрудилась на славу. Я не отправляю этот кусочек патологу только потому, что такого специалиста у нас нет. Правда, одно время патологоанатом работал в клинике американского посольства в Бейруте. Обслуживал все посольства в Восточной и Западной Африке. Я делал вазэктомию американскому персоналу и отправлял ему отрезанные кусочки. Он неизменно отвечал, что хотя, по его мнению, это уроэпителиальная ткань, но четко определить, что это именно семявыносящий проток, он не в состоянии. «Да это проток, – писал я ему всякий раз, – что еще я могу вырезать?» Он стоял на своем, мол, слишком мало материала. В конце концов я отправил ему пару яиц барана. Положил в формалин и выслал дипломатической почтой. С запиской: «Теперь материала достаточно?» Больше он не придурился.

Купер хихикнул, маска у него на лице колыхнулась.

– Так, перевязываем концы кетгутом. И говорим пациенту: никаких сношений с женой ближайшие девяносто дней.

Гхош повернулся к пациенту лицом и повторил фразу Тот кивнул.

– Общаться вы можете. На уровне «Спокойной ночи, милая». Но в течение трех месяцев никакого секса. (Пациент усмехнулся.) Так и быть, секс допускается, но только в кондоме.

– Я использую interruptus*, – впервые подал голос пациент. У него был сильный восточноевропейский акцент.

* Coitus interruptus – прерванное совокупление (лат.).

– Что вы используете? Interruptus? Выдерни и молись? Бедняга! Неудивительно, что у вас пятеро детей! Это благородно с вашей стороны, выскакивать из поезда, не доехав до конечной станции, но это очень ненадежно. Нет, сударь. Прервите прерванные сношения. (Поляк

смутился.) Знаете, как мы называем молодых людей, которые применяют прерываемый коитус?

Эксперт по контролю за рождаемостью покачал головой.

– Мы называем такого человека папашей! Daddy. Pater. Pappa. Pere. Нет, сударь. Я прервал коитус за вас. Дайте мне три месяца, и можете сказать вашей супруге, пусть не беспокоится, все выстрелы будут холостыми. И вам ничего не придется прерывать и лишать себя десерта, кофе и сигар.

Глава пятнадцатая. Плоть-владычица

Без Розины и Генет наш дом опустел. Я ужасно скучал по Генет. Мы с Хемой переживали, что больше ее никогда не увидим. Она обещала позвонить, написать, но прошло уже три недели, а никаких вестей от нее не поступило. В том году, а шел 1968-й, из-за затяжных проливных дождей Голубой Нил и Ауаш вышли из берегов. Ручеек, невинно журчавший на задах Миссии, превратился в реку. Население в Аддис-Абебе носило из нор не высовывало. Когда дождь стихал, пахло человеческим жильем, горящим в печах навозом и мокрыми тряпками. Плющ обвивал водосточные трубы и цеплялся за щели в стенах, а головастики торопились превратиться в лягушек. Дети уже не подставляли лицо дождю и не пробовали капли на вкус – от воды и так было никуда не деться.

Мне и Шиве вот-вот должно было исполниться четырнадцать, мы были уже взрослые, и я ждал каких-то перемен. Как я ни пытался чем-то занять себя, все равно мысленно я был вместе с Генет в Асмаре. Хотелось надеяться, что она сидит дома, грустит и скучает по мне. Без нее любое мое занятие казалось пустым.

Поздно вечером во вторник я наблюдал, как Гхош в Третьей операционной удаляет желчный пузырь. После операции он заглянул в хирургическую палату проведать Этьена, знакомого дипломата из Берега Слоновой Кости, у которого внезапно развилась кишечная непроходимость. При операции Гхош обнаружил раковую опухоль прямой кишки, которую ему пришлось удалить. Это была большая и сложная операция, и Гхош надеялся, что все обойдется. Следствием операции явилась колостома* на брюшной стенке.

* Искусственный наружный свищ ободочной кишки.

– Этьен очень расстроен, – сокрушался Гхош. – Не по поводу рака, а по поводу колостомы. Не может примириться с мыслью, что кал будет выходить через дырку в животе.

Этьен лежал, накрывшись с головой. Когда Гхош осмотрел его и заключил, что колостома выглядит прекрасно, на глазах у больного показались слезы. На торчащую из живота кишку Этьен старался не смотреть.

– Кто теперь пойдет за меня замуж? – только и сказал он.

Гхош оказался неожиданно строг.

– Этьен, часть тела, необходимую для женитьбы, я тебе не удалял. Ты

найдешь женщину, которая тебя полюбит, и все ей объяснишь. Если любовь настоящая, вы оба будете счастливы. Ты жив, и это главное. – Суровое лицо Гхоша несколько смягчилось. – Этьен, представь себе, что все люди родились с анусом на животе и кто-то предлагает тебе операцию: переставить выходное отверстие назад, запрятать его меж ягодич, где его можно увидеть только в зеркало и куда с трудом можно дотянуться, чтобы вытереть, помыть...

Прошло несколько секунд, прежде чем Этьен улыбнулся, вытер глаза и отважился посмотреть на колостому. Это был маленький шаг в верном направлении.

Гхошу надо было осмотреть еще одного пациента, и он отправил меня домой, чтобы я не опоздал на ужин.

Дождь лил как из ведра, а у меня не было с собой зонтика. Я прошел по крытым дорожкам от операционной к приемному покою, от приемного покоя к мужскому отделению, потом совершил короткую перебежку по лужам к сестринскому общежитию. В это женское царство я почти никогда не заходил. Вроде бы здесь никого. Если пройти по балкону и спуститься по лестнице с другой стороны... нет, намокнуть-то я все равно намокну, но бежать под дождем придется на пятьдесят ярдов меньше. Только бы жена Адама, блюстительница нравственности, меня не заметила, прогонит ведь...

На втором этаже двери комнат медсестер, выходящие на общую веранду, были нараспашку. Наверное, все ушли в столовую, а то бы сестры выстроились вдоль перил, поглощенные своей прической, маникюром, рукодельем или праздными разговорами.

Из угловой комнаты, той самой, где некогда проживала мама, донеслась музыка. Я пару раз бывал тут, но, так же как на могиле, не чувствовал здесь ее присутствия. Необычность музыки, ее заводной ритм привлекли меня. Гитары и барабаны повторяли рефрен сначала в одном регистре, потом в другом. С недавнего времени эфиопская музыка обрела западное звучание, трубы, малые барабаны и гитарные риффы заменили негромкие струны крара* и хлопанье в ладоши. Но это была не эфиопская музыка, и не только из-за английских слов (пусть даже такой английский я не до конца понимал). Она была совсем другая, словно новая краска у радуги.

* Эфиопская лира, на которой играют, ритмично бренча по струнам плектром, а свободной рукой заглушая звучание ненужных струн.

Дверь с шумом распахнулась.

Она стояла посреди комнаты босая, спиной ко мне. Белая рубашка,

открывающая плечи, доходила до колен. Голова у нее качалась из стороны в сторону, длинные черные волосы, распрямленные какими-то хитростями, казалось, были к голове приварены. Бедра следовали за басом, а поднятая вверх правая рука вторила мелодии. Левую руку она прижала к животу, локоть торчал, будто ручка у чашки. Музыка пронизывала ее тело, смазывала суставы, впитывалась в кости и плоть, порождая плавные, округлые и чувственные движения.

Она повернулась. Глаза у нее были закрыты, голова запрокинута, нижняя губа кривилась, словно, некогда рассеченная, неправильно срослась.

Мне была знакома эта губа, это лицо в легких оспинах, зрительно расширяющих скулы. А вот тело я не узнавал. Она была вечной стажеркой, пока матушка не сжалилась и не присвоила ей новую должность – штатная медсестра-стажер, – что ее совершенно преобразило. Из вечной ученицы-второгодницы она превратилась в наставника молодых сестричек-стажерок. На занятиях, пользуясь тем, что знала учебники наизусть, она вколачивала в головы медсестер факты и вместе с тем показывала, что все эти премудрости можно зазубрить. Вон как она сама шпарит – даже книгу не открывает.

Обычно она собирала волосы назад и завязывала в тугий пучок. Увенчанная медсестринским чепцом с крылышками, ее голова живейшим образом напоминала рожок с мороженым.

На мой взгляд, если она чем и выделялась, так это только прической. Среди знакомых по школе девочек часто попадались, так сказать, ни то ни се. Не красавица и не уродина, а кем сама себя считает, за такую и сойдет. Хайди Энквист была ох какая яркая, но только не в своих собственных глазах, ей недоставало загадочности и шарма Риты Вартанян, которая, несмотря на свой глубокий прикус и длинный нос, так себя поставила, что Хайди ей завидовала.

Стажерка была из того же теста, что и Хайди. Думаю, именно поэтому она добровольно заключила себя в туго накрахмаленную форменную одежду и доведком к ней бросила улыбаться. Она видела себя только медсестрой; вне профессии она была никто. Я всегда чувствовал, что среди людей ей неуютно. Да тут еще ее застенчивость.

Но сейчас из-под обличья медсестры проступила женщина. Форменное платье скрывало тело, полное изгибов, вроде фигур, которые любил рисовать Шива, и это тело так двигалось, что гаремная танцовщица обзавидовалась бы.

Глаза у нее были закрыты. Увидит меня – испугается, смутится, а то и

разозлится, пожалуй. Я был готов улизнуть, но тут она сделала шаг вперед, взяла меня за руку, как будто какая-то фраза в песне сказала ей, что я здесь, втянула в комнату и захлопнула дверь. Музыка сразу зазвучала громче.

Она закрутила меня, затормошила, заставила делать маленькие шажки в такт музыке. Сперва я смутился. Надо засмеяться и сказать что-нибудь умное, ведь я уже взрослый. Но, посмотрев на ее лицо, ощутив всем телом ритм, я почувствовал, что прервать сейчас танец все равно что начать громко болтать в церкви. Я принялся подражать ей, плечи – в одну сторону, бедра – в другую, руки выписывают кренделя в воздухе. Главное – ни о чем не думать. Мое тело распалось на части, и каждая часть шла за своим музыкальным инструментом. Наши па неизбежно должны были совпасть.

И, когда они совпали, она притянула меня к себе, я прижался щекой к ее шее, ее груди коснулись моего тела, нас разделяла только тончайшая материя. Раньше я не танцевал и уж точно никогда не танцевал так. Я вдохнул запах ее духов и пота. По телу у нее прошла судорога, и у меня перехватило дыхание. Она завела мою руку себе за спину, я положил ладонь ей на крестец, и наши тела будто слились воедино. Наш танец ни на секунду не прерывался, она вела меня.

Я предугадывал каждое ее движение, сам не понимаю как, не понимаю, откуда ко мне пришло это знание. Мы вертелись, синхронно бросались то туда, то сюда, действовали заедно. Я вспомнил Генет, и ее образ вдохновил меня. Теперь вел я, а она следовала за мной. Наши бедра соприкасались, нежная плоть терлась о плоть. Кровь прихлынула к лицу, к животу, к паху. Окружающий мир исчез. Остались только наши тела, погруженные в замысловатый диалог.

Музыка не кончалась. Пусть играет вечно, успел подумать я, и тут все оборвалось. Американский диктор, чей тягучий выговор оказался совсем не похож на четкую, официальную интонацию Би-би-си, промычал: «Ну, ну. Надо же. Угу, уту», словно видел, чем мы занимаемся. «Вам доводилось слушать что-нибудь столь же спокойное? «Рок Африки», радиослужба вооруженных сил, Асмара, передает четырнадцать лучших хитов Восточной Африки».

Я и не подозревал, что есть такая станция, хотя знал об американском широком военном присутствии, о «посте подслушивания» под Асмарой, в Кагне. Может, у них есть такое, что и нам не повредит послушать?

Мы по-прежнему прижимались друг к другу, не подпуская к себе окружающий мир. Она заглянула мне в глаза. Я не знал, заплачет она или засмеется, для меня было ясно одно: я буду плакать и смеяться вместе с ней, а если попросит, встану на четвереньки и изобразю Кучулу

– Ты такая красивая, – пробормотал я неожиданно для самого себя.

Она прерывисто вздохнула. Похоже, мои слова всколыхнули ее. Я сказал что-то не то? Губы у нее тряслись, глаза горели. Да нет, мои слова привели ее в восторг.

Она потянулась ко мне, ее рассеченная припухлая губа друг оказалась совсем рядом. Наши уста слились, впечатались друг в друга. В голове у меня мелькнул глупейший образ: два ерошенных садовых шланга. И в замкнутом пространстве сообщающихся сосудов перемещалась не вода. Ее язык. Я благодарно принял его, не то что тогда в кладовой с Генет. Это было восхитительно. Я притянул к себе ее голову, прижался всем телом. Каждый атом в нем встал навытяжку.

Я на мгновение оторвался от нее, только чтобы еще раз произнести «Ты такая красивая» – колдовскую фразу, которую, я знал, мне доведется повторять часто, не кривя при этом душой. Не скажу, сколько времени мы простояли, слившись воедино ртами, но все происходило естественно, словно я утолял голод. Я не подозревал, что во мне дремлют такие силы. Меня несло по течению. Что последует дальше, я не знал, но мое тело знало. Я доверился своему телу. Я был готов.

Внезапно она оттолкнула меня. Отошла на расстояние вытянутой руки. Села на краешек кровати. Заплакала. Что-то случилось, а мое тело ничего мне не сообщило. Может быть, я нарушил какое-то правило, этикет? Я не сводил глаз с двери, прикидывая, как бы удрать.

– Простишь ли ты меня когда-нибудь? – прорыдала она. – Твоя мама не должна была умереть. Если бы я сказала кому-нибудь, что ей плохо, ее бы, наверное, спасли.

Я был потрясен. Волосы на загривке встали дыбом. Я совсем забыл, что нахожусь в маминой комнате. Обстановка совершенно не шла к сестре Мэри Джозеф Прейз, взять хоть этот плакат с изображением Венеции на стене и другой плакат, черно-белый, на котором белый, вихляющий бедрами певец с перекошенным от напряжения лицом ухватился за микрофонную стойку

Я перевел взгляд на штатную медсестру-стажера.

– Я не знала, как ей плохо, – совсем по-детски икнула она сквозь слезы.

– Не расстраивайся. – Эти слова за меня будто кто-то другой произнес.

– Скажи, что прощаешь меня.

– Прощу, если перестанешь плакать. Пожалуйста.

– Скажи.

– Я прощаю тебя.

Она зарыдала еще громче. Еще услышит кто-нибудь. Как объяснить, что я делаю в этой комнате? А плачет она почему? Из-за меня?

– Я же сказал! Я прощаю тебя! Перестань!

– Но из-за меня вы с братом чуть не умерли! Мне надо было проверить, как вы дышите, сделать искусственное дыхание, если что. А я забыла!

Я попал в эту комнату по воле случая, не находя себе места от тоски по Генет. Тут я обо всем забыл, обрел в танце радость, даже нет, экстаз, частичку того счастья, которое мне могла бы дать Генет. А теперь, неприкаянный, я был совершенно сбит с толку. Казалось, рай совсем близко, но тут внезапно спустился туман...

Она взяла меня за руку, потянула к себе, на кровать.

– Можешь делать со мной все, что захочешь. Когда захочешь.

Она запрокинула голову и посмотрела на меня снизу вверх.

О чем это она?

– Делать что? – спросил я.

– Все, что только захочешь.

Она отпустила мою руку и упала на спину, разметав в стороны руки и раздвинув ноги. Я мог делать с ней все, что пожелаю. Она была готова.

А желания имелись. Мне была дана власть над ее телом, полная свобода действий. Значит, инстинкт придаст желаниям конкретные формы. В конце концов, мне почти четырнадцать.

И все-таки я медлил.

Она перекатилась на живот, посмотрела на меня через плечо, передо мной мелькнули ее ягодицы. Веки ее припухли, глаза были сонные, томные. Она встала на четвереньки. Груды свисали, были видны соски. Я не мог глаз оторвать, и она это заметила.

Послышались шаги и голоса. Медсестры и стажерки возвращались из столовой.

Уходить мне не хотелось. Но окружающий мир не дремал. Сам виноват, что тянул. Да тут еще ее непрошеное признание.

– Хочу потанцевать с тобой еще раз, – прошептал я.

– Танцуй... – шепнула она в ответ, но, похоже, хотела сказать совсем другое.

– Все, что только захочу?

– Да! Все, что тебе будет угодно. – Она села на кровати, улыбаясь сквозь слезы, протянула ко мне руки.

– Но не прямо сейчас. Я приду... потом. – Я взялся за дверную ручку.

– А почему не сейчас? – Это прозвучало довольно громко.

Я выскользнул из комнаты, надеясь, что если меня кто и заметит, то не увидит в моем посещении ничего особенного.

Дождь лил по-прежнему. Я нарочно подставил голову под струи. Мне казалось, я сейчас взлечу. Какие могучие чувства таятся во мне, а я и не знал! Пока добежал до дома, весь промок. Замок на двери Розины и Генет выводил меня из себя. Я замер, уставившись на закрытую дверь.

Именно в это мгновение, когда дождь барабанил мне по макушке, я решил, что обязательно женюсь на Генет. Это моя судьба. То, что я испытал со стажеркой, я не хотел переживать ни с кем, кроме Генет. Столько искушений вокруг, какие могучие силы стоят у меня на пути! Я был готов поддаться искушению. Но только с одной женщиной – Генет.

Женитьбой на ней я решу все вопросы. Розина перестанет замыкаться в себе. Хема, Гхош и Розина будут только рады за своих детей. Да у нас и у самих появятся дети! Мы снесем помещение для слуг и выстроим дом – близнец теперешнему, – соединим их переходом и все поселимся под одной крышей, и Шива с нами. Генет – его невестка, вот здорово! Шива не любит оглядываться назад, обращаться к прошлому, значит, на мне лежит обязанность сохранить семью, не разлучаться с братом.

Я вошел в дом, с меня текло. В ванной я разделся догола и долго разглядывал себя в зеркале, пытаюсь понять, что во мне нашла стажерка. Для своих лет я был высокого роста, почти шесть футов, кожа у меня была светлая. Я мог сойти за индуса или представителя какого-нибудь средиземноморского народа. Лицо у меня было чересчур серьезное, особенно когда волосы мокрые. Высохнув, они начинали виться и жили своей собственной жизнью, попробуй уложи.

Вот что значит повзрослеть, подумал я, поворачиваясь к зеркалу спиной и оглядывая себя с боков и сзади.

Одевшись, я прошел на кухню, вдохнул восхитительные ароматы и схватил кусочек мяса, Алмаз не успела шлепнуть меня по руке. Она принялась меня ругать, но ее брань была мне в радость, как и музыка, доносящаяся из гостиной, тяжкий ритм табы, шарканье ног по полу, отрывистые команды – Хема с Шивой занимались танцами. Позвякивая плохо закрепленным бампером, подъехал «фольксваген» Гхоша. Я был счастлив, чувствуя себя центром нашей семьи, только Генет и Розины недоставало, чтобы она собралась в полном составе.

Я выбросил из головы слова стажерки о том, что на ней лежит вина за смерть мамы. Не было смысла беречь старые раны, ворошить прошлое, тем более что будущее сулит такие наслаждения. А как же отец? Нет, он никогда не войдет в ворота Миссии, теперь я четко это сознавал. Где бы

Томас Стоун ни находился, чем бы ни занимался, он и понятия не имел, что на него махнули рукой.

Глава шестнадцатая. Время сеять

Генет и Розина вернулись за два дня до начала занятий в школе, было шумно и весело, словно на Меркато приехал индийский цирк. Багажа они привезли столько, что пружины такси просели.

Мне сразу бросился в глаза золотой зуб Розины и сопутствующая ему улыбка. Генет тоже преобразилась, повеселела, на ней была традиционная хлопковая юбка и корсаж, на плечах шама в тон. Она с визгом кинулась к Хеме, чуть не сбив ее с ног, потом подскочила к Гхошу, к Шиве, к Алмаз и ко мне, затем снова бросилась в объятия Хемы. Розина нежно, с любовью обняла меня, но Шиву тискала дольше, и меня кольнула зависть. Теперь, после разлуки, я ясно видел то, что упускал из виду раньше: она явно выделяла Шиву. Неужели причина была в том, что она застучала меня в кладовке со своей голой дочкой? Или она всегда была больше расположена к Шиве и я один этого не замечал?

Все заговорили наперебой. Розина, одной рукой по-прежнему обнимая Шиву, похвасталась перед Гебре своим золотым зубом.

– Генет, милая, твои волосы! – воскликнула Хема. Голову Генет теперь украшали тугие, уложенные рядами косички, такие же, как у матери. На затылке они оплетали блестящий диск. – Ты их подстригла?

– Ну да! Нравится? А погляди на мои руки! – Кулачки у нее были оранжевые от хны.

– Но они такие... короткие. И ты проткнула уши. (Голубые кольца оттягивали Генет мочки.) Господи, девочка, -

Хема обняла Генет за плечи, – ты только посмотри на себя! Ты подросла и... округлилась.

– Твои сиськи стали больше, – ввернул Шива.

– Шива! – хором воскликнули Гхош и Хема.

– Извините. – Шива удивился их реакции. – Я хотел сказать, у тебя грудь выросла.

– Шива! Такие вещи женщине не говорят, – возмутилась Хема.

– Мужчине ведь такое не скажешь, – раздраженно буркнул Шива.

– Ничего страшного, ма, – прощebetала Генет. – Это правда. У меня теперь В или даже С. – Она гордо взглянула на свои торчащие соски.

Розина догадалась, о чем идет речь.

– Stai zitto! – прошипела она Генет и прижала палец к губам, но Генет только рассмеялась в ответ. – Госпожа, – сказала Розина Хеме по-амхарски,

– беда мне с этой девчонкой. Все мальчишки бегают за ней. А она нет чтобы цыкнуть на них. Только посмотрите, как она одевается.

Нотка гордости, которую я услышал в этой жалобе, больно кольнула меня.

– Просто в Асмаре мне понравилась одежда, – объяснила Генет. – Ах да! Я захватила открытки! Хочу вам показать. Ах, они в такси... минуточку.

Она нырнула в открытое окно машины, мы полюбовались ее трусами. Розина рывкнула на нее на языке тигринья, Генет не отреагировала.

И вот открытки перед нами.

– Асмара... итальянцы построили такой красивый город. Видите?

Колониальным прошлым хвастаться не пристало; итальянцы пришли туда задолго до Эфиопии. Странные разноцветные здания, казалось, состояли из одних углов, словно некий набор геометрических фигур.

Хема и Гхош вскоре удалились в дом, таксист помог Гебре отнести деревянные стулья и новую кровать в логово Розины. Резное ложе черного дерева Розине подарил брат.

Я присел на новую кровать, не сводя глаз с Генет. Казалось, мы не виделись долгие годы. Я словно язык проглотил.

– Как ты провел зиму, Мэрион?

Вот уж в ком нет ни капли смущения. Не то что во мне.

Я подготовился к разговору с ней. Даже сценарий составил. Но эта высокая красивая девчонка – я бы даже сказал, женщина, несущая в себе дух Эритреи и очарование Италии, – смешала все мои мысли. Пациенты, которых я видел, прочитанные книги... все это меркло перед Асмарой.

– Ничего особенного, – ответил я. – Сама знаешь, как здесь скучно, когда зарядят дожди.

– Прямо уж и ничего? А фильмы, приключения? А подружки?

Из головы не шло то, что Розина сказала о мальчишках, бегавших в Асмаре за Генет. Это была измена. Несомненно, Генет нравились ухаживания. Если послать ухажера подальше, он отстанет, так ведь?

– Подружки? Не знаю. Только вот что произошло... И я, поначалу запинаясь, рассказал ей, как танцевал со

стажеркой в бывшей маминой комнате. Чувственную составляющую я постарался полностью опустить. Правда, чем дальше продвигался мой рассказ, тем сложнее было сохранять равнодушный тон.

Глаза у Генет сделались круглые, как кольца в ушах.

– Так ты ее... того? – спросила она.

– Нет! – горячо возразил я.

На лице у нее рисовалось разочарование. А я-то думал, она станет

ревновать.

– Черт побери, Мэрион, почему «нет»? Я покачал головой:

– Есть причина...

– Какая? Ну же, говори! – Она пихнула меня в бок, будто стараясь выбить признание. – Кого ты ждешь? Английскую королеву? Она замужем, если не забыл.

– Причина в том... Знаю, будет здорово, просто замечательно. И даже более того...

– Ну так в чем дело? – Она картинно закатила глаза.

– Хочу, чтобы моей первой женщиной была ты. Ну вот. Сказал.

Генет с открытым ртом уставилась на меня. Я ощутил себя совершенно незащищенным, затаил дыхание. Сейчас примется меня высмеивать, издеваться. Это убьет меня.

С лаской на лице она наклонилась ко мне, нежно взяла обеими руками за подбородок и покачала из стороны в сторону, словно я маленький ребенок.

– *Ma che minchia?* – грубо вмешалась Розина. Я и не заметил, как она вошла в комнату.

Генет расхохоталась. Она складывалась пополам, задыхалась, захлебывалась смехом. Розина постояла, посмотрела на нее и удалилась, бормоча что-то себе под нос. Истерический смех Генет был мне в новинку.

Когда к ней вернулся дар речи, Генет объяснила:

– «*Ma che minchia?*» означает «Какого хрена?». Этому выражению меня научили в Асмаре двоюродные братья. Мама меня постоянно шлепала за него. А теперь сама туда же, представляешь? Ну так как, Мэрион, *che minchia*, а?

Все вместе мы ужинали в бунгало. Генет сидела с нами, а Розина и Алмаз ели на кухне.

Ручки «Грюндига» за едой крутил я. «Рок Африки» я часто слушал до полуночи, музыка отвечала моим чувствам: в плотной ткани двенадцатитактовых блюзов или в пронзительных балладах Дилана царил порядок. По вечерам со мной частенько сживал Шива, музыка увлекала и его.

Заговорил диджей:

– «Рок Восточной Африки», радиослужба Вооруженных сил. Здесь «Суббота на ферме Буна». Первая партия вина с фермы Буна поступила вчера вечером, и если вам его не хватает, ребята, к сожалению, ничем не могу помочь. Кончилось. Давайте лучше послушаем Бобби Винтона, «Мое сердце принадлежит только тебе».

Я обрадовался, что Генет ничего не знает про эту радиостанцию. Значит, двоюродные братья из Асмары не такие уж крутые, если не настраивали приемник на это шоу.

Следующая песня началась без вводных слов. Я вскочил с места.

– Вот она! – прокричал я Генет. – Мелодия, про которую я тебе говорил!

Сколько вечеров я не отходил от приемника, а песню, под которую танцевали мы со стажеркой, слышал впервые.

Под музыку я задвигался, завертелся в танце, не обращая внимания на лицо обалдевшей Хемы и на удивленные взгляды Гхоша и Генет, прибавил громкость. Из кухни показались Розина и Алмаз – наверное, решили, что я спятил. Я был сам на себя не похож, но остановиться уже не мог. Внутренний голос шептал мне, что сегодня подходящий день.

Поднялся Шива и присоединился ко мне, его танец был плавный, выверенный, движения до того отшлифованы, будто свои занятия хореографией они с Хемой проводили именно под эту мелодию. Глядя на нас, не удержалась и Генет. Я потянул за руку Хему. Гхош не стал дожидаться отдельного приглашения. Попытка вовлечь в танец Розину не удалась, они с Алмаз сбежали на кухню. Впятером мы танцевали, пока не отзвучала последняя нота.

Чак Берри.

Так звали артиста. А песня именовалась «Sweet Little Sixteen» – так сказал диктор.

Когда пришла пора отправляться спать, Генет, к огорчению Хемы объявила, что возвращается в комнату матери.

– Составлю маме компанию. У меня теперь своя кровать. В Асмаре мы шестером спали на полу. Своя кровать – какая роскошь!

На следующий день я разыскал в музыкальной лавке на Пьяцце сорокапятку Чака Берри. Из наклейки на конверте следовало, что «Sweet Little Sixteen» – хит номер один, но за 1958 год! Я был уничтожен. Целых десять лет весь мир слушает эту вещь, а я и не знал о ее существовании! Вот профан! И еще устроил танцы под нее! Ну словно крестьянин, глазеющий на неоновую пивную кружку на крыше здания «Оливетти».

В канун нового учебного года Хема и Гхош взяли нас с собой в Греческий клуб на празднование окончания «зимы». Генет отказалась, заявив, что ей надо подготовить одежду для школы, чем очень меня удивила. Розина, Гебре и Алмаз собирались организовать скромные посиделки.

Биг-бэнд был составлен из желающих подработать музыкантов,

играющих в оркестрах Вооруженных сил, ВВС и лейб-гвардии. Они могли сыграть «Stardust», «Begin the Beguine» и «Tuxedo Junctions» даже если их разбудить ночью. Чака Берри в их репертуаре не было.

Загорелые экспатрианты были после отпуска полны сил. Я увидел мистера и миссис Г., которые на самом деле вовсе не были женаты и о которых говорили, что они, будучи в Португалии, сошлись и сбежали от своих законных семейств; мистера Дж., холостяка из Гоа, успевшего посидеть в тюрьме за финансовые махинации. Новоиспеченные экспаты быстро разучивали свои роли: я иностранец, и это главное, а талант и образование не имеют большого значения.

Мне всегда казалось, что экспатрианты – сливки культуры и стиля «цивилизованного» мира. Но сейчас я видел, насколько далеки они от Бродвея, Вест-Энда или Ла Скалы, отстают лет на десять, как я со своим Чаком Берри. Я глядел на румяные, потные лица танцующих, на их по-детски блестящие глаза, и меня разбирала досада.

Шива сначала танцевал с Хемой, потом с дамой, партнершей Хемы и Гхоша по бриджу, потом со всеми подряд. Мне внезапно стало невмоготу в этом зале, и я ушел, сказав Хеме и Гхошу, что возьму такси.

Поднимаясь по склону к Миссии, я думал о стажерке. Я старался ее избегать. В компании своих подопечных она меня не узнавала; когда я попался ей вместе с Шивой, молча кланялась, а встретив как-то меня одного, спросила:

– Ты Мэрион?

По глазам я понял, что ничего не изменилось и ее дверь по-прежнему для меня открыта.

– Нет, – соврал я. – Я Шива.

Больше она таких вопросов мне не задавала.

В комнате Розины бормотал приемник, но дверь была закрыта, да мне и не хотелось никого видеть.

Снедаемый мрачными мыслями, я лег спать, – казалось, мне куда больше тринадцати.

Проснулся, когда вернулся Шива, увидел его в зеркале. Он показался мне выше, чем я сам, у него были узкие бедра и легкая походка танцора. Шива снял пиджак и рубашку.

Его расчесанные на пробор волосы спутались, губы пухлые, почти как у женщины, лицо мечтательное, вдохновенное. Раздевшись до белья, он принялся смотреться в зеркало, поднял одну руку, занес другую, словно танцевал с воображаемой женщиной, грациозно повернулся и поклонился.

– Славно провел время? – спросил я.

Он застыл на месте, так и не опустив рук. Я поймал его взгляд в зеркале и покрылся гусиной кожей.

– Там все славно провели время, – ответил он хриплым, незнакомым голосом.

Глава семнадцатая. Форма безумия

Такси высадило нас с Шивой у ворот Миссии напротив дома из шлакоблоков. Зажигались уличные фонари. В свои шестнадцать лет я был капитаном команды по крикету и защитником калитки, а Шива – бэтсменом. Со своей задачей мы справлялись отлично. Тренировки заканчивались уже в сумерки.

Огни бара, расположенного в конце здания у самой лавки Али, высветили силуэт женщины на фоне бисерной шторы.

– Привет! Подожди меня! – крикнула она.

Из-за узкой юбки и каблуков ей пришлось семенить, переходя по доске сточную канаву. Она ежилась от холода и улыбалась так широко, что глаза превратились в щелочки.

– Как ты вымахал! Помнишь меня? – Женщина неуверенно переводила взгляд с меня на Шиву. Потянуло жасмином.

После смерти ее ребенка я встречал Циге много, много раз, но мы никогда не сталкивались нос к носу. Помашем друг другу издали – и все. Год она носила траур. В то дождливое утро, когда она принесла малыша в Миссию, внешность у нее была самая невзрачная, лицо простодушное, но сейчас, с подведенными глазами, накрашенными губами и волнистыми волосами до плеч, она была чрезвычайно хороша.

Мы троекратно расцеловались, словно родственники.

– Это... вот... хочу представить тебе моего брата, – пробормотал я.

– Ты работаешь здесь? – спросил Шива. С женщинами он всегда общался без всякого смущения.

– Больше нет, – ответила она. – Я теперь хозяйка. Рада пригласить вас к себе.

– Но... нет, спасибо, – вспыхнул я. – Нас мама ждет.

– Не ждет, – возразил Шива.

– Не против, если я зайду в другой раз? – проямлил я.

– Когда только захочешь, всегда рада. Приходи вместе с братом.

Повисло неловкое молчание. Она не выпускала мою руку.

– Слушай. Дело давнее, но ведь я тебя так и не отблагодарила. Как увижу тебя, дай, думаю, поговорю, но делается как-то неловко, что тебя зря смущать... А сегодня мы прямо столкнулись, и я решила: пора.

– Да нет, – сказал я, – это мне казалось, что ты на меня – на нас – сердисься, винишь Миссию за...

– Нет, нет, нет... мне некого винить кроме самой себя. – Глаза у нее потускнели. – Вот что бывает, когда слушаешься этих старых дур. «Поддай ему это. Сделай то». В то утро я посмотрела на бедного малыша и осознала, что от всех этих снадобий ему только хуже. Когда твой отец осматривал Тефери, я поняла, что опоздала на несколько дней. Чего я ждала?..

Я молчал, вспоминая, как она рыдала у меня на плече.

– Только бы Бог простил меня и не оставил своей милостью. – Она говорила искренне, ничего не скрывая. – Я тебе вот что хочу сказать. Да хранит тебя Господь и все святые его. Отец у тебя такой хороший доктор. Вы тоже собираетесь стать докторами?

– Да, – ответили мы с Шивой хором.

Это было то небольшое, о чем я мог говорить в те дни с уверенностью и в чем мы с Шивой были согласны друг другом.

Лицо у нее просветлело.

По дороге к бунгалу Шива спросил:

– Почему ты отказался? Она, наверное, живет здесь же. Мы бы с ней переспали.

– С чего ты взял, что стоит нам встретить женщину, как меня тянет с ней переспать? – возмутился я. Яду в моих словах было более чем достаточно. – Я не желаю с ней спать. К тому же она не из таких.

– Сейчас, может, и нет. Но она знает, как надо.

– Мне уже выпадал случай. Я сделал свой выбор. – И я, как бы желая подтвердить свою точку зрения, рассказал ему про стажерку.

Шива ничего не сказал в ответ. Мы шагали в молчании. Шива меня бесил. Мне претило думать о Циге в этом ключе, было неприятно сопоставлять это милое лицо с тем, как она зарабатывает себе на жизнь. Я гнал от себя эти мысли. А у Шивы таких предрассудков не имелось.

– В один прекрасный день у нас будет секс с женщинами, – наконец заговорил Шива. – Почему бы этому прекрасному дню не наступить сегодня? – Он посмотрел на небо, словно стараясь убедиться, что расположение звезд благоприятствует.

Я порылся в голове в поисках возражений. Ничего путного на ум не пришло.

– А про Хему и Гхоша ты не забыл? Думаешь, они обрадуются? Люди их уважают. А мы заставим их краснеть.

– Но от этого никуда не денешься, – нашелся Шива. – А сами-то они что? Тоже этим занимаются...

– Прекрати! – крикнул я. Какая гадкая мысль!

Но только не для Шивы.

В тот самый месяц, когда мне исполнилось шестнадцать, у меня сломался голос. На теле высыпали угри, будто я проглотил мешок горчичных семян. За три-четыре месяца новая одежда становилась мала. В необычных местах стали расти волосы. Мысли о противоположном поле, главным образом о Генет, не давали сосредоточиться. Я несколько приободрился, заметив, что с Шивой происходят в точности те же самые физические перемены, но после встречи с Циге разговор о страстях и о необходимости их сдерживать не клеился. Да Шива и не желал сдерживаться.

– Тюрьма, – со смехом говорил Гхош, – очень укрепляет супружеский союз. Если не получается посадить свою половину, садись сам. Эффект замечательный.

Теперь, понимая, о чем он, я сторал со стыда.

Несмотря на свое знание человеческого тела в том, что касалось различных болезней, Шива и я долгое время оставались полными дурачками в вопросах секса. А может, я один был такой наивный. Я ведь не ведал о том, что наши сверстники-эфиопы – и у нас в школе, и в школах государственных – уже давным-давно перешли черту с какой-нибудь девчонкой из бара или горничной и не изнуряли себя, годами пытаясь представить себе невообразимое.

Помню историю, которую мне рассказал мой одноклассник Габи, когда мне было лет тринадцать, и в которую мы все долго верили. Его двоюродный брат эмигрировал в Америку.

– В аэропорту в Нью-Йорке, – якобы рассказывал двоюродный брат, – с тобой заговаривает красавица-блондинка. Ее духи сводят тебя с ума. Большие груди, мини-юбка. Она представляет тебя своему брату. Они предлагают подбросить тебя до города в своем кабриолете, и ты, как вежливый человек, соглашаешься. По пути на Манхэттен вы останавливаетесь у дома брата в Малибу выпить мартини. Таких чертогов ты никогда не видел. Как только вы входите, брат достает пистолет и говорит: «Натяни мою сестру, не то убью».

Сколько ночей я провел без сна, гоня в голове мысли о такой ужасной, изломанной, прекрасной судьбе и страстно желая попасть в Америку хотя бы только ради этого. Братец, спрячь пистолет. Я отдеру твою сестру за так. Эту фразу я, Габи и компания употребляли вместо пароля, она была свидетельством нашего подросткового пыла, бурлящей сексуальности. Даже когда мы осознали всю абсурдность побасенки, она по-прежнему нас восхищала и пароль остался в ходу.

Через пару недель после того, как мы с Шивой повстречали у бара Циге, я столкнулся у ворот Миссии со стажеркой. Деваться было некуда. Встречи с ней всегда тревожили.

Вокруг нее вилась целая стайка юных стажерок. В таких ситуациях она подчеркнута не обращала на меня внимания. А тут улыбнулась, покраснела и, пропустив вперед своих подопечных, подошла ко мне.

– Спасибо за ночь. Надеюсь, крови ты не испугался. Ты удивлен? Я ждала тебя все эти годы. И дождалась.

Ее тело коснулось моего.

– Когда ты придешь опять? Я буду считать дни.

Она заторопилась вдогонку за своими ученицами, каждая клеточка ее тела пританцовывала, словно сам, Чак Берри с гитарой в руках сопровождал ее. Обернувшись, она сказала через плечо, достаточно громко, чтобы весь белый свет услышал:

– В следующий раз не убегай так сразу, ладно?

Я понесся домой. Последнее время, особенно на уик-энд, Шива гулял сам по себе, а я не придавал этому значения. Я и представить себе не мог, на что он способен.

Шива, Генет и Хема сидели за обеденным столом, Розина подавала. Гхош мыл руки.

Я затащил Шиву к нам в комнату.

– Она думает, что это был я! (И зачем я ему рассказал про танцы со стажеркой?) Почему ты не спросил меня? Я бы тебе запретил! То есть запрещаю! Что ты ей сказал? Притворился, что ты – это я?

Мой гнев озадачил Шиву.

– Нет. Я был я. Я всего-навсего постучался к ней. Ничего не говорил. Она все сама сделала.

– Господи! Ты потерял невинность, как и она?

– С ней у меня было в первый раз. А откуда такая уверенность насчет нее, а, старший братец?

Меня как под дых саданули. Шива никогда не разговаривал со мной таким тоном, он показался мне издевательским, мерзким. Я лишился языка. А он как ни в чем не бывало продолжал:

– Для меня это не первый опыт. Я каждое воскресенье хожу на Пьяццу.

– Что? И сколько раз ты уже?..

– Двадцать один.

Я не мог слова вымолвить. Он меня потряс, смутил, внушил отвращение... и заставил жестоко завидовать

– С одной женщиной?

– Нет, с разными. Считая стажерку, их было двадцать две. – Он улыбался, небрежно опираясь рукой о стену.

– Будь любезен, не ходи больше к этой медсестре.

– Почему? Сам туда проложишь дорогу?

Я чувствовал, что не могу ему приказать, с чего бы ему меня слушаться. Ведь у него уже есть определенный опыт, а у меня – нет.

На меня навалилось какое-то безразличие.

– Не бери в голову. Только окажи услугу, скажи ей в следующий раз, кто ты. И когда сделаешь дело, то не убегай сразу, пошепчи ей на ушко ласковые слова. Скажи, какая она красивая...

– Красивая? Зачем это?

– Ладно, проехали.

– Мэрион, все женщины красивы.

В словах Шивы не было ни капли сарказма. Он пребывал в превосходном настроении, не злился на меня, даже не думал смущаться. А я-то воображал, что хорошо знаю брата. Оказалось, мне знакома только внешняя сторона, обряды. Он обожал «Анатомию» Грея, всюду таскал книгу с собой, захватал руками обложку. Когда Гхош вручил ему новое издание Грея, брат обиделся, словно тот принес ему щенка бродячей собаки на замену Кучулу, доживавшей свои последние дни. Что скрывалось за обрядами Шивы, какая логика ими двигала, мне было неизвестно. Для Шивы женщины, точно, были прекрасны – я заметил это еще в наше первое присутствие при повороте плода на головку. Он не пропустил ни одной процедуры и так пристал к Хеме, что та плюнула и научила его поворачивать ребеночка. В его интересе к акушерству и гинекологии не было ничего похотливого. Если на день процедуры выпадал праздник или Хема отменяла ее по какой-то другой причине, Шива все равно появлялся и сидел перед закрытой дверью на ступеньках. Когда я попросил нежно обращаться со стажеркой, Шива мог бы возразить, мол, я и так дал девушке все, что она хотела, а ты только комедию ломал. Но я берег себя для единственной женщины. Хранить чистоту так трудно и потому благородно. Это должно произвести на Генет впечатление, разве нет?

В ту солнечную субботу три года назад, когда Генет вернулась с каникул из Асмары, мне стало ясно, что она почти созрела. У нее тогда все удлинилось: ноги, пальцы, даже ресницы. Глаза сделались томные и миндалевидные.

Если верить «Учебнику педиатрии» Нельсона, рост молочных желез и появление волос на лобке – первые признаки полового созревания у девочек. Странно, что Нельсон не обратил внимания на проявление,

которое я заметил прежде всего, – на пьянящий, зрелый аромат, подобный пению Сирены. Когда она душилась, два запаха смешивались, сплетались и кружили мне голову. Хотелось сорвать с нее одежду и выпить из источника.

Перемены в Генет встряхнули Розину – я это ясно видел. Хема и Розина были союзниками, совместно пытались защитить Генет от хищников-парней. Но, на мой взгляд, они сами сводили на нет все свои усилия тем, что покупали ей одежду и украшения, делающие ее еще более привлекательной в глазах противоположного пола. От ухажеров отбоя не было, и это внимание очень нравилось Генет.

В тот день Генет велела передать, что с нами на такси не поедет и сама доберется до дома. Нам с Шивой оставалось пройти по нашему проезду ярдов пятьдесят, когда Генет выпорхнула из сверкающего черного «мерседеса».

Шива ушел, а я подождал Генет и вместе с ней вошел в дом.

– Мне не нравится, что Руди подвозит тебя до дома. «Не нравится» – это слишком мягко сказано. Роскошная

машина совершенно выводила меня из себя, кровь вскипала. У отца Руди в Аддис-Абебе была монополия на ванно-туалетные принадлежности. Во всей школе еще только у двух учеников имелись свои машины. Больше всего угнетало, что когда-то Руди был одним из лучших моих друзей.

– Ты говоришь совсем как моя мама.

– Руди – кронпринц туалетов. Он просто хочет с тобой переспать.

– А ты не хочешь?

– Я-то хочу. Но только с тобой. И я тебя люблю. Это совсем другое дело.

Может быть, я зря раскрыл свои карты. Легкомысленная дурочка обрела надо мною власть. Но ведь я верил, что она никакая не дурочка, что такая любовь и преданность с моей стороны подкупят ее.

– Так ты со мной переспишь? – спросила она.

– Конечно. Я мечтаю об этом каждую ночь. Только, Генет, надо подождать три года, и я женюсь на тебе. И тогда мы расстанемся с невинностью вот здесь. – Я показал страничку, вырванную из «Нейшнл Джиографик», на ней посреди девственно-чистого голубого озера ослепительно белел отель «Лейк». – Я хочу жениться в Индии, – сказал я. Мне уже мерещился я, жених, верхом на слоне – символе моей страсти и тоски (только слон подойдет, ну разве еще «боинг»). И красавица Генет рядом – в золотом сари, драгоценности сверкают, жасмин цветет... Я видел все в мельчайших подробностях. Я даже духи ей подобрал – Motiya Bela из

цветков жасмина. – А это комната для молодоженов. – За громадной кроватью под балдахином виднелись распашные стеклянные двери, выходящие на озеро. – Обрати внимание на ванну на львиных лапах и на биде. – Туалетному кронпринцу будет не переплюнуть.

Генет тронуло, что я ношу странички с собой. Моя тигрица взглянула на меня с новым интересом.

– Мэрион, ты ведь серьезно насчет всего этого, правда? Я описал шелковые простыни на кровати, тонкий полог,

который можно задернуть днем и раскрыть ночью, двери на веранду по ночам тоже открываются...

– Я осыплю кровать лепестками роз, и раздену тебя, и покрою поцелуями каждый дюйм твоего тела, начиная с пальчиков на ногах...

Она застонала, прижала палец к моим губам, закатила глаза.

– Перестань, пока у меня в голове не помутилось. (Вздох.) Но послушай, Мэрион, а если я не хочу замуж? Зачем ждать? Я хочу лишиться невинности. Сейчас. А не через три года.

– А как же Хема? Как же твоя мама?

– Не они ведь лишат меня невинности, а ты.

– Это не... Взрыв смеха.

– Знаю, куда ты клонишь, глупенький. Что, если у меня не хватит духу, да? Бывает, очень хочется. У тебя, наверное, тоже так. Взять и сделать! Переступить черту, узнать, с чем это едят. (Вздох.) Если ты отказываешься, может, мне Шиву попросить? Или Руди?

– Только не туалетного принца. Что до Шивы... он ведь уже не девственник. Он переступил черту. И потом, мне казалось, ты меня любишь.

– Что? – Она в восторге хлопнула в ладоши и поискала глазами брата.

– Шива? (Сейчас запрыгает от радости. А про свою любовь ко мне и не заикнулась. Стесняется, наверное.) Пусть расскажет поподробнее. Шива потерял невинность, говоришь? А ты-то, ты чего ждешь?

– Я жду тебя, и потом...

– Ой, прекрати. Книжная романтика. Ну просто девчонка, честное слово! Если хочешь прийти первым, поторопись, Мэрион.

Она говорила совершенно серьезно, без тени улыбки. Такой тон меня пугал.

– А то ведь есть и другие на примете. Твой друг Габи или туалетный принц, хотя у него изо рта несет сыром. – На этот раз она засмеялась, показывая, что шутит. Слава богу.

Однако насмешки, разговоры о других кандидатурах вывели меня из

себя.

– Что с тобой происходит? – завопил я, глядя на целую стопку дамских модных журналов у нее в руках. Мне вспомнилась девочка, что усердно изучала каллиграфию и, после смерти Земуя, накинулась на книги, жадно глотая все, что ей давала Хема. – Ты была такая... серьезная.

Теперь в подругах у Генет ходили две сестры-армянки. Они втроем шлялись по магазинам, бывали в кино, старались подражать актрисам, чьи наряды и манеры считались образцом, заигрывали с парнями. Когда-то отметки у Генет были такие хорошие, что она перепрыгнула через класс. Но теперь она редко садилась за учебники, и оценки у нее стали посредственные.

– Что с тобой стряслось, Генет? Ты не хочешь стать доктором?

– Да, доктор, я хочу стать доктором, – пропела она, приближаясь ко мне. – Осмотрите меня, доктор. – Она расставила руки, портфель – в одной, журналы – в другой, и прижалась ко мне бедрами. – У меня болит вот тут, доктор.

В дверь нашей квартиры влетела Розина. Ее внезапное появление кому-то могло показаться забавным, Генет так даже расхохоталась, но самой Розине было явно не до смеха.

На нас обрушился поток слов на языке тигринья с вкраплениями итальянского. Розина размахивала руками, но Генет не давалась, ловко уворачивалась, плясала вокруг меня, потешаясь над матерью. Кое-какие выражения я понял, а уж общий смысл был и подавно ясен.

– Ты совсем спятила? Чем это ты тут занималась? Что за парень на машине? Ему от тебя нужно только одно, не понимаешь, что ли? Что это ты виснешь на Мэрионе как проститутка?

Каждый новый вопрос вызывал у Генет новый приступ смеха.

Розина ела меня глазами, будто на вопросы должен был отвечать я, а не дочь. Уже во второй раз она нас застучала. Она набрала в грудь побольше воздуха и перешла на амхарский:

– Ты! Почему она не вернулась вместе с тобой и Шивой? И что это вы тут вдвоем затеяли?

– Мы ведь собираемся стать докторами, сама знаешь, мама, – закричала Генет на амхарском. В глазах у нее стояли слезы. – Я показывала ему, как осматривать женщину.

Потрясенное лицо Розины произвело на Генет такое впечатление, что она бросила на пол портфель и журналы, схватилась обеими руками за живот и, шатаясь от смеха, двинулась к своему логову. Мы провожали ее взглядами. Потом Розина опять повернулась ко мне, стараясь напустить на

себя грозный вид, как бывало, когда мы с Шивой озорничали. Но у нее плохо получилось. Еще бы. Со своим ростом в шесть футов один дюйм я был куда выше своей нянюшки.

– Что скажешь в свое оправдание, Мэрион?

Я понурился, сделал два шаркающих шажка к Розине.

– Хочу сказать... – И я подхватил ее на руки и закружил в воздухе, а она принялась колотить меня по плечам. – Хочу сказать, что очень рад тебя видеть. И намерен жениться на твоей дочери.

– ПОСТАВЬ МЕНЯ! ПОСТАВЬ МЕНЯ НА ПОЛ! Оказавшись на ногах, она попыталась меня схватить, но я отпрыгнул.

– Ты рехнулся, вот что! – Розина оправляла блузку, подтягивала юбку, изо всех сил стараясь не улыбаться. – Дети, в вас вселились злые духи! – Она подняла с пола журналы и портфель и отправилась вслед за Генет, выкрикивая, чтобы слышали и дочка, и я: – Ну погодите! Возьму палку и дурь-то выбью!

– Розина, как ты можешь говорить в таком тоне с будущим зятем? – крикнул я ей вслед.

Она замахнулась на меня. Я увернулся.

– Чокнутые!

И она выкатилась за дверь, бормоча что-то себе под нос.

Обернувшись, я увидел Шиву. Он стоял за окном и смотрел сквозь стекло на меня. Листва на эвкалиптах сухо шуршала под напором ветра, казалось, идет гроза. Но на небе не было ни облачка. Лицо у Шивы горело. Глаза наши встретились, и я понял, что он смеется, – наверное, не только все видел, но и слышал. Меня восхитила его поза: рука в кармане, колени вместе, тело опирается всей своей тяжестью на одну ногу – брат был элегантен, даже когда стоял неподвижно, это роднило его с Генет. Улыбался он редко, но сейчас верхняя губа прятала хитрую усмешку. Я усмехнулся в ответ, радостный, довольный собой. Брат может читать мои мысли. Брат любит меня, любит Генет, а я люблю их обоих. Розина права, Миссия пропитана безумием, но только сумасшедшему может прийти в голову мысль покинуть ее.

Глава восемнадцатая. Время жать

Безумие явило себя в тот же вечер, причем в самое неподходящее время. В этом году я заканчивал школу, и мне позарез было нужно получить хорошие отметки. Мотивация у меня была простая – величественная, цвета слоновой кости, клиника, вознесшаяся над Черчилль-роуд напротив почтамта и Lycée Français. Там будут обучаться студенты нового медицинского института, преподавателей для которого наберут на краткосрочной основе при содействии Британского Совета, Swiss Aid и USAID из числа известных иностранных врачей, только что вышедших на пенсию.

Так что, пока Розина гонялась за Генет, намереваясь задать дочке взбучку, я не терял времени даром: умылся и разложил книги на обеденном столе. Хема и Гхош играли с партнерами в бридж в старом бунгало Гхоша.

За учебой я и обедал. У меня каждая минута была на счету. Я составил график, сколько дней, часов и минут осталось до выпускных экзаменов. Чтобы поступить в медицинский институт и при этом найти время на сон и игру в крикет, график следовало соблюдать.

Генет явилась через час и тоже села за книги. Я старался не смотреть на нее. Вскоре прибыл Шива, бухнул на стол «Основы гинекологии» Джеффкоутса. Книга щетинилась закладками. Шива не столько читал, сколько пожирал книги и с этой целью их расчленил.

Чтобы попасть в медицинский институт, мне и Генет следовало сдать экзамены на «отлично». Генет заявляла, что увлечена медициной не меньше моего, но заниматься садилась позже меня, а заканчивала раньше. А бывало, и вовсе забывала про занятия. Два вечера в неделю я отправлялся на такси на дом к мистеру Маммену, он был моим репетитором по математике и органической химии. Генет появилась у него единственный раз, железная дисциплина явно пришлась ей не по душе, и только ее и видели. На мой же взгляд, его помощь была неоценимой. По выходным я занимался в старой квартире Гхоша, чтобы Гхош и Хема могли слушать музыку или развлекаться иным образом, не боясь меня побеспокоить. Генет навещалась в жилище Гхоша редко.

Шива был далек от наших забот. Он бы с удовольствием наплевал на институт вообще. Главное – стать ассистентом Хемы, степени и дипломы не играют роли. Но Хема заняла непробиваемую позицию: хочешь работать со мной, будь любезен, закончи последний класс, экзамены можешь даже

не сдавать. Шива самостоятельно изучил все, что мог, по акушерству и гинекологии. Я подслушал, как Хема говорила Гхошу, что в этой области уровень знаний Шивы соответствует уровню среднего студента-медика последнего курса.

Шива вполне освоился в сарае, где мы спрятали мотоцикл. От Фаринаки он научился ремеслу сварщика и держал там горелку и прочее оборудование. Где-то через месяц я заглянул в сарай: задняя стенка была свободна, ни мотоцикла, ни дров, ни рогожек, ни штабелей Библий, за которыми мы прятали мотоцикл.

– Я его разобрал, – пояснил Шива и показал на основание тяжелого верстака: фанерная обшивка скрывала двигатель, а завернутая в промасленную тряпку рама была зарыта в землю. Прочие части мотоцикла были разложены по коробкам и коробочкам, аккуратно расставленным на железных стеллажах, которые он сварил сам.

– Расскажи мне про это, Шива, – прошептала Генет, склонившись над своими «Основами химии». Над книгой она просидела минут десять, не больше.

– Рассказать про что? – Шива не потрудился понизить голос.

– Про свой первый раз – про что же еще? Почему ты мне раньше не сказал? Узнала от Мэриона, что ты уже не девственник.

Рассказ Шивы о заветном событии, о котором я стеснялся спросить сам, был поразительно прост.

– Прихожу на Пьяццу Знаешь, комнаты в переулке у пекарни «Массава», одна за другой? У каждой двери женщина, разноцветные огоньки мигают...

– Как ты договорился?

– Я и не договаривался. Подошел к первой двери, вот и все. Он улыбнулся и опять взялся за книгу.

– Нет, не все! – Генет вырвала у него учебник. – Что было дальше?

Я напустил на себя скучающий вид, хотя каждая клеточка у меня в мозгу дрожала от нетерпения. Хорошо, что допрос ведет Генет.

– Спрашиваю – сколько? Она говорит – тридцать. Я говорю – у меня только десять. Она говорит – ладно. Раздевается и ложится в постель...

– Полностью раздевается? – вырвалось у меня, и Шива удивленно обернулся.

– Полностью. Остается в одной блузке, которую задирает.

– А лифчик? Что на ней вообще было? – любопытствовала Генет.

– Сверху что-то такое с короткими рукавами. И мини-юбка. Голые ноги и высокие каблуки. Ни трусов, ни лифчика. Скидывает туфли и юбку,

задирает блузку и ложится.

– Ничего себе! Ну же, ну, – ерзала на месте Генет.

– Раздеваюсь. Говорю – я в первый раз. Она мне: да поможет нам Бог. Я ей: при чем тут Бог? Забираюсь на нее, она помогает мне начать...

– Ей было больно? А как у тебя обстояло с...

– С эрекцией? Полный порядок. Нет, кажется, ей не было больно. Ведь стенки у вагины растягиваются, при родах проходит голова ребенка.

– Хорошо, хорошо, – поторопила его Генет. – Что потом?

– Она показывает мне, что делать, и я следую ее указаниям, пока не наступает эмиссионная фаза.

– Пока не наступает... что? – не поняла Генет.

– Сперма проходит по эякуляторному тракту, смешиваясь с жидкостью из семенных пузырьков, простаты и бульбоуретральных желез, и эякулят извергается из уретры с помощью ритмичных сокращений бульбоспонгиозной мышцы...

– Пока он не кончает, – пояснил я.

Этому слову меня научил грязненький памфлет Т. Н. Рамана, автора затейливой прозы. Мой одноклассник Сатиш привез целую кучу таких памфлетиков из Бомбея, где проводил каникулы. Т. Н. Раман оказался кладезем знаний о сексе, из которого обильно черпали индийские школьники.

– О... А потом? – не отстает Генет

– Встаю, одеваюсь и ухожу.

– Тебе самому было больно? – спросил я.

– Никакой боли. – С таким же выражением лица Шива мог описывать, как заказывал у Энрико мороженое.

– И это все? – захлопала глазами Генет. – И потом ты с ней расплатился?

– Нет, я заплатил заранее.

– Что она сказала, когда ты уходил? Шива задумался.

– Сказала, ей понравилось мое тело и моя кожа. Сказала, в следующий раз мы займемся этим... по-собачьи!

– В смысле?

– Я ответил – зачем ждать следующего раза, покажи мне прямо сейчас.

– У тебя еще оставались деньги?

– Она тоже об этом спросила: «Деньги есть?» Но денег у меня не было. Ничего, она и так согласилась. По-собачьи – значит, сзади. По-моему, на этот раз у нее у самой было... извержение.

– Боже, – простонала раскрасневшаяся Генет, сползая со стула. – Что с

тобой, Мэрион? Ты куда?

Я поднялся со своего места. Исходящий от Генет запах кружил голову, перед глазами плясали розовые звездочки.

– Что со мной? Ты еще спрашиваешь! Здесь совершенно невозможно заниматься!

Меня охватило жуткое возбуждение: рассказ Шивы, горящие вожделением глаза Генет, этот запах течки, это тело в двух шагах от тебя... Если я не уйду, у меня у самого наступит извержение. Не до занятий по биологии сейчас...

Розина стояла у самой двери кухни и изображала, что ее чем-то заинтересовала плита. Если даже она не подслушивала или утратила нюх, то уж мерцающее розовое облако в гостиной должна была заметить. Она отвела глаза. Мать и дочь не прятались друг от друга, но Генет вела себя вызывающе, а Розина ей не спускала, и кто был виновником конкретной ссоры, непонятно. В определенном смысле Розина, блюдя невинность дочки, была мне союзником. Но постоянная слезка меня бесила.

– Пойду схожу в лавочку, – угрюмо буркнул я.

– Но ты ведь только сел заниматься, Мэрион.

Я мрачно посмотрел на нее: попробуй останови меня!

Выйдя через главные ворота, я добрал до лавки, купил бутылку кока-колы, заглянул в сторожку и отдал напиток Гебре. Тело и разум все никак не могли прийти в норму. Я посидел с Гебре, выслушал длинную историю про его бедолагу-племянника и немного успокоился.

Наконец я попрощался с Гебре и двинулся домой. С поворота к нашему бунгалу я заметил свет в сарае. Шива часто работал допоздна.

Всякий раз, когда я проходил мимо места, где мотоцикл сбросил с себя солдата, меня охватывала дрожь. В бетонном бордюре, там, где об него ударилось колесо, была щербина.

Деревья скрипели, зловеще шелестели листья. Вот сейчас, сию минуту убитый солдат выйдет ко мне из мрака. После стольких лет страшных фантазий это будет почти облегчением. У Шивы-то небось таких страхов нет в помине, не боится же работать в сарае в поздний час. Столько лет прошло, а легче ничуть не стало, вот разве ужас сделался привычным. Я понимал людей, которые признавались в убийстве, совершенном давным-давно, они стремились положить конец внутренним терзаниям. Поворот я миновал быстрым шагом.

Из сарая доносилась музыка: у Шивы работал приемник.

Я уже почти прошел мимо сарая и тут увидел, что с холма прямо ко мне спускается темная фигура. Послышалось бормотание – человек что-то

бубнил. Мне стало не по себе, хотя голос был вроде женский. Только когда мы оказались вплотную друг к другу, я узнал Розину. Куда это она направлялась в такой час? Розина остановилась передо мной, всмотрелась в лицо, словно желая увериться, что это я, а не Шива. Не успел я оглянуться, как она влепила мне пощечину. Потом левой рукой вцепилась мне в волосы, а правой принялась хлестать по щекам.

– Я тебя предупреждала! – взвизгнула она.

– Розина! Что это с тобой? – оторопел я.

Это ее только пуще разозлило. Наверное, я бы мог схватить ее за руки или убежать, но я до того обалдел, что с места сдвинуться был не в состоянии.

– На пять минут оставила их одних – и вот вам, пожалуйста! И ведь хитрые какие, он, видите ли, идет в лавку, а она – в сортир!

– Да объясни же, в чем дело?

На этот раз я дернул головой и получил по затылку

– Я выжидала, – кричала она, – сомневалась! Потом бросилась тебя искать. Увидела, как ты спускаешься с холма. Ее вперед себя отправил, да? Если она забеременеет, что тогда? Из нее выйдет служанка вроде меня. Весь английский, вся учеба – псу под хвост!

– Но, Розина, я и не думал...

– Не ври мне, мальчишка! Ты никогда не умел врать. Я видела, какими глазами вы смотрели друг на друга. Не надо было выпускать ее из дома!

Я в молчании уставился на нее.

– Доказательства нужны? Так, что ли? – крикнула она, вытащила из кармана какую-то тряпку и швырнула в меня. Это были женские трусы. – Ее кровь... и твое семя.

Я поднес улику к лицу. В темноте ничего не было видно. Но я чувствовал запах крови, запах Генет... и спермы. Моей спермы. В нем имелась крахмальная нотка. Ни у кого больше этой нотки не было.

Ни у кого, кроме моего брата-близнеца.

Сил у меня хватило, только чтобы доползти до постели. Я был весь разбит. Мне стало очень одиноко. Шива лег спать значительно позже. Я все ждал, не заговорит ли он. Но он заснул, а ко мне сон не шел. В Эфиопии есть метод определения виновного, именуемый лебашаи. На место преступления приводят маленького мальчика, на кого он покажет пальцем, тот и преступник. К сожалению, малышу всякое может померещиться, и нередко человек, которого побивают камнями или топят, невиновен. В империи лебашаи официально запрещен, но кое-где в деревнях еще применяется. Вот и меня ложно обвинили, показали пальцем, и поди

защитись.

Меня сжигало желание отомстить.

Виновный спал рядом со мной.

В ту ночь я мог убить Шиву. Я думал об этом и пришел к убеждению, что это ничего не решит. Мой мир уничтожен. Я обезоружен. Моя любовь поругана, обращена в дерьмо. Я пальцем не мог пошевелить.

На следующий день Генет не пошла в школу. Хема неохотно отпустила Шиву с мистером Фаринаки на текстильную фабрику, где заклинило гигантскую красильную машину. К Фаринаки обратились с просьбой изготовить новую деталь взамен поломанной, и он хотел показать Шиве огромный механизм.

Я остался в постели. На вопрос Хемы я ответил, что мне нехорошо и в школу я, пожалуй, не пойду. Она пощупала мне пульс, посмотрела горло, недоуменно покачала головой и приготовилась задавать вопросы.

– Нет, все-таки надо идти, – выдавил я. Допроса я бы не вынес.

Не помню, что происходило в этот день в школе. Гхош и Хема, конечно же, ничего не знали, но чувствовали: что-то стряслось. Они слышали, как Розина распалается за закрытой дверью.

В тот вечер Розину посетили три родственника – двое мужчин и женщина.

– Что происходит? – спросила у меня Хема.

Я поверить не мог, что она ни о чем не знает, что Розина ей ничего не сказала. Похоже, все хранили молчание, и Розина тоже. Подозреваю, если бы Хема поговорила с Шивой, все бы раскрылось. Но никому это и в голову не пришло.

Шива вернулся со своей экскурсии под конец ужина, очень довольный. Ни Генет, ни Розины за столом не было. По словам Алмаз, мать и дочь крупно поругались и родственники явились их примирять.

Хема уже поднялась, чтобы вмешаться, но Гхош удержал ее:

– Что бы там ни случилось, ты влезешь в самое пекло и только все осложнишь.

Шива не произнес ни слова, набивая рот едой.

Я молчал не из благородства. Я был убежден: мне никто не поверит. Захотят брат с Генет спасти меня – спасут. Одному мне это не по силам. За обеденным столом я изучал лицо Шивы. Он, казалось, и не подозревал, какую бурю вызвал. Вид у него был совершенно безмятежный.

В тот вечер я сказал Шиве, что перебираюсь на старую квартиру Гхоша. Буду там заниматься и спать. Хочу побыть один.

Он промолчал. Впервые в жизни мы будем спать в разных постелях.

Если какие-то телесные ниточки еще соединяли две половинки яйца, я рассек их одним ударом скальпеля.

В субботу утром за завтраком мне показалось, что Шива провел ночь ничуть не лучше меня. Поев, он отправился к Фаринаки.

Я уже собирался пойти к себе заниматься, когда в столовую ворвалась Алмаз.

– Вам лучше прийти, госпожа. Хема, Гхош и я последовали за ней.

Розина сидела в углу своей комнаты. Вид у нее был угрюмый и вместе с тем встревоженный. Генет лежала на своей кровати, бледная, с каплями пота на лбу. Ее открытые глаза смотрели в никуда. Помещение наполнял сырой, кислый запах, характерный для больных с жаром.

– Что здесь случилось? – спросила Хема, но Розина отвела глаза в сторону и ничего не ответила.

Алмаз включила свет, загородила мне вид и приподняла одеяло, показывая что-то Хеме.

– Открой окно, Мэрион, – произнес Гхош и подошел поближе к кровати.

– Господи... – потрясенно выдохнула Хема. Генет застонала от боли.

Хема схватила Розину за плечи и, заикаясь от ярости, принялась трясти:

– Это ты учинила? Бедная девочка! Розина смотрела в пол.

– Дура ты, дура! Боже, зачем? Похоже, ты убила ее, Розина! Понимаешь?

У Розины с подбородка капали слезы, но лицо оставалось суровым.

Гхош взял Генет на руки, она снова застонала.

– Машину, – сказал Гхош.

Алмаз бросилась к двери, Хема за ней. С порога я оглянулся. Моя нянюшка безучастно сидела, свесив руки, в той же позе, в какой мы ее застали. Мне вспомнился день, когда она бритвой порезала дочке лицо. Какой победительницей она тогда ходила. А теперь я видел стыд и страх.

Когда я подбежал к машине, Хема бросила мне в лицо:

– Думаю, Мэрион, ты в этом как-то замешан. Я не слепая!

Она захлопнула дверцу. Машина тронулась. Алмаз на заднем сиденье бережно прижимала к себе Генет, Гхош сидел за рулем. Я срезал путь у сарая, пересек поле и догнал их у приемного покоя.

Генет влили в вены нужные растворы и антибиотики, и Хема забрала ее в Третью операционную для более тщательного осмотра. Через некоторое время она вышла к нам. Вид у нее был потрясенный, но в движениях сквозила решимость. И ярость. Хема доложила Гхошу и

матушке, не обращая на меня внимания:

– Представляете, Розина вырезала ей клитор. Да еще прихватила labia minora* и зашила все суровой ниткой. Ведь это какая же боль! Швы я удалила. Рана сильно инфицирована. Теперь все в руках Божьих.

* Малые половые губы (лат.).

Генет положили в отдельную палату, предназначенную для особо важных больных. Гхош рассказывал мне, что именно здесь лежал генерал Мебрату с заворотом кишок. Это случилось вскоре после нашего рождения.

Я сел на стул возле койки. В какой-то момент Генет сжала мне руку, не знаю, сознательно или инстинктивно. Я ответил на пожатие.

Хема сидела в кресле напротив меня, подперев руками голову. Нам нечего было сказать друг другу. Я был так же зол на Хему, как она на меня.

После долгого молчания она произнесла:

– Людям, которые творят такое, место в тюрьме.

Не один раз ей приходилось вытягивать с того света женщин, над которыми проделали ту же изуверскую операцию, что и над Генет. Хема была настоящим экспертом по залатанным и инфицированным обрезаниям.

Своим чередом настал вечер, Генет открыла глаза, увидела меня и попыталась что-то сказать.

– Воды? – спросил я. Она кивнула.

Я вложил ей в рот соломинку. Генет оглядела комнату, убедилась, что мы одни.

– Прости, Мэрион, – шепнула она сквозь слезы.

– Не надо разговаривать, – сказал я. – Все отлично. Все было вовсе не отлично, но ничего другого не пришло мне в голову.

– Мне... надо было подождать, – пролепетала она. «Так что же ты не подождала, – чуть не сорвалось у меня с языка. – Вся сладость досталась не мне, не мне выпала честь быть твоим первым любовником, зато разгребать все придется мне».

Она попыталась пошевелиться, застонала. Я дал ей еще воды.

– Мама думает, это ты, – выговорила она чуть слышно. Я молча кивнул.

– Когда я сказала ей, что это Шива, она отхлестала меня по щекам и назвала лгуньей. Она мне не поверила. Она думает, Шива – девственник. – Генет попыталась засмеяться, сморщилась и закашлялась. – Слушай, я взяла с мамы обещание, что она ничего не скажет Хеме.

Я саркастически хмыкнул.

– На этот счет можешь не беспокоиться. Конечно, она скажет Хеме.

Вот прямо сейчас и рассказывает.

– Нет. Она ничего не скажет. Мы заключили сделку.

– В смысле?

– Я разрешаю ей проделать надо мной эту штуку, а она... будет молчать. Ни слова Хеме. И пусть не вздумает на тебя орать.

Стул подо мной зашатался. Генет позволила этой безумной орудовать нестерилизованной бритвой, и все для того, чтобы защитить меня? Так, значит, на мне лежит вина за обрезание? Какая нелепость. Меня даже смех разобрал.

Попозже пришел Шива, лицо бледное, напряженное.

– Садись сюда, – велел я ему, он и сказать ничего не успел. Я боялся не сдержаться, когда он рядом, и решил, что лучше на время уйти. – Побудь с ней, пока я не вернусь. Держи ее за руку. А то она беспокоится.

А что еще я мог ему сказать? Я ведь уже пребывал по ту сторону ярости. А он – по ту сторону горя.

Жар не отпускал Генет три дня. Я находился у ее постели все три дня. Хема, Гхош и матушка сновали туда-сюда.

На третий день организм Генет перестал вырабатывать мочу. Гхош встревожился, лично взял анализ крови, потом мы с Шивой побежали в лабораторию помочь В. В. выстроить в ряд наши реагенты и пробирки и измерить уровень азота мочевины в крови. Он был слишком высок.

Генет не теряла сознания полностью, она была сонная, временами бредила, часто стонала, а однажды ее охватила жуткая жажда. Как-то она позвала мать, но Розина не появилась. По словам Алмаз, Розина не выходила из своей комнаты, что, по всей видимости, было даже к лучшему. Атмосфера в палате и без того была тяжелая, не хватало только, чтобы Хема накинулась на Розину.

На шестой день почки у Генет заработали, только успевай подставлять мешок под катетер. Гхош удвоил и утроил объем жидкости внутривенно и велел Генет больше пить, чтобы восполнить потерю.

– Надеюсь, почки выздоравливают, – сказал Гхош. – Во всяком случае, жидкость гонят.

Как-то утром я проснулся на стуле в ее палате, посмотрел на больную, на ее прояснившееся лицо, на разгладившийся лоб и понял, что ей стало легче. И без того худенькая, за время болезни она еще осунулась, кожа да кости. Но угроза жизни отступила.

В середине дня я отправился в бунгало Гхоша и провалился в сон. Проспал несколько часов и только на свежую голову обратился мыслями к Шиве. Понял ли он, что разрушил мои мечты? Осознал ли, какую боль

причинил Генет, всем нам? Мне очень хотелось с ним разобраться, отколотить хорошенько, чтобы ему стало так же больно, как мне. Я ненавидел брата. Никто не мог меня остановить.

Никто, кроме Генет.

Поведав мне о своей сделке с матерью (обрезание за молчание), она не успела сказать всего. Поздно ночью она дополнила свой рассказ. Собравшись с силами, она заставила меня поклясться.

– Мэрион, – прошептала она, – наказывай меня, не Шиву. Побей меня, порви со мной, но оставь Шиву в покое.

– С чего мне его жалеть? И не подумаю.

– Мэрион, это я его заставила. Я во всем виновата. – Ее слова обрушились на меня, словно удары по почкам. – Ты знаешь, ведь Шива не такой, как все, он живет в своем мире. Поверь, если бы я его не упростила, он бы так и сидел со своей книгой.

Она вырвала у меня клятву, что я не сделаю Шиве ничего плохого. Я согласился только потому, что, как мне показалось, она находилась при смерти.

Хеме я ничего не сказал, не стал разубеждать.

Спрашивается, почему я сдержал слово? Почему не передумал, увидев, что Генет пошла на поправку? Почему не сказал Хеме правду? Дело в том, что, пока Тенет боролась за жизнь, я кое-что понял насчет нее и меня. Оказалось, что, несмотря ни на что, я не желаю ей смерти. Наверное, я никогда ее не прощу. Но я по-прежнему люблю ее.

Когда Генет выписали из больницы, я на руках перенес ее из машины в дом. Никто не возражал, да я бы все равно настоял на своем. Мое круглосуточное дежурство у постели Генет заслужило скупое одобрение Хемы; она не решилась меня прогнать.

Розина наблюдала из дверей своей комнаты, как мы с Генет входим через кухню в дом. Генет и не взглянула в ее сторону, будто матери и комнаты, где она прожила всю свою жизнь, вовсе не существовало. Глаза Розины молили о прощении. Но дети не склонны к милосердию, детская обида может остаться в душе на всю жизнь.

Я отнес Генет в нашу с Шивой старую комнату, с этого дня спальня была ее.

По плану мы с Шивой переезжали в старое бунгало Гхоша, правда, в разные комнаты; он обосновывался в гостиной.

Через полчаса я отправился к Розине за вещами Генет. Дверь оказалась заперта. На стук никто не отозвался. Я попытался выбить дверь – тщетно. Ее явно приперли изнутри. Странная тишина повисла в воздухе.

Я метнулся к окну. Ставни закрыты наглухо. С помощью Алмаз мне удалось вырвать из гнезда тонкие деревяшки. К самому окну был придвинут гардероб. Я забрался на подоконник и толкнул шкаф. Он не шелохнулся. Кое-как я исхитрился заглянуть за препятствие. То, что я увидел, заставило меня упереться в гардероб обеими руками и напрячь все силы. Шкаф с грохотом рухнул на пол, раздался звон разбитой посуды.

Теперь было видно всем. И Хеме, и Гхошу, и Шиве. Даже Генет приковыляла на шум.

Сцена отложилась у меня в памяти с математической точностью, но ни в одном учебнике геометрии не сыскать противоестественного угла, под которым была выгнута шея. И никакими лекарствами тот образ не стереть.

Запрокинутая голова, раскрытый рот, вываленный язык...

С балки свисало тело Розины.

Глава девятнадцатая. Тиф, и что из него следует

Покрытые мхом стены и массивные ворота придавали школе императрицы Менен сходство с древней крепостью. В своих белых носках, голубой блузке, синей юбке, без лент в волосах, заколок и сережек Генет ничем не выделялась среди прочих девочек. Единственным ее украшением был крест святой Бригитты на шее. Ей не хотелось выделяться. Ее жизнерадостная ипостась отошла в мир иной вместе с телом матери, которое мы вынули из петли и похоронили на кладбище Гулеле.

У меня вошло в обычай в субботу вечером проводить Генет. Ее школа находилась на холме немного выше дворца, где генерал Мебрату захватил заложников в тщетной попытке изменить сложившийся порядок вещей.

На уик-энд Генет могла бы приезжать домой, но, по ее словам, Миссия пробуждала в ней болезненные воспоминания. Она уверяла, что вполне довольна школой императрицы Менен. Учителя-индусы были строгие, но дело знали. В своем уединении Генет напряженно училась.

Мы вместе поступили в университет на подготовительный курс и через год учились уже на медицинском факультете. Школьная форма и школьные строгости остались позади, но и одежда, и манеры Генет по-прежнему были скромными, сдержанными. Всякий раз, входя в общежитие напротив университета, я молил Бога, чтобы душа ее оттаяла и передо мной явились черты прежней Генет. Она была признательна за лакомства, что передавали ей Алмаз и Хема, но стена, которую она выстроила вокруг себя, оставалась неприступной.

Я по-прежнему любил ее.

И хотел бы разлюбить, да не мог.

В университет Хайле Селассие на медицинский факультет мы поступили в 1974-м – всего-навсего третий набор с момента основания. На вскрытиях мы с ней оказались партнерами – в этом ей повезло. Любой другой не вынес бы ее частых прогулов и работы спустя рукава. И причиной тому, судя по всему, была вовсе не лень. Что-то затевалось, но что именно, я пока не знал.

Наших преподавателей по фундаментальным наукам отличал высокий уровень. В основном это были швейцарцы и британцы, а также несколько

эфиопских врачей – выпускников Американского университета в Бейруте, прошедших курсы усовершенствования в Англии и Америке. Был и один индус – наш Гхош. Его должность именовалась не «старший преподаватель» и не клинический «адъюнкт-профессор» (звание почетное, оплаты никакой), но профессор медицины и адъюнкт-профессор хирургии.

Думаю, никто из нас, даже Хема, не понимал, на какую научную степень наработал Гхош за двадцать восемь лет, проведенных в Эфиопии. Но сэр Ян Хилл, декан нового медицинского факультета, понимал. Гхош опубликовал сорок одну статью и написал главу для учебника. Первоначальный интерес к болезням, передающимся половым путем, сменился исследованиями возвратного тифа; по этой болезни он был экспертом мирового уровня, поскольку ее эпидемическая разновидность была характерна для Эфиопии и поскольку ни одна живая душа не наблюдала тиф столь близко.

С возвратным тифом я столкнулся еще школьником: Али, хозяин лавочки напротив Миссии, привел в больницу своего брата Салима и попросил меня о содействии. У Салима был жар и бред. Гхош потом говорил, что это типичный случай. Салим прибыл в Аддис-Абебу из деревни, в узелке за плечом содержалось все его имущество. Али нашел для брата место грузчика на складах, где, дождь ли, сушь ли, он таскал мешки. Ночевал Салим бок о бок с добрым десятком таких же бедолаг. В сезон дождей постирать одежду было практически невозможно, она не успевала высохнуть. Такие условия были неблагоприятны для людей, но идеальны для вшей. Почесался, раздавил насекомое, и его кровь смешалась с твоей. А Салим был из деревни, иммунитета к городским болезням у него не имелось.

В приемном покое Салим, слишком слабый, чтобы сидеть, лег на пол. Наш одноглазый рецептурщик Адам нагнулся над ним и поставил диагноз тут же.

Много лет спустя Гхош ознакомил меня с перепиской, которую вел с редактором «Медицинского журнала Новой Англии», где собирались опубликовать серию статей Гхоша о возвратном тифе. Редактор считал, что «симптом Адама» звучит претенциозно. Гхош бросился на защиту не получившего должного образования рецептурщика, рискуя, что его материал не опубликуют в престижном журнале.

Уважаемый доктор Джайлс!

...В Эфиопии мы подразделяем грыжи на «ниже колена» и «выше колена», а не на «прямые» и «косые». У нас другой порядок величин, сэр. В нашем приемном покое на полу нередко лежит по пять пациентов с

высокой температурой. Врач-клиницист спросит: «Это малярия? Это тиф? Или возвратный тиф?» Такой симптом, как сыпь, не поможет ему разобраться (у населения Эфиопии розовые тифозные пятна не видны), хотя гарантирую вам, что тиф вызывает бронхит и медленный пульс, а у маляриков зачастую чудовищно увеличена селезенка. Было бы недосмотром с моей стороны опубликовать статью, где клиницисту не дается практического указания по диагностике возвратного тифа, особенно в условиях, когда серологическую реакцию и анализ крови получить затруднительно. Врачу достаточно взять пациента за бедро и сильно сдавить четырехглавую мышцу. Больной возвратным тифом подпрыгнет от боли, потому что данная болезнь вызывает воспаление и ведет к особой чувствительности мышцы. Это не только хороший диагностический симптом, это может поднять из гроба Лазаря. Поскольку данный симптом впервые отмечен Адамом, он вполне заслуживает эпонима «симптом Адама».

Могу засвидетельствовать, что «симптом Адама» у Салима проявился – при сжатии бедра больной застонал и вскочил на ноги.

Редактор ответил – все прочие нововведения ему понравились, но «симптом Адама» остался камнем преткновения. Гхош стоял на своем:

Уважаемый доктор Джайлс!

...Есть симптом Хвостека, симптом Боаса, симптом Курвуазье, симптом Квинке – кажется, белых людей ничто не сдерживает в том, чтобы называть явления в свою честь. По-моему, пришла пора увековечить в эпониме имя скромного рецептурщика, который своим одним глазом видел больше больных возвратным тифом, чем вы или я за всю жизнь увидим нашими двумя.

Гхош, работающий в захудалой африканской больнице, вдали от научных центров, добился своего. Статья была опубликована в престижном журнале, и, несомненно, благодаря ей Гхоша попросили написать главу в «Учебник медицины Харрисона», библии студентов-старшекурсников. А теперь он стал профессором медицинского факультета. Хема приобрела нашему профессору два прекрасных костюма в полоску, черный и синий, и твидовый пиджак с кожаными заплатами на локтях, как будто желая заключить слово «профессор» в кавычки. Галстук-бабочку он нацепил себе сам. Гхош во всем старался оставаться собой, особенно если это обходилось недорого и не доставляло неприятностей окружающим. Галстук объявил всем, как Гхош любит жизнь и свою профессию, которую сам он называл «погоня за романтикой и страстью». Да он и вправду жил и работал именно так.

Глава двадцатая. Прогностические знаки

Жизнь полна знаков. Штука в том, чтобы уметь их прочесть. Гхош называл искусство решать проблему без готовой формулы «эвристикой».

Небо на рассвете красное – значит, жди дождя.

Гной везде и нигде – значит, гной в животе.

Низкие тромбоциты у женщины означают волчанку, если не доказано обратное.

Берегись мужчину со стеклянным глазом и большой печенью...

В поликлиническом отделении Гхош как-то наткнулся на задыхающуюся молодую женщину, щеки у нее пылали, несмотря на общую бледность. Он заподозрил сужение митрального клапана, хотя сам не мог толком объяснить почему. Тщательно выслушав сердце, он различил шепоток митрального стеноза, который, как Гхош сам выражался, «услышишь, только если знаешь, что он там». Головку стетоскопа ему при этом пришлось прижимать к верхушке сердца.

Я старался развивать свою собственную эвристику, смесь разума, интуиции, физиогномики и обоняния. Ни о чем таком в книгах не сообщалось. В момент смерти от солдата, пытавшегося украсть мотоцикл, исходил особый запах, от Розины – тоже, и эти два запаха были идентичны – они говорили о кончине.

Но я не поверил своему носу – а зря, – когда он уловил некие тревожные сигналы от Гхоша. Я отнес их на счет его новой работы, посчитал побочными эффектами новых костюмов и нового окружения. Рядом с Гхошем было легко убедить себя в этом. Ведь он всегда лучился радостью, а последнее время – особенно. Счастливая душа, он жил в ладу с самим собой.

В годовщину свадьбы Хемы и Гхоша я проснулся в четыре утра, чтобы взяться за книги. Спустя два часа я прошел через старое бунгало Гхоша к дому, Шива к тому времени перебрался обратно в комнату, где протекали наши детские годы. На дворе было еще темно. Я собирался тихонько проскользнуть к нам в комнату и проверить, не повесила ли Алмаз по ошибке мою постиранную рубашку к Шиве в шкаф. В дверях я столкнулся с Алмаз – она перекрестила мне лоб и пробормотала молитву.

Хема спала. Из открытой двери ванной сочилась клубы пара. Подпоясанный полотенцем Гхош склонился над раковиной. Что это он так рано? И почему решил воспользоваться именно этой ванной? Чтобы не

разбудить Хему? Еще не видя его самого (а уж он-то меня и подавно не заметил), я услышал его тяжелое дыхание. Помылся – и такая одышка? В зеркале передо мной мелькнуло лицо Гхоша. Усталость. Грусть. Мрачные предчувствия. И тут он увидел меня. Не успел он повернуться, как жизнерадостная маска снова оказалась на месте.

– Что случилось? – У меня екнуло сердце. Вот он, тот самый запах. Надо просто связать два факта воедино.

– Ровным счетом ничего. Ужас, правда? – Он перевел дыхание. – Моя красавица жена спит сном ангела. Моими сыновьями можно гордиться. Сегодня вечером я приглашу жену на танец и попрошу продлить брачный договор еще на год... плохо только то, что грешник вроде меня не заслуживает такого счастья.

Зевая и потягиваясь, в прихожую вышла Хема. Гхош послал мне тревожный взгляд и, насвистывая, повернулся к зеркалу. Пока он шлепал себя по щекам наодеколоненными пальцами, мелодия «Saints Come Marching In»* дрожала и прерывалась, как будто ему стоило больших усилий поднять руки.

* «Когда святые маршируют» – народная американская песня жанра спиричуэле. Со второй четверти XX века песню записывало множество исполнителей; стала стандартом в джазовом репертуаре.

Занятия у меня в тот день начинались рано, пропускать их не годилось. Но меня вел инстинкт, интуиция, нос... Я оделся и спрятался в сарай Шивы. Скоро из тумана показался «фольксваген», за рулем сидел Гхош. Я бросился за ним.

Возле приемного покоя я оказался вовремя: спина Гхоша как раз мелькнула в дверях кабинета матушки. Такая рань, а она на месте, и не просто на месте, а ждет его. Что бы это значило? Тут появился Адам с пробиркой крови в руках, тоже вошел в кабинет и через некоторое время вышел с пустыми руками. Увидев меня, он испугался и попытался закрыть дверь, но я сунул в щель ногу.

Гхош лежал на кушетке, ноги кверху, под головой подушка, на лице улыбка. На стареньком проигрывателе вертелась пластинка – «Глория» Баха. Матушка переливала Гхошу кровь в вену на локтевом сгибе. Они подняли на меня глаза, полагая, что это Адам вернулся за чем-нибудь.

Гхош шевельнул губами:

– Сынок, я, видишь ли...

– Только не надо мне врать, – сурово произнес я. Он беспомощно посмотрел на матушку.

Та вздохнула:

– Это судьба, Гхош. Я всегда считала, что Мэрион должен знать.

Никогда не забуду возникшую тишину. На лице Гхоша проступила нерешительность и черта, которой я раньше за ним не замечал, – хитрость. Потом оно сделалось каким-то далеким. На мгновение я увидел в его глазах целый мир, в них промелькнули Гиппократ, Павлов, Фрейд и Мария Кюри, открытие стрептомицина и пенициллина, Ландштейнеровы группы крови, в них промелькнули инфекционное отделение, где они встретились с Хемой, Третья операционная, где он трудился хирургом и где мы появились на свет, в них промелькнули наше рождение и будущее, его жизнь и то, что лежало за ее рамками. И только сейчас все это сошлось воедино, обрело четкие очертания, сейчас, когда любовь между отцом и сыном, казалось, можно было пощупать и сама мысль о том, что эта любовь закончится и останется только в памяти, представлялась кощунственной.

– Ну так и быть, Мэрион, подающий надежды клиницист. Как считаешь, что это?

Он обожал Сократов метод. Только теперь он был пациентом, а я должен был показать свои эвристические способности.

Мне и раньше бросалась в глаза его бледность, только я старался ее не замечать. И еще вспомнились синяки – за последние несколько месяцев они то и дело выступали у Гхоша на ногах и руках, правда, у него всегда имелось дежурное объяснение. А ведь всего неделю назад он порезал бумагой палец, и кровь все текла и текла, и даже через несколько часов кровотечение не остановилось целиком. Как я мог упустить это из виду? Вспомнились долгие часы, которые он проводил возле древнего рентгеновского аппарата «Келли-Коэт», налаживая его снова и снова, пока Миссия не получила наконец новую установку. Старинное устройство разбили на куски молотками и утопили в трясине, где они составили компанию останкам солдата-мародера. Авось его кости начнут светиться.

– Рак крови? Лейкемия? – выдавил я. Сами эти слова показались мне необычайно мерзкими. Имя новорожденной болезни дано, и теперь никуда от него не денешься.

Он просиял, глянул на матушку:

– Слышали? Мой сын настоящий клиницист.

Голос его упал, все напускное слетело подобно осенней листве.

– Что бы ни случилось, Мэрион, не говори ничего Хеме. Года два назад я через Эли Харриса отправил свою кровь на анализ в Солт-Лейк-Сити, в США, доктору Максвеллу Винт-роубу. Он замечательный гематолог. Мне нравится его книга. Он лично мне ответил. То, что во мне сидит, – вроде действующего вулкана, рокошет и плюется лавой. Не просто

лейкемия, а гремучая смесь; прозывается эта штука «миелоидная метаплазия». – Он особо тщательно выговорил научный термин. – Запомни название, Мэрион. Любопытная болезнь. Уверен, проживу-то я еще долго. Единственный тревожный симптом – это анемия. Переливания крови – вроде смены масла в моторе. Сегодня я собираюсь с Хемой на танцы. Знаменательный для нас день. Надо быть пободрее.

– Почему ты не сообщил маме? Почему мне ничего не сказал?

Гхош покачал головой:

– Хема с ума сойдет... Ни в коем случае... Не смотри на меня так, сынок. Благородство здесь ни при чем.

– Тогда я ничего не понимаю.

– Ты три года понятия не имел о моем диагнозе, так? Если бы ты знал, у нас с тобой были бы совсем другие отношения. Как считаешь? – Он ухмыльнулся. – Знаешь, какая самая большая радость для меня? Наше бунгало, безмятежная домашняя жизнь, проснешься утром, Алмаз суетится в кухне... Моя работа, занятия со студентами... Вы с Шивой за ужином, отход ко сну с женой... – Он помолчал. – Ничего лучшего я для себя не хочу. И чтобы у всех все шло обычным порядком. Понимаешь, о чем я? Никаких резких перемен. – Гхош улыбнулся. – Когда обстоятельства изменятся к худшему, если до этого вообще дойдет, я все расскажу твоей маме. Обещаю.

Он пристально смотрел на меня. Я молчал.

– Сохрани все в тайне. Прошу тебя. Сделай мне подарок. Чтобы таких рядовых дней в моей жизни было побольше. И брату ничего не говори. Это, наверное, будет для тебя труднее всего. Знаю, между вами... размолвка. Но ты понимаешь Шиву лучше, чем кто бы то ни было. И ты сделаешь все, чтобы он не узнал ни о чем раньше времени.

Я дал ему слово.

Из последующих нескольких месяцев я помню немного. Главное, они наглядно показали, что Гхош поступил мудро. Ничего не зная все эти годы – вот было счастье! А теперь оно безвозвратно миновало. Гхош будто опять попал в тюрьму, да и я в каком-то смысле угодил за решетку. Я прочел все доступные материалы о миелоидной метаплазии (как я ненавидел эти два слова!). На первых порах его костный мозг вел себя тихо. Но постепенно болезнь активизировалась, вулкан стал извергаться, показалась лава, и предательские облака сернистого газа поплыли по ветру.

Я старался проводить с Гхошем как можно больше времени. Мне хотелось, чтобы он передал мне всю свою мудрость до капли. Сыновьям следует записывать каждое слово из того, что им говорят отцы. Я

записывал. Почему для того, чтобы понять, как дорога каждая проведенная с ним секунда, понадобилась болезнь? Ничему мы, люди, не учимся. Каждое поколение повторяет те же ошибки. Мы разглагольствуем перед нашими друзьями, трясем их за плечи и убеждаем: «Пользуйся сегодняшним днем, лови момент!» Большинство не в силах вернуться и поправить сделанное, невозможно заделать пропасть между если бы и реальностью. Немногим счастливицам вроде Гхоша удается избежать подобных терзаний, им незачем останавливать мгновение, исправлять прошлое.

Теперь Гхош часто подмигивал мне и улыбался.

Когда-то он учил меня, как жить.

А теперь – как умирать.

Шива и Хема пребывали в счастливом неведении. Им было чем заняться. Шива уговорил Хему взяться за важное дело – лечение женщин с пузырно-влагалищным свищом, или, для краткости, «фистулой». За этот недуг Хема (как и любой хирург-гинеколог на ее месте) бралась неохотно, ибо перспективы излечения были туманны.

Теперь постараюсь объяснить, почему встреченная нами в детстве девочка, которая, опустив голову, плелась в гору рядом со своим отцом, оставляя за собой мокрый след и распространяя невыносимое зловоние, сыграла такую значительную роль в жизни Шивы.

Без нашего с Шивой ведома Хема оперировала ее трижды. Первые две операции не удались, третья завершилась успешно. Мы не видели пациентку в Миссии, но Хема уверяла нас, что девочка излечилась. Впрочем, душевные травмы не лечатся. Тогда мы не слишком разбирались, в чем суть ее болезни, этого Хема с нами не обсуждала. Теперь-то мы с Шивой знали. По всей вероятности, ее еще девочкой выдали замуж за человека, который годился ей в отцы. Вступление в супружеские отношения оказалось для нее весьма болезненным (особенно если после обрезания на вагине остались шрамы). Возможно, она была слишком молода, чтобы связать половой акт с беременностью, но она зачала. При родах голова ребенка застряла меж костей таза, тазовый вход был слишком узкий вследствие рахита. В развитой стране или в большом городе ей бы сделали кесарево сечение, как только начались схватки. Но в отдаленной деревне, где приходилось рассчитывать только на свекровь, все потуги привели лишь к тому, что голова ребенка раздавила мочевой пузырь и шейку матки о твердые кости таза. Малыш умер в утробе, и мать наверняка последовала бы за ним, если бы семья не доставила ее в больницу. Там безжизненный плод выскребли по кусочку, предварительно сокрушив ему

череп.

Пока она отходила от ужасных родов, гангренозные и некротические ткани в родовом канале оказались отторгнуты, в результате чего между мочевым пузырем и вагиной образовалась рваная дыра. Моча, вместо того чтобы поступать в уретру и по желанию женщины изливаться ниже клитора, стала произвольно стекать напрямую в вагину и далее вниз по ногам. Инфекция пузыря не заставила себя ждать, моча приобрела ужасный запах. В кратчайшие сроки губы и бедра подверглись мацерации и загноились. Видимо, в этот момент муж ее и прогнал. На помощь явился отец.

В литературе фистулы описаны с античных времен. Но только в 1849 году в Монтгомери, штат Алабама, доктору Мэриону Симмсу моему тезке, удалось успешно прооперировать влагалищный свищ. Его первыми пациентками были три рабыни, которых из-за болезни выгнали на улицу и родственники, и хозяева. Симмс взялся за них – как уверяют, по их просьбе, – пытаясь излечить фистулу. Эфир только-только открыли, но широкого применения новинка еще не нашла, и Симмс резал по живому. Он ушил зияющую дыру между пузырем и вагиной шелком и решил, что проблема решена. Но через неделю появились крошечные дырочки, через которые стала подтекать моча. Доктор продолжил попытки. Одну из пациенток он оперировал раз тридцать, учился на ошибках, совершенствовал технику, и в конце концов у него получилось.

С девочкой, которую мы с Шивой видели, Хема применила принципы лечения, разработанные еще Мэрионом Симмсом. Сперва она через уретру вставила в пузырь катетер, чтобы подвергшиеся мацерации ткани подсохли и зажили. Через неделю Хема произвела операцию на вагине, используя изогнутую оловянную ложку, также изобретенную хирургом из Алабамы, – зеркало Симмса, как мы ее называем, – которая обеспечивает хороший доступ. Ей пришлось осторожно иссечь края фистулы, разобщить пузырную и влагалищную стенки и послойно ушить свищ. Симмс, после многих неудач, прибег к тонкой серебряной проволоке, которой закрывал хирургическую рану. Серебро вызывает в тканях минимальную воспалительную реакцию, а именно воспаление сводит на нет работу хирурга. Хема использовала хромированный кетгут.

За ужином, через месяц после того, как я узнал о болезни Гхоша, Хема поделилась с нами, что они с Шивой провели пятнадцать успешных операций ПВС – и не было ни одного рецидива!

– Этим я обязана Шиве, – уверяла Хема. – Он меня убедил, что на подготовку пациенток к операции надо больше времени. Так что теперь мы

их принимаем и целых две недели кормим яйцами, мясом, молоком и витаминами, даем антибиотики, пока моча не очистится, и смазываем цинковой мазью бедра и вульву. Вытягиваем им ноги, заставляем двигаться. – Она с гордостью взглянула на Шиву. – Стыдно сказать, он лучше знает, что им нужно, чем я после стольких лет работы. Взять хоть идею о физиотерапии...

– У Эли Харриса есть для матушки жертвовател, который согласен давать деньги только на операции ПВС, – сказал Шива. – Каждый месяц мы получаем тысячу долларов США.

Мне даже смотреть на него было тяжело, не то что поздравлять.

Генет как бы отошла для меня на второй план. Когда на втором курсе она завалила два предмета из четырех и принуждена была повторить оба семестра, болезнь Гхоша заслонила для меня все остальное. Генет не ударилась в загул, не предалась лени, у нее просто-напросто пропало желание учиться, она потеряла цель (если таковая когда-нибудь была). Достаточно было пропустить занятие-другое, неделку не выполнять заданий, как ты безнадежно отставал, таким плотным был учебный план первого курса.

В середине второго курса мне сказали, что Генет снова прогуляла пару занятий по анатомии. Мне следовало призвать ее к порядку.

В общежитии дверь в ее комнату была нараспашку. Ее гость стоял ко мне спиной, ни он, ни хозяйка поначалу меня не заметили. Соседки Генет не было на месте. В крохотной комнатке, некогда такой уютной, вещи были разбросаны в беспорядке. Здесь стояла двухъярусная кровать и столик на двоих. Пока Земуй был жив, Генет всеми силами показывала, что ни в грош его не ставит. Теперь же, когда отец погиб, она прикрепила его фото к потолку, в нескольких дюймах от верхнего яруса.

У ее гостя было грубое лицо и такие же манеры. Мне он был известен как записной борец за права, он то организовывал других на борьбу за реформу преподавания, то собирал подписи за снятие декана. Но самое главное, он был из Эритреи – как и Генет. Почти наверняка самым важным для него было освобождение Эритреи, но это следовало хранить в тайне. С Генет он говорил на языке тигринья, однако я уловил парочку английских слов, вроде «гегемония» и «пролетариат». Завидев меня, он прервался на полуслове, его бычьи глаза ясно показывали: ты не наш.

Я нарочно обратился к Генет по-амхарски: пусть ее гость увидит, что этим языком я владею лучше, чем он. Он пробурчал что-то на тигринья и удалился.

– Кто они такие, твои друзья-радикалы, Генет?

– Какие еще радикалы? Просто земляки.

– Тут полно стукачей. Они живо приплетут тебе связь с Народным фронтом освобождения Эритреи*.

* Народный фронт освобождения Эритреи – вооруженная сепаратистская организация, которая сражалась за отделение Эритреи от Эфиопии.

Она пожала плечами:

– А ты знаешь, что у Фронта большие достижения? Ничего ты не знаешь. Об этом ведь не пишут в «Эфиопией Геральд». Однако вряд ли ты пришел поговорить о политике?

В недалеком прошлом такой прием меня бы больно задел.

– Хема передает привет. Гхош приглашает на ужин... Генет, ты прогуливаешь занятия в анатомичке. Никто за тебя вскрытий делать не будет. Если не появишься, получишь незачет.

Ее лицо, еще несколько минут назад полное жизни и любопытства, застыло.

– Спасибо.

Мне ужасно хотелось рассказать ей о болезни Гхоша, чтобы она начала думать не только о себе. И опять я попал под ее колдовское очарование. Все-таки я любил ее, любил отчаянно, несмотря ни на что. А наши пути явно расходились все дальше.

Извержение вулкана произошло, когда я был на последнем курсе и на практике осваивал хирургию. Придя как-то домой после занятий, я по лицу Хемы понял, что она знает. Приготовился к слезам и упрекам. Вместо этого она обняла меня.

Гхош сначала харкал кровью, потом кровь хлынула у него из носа. Тайное стало явным. Его уложили в кровать. Я заглянул к нему, потом мы с Хемой устроились за обеденным столом. Заплаканная Алмаз подала чай.

– Пожалуй, правильно, что он ничего мне не сказал, – проговорила Хема. Глаза у нее тоже были красные. – Сделать-то все равно ничего нельзя. Он старался показать мне себя с лучшей стороны. Я ни о чем не знала, и мне с ним было так хорошо. – Она повертела на пальце кольцо с бриллиантом, которое он ей подарил, когда они в последний раз продляли брачный договор. – Если бы я знала... может, мы с ним поехали бы в Америку. Я его спрашивала. Он сказал, что лучше останется здесь. Первое, что он видит утром, это я, и ничего ему больше не надо. Он так и остался романтиком. Забавно, но пару месяцев назад я почувствовала: все слишком уж хорошо, непременно случится какая-нибудь беда. Знаки были у меня перед глазами. Но я предпочитала их не видеть.

– Как и я, – вздохнул я.

Алмаз рыдала на кухне, плачущий Гебре размахивал Библией, раскачивался и декламировал библейские стихи, стараясь ее успокоить. Я вошел в кухню. При моем появлении Гебре сказал:

– Мы должны поститься за здоровье его. Одной молитвы недостаточно.

Алмаз согласно закивала и, хоть и позволила мне ее обнять, прошептала запальчиво:

– Мы недостаточно молились. Вот почему нас постигло несчастье.

– Ты не видел Шиву? – спросил я Гебре.

– Его весь день не было, но сейчас он в мастерской, наверное.

К сараю мы с ним отправились вместе.

– Свиток с собой? – спросил Гебре, имея в виду лоскут бараньей кожи, на котором он изобразил глаз, восьмиконечную звезду, кольцо и королеву и красивым почерком переписал стих. Лоскут этот он туго скатал и втиснул в гильзу от патрона. На металлической оболочке Гебре нацарапал крест и мое имя.

– Да, он всегда со мной, – ответил я. Талисман я носил в портфеле.

– Если бы я сделал такой же доктору Гхошу, беда, наверное, обошла бы нас стороной.

Мой глубоко верующий друг восхищал меня. Стать священником в Эфиопии довольно просто. Архиепископу в Аддис-Абебе достаточнодохнуть в мешок, который потом привозят в провинции и открывают на церковном дворе при большом скоплении народа. Таким образом в сан посвящаются сотни людей. Чем больше священников, тем лучше – такова точка зрения эфиопской православной церкви.

Но тысячи и тысячи служителей культа – это чересчур, по мнению богобоязненных людей вроде Алмаз. Среди них немало пьяниц и вымогателей, для которых священство не более чем средство избежать голода, а при случае и удовлетворить прочие свои аппетиты. Последний негодяй, облеченный в сан, вправе сунуть ей под нос свой крест для четырехкратного поцелуя. Как-то она попала мне расстроенная, одежда в беспорядке. Оказалось, она еле отбилась зонтиком от возжелавшего ее священника, хорошо, прохожие подсобили.

– Мэрион, когда я буду умирать, отправляйся на Мерка-то и приведи двух священников. Хоть умру, как Христос, по разбойнику с каждой стороны.

Но Гебре был не такой. По мнению Алмаз, он творил богоугодные дела: часами не отрывался от молитвенника, опираясь на молитвенный посох и не выпуская из рук четок. Даже когда он снимал облачение – косил

траву, отправлялся куда-нибудь с поручением, стоял на страже у ворот, – тюрбан неизменно был на нем, а губы шевелились в молитве.

– Сделай Гхошу свиток, – попросил я Гебре. – С верой. Может быть, еще не поздно.

Шива только что вернулся. Я целую вечность не был в сарае, и беспорядок поразил меня: пол был усеян частями моторов и электроарматурой; узкая дорожка вела к тому месту, где среди кусков металла стояло сварочное оборудование; вдоль стен тянулись металлические стеллажи; с потолка свисали инструменты. На верстаке возвышалась гора книг и бумаг, за которыми Шиву было не видно. Я направился к нему. Он набрасывал чертеж какого-то каркаса – части приспособления, которое обеспечит лучший доступ к фистуле. Отложив карандаш, Шива выслушал меня. О случившемся он ничего не знал. Я рассказал ему правду о болезни Гхоша.

Шива молчал. Щеки его покрыла легкая бледность, но на лице мало что отразилось. Вопросов он не задавал. Я ждал, но, как видно, даже такая злая весть не сокрушила стену между нами.

Он был мне нужен. Наконец-то тайна больше не тяготит меня. В ближайшие дни мне понадобится его сила, но если так, я не могу ее принять. О чем Шива думает? Способен ли он вообще чувствовать? Я подождал-подождал и пошел восвояси. Нет, рассчитывать на брата не следует.

Но Шива меня удивил. Ту ночь и две последующие брат, свернувшись на тюфяке, проспал в коридоре у спальни Гхоша и Хемы. Так он выразил свою любовь. Увидев утром Шиву, скрючившегося на полу, Гхош был тронут до слез. У меня словно что-то оборвалось внутри, когда Хема мне об этом рассказала. На четвертую ночь Гхошу стало хуже, и я перебрался из его старого бунгало на нашу с Шивой кровать, на которой мы столько лет спали вместе, и убедил Шиву покинуть коридор. Спали мы плохо, стараясь держаться подальше друг от друга, за ночь несколько раз вставали взглянуть на Гхоша. Но к утру наши головы соприкасались.

У нас с Шивой была та же группа крови, что и у Гхоша. Свою кровь я даже сдал про запас, Шива от меня не отставал. Но переливания крови уже были неэффективны, к тому же опасно вырос уровень гемоглобина. Тромбоциты в организме Гхоша не работали, кровоточили десны и кишечник. Он слабел на глазах.

В больницу Гхош не хотел. Вскоре анемия вызвала одышку, и он больше не мог лежать. Мы перенесли его с супружеского ложа в любимое кресло в гостиной, под ноги подставили скамеечку.

Не торопясь, последовательно он повидался со всеми, кого любил, послал за Бабу, Адидом, Эвангелиной, миссис Редди и прочими партнерами по бриджу; я слышал, как они смеялись, предаваясь воспоминаниям, хотя, право же, было совсем не до смеха. Рассказнями о прежних достижениях его попотчевала команда по крикету, в честь своего капитана они оделись в белое.

И вот настал тот час, когда на него пришлось надеть кислородную маску. Тут-то у меня и состоялся с ним серьезный разговор, который я всеми силами оттягивал.

– Ты избегаешь меня, Мэрион, – печально произнес Гхош. – Надо начать. Если не начнем, то никогда не кончим, так ведь?

Следующие его слова меня как громом поразили.

– Не хочу, чтобы забота обо всей семье падала на тебя. Хема справится. Матушка-распорядительница хоть и в годах, но еще хоть куда. Говорю это тебе, так как хочу, чтобы ты далеко пошел по части медицины. Пусть ничто тебя здесь не держит, никакой долг перед Шивой, Хемой или матушкой. Или перед Генет. – При этом имени он нахмурился и взял меня за руку, чтобы подчеркнуть серьезность своих слов. – Мне так хотелось уехать в Америку. Все эти годы, стоило мне заглянуть в книгу Харрисона и другие учебники... они вытворяют такое, проводят такие анализы... фантастика, понимаешь? Не в деньгах счастье. Зато попадешь туда – и фантастика станет реальностью. – Глаза у него подернулись мечтательной дымкой.

– Это ведь мы не дали тебе уехать. Мы с Шивой. Мы родились...

– Не говори глупостей. Ты можешь себе представить, чтобы я бросил это? – Он обвел вокруг рукой, подразумевая семью, Миссию, дом, перестроенный им из бунгало. – Да на меня сошла благодать! Мой дух давно уже знал, что одних денег мне для счастья недостаточно. Хотя, может, это всего-навсего оправдание, что я не оставил тебе богатства! Я мог запросто сколотить состояние, если бы поставил себе такую цель. Но об одном мне жалеть не приходится. Мои высокопоставленные пациенты на смертном одре о многом жалеют. Прежде всего, о горечи, которую оставляют в сердцах людей. Они понимают, что ни деньги, ни церковная служба, ни панегирики, ни пышные похороны не сотрут дурной памяти.

Конечно, мы с тобой много раз наблюдали, как умирают бедняки. Они жалеют только о своей бедности, о страданиях с рождения до смерти. Знаешь, в Библии Иов говорит Господу: «Почему ты не забрал меня в могилу прямо из утробы матери? К чему эта промежуточная часть, эта жизнь, только для страданий?» Что-то в этом духе*. Для бедных смерть

означает конец страданиям.

* Книга Иова, глава 3. 402

Он горько рассмеялся, и его пальцы в поисках ручки сначала скользнули в карман пижамы, потом потянулись к уху. Прежний Гхош непременно бы это записал. Но ручки не было, да и записывать-то больше ничего не придется.

– Я не страдал. Почти. Разве что когда по милости моей ненаглядной Хемы семь лет ее добивался. Вот уж настрадался-то! – Улыбка его говорила, что такое страдание он не променяет ни на славу, ни на богатство. – Шиве будет хорошо с Хемой. А ей будет чем заняться. Инстинкт говорит Хеме: надо вернуться в Индию. Она поднимет шум по этому поводу. Но этого не произойдет. Шива откажется. Она останется в Аддис-Абебе. Ты только уясни, что это не твоя забота. Я кивнул, хотя его слова меня не слишком убедили.

– Только об одном я немного жалею, – продолжал Гхош. – Это имеет отношение к твоему отцу.

– У меня один отец – ты, – быстро ответил я. – Хоть бы лейкемия поразила его, а не тебя! Если бы он умер, я бы ничуть не огорчился!

Он судорожно сглотнул, помолчал.

– Мэрион, то, что ты считаешь меня отцом, для меня важнее всего. Меня переполняет гордость. Но я упомянул о Томасе Стоуне из эгоизма. Из своекорыстных соображений. Понимаешь, я был твоему отцу очень близким другом. Ближе у него никого не было. Ты только представь себе: двое врачей-мужчин на всю Миссию. Мы были совершенно разные, мне казалось, между нами нет ничего общего. Но оказалось, он так же любит медицину, как и я. Он был ей предан, причем так страстно, словно явился с другой планеты... моей планеты. Между нами была особая связь.

Он перевел взгляд на окно, по-видимому вспоминая о тех временах. Я ждал. Гхош посмотрел на меня и сжал мне руку.

– Мэрион, у твоего отца была глубокая травма, никто не знал, что ее нанесло. Его родители умерли, когда он был молод. Ни о чем таком мы никогда не говорили. Но здесь, рядом с сестрой Мэри, он обрел покой. Я опекал его как мог. Он прекрасно разбирался в хирургии, но не имел никакого понятия о жизни.

– То есть походил на Шиву?

– Нет. Тут что-то совсем другое. Шива доволен жизнью! Посмотри на него! Ему не нужны друзья, он не ищет у людей поддержки, одобрения – он живет сегодняшним днем. Ну а Томас Стоун относился к жизни, как мы, простые смертные. Вот только напуган был. Отказывал себе в радостях и

не принимал свое прошлое.

– Что это его так напугало? – Мне было трудно проглотить все это. – Матушка как-то рассказала мне, что он швырялся инструментами. И у него, дескать, был бесстрашный характер.

– Может, за операционным столом он и не боялся ничего. Хотя даже в этом сомневаюсь. Хороший хирург обязан действовать с опаской, а не кидаться в сечу очертя голову. Таким он и был. Зато в отношениях с людьми его отличала... робость. Он боялся, что стоит ему с кем-то сблизиться, как этот человек причинит ему боль. Или, наоборот, он сам причинит боль этому человеку.

Мой разум отказывался принимать новый образ Стоуна, настолько он не соответствовал сложившимся за долгие годы представлениям.

Я спросил:

– И что ты хочешь от меня?

– Час мой близок, Мэрион... Хочу, чтобы Томас Стоун узнал: я всегда считал себя его другом.

– А почему ты ему не напишешь?

– Не могу. Хема так и не простила ему его бегство. То есть, с одной стороны, она была даже рада, вы ей сразу приглянулись, не успев родиться. Но не простила. Да еще боялась – постоянно, – вдруг он вернется и заявит на вас права. Мне пришлось ей пообещать, поклясться даже, что ни под каким видом не напишу ему и не буду пытаться связаться иным образом.

Он поглядел мне в глаза и сказал с тихой гордостью:

– Я сдержал слово.

– И хорошо.

Сколько раз в детстве я пускался в фантазии, что будет, когда Томас Стоун вернется. А сейчас во мне нарастал протест, сам не понимаю почему.

Гхош продолжал:

– Но я ждал, что Томас Стоун свяжется со мной. Время шло, а о нем ни слуху ни духу. Мэрион, поверь, он сгорает со стыда и считает, что я не желаю о нем слышать. Что я его ненавижу.

– Откуда ты знаешь?

– Ну, точных-то сведений у меня нет. Но подозреваю, что до сих пор он смотрит на себя как на одинокого альбатроса. Если хочешь, назови это чутьем клинициста. Правда в том, что с нами тебе было лучше, чем пришлось бы с ним. Вряд ли ему удалось создать то, что есть здесь у нас, – семью. Его крестная ноша тяжела.

– Почему ты говоришь мне об этом сейчас? – спросил я _ я выбросил его из головы, когда тебя выпустили из тюрьмы. Где он обретался, когда

был нам нужен? Зачем мне впустую думать о нем?

– Только ради меня. Ты ни при чем. Это часть моей жизни. Но только ты можешь мне помочь.

Я промолчал.

– Смогу ли я тебе объяснить... – Несколько секунд он смотрел в потолок. – Мэрион, в моей жизни останется нечто незавершенное, если он не узнает, что я по-прежнему считаю его своим братом. – Глаза его увлажнились. – И что какие бы ни были причины его молчания, я по-прежнему... люблю его. Я его не увижу, не скажу всего этого. Но ты скажешь. И не заденешь чувств Хемы. Такое мое желание. Ради меня. Заверши неоконченное.

– Шиве ты скажешь то же самое?

– Если я скажу Шиве, что это мое предсмертное желание, он его выполнит. Но вдруг Шива не догадается, как его следует выполнить, что именно... излечит Стоуна. Для этого надо нечто большее, чем передать на словах. – Он задумался. – Кстати, насчет Шивы. Прости его, как бы он ни был перед тобой виноват.

Он меня ошеломил. Неужели он заранее спланировал этот разговор? Или мысль про Шиву пришла ему в последнюю минуту? Не думаю, чтобы Гхош догадывался, насколько глубока моя рана, насколько горька обида. Все-таки то, что произошло между мной и Шивой, касается отношений сугубо личных, и Гхошу не следует вмешиваться.

– Я постараюсь разыскать Томаса Стоуна. Ради тебя. Но... По вине этого человека умерла моя мама. Монахиня. Которая забеременела от него. А он бросил детей. И до сих пор никто не может понять, как это все вышло.

Голос мой сорвался. Гхош молча смотрел на меня. А я вдруг весь обмяк, я больше не сопротивлялся. Я выполню волю умирающего.

Умер Гхош через неделю, в том же кресле. Мы с Шивой держали его за левую руку, матушка – за правую. Алмаз, исхудавшая вследствие строгого поста, положила руку ему на плечо, Хема присела на ручку кресла, и Гхош припал головой к ее телу.

Генет не нашли. Гебре послал к общежитию такси, но оно вернулось ни с чем. Сам Гебре стоял рядом с Алмаз и молился.

Дыхание у Гхоша было затруднено, но Хема по его просьбе дала ему морфий, чтобы «разъединить мозг и голову», и тем хоть и не избавила от удушья, но сняла страдания.

На миг он открыл испуганные глаза, посмотрел на Хему, потом на нас, улыбнулся и смежил веки. Хочется думать, что его последний взгляд запечатлел образ семьи, его плоти и крови, ведь в нем и вправду текла наша

кровь.

Вот так он перешел из жизни в смерть, просто, бесстрашно, убедившись напоследок, что с нами все хорошо.

Когда его грудь перестала вздыматься, мое горе смешалось с облегчением: который день я сначала отслеживал его вдох и только потом дышал сам. Знаю, Хема тоже испытала нечто подобное, когда приникла к нему и зарыдала.

Со смертью Гхоша я по-новому стал понимать слово «потеря». Я потерял маму и отца, потерял генерала, Земуя, Розину. Но подлинной потерей был Гхош. Рука, которая похлопывала меня и укладывала в кровать, губы, которые мурлыкали колыбельные, пальцы, которые учили меня выстукивать грудь, пальпировать увеличенную печень и селезенку, сердце, на биении которого я учился понимать сердца других, замерли.

С его смертью бремя ответственности перешло ко мне. Он предвидел это. Он вручил мне скальпель, хотел, чтобы из меня вырос доктор, превосходящий его, который потом передаст знания своим детям и внукам.

– Цепь на мне не оборвется, – прошептал я.

Знаю, Фрейд писал, что мужчина становится мужчиной только после смерти отца.

Со смертью Гхоша я перестал быть сыном.

Я сделался мужчиной.

Глава двадцать первая. Исход

Мой отъезд из Эфиопии через два года после смерти Гхоша никак не был связан с его предсмертной просьбой найти Томаса Стоуна. И дело тут даже не в том, что императора исподволь свергли мятежные военные, а у «комитета» Вооруженных сил власть отнял безумный диктатор, армейский сержант по имени Менгисту*, по части насилия далеко переплюнувший самого Сталина.

* Менгисту Хайле Мариам (род. 21 мая 1937 или 1941) – военный и государственный деятель Эфиопии. Один из лидеров эфиопской революции. Генеральный секретарь ЦК Рабочей партии Эфиопии, президент и председатель Государственного Совета Эфиопии. После свержения эмигрировал в Зимбабве, где получил политическое убежище. На родине Высший суд Эфиопии заочно приговорил его к пожизненному заключению, а затем к смертной казни.

Во вторник, 10 января 1979 года, по городу словно инфлюэнца разошлась весть, что четверо эритрейских партизан угнали «Боинг-707» «Эфиопских Авиалиний» в Хартум, столицу Судана. Одной из четверки была Генет. Утром еще студентка-медичка, хоть и отставшая на целых три года, к вечеру она получила статус борца за свободу

Я уже был доктором-интерном, отрубил по три месяца на медицине внутренних органов, хирургии, акушерстве и гинекологии и через месяц должен был покончить с педиатрией.

Хема позвонила мне ближе к вечеру. До нее дошли новости о Генет.

– Мэрион, немедленно приезжай домой.

Голос у нее был такой, что воздух вокруг меня сгустился.

– Мам, у тебя все хорошо? Нам ей не помочь. К нам могут прийти. Ты ведь ее опекун.

После смерти Гхоша мы с Хемой очень сблизились. Она спрашивала у меня совета, и я старался выкроить время, чтобы посидеть с ней, заменяя в этом Гхоша.

– Мэрион, любовь моя, речь идет не о Генет... Только что позвонил Адид. Тайная полиция разыскивает участника преступного сговора по имени Мэрион Прейз-Стоун. Может быть, они уже едут сюда.

Будь благословенен источник Адида, некий мусульманин в службе безопасности, питающий слабость к Миссии. Соседка Генет по комнате, неприметная девушка, по моему мнению понятия не имевшая ни о каком

заговоре, через час после угона назвала мое имя. Когда тебе рвут ногти, все что угодно скажешь.

Перед глазами у меня промелькнул образ бритоголового Гхоша во дворе тюрьмы Керчеле. Но старая тюрьма была местом отдыха по сравнению с нынешней, где пытки стали обыденностью. Тела, их части каждую ночь вывозили на грузовиках и выставляли напоказ на улицах города в рамках чудовищной программы по «культурному просвещению» населения. Посмертный портрет художника. Безголовая женщина, указывающая на Орион. Предатель с собственной головой в руках. Человек с пенисом во рту.

Смысл послания был ясен. Если вздумаешь выступить против нас, ты – труп.

У сержанта-президента, неотесанного варвара, и у императора имелось только одно общее стремление: не дать Эритрее отделиться. Сержант предпринял полномасштабную военную операцию, подверг бомбардировке мирные деревни, взял Эритрею в кольцо. Разумеется, это только вдохновило на борьбу Народный фронт освобождения Эритреи.

Тем временем восстали племена оромо. Тиграи, чей язык похож на эритрейский, сформировали свой Фронт освобождения. Роялисты, верившие в императора и в монархию, подкладывали бомбы в правительственные учреждения в столице. Студенты университета, некогда горячие сторонники военного «комитета», раскололись на борцов за демократию и на тех, кого вполне устраивал марксизм в албанском стиле. Соседняя страна, Сомали, решила, что самое время предъявить территориальные претензии. Яблоком раздора стала пустыня Огаден, которой даже стервятники брезговали. Кто сказал, что диктаторам живется легко? Забот у сержанта-президента был полон рот.

Не сказав никому ни слова, я выскользнул из здания эфиопско-шведской педиатрической больницы через служебный вход и сел в такси, оставив свою машину на парковке. Происходящее казалось мне нереальным. Чего Генет добивалась? Угон самолета «Эфиопских Авиалиний» преследовал исключительно пропагандистские цели. Ну да, Би-би-си не пройдет мимо. Это выставит в неприглядном свете сержанта-президента, только он сам об этом уже позаботился. Я решительно отвергал угоны самолетов. К тому же «Эфиопские Авиалинии» – наша национальная гордость. Иностранцы восхищались уровнем обслуживания, опытными пилотами. Рейсы в Аддис-Абебу из Рима, Лондона, Франкфурта, Каира, Найроби и Бомбея сделали нашу страну доступной для туристов, а местные линии на DC-3 позволили устроить нечто вроде игры в классики:

утром отель «Хилтон» в Аддис-Абебе, через пару часов – замки в Гондэре, древние обелиски Аксума, вырубленные в скалах церкви Лалибелы – и снова «Хилтон», к тому часу, когда в облаках духов появляются девушки, а «Велвет Ашантис» играют свою главную тему – «Walk Don't Run».

Народный фронт освобождения Эритреи давно уже нацеливался на «Эфиопские Авиалинии». Но даже при императоре переодетые сотрудники службы безопасности на борту обеспечивали почти идеальную статистику. Генет оказалась чуть ли не первой, у кого получилось. Был случай: не успели семеро угонщиков из Эритреи подняться с мест и объявить о своих намерениях, как пятерых из них подстрелили точно куропаток, шестого скрутили, а седьмой заперся в туалете и взорвал гранату. Пилот умудрился посадить искалеченный самолет с поврежденным хвостом. В другой раз угонщика привязали к сиденью первого класса, повязали ему полотенце и перерезали глотку.

В тот январский день Генет с товарищами захватили самолет без борьбы. Ходили слухи, что не обошлось без помощи извне, может, даже со стороны службы безопасности.

Такси проехало Меркато. Передо мной потянулись знакомые картины. Неужели я еду по этой дороге, вдыхаю хмельной аромат пивоварни в последний раз? Женщина с уложенными косичками волосами, что выдавало в ней эритрейку подняла руку.

– Лидета, пожалуйста, – сказала она таксисту пункт назначения.

– Да ну? – изумился водитель. – Возьми лучше самолет, милочка.

Лицо у женщины окаменело. Она не стала спорить. Отвернулась, и все.

– Этим сволочам сегодня лучше не высовываться, – сказал мне таксист, ибо я уж точно был не из их числа. – Посмотри, – он показал рукой на пешеходов по обе стороны от машины, – они повсюду.

Эритрейцев вроде нашей стажерки или Генет в Аддис-Абебе были тысячи: администраторы, учителя, студенты, госслужащие, офицеры, монтеры, водопроводчики, всех профессий не перечислить.

– Они пьют наше молоко и едят наш хлеб. Но сегодня у себя дома они на радостях режут барана.

С тех пор как к власти пришли военные, многие эритрейцы, включая моих знакомых медиков, ушли в подполье и присоединились к Народному фронту освобождения Эритреи.

В столице говорили, что ситуация на севере Эфиопии, вокруг Асмары, обернулась против сержанта-президента. Эритрейские партизаны нападают по ночам на армейские колонны и исчезают днем. Я видел зернистые фото

этих бойцов. В своих неизменных сандалиях, шортах и рубашках хаки они сражались со всей страстью и верой патриотов, борющихся с захватчиками. Эфиопские новобранцы на джипах и танках, сгибающиеся под тяжестью оружия и обмундирования, были вынуждены действовать вдоль основных дорог. Как могли они отыскать врага, который старался не попадаться на глаза, на земле, на языке которой они не говорили и не могли отличить партизан от мирных граждан?

Подъезжая к Миссии, я увидел, как Циге выходит из своего «фиата» у бара. Все эти годы она процветала, купила еще одно заведение рядом, пристроила к нему кухню, потом приобрела ресторан побольше и наняла девушек. В ее баре появилась новая мебель, два игровых футбольных автомата, новый телевизор – все, как в лучших кабаках на Пьяцце. Циге также владела такси и подумывала о втором. Она всегда меня подбадривала, говорила, как гордится мной и каждый день за меня молится. Когда ее стройные ноги в чулках показались из машины, мне ужасно захотелось подойти попрощаться. Это ведь и ее земля тоже, подумалось мне, дай-то бог, чтобы ей не пришлось бежать.

Ворота Миссии оказались нараспашку. Это был условный знак: Хема показывала мне, что все чисто и путь свободен.

Когда у тебя всего несколько минут на то, чтобы покинуть место, где ты прожил все свои двадцать пять лет, что ты возьмешь с собой?

Хема сложила в большую сумку мои дипломы, паспорт, прочие документы, деньги, хлеб, сыр и воду. Я надел кроссовки, натянул на себя несколько одежек, чтобы не замерзнуть, бросил в сумку кассету, на которой была записана быстрая и медленная «Тицита», но плеер брать не стал. Задумчиво посмотрел на «Основы внутренней медицины» Харрисона и «Основы хирургии» Шварца и тоже не взял (каждая книга весила фунтов по пять).

Наша маленькая процессия направилась к боковой стене Миссии через рощицу, где были похоронены сестра Мэри Джозеф Прейз и Гхош. Я шагал рука об руку с Хемой, Шива поддерживал матушку, Алмаз и Гебре шли впереди.

У могилы Гхоша я остановился, попрощался с ним. Он бы наверняка постарался меня развеселить, заставил взглянуть на всю историю с хорошей стороны. Ты ведь всегда хотел путешествовать! Вот тебе такая возможность и представилась! Будь осторожен! Путешествие расширяет границы разума и расслабляет кишки.

Я поцеловал мраморное надгробие и зашагал прочь. На могиле мамы я задерживаться не стал. Не здесь следовало с ней попрощаться. К стыду

своему, я уже года два не посещал автоклавную, а сейчас не было времени.

У стены Хема припала ко мне, прижалась головой к груди, расплакалась. Такой я ее видел только в день смерти Гхоша. Она даже говорить не могла.

Матушка, непоколебимый камень веры в минуты кризиса, поцеловала меня в лоб и сказала только:

– Ступай с Богом.

Алмаз и Гебре помолились за меня. Алмаз вручила мне пару вареных яиц, завязанных в платок, а Гебре – крошечный свиток-оберег, который я должен был проглотить. Я сунул его в рот.

Глаза у меня оставались сухими только потому, что никак не верилось в реальность происходящего. Взгляну на провожатых – и задыхаюсь от ненависти к Генет. Может, эритрейцы в Аддис-Абебе и вправду забивали вчера баранов в ее честь и пили за ее здоровье, но пусть бы она посмотрела, как из-за нее разлучается наша семья; жалко, нельзя отправить ей фото.

Настало время прощаться с Шивой. Я уже забыл, каково это – прижиматься к нему, чувствовать полное соответствие наших тел – двух половин одного существа. После похорон Гхоша я вернулся на его старую квартиру, а Шива остался в детской. Но сейчас наши руки были точно магниты – не разъединить.

Лицо брата выражало бездонную грусть и вместе с тем он, казалось, не верил, что все это происходит на самом деле. Странно, но мне это льстило. Всего-то два раза я видел у Шивы такое лицо – в день, когда арестовали Гхоша, и в день его смерти. Наше расставание сродни смерти – казалось, говорило оно. Значит, вот как он относился к моему побегу. А как к нему относился я сам?

Когда-то, целую вечность тому назад, мы могли читать мысли друг друга. Интересно, прочтет ли он мои мысли сейчас? Я нарочно помедлил.

Шива, понимаешь ли ты, что ты, именно ты всему виной? Ты лишил Генет невинности, и это не просто биологический акт. Из-за этого повесилась Розина, из-за этого Генет отдалилась от нас, из-за этого я сейчас ненавижу девушку, на которой собирался жениться. А Хема до сих пор считает, что это я обидел Генет.

Сознаешь ли ты, как меня предал?

Прощаться с тобой – все равно что резать по живому.

Я люблю тебя, как самого себя, – это неизбежно.

Но простить я тебя не могу. Может, еще не пришло время. Мне никак не собраться с силами. Хотя Гхош меня и просил.

Мы стояли у лестницы, которую Гебре приставил к восточной стене Миссии.

Шива протянул мне вещевой мешок. Я заглянул в него и в наступившей темноте разглядел читаную-перечитаную «Анатомию» Грея, а под ней еще какую-то тяжелую книгу, с виду совершенно новую. Хотел было отказаться, но прикусил язык. Ведь передавая мне Грея, свою самую ценную вещь, Шива как бы оставлял мне частичку себя самого.

– Спасибо, Шива, – сказал я, надеясь, что это не прозвучало язвительно. К сумке добавился еще и мешок.

Гебре набросил мешковину на бутылочные осколки, что были вмурованы в стену, и я перелез на ту сторону. Передо мной тянулась дорога, которую я постоянно видел из окна спальни, но которой никогда не пользовался. Она казалась мне пасторальной, идиллической, она пропадала в тумане меж гор и вела в земли, где нет забот. Но сегодня в ней было нечто зловещее.

– До свидания, – произнес я в последний раз. Мне ответил целый хор родных голосов:

– В добрый путь.

В сотне ярдов стоял грузовик с заглушённым двигателем, груженный использованными покрышками. Шофер помог мне забраться в кузов, где между покрышками было прикрытое брезентом потайное место. Адид уложил сюда воду, печенье и стопку одеял. Мой побег организовал он, под эгидой Народного фронта освобождения Эритреи. Услугами Фронта пользовались многие беженцы, особенно если речь шла о северной части страны, а в кармане водились деньги.

Чем меньше я скажу о том, как семь часов трясся в кузове до Десси, тем лучше. Проведя ночь на складе в Десси, где я спал в нормальной постели, мы отправились еще дальше на север, в самое сердце Эритреи, Асмару. Любимый город Генет был занят эфиопскими войсками. Всюду танки, бронетранспортеры, патрули. Нас не обыскивали, в документах у водителя стояло, что покрышки мы везем на войсковой склад.

Меня привезли в уютный коттедж, утопавший в зарослях бугенвиллеи, где мне предстояло выждать, пока не представится возможность выбраться из Асмары. Из обстановки в комнате был только тюфяк на полу. Выйти в сад я не мог. Я полагал, что проведу здесь от силы день-другой, но ожидание растянулось на целых две недели. Мой проводник-эритреец, которого звали Люк, раз в день приносил мне еду. Немногословный, он был моложе меня. До ухода в подполье Люк учился в колледже в Аддис-Абебе.

Оказалось, в моем скудном багаже меня ждут два сюрприза. На дно

моей сумки вместо обычной картонки Хема положила картинку в рамке. Это была та самая святая Тереза, память о сестре Мэри Джозеф Прейз. К фото прилагалась записка от Хемы:

Гхош оправил ее в рамку незадолго до смерти. В своем завещании он написал, что если ты когда-нибудь покинешь страну, то репродукция должна находиться при тебе. Мэрион, без меня пусть мой Гхош, сестра Мэри и святая Тереза присмотрят за тобой.

Я погладил рамку, которой касались руки Гхоша. Это был мой талисман. Я не попрощался с мамой в автоклавной, но, оказывается, в этом не было необходимости. Она со мной не рассталась.

Второй сюрприз поджидал меня под драгоценной Шивиной «Анатомией» Грея. Это была книга Томаса Стоуна «Практикующий хирург. Краткие очерки тропической хирургии». Я и не знал, что такая книга есть. Я перелистал страницы, недоумевая, почему не видел эту книгу прежде и как она попала к Шиве. И тут мне на глаза попала фотография, занимающая три четверти страницы, с подписью: «Томас Стоун, бакалавр медицины и бакалавр хирургии, член королевского колледжа хирургов». Я захлопнул книгу, поднялся и выпил воды. Мне нужно было время, чтобы успокоиться. Когда я снова раскрыл книгу, мне бросились в глаза девять пальцев вместо десяти. Потом я обратил внимание на сходство с Шивой, а следовательно, и со мной. Оно сквозило в глубоко посаженных глазах, во взгляде. Челюсти у нас были не такие квадратные, а лбы шире, чем у него. Интересно, зачем Шива передал мне эту книгу?

Книга была новенькая, словно ее никогда не открывали. В самом начале имелась закладка: «Наилучшие пожелания издателю». Когда я ее извлек, на страницах осталась вмятина – так долго закладка находилась между ними.

С тыльной стороны на ней было написано:

19 сентября 1954 года.

Второе издание. Бандероль прибыла на мое имя. Но я уверена, что издатель имел в виду тебя. Поздравляю. Прилагаю мое письмо к тебе. Прочти немедленно.

СМДП.

Записка была написана мамой за день до нашего рождения и ее смерти. Четкий ровный почерк прилежной школьницы. Давно ли у Шивы эта книга с закладкой? Почему он передал ее мне? Чтобы у меня появилась еще одна весточка от мамы?

Чтобы сохранить форму, я мерил шагами комнату с сумкой с книгами на плече. За две недели я прочитал книгу Стоуна. Поначалу я убеждал себя,

что она устарела. Но его способ подачи материала в контексте научных принципов оказался вполне современным. Я много раз перечитал записку мамы. Что было в письме, которое она передала Стоуну? Что она сообщила ему всего за день до нашего рождения? Я копировал ее почерк, тщательно повторяя изгибы.

В один прекрасный день Люк принес еду и сообщил, что ночью выдвигаемся.

Мы вышли после комендантского часа.

– Вот почему мы ждали, – произнес Люк, указывая на небо. – Когда нет луны, не так опасно.

Он провел меня по узким дорожкам меж домов, вдоль ирригационных канав, и вскоре мы покинули жилую зону. По полям мы шагали в кромешной тьме. На горизонте угадывались очертания холмов. Через час плечо у меня заныло, сколько я ни перевешивал сумку. Люк настоял, что часть груза лучше переложить к нему в рюкзак, и остолбенел при виде книг, хоть и промолчал. Грей перекочевал к нему.

Мы шли долго, только один раз остановились передохнуть. И вот мы у подножия холмов, поднимаемся по склону. В четыре тридцать утра раздался тихий свист. Нас встретил отряд из одиннадцати бойцов. Они приветствовали нас по-своему, пожали руки, хлопнули по плечу, сказали «Камелахай» и «Салом». Среди них было четыре женщины, поджарые африканки. Я с изумлением заметил среди бойцов знакомое лицо – того самого волоокого студента, с которым когда-то встречался у Генет в общежитии. Узнав меня, он криво ухмыльнулся, схватил мою руку обеими руками, принялся трясти. Звали его Цахай.

Он протянул мне что-то:

– Хлеб с высоким содержанием протеина.

Это было собственное изобретение повстанцев, правда, вкусом оно напоминало картон. Цахай почесал колено, оно показалось мне распухшим, но он не проронил ни слова на этот счет.

О Генет мы говорить избегали. Зато Цахай рассказал мне, как они в ту ночь напали из засады на колонну эфиопских войск, когда те возвращались на базу.

– Их солдаты боятся темноты, не хотят воевать и охотно убралась бы отсюда. Боевой дух очень низкий. Когда мы подбили первую машину, водитель второго грузовика впал в панику и попытался ее объехать, но угодил в канаву. Солдаты бросились врассыпную, даже не пытались стрелять. Мы были на склонах с обеих сторон дороги. Солдаты орали, что окружены, и не слушались команд офицера. Мы отобрали у них форму и

отправили обратно в гарнизон пешком.

Цахай с товарищами слили из баков бензин, спрятали исправный грузовик в кустах, загрузили его формой, боеприпасами и оружием: придет время – воспользуются. Самыми ценными трофеями были пулемет и патроны, их волокли на себе.

Через пятнадцать минут мы двинулись в путь и до восхода солнца добрались до тщательно замаскированного на склоне холма небольшого бункера. Я и не подозревал, что способен на такой марш-бросок. Однако мои спутники тащили груз впятеро больший, чем у меня, и не жаловались.

Люк и я остались в бункере, остальные поспешили на передовые позиции.

Я спал, пока Люк не разбудил меня. Ноги у меня болели так, словно на них обрушилась стена.

– Прими. – Люк протянул мне две таблетки и жестяную кружку с чаем. – Это наше обезболивающее, парацетамол. Сами изготавливаем.

Глотать я еще мог. Люк заставил меня съесть пару кусочков хлеба, и я опять уснул. Когда пробудился, боль уменьшилась, но тело до того затекло, что я с трудом поднялся с земли. Пришлось принять еще две таблетки парацетамола.

Пятеро партизан появились с наступлением темноты, чтобы сопровождать нас дальше. У одного нога была скрюченная: полиомиелит. Глядя на его раскачивающуюся, неуклюжую походку, на автомат, используемый в качестве противовеса, я устыдился собственной слабости.

Второй марш-бросок был вполтину короче первого, и ноги мои потихоньку пришли в норму. Задолго до рассвета мы прибыли к каким-то холмам, поросшим дремучими зарослями. Узкая тропа привела к пещере, вход в которую, укрепленный бревнами, был полностью скрыт кустарником и валунами. В глубину спускался крутой деревянный пандус. Холм был весь изрыт пещерами, тщательно замаскированными.

Меня провели внутрь. Я скинул кроссовки, рухнул на соломенную циновку и мгновенно заснул. Проспал я до середины дня. Руки-ноги снова не слушались, а Люку было все нипочем. База опустела, сегодня проводилась важная военная операция.

Пожалуй, боевики, скользящие в облаках пыли подобно москитам, их стойкость, изобретательность были достойны восхищения. Они сами производили физраствор, изготавливали сульфамиды, пенициллин и таблетки парацетамола. В подземных пещерах были укрыты от посторонних глаз операционная, отделение протезирования, больничные палаты и медицинское училище. Поражало, какой уход обеспечивался в

столь спартанских условиях.

Женщина-партизан присела отдохнуть возле бункера. Солнечные лучи, процеженные сквозь листья акации, играли у нее на лице и на лежащей на коленях винтовке. Уставив в небо бинокль, она высматривала МиГи, за штурвалами которых сидели русские или кубинские «советники». Когда-то Америка поддерживала императора, но режиму сержанта-президента в поддержке отказала, прекратив поставки оружия. Образовавшуюся брешь заполнил Восточный блок.

Партизанка была примерно моих лет и живо напомнила мне Генет свободой, непринужденностью позы. Лицо ненакрашенное, на пропыленных ногах мозоли. Слава богу, мои мечты о Генет канули в прошлое. Долго же я предавался фантазиям. Медовый месяц в Удайпуре, маленькое бунгало в Миссии, собственные дети, утренние обходы в больнице, работа бок о бок... Этому никогда не бывать. Мне не хотелось ее больше видеть. Да даже если бы и хотелось, ничего не выйдет. Она сейчас, наверное, в Хартуме. Путь в Аддис-Абебу для нее заказан. Скоро она присоединится к боевикам, чтобы жить в каком-нибудь из этих бункеров и сражаться. Надеюсь, я к тому времени буду уже далеко. Если бы не она, меня бы здесь вообще не было. Только нужда заставила обратиться к ее товарищам.

В ту ночь я слышал грохот МиГов и далекие разрывы бомб. Доносилась и приглушенная канонада. Возле входа в пещеру была строгая светомаскировка.

По словам Люка, было проведено массированное нападение на склад вооружений и топлива. В нем, в частности, участвовал Цахай, а также те боевики, которых мы повстречали в первую ночь. Они прорвались на территорию склада на захваченном армейском грузовике, но подоспевшее подкрепление атаковало их с тыла. Все пошло не по плану. Девятерых партизан и самого Цахая убили, многих ранили.

Потери эфиопской армии были значительно больше, а топливный склад выведен из строя. Раненых доставят в пещеру ранним утром.

Меня разбудили голоса и суета вокруг. Кто-то стонал, раздавались крики, полные боли. Люк отвел меня в ту пещеру, где было хирургическое отделение.

– Привет, Мэрион, – произнес чей-то голос у меня за спиной.

Я обернулся и увидел Соломона. Он учился на моем факультете на несколько курсов старше. После интернатуры ушел в подполье. Я помнил его круглолицым, упитанным парнем. Человек, стоящий сейчас передо мной, был худ как палка.

Пригибаясь, чтобы не удариться головой о низкий свод, я пошел вслед за ним. Прямо на земле, на носилках, лежали раненые. Раны ужасали. Те, кому требовалась срочная операция, находились ближе к операционной в конце туннеля. Вход в нее был задернут занавеской.

Бутыли с физраствором и кровью висели вдоль стен на крюках. Сопровождающие сидели на корточках рядом с носилками.

Соломон сказал, что лучше бы находиться поближе к полю боя.

– Но ничего не поделаешь, приходится работать здесь. Мы возвращаем людей к жизни в полевых условиях. Внутривенные вливания, перевязки, антибиотики, даже хирургия. Мы умеем предотвращать шок не хуже американцев во Вьетнаме. Нам бы еще их вертолеты. А наши вертолеты – вот они. Выносим раненых на носилках. – Соломон оглядел помещение. – Этому нужна плевральная трубка. Вставь, пожалуйста. Тумсги тебе поможет. А я в операционную. Товарищ ждать не может. – Он указал на бледного солдата, лежащего у самой занавески с окровавленной повязкой на животе. Партизан часто и неглубоко дышал.

Боевик, которому надо было вставить плевральную трубку, прохрипел:
– Салам.

Пуля пробила ему трицепс, грудь и чудом не задела крупные сосуды, сердце и позвоночник. Я простучал грудную клетку чуть повыше правого соска, звук был глухой, почти неслышимый, не то что звонкий отголосок слева. Кровь скопилась в плевральной полости, прижала правое легкое к левому и к сердцу. Я анестезировал кожу у правой подмышки, затем провел более глубокое обезболивание, сделал скальпелем разрез длиной в дюйм, наложил гемо-стат, пошарил в разрезе пальцем в перчатке – места достаточно – и вставил трубку с боковыми отверстиями и с наконечником. Тумсги подсоединил другой ее конец к дренажному сосуду, заполненному водой, которая препятствовала попаданию воздуха обратно в полость. Потекла темная кровь, раненый задышал легче. Он пробормотал что-то на тигринья и сорвал с себя кислородную маску.

– Хочет, чтобы кислород дали другому раненому, – пояснил Тумсги.

К Соломону в операционную я вошел, когда пациента снимали со стола. Грудь его не двигалась. Секунд пять все молчали. Одна из женщин, сдерживая рыдания, опустила на колени и закрыла лицо руками.

– Ничего нельзя было сделать, – тихо произнес Соломон. – Разрыв печени. Я попробовал наложить матрацный шов, но у него оказалась повреждена нижняя полая вена, и кровотечение не останавливалось. Чтобы ее заштопать, надо было ее пережать, а это убило бы его. Помнишь, профессор Асрат говаривал, что при повреждениях полой вены за печенью

хирург видит Бога? Раньше я не понимал его. Теперь понимаю.

Следующим был пациент с ранением в живот. Соломон деловито ковырялся в кровавом месиве. Извлек тонкую кишку, определил места перфорации, зашил. Удалил разорванную селезенку. На сигмовидной кишке имелся рваный разрыв. Он вырезал поврежденный участок и подвел оба открытых конца к брюшной стенке, формируя двустольную колостому. Мы тщательно промыли брюшную полость, вставили дренаж, пересчитали тампоны. Операционное поле обрело благопристойный вид. Будто прочитав мои мысли, Соломон показал мне свои руки с узловатыми пальцами:

– Я хотел пойти в психиатры. – И он улыбнулся – единственный раз за день.

Мы провели пять ампутаций, две трепанации черепа. В качестве инструмента использовали усовершенствованную плотницкую дрель. В первом случае наши усилия были вознаграждены, кровь вылилась из-под твердой мозговой оболочки, где скопилась, давя на мозг. Второй пациент агонизировал, остановившиеся зрачки были расширены, трепанация не дала ничего. Кровь излилась глубоко в мозг.

Через два дня я распрощался с Соломоном. Под глазами у него были темные круги, казалось, он едва стоит на ногах.

– Счастливого пути и удачи, – сказал мне Соломон. – Это не твоя война. Будь я на твоём месте, я бы тоже уехал. Поведай миру о нас.

Это не твоя война.

Я шагал к границе в сопровождении двух проводников, а слова эти все звучали в голове. Что Соломон имел в виду? Неужели он считал, что я на стороне захватчиков? Конечно, нет. Просто в его глазах я был эмигрант, чужак, которому не за что сражаться в этой войне. Несмотря на то что мы с Генет родились в одном месте, что амхарский был для меня как родной, что мы с ним учились на одном факультете, для Соломона я остался фаранги – иностранцем.

Мы пересекли суданскую границу на закате дня. На автобусе я доехал до Порт-Судана, затем самолетом перелетел в Хартум, откуда позвонил по номеру, который мне дал Адид. Так Хема узнала, что я добрался благополучно. Два дня в изнемогающем от жары Хартуме тянулись как два года. Наконец я сел в самолет, вылетающий в Кению.

Эли Харрис, благотворитель, представляющий Хьюстонскую церковь, многолетний благодетель Миссии, обо всем договорился по телеграфу. В Найроби меня приютила небольшая клиника. Работать в амбулатории пришлось под перевод, как мне показалось, весьма несовершенный. В

свободное время я усиленно готовился к экзаменам, которые мне надо было сдать, чтобы начать в Америке последипломную стажировку

Найроби был городом-садом и в этом отношении походил на Аддис-Абебу. Правда, размах и масштаб Найроби были поскромнее. Годы британского правления оставили свой след, и, хотя Кения обрела независимость, здесь осталось жить много британцев. Индусов тоже было не счесть, некоторые кварталы Найроби больше напоминали Бароду или Ахмадабад: в лавках – сари, в воздухе – аромат масалы*, говорят только на языке гуджарати**.

* Масала – индийское название смеси специй, все виды масалы содержат перец и другие острые приправы. Кроме «сухих» смесей, состоящих из специй, существуют и масалы в виде паст, обычно содержащих такие ингредиенты, как имбирь, чеснок и лук. В иносказаниях используется как символ остроты блюда.

** Гуджаратский язык вместе с раджастхани и пенджаби образует западную группу новоиндийских языков индоевропейской семьи. Распространен в штате Гуджарат и в прилегающих районах штата Махараштры.

Поначалу я заглядывал по вечерам в бары – разогнать тоску, послушать музыку Бразильские и конголезские джазовые ритмы поднимали настроение, внушали оптимизм, но когда, накачавшись пивом, я возвращался к себе в комнату, меланхолия просто одолевала. Но кенийская культура не произвела на меня глубокого впечатления. Я сам был тому виной. Что-то меня отталкивало. Томас Стоун бежал в Найроби из Эфиопии, пытаясь укрыться от демонов. У меня были свои причины.

Я звонил Хеме каждый вторник, всякий раз иному приятелю. По ее словам, положение ничуть не улучшалось. Вернувшись, я бы оказался в опасности.

Так что я перестал посещать злачные места и каждую свободную минуту отдавал занятиям. Через два месяца я сдал экзамены на соответствие американским медицинским стандартам и немедленно обратился в посольство США за визой. Без помощи Харриса и тут не обошлось.

Оправдание у меня было такое: если моя страна готова подвергнуть меня пыткам по одному лишь подозрению, если я как врач ей не нужен, я отрекаюсь от моей страны. Но, говоря по правде, к тому времени я уже сознавал, что не вернусь в Эфиопию, даже если ситуация там кардинально улучшится.

Мне хотелось вырваться из Африки.

Я даже начал думать, что в конечном счете Генет оказала мне услугу.

Часть четвертая

Мужчина каждый должен выбирать:
Жизнь совершенная или труды.
И если выбор за вторым, не стоит ждать
Обители, мерцающей из темноты.
Уильям Йейтс, Выбор

Глава первая. «Велкам вагон»*

* Организация, помогающая иммигрантам или переселенцам устроиться на новом месте; сотрудники организации рассказывают новоприбывшим о районе, вручают подарки, образцы товаров, продающихся в местных магазинах.

«Боинг-707» «Восточноафриканских Авиалиний», уносящий меня из Найроби, пилотировал капитан Гетаче Селассие – ничего общего с императором. Спокойный голос капитана я слышал в течение короткой ночи дважды. Благодаря своей работе он находился ближе к Богу, чем самый высокопоставленный священник. Он был первый из трех командиров воздушных судов, пронесших меня через девять часовых поясов.

Рим.

Лондон.

Нью-Йорк.

Ритуал иммиграции и досмотра багажа в аэропорту имени Кеннеди промелькнул так быстро, словно его и вовсе не было. Где вооруженные солдаты? Где собаки? Где длинные очереди? Где обыски? Где столы, на которые вываливается содержимое чемоданов? Я прошел по облицованным мрамором коридорам, проехался вверх-вниз на эскалаторах и очутился в похожей на гигантскую пещеру зоне приема, полупустой, несмотря на прибытие двух рейсов сразу. С места на место нас никто не перегонял.

Не успел я опомниться, как стерильный тихий инкубатор таможни был уже позади. Автоматические двери с шипением закрылись за моей спиной, словно герметизируя отсек. За металлическим барьером гомонила толпа.

Женщина-ганка, чье цветастое платье и головной убор придавали ей поистине царственный вид, когда она поднималась по трапу в Найроби, вышла из таможни рядом со мной. Похоже, у нее, как и у меня, зарябило в глазах, закружилась голова от целого моря лиц, от сотен уставившихся на нас глаз.

Прежде всего меня поразило то, что в толпе встречающих были представлены разные расы; против ожиданий, она состояла не из одних лишь белых. На нас смотрели откровенно изучающе. В волне свалившихся на меня новых ароматов я уловил страх ганки. Она придвинулась ближе ко мне. Мужчины в черных костюмах, державшие в руках таблички с фамилиями, смерили глазами ее талию и отметили, как далеко отставлены

в стороны большие пальцы у нее на ногах – как всем известно, самый надежный знак плодовитости. Я вообразил себе судно, прибывшее из Африки с новой партией рабов: готтентоты спускаются по трапу, звеня оковами, а сотни пар глаз рассматривают их торсы, бицепсы, ищут язвы тропической гранулемы, этого сифилиса Старого Света. Я-то был никто, ее евнух. Ганку так затрясло, что она уронила сумку.

Нагнувшись, чтобы помочь ей, я заметил табличку с именем в руках смуглого, кареглазого человека. Он ею прикрывал живот, будто лакей, не желающий, чтобы его опознали по ливрее. На нем была рубашка-сафари навыпуск, мешковатые белые пижамные штаны и коричневые сандалии на босу ногу. На табличке было нацарапано не то МАРВИН, не то МАРМЕН, не то МАРТИН. Зато второе слово читалось четко: СТОУН.

– А может быть, Мэрион? – спросил я.

Он оглядел меня с головы до ног и отвернулся, будто счел, что я недостоин ответа. Ганка радостно взвизгнула и бросилась в объятия встречающих.

– Прощу прощения. – Я загородил собой поле обзора человеку с табличкой. – Я Мэрион Стоун. Госпиталь Богоматери – Вечной Заступницы?

– Мэрион – это девочка! – гортанно произнес тот.

– Не в моем случае, – возразил я. – Меня назвали в честь Мэриона Симса, знаменитого гинеколога.

В Центральном парке, на пересечении Сто третьей улицы и Пятой авеню, имелся даже памятник Мэриону Симсу (если верить Британской энциклопедии). Насколько я знал, памятник был ориентиром для таксистов. Хотя Симе начинал в Алабаме, успех в операциях на фистуле привел его в Нью-Йорк, где он открыл женскую больницу, а впоследствии и раковую больницу, ныне именуемую «Мемориальная Слоуна-Кеттеринга».

– Гинекология – значит женщина! – проскрежетал смуглый, словно я нарушил какой-то основополагающий закон.

– Ни Симе, ни я не женщины.

– Так ты не гинеколог?

– Это неважно. Главное, я – не женщина. Человек с табличкой был сбит с толку.

– Кис Умак, – пробурчал он наконец.

Это арабское выражение я знал. Оно имело прямое отношение к гинекологии и к моей матери.

Водители в черных костюмах отвели своих подопечных к черным же машинам, а мы с моим провожатым погрузились в большое желтое такси.

Мгновение – и аэропорт Кеннеди остался позади. На скорости, показавшейся мне опасно высокой, мы выехали на шоссе и влились в поток машин. «Мэрион, у тебя в полете лопнули барабанные перепонки», – подумалось мне, ибо тишина стояла потусторонняя. В Африке машины ездят не на бензине, а на звуковых сигналах. Здесь почти в полном безмолвии слышался только шелест шин.

Суперорганизм. Так биологи окрестили колоссальные африканские колонии муравьев, где разум проявляется не на индивидуальном, а на коллективном уровне. Именно на эту мысль наводили уходящие за горизонт красные огоньки задних фонарей автомобилей. Смысл и цель движения его отдельным участникам непонятны. До меня доносилось дыхание суперорганизма, звук, который слышат, пожалуй, только новоиспеченные иммигранты, да и то недолго. Стоило мне прислушаться к радиоприемнику, как всякие посторонние звуки пропали. Разум распорядился: здесь тишина. Суперорганизм тебя поглотил.

Очертания знаменитого города с двойным восклицательным знаком – двумя башнями – на конце, с небоскребом, на который взбирался Кинг-Конг, посередине, были хорошо знакомы. На его фоне жили и действовали Чарльз Бронсон, Джин Хэкмен, Клинт Иствуд, он выплывал с экранов театра «Империя» и кино «Адова». Но подлинное американское высокомерие я увидел только сейчас, и заключалось оно в размахе. Оно сквозило в стальных мостах, вздымающихся из воды, в ленточных червях перекрученных эстакад. Высокомерие таилось в циферблате спидометра, растянутом, словно сам Дали приложил к нему руку, в стрелке, показывающей семьдесят миль в час, то есть больше ста десяти километров, – скорость, которую наш верный «фольксваген» не развил бы никогда в жизни.

Человеческий язык не в состоянии выразить чувство потерянности, ничтожности перед суперорганизмом, сталью, светом и мощью. Все, что я доселе совершил, не шло ни в какое сравнение. Будто вся моя прежняя жизнь оказалась какой-то чепухой, незавершенным замедленным жестом; все, что я считал редким, ценным, обратилось в дешевый ширпотреб, а быстрое развитие обернулось топтанием на месте.

Наблюдатель, летописец, хроникер явил себя в этом такси. Я старался запомнить эти чувства, и стрелки моих часов выгибались от напряжения. Ведь всем, что было у меня за душой, чем платил по счетам, единственным доказательством, что я живой, была моя память.

Только память.

В своей половине такси мистера К. Л. Хамида я был один, багаж лежал

рядом, от водителя меня отделяла обшарпанная плексигласовая перегородка. Два чужих друг другу обособленных человека в авто, ширина которого была такова, что на задний диван влезло бы человек пять и еще осталось бы место для двух баранов.

Мышцы мои были напряжены, машина мчалась со страшной скоростью, вот сейчас мы налетим на ребенка, что сушит коровьи лепешки на горячем асфальте, или собьем козу, что прогуливается по дороге. Но животных не было видно, а люди передвигались только в автомобилях.

Заостренную голову Хамида покрывали тугие черные кудряшки. На фото (ламинированная лицензия размещалась рядом с таксометром) вид у него был обалдевший, глаза закатились. Наверное, фотографию сделали в день прибытия в Америку, когда он увидел и почувствовал то же, что я.

Поэтому-то грубость Хамида так больно меня кольнула. Он чуть ли не нарочно от меня отворачивался. Наверное, когда долго сидишь за баранкой такси, пассажир становится не более чем пунктом назначения, вроде того как у черствого врача вместо пациентов фигурирует «диабетическая стопа на койке два» или «инфаркт миокарда на койке три».

Неужели Хамид думал, что стоит ему на меня посмотреть, как я обращусь с какой-нибудь просьбой или начну приставать с вопросами о достопримечательностях, попавшихся нам на пути? Если так, то он был до некоторой степени прав.

В таком случае молчание Хамида многозначительно. Это своего рода предостережение, немой совет, данный человеком, прибывшим сюда прежде тебя. Эй, ты! Послушай! Независимость и гибкость – вот что нужно иммигранту. Пусть тебя не обманывает вся эта суета. Не дразни суперорганизм. Ни в коем случае. В Америке каждый за себя. Начни прямо сейчас. Вот смысл его послания. Вот откуда берется его нелюбезность. Найди опору, не то тебя съедят.

Я с облегчением улыбнулся. Такая точка зрения показалась мне забавной. Я шлепнул по сиденью и озвучил свои мысли:

– Да, Хамид. Натяни свою решимость на колки.

Мне вспомнился Гхош. Никогда ему не видеть то, что вижу я, не слышать суперорганизм. Как бы он обрадовался, если бы на его долю выпало такое счастье!

Заслышав мой голос, Хамид резко обернулся. Посмотрел на меня, потом в зеркало, потом снова на меня. Впервые он глядел мне в глаза и, кажется, только сейчас осознал, что везет не мешок картошки, а человека.

– Спасибо, Хамид! – поблагодарил я.

– Что? Что ты сказал?

– Я сказал – спасибо.

– Нет, до этого!

– Ах, вот что. Это «Макбет». – Я наклонился поближе к перегородке, мне очень хотелось поговорить. – Точнее, леди Макбет. Отец частенько повторял ее слова нам: «Натяни свою решимость на колки».

Он помолчал, посмотрел в зеркало, перевел взгляд на дорогу. И взорвался:

– Ты оскорбляешь меня?

– Прошу прощения? Да нет же! Нет! Я просто говорил сам с собой. Вроде как...

– Натянуть меня? Сам себя натяни! – прорычал он. Я молчал. Так извратить смысл! Да возможно ли такое?

Его лицо в зеркале сомнений не оставляло: возможно, да еще как! Я покачал головой. Меня разбирал смех. Это ведь надо, так истолковать Гхоша! То есть леди Макбет.

Хамид не сводил с меня злых глаз. Я подмигнул ему.

Он потянулся к перчаточному ящичку, достал револьвер, повертел в руках, демонстрируя с разных сторон, словно предлагал мне его купить. Или старался показать, что это на самом деле револьвер, а не дешевая пластмассовая игрушка, как могло поначалу показаться.

– Думаешь, я шучу? – воинственно осведомился он, и лицо у него сделалось одухотворенное, словно у философа.

Я не хотел подливать масло в огонь, проявлять безрассудство. Но этот маленький револьвер меня умилил. Я ни за что бы не поверил, что он его применит. Просто смешно. С оружием я был знаком, сам сделал дырку у человека в животе (причем тот револьвер был раза в два больше) и утопил в болоте как оружие, так и его хозяина. И четырех месяцев не прошло с того дня, как я оперировал повстанцев с огнестрельными ранениями. Эта пукалка в Америке с ее забитыми машинами улицами и таможней, которая даже не досматривает ваш багаж, показалась мне бутафорской, анекдотичной. Почему мне не достался водитель-американец? Или хотя бы револьвер, которого не постыдился бы сам Грязный Гарри? Бежать из Аддис-Абебы, улизнуть из Асмары, выбраться из Хартума, оставить позади Найроби – и все ради вот этого? Меня разбирал смех. Усталость, разница во времени, дезориентация тому способствовали: сцена обернулась своей забавной стороной.

Хамид употреблял глагол «натянуть» явно не том смысле, что Шекспир. Мне припомнилась история, которая ходила между нами, подростками, когда прыщей у нас было больше, чем здравого смысла, а

любопытство значительно превосходило сексуальный опыт. Рассказывалось в ней о прекрасной блондинке и ее брате, что повстречались главному герою в аэропорту, когда его самолет приземлился в Америке. Героя приглашают в гости, и тут брат достает пистолет и говорит: «Натяни мою сестру, не то убью!» Хотя я давно уже понял всю смехотворность сей сказочки, как комическая фантазия она сохранила для меня свое очарование. Натяни мою сестру, не то убью! Вот я и в Америке, и перед носом у меня размахивают револьвером. Жалко, рядом нет Габи, школьного приятеля, который первый рассказал мне эту историю. Бесенок подтолкнул меня сейчас произнести ключевую фразу, которая в школьные годы звучала скрытым вызовом, и я выговорил сквозь смех:

– Братец, спрячь пистолет. Я отдеру твою сестру за так.

Сомневаюсь, чтобы Хамид уловил перемену в моем тоне и настроении. Скорее всего, он решил не связываться с сумасшедшим. Но револьвер спрятал.

Кованые железные ворота Госпиталя Богоматери были распахнуты настежь. Собеседование с доктором Абрамовичем, главным хирургом, назначено на десять утра. Я планировал провести собеседование, доехать на такси до Квинса, и только потом подыскать себе гостиницу и постараться как-то компенсировать разницу во времени. Встречи с возможными работодателями должны были пройти в последующие несколько дней в Квинсе, Джерси-Сити, Ньюарке и Кони-Айленде.

Сразу же после того, как такси Хамида отъехало, ко мне подошел широкоплечий человек в синем комбинезоне.

– Лу Померанц, главный смотритель Госпиталя Богоматери, – представился он, пожав мне руку. Из нагрудного кармана у него торчала пачка «Салема». – В крикет играете?

– Да.

– Бэтсмен или боулер?

– Кипер и бэтсмен, открывающий игру Таково было наследство Гхоша.

– Прекрасно! Добро пожаловать в Госпиталь Богоматери. Надеюсь, вы будете здесь счастливы. – Мистер Померанц сунул мне кипу документов: – Вот ваш контракт. Покажу вам общежитие интернов, и можете подписывать. Серебряный ключ – от главной двери. Золотой ключ – от вашей комнаты. Вот временный опознавательный значок. Сфотографируетесь – получите постоянный бейджик.

Он подхватил мой чемодан и прошел в ворота. Я кинулся за ним:

– Но... – Я вытащил письмо из кармана куртки и показал ему. – Не хочу вводить вас в заблуждение. Мне еще предстоит собеседование с

доктором Абрамовицем.

– С Попей? – Здоровяк хихикнул. – Ну-ну! Попей никогда ни с кем не беседует. Видите подпись? – Он постучал по письму, будто по деревяшке, посмотрел на меня и ухмыльнулся. – Это на самом деле почерк сестры Магды. Собеседование? Выкиньте из головы. За такси внесена предоплата. Иначе бы вас ободрали как липку. Вы приняты на работу. Ведь контракт я вам вручил? Вы наняты!

Я не знал, что сказать. Это Эли Харрис из баптистской церкви Хьюстона сосватал меня в хирурги-интерны во все эти госпитали Нью-Йорка и Нью-Джерси. И он четко знал, что делает. Стоило мне подать заявление, как в Найроби пришла телеграмма от Попей (или от сестры Магды, кто их там разберет), приглашающая меня на собеседование. За ней последовали официальное письмо и брошюра. Точно такая же история повторилась и с остальными больницами.

– Мистер Померанц, вы уверены, что я принят на работу? Наверное, на одно место интерна у вас много кандидатов, ведь американских студентов-медиков, подавших заявления, хватает?

Луи замер как вкопанный и уставился на меня.

– Ха! Хорошая шутка, док! Американские студенты-медики? Да я их в жизни не видел!

Мы обогнули фонтан без воды, испещренный пятнами голубинового помета. Его даже можно было бы принять за фонтан из брошюры, если бы не бронзовая статуя в облачении священника, что коварно наклонилась вперед. Лицо у скульптуры было смазано, напоминая сфинкса, талию обхватывал железный обод, прикрепленный к стержню, что упирался в дно бассейна. Казалось, церковник опирается на свой непомерно длинный фаллос и только это не дает ему упасть.

– Мистер Померанц...

– Знаю,- пропыхтел тот, – смахивает на половой член. Ничего, и до него руки дойдут.

– Да я не про то...

– Называйте меня Луи.

– Луи... вы убеждены, что я именно тот человек, который вам нужен?

Мое имя Мэрион Стоун.

Он сбавил ход.

– Док, взгляните внимательно на контракт, ладно? Вас-то я и ждал. Вы ведь прошли экзамены образовательного совета для иностранцев – выпускников медицинских вузов, не так ли?

Экзамен для медиков-иностранцев установил, что мои знания и опыт

достаточно для последипломной стажировки в Америке.

– Да, прошел.

– Так что же вас смущает?.. Минуточку. Одну маленькую минутку. Только не говорите, что эти охламоны из Кони-Айленда или Джерси добрались до вас. Сукины дети! Я говорил сестре Магде, как нам стоит действовать. Подписать контракт вслепую. Насчет такси – это она придумала, но этого мало... – Он подошел ко мне вплотную, раздул ноздри, прищурился. – Док. Позвольте я расскажу вам об этих гиблых местах... Хотя вот что. Я дам вам угловую комнату в общежитии. С балконом. Ну как?

– Да нет, понимаете ли...

– Вас охмурили сволочи из больницы Линкольна? Из Гарлема? Ньюарка? Или вы подыскиваете предложение повыгоднее?

– Нет, уверяю вас...

– Послушайте, док, давайте оставим игры. Скажите напрямую, хотите поступить к нам в интернатуру или нет? – Он подбоченился, выкатил грудь.

– Нет, то есть да... Дело в том, что я договорился о собеседованиях в других местах... Вы оказались первыми... Мне представлялось, что попасть в интерны будет очень сложно... Я с удовольствием... Да!

– Чудесно! Тогда во имя Пресвятой Девы Марии, черт, я ведь даже не католик, подписывайте этот поганый контракт.

Я подписал, прямо у фонтана.

– Добро пожаловать в Госпиталь Богоматери. – Луи подхватил контракт, пожал мне руку и принялся оживленно жестикулировать: – Это единственное место, где я работал. Моя первая работа после службы в армии... и, наверное, последняя. Сколько докторов прошло передо мной... Из Бомбея, Пуны, Джайпура, Ахмадабада, Карачи, отовсюду. Из Африки пока никого не было. Я думал, вы не такой. Должен вам сказать, работы много. Но и доктора стараются, многому здесь учатся. Я их всех обожаю. Обожаю их кухню. Они даже научили меня любить крикет. Я от него без ума. Слушайте, бейсбол – ничто по сравнению с крикетом. Мои ребята далеко теперь, – он махнул рукой, – вкальвают в Кентукки или Южной Дакоте, где доктора в дефиците. Доктор Сингх прислал мне авиабилет в Эль-Пасо на свадьбу дочери. Если окажется в Нью-Йорке, непременно заходит.

Госпиталь Богоматери произвел на меня большое впечатление. В плане он имел форму буквы «Г», длинное крыло в семь этажей от улицы отделяла стена, у более нового короткого крыла этажей было всего лишь четыре, зато на крыше имелась вертолетная площадка. Черепичная крыша старого

крыла как бы просела под тяжестью многочисленных дымовых труб, средние этажи выпятились, словно жировые отложения. Декоративная решетка вдоль свеса крыши вся позеленела, на стенах рядом с водосточными трубами виднелись ржавые потеки, напоминающие размазанную тушь. Над входом из стены торчала одинокая горгулья, ее товарка слева превратилась в безлиций обрубок. Но для меня, человека, только что прибывшего из Африки, все это свидетельствовало не об упадке, а скорее о налете времени.

– Обстановка у вас замечательная, – сказал я мистеру Померанцу.

– Мало чем можем похвастаться, но это родные пенаты, – ответил Померанц, с любовью глядя на здание.

Несомненно, имелись больницы и поновее, и побольше, так, во всяком случае, утверждали их рекламные брошюры. Но, как оказалось, слишком доверять рекламе не стоило.

Ярдах в пятидесяти от больницы находилось двухэтажное здание общежития для персонала, куда мы и направились.

В холле я сразу унюхал кориандр, кумин – знакомые запахи кухни Алмаз. На лестнице к ним добавилось то благовоние, которым Хема окуривала помещение каждое утро. Со второго этажа донеслись слабые отзвуки «Супраб-хатама» и звяканье колокольчика, словно кто-то в соседней комнате справлял пуджу*. Меня охватила тоска по родине.

Религиозный обряд, религиозный праздник в Индии.

Мы остановились, чтобы мистер Померанц смог перевести дыхание.

– Нам надо было установить промышленную вытяжку над каждой плитой. Как начнут готовить свою масалу... ладно, проехали!

По лестнице навстречу нам вприпрыжку сбегал высокий красивый индус с еще мокрыми после душа длинными волосами. Зубы у него были крупные, сильные, располагающая к себе улыбка, а лосьон после бритья изумительно ароматный.

– Би-Си Гандинесан, – протянул мне руку индус.

– Мэрион Стоун.

– Отлично! Называйте меня Би-Си или Ганди. Или просто капитан. Играете?..

– Кипер, – радостно известил Померанц. – И открывающий бэтсмен.

Би-Си Ганди хлопнул себя по лбу и пошатнулся.

– Бог велик! Чудесно! Сможете защитить калитку от быстрого боулера? По-настоящему быстрого?

– Такие мне нравятся больше всего, – кивнул я.

– Потрясающе! Я врач-стажер с четырехлетним сажем. В следующем

году стану главным врачом-резидентом*. Сейчас у нас главный Дипак. Кроме того, я – капитан команды больницы Богоматери. Два года подряд выигрывали межгоспитальный приз. Пока эти гады не приволокли в прошлом году бэтсмана из Хайдерабада. Игрок международного уровня. Я большие деньги потерял. Целый год с долгами расплачивался.

* Резидентура – в США последипломная больничная подготовка врачей, предусматривающая специализацию в течение одного года интерном и в течение 3-5 лет – резидентом.

– Балбесы, – сказал Луи. – Результаты последней игры следовало отменить.

– Оказалось, их звезда-бэтсмен на самом деле вовсе не доктор, – продолжал Би-Си. – Он эксперт по копировальным машинам. А по документам на момент игры – врач, Лу. Так что мы денег обратно не получим.

– Вот прощелыги, – проворчал Лу. – Они нас просто убили.

– В этом году у нас будет свое секретное оружие, – сообщил мне Би-Си, обняв Лу. – Я лично летал на Тринидад, чтобы призвать нового игрока в наши ряды. Скоро ты с ним увидишься. Гениальный малый. Высокий, сильный. Шесть футов четыре дюйма. Боулер на все руки. А вот на калитке у нас не было никого. Теперь мы покажем этим пройдохам! Кубок будет наш! А теперь отбой! Мэрион, увидимся на тренировке через двадцать четыре часа.

Глава вторая. Излечение от болезней

– Пациент усыплен. Чего ждем? Кто лечащий врач? – спросил доктор Рональдо.

– Я, – ответил я.

Рональдо покрутил ручку на наркозном аппарате, как будто это известие заставило его изменить состав газовой смеси.

– Главный надо мной – Дипак, – сообщил я, но Рональдо никак не отреагировал.

Руфь, операционная сестра, раскрывая свою кювету, покачала головой:

– Боюсь, нет. Только что звонил Попей. Он желает провести операцию. Мэрион, тебе лучше перейти на эту сторону.

– Попей! Боже сохрани! – Доктор Рональдо хлопнул себя по щеке. – Сломайте часы. Позвоните моей жене и передайте, что я опоздаю к ужину.

Я ощутил аромат «Брута» и табака «Уинстон», и рядом со мной возник Би-Си Ганди. Наверное, перекуривал в раздевалке.

– Знаю. Слышал, – выпалил он, не успев я и рта открыть. – Я тут в соседнем помещении занимаюсь желчным пузырем. Слушай-ка, Мэрион, если Дипак не явится прежде Попей, твоя задача – инфицировать старика, как только Попей возьмется за скальпель.

– Что? Каким образом?

– Не знаю. Поковыряй у себя в заднице и запачкай ему перчатку. У тебя ведь котелок варит. Придумай что-нибудь. Только не дай ему сделать разрез, ладно?

С этими словами Ганди вышел.

– Он серьезно? – недоуменно спросил я. Рональдо сказал:

– Ганди вечно хохмит. Но он прав. Инфицируй его. Я повернулся к сестре Руфи в надежде на помощь.

– Моли Богоматерь о заступничестве, – произнесла та. – И инфицируй его.

Пошла двенадцатая неделя моей интернатуры на хирургическом отделении Госпиталя Богоматери – Вечной Заступницы.

Я и не подозревал, что мое знакомство с Америкой за стенами больницы за три месяца ограничится тридцатиминутной поездкой из аэропорта в Бронкс.

Достаточно было проработать в госпитале неделю, как мне стало казаться, что я перебрался из Америки в какую-то другую страну, где днем

и ночью светят все те же люминесцентные лампы и где больше половины граждан говорят по-испански. Когда они переходили на английский, это был совсем не тот язык, который я ожидал услышать на земле Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна.

Три месяца в Госпитале Богоматери промелькнули стремительно. У нас был жуткий кадровый дефицит по сравнению с нормой, принятой в других американских больницах, но эта норма была мне неизвестна. В Миссии в лучшие времена было не больше четырех-пяти врачей, здесь же в одном только хирургическом отделении – двенадцать. Но в отделении интенсивной терапии стольким пациентам со сложными травмами поддерживала жизнь искусственная вентиляция легких, мы производили такую массу анализов и бумажной работы – никакого сравнения с Миссией, где Гхош и Хема вносили немногочисленные пометки в историю болезни, перекладывая прочую писанину на сестер. Я узнал, что эти бесшумные длинные американские машины, настоящие гостиные на колесах, при авариях наносят чудовищные травмы. Бригады скорой помощи доставляли нам пострадавших, не успели еще колеса на перевернутых автомобилях перестать крутиться, спасали людей в таком состоянии, о котором в Миссии и не слыхивали, поскольку в Эфиопии их до нас попросту не довозили. А тут полицейским, пожарным и врачам и в голову не приходило, что этому человеку уже ничем не поможешь.

В больнице мы дежурили через ночь. У меня времени не оставалось на ностальгию. Мой обычный день начинался рано утром с обхода, которым руководил старший бригады Би-Си Ганди. Потом в 6.30 моя бригада и прочие бригады хирургов объединялись и проводили официальный обход под руководством Дипака Джесудасса, главного врача-резидента. В операционные дни, по вторникам и пятницам, мы, интерны, заполняли палаты и приемный покой. Мы работали до конца дня. Затем, если было мое дежурство, я трудился всю ночь, осматривая больных из приемного покоя, к тому же на мне были мои пациенты и пациенты тех, кто сегодня не дежурил. Именно на дежурстве выпадала возможность ассистировать при операции или даже оперировать самому. Поспать удавалось редко. Наутро я был занят вплоть до второй половины дня. Когда освобождался, сил хватало только на то, чтобы доплестись до своей койки в общежитии и провалиться в сон. И все начиналось сызнова. Би-Си Ганди спросил меня как-то поздней ночью, когда нас уже качало от недосыпа:

– Знаешь, какой недостаток у дежурства через ночь? Я не нашелся с ответом.

Он засмеялся:

– Ты упускаешь половину интересных пациентов. График был жестокий, изматывающий, бесчеловечный. Я был от него в восторге.

В полночь, когда коридоры пустели, полумрак подчеркивал следы бывшего великолепия Госпиталя Богородицы: вызолоченную лепнину на сводах, высокие потолки старого крыла, мраморный пол фойе в административном корпусе, купол часовни из мореного дуба. Некогда гордость богатой католической общины, потом еврейской общины, относящейся уже к среднему классу, больница проделала тот же путь, что и прилегающий район: теперь здесь лечились бедняки. Би-Си Ганди объяснял мне:

– В Америке самые бедные суть самые больные. Бедные не могут себе позволить профилактического лечения или страховки. Бедняки не ходят по докторам. Они являются к нам, когда болезнь зашла уже далеко.

– И кто тогда платит? – спросил я.

– Правительство. «Медикейд»* и «Медикейр»**. Из твоих налогов.

* В США государственная программа бесплатной или льготной медицинской помощи малоимущим и членам их семей; осуществляется на основе компенсации затрат на лечение.

** Действующая с 1965 г. в США федеральная программа льготного медицинского страхования лиц старше шестидесяти пяти лет, некоторых категорий инвалидов и лиц, страдающих тяжелыми поражениями почек; программа частично финансируется за счет государственных средств, в частности за счет налога для медицинского обеспечения престарелых, входящего в систему пенсионных налогов, частично – за счет взносов работодателей и работников.

– А на что нам вертолет и вертолетная площадка, если мы такие бедные?

Блестящий вертолет и голубые посадочные огни на крыше четырехэтажного корпуса, что был поновее, как-то не вязались со всем остальным.

– А ты что, не знаешь, какие у нас понты? Мы во всем номер первый. Ах да, я и забыл, что ты только сошел с корабля. Так вот, вертолетную площадку оплатили больницы, что не нам чета. И вертолет на самом деле принадлежит им, а не нам. Богатым, то есть, больницам. Даже если они и оказывают помощь беднякам, то их расходы покрывает большой университет за счет практики. Благородный подход.

– А у нас неблагородный?

– Позорный. Работа неприкасаемых. Богатые больницы с Восточного побережья скинулись и оплатили нам вертолетную площадку, чтобы до нас

можно было легко добраться. С какой целью? Эпоха ишемии! В нашем районе полно оружия. Сердитые черные парни, злые ребята-латиносы, нехорошие мужики всех мастей, не говоря уже о ревнивых бабах. У человека на улице скорее найдется пистолет, чем авторучка. Пиф-паф! Попал! И к нам поступает пациент, годный только на запчасти. Молодой, здоровый, а мозг мертв. Сердце не тронут, печень, все прочее. Прослужат еще долго, с гарантией. Замечательные органы для пересадки. А мы пересадок не делаем. Но можем сохранить трансплантаты, пока не слетятся стервятники. В следующий раз услышишь стрекот вертолета – знай, летят деньги. Бабки. Лаве. Почему там пересадка сердца, полмиллиона долларов? А почки? Сто тысяч или больше?

– Столько нам платят?

– Нам? Гроша ломаного не дают. Это они столько зарабатывают. Прилетят, вырежут и увезут, только средний палец покажут в окно вертолета. А мы остаемся с нашими верблюдами. В следующий раз, как заслышишь вертолет, сходи полюбуйся на светил, на сагибов от медицины.

Я уже не раз их видел – в украшенных университетскими значками халатах, таковые же значки на контейнерах, на тележках и даже на вертолете. На лицах утомленность, это правда, но более благородного оттенка, чем, к примеру, моя.

Доктор Рональдо сложил руки на груди и снова опустил, посмотрел на часы, потом на дверь, не идет ли Попей. Я обложил стерильными простынями операционное поле, получился ровный прямоугольник, портал для доступа к животу Хью Уолтерса-младшего.

Мистер Уолтерс, сидящий господин, появился у нас в приемном покое за неделю до этого. В ту ночь носилки с вновь прибывшими по «скорой» заполнили все проходы. Алкогольные испарения выделялись из легких, из пор на коже, из секретов мужчин и женщин в достаточном количестве, чтобы больница моментально провоняла спиртным не хуже коктейль-бара. Двое пьяных блевали кровью, соревнуясь между собой, у кого получится громче. Когда прибыл мистер Уолтерс, у которого тоже началась кровавая рвота, я грешным делом подумал, что и он из их компании, связанной воедино выпивкой и циррозом. Я предположил, что кровотечение у него породили варикозные, червеподобные вены, проросшие в желудок из рубцов на печени. В течение последующих двадцати четырех часов я затолкал гастроскоп в глотку каждому из блюющих и осмотрел желудки. У мистера Уолтерса не наблюдалось ни красноты алкогольного гастрита, ни кровоточащих варикозных вен, дающих право предположить цирроз. Зато имелась большая, сочащаяся

кровью язва желудка. Я взял гастроскопом биопсию.

Через пару часов после эндоскопии мистер Уолтерс спокойным, полным достоинства голосом снова заверил меня, что в жизни капли в рот не брал, и на этот раз я ему поверил. Он был священником, преподавал основы праведной жизни ученикам начальной и средней школы. Я упрекнул себя за то, что он угодил у меня под одну гребенку с двумя прочими блюющими. Мы начали интенсивную терапию, чтобы усмирить его язву.

Оказалось, мистер Уолтерс знает кое-что про мою родину.

– Когда умер Кеннеди, я смотрел траурную церемонию по телевизору. Ваш император Хайле Селассие был среди всех самый маленький. Но и самый величественный. Единственный император. Он шагал в первом ряду глав государств, и я испытал гордость за то, что я черный.

Последнее слово прозвучало в устах мистера Уолтерса особо внушительно и весомо.

Мистер Уолтерс каждый день читал «Нью-Йорк тайме». Газета и Библия постоянно лежали у него на тумбочке.

– У меня не было средств на колледж. Только на Библейскую школу. Я говорю своим ученикам: если будете ежедневно читать эту газету в течение года, запас слов у вас будет как у доктора философии; вы будете знать больше, чем любой выпускник колледжа. Гарантирую.

– И они слушают? Он поднял палец:

– Какой-нибудь один ученик слушает. Каждый год. Но игра все равно стоит свеч. Даже у Иисуса было только двенадцать учеников. А у меня по одному каждый год.

Несмотря на назначенные антациды и блокаторы H₂-гис-таминовых рецепторов, язва мистера Уолтерса по-прежнему кровоточила. Стул его цветом и консистенцией напоминал смолу, верный признак желудочного кровотечения. Через пять дней после того, как его положили, наша команда собралась у его койки во время вечернего обхода.

Дипак Джесудасс, главный врач-резидент, присел на краешек кровати.

– Мистер Уолтерс, завтра надо оперироваться. Язва кровит. И никаких признаков того, что собирается перестать.

Он набросал на бумажке схему частичной гастрэктомии, удаления той части желудка, что вырабатывает кислоту. Я восхищался спокойной внимательной манерой общения Дипака, его умением расположить к себе пациента, дать ему понять, что все внимание врача направлено на больного. А больше всего я восхищался его чудесным британским акцентом, тем более экзотическим для человека из Южной Азии. Больные так и тянулись

к Дипаку.

Пока Дипак говорил, Би-Си Ганди посмотрел на меня и сделал круглые глаза, напоминая о том, что сказал накануне вечером: «Ты можешь быть каким угодно кретином, но если у тебя произношение как у королевы, тебя слушают, словно златоуста».

Би-Си насмешничал, но в телевизионных комедиях, мелькавших на экранах в палатах, фигурировал то черный, но очень британский дворецкий, обслуживающий чернокожую американскую семью, то эксцентричный англичанин – сосед богатой негритянской семьи из Верхнего Ист-Сайда, то богатый британский вдовец, нанявший хорошенькую няню из Бруклина.

Мистер Уолтерс впитывал каждое слово Дипака.

– Я доверяю вам, – резюмировал он. – Но чтобы больше никаких докторов не было. Еще я верю в него, – он показал пальцем на потолок.

В день операции я встал в половине пятого утра, чтобы повторить этапы операции в «Хирургическом атласе Цоллингера». Дипак известил меня, что операцию буду проводить я, мое место справа, а он будет ассистировать. Я ужасно волновался. Это была моя первая работа напрямую с Главным.

Но Попей разрушил наши планы. Я оказался слева от пациента и принялся ждать легендарного доктора Абрамовича. Встречаться с ним мне еще не доводилось. О Дипаке ни слуху ни духу.

Попей появился внезапно, миг – и его голова уже была в опасной близости от источника освещения. Лицо бороздили морщины, добрые голубые глаза хранили какое-то наивно-детское выражение, нижнюю часть его лица скрывала маска, из носа торчали жесткие волосы. Рука в перчатке нетерпеливым движением потребовала скальпель. Сестра Руфь помедлила, посмотрела на меня и передала Попей инструмент.

Доктор Абрамович издал неопределенный горловой звук, скальпель у него в руке задрожал. Сестра Руфь толкнула меня локтем. Попей произвел разрез. Энергичный разрез. Даже чересчур энергичный. Я промокнул мелкие кровоточащие сосуды и поставил зажимы, видя, что Попей не собирается этого делать. Он был поглощен тем, что вертел в руках щипцы, пытаясь подцепить брюшину, которая ему упорно не давалась.

На то была причина. В одном месте он за компанию с кожей пререзал фасции и брюшину. В рану стала поступать жидкость, подозрительно похожая на содержимое кишечника. Брови Рональдо поползли вверх, пока не исчезли под хирургической шапочкой.

Попей опять сунулся было со щипцами, но инструмент выскользнул у

него из рук и со звоном грохнулся на пол.

Попей задрал руку без щипцов:

– Я коснулся края стола.

Он глядел на меня так, словно я собирался опровергнуть это заявление.

– Я запачкался, подцепил заразу.

– Точно, – поспешно произнесла сестра Руфь, видя, что я молчу.

– Вы запачкались, сэр, – подтвердил Рональдо. Но Попей не сводил глаз с меня.

– Да, сэр, – с запинкой выговорил я.

– Продолжайте, – произнес он и шаркающей походкой вышел из операционной.

– Попей, что ты натворил? – промычал сквозь маску Дипак, извлекая из раны поврежденную петлю тонкой кишки. Я стоял слева от стола. – Говорят, есть старые хирурги и есть хирурги-удальцы, и старые хирурги якобы никогда не прут на рожон. Посмотрели бы на Попей. К счастью, разрез кишки незначительный, и мы его быстренько заштопаем.

– Я пробовал, – пробормотал я.

– У нас тут штука посерьезнее. – Дипак показал на что-то вроде крошечной креветки, прилипшей к кишке.

Стоило мне на нее взглянуть, как похожие образования начали мерещиться мне повсюду, даже на слое жира, прикрывавшем кишку. Печень была деформирована, с тремя зловещими шишками, которые делали ее похожей на голову бегемота.

– Бедняга, – покачал головой Дипак. – Пощупай его желудок. (Он был твердый, словно камень.) Мэрион, ты брал из язвы биопсию, когда проводил гастроскопию, ведь так?

– Да. В заключении написано: доброкачественная.

– Но язва большая, блюдцеобразная?

– Да.

– А какие язвы желудка дают подозрение на злокачественное образование?

– Блюдцеобразные.

– Так что подозрение на онкологию было большое, так? Ты просматривал срезы с патологом?

– Нет, сэр. – Я отвел взгляд.

– Понятно. Ты доверился патологу. Я промолчал.

Дипак не повышал голос. Казалось, он говорит о погоде. Доктор Рональдо не слышал его слов.

Дипак исследовал область таза, прощупал места, скрытые от глаз. Почти прошептал:

– Мэрион, если это твой пациент и ты проводишь операцию, основываясь на биопсии, обязательно посмотри срезы вместе с патологом. Особенно когда результат кажется тебе неожиданным. Не основывайся только на заключении.

Меня мучила совесть. Я вполне мог бы не класть мистера Уолтерса на стол и избежать вмешательства Попей. К тому же печеночные пробы были почти нормальными, что также наводило на след.

Дипак заштопал прорезанную кишку (к счастью, порез был только один), ушил кровоточащую язву желудка. Хотя через некоторое время кровотечение непременно возобновится. Мы промыли брюшную полость несколькими литрами физраствора.

– Иди на эту сторону, Мэрион. Закончишь операцию. Я действовал, чувствуя его пристальный, цепкий взгляд.

– Стоп. – Дипак разрезал узел, который я только что завязал. – Ты в Африке, наверное, сделал массу операций. Но повторение только усугубляет ошибки. Позволь тебя спросить... Хочешь стать хорошим хирургом?

Я кивнул.

– Ответ автоматический: да. Спроси сестру Руфь. В свое время я задавал этот вопрос нескольким людям. (Я чувствовал, что уши у меня наливаются кровью.) Все говорят: да, хотя кое-кому больше бы подошел отрицательный ответ. Мы не знаем сами себя. Можно быть неважным хирургом, но такие, как правило, неплохо зарабатывают. Мэрион, еще раз спрашиваю, ты на самом деле хочешь стать хорошим хирургом?

Я вскинул голову:

– Наверное, мне полагается спросить, что из этого вытекает?

– Хорошо. Да уж, полагается. Чтобы сделаться хорошим хирургом, надо поставить себе такую цель. Только и всего. Надо быть скрупулезным в мелочах, не только в операционной, но вообще в жизни. Хороший хирург завязал бы данный узел заново. Ты за свою жизнь завяжешь тысячу узлов. Чем тщательнее ты выполнишь свой узел, тем меньше осложнений тебя ждет. Ты же не хочешь, чтобы у мистера Уолтерса воспалилась брюшина, когда его после операции раздует. Хорошенький узелок позволит ему благополучно отправиться домой и привести дела в порядок. А небрежно исполненный может вызвать одно осложнение за другим и продержаться до самой смерти в больнице. В хирургии все решают мелочи.

Во второй половине дня мы посетили узенький кабинет доктора

Рамуны, патолога. Она обнаружила рак в одной из шести проб биопсии, которые я взял несколько дней тому назад. Суровая женщина, губы она поджимала точь-в-точь как Хема. То, что она пропустила рак в первых пробах, несколько ее не смутило. Она только показала на громоздящиеся на ее столе возле микроскопа коробки со срезами:

– Я работаю за четверых, а получаю только полставки. У больницы нет средств, чтобы дать мне полную ставку. Так помогите мне! Конечно, я не заметила рак. Кроме вас, Дипак, сюда никто и носа не кажет. Только звонят: вы еще не проанализировали эту пробу? А вот та еще не готова? Если это для вас важно, зайдите ко мне, отвечаю я. Предоставьте мне достоверные клинические данные, и мне будет легче вынести заключение.

Я дежурил у койки мистера Уолтерса. Через нос мы вставили ему в желудок трубку и подсоединили к отсосу, чтобы его ЖКТ оставался пустым следующие несколько дней. С трубкой в носу он выглядел жалко и едва мог говорить.

На третий день после операции я убрал трубку. Пациент приободрился, впервые улыбнулся, сделал глубокий вдох через нос.

– Эту штуковину придумал дьявол. За все сокровища Хайле Селассие не соглашусь больше на эту трубку.

Я собрался с духом, присел на койку. Взял больного за РУКУ

– Мистер Уолтерс, боюсь, у меня для вас дурные вести. Мы обнаружили у вас в животе новообразования.

Мне не впервой довелось в Америке сообщать о смертельной болезни, но чувство было такое, что я никогда прежде этого не делал. В Эфиопии, да и в Найроби, люди считают, что все болезни – даже самые обыкновенные или придуманные – смертельны. Пациенту следует говорить только, что смерть ему не угрожает. О неизлечимых болезнях сообщать не принято. Даже не могу припомнить амхарский эквивалент слову «прогноз». В устах врача фразы вроде «вам осталось пять лет» там немыслимы. В Америке мне поначалу казалось, что смерть или сама ее возможность поражают людей до такой степени, словно само собой разумелось, что мы бессмертны и что смерть – это только один из вариантов.

Радость на лице мистера Уолтерса сменилась потрясением. Одинокая слеза скатилась у него по щеке. Глаза у меня затуманились. Запищал мой пейджер, но я оставил его без внимания.

Не представляю себе, как можно быть врачом и не видеть своего отражения в болезни пациента. Как бы я сам поступил, если бы меня огорошили подобным сообщением?

Через несколько минут мистер Уолтерс вытер лицо рукавом,

улыбнулся и похлопал меня по руке:

– Смерть исцеляет все болезни, не так ли? Ни один человек не готов услышать такую весть, кем бы он ни был. Мне шестьдесят пять лет. Старик. Я прожил хорошую жизнь. Я хочу встретиться с моим Господом и Спасителем. – Озорной огонек загорелся у него в глазах. – Но не сейчас. – Он поднял палец и размеренно захихикал: хе-хе-хе...

Оказалось, я улыбаюсь вместе с ним.

– Мы всегда хотим добавки, хе-хе-хе. Правда ведь, доктор Стоун? Боже, я иду к тебе. Немного погодя. Я скоро. Ты жми, Господь. Я тебя догоню.

Мистер Уолтерс меня восхитил. Хотел бы я научиться такому отношению к жизни.

– Понимаете ли, юный доктор Мэрион, это и делает нас людьми. Мы всегда хотим добавки. – Он хлопнул меня по руке, будто это я заболел, а он старается меня приободрить, вдохнуть веру. – А теперь ступайте. Все отлично. Просто замечательно. Только надо все обдумать.

На прощанье он мне улыбнулся, словно я вручил ему самый драгоценный дар, какой один человек может передать другому.

Глава третья. Соль и перец

Выйдя из палаты мистера Уолтерса, я сел на лавку возле общежития. Какая несправедливость по отношению к старику, что самый черный день в его жизни так хорош! Деревья вокруг больницы окрасились в цвета, которых я в Африке не видывал. Землю устилали ярко-красные, оранжевые и желтые листья, они шуршали под ногами и издавали сухой, но приятный аромат.

Доносящиеся из общежития веселые выкрики и смех казались святотатством. Би-Си Ганди окрестил нашу резиденцию «Вместилищем вечного порока». Случались дни, когда мне казалось, что я угодил прямиком в Содом.

Мне стало холодно, и я вошел в здание. В глаза мне бросился яркий огонь, разведенный под чугунным котлом во внутреннем дворике, ноздри пощекотал запах табака и чего-то куда более пикантного. Нестор, наш быстрый боулер и мой коллега по интернатуре, разбил на задах общежития «огород». Летом он снял богатый урожай листьев карри, помидоров, шалфея – и каннабиса.

За огородом лужайка спускалась к кирпичному забору с колючей проволокой поверху, отделявшему территорию больницы от жилого комплекса «Дружба», строительство которого отцы города затеяли лет двадцать тому назад. Теперь все вокруг называли его «Вражда». По ночам оттуда нередко доносились пистолетные выстрелы, тьму разрывали вспышки.

По понедельникам нас приглашали к себе на ужин сестры. Но сегодня мы их ждали в гости. Я влился в толпу.

– Как прошло? – Би-Си обнял меня за плечи.

Я рассказал ему о своем разговоре с мистером Уолтерсом. Би-Си внимательно выслушал.

– Какой хороший человек! Какая сила духа! Знаешь, нам повезло с Уолтерсом, особенно если учесть, что по грязевым шарикам у него показатель ноль к одному. Что такое грязевой шарик? Это дурно пахнущее отложение, которое образуется в пупке. Пациент с показателем четыре по грязевым шарикам часто алкоголик. У него наверняка была парочка инфарктов. Он бьет свою жену. В него несколько раз стреляли. У него диабет и почечная недостаточность. Попробуй, проведи ЗБО при АБА, что получится?

ЗБО означало «зашибенно большую операцию», а АБА – «аневризму брюшной аорты». Би-Си обожал аббревиатуры и утверждал, что изобрел их немало. Пациента при смерти он называл ВВЗ – «вот-вот зажмурится».

– Четыре грязевых шарика... Большая операция не показана, я полагаю? – решил уточнить я.

– Вот уж нет! Как раз наоборот! Он уже продемонстрировал свою живучесть. Инфаркты, инсульты, боли, падения из окна – у него ударопрочная протоплазма. Масса коллатеральных сосудов, резервных механизмов. Он выскользывает из послеоперационной палаты, пукает в первую ночь, писает на пол, пытаясь добраться до туалета, и прекрасно поправляется, несмотря на то что родственнички протаскивают в больницу виски. Но тех, у кого по грязевым шарикам ноль к одному, надо особо беречь. Это проповедники или врачи. Люди вроде Уолтерса. Они живут праведной чистой жизнью, женятся один раз, растят детей, ходят по воскресеньям в церковь, следят за кровяным давлением, не едят мороженого. Попробуй, проведи ЗБО при АБА, что получится? СББВПГ.

«Сплав на байдарке без весел в потоке говна».

– Как только анестезиолог надевает на него маску, у праведника прямо на столе возникает сердечный приступ. Если дело все же доходит до операции, отказывают почки или лопаются сосуды. Или же что-то случается с психикой, и прежде, чем летучий отряд фрейдистов возьмется за дело, больной выбрасывается в окно. Так что твоему мистеру Уолтерсу еще повезло.

Нестор передал Дипаку косяк размером с сигару, Дипак затаился и вручил самокрутку мне.

– Держи, – сказал он, задерживая дым. – Мораль: непорочная жизнь убьет тебя, мой друг.

Каннабис ничуть меня не взбудрил. Скоро тело у меня совсем размякло. Я принялся глядеть на небо над соседним кондоминиумом. Звуки – добродушные вопли, музыка, удары баскетбольного мяча о кольцо, визг шин – сливались в симфонию, соответствующую игре света и тени на кирпичной стене. Мне казалось, мой взгляд проникает за стену и передо мной предстает жизнь сотен американцев, живущих по соседству и доверивших нам свое здоровье. Я был словно визионер.

– Не странно ли, – произнес я после продолжительного молчания, стараясь сформулировать свой вопрос так, чтобы он не прозвучал глупо, – не странно ли, что вот все мы тут... иностранцы...

– То есть индусы, – подхватил Ганди. – Ты индус наполовину, но это твоя лучшая половина. Даже у Нестора отец индус, просто он об этом не

знает.

Нестор бросил в Ганди пробкой.

– Хорошо, хорошо, – продолжал я, – так не странно ли, что в больнице полно докторов из Индии, а по ту сторону забора наши пациенты – американцы, из которых по эту сторону забора – ни души...

– То есть у нас только чернокожие пациенты, – произнес Нестор нараспев. – И еще пуэрториканцы.

– Да... Я к чему клоню: где все прочие американские пациенты? Где американские врачи, которые их лечат?

– То есть белые пациенты? И белые врачи?

– Хочешь сказать, – усмехнулся Ганди, – что ты до сих пор этого не замечал?

– Нет... То есть замечал, конечно. Я спрашиваю, неужели все больницы в Америке такие?

– Господи, Мэрион, ты хоть понимаешь, почему ты здесь, а не в Массачусетской общего профиля?

– Потому что... я туда не обращался.

Грянул смех. К такому я был не готов. Неужели я глупость сказал?

Нестор запрыгал на месте, распевая:

– Он к ним не обращался! Он к ним не обращался!

– Ну хорошо, покурили, а теперь смеетесь. Но почему каннабис не поправил настроения мне? – Я сердито поднялся с места и собрался уходить.

Ганди схватил меня за руку:

– Мэрион, сядь. Погоди. Конечно, ты к ним не обращался. Зачем терять зря время на знаменитую Массачусетскую клинику?

Я ничего не понимал.

– Гляди сюда. – Он взял солонку и перечницу и поставил рядом. – Перечница – это больница типа нашей. Назовем ее...

– Назовем ее жопой, – встрял Нестор.

– Нет, нет. Назовем ее госпиталь «Эллис-Айленд»*. Такие больницы всегда там, где живут бедняки. В опасных для жизни районах. Обычно в состав медицинских вузов эти лечебницы не входят. Понимаешь? Теперь возьмем солонку. Это госпиталь «Мэйфлауэр», больница-флагман, базовая больница крупного вуза. Все студенты-медики и интерны носят замечательные белые халаты с бейджиками «Супердоктор из Мэйфлауэра». Даже если они занимаются бедняками, это почетно, вроде как быть в рядах Корпуса мира**. Каждый американский студент-медик мечтает об интернатуре в «Мэйфлауэре». А его худший кошмар – попасть в «Эллис-

Айленд». Вот и проблема: кто пойдет работать в больницу вроде нашей, если за ней не закреплен вуз, она непрестижная и расположена в плохом районе? Сколько бы больница, или даже правительство, ни платили, врачей на полную ставку не найдешь.

* Небольшой остров близ Нью-Йорка. В 1892-1943 гг. – главный центр по приему иммигрантов в США, а до 1954 г. – карантинный лагерь. Использовался также как пересыльный пункт и лагерь для депортации, за что был прозван иммигрантами «островом слез».

** Агентство, созданное в 1961 г. по инициативе президента Кеннеди в целях формирования положительного имиджа США в развивающихся странах. Добровольцы Корпуса мира работают за символическую плату во многих странах мира.

Вот «Медикейр» и решил платить больницам вроде нашей за учебные программы, включающие интернатуру и проживание, улавливаешь? Беспроигрышный вариант: интерны и стажеры всегда под рукой и круглосуточно лечат больных, а их стипендия – гроши по сравнению с тем, что пришлось бы платить врачам на полной ставке. А «Медикейр» предоставляет медицинскую помощь бедным.

Но когда «Медикейр» принялся внедрять эту схему, возникла новая проблема. Откуда взять столько интернов? Рабочих мест больше, чем выпускников американских вузов. К тому же у них свои предпочтения и в нашу дыру они интернами не пойдут. Их же могут взять в «Мэйфлауэр»! Так что каждый год Госпиталь Богоматери и прочие больницы из категории «Эллис-Айленд» набирают интернов-иностранцев. Ты – один из сотен тех мигрантов, благодаря которым эти больницы еще дышат.

Би-Си сел.

– Если Америке что-то нужно, остальной мир в лепешку расшибется. Кокаин? Колумбия к вашим услугам. Нехватка сельхозрабочих? А Мексика на что? Игроки в бейсбол? Да здравствует Доминикана. Интерны? Индия, Филиппины, зиндабад!

Ну и дурак же я, что раньше этого не понял!

– Получается, все больницы, куда я собирался на собеседование, в Кони-Айленде, Квинсе...

– Все такие же, как мы. Весь медперсонал иностранный, как и большинство штатных врачей. Есть индийские больницы. Есть с персидским духом. Есть пакистанские и филиппинские. Слухом земля полнится. Ты привел своего кузена, он – одноклассника и так далее. А когда мы закончим обучение здесь, куда мы отправимся, Мэрион?

Я покачал головой: понятия не имею.

– Куда угодно. Таков ответ. Мы отправляемся в маленькие города, где мы нужны. Туджем, штат Техас, Армпит, штат Аляска. Куда не поедут американские врачи.

– А почему не поедут?

– Потому что там нет филармонии! Нет культуры! Нет профессиональной спортивной команды!

– И ты тоже поедешь туда, Би-Си? В маленький город? – спросил я.

– Смеешься? Думаешь, мне не нужна филармония? Или я обойдусь без приличной спортивной команды? Нет, сэр. Ганди остается в Нью-Йорке. Я родился и вырос в Бомбее, а что такое перед ним Нью-Йорк? То же дерьмо, только пожиже. Кабинет у меня будет на Парк-авеню. Здравоохранение на Парк-авеню охвачено кризисом. Люди мучаются из-за маленьких грудей, больших носов, толстого брюха. Кто им поможет?

– Неужели ты?

– Так точно, мальчики и девочки. Погодите, дамы, погодите! Грядет Ганди. Он уменьшит, увеличит, отрежет, нарастит – что пожелаете. И будет лучше, чем было!

Он поднял руку с бутылкой пива:

– Тост! Леди и джентльмены! Пусть ни один американец не покинет этот мир без иностранного врача у одра, точно так же, как ни один из жителей этой страны, я уверен, не появляется на свет без участия такового.

Глава четвертая. Один узелок за раз

Как-то днем (пошел девятый месяц моего пребывания в Госпитале Богоматери), когда мы направлялись в операционную, помощник шерифа передал Дипаку Джесудассу какие-то бумаги. Доктор принял их, не проронив ни слова, и нас поглотила работа. Далеко за полночь на перекуре в раздевалке Дипак улыбнулся мне и произнес:

– Будь на твоём месте кто-нибудь другой, он бы давно спросил меня, что это за документы.

– Если они меня касаются, ты сам мне скажешь, – ответил я.

Когда я впервые встретил Дипака, ему исполнилось тридцать семь. У него было молоджавое лицо и плечи подростка, что контрастировало с мешками под глазами и пробивающейся сединой. Увидев нашу компанию в кафе, вы бы наверняка приняли за главного врача-резидента импозантного Би-Си Ганди, а не неприметного Дипака. Но когда я вспоминаю свою стажировку, то понимаю, скольким обязан этому невысокому смуглокожему скромному человеку. В операционной Дипак был терпелив, энергичен, изобретателен, скрупулезен и решителен – как и подобает настоящему мастеру.

«Не возись с иглодержателем»; «Самодисциплина в отношении рук, Мэрион. Не мельтеши. Каждому движению – свое время».

Когда я учился держать руки так, чтобы с равным усилием тянуть за оба конца узла, возникла новая проблема:

– Не расставляй локти, а то улетишь.

Работая с ним, я больше узлов развязал, чем завязал. Приходилось выдергивать целые швы и начинать сызнова, чтобы он остался доволен. Я стал по-новому подходить к освещенности и выделению нужных участков.

– Работу в потемках оставим кротам. Мы – хирурги. Его рекомендации были порой парадоксальны:

– Когда ты за рулем, смотри, куда едешь, а когда делаешь разрез, смотри, где только что был.

Дипак был с юга Индии, из Майсора. В ту ночь в раздевалке он поведал мне о том, о чем, наверное, не рассказывал никому в больнице. Когда он закончил медицинский институт, родители быстренько организовали ему женитьбу на рожденной в Британии индийской девушке, проживающей в Бирмингеме. Сама невеста не торопилась замуж, да папа с мамой настояли, им не нравилась окружавшая дочку толпа. Она прилетела

вместе с родителями за несколько дней до свадьбы, а на следующий день улетела обратно, поскольку ее ждали занятия в колледже. Чтобы получить визу и присоединиться домой к жене, Дипаку потребовалось шесть месяцев. Тут оказалось, что стоит ему открыть рот, как она приходит в неопишное смущение, будь то на публике или в узком кругу. Он провел с женой несколько недель и отправился интерном в Шотландию. Через год его повысили до ординатора, потом до старшего ординатора. Он сдал сложный экзамен на члена Королевского колледжа хирургов и получил право на волшебную аббревиатуру F. R. C. S. после своей фамилии.

– Я мог бы вернуться в Майсор. С моим титулом я бы процветал. Но я представил себе всех тех людей, что явились на мою свадьбу... и понял, что видеть их не могу.

В качестве следующего шага он устроился в Англии хирургом-консультантом при больнице.

– Рабочих мест для консультантов немного. Вакансия появляется, только если кто-то умрет.

Проработав шесть лет консультантом-дублером на «скорой», Дипак решил перебраться в Америку.

– Это значило начать все сызнова, иначе не возьмут на последипломную стажировку. В моем возрасте, с моим опытом, я на это решился.

В Америке система была своеобразная: год интернатуры, четыре года работы хирургом-резидентом с постоянным повышением (последний год в качестве главного врача-резидента) – и тебя допускают к экзаменам на сертифицированного хирурга.

– Интернатура у меня прошла в престижном месте в Филадельфии. Работы было невпроворот. – Он закрыл глаза и покачал головой. – Когда умер отец, я никому ничего не сказал. Дня свободного не попросил. Меня повысили до хирурга-резидента второго года, хотя я работал на куда более высоком уровне, фактически выполняя обязанности главного врача-резидента. А на четвертый год меня выкинули из интернатуры. Один из штатных врачей, который заступился за меня, пришел в такую ярость, что подал в отставку.

Я мог бы перейти на урологию или пластическую хирургию. Люди часто так делают, если их выбросили на этом этапе. Многие стажеры-иностранцы переходят даже на психиатрию или что-нибудь подобное. Но я обожаю общую хирургию. Тот врач, что встал на мою сторону, взял меня в другую больницу, на этот раз в Чикаго, с обещанием, что я получу повышение, если повторю третий год. Работы стало еще больше – и меня

опять поперли. – Он засмеялся. – Честное слово, это помогает оставаться самим собой. Не ждать от жизни слишком многого. Бескорыстно любить хирургию. Но мне повезло. Нашелся еще один штатный врач, который протянул мне руку помощи. Он позвонил Попей, и тот меня оформил резидентом четвертого года. Вообще для Америки характерна одна вещь. Очень многие хотят тебя придержать, но находятся такие, настоящие ангелы, чья человечность компенсирует все остальное. Одним из таких ангелов стал для меня Попей.

Попей моментально произвел Дипака в главные врачи-резиденты, но с условием, что тот будет занимать эту должность в течение двух лет.

– Значит, твои полномочия прекратятся в тот же день, как я закончу интернатуру?

Молчание Дипака встревожило меня.

Он неторопливо покачал головой:

– Мы сегодня получили извещение о том, что скоро нас посетят люди с полномочиями относительно нашей учебной программы. Если им не понравится увиденное, они программу прикроют. Интернов-то у нас не слишком много. И врачей-резидентов на всех уровнях по отношению к общему числу больных маловато. Не говоря уже о преподавателях.

– А почему так получилось?

– Конкуренция. Нам повезло, что мы заполучили тебя, Нестора и Рахула. Нам требуется больше интернов, больше врачей на полных ставках. Попей уже не настолько влиятелен, чтобы привлекать хороших специалистов. В настоящий момент наша программа держится только на авторитете Попей и прошлых успехах. На бумаге у Попей все в ажуре, но если только он покахнет или распространится слух, что у него ранняя деменция, карточный домик рухнет.

Наверное, лицо у меня сделалось озабоченное, потому что Дипак сказал:

– Не волнуйся. Найдешь куда пристроиться.

– Это все было в тех документах, которые тебе вручил помощник шерифа?

– Нет, это моя так называемая жена. Ей кажется, что я зарабатываю кучу денег, поэтому неплохо бы поделиться с ней. Адвокат говорит, мне бояться нечего. Я ей ничего не должен.

– А как же ты, Дипак? Что ты намерен делать, если работа в госпитале накроется?

– Не знаю, Мэрион. Вряд ли я смогу начать все по новой еще раз, ассистировать кретину-мяснику, старше меня по должности, у которого

недостает ума, чтобы спросить у меня совета. Может быть, останусь здесь. Сестра Магда говорит, что больница возьмет меня на работу. Буду жить здесь, как Попей. Буду оперировать. Больнице все равно, сертифицированный я хирург или нет, особенно если программу резидентуры закроют. Из меня выйдет второй Попей. Хочешь верь, хочешь нет, но Попей, пока здоровье не подвело, был замечательным хирургом. И что самое главное, он прекрасный человек. Ярый противник расизма.

После происшествия с мистером Уолтерсом Дипак настаивал, что Попей нельзя подпускать к операционному столу.

– Что мы можем сделать, чтобы нас не закрыли? – спросил я.

– Молиться, – ответил Дипак.

Глава пятая. Кровные узы

Молитвы не помогли. За два месяца до окончания моей интернатуры нашей программе назначили испытательный срок. Я всерьез обеспокоился своей судьбой. Нехорошо, если программу закроют, но еще хуже, если мне не зачтут год. И уж совсем плохо для Дипака, которому чуть-чуть оставалось до завершения последнего года резидентуры. А пока наши мольбы не услышаны и окончательное решение не принято, оставалось только пахать.

В пятницу вечером меня вызвали в приемный покой, и я прибыл туда одновременно с каретой «скорой помощи». Бригада выкатила носилки, разблокировала колеса и понеслась с такой скоростью, словно двигала таран. Стекло двери раскрылись вовремя.

Оперативность не уставала меня поражать, особенно по сравнению с Африкой. Я пустился бегом. Уже почти год я находился в больнице Богоматери, но в таких случаях меня всякий раз захлестывал адреналин.

– Джон Доу*, ДТП, еле дышит, – выговорил на бегу один из сопровождающих. – Проехал на красный свет, столкнулся с фургоном. Боковой удар со стороны водителя. Ремнем не пристегнулся, вылетел через ветровое стекло и, не поверите, угодил под собственный автомобиль... Есть свидетели. Видимых повреждений шеи нет. Левая лодыжка раздроблена, гематомы на груди и животе.

* Джон Доу – общепринятое имя для тех, чья личность не установлена.

Я разглядывал чернокожего красавца на каталке, выбрит чисто, никак не старше двадцати.

Пострадавшему начали вливать в вену физраствор, бригада взяла пробу крови и передала пробирки с красными, синими и лиловыми пробками технику лаборатории, который немедленно начал проверку на совместимость, не успели мы жертву ДТП раздеть.

– Вот еще что, – сказал водитель «скорой», – он проехал на красный, потому что затеял перестрелку с бандитами. Одному попал в голову. Его тоже везут на «скорой». Не волнуйтесь... там спешить некуда. Мозги надо с тротуара отскрести. Постарался паренек.

Голова нашего пациента была цела, но в сознание он не приходил. В такие минуты почему-то вечно обращаешь внимание на всякие мелочи – так вот, прибор в его коротких волосах был словно по линейке проведен. Зрачки реагировали на свет – значит, мозг в порядке. Пульс был

нитевидный и частил. Монитор показал 160 ударов в минуту.

Медсестра меряла давление.

– Восемьдесят на ничего. Через несколько секунд:

– Пятьдесят на ноль.

Физраствор вливали, кровь была на подходе. В правом подреберье виднелась гематома. Живот был напряженный и, казалось, рос на глазах.

– Давления нет, – объявила медсестра, когда прибыл техник с портативным рентгеновским аппаратом.

– На рентген нет времени. Он истекает кровью, – сказал я. – Везите его в операционную. Это его единственный шанс.

Никто не шелохнулся.

– Живо! – Я пихнул носилки. – И сообщите моей бригаде.

В операционной я отскребал руки всего только тридцать секунд, пока анестезиолог доктор Рональдо вставлял трахеальную трубку. Рональдо взглянул на меня и покачал головой.

Я натянул перчатки, операционная сестра разложила свое хозяйство.

– Забудьте про губки. Воспользуемся тампонами. Вскройте их и разверните. Потом будет некогда. Крови будет масса. Нам понадобятся большие тазы для сгустков.

Живот у пациента делался все напряженнее. Рональдо только пожал плечами, когда я посмотрел на него в ожидании сигнала начинать.

– Будь готов, – предупредил я Рональдо, – как только я вскрою полость, давление упадет.

– Какое давление? – изумился Рональдо. – Нету никакого давления.

В настоящий момент заполнившая живот кровь действовала как компресс, тампонируя кровотокающий сосуд, где бы тот ни находился. Но стоит мне сделать разрез, как гейзер опять вскроется. Я разложил вокруг тампоны, смазал кожу бетедином, стер, произнес молитву и произвел чревосечение.

Кровь устремилась наружу, выплескиваясь из раны штормовой волной. Не помогли ни тампоны, ни отсос, кровь залила салфетки, стол, пол, всего меня до носков.

– Еще тампоны! – заорал я, но все равно мы оказались не готовы к такому потоку.

Я ухватился за тонкую кишку. Кровь плеснула вновь. Обеими руками я извлек петлю и уложил на салфетку рядом с разрезом. За какие-то несколько секунд я эвисцерировал пациента.

Рядом со мной появился Дипак, полностью готовый и экипированный. Я сделал было шаг назад, чтобы перейти на другую сторону стола, но

Дипак покачал головой.

– Оставайся на месте, – велел он и расширил ретрактором рану, чтобы мне было видно пространство под диафрагмой.

Я обложил тампонами сначала печень, потом селезенку, ладонями вычерпал большие сгустки, оставшиеся в брюшной полости, туго затампонировал живот и таз. Ни единого кровоточащего сосуда в поле зрения.

Можно прерваться и передохнуть.

– Остановили мы кровотечение? – спросил я Рональдо.

– Как же, остановишь его, – буркнул тот, пожал плечами и склонился над своим аппаратом, как бы желая сказать: во всяком случае, хуже не стало. Этих слов я от него и ждал.

Я принялся осторожно вынимать тампоны, начав с точек, где существовала самая маленькая вероятность кровотечения. Таз был чист – ничто здесь не фонтанировало. Я извлек тампоны вокруг селезенки. Если сравнить брюшную полость с комнатой, предметы обстановки, находившиеся посередине, оказались насколько возможно сдвинуты в сторону, и стало видно, что делалось за ними. Если бы лило из порванной аорты или ее ветвей, на задней стенке брюшины – в ретроперитонеальном пространстве – появилось бы вздутие, гематома. Но и здесь было чисто.

У меня появилось зловещее предчувствие, что кровит откуда-то из-за печени. Там полно темных мест, попробуй загляни или перекрой. Именно там проходит полая вена, самая крупная вена во всем организме, по которой поступает к сердцу кровь из нижних конечностей и туловища. С ней связаны короткие печеночные вены.

Я убрал тампоны от печени. Ничего.

Я мягко потянул за печень, чтобы заглянуть под нее.

В пустую брюшную полость моментально хлынула кровь. Я поспешно отпустил печень, и кровотечение прекратилось. Пока не притронешься к печени, все замечательно. Как это выразился Соломон, проводя операцию в горах? При таких травмах хирург видит Бога.

– Оставим все, как есть, – сказал Дипак.

– И что теперь?

– Кровит из разреза на коже и из всех мелких вен. У него кровь не сворачивается, – произнес Дипак негромко. Чтобы хорошенько его расслышать, я принужден был наклониться поближе. – При таких обширных травмах это неизбежно. Мы их вскрываем, льем жидкости, температура падает... Мы до того разбавили кровь, что свертываемость оказалась на нуле. Затампонируй пространство вокруг печени и на этом

остановись. Положи его на интенсивную терапию, где мы сможем его согреть, перелить плазму и кровь. Через пару часов, если он останется жив и ситуация стабилизируется, мы займемся им снова.

Я обложил печень тампонами и уложил на место тонкую кишку. Зашивать рану мы не стали, стянули края бельевыми зажимами.

– Сейчас примчатся пересадочники, позаимствуют у убитого им человека роговицу, сердце, легкие, печень и почки, – сказал Дипак. – Эта операционная больше, пусть хозяйничают здесь.

Двумя часами позже раны у пациента перестали кровоточить. Из-за нагромождений аппаратуры подобраться к Шейну Джонсону-младшему – так его звали – оказалось нелегкой задачей. Его родственники находились в приемной, пытаясь объять необъятное. Вливание плазмы, подогретой крови заметно подняло Джонсону-младшему кровяное давление и температуру тела. Он был живой, хоть и одной ногой в могиле.

– Отлично, – сказал Дипак, осмотрев пациента и взглянув на часы. – Приступим к части второй.

На этот раз мы оказались в операционной поменьше. Рональдо был по-прежнему мрачен. Лицо и конечности Джонсона-младшего отекали, капилляры не выдерживали закачиваемых в него объемов. Но мы были вынуждены лить и лить, чтобы поддерживать давление, – все равно что удерживать воду в дырявом ведре.

Дипак настоял, чтобы я снова встал справа. За несколько секунд простыни были сдернуты, кожа продезинфицирована и зажимы с раны сняты.

Дипак направил мои пальцы на связку сосудов, ведущих к печени.

– Отлично, – сказал он, – пережми здесь.

Это был маневр Прингла. Я перекрыл подачу крови к печени, тем временем Дипак удалил последний тампон и приподнял печень. Сразу полилась кровь, превратив сухое чистое операционное поле в хлюпающую кровавую массу.

– Отпускай, – произнес Дипак. – Этого-то я и боялся. Полая вена порвана. Поэтому маневр Прингла не помогает, кровь все равно идет.

У некоторых людей нижняя полая вена слегка заглублена в печень. У нашего пациента печень укутывала сосуд. Когда Джонсон-младший пролетел по воздуху и ударился об асфальт, печень сдвинулась с места и короткие вены оторвались от полой, оставляя рваное отверстие.

Дипак попросил нить на длинном иглодержателе. По его сигналу я приподнял печень, и он попробовал вонзить иглу у конца разрыва. Но не успел он разглядеть дырку на сосуде, как поле залила кровь.

– Господи, – вырвалось у меня (я нарушил основополагающее правило: ассистент должен помалкивать), – как же мы ее зашьем?

– Нет ничего проще, – сказал Дипак, – только печень мешает.

Неужели он стал отпускать шуточки во время операции?

Дипак надолго затих, замер, будто в трансе. Я старался не дышать. Наконец, словно священник, завершивший молитву, Дипак резко пошевелился.

– Ну что же. Дело не скоро делается. Начнем с другого бока.

Я оказался не готов к тому, что последовало. Мне оставалось только удивляться и помогать по мере возможности. Дипак протер Джонсону-младшему грудь, затем произвел разрез вдоль грудины сверху донизу и принялся орудовать электрической пилой. В воздухе повис запах горелой плоти и кости. И внезапно грудная клетка раскрылась, наподобие переполненного чемодана.

Я не спрашивал, что он делает. А он не объяснял. Мой опыт в области торакальной хирургии ограничивался отсасыванием жидкости из легкого да присутствием на операции по резекции пораженной раком доли легкого. Ну, правда, за время моей интернатуры мы трижды вскрывали грудную клетку и штопали раны на сердце. Один из трех пациентов выжил. Это был один из недостатков нашей программы, одна из причин, по которой нас закрывали, – пробелы по части грудной хирургии, урологии и пластической хирургии.

Сердце Джонсона-младшего, кусок мяса с желтыми прожилками, прикрытый перикардом, билось перед нами, как билось все предыдущие девятнадцать лет. Только вот такой опасности оно еще не подвергалось.

Дипак разрезал перикард.

В операционной за моей спиной возникло какое-то движение. Я быстро обернулся и через стекло заметил целую толпу белых людей у другого операционного стола.

Дипак наложил кисетный шов на правое предсердие, верхний отдел сердца, куда поступала кровь из поллой вены, взял плевральную дренажную трубку, прорезал на ней ножницами отверстия и сделал дырку в предсердии посередине кисетного шва. В эту дырку он просунул переделанную дренажную трубку, продвинул ее в полую вену и протолкнул до того места, над которым мы трудились.

– Скажешь мне, когда она дойдет до уровня почечных вен, – произнес он.

У меня на глазах полая вена наполнялась, напоминая садовый шланг под давлением.

– Уже, – ответил я.

– Трубка теперь обеспечивает полую вену просвет, – сказал Дипак, наклонившись, чтобы взглянуть на поле снизу. – К тому же по ней, как по стенту кровь будет возвращаться в сердце, пока мы оперируем. Теперь... посмотрим, удастся ли нам ее заштопать.

Он поправил верхний свет. Когда я приподнял печень, крови вытекло уже не так много, более того, на фоне трубки стали видны края разрыва. Дипак подцепил длинными щипцами край, кривой иглой продел нитку и завязал узел. Я отпустил печень. Процесс был непростой: приподнять, ухватить, подвести иглу, вытереть, проколоть насквозь, вытереть, завязать, опустить печень на место.

Когда дело уже близилось к завершению, я почувствовал, что у меня за плечом кто-то стоит. Дипак глянул мельком в мою сторону, но ничего не сказал.

– Это шунт Широка, сынок? – спросил чей-то голос у меня из-за спины. Мужчина говорил вежливо, однако тон у него был такой: да, я понимаю, что это не самый подходящий момент для вопросов, но уж мне-то вы ответить обязаны.

Дипак еще раз повернул голову:

– Да, сэр.

– Большой был разрыв?

Дипак приподнял печень и направил свет лампы в нужную точку, чтобы спрашивающему было видно.

– Три четверти вены по длине.

Из вставленной им со стороны сердца трубки получилась прекрасная внутренняя шина, операция теперь шла по накатанной. Да и смотрелось красиво: из хаоса рождался порядок.

– Впечатляет, – произнес голос. Никакого сарказма, одно неподдельное восхищение. Любопытный склонился ниже, чтобы было лучше видно. – Очень, очень мило. Я бы еще добавил пенящийся гель, чтобы не травмировать лишний раз печень. Дренаж планируете?

– Да, сэр.

– Полагаю, вы штатный врач?

– Нет, я главный врач-резидент. Меня зовут Дипак.

– А где ваш ординатор?

Дипак посмотрел гостю в глаза и промолчал.

– Понятно. У него нет желания возиться. Лучше поспать подольше. А вы с ним вообще видите?

Рональдо фыркнул и повернул ручку своего аппарата, изображая

отсутствие интереса. Гость посмотрел на Рональдо, как бы желая откусить тому голову, но в последнюю секунду, вероятно, вспомнил, что он не у себя в операционной, и взял себя в руки.

– И сколько всего шунтов Широка вы на данный момент сделали, Дипак?

– Это будет шестой.

– В самом деле? И за какой период времени?

– За два года, что я здесь... К сожалению, к нам поступает масса больных с травмами.

– Да, к сожалению... И к счастью для нас. Мы благодарны... И все-таки... шесть Широков, говорите? Примечательно. Каковы были результаты?

– Один больной умер, правда, после операции прошла неделя. Он ходил, ел. Видимо, эмболия легочной артерии.

– А вскрытие делали?

– Частично. Родственники разрешили только чревосечение. С поллой веной все было нормально. Мы сделали фотографии.

– А прочие больные?

– Второй, третий и пятый живы-здоровы, прошло шесть месяцев после операции. Четвертый умер на столе, я не успел толком ничего сделать. Только сердце раскрыл.

– Но вы его включили в список?

– А как же иначе. Ведь планировалась именно эта операция.

– Молодец. Большинство хирургов не включило бы этот случай в статистику. А шестой?

– Он перед вами.

– Чудесно. Куда лучше, чем у меня. Я сделал четыре шунта Широка. Это за шесть лет. Все умерли. Двое на столе, двое сразу после операции. Травмы были не у всех. У двоих хирург удалял разросшийся рак и повредил полую вену. Вам надо изложить ваш опыт, написать статью.

Дипак откашлялся.

– Со всем уважением, сэр. Надо. Только никто не опубликует отчет из Госпиталя Богоматери...

– Ерунда. Как ваше полное имя?

– Дипак Джесудасс, сэр. А это мой интерн...

– Вот что. Опишите этот случай, добавьте в серию и покажите мне. Если все будет толково, вас опубликуют. Я направлю материал редактору «Американского хирургического журнала». Вместе с вами отслежу самочувствие пациента. Я к вашим услугам. Вам стоит только обратиться. Удачи. Кстати, меня зовут...

– Я знаю, кто вы, сэр. Благодарю.

Гость, наверное, уже уходил, когда Дипак вновь подал голос:

– Сэр? Если уж вы... Да ладно, неважно.

– Что такое? Я вместе с органом для пересадки уже должен находиться в воздухе. Остановился на минутку, чтобы выразить восхищение вашей работой.

– Если бы вы показали нам, как пересаживать печень... мы бы начали операцию без вас, чтобы сэкономить время.

Обернуться я не мог, поскольку держал ретрактор.

– Я никому не доверяю эту операцию, – произнес голос, – поэтому делаю ее сам от начала до конца. Моим врачам-резидентам недостает умения. Толковые ребята, но у них нет того объема работы, который имеется здесь.

– У нас есть опыт. Но нас закрывают.

– Что? Впрочем, слухи ходят. Я слышал, Попей... Это правда?

Дипак молча кивнул.

– У вас пятый год резидентуры?

– Седьмой. Восьмой. Десятый. Смотря откуда считать, сэр. – Про стажировку в Англии Дипак не упомянул.

Только гость и так все понял.

– У вас легкий шотландский акцент. Вы были в Шотландии? Свой F. R. C. S. там получали?

– Да.

– Глазго?

– Эдинбург. Я работал в Файфе. В общем, в тех местах. Воцарилась полная тишина. Человек у меня за спиной не шевелился. Похоже, обдумывал что-то.

– Чем намерены заняться, если вас закроют?

– Продолжу работу. Скорее всего, здесь. Я люблю хирургию...

Молчание длилось вечность. Наконец голос произнес:

– Дипак Джесудасс, правильно? Повидайтесь со мной в Бостоне, доктор Джесудасс. Расходы на поездку мы оплатим. Посетите мою лабораторию с собаками. Мы найдем вам работенку. Пожалуй, вы сможете оперировать для меня. Приедете, поговорим подробно. Мне надо бежать. Успехов в работе, Дипак.

Дверь за ним закрылась.

Мы работали в молчании. Только Дипак пробормотал:

– Он слышал мое имя всего раз... и сумел повторить. Он тщательно и рационально заканчивал операцию в том

же стиле, что и начал ее. Попросил пенный гель у сестры.

– Сколько лет здесь работаю, ни одна живая душа не могла запомнить с первого раза, как меня зовут. Никого это не волновало. В нас обычно видят типажи, а не личности.

Плечи у него распрямились, глаза блестели. Никогда его таким не видел. Я был рад за Дипака и гордился им.

– Кто это был? – не выдержал я.

– Можешь назвать меня старомодным, – произнес Дипак, – но я всегда верил, что тяжкий труд вознаграждается. Поступай по совести, будь справедлив, правдив перед самим собой... однажды все это сработает. Разумеется, это не значит, что те, кто причинил тебе зло, понесут справедливое наказание. Скорее всего, нет. Но тебе в один прекрасный день воздастся.

– Вы с ним знакомы? – повторил я свой вопрос. Дипак повернулся к операционной сестре:

– Эта бригада прибыла за печенью или за сердцем?

– За печенью. За сердцем приехали другие, они уже смылись.

Дипак ухмыльнулся.

– Мэрион, я не уверен на сто процентов из-за маски, вот если бы посмотрел на пальцы, сказал бы наверняка. Но у меня есть все основания утверждать, что ты видел одного из ведущих хирургов мира, пионера пересадки печени.

– Как его зовут?

– Томас Стоун.

Глава шестая. Виток за витком

Я верю в черные дыры, верю, что, когда Вселенная обращается в ничто, прошлое и будущее закручиваются воронкой, будто вода, исчезающая в сливе. Видимо, именно так Томас Стоун материализовался в моей жизни. Если это объяснение не подходит, не обойтись без непредубежденного Господа Бога, который хоть и предоставил нас самим себе и предпочитает не связываться с ураганами и эпидемиями – пусть события развиваются своим чередом, – но все же порой случайно задевает пальчиком приводное колесо, и тогда отец и сын, разделенные океаном, оказываются в одной комнате.

В детстве я тосковал по Томасу Стоуну или, по крайней мере, по его вымышленному образу, не одно утро прождал его у ворот Миссии. Мне кажется, это было необходимо, мой внутренний мир укрепился подобно крикетной бите, которой нужна особая обработка, чтобы стойко держала удар. Часы, проведенные у ворот Миссии, научили меня: мир тебе ничего не должен, да и собственный отец – тоже.

Просьбу Гхоша я не забыл. Скажем так: она отошла у меня на второй план. Совесть меня не мучила, у меня попросту не было времени на поиски Томаса Стоуна, более того, где бы он ни находился, я-то точно пребывал в какой-то иной Америке, у которой если и было что-то общее с его Америкой, то разве что название. Его книга путешествовала со мной из Аддис-Абебы в Судан, оттуда – в Кению, потом – в Америку, и я постепенно проникся уважением к ее автору. Кроме того, в ней была частичка сестры Мэри Джозеф Прейз, в рисунках чувствовалась ее рука, а закладку с написанными ею словами я носил в бумажнике. Личность Томаса Стоуна пронизывала текст, похоже, он обретал себя в своих записках, где доминировали болезни и нищета и где он преодолевал свою горечь в сухих медицинских терминах. Я был убежден, что основу книги составили его дневниковые записи. Абстрактные знания получили конкретное воплощение.

Но как мне быть с другим конкретным воплощением – создателем моей ДНК, человеком, чей запах и голос я, казалось, сразу распознал, мне, плоти от плоти его? В том, как он склонялся над пациентом, держал голову, прижимал руки к груди, передергивал лопатками, ежился, я видел себя самого.

Конечно же, Томас Стоун почувствовал, что во Вселенной не все

гладко, потому-то и оказался в нашей операционной. Сознаюсь, пока я не узнал, кто он такой, я не испытывал ничего, только гордость за Дипака, так ловко применившего трубку, за его искусные руки, вызвавшие восхищение у незнакомца. Известие о том, что это сам Томас Стоун, застало меня врасплох. Что предпринять? Возмутиться? Осудить? Я не успел среагировать. Но сейчас, впервые с детства, мне захотелось познакомиться с ним поближе, не ограничиваясь девятипалым портретом, побольше узнать о живом человеке, хирурге, что стоял у меня за спиной.

В последующие дни я ознакомился с жизненным путем Томаса Стоуна в нашей библиотеке, листая один за другим огромные тома Index Medicus начиная с 1954-го, года моего рождения. Я хотел узнать, что с ним случилось после выхода в свет «Практикующего хирурга», какие еще достижения за ним числились. Библиотека у нас была маленькая, но Попей пожертвовал ей свою коллекцию журналов по хирургии, которую собирал с пятидесятих годов. Большинство материалов, упомянутых в Index Medicus, были налицо.

В своем блокноте я зафиксировал этапы научной карьеры Томаса Стоуна в соответствии с опубликованными работами. В Америке он интересовался хирургией печени, и его карьера тесно переплелась с историей пересадок, со смелой идеей, что можно взять какой-то орган у Петра и пересадить Павлу. Все началось задолго до Стоуна, в сороковые годы, когда сэр Питер Медавар и сэр Фрэнк Макфарлейн Вернет* продемонстрировали, как иммунная система распознает «свои» и чужие ткани и отторгает последние. За два месяца до нашего рождения Томас Стоун опубликовал письмо издателю «Бритиш медикал джорнал» о чрезмерной длине и объеме колона у многих эфиопов; кишка легко перекручивалась сама по себе, вызывая непроходимость. К 1967 году, когда Кристиан Барнард в Кейптауне пересадил Луису Вашканскому сердце молодой женщины, погибшей в автокатастрофе, мой отец, перебравшийся к тому времени в Бостон, заинтересовался резекцией печени. Вопрос заключался в том, каков возможный объем удаляемой части печени, чтобы донор сохранил жизнь?

* Питер Брайан Медавар (1915-1987) – английский биолог. Открыл явление приобретенной иммунотолерантности и воспроизвел его в эксперименте. Фрэнк Макфарлейн Бёрнет (1899-1985) – австралийский вирусолог. Наиболее известен своими работами в области иммунологии. Медавар и Бернет получили Нобелевскую премию в 1960 году.

Во главе исследований по пересадке печени в Америке стоял блестящий хирург Томас Старцл. Первые пересадки печени он осуществил

в 1963 – 1964 годах, но ни один пациент не выжил. Томас Стоун из Бостона, как указывали ссылки, попытался выполнить пересадку годом позже, и попытка также не удалась. Несмотря на критическое отношение общества, Старцл не сдавался. Первая успешная пересадка печени состоялась в 1967 году. Подвиг Старцла удалось повторить другим, включая и Томаса Стоуна. Риск был по-прежнему очень велик, но, после того как в литературе были описаны такие приемы, как обходное кровоснабжение через верхнюю полую вену во время продолжительных операций и применение «раствора Висконсинского университета» для сохранения трупной печени, результаты значительно улучшились. Проблема уже не была чисто технической, хотя с точки зрения техники операция была сложнейшей, все равно что для пианиста «Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова при условии, что нельзя пропустить ни одну ноту или сфальшивить. Операция длилась десять, а порой и целых двадцать часов. Старцл показал, что она осуществима. Однако возникло два новых препятствия: где найти достаточное число органов для пересадки и как бороться с отторжением.

В 1980 году, когда я проходил интернатуру, Старцл сосредоточился главным образом на отторжении. Новый препарат, открытый группой сэра Роя Кална из Кембриджа, – циклоспорин – казался многообещающим.

Томас Стоун избрал иной подход, он сосредоточился на проблеме нехватки донорских органов и предложил решение, которое большинству наблюдателей показалось тупиковым: брать у живого здорового родителя-донора только часть органа и пересаживать ребенку, у которого печень отказала. Во всяком случае, в опытах на собаках печень донора увеличивалась в размерах (что компенсировало утрату ее части) и не отторгалась реципиентом. Правда, разделение пересаживаемого органа породило осложнения – такие как просачивание желчи и тромбоз печеночной артерии. Оно также ставило жизнь донора под угрозу, поскольку печень, в отличие от почек, орган непарный. Еще более полезной и многообещающей была работа Стоуна, в которой он пытался «содрать» с печеночных клеток животных антигены, по которым человеческие клетки распознают их как чужие, и слоями нанести животные клетки на мембрану, создав таким образом нечто вроде искусственной почки, пригодной для диализа.

Про пересадки органов я читал с восторгом. Несомненно, это была одна из самых захватывающих глав в истории американской медицины.

С Джонсона-младшего в отделении интенсивной терапии пылинки сдували. Он был под седативами, веки опущены, только глазные яблоки двигаются. Его тяжелая травма привела к инфаркту легкого (впервые

замечен у солдат, выживших на поле битвы, у которых впоследствии развивалась странная ригидность легкого) и к отключению почек. В соответствии с правилами Би-Си Ганди, если из тебя торчат семь трубок, ты одной ногой в могиле. Трубок из Джонсона-младшего торчало девять. Но шли недели, трубка за трубкой извлекались, больному становилось все лучше. Требовалось тщательное медицинское наблюдение, хороший уход, и мы с Дипаком составляли ежедневные диаграммы, планировали мероприятия и решали текущие проблемы. Джи-Ар, как его называли родственники, на сорок третий день был переведен в обычную палату, а еще через неделю, застенчиво улыбаясь, покинул больницу, провожаемый выстроившимся у выхода в две шеренги персоналом отделений интенсивной терапии и травматологии. Если он кого и застрелил, то свидетелей не было, полиция интереса не проявляла, и Джи-Ар отправился домой. Своим выздоровлением он, несомненно, был обязан хирургам, но их усилия увенчались успехом благодаря его молодости и здоровью. Дух хрупок, нестойк, а тело выносливо.

В качестве интернов мы имели право участвовать в одной национальной конференции, расходы оплачивались. Я выбрал конференцию по пересадке печени, проходящую в мае в Бостоне. Прибыл я в чудесный весенний день. Центр города вполне соответствовал моим представлениям о старой, еще колониальной Америке, здесь чувствовался аромат истории. Я убеждал себя, что Бостон, город, где работал Томас Стоун, в качестве места проведения конференции – это простое совпадение и что я прибыл сюда не повидаться со Стоуном, а выслушать выступление основного докладчика – Томаса Старцла. Что касается пленарного заседания с участием Стоуна... я был не уверен, что пойду на него.

Утром в день открытия конференции я уже не мог больше лгать самому себе. Я пропустил заседание и прошагал шесть кварталов до больницы, в которой Томас Стоун работал все эти годы. Я больше десяти месяцев не вылезал из облачения хирурга и в костюме и галстук чувствовал себя ряженым.

«Отправьте их в Мекку» – это выражение мы употребляли, когда больному требовался какой-нибудь особый вид медицинской помощи, который Госпиталь Богоматери предоставить не мог. С этими словами медики по всей Америке направляли пациентов в самые знаменитые учреждения, занимающие ведущее место в своей области, – слово «Мекка» появлялось даже в письмах читателей, публикуемых в медицинских журналах. А теперь настал мой черед отправиться в «Мекку».

Эта самая «Мекка» представляла собой новехонькое высоченное

больничное здание причудливой формы, которое сверкало, будто платиновое. Проект явно победил в каком-нибудь архитектурном конкурсе. С точки зрения пациента, вид у сооружения был не слишком располагающий. Позади прятались кирпичные корпуса постарше и поскромнее, не такие вызывающие и лучше вписанные в окружение.

– Доброе утро, сэр, – приветствовал меня молодой человек в лиловом пиджаке. Я даже подумал, он издевается, и только потом понял, что он и двое других паркуют автомобили и помогают из них выбраться людям в инвалидных колясках.

Вращающаяся дверь вела в закрытый дворик со стеклянными стенами и таким же потолком, вознесшимся на три этажа. Во дворике росло живое дерево. Концертный рояль с каким-то хитрым механизмом играл сам по себе. Вокруг стояли кожаные кресла, торшеры. Гранитный валун обмывал небольшой водопад. За стойкой улыбались сразу три услужливых портье. Следуя указаниям синей линии на полу, я прошел к лифтам Башни А, которые, как мне было сказано, доставят меня на восемнадцатый этаж в хирургическое отделение.

Не верилось, что я нахожусь в больнице.

Выйдя из лифта, я оказался в компании из пяти мужчин и одной женщины, все моего возраста, в темных костюмах и с бейджиками посетителей на груди.

– Нам велено ждать здесь, – поспешила уведомить меня женщина.

Тут появился молодой человек в белом халате поверх голубого одеяния хирурга.

– Извините за опоздание, – бодро объявил он. – Добро пожаловать в хирургическое отделение. Меня зовут Мэттью. – Он улыбнулся. – Подумать только, всего лишь год тому назад я был в вашей шкуре, проходил собеседование на интернатуру. Как летит время! Костюмы, какая прелесть! У нас двадцать минут до начала конференции по вопросам заболеваемости и смертности. Я быстро покажу вам отделение. После конференции у нас обед с персоналом, потом индивидуальные собеседования и большая экскурсия по больнице. Я провожу вас до конференц-зала и покину. Один из моих пациентов будет представлен на конференции. Надо будет завязать ему ремешки на доспехах.

За год в Госпитале Богородицы мне так ни разу и не выпало показать больницу кандидатам в интерны. Да я и не видел, чтобы хоть кто-нибудь прибыл на собеседование. Здесь, в «Мекке», это происходило еженедельно. Я потащился со всей компанией.

В индивидуальных ординаторских имелся телевизор на стене,

холодильник, письменный стол и санузел, никакого сравнения с единственной ординаторской Госпиталя Богоматери, забитой койками, где был только один телефон и куда сползались покемарить интерны со всех служб; лично я этим оазисом и вовсе не пользовался. Потом Мэттью показал нам «маленькую» комнату для совещаний, где проходили ежедневные доклады хирургов; помещение походило на зал заседаний правления крупной корпорации: длинный стол, кожаные стулья с высокими спинками, на стенах портреты маслом прежних заведующих, чьи имена прочно вошли в «Кто есть кто» хирургии.

– Проверим систему. – Мэттью нажал на кнопку.

Из-за занавесок появились экраны, в помещении возникло затемнение, а из приспособления, которое я поначалу принял за кофейный столик, вырос проектор. Констанс, единственная женщина в нашей группе, закатила глаза, давая понять, что такая демонстрация показалась ей неуместной.

Когда мы прибыли в аудиторию, где должна была состояться конференция по вопросам заболеваемости и смертности, Мэтт извинился:

– Мне надо переодеться. Доктор Стоун строго следит за этим. Он даже на обходах требует, чтобы мы снимали хирургическое.

Аудитория представляла собой уменьшенный вариант кинотеатра «Адова» из Аддис-Абебы, только обитые бежевой шершавой тканью кресла были удобнее. Они располагались по восходящей, так что из задних рядов, где сели мы, будущие интерны, все было отлично видно. Целый набор панелей для просмотра рентгенограмм был встроен в стену за кафедрой. Врач-резидент загружал пленки, нажатием на педаль переменяя панели.

Констанс оказалась рядом со мной. Позади нас расположилась стайка студентов-медиков в коротких белых халатах. Я уж и забыл, что студенты-медики существуют на свете. У врачей-резидентов халаты были длиннее и лица не такие безмятежные, как у студентов. У врачей-ординаторов халаты были самые длинные, и пришли они позже остальных. Мы, прибывшие на собеседование, в своих темных костюмах смотрелись пингвинами в окружении белых медведей. Дипак регулярно собирал нас на совещания, но здесь чувствовалась традиция, установившийся порядок, который не менялся десятилетиями.

– Говоришь, из какого ты вуза? – осведомилась Констанс. Я краем уха уже слышал, что она стажирется в Бостоне, только в другой больнице.

– Я учился в Эфиопии, – ответил я.

Судя по всему, она охотно пересела бы от меня подальше.

Томас Стоун не смотрел на толпу, когда входил, он и так знал, что

людей собралось немало. Он казался выше, чем тогда, в операционной, росту почти такого же, как я или Шива. В аудитории сделалось тихо. Руки он засунул в карманы белого халата. На свое место он проскользнул легко, его движения напомнили мне Шиву. В первом ряду он был один. Я сидел далеко за ним и сбоку, так что видел его в профиль. Впервые я как следует разглядел своего отца. Меня бросило в жар; изучать его бесстрастно, как подобает клиницисту, было невозможно. Мысли мои неслись вскачь, сердце колотилось, я даже испугался, что выдам себя, поэтому отвернулся и попробовал успокоиться. Когда я снова посмотрел на него, Стоун сжимал в руке какую-то бумажку, было совсем незаметно, что одного пальца недостает. Он был шатен с седыми висками, на лице резко выделялись желваки, словно ему часто доводилось стискивать челюсти. Тот глаз, который я видел, глубоко запал. Голову мой отец держал очень прямо.

Не могу сказать, какая была повестка дня, что обсуждали. Я сидел рядом с излучающей высокомерие Констанс, глядел на Томаса Стоуна и чувствовал, что некий предохранитель во мне сейчас перегорит и я расшвыряю мебель, заставлю сработать систему пожаротушения, начну выкрикивать непристойности и сорву чинное совещание. Я перестал владеть собой и вцепился в ручки кресла, пережидая, пока ярость, клокодавшая во мне, пойдет на убыль.

– Это я виноват, – повернулся ко мне Томас Стоун, и на миг мне показалось, что он – ясновидящий.

До этого Мэттью, нашего гида, на сей раз представлявшего историю болезни, подвергли резкой критике, но его ординатор и главный врач-резидент не выступили в его защиту, и он принял основной удар на себя. Когда со своего места поднялся Стоун, выкрики стихли.

– Да, вина лежит на мне. Несомненно, мы можем поднять уровень хирургии. Я устанавливаю видеокамеры в двух травмопунктах. Хочу, чтобы мы отсмотрели все поступающие крупные травмы. Все ли как надо? Под рукой ли эндотрахеальная трубка или надо сделать три шага, чтобы ее взять? Не придется ли искать инструмент, который обязан быть на месте? Не отвлекаем ли мы друг друга праздной болтовней? Чье присутствие излишне? Верный ли метод лечения избран? Вот вечный вызов.

Он вытащил из кармана бумажку и развернул.

– Я беру на себя ответственность за все, что описывается в этом письме.

Он говорил с легким британским акцентом. Годы, проведенные в Америке, сгладили произношение, но резкие интонации так и не появились. Когда они говорили с Дипаком в операционной, я вообще

никакого акцента не заметил.

– Это письмо я получил от матери скончавшегося пациента. Я сделаю все, чтобы такое не повторилось. Вот что она пишет. «Доктор Стоун. Ужасная смерть моего сына – невосполнимая утрата, может быть, только время сгладит мою потерю. Сейчас у меня перед глазами его последние минуты. Я видела, что мой сын напуган и ему не к кому обратиться со своим страхом. Но меня грубо попросили выйти вон. Единственным человеком, проявившим сострадание, оказалась медсестра. Она взяла его за руку и сказала: «Не волнуйся, все будет хорошо!» Все прочие не выказали никакого участия. Я понимаю, доктора были заняты его телом и лучше бы ему находиться без сознания. Врачей волновали только его грудь и живот, а не страхи маленького мальчика. Да, он был взрослый, но в такую минуту он превратился в перепуганного мальчишку. Мой сын и я всех раздражали. Вашим врачам надо было только, чтобы я удалилась, а сын затих. Их желание в конце концов исполнилось. Доктор Стоун, вы глава хирургического отделения и, скорее всего, сам родитель. Не кажется ли вам, что ваши врачи обязаны подбадривать пациента? Ведь больному станет легче. Последнее сознательное воспоминание моего сына – люди, которые игнорируют его. А мое последнее воспоминание о нем – мальчишка, который с ужасом смотрит, как его мать выводят. Этот образ я не забуду до гробовой доски. Тот факт, что доктора врачуют тело, не оправдывает их пренебрежения к душе».

Томас Стоун сложил письмо и засунул обратно в нагрудный карман. По залу пронесся шепоток, люди беспокойно зашевелились. Кое-кому в зале явно хотелось махнуть на письмо рукой, более того, посмеяться над ним, но в присутствии Стоуна они и пикнуть не посмели. А он стоял молчаливый, самоуглубленный, будто был один и прочитал письмо самому себе. Все затихли, слышалось только гудение кондиционеров. Но вот он обвел глазами собравшихся, зацепило их или нет. Зубоскалам сразу расхотелось насмешничать.

Потом спокойным и твердым голосом задал вопрос.

Ответ я знал. Ведь в бегах, в Эфиопии и Кении, я прочел его книгу не один раз.

– Что надо проделать с органом слуха в качестве первой помощи при шоке?

Разумеется, среди присутствующих двухсот человек никак не меньше пятидесяти тоже знали правильный ответ. Ни один не открыл рта.

Стоун выждал. Стало совсем неловко. Констанс рядом со мной так и застыла.

Томас Стоун расставил ноги и заложил руки за спину. Казалось, он готов вот так простоять весь день. Он поднял брови. Студенты слева от меня боялись мигнуть.

Стоун удивленно посмотрел на меня. Неужели ответ придет из рядов темных костюмов? Во второй раз в жизни он заметил, что я существую на этом свете. Первый раз был при моем рождении. А сейчас мне пришлось тянуть вверх руку.

– Да? Скажите нам, так что же надо проделать с органом слуха в качестве первой помощи при шоке?

Все уставились на меня.

Гхош всем пожертвовал ради нас, посвятил свою жизнь нам с Шивой. Хема, которая потеряла мужа, работала сейчас с Шивой в Миссии одна и писала мне, что у нее сердце разрывается, так она по мне скучает и так ее мучает совесть за недоданную мне в детстве любовь. На матушке, нашей крестной, держалась Миссия, Гебре, Алмаз и Розина заполнили пустоту, образовавшуюся после бегства Стоуна. И лишь Томас Стоун, который, наверное, не пропустил ни одного совещания по заболеваемости и смертности, ни разу не побеспокоился о Шиве или обо мне.

Какая несправедливость, что Томас Стоун в награду за свою черствость и эгоизм, занимает теплое местечко и купается в уважении и славе. Ведь нельзя быть хорошим врачом и плохим человеком, закон человеческий, да, пожалуй, и Божий, против этого!

Наши глаза встретились.

– Вложить в него слова поддержки! – сказал я своему отцу

Прошедшие годы громоздились между нами, бесповоротно разделяя нас.

– Благодарю вас, – сказал он изменившимся голосом. – Слова поддержки.

Выходя из зала, он оглянулся на меня.

Совершенно случайно мне удалось выяснить, где он живет. Я подозревал, что в элегантном кондоминиуме на противоположном берегу реки. Но тут на первом этаже Башни А мне попала на глаза стеклянная дверь, ведущая наружу, а напротив, на другой стороне улицы, находился вход в вестибюль следующего здания. Туда вошел Томас Стоун, и швейцар приветствовал его. Через несколько минут Стоун вышел, уже без белого халата и с черно-желтой коробкой в руках – проектором слайдов. Направлялся он на конференцию по трансплантологии. Я подождал полчаса, подошел к швейцару и сунул ему под нос свой бейджик:

– Меня зовут Мэрион Стоун. Доктор Стоун забыл кое-какие слайды,

которые собирался показать, и послал меня за ними.

Он чуть не поднял меня на смех. Потом наклонил голову, присмотрелся...

– Вы ему родственник?

– Я – его сын.

– А ведь так и есть! – Он заглянул мне в глаза, словно в них и крылось сходство, и заулыбался. Наличие сына каким-то образом сближало Томаса Стоуна с обычными людьми, стирало некую грань. – Так оно и есть! – повторил швейцар и в восторге хлопнул себя по ляжкам. – А нам-то за все это время ни словечка.

– Он до этого года и сам ничего не знал, – подмигнул я.

– Иосиф и Мария! Иди ты!

Я улыбнулся и посмотрел на часы.

– Знаешь, где его квартира? – спросил швейцар.

– Четвертый этаж?

– Четвертый. Четыре-ноль-девять.

В помещение я проник с помощью перочинного ножа и кое-каких хирургических манипуляций, которым Би-Си Ганди с готовностью обучал всякого.

В квартире была одна спальня.

В гостиной-столовой не имелось ничего, что подтвердило бы ее статус. Большой рабочий стол вроде рабочего места чертежника и два стола по бокам образовывали в плане букву «П». На боковых столах аккуратными стопками лежали бумаги. Три стены занимали полки, забитые книгами и бумагами. Они были задуманы не для того, чтобы радовать глаз, а чтоб было удобно.

Кофейник на кухне зарос пылью. плитой, похоже, никогда не пользовались. На тостере закаменели крошки. В холодильнике я увидел пакет апельсинового сока, брусок масла и полбуханки хлеба.

В спальне было темно, шторы задернуты. Ни книг, ни бумаг. Только армейская койка с тщательно свернутым в ногах одеялом, словно хозяин собирался расположиться бивуаком на одну ночь.

Над электрическим камином – фото в рамке. Техника двадцатых годов (аэрограф?) придала коже матери и сына необычайную белизну. Поза традиционная – мадонна с младенцем, мальчику года три, он приник к груди женщины – по всей видимости, моей бабушки. О ее существовании я, признаться, совершенно забыл.

На камине стеклянный цилиндр с темной жидкостью. Осмотр показал, что в ней плавает человеческий палец.

А ведь я явился, чтобы... причинить ущерб.

Фото заставило меня изменить намерения.

Я открыл все дверцы кухонных шкафов, распахнул дверцу плиты, холодильник. Откупорил пакет с соком. Отворил дверцы шкафчиков в ванной. Снял колпачки с зубной пасты, шампуня, кондиционера и аккуратно поставил их в ряд. Открыл все, у чего имелись крышки. Распахнул гардероб, дверцы книжных полок, растворил окна.

В центре стола я положил закладку, заполненную сестрой Мэри Джозеф Прейз.

19 сентября 1954 года.

Второе издание. Бандероль прибыла на мое имя. Но я уверена, что издатель имел в виду тебя. Поздравляю. Прилагаю мое письмо к тебе. Прочти немедленно.

СМДП.

Я был уверен: письмо, о котором упоминала мама, у него. Я спросил себя: ну вот, ты в его квартире, и где письмо? О чем в нем говорится? Устроить обыск? Нет, все испорчу.

Я выловил из формалина палец и положил на стол рядом с закладкой. Оценил картину и передумал. Уложил палец обратно в банку и забрал с собой.

Уходя, входную дверь я оставил открытой.

Глава седьмая. Начни сначала

Через две недели, в воскресенье, в мою дверь постучали. Мы как раз разгромили наших главных соперников из Кони-Айленда и завоевали Межбольничный Трофей по крикету. Нестор взял шесть калиток за двадцать пять пробежек, из них четыре благодаря мне. Победу отмечали у Би-Си Ганди, но я улизнул рано, собираясь отдохнуть: ныли пальцы и стреляло в коленях.

– Входите, – ответил я на стук.

Он вошел в темную комнату, озираясь. Поначалу он меня не заметил, свет из-под двери ванной сбил его с толку. Потом его взгляд упал на занавешенное окно. Оглянувшись, он увидел меня. Я сидел на кровати.

Человек, шагнувший в свое прошлое, прикрыл за собой дверь и замер.

Я ждал. Уплывали секунды, а незваный гость не проронил ни слова. Разыскал меня, выследил – и теперь молчит. Может, он обратил на меня внимание еще в операционной, когда заглядывал мне через плечо? Может, когда я отвечал на его вопрос в аудитории, ему бросилось в глаза, как я похож на маму или на него самого? До чего, наверное, странно встретить на конференции по заболеваемости и смертности собственного сына, которого никогда не видел. В этом свете само название конференции приобретает новое значение.

– Присаживайтесь, – предложил я. Свет я включать не стал.

К стоящему у кровати стулу он бросился, точно слепой, который скорее налетит на что-нибудь, чем промедлит или попросит о помощи. На сиденье он прямо-таки рухнул.

Мое лицо он вряд ли отчетливо видел. Я неотрывно смотрел на него. Когда его глаза привыкли к темноте, он оглядел мое жилище. Вещей у меня было побольше, чем у него. Не считая, конечно, книг. Взгляд его задержался на картинке с «Экстазом Святой Терезы» – он, конечно, сразу уразумел, откуда она. Ах да, еще и палец в банке. Ошибки быть не может, попал куда надо.

Минуты летели. Было десять вечера.

– Не возражаешь, если я закурю? – наконец спросил он.

– Ты же не куришь. – В его квартире табаком не пахло. Только им. И я снова чувствовал этот запах.

– Теперь курю... А ты когда начал? Обоняние у него было отменное. Я помолчал.

– Когда приехал сюда. Без этого и стажировка – не стажировка. Валяй, кури.

Он нашарил в кармане рубашки пачку и выудил две сигареты. Мне вспомнилась лавчонка Али, единственное известное мне место, где можно было купить сигареты россыпью. В Америке они продавались только пачками или блоками.

Он протянул сигарету мне. Я уставился на нее. Он уже готов был убрать руку, когда я взял сигарету. Щелкнув зажигалкой, он подождал, пока я спущу ноги с кровати.

Пламя высветило четырехпалую ладонь. Я наклонился и прикурил.

Спасибо, отец.

Старая пластиковая чашка послужила нам пепельницей. Я затынулся, прикинул, что за сигареты он курит. Оказалось «Ротманс». Те же, что и в Эфиопии, а, кто знает, может, и в студенческие годы в Британии. «Ротманс» мы иногда курили и в Госпитале Богоматери, нам перепало от щедрот Дипака, которого снабжали табачными изделиями с огромной скидкой какие-то люди с Канал-стрит.

Дым закружился в падающем от окна свете. Мне вспомнилась наша кухня в Миссии, танцующие в лучах утреннего солнца пылинки, что составляли целую галактику. Это зрелище давало мне, ребенку, представление о красоте и ужасе мироздания. Чем пристальнее всматриваешься, тем больше тайн тебе открывается, насколько хватает фантазии.

– Я не жду, что ты меня поймешь, – пробормотал он, и на секунду мне показалось, что речь идет о танцующих пылинках. Звук его голоса взбесил меня. Кто ему разрешал брать слово? У меня, в моей комнате?

– Тогда не будем об этом. Еще помолчали.

Он сломался первым:

– И как тебе хирургия? Нравится?

Он правда хочет, чтобы я ему ответил? Не будет ли это слабостью с моей стороны? Надо подумать. Пускай пропотеет.

– Нравится ли мне хирургия? М-м-м... С Дипаком мне повезло. Он из меня делает человека. Вырабатывает верные навыки, учит основам...

Я смолк. Мне показалось, я слишком разговорился. В моем тоне было что-то искательное, будто я нуждался в его одобрении. Вот уж нет. Гхошу из-за бегства Стоуна пришлось освоить хирургию, и учить его было некому. А ведь предсмертное желание Гхоша...

– Я знаю кое-кого, с кем Дипак стажировался. Слова Стоуна нарушили ход моей мысли. Послание Гхоша может подождать. Не время сейчас.

Настроение не то.

– Да неужто?

– Я поспрашивал насчет него. Тебе повезло.

– А Дипаку нет. Да и все мы бегаем по кругу.

– Может быть, нет.

Милостей я от него не добивался. Ничего мне от него не нужно. Он беспокойно пошевелился, но не потому, что ему было неудобно сидеть. У него что-то для меня припасено, он только ждал, когда я задам вопрос. Не дождешься.

– В моей жизни был такой Дипак, – сказал он. – Моего учителя звали доктор Брейтвейт. Борец за правду. С годами моя к нему признательность только увеличивается. И все-таки, несмотря на его наставничество, после стольких лет, мне очень сложно...

Он внезапно замолчал. Поддерживать разговор явно стоило ему немалых трудов. Пожалуй, задушевные беседы – не его жанр. Да он с самим собой и то не откровенничает. Ничего, посиди, подумай, время есть.

– Что очень сложно?

Надо было его выставить. Мне, что ли, прикажете вести разговор?

– Мне очень сложно оперировать. Особенно тяжело даются плановые операции. Делается так тревожно на душе. Просто ужас. Даже если речь идет о грыже или водянке... чем проще операция, тем чаще на меня накатывает... Приходится хвататься за хирургическую анатомию, проходить все этапы по учебнику, хотя после стольких лет мне все это совершенно ни к чему. А вдруг я что-то забуду? Или свихнусь? Порой меня охватывает отчаяние, делается тошно... И конца-краю этому не видно. А хуже всего, когда знакомый сотрудник больницы приводит свою мать...

Мне вспомнился огромный анатомический атлас, который я видел у него в квартире, и рядом хирургический атлас; оба тома, раскрытые, лежали на столе, словно он сверялся с ними в последнюю минуту, прежде чем уйти...

– А как прошел тот день, когда я... когда была конференция по заболеваемости и смертности?

– То-то и оно. Простая экстирпация шишки на груди, и если биопсия положительная, последующая мастэктомия и удаление лимфоузла. Я сделал сотни таких операций. Если не больше. Но пациенткой была наша медсестра. Человек мне доверился.

– И что произошло?

– Я вошел в операционную с таким чувством, что сейчас потеряю сознание. Никто, разумеется, ни о чем не подозревал. Маска есть маска. А

как только я делаю первый разрез, все страхи остаются позади. Даже смешно. Это больше не повторится, говорю я себе. Но все мои усилия напрасны.

– А в Эфиопии такое случалось? Он покачал головой:

– Нет. Наверное, потому, что я знал: пациенту больше не к кому обратиться. Кроме меня во всем городе еще два хирурга. Здесь-то хирургов масса.

– А может быть, те жизни меньше стоили? Туземцы. Кого они интересовали? Помрет так помрет, чего беспокоиться? Забираете же вы органы у наших пациентов в Госпитале Богоматери.

Его передернуло. Наверное, с ним никто никогда в таком тоне не говорил. Но ведь никаких правил, как нам общаться, мы не устанавливали. Не нравится – можешь уходить.

– Я не жду, что ты меня поймешь.

И он имел в виду вовсе не свои страхи перед операцией. Стоун похлопал себя по карманам, не нашел того, что искал, заморгал. Какая еще кара его постигнет? Он пошевелился на стуле, принялся качать ногой.

– Понимаешь... Мэрион... – Мое имя было для него непривычным. – Я... Логика не может объяснить всего.

Твердо поставив ноги на пол, он наклонился вперед:

– Я не могу тебе четко объяснить, почему поступил именно так... Я и сам не понимаю, как это произошло. Даже по прошествии стольких лет...

Чего это он не понимал? Мои войска были в полной боевой готовности. В голове вертелись мудрые слова, которые я скажу. Например: Не трать понапрасну время. Или: Я все прекрасно понимаю. Ты избрал кратчайший путь. Разрубил гордиев узел. Все ясно. А может быть, под «этим» он подразумевал мамину беременность?

– Гхош сказал, что ты не знаешь, как так получилось. Что это загадка для тебя.

– Да! – облегченно выдохнул он и вдруг покраснел. – Он так сказал? Он прав.

– Вроде Иосифа? Мария и непорочное зачатие ребенка? Целых двух, в твоём случае.

– Да. – Он положил ногу на ногу.

– Может, ты не считаешь себя моим отцом?

– Нет, не то. Я – твой отец. Я...

– Ты мне не отец! Гхош – мне отец! Он вырастил меня. Он научил меня всему, от велосипеда до крикета. Он привил мне любовь к медицине. Не будь Гхоша, я бы не попал сюда. Он – величайший из людей, живших на

земле.

Я заманил его в ловушку. Но, как оказалось, перехитрил сам себя.

– Живших? – Он снова уперся ногами в пол и наклонился вперед.

– Гхош умер. Лицо его застыло.

Я дал ему время переварить новость. Наверняка ему хотелось узнать подробности, но он ни о чем не спросил. Весть огорошила, опечалила его. Это меня тронуло, но воинственный настрой не прошел.

– Ты можешь не беспокоиться, – сказал я. – Отец у меня был.

– Я не жду, что ты меня поймешь... – повторил он.

– И все-таки расскажи.

– С чего начать?

– Начни сначала. И продолжай, пока не доберешься до конца. Тогда и остановишься, сказал Король очень мрачно. Знаешь, чьи это слова?

Я был доволен собой. Знаменитому Томасу Стоуну сейчас будет преподан урок. Разумеется, он без запинки назовет ответвления сонной артерии или границы винслова отверстия, но как насчет Льюиса Кэрролла? Как насчет «Алисы в стране чудес»?

Его ответ поразил меня. Он был неправильный и вместе с тем верный.

– Гхоша, – сказал Стоун. И хрипло вздохнул.

Глава восьмая. Вопрос времени

Ребенком Томас Стоун спросил маали – садовника, – откуда берутся маленькие мальчики. Садовник, смуглый человек с затуманенными глазами, дыша перегаром, ответил:

– Конечно же, тебя принес вечерний прилив! Я нашел тебя. Ты был нежный, розовый, с одним плавником и совсем без чешуи. Говорят, такие рыбы попадают только на Цейлоне, но тебя каким-то ветром занесло к нам. Я тебя чуть не съел, хорошо, аппетита не было. Вот этим самым серпом я обрезал плавник и отнес тебя к мамочке.

– Я тебе не верю. Мы с мамой точно плавали вместе в море. Мы были одной большой рыбой. Я жил у нее в животе и вышел наружу, – сказал мальчишка, поворачиваясь к нему спиной.

Маали мог заговорить зубы кому угодно. Но если бы Хильда Стоун услышала, что он плетет ее единственному ребенку, она бы немедленно прогнала садовника.

Дом маленького мальчика стоял у самых стен форта Св. Георгия в Мадрасе. Над недостроенными укреплениями возвышался шпиль церкви Св. Марии. Церковное кладбище, на котором покоились пять поколений англичан – мужчин, женщин и детей, которых уложили в могилу тиф, малярия, кала-азар* и (редко) почтенный возраст, – было его площадкой для игр.

* Кала-азар (хинди – черная болезнь), лихорадка «дум-дум», индийский висцеральный лейшманиоз, инфекционное заболевание, передающееся москитами.

Форт Св. Георгия был первым домом Ост-Индской компании, церковь Св. Марии – первым англиканским храмом в Индии (а самую первую христианскую церковь построил в 54 году н. э. святой апостол Фома, высадившийся на побережье Кералы). В церкви есть памятная доска, посвященная свадьбе лорда Роберта Клайва, а еще одна доска увековечивает имя губернатора Элайху Йеля, того самого, что основал в Америке Йельский университет. Но никаким знаком не отмечен брак Хильды Мастере из Файфа, учительницы и гувернантки, и Джастифуса Стоуна, чиновника британской администрации, почти на двадцать лет старше ее годами.

Томас считал, что все дети выросли в той же обстановке, что и он, – с видом на Индийский океан, под грозный шум волн, разбивающихся о

стены форта. А еще ему казалось, что у всех такие же отцы, как у него, – по ночам натываются на мебель, шумят и всех будят.

Голос у Джастифуса Кея Стоуна был очень громкий, а его щетинистые усы наводили страх на детей. Чиновники из регионального налогового управления были полубоги, секретари и прихлебатели вертелись вокруг них словно мухи вокруг перезревших манго. Отлучки у сборщиков налогов длились неделями, а когда Джастифус Стоун появлялся дома, его как бы и не было, несмотря на весь шум, который он производил. Томас понял (дети многое замечают, но им не хватает слов, чтобы выразить свои чувства), что Джастифус занят только собой, а жену ни в грош не ставит... Это, наверное, и подтолкнуло ее к религии. Муки Христа помогали ей легче переносить собственные страдания.

Блаженны кроткие.

Блаженны миротворцы.

Блаженна юная гувернантка, вышедшая замуж за пожилого чиновника в надежде, что ей удастся излечить его от малярии, пристрастия к джину и туземным женщинам, ибо она есть Царствие Небесное.

Благословение снизошло на Хильду в виде ее голубоглазого мальчика-растрепы, который, казалось, не ходил, а летел, едва касаясь земли.

Няне мальчика, по имени Себестье, ничего не оставалось, кроме как играть с Томасом, хотя Хильда первая подставила спину и принялась изображать слона, несущего великого охотника Джима Корбетта к логову тигра. Хильда рисовала красной охрой крикетные калитки на белых стенах и кидалась в сына теннисным мячиком. Она пела ему гимны и обмахивала веером, когда духота не давала уснуть. Ее чистый голос звенел колокольчиком и будил сонных ящериц на стенах. Ее пушистые каштановые волосы, разделенные посередине на пробор, мягко обрамляли лицо.

Среди ночи он тянул к ней руки, и она всегда была рядом. Но в те ночи, когда Джастифус Стоун был дома, малышу спалось плохо, ибо он оставался один и боялся за маму. С крикетной битой мальчик караулил у закрытых дверей спальни, готовый вмешаться, если шум не стихнет. Но шум неизменно затихал, и мальчик возвращался к себе. Утром он открывал глаза, и мама опять была с ним в его постели и смотрела на него из-под вуали волос.

Каждому бы ребенку мать с таким ровным темпераментом, неудовольствие она выказывала до того редко, что оно потом долго помнилось. Томас жил, чтобы радовать мать, и очень старался ее не огорчать. Они как будто знали, что жизнь коротка, а мгновение

быстротечно.

Ему исполнилось восемь, когда Хильда принуждена была покинуть церковный хор. Ее кашель, поначалу чуть заметный, словно отдаленная канонада, делался все сильнее и назойливее. Доктор Уинтроп, щеголь, который не беседу вел, а истины изрекал, заявил, что матери и сыну следует спать отдельно «ради блага ребенка».

Но и в другой комнате ее бил по ночам такой кашель, что мальчик закрывал уши подушкой.

– Несомненно, чахотка, – сказал как-то Томасу доктор Уинтроп, откладывая стетоскоп и термометр. – Кашель сухой. Туберкулезный плеврит.

Он говорил с мальчиком, будто с коллегой, и важно пожал ему руку. Когда ей станет лучше? Покой, диета и гидротерапия. Через некоторое время, прямо скажем, не скоро, процесс остановится. В конце концов, это не от нас зависит, не так ли, мастер Стоун?

Когда Томас спросил, от кого же это зависит, Уинтроп возвел глаза к потолку. Много времени прошло, прежде чем мальчик понял, что доктор имел в виду вовсе не Джастифуса, чьи тяжелые шаги заставляли качаться люстру. Он имел в виду Бога.

Как-то под утро Томасу приснились запряженные лошадьми кареты, стук копыт звучал у него в ушах. Когда он проснулся, ему сказали, что ночью мама сильно кашляла, потеряла много крови и что послали за Уинтропом. Хильду увезли, даже не дав поцеловать сына в лоб. Узкоколейкой ее доставили на горный курорт неподалеку от Уути, где доктор Росс, вдохновленный знаменитой клиникой доктора Трудо на озере Саранак под Нью-Йорком, выстроил санаторий. Белые коттеджи копировали Саранак, крылечки и низенькие кровати на колесиках были точно такие же.

Обессилев от рыданий, Томас заснул на костлявой груди Себестье. Он был зол на Хильду за то, что она заболела, и за установившуюся между ними близость, которая делала разлуку невыносимой. Он не был похож на своих одноклассников, которые любили нянюшек больше, чем родителей, и которым расставание было нипочем. За один вечер Себестье выросла до суррогатной матери, но Томас не спешил дарить ей свою любовь. К тому же няня точно так же могла исчезнуть.

Перед школой Томас заходил в церковь Св. Марии и пятьдесят раз произносил «Отче наш» и «Аве Мария», впрочем, возвращаясь из школы, он снова наведывался в церковь и молился еще раз. Он столько стоял на коленях, что на коленных чашечках образовались шишки. Шею его

охватывал шнурок, на котором висело тяжелое распятие из ее комнаты, он прятал его под школьной формой, и распятие впивалось в грудь, а шнурок врезался в шею. За неимением первенца или агнца он принес в жертву свою крикетную битку, расколотил ее о камень. Он постился, пока не начала кружиться голова. Он порезал себе предплечье бритвой и окропил кровью место поклонения Деве Марии, которое соорудил у себя в комнате. Себестье сводила его в храм Мамбалам и даже в крошечный уличный храм за их домом. Но Бог был глух.

Меж тем отец курсировал по установившемуся маршруту: Веллоре, Мадурай, Туतिकорин и все промежуточные пункты. Когда Джастифус Стоун появлялся дома, он едва успевал снять тропический шлем или распаковать багаж, как вновь оказывался в пути. Сына он прозвал Архиепископ Кентерберийский, и если хотел подбодрить его таким образом, то цели не достиг. С сыном Джастифус говорил в такой манере, словно перед ним толпа слушателей. По ночам до Томаса долетали его неверные шаги, грохот мебели, на которую Джастифус натыкался. С его отъездом делалось легче.

Прошел год такой почти сиротской жизни в большом доме, где компанию ему составляли Себестье, повар Дураи, садовник Сетума (он к тому же стирал белье и мыл кафельный пол) и неприкасаемый, который появлялся раз в неделю и чистил уборные.

На Рождество сын и снисходительно похлопывающий его по спине отец сели за праздничный стол, гость у них был единственный, клерк отца Эндрю Фодергилл.

– Что за пир! Хорошо, что все вы собрались. Принимайтесь за трапезу, угощайтесь! – призывал отец, хотя за столом было всего лишь трое, да еще Дураи ждал за дверью кухни. – Мы не можем позволить им удрать с добычей. Кокосовые волокна – это неплохие деньги, они идут на веревки, циновки. Мы их заработали, черт меня побери, и мы их получим.

Он говорил и говорил с набитым ртом, и крошки летели у него с губ. Фодергилл храбро пытался придать словам начальника какой-то смысл, худо-бедно связать их вместе. Тут Джастифус принялся чесать ляжку, потом вторую, ерзая на стуле и сердито глядя себе под ноги, будто под стол забралась собака, что, разумеется, было немислимо, коли хозяин находился дома. К тому времени, как подали пудинг, он чесался так ожесточенно, что Томас был вынужден спросить:

– Что вас беспокоит, сэр?

– У меня шерсть на ногах, сынок. Ничего из-за нее не чувствую. Такая досада. – Он с трудом встал, чуть не опрокинул стол и заковылял восвояси,

хватаясь за мебель и стены, еле отрывая ноги от пола.

Томас проводил Фодергилла до дверей. Запомнилось сочувственное лицо гостя.

20 января.

Мой милый сыночек, температура у меня 36,7; 37,2; 37,8; 37,3. Когда термометр показал 38,6, я не поверила и стряхнула ее. Наши кровати выкатывают на крыльцо, а вечером увозят обратно. То туда, то сюда. Мне не разрешают вставать даже в туалет. СТРОГИЙ ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ. Трудно поверить, что даже на этом крыльце, в холоде и тумане, наше тело вырабатывает больше тридцати градусов. Неслучайно нас называют теплокровными животными.

Под кляксой стояла подпись:

Это мои слезы, я плачу по тебе, милый мой мальчик.

В каждом письме Хильда подчеркивала, чтобы он мужался и набрался терпения.

Время для Томаса больше не делилось на дни, ночи или времена года. Оно представляло собой сплошную тоску по матери.

Врачи говорят, что заметных улучшений у меня нет, но ухудшений тоже нет, и уже этому стоит радоваться...

Он, как положено, ходил в школу. Молись, убеждала его мать, – молись ежечасно, и Бог услышит тебя и ответит на молитву. За ее здоровье он молился постоянно.

Знаю, Бог не хотел нашей разлуки, и скоро мы снова встретимся.

Однажды Томас проснулся и обнаружил, что подушка у него мокрая. Когда Себестье зажгла лампу, они увидели печать зверя: легкие красные брызги составили до странного изысканный узор. Себестье разрыдалась, а его переполнила радость: он снова увидит маму. И как это раньше не пришло ему в голову?

Два босых служителя в белых одеждах встретили его с носилками в Уути и отнесли прямо в коттедж Хильды. Он забрался на ее узкую койку, в ее объятия. Ему было одиннадцать лет.

– Твой приезд – лучший и худший подарок, который у меня в жизни был, – объявила она.

Смертельно бледная и исхудавшая, она казалась тенью самой себя. Ее игривость улетучилась, ее сменила разделенная печаль, что сквозила в обведенных беспокойными кругами глазах ее долговязого сына. Они сидели рядышком на крыльце коттеджа, их пальцы сплетались, будто сухие корни. По утрам они видели, как плывут по низко стелющемуся туману сборщики чая, слышали, как позвякивают на каждом шагу их ведра. Днем

только медсестры нарушали их одиночество: измерить температуру, подать завтрак и лекарства. В сумерки сборщики чая направлялись домой, – значит, пора спать.

Поскольку Хильде не хватало дыхания, читал ей он, бегло, выразительно, она им гордилась. У тростниковых кресел в гостиной были широкие подлокотники и подставки для письма, на них они писали друг другу письма, запечатывали в конверты, а закончив обед, вскрывали и прочитывали. Молились они не меньше трех раз в день. В самый пронизывающий холод они, взявшись за руки, оставались на свежем воздухе.

Поначалу у Томаса чуть-чуть кружилась голова от разреженного горного воздуха. Сил у него прибавилось, кашель стих. Но ничто – ни воздух, ни молоко, ни мясо, ни яйца, ни тонизирующие средства – не помогало Хильде. Ее кашель был другим – словно гусак заготтал. Он заметил у нее на груди болезненную припухлость, подсмотрел, когда она раздевалась, – шишка была размером с яйцо малиновки, только темнее. Спросить он постеснялся, старался только не класть голову на это место, чтобы не причинить боли. Видимо, это и была чахотка, туберкулез, палочка Коха, микобактерия... как ни назови, коварный враг, созревший в ней, останется врагом

Как-то вечером, когда они лежали в своих кроватях, сдвинутых вместе, и он читал ей молитвенник, она встревожено вскрикнула. Он провел глазами по прочитанной фразе, не пропустил ли что, и посмотрел на мать. Кровь струей, как из огнестрельной раны, лилась на ее белую ночную рубашку.

На всю жизнь он запомнит ту ужасную минуту, когда понял, что она умирает, и прочел в ее глазах боль расставания.

На мгновение Томас оказался парализован, затем подскочил к матери и сдернул с нее мокрую сорочку. Из ее груди в потолок толчком ударил фонтан крови и опал на пол. И еще раз. И еще. Кровь забрызгала потолок, залила все вокруг, пропитала открытые страницы молитвенника.

Он в ужасе отпрянул. Зрелище было поистине чудовищное. Когда он попытался прикрыть чем-нибудь красный гейзер, напор уже упал. Хильда плавала в собственной крови, ее лицо в алых пятнах было блее мела. Она умерла.

Томас прижал к груди ее голову, омыл слезами. Явился доктор Росс в халате поверх пижамы и сказал Тому:

– Это было неизбежно. Аневризма сидела у нее в груди уже больше года. Вопрос времени. Не бойся, кровь не заразная.

Вот уж о чем мальчик и не думал вовсе.

Один, совсем один. У Тома поднялась температура и опять начал донимать кашель. Он отказался перейти из коттеджа в изолятор, ведь коттедж – это было последнее, что связывало его с матерью. Ему сделали рентген. Потом появился Мутукришнан, рецептурщик, он прикатил с собой тележку, на которую был водружен аппарат для пневмоторакса в корпусе из полированного дерева. Муту присел на корточки, вытер лицо, раскрыл ларец, принялся распаковывать сосуды, манометры и трубки. Вскоре подошел и доктор Росс, который сам когда-то излечился от туберкулеза.

– Снимки плохие, парень. Ничего хорошего, – сказал он.

«Это вопрос времени, – подумал Томас. – Скоро я буду рядом с мамой».

Он не дрогнул, когда ему между ребер вонзили иглу, которая проникла в плевральную полость, нарушив вакуум. Росс объяснил:

– Теперь измеряем давление.

Он манипулировал иглой, а Муту возился с двумя сосудами, по приказу Росса то поднимая их, то опуская.

– Это искусственный пневмоторакс. Так по-научному называется процедура введения воздуха в пространство, образованное листками плевры, которые окружают легкие, с целью схлопывания пораженной части легкого. Этим палочкам Коха нужен кислород, чтобы развиваться, а мы им его перекроем.

Лежа лицом вниз, тяжелобольной Том успел подумать, что в этих рассуждениях нет логики: а как насчет кислорода для меня, доктор Росс? Но своих мыслей он не озвучил.

Тому пришлось лежать на животе круглые сутки, в этом положении его удерживали мешки с песком. То и дело появлялся Муту, проверял самочувствие. Он заметил внезапную лихорадку и озноб. Через искусственный пневмоторакс в плевральную полость попала инфекция. Откуда-то издали донесся голос Росса:

– Эмпиема, мой мальчик. Нагноение. Гной скопился вокруг легкого. Бывает. Хотя у моих пациентов еще не было. Мне очень жаль. К сожалению, гной слишком густой и иглой его не откачаешь.

Его отвезли в выложенную кафелем операционную, посреди которой возвышался узкий стол, над ним мозаичным глазом насекомого нависал светильник. Помещение произвело на мальчика сильное впечатление. В нем было что-то потустороннее и вместе с тем сугубо земное.

Под местной анестезией Росс произвел разрез до левого соска, раскрыл три расположенных рядом ребра, вырезал из них короткие куски и

удалил свод полости эмпиемы. Гною стало негде скапливаться. Несмотря на анестезию, Томасу было мучительно больно.

Томас спросил, когда обрел дар речи:

– А такой разрез не нарушит вакуум всей плевральной полости? Ворвавшийся воздух не уничтожит легкое целиком?

– Блестящий вопрос, – восхищенно произнес Росс. – У здорового человека так оно и было бы. Но из-за инфекции плевры у тебя сделалась толстая и жесткая, как короста. Так что в твоём случае легкое не схлопнется.

Целую неделю гной пропитывал марлевые повязки. Когда истечение уменьшилось, Росс затампонировал рану, дабы «лечение шло задним числом». Во время перевязок Том разглядывал каверну в зеркало, гордясь тем, как быстро рана заживает.

Росс был жизнерадостный круглолицый коротышка с самой непримечательной внешностью и кривыми ногами жокея. Он всегда грел в пухлых руках головку своего стетоскопа, прежде чем прижать холодный металл Тому к груди, тщательно выстукивал, напряженно слушал. Когда повязку снимали, они вдвоем изучали каверну.

– Видишь эту красную, зернистую основу, Томас? Мы называем ее грануляционной тканью. Она постепенно заполнит рану, а поверх нее нарастет кожа.

Так и вышло. Одно время грануляционная ткань клубничной выпирала из раны.

– Гордая плоть, – прозвал ее Росс, взял щипцами кристаллик медного купороса и прижег выскочку.

В один прекрасный день Росс принес Томасу книгу Мечникова «Невосприимчивость в инфекционных болезнях» и Ослера «Принципы и практика медицины». Читать Мечникова оказалось непросто, но Томасу понравились рисунки, на которых белые тельца пожирали микробов. С Ослером Том справился на удивление легко.

В этой жизни, что представляла собой не более чем прелюдию к смерти, Том с нетерпением ждал, когда придет доктор Росс и произведет привычные действия, хотя и старался сдерживать свою привязанность к нему, чтобы горечь потери была не так велика.

– Я никуда не денусь, – сказал однажды Росс. – И поскольку ты все равно здесь, почему бы тебе не составить нам компанию на обходах? – Повернулся и вышел, не дожидаясь ответа.

Полтора года провел Том в санатории, пока Росс наконец не объявил, что мальчик здоров. За все это время он ни разу не виделся с отцом. Два

раза приезжал Фодергилл, говорил, что Джастифус Стоун очень болен и никуда не выезжает. Томас спросил Росса, чем болен отец.

Росс замялся:

– У него не туберкулез. Другая болезнь.

– Что-то с ногами?

Росс взъерошил мальчику волосы:

– Нелепая болезнь. Не повезло. Он прикован к постели. Будешь изучать медицину, узнаешь.

Впервые Росс заговорил с Томасом об изучении медицины. У мальчика затрепетало сердце. Словно в кромешной тьме возник луч света и указал ему будущее. Хоть какое-то.

Росс, ставший официальным опекуном Тома, решил, что мальчику следует отправиться в интернат в Англию. Перед отплытием Томас и не подумал проведать отца в мадрасской больнице.

Прошло два семестра, и Росс написал ему, что отец умер. Скромное наследство при опекуновстве Росса позволит Томасу закончить школу и поступить в университет.

Росс настойчиво подталкивал Томаса к медицине как к чему-то неизбежному. Причин сопротивляться у Томаса не было. Жизнь убедила его, что у него хорошо получаются только две вещи: болеть и страдать.

На медицинском факультете в Эдинбурге он с головой ушел в учебу, обретая стабильность и цель, которых раньше ему так не хватало. Он обложился книгами, никуда не ходил, кроме как на занятия и в анатомичку. Когда глаза уставали, он робко проскальзывал в больницу, авось никто не прогонит. Тут он свел знакомство со штатными врачами и со студентами-старшекурсниками и задолго до начала клинической практики получил доступ к интересным пациентам.

Больничный швейцар прозвал Томаса «наблюдатель». Юноша не возражал. В упорядоченном хаосе больницы, в лабиринте коридоров, в замкнутом зловонном пространстве он обрел порядок и убежище, он обрел дом. Страдание и мука сделались его ближайшими родственниками.

У пьяницы Джонса было так много общих черт с отцом Томаса, что это даже пугало; восковое лицо, опухшие околоушные железы, потеря внешней трети бровей и набрякшие веки – все это придавало облику обоих что-то львиное. Теперь, научившись видеть, Том сопоставил и прочие симптомы: красные ладони, целое созвездие капилляров на подбородке и шее, женская грудь, отсутствие волос под мышками. У отца был цирроз печени. Наверное, это и была та «нелепая» болезнь, которую Росс из вежливости не хотел называть.

В промозглый ледяной вечер, сидя в библиотеке, Томас вдруг с шумом захлопнул книгу, перепугав миссис Пинкус, библиотекаряшу. Последняя часть головоломки встала на место. Юноша, который дневал и ночевал на своем месте в читальном зале подальше от камина, внезапно вскочил с места и смятенно выбежал под дождь со снегом, даже не надев шапки.

Томас стрелой пронесся по длинному коридору к своей комнате в кромешной тьме. А вот отец не мог перемещаться в темноте, его спинной мозг блокировал сигналы, идущие от коленей и лодыжек, они не говорили ему, в какой точке пространства он находится. Прыгающая, притопывающая походка Джастифуса, особенно резко проявляющаяся в темноте, когда он не видел, куда ставит ноги, была следствием сифилиса спинного мозга, *tabes dorsalis**. Детям не следует сообщать такое о родителе.

* Форма позднего нейросифилиса, характеризующаяся развитием дегенеративных изменений в задних корешках и в задних столбах спинного мозга.

В комнате Томас сорвал с себя одежду, встал перед зеркалом и с помощью второго зеркала осмотрел себя всего. Сифилидов нет. Гумм нет. Он вслушался в удары сердца, но не заметил ничего особенного. И тут он понял, что его страх абсурден, наследственный сифилис передался бы ему по плаценте, от матери. Нет оснований для беспокойства. Ведь у мамы был туберкулез. Чистая, невинная, она бы никогда...

Он зарыдал в тоске, как ребенок, расстающийся с последней иллюзией. Наконец все стало ясно.

Ведь все происходило у него на глазах. Туберкулез не может быть причиной такой аневризмы, а сифилис может.

– Мама, бедная моя мама...

Слезы градом катились у него по щекам. Джастифус убил Хильду своей необузданной похотью. Она бы смогла вылечиться от туберкулеза, но так бы никогда и не узнала, что у нее сифилис, если бы не появившаяся в санатории аневризма на груди. Росс, наверное, сказал ей, чем она больна. На этой стадии ни сальварсан, ни даже пенициллин, будь он тогда в продаже, уже не смогли бы ее спасти.

На последнем курсе медицинского факультета Томас купил себе личного покойника, чтобы повторить вскрытия первого курса. Он вновь и вновь убеждался в совершенстве человеческого тела.

«Стоун здесь?» – этот вопрос часто звучал в приемном покое, поскольку этот студент-медик был тут куда более частым гостем, чем швейцары и санитары, и всегда был готов зашить больному рану, промыть

желудок или доставить свежую кровь. Если его просили подготовить операционное поле или поддержать ретрактор при срочной операции, он был счастливейшим из студентов.

Как-то вечером доктор Брейтвейт, старший хирург-консультант и главный эксперт Королевского колледжа хирургов, прибыл, чтобы осмотреть больного с ножевой раной живота. Брейтвейт, личность легендарная, разработал новую технику операций рака пищевода. Нетрезвый пациент был до смерти перепуган, скверно ругался и лез в драку. Брейтвейт, невысокий седовласый человек в синем костюме-тройке (такого же цвета у него были и глаза), велел санитарам перестать его держать, мягко положил руку больному на плечо и произнес:

– Не волнуйтесь. Все будет хорошо.

Раненый, не сводя глаз с элегантного доктора, совершенно стих и, пока его опрашивали и осматривали, был кроток как ягненок. Завершив осмотр, Брейтвейт обратился к нему как к ровне:

– Рад вам сообщить, что нож не задел крупных кровеносных сосудов. Уверен, что вы поправитесь, так что беспокоиться не о чем. Я сам вас прооперирую, уберу все повреждения. Сейчас мы отвезем вас в операционную. Все обойдется.

Пациент рассыпался в благодарностях. Убедившись, что пациент его не слышит, Брейтвейт обратился к своей свите из ординаторов и штатных врачей:

– Так что же надо проделать с органами слуха в качестве первой помощи при шоке?

Выражение было бородатое, особенно в Эдинбурге. Хотя все меньше людей помнило овечьи веками фразы, что крайне огорчало Брейтвейта и представлялось ему по-своему знаменательным. Ну разве не показатель слабости врачей теперешнего поколения, что только один студент знает ответ?

– Вложить в них слова поддержки, сэр!

– Очень хорошо. Будете ассистировать мне при операции, мистер...

– Стоун, сэр. Томас Стоун.

Во время операции Брейтвейт обнаружил, что Томас умеет не путаться под ногами. Когда Брейтвейт попросил обрезать лигатуру, тот скользнул ножницами до узла, затем повернул их на сорок пять градусов и отрезал, тем самым избежав опасности перерезать узел. Стоун так замечательно понял свою роль, что, когда старший ординатор сунулся было ассистировать, Брейтвейт его прогнал.

Указав на сосуд, проходящий над пилорусом, Брейтвейт спросил

Томаса, что это.

– Привратниковая вена Мэйо, сэр, – ответил Томас и вроде как собрался сказать что-то еще. Брейтвейт подождал, но Стоун молчал.

– Да, ее так называют, хотя эта вена обреталась на своем законном месте задолго до того, как Мэйо наткнулся на нее. Как вы полагаете, зачем он задал себе труд присвоить ей свое имя?

– Полагаю, чтобы дать ориентир для определения местонахождения пилорического жома при операции ребенка с пилорическим стенозом.

– Верно, – сказал Брейтвейт. – Ее следовало назвать препилорической веной.

– Этак было бы лучше, сэр. А то правая желудочная вена именуется еще и пилорической веной. Это вносит путаницу.

– Так оно и есть, Стоун, – проговорил Брейтвейт, изумленный познаниями студента. На такие тонкости мог не обратить внимания даже хирург, специально занимающийся желудком. – Если уж необходим эпоним, назовем ее веной Мэйо или даже веной Латерже, если на то пошло. Не стоит только именовать ее «пилорической».

Вопросы Брейтвейта стали сложнее, но молодой человек отвечал блестяще, его познания в хирургической анатомии были исключительными.

Брейтвейт позволил Томасу зашить рану и с радостью увидел, что тот пользуется обеими руками и экономит время. Было еще над чем поработать, но ясно, что этот студент многие часы убил на то, чтобы вязать узлы как одной рукой, так и двумя. Стоун имел достаточно здравого смысла, чтобы не хвастаться перед Брейтвейтом своей ловкостью, и вязал узлы хоть и двумя руками, зато изящно и надежно.

На следующее утро Брейтвейт обнаружил, что Стоун всю ночь провел у кровати пациента в послеоперационной палате.

В конце года, после сдачи всех экзаменов, Томас был назначен на желанную должность штатного врача при больнице Брейтвейта. Шон Гроган, блестящий студент-медик с большими связями, набрался смелости и спросил Брейтвейта, что ему следовало предпринять, чтобы получить эту должность вместо Стоуна.

– Это очень просто, Гроган, – ответил Брейтвейт. – Следует назубок знать анатомию, безвылазно находиться в больнице и ставить хирургию выше сна, женщин и грога.

Из Грогана вышел патолог, знаменитый в своей области. В частности, немалую известность ему снискала его толщина.

На войне Томас был врачом, вместе с Брейтвейтом трудился в полевом госпитале в Европе. В 1945-м вернулся в Англию, сначала младшим

ординатором, потом старшим. Вчерашний мальчишка сразу угодил в доктора, перепрыгнув через подростковый период.

Росс редко приезжал в Шотландию. Томасом он гордился, любил повторять:

– Ты одно утешение в моей холостяцкой жизни. Так уж вышло, что я не женился. «В жизни и работе следует достигать совершенства» – я же справился только с работой. Надеюсь, ты не повторишь мою ошибку.

Росс планировал удалиться на покой и поселиться неподалеку от санатория, каждый вечер играть в Уути в рамми, читать и сражаться в гольф с отставными офицерами. Но стоило ему выйти на пенсию, как в здоровом легком у него обнаружилось злокачественное новообразование. Томас немедленно вернулся в Индию и следующие полгода прожил вместе с Россом. За это время метастазы образовались в мозгу. Росс упокоился с миром, на руках у Томаса, верного Муту, старого и седого, у одра также дежурили многочисленные сестры и бывшие пациенты.

На похороны съехались европейцы и индусы, даже из таких далеких мест, как Бомбей и Калькутта. Росса похоронили на том же кладбище, что и многих его пациентов.

– Они герои, все, кто лежит здесь, до единого, – сказал над могилой преподобный Дункан. – Но среди тех, кто здесь погребен, нет никого, кто был бы проще, честнее и лучше служил Господу, чем Джордж Эдвин Росс.

Томас принял назначение на должность хирурга-консультанта в Правительственной больнице общего профиля в Мадрасе. Но в 1947 году, после обретения Независимости, положение изменилось. В индийской медицинской службе теперь заправляли индусы, которые без особого восторга относились к врачам-англичанам. Многие, правда, остались, но Томас знал: пора прощаться с родными местами, что вдруг стали чужбиной. Так он, откликнувшись на объявление, размещенное матушкой-распорядительницей в «Ланцете», попал на судно «Калангут», следовавшее в Аден. Именно на «Калангута» сестра Мэри Джозеф Прейз вошла в его жизнь, в буквальном смысле слова упав ему в объятия.

Томас Стоун полагал, что в нем имеются зачатки грубости, вероломства, себялюбия и жестокости, – в конце концов, он был сын своего отца. Он был склонен считать, что его добродетели пришли к нему с профессией, что он научился им, почерпнул из книг. Ему были интересны только страдания плоти – и никакие другие. Для утоления душевной боли и тяжестей утраты он нашел для себя лекарство.

Росс ошибался: совершенство в жизни достигается совершенством в работе. Томас случайно наткнулся на послание сэра Уильяма Ослера

выпускникам медицинских факультетов, где был сформулирован такой вот тезис:

Основополагающее слово – это работа, слово недлинное, но влекущее за собой такие последствия, что стоит его начертать на скрижалях сердца и зарубить себе на лбу.

Стоун зарубил себе на лбу: «работа». И про скрижали сердца не забыл. С этим словом он пробуждался и с этим словом засыпал. Работа была для него пищей, водой, женой, ребенком, образом жизни, религией. Он считал, что в работе – его спасение, пока в комнате общежития Госпиталя Богоматери не поговорил с брошенным им сыном. Только тут он понял, каким провалом обернулись его упования.

Глава девятая. Вид из окна

Тут он прервался. Стало тихо. Мне показалось, он спорит с самим собой, о чем рассказывать дальше. Когда Стоун снова заговорил, я подумал, что он перескочил через годы, проведенные в Миссии, вычеркнул из жизни маму, и я чуть было не нагрубил ему, но, к счастью, промолчал. Ведь именно о маме он и завел речь...

Дубы и клены за окном его комнаты пылают в безумном пламени. Он закрывает глаза, но кошмар не оставляет его. По натянутым нервам электрические разряды летят к мускулам. Его так трясет, что не поднести стакан к губам, большая часть воды проливается. Внутренности выворачивает наизнанку, пока ему не начинает казаться, что желудок засверкал, словно начищенный медный котел. Но желание бежать исчезло. Между ним и местом, откуда он бежал, простерся целый океан, если не два.

Эли Харрис и еще один человек, судя по его отчужденности, доктор, оставили ему на тумбочке рядом с кроватью успокоительную микстуру. Поначалу Томас ее не замечает, принимая запах аниса и камфоры за галлюцинацию. Но, обнаружив бутылочку, выпивает содержимое, словно в ней – искупление. Медицинский запах наполняет комнату и пропитывает дыхание. Наверное, в микстуре содержится опий, ведь ему делается легче. Или это просто кажется. Однако алкоголя в ней точно нет. С алкоголем покончено.

За всю свою жизнь он любил всего двух женщин, и обе умерли. И хотя эти две смерти разделяют многие годы, их образы накладываются у него в мозгу один на другой. Это лишило его разума. Он бежал, сам не понимая, куда и перед чем, и далеко бежал. Он не помнит, как добрался из Кении до Нью-Джерси, знает только, что у него есть благодетель, Эли Харрис.

Проходит неделя, измеряемая не днями, а литрами холодного пота и ночными страхами. Еще две недели – и горячка идет на убыль, а вконец измучившие его гадкие слизняки, ползающие по телу, по постели, потихоньку отступают и возвращаются в преисподнюю, откуда выбрались.

На тумбочке возле кровати хлеб и сыр на позавчерашней газете. Бутылочка, где была микстура, пуста. В кувшин кто-то налил воды. Опасность, похоже, миновала, и можно пододвинуть стул к окну. Ярко-красные листья на деревьях потемнели, морковный цвет сменился карминным, пунцовым, рубиновым, не найдется художника, чья палитра могла бы передать все промежуточные оттенки. Он сел, полный

благодарности за то, что может сидеть и видеть мир таким, какой он есть. Листопад в разгаре, миллионы летунов кружат в воздухе и устилают землю.

Ему лучше, как-то утром он даже выходит на улицу. По потрескавшимся половицам крыльца прыгает воробей, царапая коготками осыпающуюся краску. За глицинией хоронится рыжий котенок, поза его напряжена, из-под шубки выпирают лопатки. Котенок не сводит немигающих глаз с добычи. Птичка кокетливо вертит склоненной головой: то на человека посмотрит, то на зверя.

Атмосфера сгущается, и тут котик прыгает. Но воробей непрост. Он с легкостью вспархивает на перила, оставляя хищника ни с чем. У Томаса словно что-то ломается внутри, сковавшее его оцепенение отступает. В окружающем его мире судьба человека и воробья может быть решена в мгновение ока, такова истинная мера времени.

Потолок в спальне он изучил лучше, чем собственное тело. Лепнина четкая, упорядоченная, видна рука мастера. Правда, потом какой-то неумеха разгородил дом фанерными стенками и повешал готовых дверей. Но первоначальный замысел все равно виден.

Поначалу он считал, что во всем виновата микстура. Но она давно кончилась, а явление осталось: на потолке, а порой в луче света, что играет на оконном переплете, проигрываются сцены из его жизни. Он словно киномеханик, только не может поменять бобины, вмешаться. Остается смотреть и стараться без волнения оценивать игру актера, что выступает в роли его самого.

Как-то в начале зимы на Оушн-Сити налетает шторм и накрывает побережье ледяным дождем, злобно колотящим в окно. Дождь сменяется мокрым снегом, налипающим на ресницы. Снег засыпает северную часть Нью-Джерси, за пять часов – пять дюймов, заваливает дороги, аэропорты, прекращает занятия в школах, прерывает торговлю, но в своей уединенной комнате он и не подозревает об этом. Окно обмерзает по краям, оставляя узкую призму, сквозь которую виден застывший призрачный мир. В этот вечер он становится свидетелем сцены из собственной жизни, которая ставит его на самую грань. Он сидит на кровати и смотрит в узкую, зажатую льдом бойницу окна. Мысли его застыли, будто пейзаж за окном. Тишина. Слышно только его дыхание, но и оно, кажется, постепенно стихает.

Внезапно в его голове происходит какое-то шевеление, и из глубины памяти всплывают неведомые картины.

Сестра Мэри Джозеф Прейз – ангельски красивая.

Он всего-навсего сторонний наблюдатель, человек, который смотрит,

как кошка подкрадывается к птичке, прячась за глицинией. И вот что он видит:

Аддис-Абеба.

Госпиталь Миссии.

Работа.

Операции, больничные дела, писанина, не до сна, жизнь – полная чаша. Недели и месяцы так и летят. Ключевое слово – работа. И внезапно все замирает...

Такие периоды он прозвал «смутным временем».

Начало всегда одно и то же. Он просыпается в своей комнате в Миссии, его охватывает ужас, он не в силах дышать. Вот вдохнет раз – и все вокруг взорвется. Щупальца кошмара не отпускают его. Пространство искажается: спальня уменьшается, а обыденные предметы обихода – карандаш, дверная ручка, подушка – чудовищно увеличиваются в размерах и сейчас задавят, задушат его. И с этим ничего не поделать. Хочешь – садись, хочешь – шевелись, не поможет. Он – не ребенок и не мужчина, непонятно, где он находится, что за всем этим кроется, и он в ужасе.

Алкоголь не помогает, не снимает заклятия, хотя притупляет страх. Цена высока: грань между сном и явью окончательно стирается. Стоун пускается в странствие среди знакомых предметов, ставших символами, перед ним проплывают сцены из детства и образы из преддверия ада. Два голоса говорят наперебой, как комментаторы матча по крикету на радио. Это постоянный фон его эфиопских кошмаров. Слов не разобрать, однако у одного из комментаторов голос похож на голос Стоуна. Выпивка разгоняет страх, но не тоску. Его душат рыдания. Ему вспоминается Гхош – не призрак, а реальный человек, – он стоит перед Стоуном и озабоченно говорит что-то, но его слова заглушает комментатор.

И вот она здесь. Ее он тоже не слышит, но одно ее присутствие вселяет уверенность, и в конце концов она остается с ним наедине. Когда ее позвали, она, наверное, спала, на ней платок и домашний халат. Она прижимает Томаса себе, и новая волна слез захлестывает его, и она плачет вместе с ним, стараясь изгнать кошмар, но страшный сон засасывает ее. (Всякий раз, когда он вспоминает это, его пробирает дрожь.) В своей совместной работе они близки, но в их близости непременно присутствует третий, бесчувственное обнаженное тело, что лежит между ними. А сейчас, когда он рыдает у нее в объятиях, прикосновения ее рук совсем иные, нежели за операционным столом. Стола нет, как нет масок, перчаток, инструментов, и это пугает. Он кажется сам себе новорожденным, прижимающимся к обнаженному телу матери. Что она говорит? – ах, если

бы вспомнить. Это слова от себя, не молитва, и они перекрывают бормотание комментатора.

Ему вспоминается ее халат, мокрый от его слез, – нет, и от ее слез тоже.

Томас льнет к ней, засыпает, пробуждается, плачет, опять засыпает. Она спрашивает вновь и вновь: Что с тобой? Что на тебя нашло! Долгие часы, дни напролет она остается с ним, и он держится, а буря свирепствует, и насаждает, и тщится вырвать его из ее объятий.

Ему вспоминается временное затишье, пугающая тишина, которая меняет характер сцены. Несколько пуговиц на ее халате расстегнуто.

Подобно хирургу, расправляющему ткани перед тем, как сделать разрез, он распахивает на ней халат, и почему-то нос и щеки тоже в этом участвуют. Ее дрожащие груди с торчащими сосками открыты его губам. Наверное, на их лицах написаны одни и те же чувства: страх и желание.

Она парит над ним, обнаженная, налитая грудь как сама жизнь, их лица мокры от слез, один поцелуй пожирает другой, время остановилось. А вот она под ним, далеко-далеко, и смотрит на него снизу вверх, словно на спасителя. Он входит в нее и вверяет себя ее добродетели, да пребудет с ним вовеки, а то ведь свои целомудрие и чистоту он потерял таким молодым...

Он сидит на кровати, смотрит, как тихо падает снег за окном, сердце у него бешено колотится, рубашка, несмотря на холод, взмокла от пота. В районе грудины поселилась тупая боль. Как ему хочется вспомнить вкус ее губ, прикосновение ее груди!

Но вспоминается вот что (только бы это оказалось правдой!):

Он растворяется в ней, словно в сумерках, она укутывает его мягкими покрывалами, демоны оставляют их, и его крик облегчения сливается с ее страстным возгласом. Порядок восстановлен. Подлинные пропорции возвращаются. Сон нисходит словно благословение.

Его проклятие заключается в следующем: когда «смутное время» минует, оно оставляет неясное ощущение каких-то пространственных возмущений, бреши во времени, чувство конфуза и стыда неизвестно за что, и больше ничего. Все это лечится работой, только работа несет с собой забвение.

Как жестоко, что память прояснилась именно сейчас, в метель, когда столько времени прошло после ее смерти! Как жестоко, что мимолетное, искаженное видение явилось ему в заиндевевшем окне, и неясно, правда ли это или порождение отравленного алкоголем мозга! Он постарался собрать из осколков целостную картину, и все равно сомнения не исчезли. В ту ночь

в доме на Мейпл-стрит, 529, он видел ее совершенно ясно, яснее и быть не могло. Не исказилось ли это воспоминание впоследствии, не приукрасил ли он чего-нибудь, не додумал ли? Ведь от частого употребления воспоминания блекнут и стираются, одна подробность накладывается на другую.

– Ты спасла мне жизнь, – говорит Стоун сестре Мэри Джозеф Прейз. Нью-Джерси, он сидит на своей кровати.

– А моя глупость, нерешительность, паника привели к твоей гибели. – Хотя эти слова звучат слишком поздно, он знает: их следует произнести. И пусть он не верит в Бога, но надеется, что она его слышит. – Никого я не смогу полюбить сильнее, чем тебя.

А вот о детях он говорить не в состоянии. Они существуют, два мальчика-близнеца, он знает, помнит, но их вселенная еще дальше, чем та, где сейчас Мэри.

Слишком поздно, слишком поздно. Даже воспоминание о ней, прекрасной и чувственной, не возбуждает его, не наполняет радостью. Более того, ее нагота и его ненасытность возбуждают в нем жестокую ревность, словно в его обнаженное тело вселился другой. Собственное тело, темные треугольники лопаток, ямочки в нижней части спины предсказывают только смерть и уничтожение, знаменуют собой ужасный конец. Ведь плотские радости уже обрекли Мэри на гибель, хотя она об этом еще не знает, в отличие от него. Его наказание еще хуже: он должен жить.

Глава десятая. Пропавшие письма

Томас Стоун засиделся в моей комнате за полночь. Черные тени окутали его, голос звучал так, как будто до прихода Стоуна эти стены никогда не слышали человеческой речи. Я не перебивал его. Я забыл, что он здесь. Я жил в его рассказе: зажигал свечку в церкви Святой Марии в Мадрасе, учился в английском интернате, передо мной из глубин памяти вставало видение Мэри. И если видения случались в Фатиме, в Лурде, в испанской Гвадалупе, кто я такой, чтобы сомневаться в том, что мама явилась ему в замерзшем окне мебелирашек, как являлась она мне, мальчику, в автоклавной. Его голос перенес меня в прошлое, которое предшествовало моему рождению, но все равно оставалось моим, подобно цвету глаз или длине указательного пальца.

Я осознал, что Томас Стоун здесь, только когда он закончил свой рассказ; передо мной предстал человек, замороженный собственными словами, заклинатель змей, чья кобра превратилась в тюрбан. Последовавшее молчание было ужасно.

Томас Стоун спас нашу программу по хирургии.

Для этого оказалось достаточно предоставить Госпиталю Богоматери статус филиала бостонской «Мекки», подписав официальный документ. И это была не пустая бумажка. Каждый месяц четыре студента-медика и два врача-резидента из «Мекки» стучались в нашу дверь и происходила ротация.

«Настоящее сафари: увидишь, как туземцы убивают друга, да еще посмотришь парочку бродвейских шоу» – так охарактеризовал план Би-Си Ганди. Но ведь и у нас появилась возможность поработать в Бостоне.

Я закончил интернатуру и вступил во второй год резидентуры. Самым важным результатом нашего присоединения к «Мекке» было то, что Дипак – Вечный Жид хирургии, по определению Би-Си Ганди – благополучно завершил свой год на посту главного врача-резидента. Теперь он был сертифицированным хирургом, мог отправиться куда угодно и развернуть практику, но предпочел остаться на старом месте в должности главы отдела хирургической подготовки, а в «Мекке» был назначен старшим преподавателем-клиницистом. Дипак пребывал на седьмом небе от счастья. Томас Стоун сдержал свое обещание и в отношении публикации исследования Дипака о повреждениях поллой вены – статья в «Американском хирургическом журнале» стала классикой, каждый, кто

писал о травмах печени, непременно ее цитировал. Хотя Дипак получал теперь жалование консультанта, он продолжал жить в общежитии. Благодаря хирургам-резидентам из «Мекки» он был теперь не так перегружен и мог высыпаться. В подвале он проводил исследования в связи с нарушением кровоснабжения печени свиней и коров.

Исчезла необходимость скрывать деменцию Попей. В костюме хирурга, с маской на шее он бродил по коридорам больницы и, казалось, ничуть не унывал, что его не пускают в операционные и не позволяют выйти во двор. Порой он останавливал людей и провозглашал: «Я испачкался».

Поздно вечером в пятницу, через несколько месяцев после того, как я впервые принимал Томаса Стоуна, он снова постучал в мою дверь. Вид у него был смущенный, нерешительный.

Долгая исповедь отца изменила мое к нему отношение; раньше было легче, можно было дать волю обиде, разгромить его квартиру – словом, произвести решительные действия. Теперь мне становилось неловко, увидев его, я даже не пригласил его зайти.

– Я на минуточку, только узнать... спросить... согласишься ли ты поужинать со мной в эфиопском ресторане на Манхэттене, завтра, в субботу... вот адрес... часов в семь...

Этого я от него никак не ожидал. Если бы он пригласил меня в Метрополитен-Оперу или на обед в «Уолдорф-Астория», я бы безо всяких колебаний отказался. Но стоило ему упомянуть эфиопский ресторан, как я ощутил кислотоватый вкус инжеры, огненную остроту вота и рот мой наполнился слюной. Я согласно кивнул, хотя, по правде говоря, общаться с ним не очень-то хотелось. Но у нас с ним было неоконченное дело.

В субботу я вышел из метро в Гринвич-Виллидж и сразу же увидел его у ресторана «Мескерем». Хотя Стоун уже больше двадцати лет жил в Америке, он был как бы не от мира сего: выставленным на улице меню не интересовался, на расфуфыренных студентов Нью-Йоркского университета с обильно изукрашенными металлом ушами внимания не обращал. Завидев меня, он облегченно вздохнул.

«Мескерем» – заведение небольшое, портьеры красные, стены напоминают типичную хижину чикка. Аромат кофейных бобов, смешанный с запахом древесного угля и пряным бербере, уносит тебя за многие тысячи километров от Манхэттена. Мы сели на низкие трехногие деревянные табуреты за плетеный стол. В большом зеркале за спиной Стоуна отражался его затылок и входящие-выходящие посетители. Приколотые к стенам постеры изображали замки Гондара, женщину народа

тигре с улыбкой во весь рот, морщинистое лицо эфиопского священника крупным планом и вид с птичьего полета на Черчилль-роуд; на всех плакатах был один и тот же рекламный лозунг: «Тринадцать солнечных месяцев». Во всех эфиопских ресторанах Америки, где мне впоследствии довелось побывать, я неизменно видел один и тот же календарь «Эфиопских Авиалиний».

Официантка, невысокая ясноглазая амхарка, подала нам меню. Звали ее Анна. Она чуть не выронила карандаш, когда я сказал по-амхарски:

– Я захватил с собой нож и ужасно голоден, покажите мне только, где привязана корова, и я приступлю к делу.

Когда она принесла на круглом подносе наш заказ, лицо у Стоуна сделалось удивленное, будто он забыл, что есть полагается руками и из общей тарелки. А когда Анна (она родилась в Аддис-Абебе, не так далеко от Миссии) принялась из своих рук потчевать меня гуршей, отламывая от инжеры кусочки и погружая в карри, Стоун" поспешно поднялся и удалился в туалет, пока она не взялась за него.

– Будь благословен святой Гавриил, – вздохнула Анна, глядя ему вслед.
– Я напугала вашего друга нашими обычаями.

– Ему полагалось бы знать. Он семь лет прожил в Аддис-Абебе.

– Да ну! Неужели?

– Прошу вас, не обижайтесь.

– Ничего страшного, – улыбнулась она. – Я знаю этот тип фаранги. Смотрят сквозь тебя. Не волнуйтесь. Зато есть вы. Вы куда симпатичнее.

Я мог бы вступить за него, сказать, что он мой отец. Но я покраснел, улыбнулся и промолчал.

Вернувшись, Томас Стоун нерешительно взялся за еду. Из динамиков на потолке, конечно же, понеслась «Тицита». Я не отрывал глаз от его лица, стараясь понять, что для него значит эта мелодия. По-моему, ничего.

Пальцы настоящего эфиопа никогда не измазаны соусом, он пользуется инжерой вместо щипцов, чтобы взять из карри кусочки курицы или мяса. Кончики пальцев Томаса Стоуна скоро стали красными.

«Тицита» в исполнении Тилахоун, интимная атмосфера и аромат ладана сделали свое дело. Вспомнились утренние часы в Миссии, тяжелый густой туман, заполонивший пространство и постепенно исчезающий по мере того, как встает солнце; вспомнились песни Розины, распевы Гебре и волшебный сосок Алмаз, встали перед глазами молодые Хема и Гхош, отправляющиеся на работу, залитые светом, переливающиеся на солнце дни, сверкающие, будто новая монетка.

– Ты планируешь следующие четыре года провести резидентом в

Госпитале Богоматери? – внезапно прервал мои сладкие воспоминания Стоун. – Если желаешь перебраться в Бостон...

Вот такая чуткость. Только я разнежился и не прочь поговорить о прошлом, как он заводит речь о будущем.

– Мне не хочется покидать нашу больницу. Она для меня что-то вроде Миссии. Из Аддис-Абебы я бы тоже никогда не уехал, если бы не обстоятельства.

Любой другой человек сразу бы спросил, что за обстоятельства. Наверное, тут я сам был виноват: ведь он знал – я могу и не ответить на его вопрос.

Когда наши тарелки опустели, Анна спросила Стоуна по-английски:

– Вам понравилась еда?

– Вкусно, – ответил тот, едва удостоив ее взглядом, покраснел и добавил: – Спасибо, – таким тоном, словно пытался поскорее отделаться от официантки.

Анна достала из кармана передника две салфетки в пакетах и положила на стол.

– Все хорошо, но, честно говоря, вот мог быть и поострее, – улыбнулся я.

– Конечно, мог бы, – сказала Анна по-амхарски, несколько обескураженная критикой. – Но тогда люди вроде него в рот еду не возьмут. К тому же мы используем местное масло, так что вкус все равно был бы не такой, как дома. Только люди вроде вас понимают разницу.

– То есть настоящую хабешу мне нигде не подадут? Несмотря на то, что в Нью-Йорке столько эфиопов?

Она покачала головой:

– Здесь – нет. Будете в Бостоне – наведайтесь к «Царице Савской». У нее заведение в Роксбери. Она – знаменитость. Дом размером с наше посольство. Наверху продают продукты, а внизу угощают домашней едой. Готовят на настоящем эфиопском масле, ей самолетом привозят. Все таксисты-эфиопы там столуются. Да и вообще туда ходят одни эфиопы.

Томас Стоун равнодушно наблюдал за нашим разговором. Когда Анна отошла, он полез в карман, как я думал, за бумажником. А он достал закладку, которую я оставил у него в комнате, ту самую, на которой сестра Мэри Джозеф Прейз написала ему записку.

Я тщательно вытер руки и взял закладку. Зря я ее отдал, ей полагалось бы находиться в банковском сейфе, а не на ресторанном столике. Закладка была моим талисманом во время бегства из Эфиопии, о котором он ничегошеньки не знал. Я прочел последние строки: «Прилагаю мое письмо

к тебе. Прочти немедленно. СМДП» – и посмотрел на Стоуна.

Тот беспокойно пошевелился и сглотнул.

– Мэрион. Эта закладка... по всей видимости, она была в книге?

– Да. Книга у меня.

Он застыл, судорожно сжал руки.

– А ты... Можно спросить... а письмо... тоже у тебя? Вид у него был жалкий, и сидел он как-то слишком

низко, колени под подбородком.

– Я думал, письмо у тебя.

– Нет! – воскликнул он с такой силой, что Анна обернулась.

– Очень жаль, – произнес я, сам хорошенько не понимая, чего мне жаль. – Я думал, ты взял письмо с собой, а книгу с закладкой оставил.

Лицо его, еще минуту назад полное надежды, потухло.

– Я почти ничего с собой не взял. Ушел из Миссии в чем был, прихватил из кабинета пару мелочей, и все. И не вернулся.

– Я знаю.

Услышав это, он съежился, и меня кольнула совесть. Неудивительно, что он старался не говорить со мной о прошлом. Ничто не может так разбередить сердце, как хорошо подобранные слова затаившего обиду сына. Если только я был в его глазах сыном.

– Но палец ты захватил? – напомнил я.

– Да... и больше ничего. Он был у нее в комнате.

– Извини, но письма у меня нет.

– А закладка? Как она к тебе попала?

Я вздохнул. Анна подала нам кофе. Маленькая чашечка без ручки, казалось, никак не соответствовала масштабу того, что я собирался ему рассказать.

– Мне пришлось срочно бежать из Эфиопии. Меня разыскивали власти. Было подозрение, что я причастен к нападению на самолет «Эфиопских Авиалиний», что я сочувствую борцам за освобождение Эритреи. Помнишь свою служанку, Розину? Среди террористов была ее дочь, Генет. Розина умерла, кстати сказать. Повесилась. Он напряженно слушал.

– Розина и Генет... – продолжал я. – Достаточно сказать, что у меня был всего лишь час, чтобы убраться из города. Я перелез через стену Миссии, успел попрощаться с Хемой, матушкой, Гебре, Алмаз и с братом Шивой... – Я споткнулся. – С Шивой, твоим сыном...

Стоун сглотнул. Забыл, что ли? Так я напомню. Ничего, что больно.

– Моим сыном... – выговорил он.

– Твоим сыном. Хочешь на него посмотреть? (Он кивнул.) Погляди в зеркало у себя за спиной.

Он помедлил, словно раздумывая, не шутка ли это, повернулся. Наши глаза встретились в зеркале. Я даже испугался, никак не думал, что это будет таким глубоко личным.

– Какой он из себя? – спросил Стоун, не отрывая взгляда от зеркала.

Я покачал головой. Опустил глаза. Он повернулся ко мне.

– Шива... он совсем другой. Он – гений. Не такой, как все. Школа его бесит. На экзамене он никогда не ответит на вопрос, как требуется, и не потому, что не знает... Просто он не понимает, что надо жить по общепринятым правилам. Но медицину, особенно гинекологию, он знает лучше меня. Он работает с Хемой, лечит фистулы. Он блестящий хирург. Хема его натаскала. Официально он медицину не изучал.

Стоун и сам мог бы все это легко разузнать, если бы поинтересовался. Сейчас интерес появился.

– Мальчишками мы с Шивой были очень близки. Стоун смотрел на меня, не отрываясь. Ну как я расскажу

ему подробности того, что произошло? Я ни с кем никогда не делился. Только Шива и Генет в курсе.

– Он и Генет нанесли мне такое оскорбление, которого я не в силах простить...

– Что-нибудь связанное с захватом самолета?

– Нет, это случилось задолго до того. Во всяком случае, я до сих пор очень зол на него. Но он мне брат, брат-близнец, и когда у меня оставался всего час, чтобы убраться из города, когда пришла пора прощаться с Шивой... нам с ним было очень нелегко.

Вдруг оказалось, что самообладание меня покинуло. Не хватало еще разрыдаться перед Томасом Стоуном. Я со всей силы ущипнул себя за ногу.

– На прощанье Шива подарил мне две книги. Одна из них была «Анатомия» Грея – самое ценное его имущество. Он с ней не расставался. А вторая – твоя книга, а в ней – закладка. Не знаю, как и когда он ее заполучил. Сам я понятия не имел, что ты написал книгу. Вряд ли ее часто открывали, не думаю, что Шива ее прочел, а если и заглядывал в нее, то уж точно реже, чем в Грея. Закладку он, наверное, видел. Но надо знать Шиву. Он не станет любопытствовать по поводу какой-то там закладки или письма. Он живет настоящим. Откуда у него книга и почему он передал ее мне, я не в курсе.

Стоун молчал, глядя на пустой плетеный стол, разделяющий нас, и на лице у него была такая боль, что я не выдержал.

– Я спрошу его, – предложил я. Узнать бы мне все, что знает Томас Стоун. – Обязательно спрошу.

Стоун пребывал где-то далеко. Когда он поднял на меня глаза, я понял, как глубоко его горе, даже радужная оболочка как будто потемнела, хотя, по идее, не может менять цвет; понял, что почти мистический ореол, окружавший знаменитого хирурга, – целеустремленность, самоотдача, мастерство – не более чем внешняя оболочка, самим же хирургом и созданная. Только получилась у него тюрьма. Стоило ему перейти от профессионального к личному, как тут же являлась боль.

Он заговорил усталым, надтреснутым голосом:

– Я думал, письмо у тебя, а ты считал, что оно у меня...

– А о чем письмо, как ты думаешь?

– Хотел бы я знать. Правую руку бы отдал...

Минуло несколько месяцев со дня нашей первой встречи. Ярость, которую мне полагалось испытывать, пошла на убыль. То, что он рассказал мне о своем детстве, о смерти матери, тронуло меня... я бы простил его, но, судя по всему, время еще не пришло. Ведь Шиву я так и не простил, что тут говорить о Томасе Стоуне! Даже если бы прощение совершилось, я бы ему не сказал. Но у нас с ним еще оставались незавершенные дела.

– Мне надо тебе кое-что сказать... – Никогда не думал, что буду смущаться перед этим человеком. – Меня просил об этом Гхош.

Желание Гхоша одно время казалось мне абсурдным. Но теперь, глядя на суровое, морщинистое лицо Стоуна, я понял, почему Гхош поручил это мне. Он хорошо знал Стоуна, но не учел, что я в душе еще мальчишка.

– Гхош высказал последнюю волю, а я обещал ее исполнить. И не исполнил. Надеюсь, ты – и он – простите меня. Гхош сказал, что его жизнь останется незавершенной, если я этого не сделаю... То есть не найду тебя и не передам, что он считал тебя своим братом.

Нелегкая мне выпала задача. Во-первых, перед глазами встал Гхош, я услышал его шепот, его затрудненное дыхание. А во-вторых, эти слова потрясли Стоуна. Кто еще мог сказать ему такое? Его мать, может быть, доктор Росс в санатории, если только Росс говорил когда-нибудь о своей любви. Может быть, сестра Мэри Джозеф Прейз, если он расслышал и понял ее.

– Гхош очень переживал, что ты будто забыл про него. Но он хотел, чтобы ты знал: каковы бы ни были причины твоего многолетнего молчания, он не в обиде.

Гхош считал, что Томасу не дает оглянуться назад стыд. Он был прав, на лице Стоуна сейчас рисовались смущение и конфуз.

– Я очень сожалею, – произнес Стоун, и было непонятно, к кому он обращался, ко мне, к Гхошу или ко всей своей жизни.

Если в ресторане и были другие люди, я перестал их замечать. Если играла музыка, я перестал ее слышать.

Я рассматривал своего отца, словно в микроскоп. Я заметил пробивающуюся улыбку, сменившуюся каким-то затравленным выражением. Слава богу, что он не увез нас из Эфиопии и не ему выпало воспитывать нас. При всех горьких потерях, которые довелось пережить, я бы ни за что не променял годы, проведенные в Миссии, на жизнь с ним в Бостоне. Я должен был благодарить Томаса Стоуна за то, что он бежал из Эфиопии. Любовь к сестре Мэри Джозеф Преиз пришла к нему слишком поздно. Мэри была загадкой, мукой, которую он унесет с собой в могилу- и особо его мучило, что он так и не увидел ее последнего письма.

– Я напишу Шиве, – сказал я. – Спрошу насчет письма. Кажется, я понял, почему Томас Стоун не подпускал никого близко. После предательства Генет я избегал сильных чувств по отношению к женщине. Мне нужны были письменные гарантии. Я встречался со студенткой-медичкой из «Мекки», против моей первой любви она была прямо-таки святая: добрая, великодушная, красивая, она готова была пожертвовать собой ради других, в том числе ради меня. Наверное, мой запоздалый и невразумительный отклик оттолкнул ее, поставил крест на нашем с ней будущем. Грустно мне было? Да, грустно. Я себя чувствовал глупо? Еще как. Но вместе с тем я испытывал облегчение. Ведь теперь я не причиню ей зла. А она – мне. Это была общая черта между мной и человеком, сидящим напротив. Мне пришло на ум, что остановившиеся часы дважды в сутки показывают правильное время.

Он расплатился. Я ждал в дверях ресторана, засунув руки в карманы.

– Не называй человека счастливым, пока он не умер, – сказал Стоун.

Не успел я понять, улыбка у него на лице или грустная гримаса, как он поклонился и зашагал прочь.

Глава одиннадцатая. Пять пальцев

В двенадцать ночи в первое воскресенье каждого месяца я звонил Хеме в ее бунгало. В Аддис-Абебе было уже семь утра понедельника. Тарифы в это время суток были самые низкие, но, поскольку у аппарата собирались Алмаз, Гебре, а порой заходила и матушка, разговор получался длинный и все равно выходило дорого. С тех пор как Хема приняла ребенка Менгисту, – извините, товарища Менгисту, – мы больше не опасались, что тайная полиция нас подслушивает, кроме того, полиции хватало настоящих врагов. Менгисту Хайле Мариам, генеральный секретарь Совета крестьян и рабочих, председатель Военно-административного совета социалистической Эфиопии, пожизненный главнокомандующий Вооруженными силами демократических народов Эфиопии, руководитель Бюро вооруженного сопротивления империалистической агрессии в Тиграе и Эритрее, выбрал марксизм албанского образца. У представителей высшего и среднего классов – и даже кое у кого из бедноты – конфисковали дома и отобрали земли. Но надо отдать должное Менгисту, и в особенности его жене: лекарства и медоборудование проходили таможеню без задержки, и никому давать на лапу не приходилось.

Набирая в то воскресенье номер Хемы, я представлял себе, как вся моя семья из Миссии с чашками кофе в руках поглядывает на часы, дожидаясь звонка с континента, которого никто из них не видел. Трубку сняла Алмаз, рядом с ней стоял Гебре, голоса у обоих были смущенные и застенчивые. Эта часть разговора состояла из повторяющихся «как поживаешь?» и «у тебя все хорошо?» – должны же были мои крестные убедиться, что я жив-здоров. Мне сообщили, что за меня молятся и постятся.

– Молитесь о скорой встрече, и дай вам Бог здоровья и благополучия, – сказал я.

Матушка, напротив, говорила живо и непосредственно, будто мы столкнулись с ней в коридоре у ее кабинета.

Я доложил Хеме о своей первой встрече с Томасом Стоуном. Она выслушала меня молча, хотя, наверное, улыбалась, когда я расписывал ей, как вломился к Стоуну в квартиру. Я ничего не приукрашивал, не старался понравиться, ведь, наверное, Стоун давно перестал быть в ее глазах пугалом, мы-то уже не маленькие. Рассказывая ей о закладке, которую в качестве визитки оставил у отца на столе, я по ее молчанию понял, что она ничего не знает про книгу, оказавшуюся у Шивы. Я подозревал (и матушка

впоследствии подтвердила подозрения), что Хема в свое время постаралась изгнать книгу Стоуна из обихода Миссии, дабы она ни в коем случае не попала ко мне или к Шиве.

– Я ужинал с Томасом Стоуном, Ма. Впервые за целый год отведал инжеры.

Хема опять смолкла, когда узнала, что именно Гхош просил меня передать Стоуну, и я услышал, как она сморкается. Я спросил про закладку и письмо. Она про них ничего не знала.

– Может, Шива в курсе? – спросил я. – Можно мне с ним поговорить?

Она позвала его – совсем как в детстве, – и меня охватила ностальгическая печаль, я чуть не заревел. Я услышал далекий голос Шивы, судя по эху, он доносился из детской. Пока я ждал, Хема спросила матушку про закладку и получила отрицательный ответ.

Общаться с Шивой по телефону всегда было нелегко. У него все отлично, операции на фистулах проходят удачно, нет, он ничего не знает про пропавшее письмо.

– Шива, а ты помнишь закладку и упоминание о письме?

– Да.

– Но, говоришь, никакого письма в книге не было?

– Письма не было.

– А как книга попала к тебе, Шива?

– Гхош дал.

– Когда?

– Перед смертью. Он о многом хотел со мной поговорить, и об этом тоже. По его словам, он взял книгу в бунгало Стоуна в день, когда мы родились. Он сохранил ее. Для меня.

– И тогда ты впервые увидел книгу и фото Стоуна?

– Да.

– А Гхош упоминал о письме, которое Стоуну написала сестра Мэри Джозеф Прейз – наша мама?

– Нет, не упоминал.

– Он говорил, почему передает книгу тебе?

– Нет.

– А когда ты увидел закладку и узнал про письмо, ты не вернулся и не спросил его?

– Нет.

Я вздохнул. Как растормошить человека? Спросил мягко:

– Почему нет?

– Если бы он хотел, чтобы письмо оказалось у меня, он бы мне его

отдал.

– А почему ты отдал книгу мне, Шива?

– Чтобы она оказалась у тебя.

Шива говорил совершенно ровно, спокойно. Интересно, уловил ли он раздражение в моем голосе? Шива был прав: либо никакого письма не существовало, либо оно попало к Гхошу, а у того нашлись причины его уничтожить.

Я был готов попроситься. Уж кто-кто, а брат не будет приставать ко мне с расспросами о здоровье и о том, как мне живется. Его вопрос застал меня врасплох:

– Как у вас обстоят дела с операционными?

Он желал знать, как они распланированы, далеко ли автоклавная и раздевалка, имеется ли у каждого отдельная раковина или все моют руки вместе? Я подробно рассказал.

Воспользовавшись паузой, он снова удивил меня:

– Когда ты вернешься домой, Мэрион?

– Понимаешь, Шива... у меня еще четыре года резидентуры. Не знаю, миновала ли для меня опасность, если так, то где-то через год я бы приехал... А почему бы тебе не приехать сюда?

– А ваши операционные я смогу посмотреть?

– Разумеется. Я все организую.

– Отлично. Я приеду.

Трубку взяла Хема. Ей хотелось поболтать, и она долго меня не отпускала. Слушая ее мелодичный голос, я словно вернулся обратно в Миссию, к телефону под фотографией Неру, к портрету Гхоша, который осенял то место, где он провел столько часов.

Когда я повесил трубку, меня охватило отчаяние: я снова очутился в Бронксе – голые стены, одинокая картинка с «Экстазом святой Терезы»... Мой пейджер, доселе молчавший, запищал, его шнурок ярмом давил мне шею... Но ведь я радовался своей жизни раба-хирурга, нескончаемой работе, экстренным случаям, морю крови, гноя и слез, в котором без остатка растворилась моя личность. Изнурительный труд стирал грани, я чувствовал себя американцем, у меня не было времени вспомнить о доме. Через четыре недели я опять позвоню в Миссию. Интересно, Хеме мои звонки тоже нелегко даются?

В письме, которое последовало за телефонным разговором, Хема сообщала, что переговорила с Бакелли, Алмаз и даже с В. В. Гонадом, но никто из них не слышал, чтобы сестра Мэри или Гхош оставили какое-то письмо. Она написала также, что Шива подал заявление на визу, но

чиновники тянут время, требуют, чтобы он предоставил справку об отсутствии долгов перед Эфиопией, причем не только у него, но и у меня. Надо будет ему напомнить, чтобы не опускал рук. Между строк я прочел, что Шива охладел к идее поездки.

Я написал Томасу Стоуну, что судьба письма сестры Мэри Джозеф Прейз осталась невыясненной. В ответном письме он поблагодарил меня за старание.

В последующие четыре года Томас Стоун то и дело появлялся в моем поле зрения – то проводил конференции, то показательные операции, демонстрируя мастерство и знание предмета. На его стороне было доскональное знакомство с литературой и многолетний опыт. Я предпочитал общаться с ним по работе, а не в ресторане. Ко мне он, похоже, испытывал похожее чувство, не звонил и на ужин не приглашал.

Я приезжал в Бостон на три отдельные стажировки, каждая продолжительностью в месяц: пластическая хирургия, урология и трансплантология. В последний свой приезд мне довелось работать со Стоуном, и работы оказалось больше, чем я мог себе представить. Вот тут он пригласил меня на ужин, но я отказался, так как мне редко удавалось вырваться из отделения интенсивной терапии раньше девяти вечера.

К 1986-му пятому году моей стажировки, я стал главным врачом-резидентом в Госпитале Богоматери, ассистентом Дипака, и готовился к экзамену на сертификат. Мне даже начала нравиться трудоемкая, занимающая годы американская система подготовки хирургов, и чем ближе был берег, тем больше достоинств я в ней находил. Технически я был готов провести любую крупную операцию общей хирургии и знал свои сильные и слабые стороны. В Госпитале Богоматери я повидал все и, что еще важнее, понял, какого ухода требует тот или иной пациент до и после операции и на отделении интенсивной терапии.

В том же 1986-м мой брат сделался знаменит – Дипак показал мне статью в «Нью-Йорк тайме». Я был потрясен, увидев фотографию Шивы, зеркальное отражение себя самого, только стрижка короткая, почти «ежик», и нет седины на висках. Откуда-то из глубины поднялась горечь, ожила боль, обида. И зависть, да. Шива забрал у меня мою первую и единственную любовь, надругался над ней. А теперь о нем кричат заголовки газет, моих газет. Я жил по правилам, старался поступать по совести, а он пустил все правила побоку, и вот что из этого вышло. Как мог Господь допустить такую несправедливость? Признаюсь, прошло некоторое время, прежде чем я нашел в себе силы прочесть статью.

Если верить газете, Шива стал всемирно известным экспертом и

ведущим защитником женщин с вагинальной фистулой. Он был тем гением, без которого кампания по профилактике ПВС, «весьма далекая от традиционного западного подхода», была бы невозможна. «Нью-Йорк тайме» поместила цветную фотографию плаката «Пять упущений, ведущих к фистуле». На плакате была изображена ладонь с пятью растопыренными пальцами – готов поклясться, рука Шивы, – на ладони сидела женщина – неужели штатная стажерка?

Плакат распространялся по всей Африке и Азии на сорока языках и был понятен даже деревенским повитухам. Пять пальцев – пять упущений. Первое – раннее замужество; второе – необращение к докторам до родов; третье – патологические роды, при которых головка младенца застревает в родовом канале и наносит травму, чтобы не допустить этого, необходимо кесарево сечение; четвертое – малая доступность медицинских центров, где кесарево сечение могли бы выполнить. Если мать выжила (ребенок – никогда), то ее муж и родственники допускают пятое упущение – выгоняют из дому женщину с фистулой между пузырем и вагиной или между вагиной и прямой кишкой, поскольку от нее плохо пахнет. Очень часто дело кончается самоубийством.

«Но женщины находят помощь у Шивы Прейз-Стоуна, – возглашала статья. – Они добираются до него на автобусе, если их не выкидывают вон попутчики, на осле или пешком. В руке они сжимают клочок бумаги, на котором написано по-амхарски МИССИЯ, или ФИСТУЛА, или просто СТОУН».

Шива Стоун – не дипломированный врач, а «искусный целитель, обученный матерью-гинекологом».

Позвонив Хеме в следующий раз, я попросил ее поздравить от меня Шиву.

– Ма, – сказал я, – а тебе не кажется, что тебя несправедливо обошли? Без тебя Шива никогда бы не достиг таких высот.

– Нет, Мэрион. Это целиком его заслуга. Меня операции на фистуле никогда особо не привлекали. Но они в самый раз для чистосердечного и целеустремленного Шивы. Необходимо уделять больной повышенное внимание до, во время и после операции. Ты бы видел, сколько времени он тратит на каждую пациентку, как стремится всесторонне проанализировать конкретный случай.

Шива придумал и изготовил в своей мастерской новые инструменты и разработал новые методы. Трудami матушки-распорядительницы был основан особый фонд, которому позарез нужны деньги, и статья объявляла сбор средств. Матушка вознамерилась построить новый корпус

исключительно для женщин с фистулой.

– У Шивы все распланировано на годы вперед. Новое здание будет иметь форму буквы У, два крыла сойдутся там, где находится Третья операционная, добавятся еще две операционные и общая предоперационная для асептической обработки рук.

Поздним вечером я перечитал «Нью-Йорк тайме», и у меня засосало под ложечкой. Статью пронизывало нескрываемое восхищение Шивой, журналистка отбросила бесстрастный тон, поскольку человек заинтересовал ее даже больше, чем тема. Завершалось славословие высказыванием Шивы: «Моя задача проста. Я штопаю дырки».

Но ты их также и делаешь, Шива.

Я тоже кое-чего добился, хотя мой успех и не был столь шумным, – сдал письменный экзамен на сертификат хирурга, а через пару недель пришла пора отправиться в Бостон в гостиницу «Коплей Плаза» на устный экзамен. Полтора часа перед экзаменаторами – и я вышел триумфатором.

День выдался на загляденье. За сверкающим прудом серела на фоне безмятежного голубого неба каменная громада церкви Христианской науки. Пять лет я дни и ночи проводил в больнице, не видя ни неба, ни солнца. Вот сейчас на радостях брошусь в воду прямо в одежде, издавая ликующие вопли! Или лучше съесть на солнышке мороженое, глядя на игру света в воде?

Я планировал отправиться в аэропорт и ближайшим рейсом улететь обратно в Нью-Йорк. Но мне попался таксист-эфиоп, я заговорил с ним на его языке, и мне пришла в голову другая мысль. Знает он ресторан «Царица Савская» в Роксбери? Да, знает. И почтет за честь отвезти меня туда.

– Меня зовут Месфин, – представился он, улыбаясь мне из зеркала заднего вида.

– Моя фамилия Стоун, – отрекомендовался я и пристегнул ремень безопасности. Хотя в этот день ничего плохого со мной произойти просто не могло.

Глава двенадцатая. Переезд царицы

Улица начиналась с автомобильного кладбища, окруженного высокими стенами с колючей проволокой поверху, вылитая тюрьма Керчеле. За воротами спала здоровенная цепная собака. Затем потянулись незастроенные участки, густо присыпанные золой и сажей. Месфин, похоже, направлял свою машину к одинокому зданию в конце улицы, которого не коснулось тление, поразившее все вокруг. Подъездной путь к зданию брал начало с самой середины дороги, словно именно здесь в асфальтоукладчике кончился асфальт и хозяин дома решил взять дело в свои руки. Плоская черепичная крыша была желтая. Ступени, перила, столбы веранды, двери и даже водостоки также были канареечного цвета. В углу веранды высилась колонна некрашеных колесных ступиц. У входа стояли четыре желтых такси.

От запаха перебродившего меда у меня, как у собаки Павлова, потекли слюнки. Суровый сомалиец встретил нас у входа и проводил в зал, полдюжины ступенек вниз. Шесть человек обедало за складными столиками, поместилось бы еще два раза по столу. Деревянный пол покрывала свежескошенная трава, совсем как в ресторанах Аддис-Абебы.

Мы помыли руки и сели. Немедленно появилась полная женщина, поклонилась, пожелала нам доброго здоровья, поставила на стол перед нами воду и два стаканчика с золотистым теджем. Роговица ее левого глаза была молочно-белая. Месфин сказал, что ее зовут Тайиту. Затем женщина помоложе принесла поднос инжеры вместе с щедрыми порциями баранины, чечевицы и курятины.

– Видишь? – Месфин посмотрел на часы. – Я здесь поем быстрее, чем заправлю машину И дешевле.

Я набросился на еду, словно изголодавшийся. Нью-йоркская официантка, рассказавшая мне о ресторане «Царица Савская», оказалась права – еда была настоящая.

Немного позже в боковое окно, выходящее на покатый двор, я увидел белый «шевроле-корветт». Из авто показались стройные ноги на высоких каблуках. Кожа цвета кофе с молоком, лак на ногтях того оттенка, который Би-Си Ганди прозвал «зашибенно красным». Откуда-то выскочил козленок и запрыгал перед хозяйкой машины.

Вскоре осторожно, чтобы не сломать каблуки, роскошная эфиопка спустилась по лестнице и сказала через плечо сомалийцу:

– Почему этот болван выпускает козленка в это время? Неровен час, я его перееду.

В ее светло-каштановых волосах мерцали красные прожилки, задорная асимметричная прическа открывала шею. На ней был красно-коричневый жакет в полоску, белая блузка и юбка.

Царица – ибо это, несомненно, была она – поклонилась нам и направилась в свой кабинет возле кухни, но внезапно замерла, повернулась на месте и уставилась на меня. Я в костюме, узел галстука ослаблен – неужели у меня неподобающий вид? Через Госпиталь Богоматери прошли все народы, и никому из пациентов или персонала не пришло в голову, что я – какой-то другой. А теперь вся прочая публика в ресторане последовала ее примеру, и я опять почувствовал себя фаранги.

– Хвала Господу и сыну его! – Царица прижала ладони к щекам и сдвинула на лоб темные очки, глаза у нее были широко открыты от изумления. Насмешка на лице ее сменилась радостью, улыбка обнажила идеально белые и ровные зубы.

Я обернулся – может быть, она обращается к кому-то другому?

– Дитя, ты не узнаешь меня? – Она подошла ближе, меня окутал аромат розового масла.

Я недоуменно вскочил на ноги.

– Я каждый день молюсь за тебя, – сказала она по-амхарски. – Неужели я так изменилась?

Я смотрел на нее сверху вниз. Когда мы впервые встретились, она уже стала матерью, а я еще был мальчишка.

– Циге? – выдавил я растерянно.

Она кинулась ко мне, расцеловала меня в обе щеки, отодвинулась, чтобы получше меня рассмотреть, и опять стиснула в объятиях.

– Всемилостивый Господь, благословенная Мария и святые... Как поживаешь? Ты ли это? Слава Богу, что ты здесь...

Прожив пять лет в Америке, только сейчас, в этом доме под канареечной крышей, по щиколотку в свежескошенной траве, в объятиях этой женщины, я почувствовал, как внутреннее напряжение уходит. Вот человек из прошлого, она жила на моей улице, всегда мне нравилась, с ней у меня была какая-то внутренняя связь. Я целовал ее в щеки с тем же пылом, что и она меня, и не собирался останавливаться.

Из кухни на нас смотрела Тайиту. Еще две женщины стояли у перил лестницы и не сводили с нас глаз. Как и мы, они были беженцы и слишком хорошо понимали, что такое встреча после долгой разлуки, когда течение реки выносит вдруг частицу твоего старого дома.

– Что ты тут делаешь? – тормошила меня Циге. – Хочешь сказать, что явился сюда не для того, чтобы со мной повидаться?

– Я зашел поесть. Я и понятия не имел! Я уже четыре года живу в Нью-Йорке. Сюда приехал на пару дней. Я теперь доктор. Хирург.

– Хирург! – воскликнула она, прижимая руки к сердцу, и поцеловала мои запястья, сначала одно, потом второе. – Хирург. Смелый, смелый мальчик. – Она повернулась к зрителям и голосом проповедника провозгласила по-амхарски: – Слушайте, маловерные! Когда он был мальчишкой и мой ребенок умирал, кто отвел меня в больницу? Он. Кто позвал доктора – его отца? Он. Кто оставался со мной, пока ребенок боролся за свою жизнь? Он и никто другой. Он один был рядом, когда кроха умерла. Всем остальным было все равно. Если бы вы только знали...

Слезы полились у нее из глаз, и у всех, кто был в зале, радость сразу сменилась печалью, будто эти чувства неразрывно связаны. Мужчины сочувственно зацокали языками, Тайиту высморкалась и вытерла свой зрячий. глаз, две другие женщины в открытую плакали. Циге смолкла, опустила голову, но через минуту расправила плечи, выпрямилась, улыбнулась и объявила:

– Никогда не забуду его доброту. По сей день перед сном я молюсь за упокой души своего ребенка и вот за этого мальчика. Я жила на той же улице, видела, как он подрастал, мужал, пошел учиться на медицинский факультет. Теперь он хирург. Тайиту, верни всем деньги, сегодня пир на весь мир. Наш брат вернулся. Скажите, маловерные, какие вам еще нужны доказательства, что Бог есть? – Глаза ее горели, как алмазы, руки были воздеты к потолку.

Следующие несколько минут я торжественно пожимал руки всем присутствующим.

Потом я сидел вместе с Циге на диване в гостиной наверху. Она сбросила туфли на каблуках и поджала под себя ноги. Держа меня за руку, она то и дело касалась моей щеки, чтобы подчеркнуть, как рада видеть меня.

Я рассчитывал к вечеру вернуться в Нью-Йорк, но Циге настояла, чтобы я отпустил Месфина.

– Полетишь другим рейсом, попозже.

– А такси я здесь найду? – спросил я с серьезным видом.

Она откинула голову и засмеялась.

– Слушай, ты переменялся! Раньше был такой стеснительный!

Через окно я увидел штук шесть козлят в выгородке. Поодаль находился курятник. Сонный мальчик с продолговатой головой гладил

козленка.

– Это мой двоюродный брат, – пояснила Циге. – На лбу у него следы от щипцов. Он отстаёт в развитии. Но обожает животных. Тебе бы приехать сюда на Мескель. Мы забиваем коз и готовим на свежем воздухе. Тут тогда полно не только такси, но и полицейских машин. Приезжают покушать из участков в Роксбери и Саут-Энде.

По словам Циге, она уехала из Аддис-Абебы через несколько месяцев после меня. Некий армейский капрал, что «крышевал» бар, хотел жениться на ней.

– Он был никто. Но во время революции ублюдки дорываются до власти.

Когда она отвергла его ухаживания, ее обвинили в проимпериалистической деятельности и посадили.

– Я выкупила через две недели. Пока я сидела в Керчеле, мой дом конфисковали. Он явился ко мне: я, дескать, тут ни при чем, но если выйдешь за меня, то все будет как раньше. Страной правили псы вроде него. У меня были припрятаны кое-какие денежки. Терять мне было нечего, и я смылась.

В Хартуме я целый год ждала, пока американское посольство предоставит мне убежище. Поступила в служанки к Ханкинсам. Очень милая семья из Англии. От детей, которых нянчила, научилась английскому. Это единственное, что со мной случилось хорошего в Хартуме. В Бостоне мне даже холод по душе, сразу напоминает: как здорово, что я не в Хартуме.

Я здесь трудилась не покладая рук, Мэрион. Магазин «Квик-Март», часто две смены подряд. Потом пять ночей на парковке. Копила и копила. Я была первой эфиопской таксисткой в Бостоне. Изучила город. Находила эфиопам работу. Складской рабочий, парковщик, таксист, продавщица в магазине сувениров. Ссужала эфиопам деньги под проценты. Тайиту работала на меня еще в баре, и, когда она появилась, я сняла этот дом. Она готовила. Дом я в конце концов купила. Теперь забот полон рот: смолоть теф, сделать инжеру, ощипать кур, приготовить вот, помыть, прибраться. Работы на троих-четверых. Эфиопы валят ко мне будто новорожденные ягнята, все имущество в узелке, в руках рентгеновский снимок. Я стараюсь им помочь.

– Ты поистине Царица Савская.

Она шаловливо улыбнулась и перешла на английский. Никогда не слышал, чтобы она говорила по-английски.

– Мэрион, ты знаешь, чем я была вынуждена заниматься в Аддис-

Абебе, чтобы накормить ребенка. А в Судане я скатилась еще ниже – там я была просто бария. – Она употребила жаргонное слово, означающее «раб». – В Америке, как говорят, можешь стать кем только захочешь. Я верю в это. Трудилась я в поте лица. Так что когда меня называют «Царица Савская», я думаю про себя: «Да уж, из рабынь в царицы».

Я рассказал Циге, что в день своего бегства из Аддис-Абебы видел, как она вылезала из своего «фиата».

– А что получилось сегодня? Открывается дверь машины, и появляются твои стройные ноги. Лица я еще не вижу. И картинка на память из Аддис-Абебы точно такая же: авто и твои красивые ноги. Я хотел тогда попрощаться с тобой. И не мог.

Она засмеялась и невольно одернула юбку.

– Знаю, ты исчез сразу вслед за Генет. Думали, ты участвовал в захвате самолета.

– Неужели люди считали меня эритрейским партизаном? Она пожала плечами:

– Я – нет. Но когда мы виделись с Генет, она не сказала ни «да» ни «нет».

Я пришел в недоумение:

– Как ты могла увидеться с Генет? Мы с ней исчезли в один день. Из-за этого мне пришлось бежать... Вы встретились в Хартуме?

– Нет, Мэрион, здесь.

– Как, в Америке?

– Здесь. В этом самом доме... Господи. Так ты ничего не знал?

У меня перехватило дыхание. Под ногами у меня разверзлась зловонная пропасть.

– Генет? Разве она не с партизанами в Эритрее?

– Нет, нет, нет. В Америку она попала в статусе беженки, как и все мы. Кто-то привел ее сюда. На руках у нее был ребенок. Сначала она меня будто бы не узнала. Пришлось ей напомнить. – Лицо у Циге застыло. – Знаешь, Мэрион, здесь мы все равны. Неважно, кто ты – эритреец, оромо, амхара. Был ты в Аддис-Абебе важная шишка или бария, начинать приходится с нуля. Те, кто многого добился здесь, там был никем. Но Генет вбила себе в голову, что она – особенная, не такая, как все мы...

– Когда это случилось?

– Два, не то три года тому назад. Она сказала, что потеряла с тобой контакт и не знает, куда ты делся. Вела себя так, будто понятия не имеет, что ты бежал из Аддис-Абебы.

– Что? Она притворялась. Бежать-то мне помогли эритрейцы. А Генет

была их звезда... легендарная героиня. Она должна была знать.

– Может, она не доверяла мне, Мэрион. Я ведь не знала ее так хорошо, как тебя, мы с ней за всю жизнь и двух слов не сказали. Люди меняются. Когда покидаешь родину, ты как вырванное с корнем растение. Некоторые грубеют и никогда уже не расцветут. Помню, она рассказывала, как ей на поле боя все вдруг стало противно. И борьба за свободу, наверное,^ тоже. Она родила мальчика. Какие-то женщины из Нью-Йорка дали ей работу и приняли на себя заботу о малыше. Так что от меня ей ничего не требовалось.

Все-таки хорошо, что я ничего об этом до сих пор не знал, представления не имел, что Генет в Нью-Йорке.

– Она и сейчас там?

– Нет. – Циге как будто колебалась, рассказывать ли дальше. – Была масса слухов. Я слышала, что... она встретила мужчину и они поженились. Между ними что-то произошло, и она его чуть не убила. Из-за чего, при каких обстоятельствах, понятия не имею. Знаю только, что она в тюрьме. Мальчика отдали приемным родителям. – Циге заметила, как я потрясен. – Извини. Думала, ты в курсе. Я могу разузнать, может, ее выпустили?

Я покачал головой:

– Нет! Ты не понимаешь. Даже видеть ее не хочу. Разве только чтобы плюнуть ей в лицо.

– Но она же тебе сестра...

– Нет! Не говори так! – выкрикнул я.

Стало тихо. Мне пришлось подождать пару минут, пока муть в голове не осядет.

– Циге, – я взял ее за руку, – извини. Позволь, я объясню. Понимаешь, Генет была мне не сестра. Она – любовь всей моей жизни.

– Ты был влюблен в свою сестру? – потрясенно спросила Циге.

– Она мне не сестра!

– Извини. Разумеется.

– Какое это имеет значение, Циге? Сестра она мне или нет, я любил ее. Своих чувств к ней мне не изменить. Мы собирались пожениться, когда закончим медицинский факультет...

– Что стряслось?

– Мой брат предал меня. Она предала меня. – Сделать это признание оказалось очень тяжело. – Они служили друг другу подушкой, – употребил я выражение из амхарского.

Тут я понял, что никогда никому этого не говорил, даже Хеме. Чуть было не сказал Томасу Стоуну в ресторане, да в последнюю минуту

раздумал. Оказалось, это такое облегчение. Я ничего не пропустил – ни ложного обвинения в свой адрес, ни изуверства, сотворенного с Генет, ни смерти Розины.

Циге прижала руку ко рту, глаза ее были полны изумления и сочувствия. Отняв руку, она печально покачала головой.

– Твой брат хотел переспать со мной. – Она усмехнулась. – Да, да. Вы были тогда совсем юнцы, лет четырнадцать-пятнадцать. Молодые, да ранние. Шива, тот спросил меня напрямик: «Сколько стоит переспать с тобой?»

Циге рассмеялась, обратившись мыслями к далеким временам.

– И как? – выдавил я, в горле у меня было до того сухо, что тедж в желудке, казалось, вот-вот загорится. Она и не подозревала, как важен для меня ответ.

– Что «как»?

– Переспал он с тобой?

– Ну, ты очаровашка. Нет! – Она ущипнула меня за щеку. – Ты бы видел свое лицо! Нет и нет! (Я перевел дух.) Знаешь ведь: если бы на его месте был ты, все пошло бы по-другому. Если бы ты попросил... За мной должок, Мэрион. До сих пор.

Уверен, я покраснел. Перед глазами у меня мелькнула Генет и пропала.

– Какой еще должок, Циге. И прости, но я бы никогда ни о чем таком не попросил – это слишком личное.

– Мэрион, у тебя должна быть куча девушек. Хирург в Нью-Йорке! От медсестер отбою нет, а? Ты куда это? Зачем встал? В чем дело?

– Циге, уже поздно, мне пора...

Она с силой дернула меня за руку, так что я чуть было не свалился прямо на нее. Хорошо, она меня придержала. Запах ее тела и духов щекотал мне ноздри, я пожирал глазами ее шею, подбородок, грудь. В мечтах она была частой гостьей моей комнаты в Госпитале Богоматери, и мне в голову не могло прийти, что я дотронусь до нее в реальной жизни. Я, сертифицированный хирург общей практики, вдруг ощутил себя прыщавым подростком.

– Ты так покраснел! Тебе плохо? Благослови меня, Мария... Благословен будь Гавриил и святые... Ты до сих пор девственник, ведь так?

Я застенчиво кивнул и спросил:

– Почему ты плачешь?

Она только головой покачала, не отрывая от меня глаз. Слезы катились у нее по щекам. Наконец она погладила меня по лицу и чуть слышно сказала:

– Плачу, потому что это так прекрасно.

– Ничего подобного, Циге. Это глупо.

– С чего ты взял?

– Я берег себя для Генет. Вот ведь болван. Когда она с Шивой... я весь ушел в учебу. Хуже всего было то, что я ее по-прежнему любил. Шива не любил, а я любил. Когда она чуть не умерла, мне казалось, я в ответе. Верить, нет? Спал с ней Шива, а в ответе я. Потом, когда она с друзьями угнала самолет, то опять меня предала. Ей было плевать, что будет со мной, с Хемой или с Шивой. В тот день, когда я бежал из Эфиопии, мне показалось, что я стяхнул с себя наваждение. Прибыв в Америку, я постарался ее забыть, надеялся, ее убили на этой дурацкой войне – ее войне. И вот, оказывается, она – здесь. Может, мне уехать, а, Циге? Куда-нибудь в Бразилию. Или в Индию. Не желаю находиться с этой женщиной на одном континенте.

– Прекрати, Мэрион. Не говори чепухи. Теджа перепил? Это большая страна, и ты – большой мальчик. Забудь про нее! Прикинь, где ты и где она. Ведь она в тюрьме! – Циге погладила меня по волосам и прижала к груди мою голову. – Ты из тех мужчин, о которых женщины мечтают.

Во мне нарастало возбуждение. В моей жизни тайн от нее не было. Если бы даже захотел от нее что-то скрыть, ничего бы не вышло. Она знает мой позор, мои секреты, мое смущение.

Она коротко поцеловала меня в губы, своего рода первый мазок. Второй поцелуй длился дольше. Адреналин закипел у меня в крови, неостребованные запасы тестостерона выплеснулись наружу. Надо же такому случиться, мелькнуло у меня в голове, ведь сегодня я получил сертификат хирурга. Как все совпало. Я обнял ее.

Она вздохнула, отодвинулась, отстранила меня, поправила волосы. Лицо у нее было серьезное, словно у клинициста, объявляющего результаты экзамена.

– погоди, мой милый. Все эти годы ты хранил чистоту. Это не шутки. Лучше тебе отправиться домой и подумать. Если я останусь для тебя желанной, я здесь. Возвращайся когда захочешь. А то можем отправиться в путешествие вдвоем. Или я приеду в Нью-Йорк и мы снимем чудесный номер в гостинице. – Она заметила досаду на моем лице. – Не грусти. Если у тебя за душой что-то столь прекрасное, надо хорошенько подумать, прежде чем с этим расставаться. Я пойму, если ты отдашь это не мне. А если выберешь меня, это будет честь. Вызываю тебе такси. Езжай, мой милый. Езжай с Богом.

Такова моя жизнь, думал я, пока такси пробивалось сквозь пробки и

ползло по тоннелю к аэропорту Логан. Я разделался с прошлым, вырезал раковую опухоль, пересек плоскогорья, спустился в пустыню, переплыл океаны и высадился на новой земле; выучился ремеслу, заплатил по счетам и только-только обрел самостоятельность. Но почему, стоит мне посмотреть вниз, как я вижу у себя на ногах древние, заляпанные грязью туфли, которые я должен был предать земле в самом начале?

Глава тринадцатая. Отрезать мышцу

Теперь, с моим доходом штатного хирурга, я приобрел половину дуплекса* – в Квинсе. Карниз над окном мансарды был вздернут, будто бровь, и казалось, что дом глазами хозяина смотрит на кленовую рощу, клином рассекающую жилой массив. Летом я выносил горшки с жасмином во двор, выращивал нехитрые овощи в крошечном садике. Зимой жасмин отправлялся в помещение, а пустые проволочные клетки оставались снаружи как память по сочным, кроваво-красным помидорам, порожденным землей. Я покрасил стены, поправил черепицу, установил книжные полки. Разлученный с Африкой, я пробовал свить гнездышко и был по-своему счастлив в Америке. Прошло уже шесть лет, и, хотя мне полагалось бы съездить в Эфиопию, я никак не мог вырваться, выкроить время.

* Два дома, имеющих общую стену.

В один прекрасный день на выходе из магазина на меня натолкнулась высокая, элегантно одетая темнокожая женщина в кожаном плаще. Я придержал для нее дверь, она проскользнула мимо, и меня вдруг охватило беспокойство. Она обернулась, оглядела меня и улыбнулась. В другой раз я ехал по Манхэттену с конференции по травматологии и мое внимание привлекла проститутка, вышедшая из-под навеса где-то возле тоннеля Холланд*. Фонари отражались в лужах, в призрачном свете фар она продемонстрировала мне свою грудь. А может, мне показалось. Меня вновь охватила тревога, как бывает, когда чувствуешь запах дыма, а что горит, не знаешь. Я объехал квартал, но она исчезла.

* Автомобильный тоннель под Гудзоном; соединяет Нью-Йорк с Джерси-Сити, штат Нью-Джерси; первый в мире автомобильный тоннель.

Дома я готовился к следующему рабочему дню. Закончив пятый год резидентуры, я мог заняться частной практикой, мог перейти в какую-нибудь другую базовую больницу, но я хранил верность Госпиталю Богоматери. В настоящий момент у нас проходили стажировку резиденты из военного медицинского центра в Сан-Антонио и из вашингтонского военного госпиталя Уолтера Рида. В мирное время мы оказались ближе всех к зоне военных действий, у нас специалисты могли оттачивать свое умение на реальных раненых. Я был заведующим травматологическим отделением, и нам оченьгодились новые ресурсы и люди. Причин для уныния у меня вроде бы не было. Но в тот вечер я глядел на огонь в камине

и места себе не находил. Надо было срочно принимать меры. А то как бы паралич не разбил.

И я решил, что в мою жизнь надо внести новое измерение, никак не связанное с работой. Я перелистал «Нью-Йорк тайме», раздел о культурных событиях, премьерах, выставках, лекциях и прочих интересных событиях, в выходной буквально заставил себя выйти в свет.

В следующую пятницу, придя после работы домой, я отнес портфель и почту в библиотеку, прошел на кухню, зажег свечу, накрыл на стол и разогрел остатки курицы, запеченной мной в прошлое воскресенье по рецепту «Нью-Йорк тайме».

В дверь постучали.

Я пришел в замешательство.

Неужели я пригласил кого-то на ужин и забыл? Кроме Дипака, заглянувшего как-то раз на огонек, никаких гостей у меня никогда не было. Может, это Циге прибыла из Бостона, чтобы взять дело в свои руки? Я ей уже раз десять собирался звонить: подниму трубку и робею. Или это Томас Стоун? Правда, я не сообщал ему, где живу, но он вполне мог узнать адрес у Дипака.

Я посмотрел в глазок.

В широкоугольной линзе кривились глаза, нос, скулы, губы... Мозг попытался сложить из разрозненных частей единое целое, у которого было бы лицо и имя.

Это был не Стоун. Не Дипак. И не Циге.

Никаких сомнений в том, кто это, не осталось.

Она повернулась к двери спиной, спустилась на две ступеньки.

Я смотрел, как она уходит.

Я открыл дверь.

Она замерла, тело еще стремилось на улицу, а голова уже повернулась назад. Ростом она оказалась выше, чем мне помнилось, а может быть, просто похудела. Она скользнула по моему лицу глазами, убедилась, что это я, и уставилась в одну точку где-то возле моего левого локтя. Это позволило мне рассмотреть гостью как следует и решить, пускать ли ее на порог.

Волосы распрямленные, вялые, небрежно расчесанные, никаких ленточек или обручей. Скулы остались прежними, ну, может, сделались чуть более выступающими, что только подчеркивало красоту овальных, слегка раскосых глаз. Даже без косметики это было поразительное лицо. Хотя стояло лето, на ней было длинное шерстяное, туго подпоясанное пальто, и она сжалась, будто от холода. Так мелкую зверушку, вторгшуюся

на территорию хищника, может парализовать страх.

Я спустился по ступенькам, взял ее за подбородок, приподнял голову. Глаза ее скользнули вниз, словно у куклы, с которой она когда-то играла. На ощупь кожа у нее была холодная. Вертикальные шрамы на висках заглубели. Перед глазами у меня встал тот день, когда Розина бритвой нанесла их, темная кровь, что сочилась из ран. Я запрокинул ей голову еще выше. Все равно она не смотрела мне в глаза. Показать бы ей мои шрамы: один, оставшийся после того, как они с Шивой меня предали, и второй, что нанесла мне она, когда заделалась большей эритрейкой, чем сами эритрейцы, и участвовала в угоне самолета, вследствие чего мне пришлось бежать из моей страны. Хотелось, чтобы она почувствовала, какая ярость скрывается за моим внешним спокойствием, как наливаются кровью мои мускулы, как сжимаются и зудят мои пальцы, готовые впиться ей в глотку. Хорошо, что она не смотрела мне в глаза, – моргни она, и я бы вгрызся ей в яремную вену и растерзал прекрасное тело, все целиком, с костями, зубами и волосами, ничего бы не оставил.

Я взял ее под руку, провел в квартиру. Она шла будто на казнь. В прихожей, пока я закрывал дверь, она стояла не шевелясь. В библиотеке – переделанной столовой – я подтолкнул ее к дивану. Она присела на самый краешек и застыла. Я не сводил с нее глаз. Она закашлялась, приступ длился секунд пятнадцать, прижала к губам измятый платок. Только я открыл рот, чтобы наконец заговорить, как кашель повторился.

Я удалился на кухню. Пока закипала вода для чая, я стоял, прижавшись лбом к холодильнику. Что это со мной? То убить готов, то гостеприимство проявляю.

Она не переменяла позу. Мне бросилось в глаза, какие у нее неухоженные ногти – ни следа лака – и дряблая кожа на руках, как у судомойки. Она спрятала руки в рукава и только потом взяла чашку. По лицу у нее покатались слезы, губы искривились в гримасе.

Я-то надеялся, что подобные зрелища давно меня перестали трогать.

– Извини. Я работаю на кухне, – прошептала она.

– После всего того, что ты со мной сделала, ты извиняешься за свои руки?

Она заморгала и не сказала ничего.

– Как ты меня нашла?

– Циге меня прислала.

– Зачем?

– Я позвонила ей, когда вышла из тюрьмы. Мне нужна была... помощь.

– А она тебе не передала, что я не желаю тебя видеть?

– Передала. Но она настаивала, чтобы я прежде всего повидалась с тобой. – Впервые за все время Генет подняла на меня глаза. – Да и сама я хотела тебя увидеть.

– Зачем?

– Чтобы попросить прощения. – На несколько секунд она отвела взгляд в сторону.

– Ты этому в тюрьме научилась? Не смотреть в глаза? Она засмеялась. Неужели гнев, раздражение теперь обходят ее стороной, она выше этого?

– Меня пырнули ножом за то, что не прятала глаз. – Она указала подбородком куда-то влево. – Мне селезенку удалили.

– В какой тюрьме ты сидела?

– Олбани.

– А сейчас?

– Я на условно-досрочном. Раз в неделю обязана встречаться с инспектором.

Она поставила чашку

– Что еще сказала Циге?

– Что ты хирург. – Она обвела взглядом полки с книгами. – Что у тебя все складывается отлично.

– Я попал в Америку только потому, что был вынужден бежать. Тайком, ночью, точно вор. И кто это мне так удружил? А Хеме? Одна особа, которая у нас в семье была... как дочь.

Она принялась раскачиваться взад-вперед.

– Валяй, ругай меня, – она выпрямилась, – я заслужила.

– Все играешь мученицу? Слышал, там, в самолете, ты спрятала пистолет в прическу Афро! Прямо эритрейская Анджела Дэвис, а?

Она покачала головой. Помолчали. Наконец она сказала:

– Не знаю, кем я была. Какую роль играла на самом деле. Та прежняя «я» хотела совершить что-то великое. – Последнее слово она почти выплюнула. – Что-то впечатляющее. За Земуя. За себя. Мне сказали, что наша семья и ты останетесь в стороне. Как только теракт удался, я поняла, какая я дура. Ничего великого в нем не было. Одна глупость.

Она допила чай и поднялась

– Прости меня, если сможешь. Ты заслужил лучшего.

– Заткнись и сядь, – проговорил я. Она послушалась. – Думаешь, на этом все? Извинилась – и была такова?

Она покачала головой.

– У тебя был ребенок? – спросил я. – От партизана?

– Противозачаточные средства оказались никуда не годными.

– За что ты попала в тюрьму?

– Тебе рассказать все?

Она снова закашлялась. Когда приступ миновал, ее стала бить дрожь, хотя в комнате было тепло, я даже вспотел.

– Что случилось с твоим ребенком?

Она сморщилась. Выпятила губы. У нее затряслись плечи.

– Ребенка у меня забрали. Отдали приемным родителям. Я проклинаю человека, из-за которого оказалась в таком положении. – Генет подняла глаза. – Я была хорошей матерью, Мэрион...

– Хорошей матерью! – расхохотался я. – Если бы ты была хорошей матерью, то родила бы ребенка от меня.

Она улыбнулась сквозь слезы, будто я сказал что-то забавное, типа подростковой фантазии о том, как мы поженимся и приумножим население Миссии. Ее затрясло, и поначалу я подумал, она смеется. Но тут я услышал, как щелкают ее зубы. Я репетировал свою роль, когда шел из Асмары, репетировал всю дорогу до Судана, много раз представлял себе, как она будет оправдываться, проигрывал варианты, – словом, держал порох сухим. Но такого я не предусмотрел. Ее молчание, ее дрожь обезоружили меня. Я пощупал ей пульс. Сто сорок ударов в минуту. Ее кожа, еще недавно холодная, обжигала.

– Я... должна... идти, – запинаясь, произнесла она, поднялась и пошатнулась

– Останься.

Она явно была нездорова. Я дал ей три таблетки аспирина, отвел в ванную и включил душ. Когда пошла горячая вода, помог ей раздеться. Если до этого она была для меня зверьком в логове у хищника, то сейчас я казался себе отцом, раздевающим ребенка. Когда она встала под душ, я бросил ее белье и блузку в стиральную машину. Из-под душа Генет выбралась с моей помощью. Ее шатало. Я вытер ее, усадил на край кровати, надел на нее свою теплую пижаму, подвернув рукава и штанины, заставил проглотить несколько ложек запеканки, намазал шею, грудь и ступни «виксом»*. Она уснула прежде, чем я натянул на нее шерстяные носки.

* Товарный знак большого ассортимента лекарств от простуды (мази, препараты для ингаляции, таблетки и т. п.) производства фирмы «Проктер энд Гэмбл».

Что я чувствовал? Это была пиррова победа. Пирексическая* победа – термометр под мышкой показывал 39,4. Я переложил выстиранные вещи в

сушилку и сунул в стиральную машину ее джинсы. Убрал в холодильник остатки запеканки. Сел с книгой в библиотеке. Наверное, задремал.

* Пирексия – повышение температуры тела по сравнению с нормальной.

Через несколько часов послышался шум спускаемой в унитазе воды. Она сидела на кровати, без пижамы и носков, завернувшись в полотенце, и терла губкой лоб. Жар спал. Чтобы я мог сесть рядом, она подвинулась.

– Хочешь, чтобы я ушла сейчас? – спросила она. На этот вопрос мог быть только один ответ:

– Ты будешь спать здесь.

– Я вся горю.

В ванной я переоделся в шорты и тишотку вынул из шкафа одеяло и направился в библиотеку.

– Останься со мной, – попросила она. – Пожалуйста. Заранее приготовленного ответа у меня не было.

Я забрался в свою кровать, протянул руку к выключателю.

– Не гаси свет, – взмолилась она.

Не успел я улечься, как она прижалась ко мне, источая ароматы моего дезодоранта, шампуня и «викса», сложила мне руки, прижалась ко мне всем своим влажным телом. Пальцы ее гладили меня по лицу так нежно, словно она опасалась, что я кусаюсь. У меня в памяти всплыла та ночь, когда я нашел ее, обнаженную, в кладовой.

– Что это за звук? – спросила она испуганно.

– Таймер сушилки. Я постирал твои вещи. Она всхлипнула:

– Ты заслужил лучшего.

– Уж конечно.

Я смотрел ей в глаза, вспоминая размазанное пятнышко на правой радужке в том месте, куда попала искра. Вот оно, никуда не делось, только потемнело и напоминает теперь врожденный дефект. Я осторожно коснулся ее губ, носа. Глаза ее медленно закрылись, из-под век выкатилась слеза. Она улыбнулась прежней улыбкой. Я убрал руку. Она заморгала, глаза ее сверкнули, и она робко поцеловала меня в губы.

Нет, я ничего не забыл. В то мгновение моя ярость была обращена не против нее, а против безвозвратно ушедшего времени, что столь поспешно лишило меня красивых иллюзий. Особенно жалко было иллюзии, что она моя.

Она поцеловала меня еще раз, я попробовал на вкус соль ее слез. Неужели в ней говорит только жалость? Я не могу этого принять. Внезапно я очутился на ней, в мгновение ока содрал с нее простыню, полотенце...

Действовал я неуклюже, но решительно. Она перепугалась, жилы на шее натянулись. Я взял в ладони ее голову и поцеловал.

– Подожди, – прошептала она, – а как же... ты ведь должен...

Но я уже был в ней.

По телу ее прошла дрожь.

– Что я должен, Генет? – прохрипел я, инстинкт подсказывал мне, что делать, как двигаться. – Это – мой первый раз... Откуда мне знать, что я должен и чего не должен?

Зрачки у нее расширились. От радости? Теперь она знала.

Знала, что есть на свете люди, которые держат слово. Таким человеком был Гхош, которого она так и не удосужилась навестить на смертном одре. Пусть это пробудит в ней совесть, устрасит.

Когда все закончилось, я остался на ней.

– Мой первый раз, Генет. – Теперь мои слова звучали мягко. – Только не подумай, что я дожидался тебя. Все из-за того, что ты загубила мою жизнь. Ты могла на меня положиться. Надежно, как в банке, как здесь говорят. Ради тебя я был готов на все. А ты что сделала? – обратила все в дерьмо. Никак не могу понять почему. У тебя были Хема и Гхош. У тебя была Миссия. У тебя был я, и я любил тебя больше, чем ты сама себя когда-нибудь сможешь полюбить.

Она плакала. Прошло немало времени, прежде чем она погладила меня по голове и поцеловала.

– Мне надо в ванную.

Я ее не отпустил. Во мне снова нарастало возбуждение. Я опять оказался в ней.

– Прошу тебя, Мэрион, – взмолилась она.

Не выходя из нее, я обхватил Генет руками, перекатился на спину и усадил ее на себя. Ее груди воспарили надо мной.

– Хочешь писать? Валяй, – задыхался я. – У тебя уже есть опыт.

Я обнял ее и изо всех сил прижал к себе. Ноздри мне щекотал запах лихорадки, крови, секса и мочи. Я кончил еще раз.

И сдался. Позволил ей соскользнуть с себя.

В субботу утром я проснулся поздно. Ее голова лежала у меня на плече, глаза смотрели на мое лицо.

Я опять овладел ею – мне уже трудно было себе представить, как я мог так долго отказывать себе в таком наслаждении.

Окончательно продрал глаза я в два часа дня. Судя по звукам, она была на кухне. Вернувшись из ванной, я заметил кровь на простынях. Сдернул с кровати постельное белье и положил стираться.

Она принесла две чашки кофе, курицу и две ложки для меня. Ее опять знобило, в халате ей было холодно, зубы выбивали дробь, то и дело нападал сухой кашель. Халат на ней распахнулся. Она смотрела, как я перестилаю постель.

– Извини, – смущенно произнесла она. – Кровь у меня идет из-за тех шрамов... Всегда идет, когда... я с мужчиной. Подарок от Розины. Хочешь не хочешь, а вспомнишь о ней.

– Больно? – Я принял у нее кофе.

– Поначалу. И если давно никого не было.

– А жар у тебя давно? Ты рентген делала?

– Я скоро поправлюсь. Просто сильно простудилась. Надеюсь, ты не заразился. Я нашла у тебя в шкафу «эдвил»* и приняла пару таблеток.

– Генет, ты должна...

* Товарный знак болеутоляющего и жаропонижающего средства – ибупрофена; рекламируется от простуды, головной, зубной и мышечной болей, от артритов и невралгии.

– Я поправлюсь, доктор. Честное слово.

– Расскажи, за что тебя посадили. Улыбка исчезла. Она покачала головой:

– Прошу тебя, Мэрион. Не надо.

Я знал: ее рассказ меня вряд ли порадует. В нем замешан другой мужчина. Но я должен был выслушать. И потому, когда мы перешли в библиотеку, я настоял.

Он был интеллектуал, бунтарь, зачинщик. Эритреец, вышедший из игры, как и она. Имени его она называть не стала – и без того рассказывать тяжело. Достаточно сказать, что он завоевал сердце ее ребенка (отец ребенка погиб в боях), а немного погодя – и ее собственное. Место действия – Нью-Йорк, вскоре после ее прибытия. Ей казалось, ее жизнь только начинается. Они поженились. Через год она уже носила под сердцем его дитя. И тут она начала подозревать, что он ей изменяет. Генет раздобыла адрес той женщины, забралась в ней в квартиру, спряталась в платяном шкафу и полдня прождала. Ближе к вечеру парочка явилась. Муж и его белая любовница предались блюду, оглашая окрестности криками и сопением, а Генет все никак не могла решить, обозначать ли ей свое присутствие.

– Мэрион, пока я сидела у этой женщины в шкафу, уставившись на ее пояса, что свернулись в корзинках, точно змеи, вся моя жизнь после смерти Земуя встала у меня перед глазами.

Ну прибыла я в Америку, и что дальше? Всю свою любовь я отдала

мерзавцу, который ее никак не заслуживал. Я любила его – как это ты выразился? – больше себя самой. Я отдала ему все. Значит, если я собиралась ему мстить, мне следовало пожертвовать всем, самой своей жизнью. Во всем мире есть только один мужчина, достойный такой жертвы. Это ты, Мэрион. В юности я была такая дура, что не понимала этого. Такая дура.

Он не стоил такой жертвы, но я уже не могла остановиться. Повторилась прежняя история – в любви мне тоже потребовалось совершить нечто выдающееся. Если уж не удалось примазаться к его славе – а я была уверена, что он прославится, такой умный, такой ученый, – то...

Впервые я поняла, что такое пролетариат. Это – я, всегда им была, и действовать мне предстоит по-пролетарски. В руках у меня оказалась опасная бритва.

Я начала тоненько петь. Они меня не видели, а я их видела.

Я вылезла из шкафа. Отрежу ему мускул любви, думала я, отхвачу, будто стебелек хны. На такое становишься способен, только если любил кого-то до того самозабвенно, что тебя уже ничего не сдерживает, да от тебя ничего и не осталось, все перегорело. Понимаешь? (Я понимал это слишком хорошо.) Если бы дело обстояло не так, я бы просто сказала ей: «Бери его, береги его, скатертью дорога». А я на них набросилась.

Я их порезала, правда, не так сильно, как задумала. Они убежали. Я дождалась полицейских. Мне казалось, я сбросила кандалы, в которые мои руки были закованы всю жизнь. Я искала величия – и получила его. Я обрела свободу в ту самую минуту, когда меня свободы лишили.

Она посмотрела на мое лицо и засмеялась.

– Генет умерла в тюрьме, Мэрион. Генет больше нет. Когда у тебя отнимают живого ребенка, умираешь. Ничего важного в моей жизни больше не осталось. Я – покойница.

У тебя есть я, Генет. У нас все только начинается. Но слова эти остались несказанными. В кои-то веки я поостерегся, послушался голоса разума.

Такого необычного сострадания я не испытывал никогда, оно было лучше, чем любовь, оно освобождало меня, избавляло от нее. Мэрион, сказал я себе, она обрела величие. А коли человек велик, что ему еще надо?

Глава четырнадцатая. Сатанинский выбор

Если оглянуться назад, моя болезнь началась в воскресное утро, в ту светлую минуту, когда просыпаешься в полной тишине и осознаешь, что один дома, а ее нет. Сорок три дня спустя накатила первая волна тошноты, это такое цунами, словно Везувий обрушился в море. Потом на меня спустился древний туман, клубящаяся мгла родом с гор Энтото, пронизанная голосами животных. А на сорок девятый день я потерял сознание.

Примечательно, что жизнь может в корне измениться из-за такой безделицы, как решение открывать или не открывать дверь. Я впустил Генет в пятницу. Через два дня она исчезла, не попрощавшись, и ничто уже не было таким, как прежде. Она оставила на обеденном столе крест святой Бригитты – видимо, в дар мне. Когда-то крест принадлежал ее отцу а еще раньше – канадскому солдату по имени Дарвин.

Рассказ о ее бывшем муже тянулся, словно осложненный грипп. Что ж, я сам настоял. Оказалось, Генет способна на бескорыстную любовь – только не со мной. И все-таки между нами в моем доме установилось некое равновесие – а может, нам просто показалось, – как между детьми, играющими в семью, в доктора.

После работы я летел домой в надежде, что Генет ждет меня на крыльце. У меня сердце екало, стоило мне взглянуть на желтую бумажку, прилепленную с внутренней стороны сетчатой двери: «Ключи у соседа. Его фамилия Холмс. Чувствуй себя как дома». Всякий раз я перечитывал записку: мне все мерещилось, я что-то упустил. Признаюсь, я даже оставил у двери огрызок карандаша, чтобы ей было чем написать ответ.

К пятнице, через неделю после того, как я затащил ее к себе, желтая бумажка рывкнула: БОЛВАН! Карандаш ее поддержал: БОЛВАН ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ! Я сорвал записку и выкинул карандаш на улицу.

Я не злился на Генет. Она была, по крайней мере, последовательна. Я злился на самого себя, ведь я по-прежнему ее любил, во всяком случае, любил мечту о нашем духовном единении. Чувства мои были неразумны, иррациональны и неизменны. Боль тоже не менялась.

Сидя в ту ночь у себя в библиотеке за бутылкой виски, которой я за четыре часа нанес куда больший урон, чем за весь прошедший год, я прокручивал в голове наш последний разговор. Она свернулась калачиком в кресле, на котором сейчас сидел я, на ней был мой халат, который сейчас на

мне. Я подал ей чай – еще один отличительный признак дуралеев, стигмат, по которому их сразу можно безошибочно распознать.

– Мэрион, – мягко сказала она, водя глазами по книжным полкам, – судя по тому, как ты описал квартиру отца в Бостоне, твое жилище мало от нее отличается.

– Не смей меня, – буркнул я. – Эти полки я соорудил сам. У половины книг нет ничего общего с хирургией. У меня своя жизнь.

Генет не стала возражать. Мы сидели в молчании. Она неотрывно смотрела на коврик на полу, разделяющий нас, – на нем сидел чужак, обнаженный темнокожий мужчина, чье тело было изрезано бритвой. Разговаривать при нем было невозможно.

Я объявил, что иду спать.

– Я сию минуту, – отозвалась она и улыбнулась.

Я ей не поверил. Мне показалось, я ее больше не увижу. Но я ошибался. Она скользнула ко мне под одеяло, и мы занялись любовью. Нежно и неторопливо. Мне даже показалось, она собирается остаться. Но это было прощание.

Через две недели после ее ухода у меня возникли разногласия с обстановкой моего дома. Библиотека навевала тоску. В кухне я вытащил из холодильника свой ужин, на пакете из фольги моей рукой были написано: «Пятница» – пищу я приготовил, разделил на равные доли и заморозил три недели тому назад. Такое разделение замороженных продуктов на категории показалось мне верным знаком того, что в голове у меня полный хаос.

Благодарю Бога за моего доброго соседа Сонни Холмса. Он услышал, как я беснуюсь, как колочусь головой о холодильник. В Сонни Холмсе жило неистребимое любопытство, присущая всем американцам жадная любознательность, которая приходит на восьмом десятке и даже не пытается спрятаться. Он знал: у меня гостя (воистину редчайшее событие), слышал скрип кровати и последовавшее за этим молчание.

– Вам надо нанять охранную фирму, – поспешно заключил он, не дожидаясь, пока я закончу свой рассказ. Сонни верил в эннеграмму*, в эту придуманную иезуитами классификацию людей по типу личности. Сам он, упорный и уверенный в себе, был «единицей». Меня он относил к «четверкам», впрочем, может быть, и к «тройкам», а то даже к «двойкам».

* Эннеграмма – девятиугольная фигура из двух фигур, вписанных в круг (всего три фигуры). По словам Гурджиева, «показывает общность закона семи и закона трех». В философской концепции Гурджиева-Успенского – фундаментальный символ ряда скрытых мировых

мистических законов. Приверженцы этого учения почитают эннеграмму важным инструментом самопознания. Со второй половины XX века они стали создавать «практические приложения» этого символа, в широком спектре от использования ее в БАДах (биодобавках) и вплоть до типологии личности. В попытке скрещивания ее с современной психологией они ввели понятие «Эннеграмма личности», которое предполагает, что каждому типу личности свойствен свой отличительный образ мышления и выражения эмоций.

– Кого мне надо нанять? – не понял я.

– Частного детектива.

– С какой целью, Сонни? Я не хочу ее больше видеть.

– Ну да, ну да. Но необходимо внести ясность. Что, если она в тюрьме или в больнице? Что, если она давно вернулась бы к тебе, да нет возможности?

Благородный мотив, то, что надо «двойке», дабы лелеять навязчивую идею. Я так и вцепился в эту мысль.

«Розыскное бюро Восточного побережья» на поверку оказалось серьезным молодым блондином по имени Эпплби, сыном покойной невестки Холмса. Эпплби быстро установил, что в свой «дом на полпути»* Генет не вернулась, на работу в ресторан «Натан» не вышла, к инспектору по УДО не явилась и Циге не звонила. Факты он собрал молниеносно, даже разнюхал, что в тюрьме Генет был поставлен диагноз «туберкулез». Ей было назначено медикаментозное лечение, но в назначенный срок, уже после освобождения, она к врачу не обратилась. Кашель и жар, по всей вероятности, были вызваны туберкулезом. Обескураживал тот факт, что, если она материализуется, я буду только третьим в очереди после врача и инспектора по УДО. И повторной отсидки ей, похоже, не избежать. Источник Эпплби в тюрьме мог получить полноценный доступ к ее медицинской карте, и Эпплби на свой страх и риск дал соответствующее распоряжение. Я волновался, что мы нарушаем конфиденциальность.

* Учреждение для реабилитации отбывших наказание заключенных, вылечившихся наркоманов, алкоголиков, психических больных.

– В такого рода ситуациях знание – это сила, – заявил Эпплби и тем меня покорило и возбудило доверие: ведь эту цитату любил Гхош. – Вы платите за то, чтобы знать, – добавил Эпплби, – и мы обязаны расширить ваш кругозор.

– И что мне делать теперь? – спросил я. Вопрос был не про риск заразиться туберкулезом. С этим я бы и сам как-нибудь справился.

Эпплби отвел глаза. Щеки и нос у него покрывали сосудистые узелки,

которые при малейшем раздражении наливались кровью. Его заболевание называлось *асне rosacea*, не путать с *асне vulgaris*, проклятием многих подростков.

В один прекрасный день нос у Эпплби станет темно-красным, а щеки приобретут цвет мяса. Он уже стеснялся своей внешности, а будет только хуже, поскольку люди станут ошибочно принимать его за пьяницу. Вот *что было мне известно о его будущем. А пока он за деньги предсказывал, что ожидает меня.

– Значит, так, доктор Стоун. – Эпплби откашлялся, и нос его налился краской – верный признак того, что мне не понравятся его слова. – При всем моем уважении, все-таки пересчитайте серебряные ложки. Убедитесь, что ничего из имущества не пропало.

Я выдержал долгую паузу.

– Но, мистер Эпплби, то единственное, что для меня важно, как раз и пропало.

– Да, конечно, – вздохнул он.

Сочувствие в его голосе сказало мне, что и ему не чужда моя боль. Нас легионы.

Из событий последующих недель вспоминается ночной телефонный звонок. Спросонья я схватил трубку, не соображая, где я: в Госпитале Богоматери или вернулся в Миссию. Я никак не мог уразуметь, чего от меня добивается врач-резидент на том конце провода. Разбудили человека, бывает. Собеседник отнесся с пониманием. Но туман в моей голове никак не хотел рассеиваться. Я бросил трубку и вырвал телефонный провод из гнезда. Наутро голова была ясная, но тело отказалось повиноваться. Я не мог подняться с кровати, такая навалилась слабость. При одной мысли о еде тошнило. Я повернулся на бок и заснул.

Может быть, в тот же день, а может быть, на следующий у моей постели появился человек. Он пощупал мне пульс, окликнул по имени. Это был бывший главный врач-резидент, Дипак Джесудасс. Я отчаянно схватил его за руку.

– Не уходи, – прошептал я, – я должен знать, насколько опасно болен.

– Я и не ухожу, – ответил он. – Только занавески задерну.

Помню, я подробно описал ему, что случилось. Пока я говорил, он меня осмотрел, прерывая только фразами типа «Скажи „А“» или «Посмотри вниз». После этого он поинтересовался, есть ли у меня стетоскоп. «Шутишь? На что он хирургу?» – ответил я, и мы вместе посмеялись – странные, непривычные звуки огласили мое жилище. Он пропальпировал мне правое подреберье, и я сказал «Ай». Мне это

показалось забавным. Потом я услышал, как он негромко говорит по телефону. Все это время я не выпускал его руки.

Три человека, лица которых были мне знакомы, явились с носилками, упаковали меня во фланелевый кокон, вынесли на улицу и погрузили в машину «скорой помощи». Помню, я собирался сказать им, как изящно, с врожденной грацией они движутся и как необычно чувствовать себя кенгуренком в сумке. Я собирался попросить прощения за то, что не оценил их талант раньше.

Дипак находился со мной, шагал рядом с моей каталкой по коридорам больницы, а мимо проплывали потрясенные лица сотрудников. Меня привезли в реанимацию. В резком свете люминесцентных ламп мои глаза горели желтым пламенем, но я этого не знал. Кожа у меня тоже отсвечивала желтым. Из сделанных шприцами проколов обильно лилась кровь. Моча была цвета чая – я подсмотрел, как ни старались сестры закрыть мне вид на мешок с катетером. Впервые в жизни я по-настоящему испугался.

Мозг у меня словно распух, отчаянно хотелось спать. Прежде чем потерять сознание, я успел подозвать Дипака:

– Что бы ни случилось, не забирай меня никуда из Богоматери. Если я должен умереть вдали от Миссии, пусть я умру здесь.

В какой-то момент я осознал, что Томас Стоун у моей кровати, но осматривает меня не как клиницист. Вместо лица у него была хорошо мне знакомая по родителям пациентов застывшая маска: ребенок попал в беду. И тут я лишился чувств.

Потом мне сообщили текст телеграммы, которую отправили Хеме:

**ПРИЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЕННО МЭРИОН ОПАСНО БОЛЕН ТЧК
ТОМАС СТОУН P. S. НЕ ЗАДЕРЖИВАЙСЯ.**

Она и не задержалась – позвонила жене товарища пожизненного президента, которая отнеслась с полным пониманием. Американское посольство срочно выдало визы, и к концу дня Хема и Шива были на борту рейса на Франкфурт через Каир. Потом, также самолетом «Люфтганзы», они пересекли Атлантический океан. Хема вертела в руках телеграмму, изучала буквы, надеясь отыскать что-нибудь вроде анаграммы.

– Наверное, смысл в том, что при смерти Томас Стоун, не Мэрион.

Шива убежденно сказал:

– Нет, Ма. Это Мэрион. Я чувствую.

В десять вечера по нью-йоркскому времени они переступили порог отделения интенсивной терапии: сидящая женщина в красно-коричневом сари с поразительно красивым, несмотря на круги под глазами, лицом и высокий молодой человек – несомненно, ее сын и мой брат-близнец.

Они неторопливо подошли к моей стеклянной кабине, усталые путники из Старого Света, всмотрелись в сияние больничной палаты. Здесь, в Новом Свете, пребывал я, сын, отправившийся в Штаты за высшим образованием, ставший врачом-практиком на щедрой, богатой, прибыльной, чрезвычайно эффективной ниве всемогущей американской медицины, столь отличной по самой своей сути от того, чем они занимались в Миссии; и вся эта медицина, казалось, взялась сейчас за меня, набросилась, точно тигр на своего дрессировщика, подключила светло-серый аппарат искусственного дыхания, приковала к мониторам, вонзила в меня катетеры, шланги и кабели. Даже из черепа торчал электрод, словно гвоздь вбили.

Они увидели Томаса Стоуна, он сидел у моей кровати ближе к окну, неловко опершись седой головой о защитный поручень, глаза закрыты. За семьдесят два часа, что прошли с отправки телеграммы, мое состояние ухудшилось. Почувствовав их присутствие, Томас Стоун поднял голову, вскочил. Он был какой-то потерянный, застывший, чужой хирургический костюм был ему не впору, на покрытом морщинами бледном лице рисовались облегчение и беспокойство вместе.

В последний раз два старых товарища виделись в Третьей операционной вскоре после нашего рождения и смерти мамы. Тогда же Стоун распрощался и с Шивой.

Тумбочка и аппарат искусственного дыхания загородили Хеме проход. Чтобы подойти ко мне ближе, ей пришлось описать петлю вокруг Стоуна.

– Он «опасно болен» чем, Томас? – обратилась к нему Хема, цитируя два слова из телеграммы, которые взволновали ее больше всего. Тон у нее был профессиональный, будто она спрашивала коллегу о состоянии пациента.

– Печеночная кома, – ответил Томас в той же манере, благодарный за то, что она избрала способ общения, позволивший ограничиться в отношении их сына сухим диагнозом. – У него фульминантный гепатит. Уровень аммиака очень высок, и печень еле справляется.

– Какова причина?

– Вирусный гепатит. Гепатит В.

Стоун опустил защитный поручень, и оба врача склонились надо мной. Хема прижала верхний конец сари к губам.

– У него, похоже, не только желтуха, но и анемия, – с трудом выговорила она. – Гемоглобин какой?

– Девяносто. Геморрагический синдром. Нарушение коагуляционного гемостаза. Билирубин двенадцать, креатинин на сегодня четыре, вчера был

три.

– Что это такое? – показал Шива на мой череп.

– Монитор внутричерепного давления. Катетер устанавливается в желудочек. У него отек мозга. Ему дают маннитол.

Вид у Шивы был скептический.

– Так эта штука в черепе только меряет? Не лечит? Томас Стоун кивнул.

– Как это началось? – спросила Хема.

Пока Стоун описывал течение болезни, Шива сдвинул тумбочку, расчистил пространство между кроватью и аппаратом искусственного дыхания и, будто акробат, неторопливо проскользнул под кабелями и трубками. На глазах у вошедшего Дипака он лег рядом со мной на бок, наши головы соприкоснулись. Его действия казались рискованными и вместе с тем вполне естественными. Дипаку осталось только наблюдать, попутно он отметил, что внутричерепное давление у меня упало, хотя последние три дня только и делало, что росло.

Дипак представился не ранее, чем Вину Мехта, гастроэнтеролог, заполнил собой дверной проем, тяжело дыша после восхождения по лестнице. Вину был врачом-резидентом по внутренней медицине в те же годы, что я стажировался по хирургии, получил выгодную практику, но что-то не сложилось, и он вернулся на должность с твердой ставкой в Госпиталь Богоматери.

– Вину Мехта, доктор-мадам. – Он сложил ладони щепоткой, продемонстрировав «намаете», и взял пальцы Хемы в обе свои руки. – А это, должно быть, Шива, – он обеспокоенно окинул брата взглядом, – ведь второй джентльмен уж точно Мэрион. – Вину повернулся к Хеме: – Какое потрясение, мадам. Для всех нас здесь тоже. Просто мир перевернулся. Мэрион – один из нас.

У Хемы затряслись губы от такого внезапного проявления дружеских чувств.

Стоило только взглянуть на Вину, как становилось понятно, что все истории насчет покупки продуктов для пациентов, которых он выписывал, скорее всего, правда. Я был свидетелем, как он продлевал больному срок пребывания в больнице, только бы уберечь от домашних скандалов. Он был лучший друг всем и каждому, регулярно пек кексы и печенье для меня. Я всегда посылал ему открытку на День матери, чему он несказанно радовался.

– Меня вызвали сразу же, как привезли сюда Мэриона, доктор-мадам, – продолжал Вину. – Гепатология, печень – моя сфера. Гепатит В здесь

бродит. Переносчиков много: наркоманы; те, кто унаследовал его от матерей; болезнь очень распространена среди иммигрантов с Дальнего Востока. Вирус вызывает латентный цирроз и даже рак печени, масса случаев. Но острый фульминантный гепатит В? В моей практике было всего два пациента со столь тяжелыми симптомами.

– Вину, скажи мне правду. – Хема перешла на серьезный тон Матушки Индии, очень уж к нему располагал юный доктор. – Мой сын – пьяница?

По-моему, вопрос был справедлив. Как-никак мы с ней не виделись больше семи лет. Она была уверена: в генах у меня это есть. Откуда Хеме было знать, что из меня выросло?

– Мадам, категорически нет! – возмутился Вину. – Нет и еще раз нет! Ваш сын – брильянт чистой воды.

Суровое лицо Хемы смягчилось.

– Хотя, мадам, – продолжал Вину, – за последние несколько недель... только не подумайте плохого... по словам соседа, Мэриону довелось поволноваться. И он пил.

Дипак обнаружил у меня дома новый рецепт на изониазид, противотуберкулезное средство. Среди побочных эффектов изониазида видное место занимают гепатиты. Через две недели после начала приема врачу следует обязательно проверить энзимы печени и отменить прием препарата, если анализ выявит какой-нибудь симптом поражения этого органа.

– Моя гипотеза, мадам: Мэрион-бхая самостоятельно начал принимать изониазид. Рецепт выписан месяц назад. Он, наверное, не сдал кровь для проверки функций печени, как требуется. Он ведь, в конце концов, хирург, бедняга. Что он знает об этих тонкостях? Ему бы обратиться ко мне! Счел бы за честь помочь ему! Ведь Мэрион-бхая отлично вылечил мою грыжу.

Во всяком случае, мадам, я отправился на Манхэттен, в больницу Горы Синай, и пал к ногам самого лучшего гепатолога на свете, у которого сам учился. Я сказал: «Профессор, это не рядовой гепатит, заболел мой брат». Он согласился со мной, что сочетание алкоголя и изониазида могло оказать влияние, но, несомненно, в первую очередь, это гепатит В.

– А каков прогноз? – спросила Хема. Это главное, что хочет знать каждая мать. – Кто-нибудь может мне сказать? Ему станет лучше?

Вину посмотрел на Дипака и Томаса Стоуна, но ни один не произнес ни слова. В конце концов, Вину – эксперт по этой болезни.

– Говорите же! Жить он будет?

– Случай, несомненно, очень тяжелый, – пробормотал Вину.

Хема заметила, что он сдерживает слезы, и это сказало ей все.

– Не молчите! – Хема повернулась к Стоуну, затем к Дипаку: – Это гепатит. Я знаю, что это такое. Мы видим, как он косит людей в Африке. Но здесь... где все есть, в этом богатом госпитале, – она показала на аппаратуру, – вы, конечно, можете всерьез побороться с гепатитом, а не заламывать руки и не мямлить, что «случай очень тяжелый».

При слове богатый они, наверное, вздрогнули. По сравнению с оборудованными по последнему слову техники отделениями интенсивной терапии в денежных клиниках, вроде больницы Томаса Стоуна в Бостоне, у нас имелось только самое необходимое.

– Мы все перепробовали, мадам, – уныло произнес Дипак. – Обменное переливание плазмы. Все, что только придумали на белом свете для борьбы с этой болезнью.

Вид у Хемы был скептический.

– Включая молитвы, – добавил Вину. – Сестры беспрестанно молятся за него вот уже два дня. Откровенно говоря, чудо бы не помешало.

Шива, лежа рядом со мной, вслушивался в каждое слово.

Хема смотрела на мое бесчувственное тело, гладила меня по руке и качала головой.

Вину убедил их отправиться в общежитие, где для них выделили особую комнату, и даже накормил легким ужином из чапатти и дхала*. Хема слишком устала, чтобы сопротивляться.

* Чапатти – традиционный индийский хлеб, лепешки сделанные из муки низшего сорта и воды; дхал – национальный индийский суп-пюре на основе бобов дхал, кокосового молока, овощей и специй.

Наутро Хема облачилась в оранжевое сари, слегка приободрилась, хотя все равно казалось, что за прошедшую ночь она постарела на несколько лет.

Томас Стоун находился точно в том же месте, где они расстались. Он поискал глазами Шиву, но его рядом с Хемой не оказалось.

Она встала у моей кровати, ей не терпелось взглянуть на меня при свете дня. Вчера ночью все было каким-то нереальным, будто это не я лежал на больничной койке, а некое продолжение медицинской аппаратуры, вдруг обретшее плоть. Но теперь перед ней точно находился я, грудь моя вздымалась, глаза заплыли, изо рта торчала дыхательная трубка. Все происходило на самом деле. Она не могла сдержать слез, совершенно забыв о Томасе Стоуне, и вспомнила о нем, только когда он предусмотрительно протянул ей носовой платок. Его она прямо вырвала у Томаса из рук, как инструмент у копуши-медсестры.

– Такое чувство, что все это из-за меня. – Она высморкалась. – Это

звучит эгоистично, но потерять Гхоша, потом увидеть Мэриона в таком состоянии... ты не поймешь, я как будто подвела их всех, навлекла несчастье на Мэриона.

Обернувшись, она увидела бы, как Томас Стоун яростно трет пальцами виски, словно пытаюсь стереть с лица земли самого себя.

– Ты... ты и Гхош никогда их не подводили. Это я их подвел. Их и всех вас.

«Вот она, – должно быть, подумала Хема, – запоздалая благодарность и мольба о прощении, и в такую минуту... Все это уже неважно». Она даже не взглянула в его сторону.

Вошел Шива. Казалось, он не замечает Стоуна. Глаза его были устремлены только на меня, его брата.

– Где ты был? – спросила Хема. – Ты вообще-то спал?

– Я был в библиотеке наверху. Там вздремнул. – Шива осмотрел меня с головы до ног, изучил, как настроен дыхательный аппарат, прочитал этикетки на пластиковых контейнерах капельниц.

– Вот о чем я не спросила у Вину, – обратилась Хема к Стоуну – Как Мэрион заразился гепатитом В?

Томас потряс головой, как бы желая сказать, что не знает. Но Хема не смотрела на него, и он принужден был заговорить:

– Скорее всего... во время операции. Порезался. Профессиональный риск для хирурга.

– Он также мог заразиться во время полового сношения, – сказал Шива. Стоун согласно кивнул. Хема, уперев руку в бедро, взглянула на Шиву. А тому было что сказать: – У Мэриона дома была Генет, Ма. Появилась полтора месяца назад. Она больна. Провела у Мэриона две ночи и исчезла.

– Тенет... – недоуменно произнесла Хема.

– Там, в приемной, два человека, с которыми тебе следует встретиться. Эфиопка по имени Циге, раз. Она жила напротив Миссии. Много лет тому назад Гхош лечил ее ребенка. И мистер Холмс, сосед Мэриона, два. Они хотят с тобой поговорить.

До полудня Хема знала обо всем. У Тенет был туберкулез. Но Эпплби добрался до тюремной истории болезни и выяснил, что Генет ко всему прочему была носителем латентного гепатита В. Причиной, как предположил тюремный врач, могла стать нестерильная игла, переливание крови или татуировка в полевых условиях Эритреи. Она могла также заразиться половым путем. Когда мы спали вместе, у Генет было кровотечение, и вирус мог попасть в мой организм. Инкубационный период

гепатита В соответствовал гипотезе Шивы, между появлением Генет и началом болезни прошло шесть недель.

Хема шагала по приемной из угла в угол, проклиная Генет и оплакивая мою глупость: как я мог подпустить ее так близко после всего того, что она нам устроила? Если бы Генет сейчас появилась здесь, ее жизнь оказалась бы под угрозой.

На обходе во второй половине дня Дипак и Вину сообщили результаты моих последних анализов: почки у меня отказали, печень больше не вырабатывала факторов свертывания крови, если в ней и остались жизнеспособные клетки, то знать о себе они не давали никак. Словом, ничего утешительного. Шива удалился вместе с докторами, Хема и Томас Стоун остались при моем недвижимом теле. Теперь им предстояло нести дежурство до конца. Надежды не было никакой. Как врачи они хорошо это понимали, и тем тяжелее им было.

В середине дня сестра отделения интенсивной терапии вызвала Дипака и Вину на семейный совет Стоунов. В маленькой комнате для совещаний Хема и Шива сидели напротив Томаса Стоуна.

Усталая Хема, облокотившись на стол и подперев руками подбородок, смотрела на двух молодых врачей, ровесников ее сына.

– Вы хотели нас видеть? – резко спросила она.

– Не я собрал этот консилиум, – недоуменно сказал Дипак, поворачиваясь к Вину, но тот покачал головой.

– Это я вас пригласил, – объяснил Шива, перед которым громоздилась целая гора ксерокопий.

Желтые страницы блокнота были густо исписаны его аккуратным почерком. Хема отметила его уверенный голос, энергию, желание действовать и инициативу, которыми перед лицом моего ужасного прогноза не мог похвастаться ни один из присутствующих.

– Я собрал вас, потому что желаю обсудить пересадку печени.

Дипак, который, сидя напротив Шивы, никак не мог отделаться от ощущения, что говорит со мной, сказал:

– Мы уже рассматривали такую возможность, Шива. Мы говорили с доктором Стоуном о том, чтобы перевезти Мэриона в «Мек...» то есть в Бостонскую больницу общего профиля, где работает доктор Стоун. Команда доктора Стоуна выполнила больше пересадок, чем кто бы то ни было на Восточном побережье. Но мы отвергли эту идею по двум причинам. Во-первых, ни одна пересадка еще не увенчалась успехом, если печень уничтожена фульминантным гепатитом В. Во-вторых, даже если мы найдем трупную печень нужной группы крови и подходящих размеров, нам

придется применить большие дозы стероидов и прочих препаратов для подавления иммунной системы во избежание отторжения пересаженной печени. Это даст вирусу гепатита полную свободу действий, и мы окажемся точно в таком же положении, что и сейчас. В-третьих...

– Да, я знаю, – произнес Шива. – Но что, если трансплантат будет идеально соответствовать? HLA-совместимость, прочие антигены, которые вы даже не измеряете, полностью совпадут? Никакие иммунодепрессанты не понадобятся? А? Ни стероиды, ни циклоспорин, ничего. Тогда вы согласитесь?

– Теоретически – да, но... – промямлил Дипак.

– Полное соответствие вы получите, если в роли донора выступлю я, – продолжал Шива. – Его организм воспримет пересаженный орган как свой.

Из комнаты словно откачали воздух. Несколько секунд никто не произносил ни слова. Увидев лицо Хемы, Шива быстро пояснил:

– Я имею в виду, что отдам часть своей печени, Ма. Хватит и на меня, и на Мэриона.

– Шива...

Хема уже хотела было извиниться за него, ведь в этой области они были не специалисты, но сразу передумала. Она знала кое-что о его цепкости в медицинских вопросах, о способности найти выход из ситуаций, которые все прочие считали тупиковыми.

– Но, Шива, разве операции по пересадке части печени когда-нибудь проводились?

Шива передал ей одну из ксерокопий:

– Статья прошлого года. Дипак Джесудасс и Томас Стоун, «О перспективах пересадки печени от живого донора». Эту операцию не проводили на людях, Ма, но взгляни на третью страницу, на подчеркнутые мною слова. «Технически успех операций почти на ста собаках, возможность сохранить жизнь реципиенту, не подвергая опасности жизнь донора, убеждает, что мы готовы к подобным операциям на людях. Риск, которому подвергается здоровье донора, представляет существенную этическую препону, но крайняя нехватка трупных органов заставляет нас двигаться вперед. Время пришло. Трансплантат от живого донора решит как проблему нехватки органов, так и проблему, связанную с сохранностью трупной печени, поскольку слишком много времени уходит на то, чтобы получить согласие у родственников, удалить орган и перевезти. Печень от живого донора – неизбежный и необходимый следующий шаг».

Шива не читал, а дословно цитировал по памяти. Для Хемы это было не в новинку, но прочие врачи за столом были потрясены. Хема гордилась

Шивой. Она поняла, что воспринимала эйдетический дар Шивы как нечто само собой разумеющееся. Она знала, что он может с абсолютной точностью воспроизвести на бумаге цитируемую страницу строчку за строчкой – вплоть до знаков препинания, номера страницы, дырочек от скрепок и полос от ксерокса.

Почувствовав, что Хема получила пищу для размышлений, Шива обратился к Стоуну и Дипаку двум хирургам:

– Позволю себе напомнить, что первая успешная пересадка почки была произведена также от близнеца.

Заговорил Дипак; Томас Стоун, казалось, пребывал в состоянии шока.

– Шива, мы упомянули в статье, что существуют этические и юридические последствия...

– Да, знаю, – прервал его Шива. – Но вы также говорите, что, «по всей вероятности, первыми донорами будут кровные родственники, поскольку у такого донора имеется ясный мотив и он сознательно идет на риск».

Дипак и Томас Стоун походили на обвиняемых, чье алиби опроверг внезапный свидетель, а прокурор собрался обвинить в убийстве.

Но тут атака последовала с другого фланга.

– Томас, скажи мне правду, за последние четыре дня, принимая во внимание, что Шива рядом с братом-близнецом и что это область твоих интересов, – Хема постучала по бумаге сцепленными пальцами, – неужели тебе не приходила в голову операция от живого донора?

Она ошибалась, если ждала, что он начнет мяться и мямлить. Стоун твердо посмотрел на нее и едва заметно кивнул:

– Да, я подумал о близнецах Мюррей. Но когда представил себе притаившиеся опасности... я отверг эту мысль. Это значительно сложнее, чем удалить почку. Этого никто никогда не делал.

– Мне это и в голову не пришло, – спокойно произнес Вину Мехта. – А зря. Шива, благодарю тебя. У кого другого с острым гепатитом В пересадка печени только дала бы пищу вирусу. Но если речь идет о полное соответствии... Разумеется, вся эта затея – большой риск для тебя, Шива.

Ответ у брата был готов заранее, он даже не посмотрел в свои записи. Обращался он главным образом к Томасу Стоуну:

– Ваши расчеты, доктор Стоун, основанные на удалении одной и более долей печени у пациентов с травмой этого органа, показывают, что смертельный риск для меня как для донора составляет менее пяти процентов. Риск серьезных осложнений, таких как утечка желчи в брюшную полость и кровоизлияние, не превышает двадцати процентов, если донор здоров во всех прочих отношениях. – Шива придвинул бумажку

поближе к Дипаку и Томасу Стоуну. – Вчера вечером у меня брали кровь. Печень у меня функционирует совершенно нормально. Я не носитель гепатита В и подобных ему болезней. Я не пью и не употребляю наркотики. И никогда не употреблял. – Шива подождал, что скажет Томас.

– Ты знаешь эту статью лучше, чем я сам, – сказал Стоун. – К сожалению, все это прикидки, расчеты... – Он положил руки на стол. – На самом деле мы не знаем, что будет происходить с людьми.

– И если мы промахнемся, – мягко добавил Дипак, когда Томас Стоун закончил, – то потеряем тебя, который вошел сюда здоровым, и потеряем Мэриона. Тем более что оправдания у нас не будет никакого и на карьерах можно будет поставить крест. Даже если все получится, нас подвергнут жестокой критике.

Если они думали, что убедили Шиву, то не знали моего брата.

– Понимаю ваше сопротивление. Я бы перестал уважать вас как хирургов, если бы вы моментально согласились. Тем не менее, если вы можете сделать такую операцию и существует определенный шанс, пусть даже в десять процентов, спасти Мэриону жизнь и если вероятность моей смерти меньше десяти процентов, вы подведете Мэриона, Хему, меня, медицинскую науку, сами себя, причем не только как врачи, но как его друг и отец. Если вы проведете операцию и она увенчается успехом, вы не только спасете моего брата, но и продвинете хирургию на десять лет вперед. Время пришло. – Он посмотрел отцу и Дипаку в глаза: – Такая возможность может больше никогда не представиться. Если бы ваши соперники из Питтсбурга столкнулись с такой ситуацией, что бы они сделали? Наверное, набрались бы храбрости.

Сторона обвинения взяла передышку. Пришла пора отвечать противоположной стороне.

– Храбрости... – прервал молчание Стоун, голос его звучал тихо, словно он говорил с самим собой. – Оперировать-то придется собственных сыновей. Прости, Шива, у меня это в голове не укладывается. – Он отодвинулся от стола и оперся о ручки кресла, словно собираясь уйти.

– Томас Стоун! – Голос Хемы, острый, будто бард-паркеровский скальпель, пригвоздил его к месту. – Однажды я уже просила тебя кое о чем. На кону была жизнь этих мальчиков. Тогда ты сбежал. Но если ты опять смоешься, ни я, ни Гхош мальчикам уже не поможем.

Стоун побелел.

– Томас, неужели ты думаешь, что я способна подвергнуть Шиву серьезной опасности? Считаешь, что я готова пожертвовать сыновьями? – Голос у Хемы дрожал. Она овладела собой, шумно высморкалась и

продолжала: – Томас, выброси из головы мысль, что они – твои сыновья. Это чисто хирургическая проблема, и кому, как не тебе, ее решать. Сыновья не мешали тебе, ты проводил исследования, делал карьеру. – Злобы в ее голосе не было. – Доктор Стоун, они не твои сыновья, а мои. Они дарованы мне. Вся боль, все невзгоды – мои, они перешли ко мне вместе с этим даром. Послушай, что тебе скажет мать. Твои они сыновья или нет – к делу не относится. Принимай решение в отношении своих пациентов.

Прошла целая вечность, прежде чем Дипак протянул руку к блокноту Шивы, открыл на чистой странице и снял колпачок с ручки.

– Скажи мне, почему ты хочешь подвергнуть себя такому риску?

В первый раз у Шивы не оказалось готового ответа. Он зажмурился и сложил пальцы домиком, словно отгораживаясь от присутствующих. Это встревожило Хему. Когда Шива открыл глаза, лицо у него было грустное.

– Мэрион всегда считал, что я действую без оглядки. Забочусь только о самом себе. Он был прав. Как бы он удивился, если бы узнал, что я готов рискнуть жизнью и отдать часть своей печени. Это нерационально. Но... увидев, что мой брат при смерти, я обязан оглянуться назад. Мне есть в чем раскаиваться. Уверен, если бы я умирал и был шанс меня спасти, Мэрион убедил бы вас оперировать. Таков был его подход. Я его не понимал, поскольку это нерационально. А теперь понимаю.

У меня не было повода задуматься над этим. Но рядом с его койкой... Я понял: если с ним что-то происходит, это происходит и со мной тоже. Если я люблю себя, то люблю и его, мы – одно целое. И поэтому риск оправдан, тем более что я – единственный человек на свете, кто может стать ему идеальным донором. Я хочу этого. Я не смогу жить с самим собой, если не сделаю этого, а вы не сможете жить сами с собой, если отвергнете попытку. Это моя судьба. Моя привилегия. И ваша тоже.

Хема, доселе сдержанная, притянула Шиву к себе и поцеловала в лоб.

Дипак что-то записал и положил ручку на стол.

Стало ясно, что им предстоит выступить в роли первопроходцев.

Шива спросил у Дипака:

– Ты упомянул о третьей причине, по которой вы отказались от пересадки. Что за причина?

– Перед тем как потерять сознание, Мэрион взял с меня обещание, что его никуда отсюда не будут перевозить. Это место – не просто базовая больница для нас – иностранных медиков. Здесь нас приветили. Здесь – наш дом.

Хема вздохнула и уронила голову на руки.

– Мы можем провести операцию здесь, – мягко сказал Томас Стоун.

Ни один мускул не дрогнул на его лице, пока он слушал Шиву, и сейчас его еще недавно застывшие глаза блестели и искрились. Он отодвинул кресло и поднялся, движения его были уверенными. – Хирургия – не более чем хирургия. Мы можем выполнить операцию где угодно, были бы инструменты и люди. К счастью, эксперт мирового уровня по разделению печени сидит сейчас рядом со мной, – он положил руку Дипаку на плечо, – инструменты, часть которых он сам спроектировал, тоже здесь и подлежат немедленной стерилизации. Нам многое необходимо подготовить. Хема, если вы с Шивой вдруг передумаете, вам надо только сказать. Шива, с этой секунды ничего не ешь и не пей.

Проходя мимо Шивы, Стоун положил руку ему на плечо и сильно сжал.

Глава пятнадцатая. Пара непарных органов

Вертолет из Бостонской больницы общего профиля приземлился на площадке Госпиталя Богоматери ночью. Он доставил специальные инструменты и ведущих специалистов бостонской отлаженной программы пересадок. Коридор за операционными, обычно совершенно пустой, где ушедший на перекур техник вполне мог оставить на время каталку или переносной рентгеновский аппарат, теперь напоминал армейский штаб накануне начала военных действий. Установили две большие «классные доски», на одной было написано: ДОНОР, на другой: РЕЦИПИЕНТ, на обеих перечислялось, что надлежит выполнить, против каждого пункта имелась графа о выполнении. Бригада хирургов во главе с Дипаком занималась донором, а бостонская команда под предводительством Томаса Стоуна – реципиентом. На наших хирургические костюмы были голубые, на бостонских – белые, на шапочках и блузах у голубых, ко всему прочему, фигурировала буква «Д», а у белых – «Р», чтобы уж точно ничего не перепутать. Только Томас Стоун и Дипак Джесудасс имели право переходить из команды в команду, ассистируя друг другу.

Полуночная репетиция, проходившая в операционных, выявила несколько слабых мест: бостонским анестезиологам следовало лучше усвоить, где что находится в Госпитале Богоматери, а еще необходимо было назначить «инспектора манежа», который осуществлял бы хронометраж, синхронизировал действия обеих бригад, фиксировал в журнале, что команда «Р» сообщила команде «Д», и наоборот. Прибыли две новые «классные доски» для установки в операционных, чтобы помечать галочками сделанное. Всех пациентов с травмами направляли в соседние больницы. К четырем часам утра пора было приниматься за дело.

В раздевалке для хирургов Томаса Стоуна вырвало. Нью-йоркская команда восприняла это как дурной знак, но бостонцы заверили коллег, что, напротив, все пройдет наилучшим образом (хотя, правду сказать, таким бледным и слабым они его еще никогда не видели).

Когда в операции принимает участие такая масса людей из двух больниц, сложно удержать ее в тайне. Журналисты с телевидения расположились у стен госпиталя, все сроки сдачи в печать утренних газет полетели, но редакторы изготвилились начать дискуссию об этической

стороне исторической пересадки и с нетерпением ждали реальных фактов.

Хирурги не забивали себе голову историческим значением или сохранением операции в тайне. Дипак сидел на табурете за шкафом и, чтобы отвлечься и не слышать, как Стоуна тошнит, просматривал анатомический атлас.

В 4.22 Шиве сделали укол диазепама, затем пентотала и вставили в трахею трубку. Операция над донором началась. По расчетам Томаса Стоуна и Дипака, она должна была занять от четырех до шести часов.

Если бьющееся в груди сердце – орган жизнерадостный, неунывающий, настоящий рубаха-парень, то прячущаяся под диафрагмой неподвижная печень – что-то вроде фигуративной живописи. Печень вырабатывает желчь, без которой невозможно переваривание жиров, и хранит глюкозу в виде гликогена. В тишине, молчком, она обезвреживает чужеродные вещества и токсины, вырабатывает протеины свертывающей системы крови и транспортные белки, удаляет из организма конечные продукты обмена веществ.

Гладкая и блестящая внешняя поверхность печени однообразна, и, кроме серповидной связки, разделяющей ее на правую (большую) и левую (меньшую) доли, никаких иных плоскостей дробления у этого органа нет, так что представляется странным, когда хирурги говорят о восьми анатомических «сегментах» печени – словно о дольках у апельсина. Попробуйте вычленив эти дольки, и у вас получатся истекающие кровью и желчью куски и покойник пациент. И все-таки понятие сегментов позволяет хирургу определить участки печеночной паренхимы, обладающие достаточно обособленным кровоснабжением и оттоком желчи и представляющие собой до определенной степени автономные подразделения в рамках единого предприятия.

Четыре категории сосудов входят в печень и выходят из нее. Прежде всего, это воротная вена, по которой поступает вся венозная кровь от кишечника, насыщенная после приема пищи жирами и прочими питательными веществами, которые печени предстоит переработать. По печеночной артерии поступает насыщенная кислородом кровь от сердца. Задача печеночных вен – собрать всю отфильтрованную органом кровь и через полую вену направить к сердцу. Желчь, вырабатываемая каждой печеночной клеткой, собирается в желчных канальцах, которые сливаются, разрастаются и формируют общий желчный проток, изливающийся в двенадцатиперстную кишку. Излишек желчи накапливается в желчном пузыре. В соответствии со скромным и целомудренным поведением печени, желчный пузырь спрятан за нижней поверхностью печени и не

виден.

Дипак, стоящий справа, произвел разрез. Первым делом следовало удалить у Шивы желчный пузырь. Затем он переключил внимание на связку сосудов, входящих в печень через печеночные ворота, рассек правую печеночную артерию, потом правую ветвь воротной вены и правый желчный проток. Чтобы высвободить правую долю, ему также следовало прорезать печеночную ткань и отсоединить печеночные вены с тыльной стороны, там, где они впадают в полую вену, в том самом месте, где хирург может «увидеть Бога» в случае кровотечения. Если удаляешь долю печени в связи с раком, можно контролировать кровотечение, пережав связку кровеносных сосудов, – маневр Прингла. Но для Дипака этот вариант не годился, поскольку это бы существенно ограничило функции доли и задушило бы ее до полусмерти прежде, чем удаляемый орган попал ко мне. В настоящее время имеются ультразвуковые и даже радиочастотные «диссекторы», при помощи которых рассечь печень значительно легче. Но Дипак с Томасом Стоуном в качестве ассистента ограничились зажимами и собственными пальцами, старательно обходя крупные сосуды и желчные протоки. Дипак волновался за своего старшего товарища, казалось, мысли у того бродят далеко, но откуда Дипаку было знать, что Стоун всеми силами старался отогнать воспоминания о злосчастной операции над сестрой Мэри Джозеф Прейз, что его преследует картина, как он пытался сокрушить череп ребенку.

Операция над донором проходила в соответствии с графиком. В 9 часов утра меня привезли на каталке в операционную, и 9.30, когда правая доля печени Шивы была уже высвобождена, бостонская бригада без Томаса Стоуна произвела мне длинный разрез ниже грудной клетки, но выше пупка и начала мобилизовать мою печень, рассекая связки.

Томас Стоун выложил правую долю печени Шивы на боковой столик и бестрепетными руками (хотя внутри у него все тряслось) промыл воротную вену раствором, изобретенным в университете Висконсина. Тем временем Дипак, убедившись, что на срезе оставшейся у Шивы доли печени нет утечек желчи и кровоточащих сосудов, и дважды пересчитав тампоны и инструменты, закрыл Шиве полость. Через месяц печень у Шивы регенерирует до первоначальных размеров.

Теперь Томас Стоун и Дипак, надев свежие халаты и перчатки, занялись мной, чтобы завершить резекцию печени. Поскольку свертываемость у меня была плохая, кровило отовсюду, особенно с тыльной стороны печени, когда ее высвобождали из-под диафрагмы, мне необходимо было вливать различные препараты крови. Они тщательно

осмотрели и оставили неприкосновенными мой желчный проток, печеночную артерию и воротную вену. К часу дня моя спутница жизни весом в четыре с половиной фунта, что доселе пряталась под грудной клеткой, покинула меня. Под куполом правой диафрагмы осталась зияющая дыра, противоестественная пустота.

Подсоединение печени Шивы (точнее, ее правой доли) представляло собой кропотливый процесс. Следовало тщательно контролировать кровоточивость, чтобы Томасу Стоуну и его ассистенту Дипаку было четко видно, какие артерии, желчные протоки, вены следует сшивать. Ножницы и иглодержатели были специально спроектированы для микрохирургии. Оба хирурга использовали налобные осветители и увеличительные приборы, ведь шовный материал был тоньше человеческого волоса. Решение Дипака пересадить мне именно правую долю дало внезапную выгоду – печень более естественно разместилась в моем теле под куполом диафрагмы, а «ворота органа» – точка входа сосудов – оказалась естественным образом повернута к полой вене. Это облегчило хирургам работу.

Команда «Д» отвезла Шиву в послеоперационную палату, расположилась в раздевалке и принялась ждать. Теперь от них ничего не зависело, и напряжение сделалось почти невыносимым.

Хема была сама не своя от тревоги. В приемной с ней находился Вину, и поначалу она была ему благодарна за разговорчивость, но даже он не смог ее отвлечь. Мысли ее занимал Гхош, вдруг он осудил бы ее за то, что позволила Шиве пойти на такой риск.

Из операционной через «инспектора манежа» поступили сведения – он всякий раз звонил по завершении очередного этапа операции. Хеме уже хотелось, чтобы он перестал, пронзительный звонок только пугал ее и заставлял предполагать худшее, тем более что информация, по ее мнению, была несущественной. «Они начали» или «воротные сосуды изолированы» – и ничего о Шиве. Наконец речь зашла и о нем, и вскоре она увидела Шиву в послеоперационной палате, он отходил после наркоза и морщился от боли. У нее закружилась голова от счастья, она погладила сына по волосам, зная, что где бы сейчас ни находился Гхош, какую бы форму ни приняла его реинкарнация, он радуется вместе с ней.

Шива сосредоточился и задал вопрос.

– Да, – ответила Хема. – Как раз сейчас они пересаживают твою печень Мэриону. Дипак сказал, твой орган прекрасно выглядит.

Остаться надолго ей не разрешили. Она не стала возвращаться в приемную, а проскользнула в часовню. Витраж в единственном окне пропускал очень мало света. Когда тяжелая дверь за ней закрылась, ей

пришлось ощупью пробираться к обитой бархатом скамье. Глаза немного привыкли к темноте, и она до смерти перепугалась, увидев возле алтаря коленопреклоненную фигуру. «Призрак!» – мелькнула мысль. Но тут Хема вспомнила, что монахини круглосуточно молятся за Мэриона в часовне. Хема разглядела голову, закрытую накидкой, скапулярий, рясу и осознала, что, призывая в помощь всякое божество, почему-то забыла воззвать к сестре Мэри Джозеф Прейз, и сия оплошность повергла ее в панику. Да не будет мой сын наказан из-за этого. Прости меня, сестра, если бы ты только знала, как я переволновалась, и, если не поздно, присмотри за Мэри-оном, поддержи его.

Ответ был совершенно отчетливым: сперва голова сделалась легкая, а потом по телу разлилось спокойствие. Ее просьбу услышали. Спасибо, спасибо. Обещаю держать тебя в курсе.

Хема вернулась в приемную. На нее навалилась такая усталость, что она только диву давалась, как Стоун и Дипак еще держатся на ногах. За окном виднелся сплошь бетон, прикрытый небом, ни клочка живой земли, ни деревца, ни травинки. Хорошо хоть солнце сюда заглядывает. И вот этот диковинный пейзаж уже шесть лет маячит у сына перед глазами.

В семь часов вечера к ней вышел Томас Стоун, кивнул, улыбнулся – и эта улыбка сказала ей, что все прошло хорошо. Стоун не произнес ни слова, молчала и она, только слезы по щекам текли. Глядя ему в лицо, на следы, оставленные очками-лупой и налобным осветителем, и на следы, оставленные заботами и работой, она с ужасом поняла, какой он старый и какая старая она сама. Да, у них нет ничего общего, но оба ее сына (до определенной степени и его тоже, вынуждена была признать Хема) живы.

Томас Стоун рухнул на диван и не стал сопротивляться, когда Хема всучила ему сок и сэндвич из запасов Вину. Сок Стоун запил бутылкой воды и только тогда ожил. Его костлявое лицо даже как-то округлилось.

– С технической стороны все прошло отлично, – проговорил он. – Не успели мы закончить анастомоз*, как новая печень Мэриона и старая печень Шивы уже вырабатывали желчь. – Он опять улыбнулся, смущенно передернул губами. В голосе его слышалась гордость. – Желчь – это очень хороший знак.

* В клинике анастомозом называют искусственное или развившееся в результате патологического процесса сообщение (соустье) между полыми органами.

Был момент, когда мы здорово испугались, – добавил Стоун. – У Мэриона вдруг резко упало кровяное давление. Объяснений этому нет. Мы лили жидкости и кровь, но частота сердечных сокращений все равно была

сто восемьдесят в минуту. Мы перепробовали все – неожиданно давление поднялось.

Она чуть было не спросила точное время, когда это случилось, но не стала. Она и так это знала. Хема закрыла глаза и поблагодарила сестру Мэри за заступничество. Томас Стоун глядел на нее, как будто все понял. Ее захлестнуло чувство благодарности к нему. Обнять его... нет, это слишком. Лучше взять за руку.

– Мне пора, – произнес Стоун через минуту. – Некоторое время состояние Мэриона будет очень тяжелым, учитывая, насколько плох он был до операции. Но теперь у него работающая печень. Почки у него по-прежнему не действуют, нужен диализ, но, как я полагаю, это всего лишь гепаторенальный синдром*. Новая печень с этим разберется.

* Патологическое состояние, иногда проявляющееся при тяжелых поражениях печени и проявляющееся вторичным нарушением функции почек вплоть до тяжелой почечной недостаточности.

Кое о чем Стоун умолчал. Он не сказал Хеме, что в критический момент в операционной поднял глаза к потолку и помолился, только не Богу и не паукам, а сестре Мэри Джозеф Прейз об искуплении ошибок.

Больница ликовала. Во-первых, один из наших находился при смерти и выжил, а во-вторых, Госпиталь Богоматери вошел в историю. На благодарственной мессе часовня была битком, Хема и Вину на передней скамье, а толпа – на крытой галерее.

У стен больницы выстроились машины с корреспондентами теленовостей – международных и национальных. Прежде пересаживали только печень от доноров, чей мозг был мертв. Живой донор, отдавший половину печени своему брату-близнецу – это была сенсация. СМИ толком не понимали, что данный технический прорыв имеет особое значение для детей с наследственной билиарной атрезией* – когда отсутствуют желчевыводящие пути. Органы взрослых, умерших от травмы, достаточно редки, но ребенок-донор – настоящая диковина. Стоун и Дипак дали родителям шанс спасти своего ребенка, предоставив часть своей печени.

* Редкая врожденная патология, при которой желчевыводящие пути непроходимы или отсутствуют. Единственным лечением является хирургическая операция новорожденного с целью искусственного создания протоков или пересадки печени. Но даже при хирургическом вмешательстве вероятность смертельного исхода выше 50%.

На второй день журналисты пронюхали, что наш Шива – это тот самый хирург, что прославился операциями на фистулах («латание дыр – вот чем я занимаюсь»), а на третий день раскопали отцовство Томаса

Стоуна. Еще чуть-чуть – и они разузнают про сестру Мэри Джозеф Прейз, хотя тут, пожалуй, придется направить репортера в Аддис-Абебу.

Я пришел в себя на пятый день. Мне казалось, я вынырнул с самого дна океана и глаза мне по-прежнему заливают вода, а в рот глубоко засунут загубник акваланга – я не мог говорить. Показавшись на поверхности, я понял, что нахожусь в отделении интенсивной терапии, но что говорили окружающие меня люди, я не слышал. Я увидел Хему, Стоуна, поискал глазами Шиву и не нашел. «Наверное, решил не уезжать из Аддис-Абебы». Эта мысль, помню, очень меня расстроила.

Еще через двенадцать часов, поздним вечером (хотя в отделении был вечный полумрак), я вынырнул окончательно и очень обрадовался, что мне не привиделось и Хема на самом деле здесь. Она сидела рядом и держала меня за руку. Я жаждал ее прикосновения, страхась, что опять скачусь в пропасть, где царил мрак и не было никакой надежды на возвращение.

Время от времени я впадал в дремоту. Ночь переходила в суматошный день, люди в палате появлялись и исчезали.

На седьмой день я бодрствовал достаточно долго, чтобы Хема успела мне сообщить фантастическую весть: половинка печени Шивы находится во мне. Больным все надо объяснять как минимум дважды, а то, может, они половину пропустили мимо ушей. Хема повторила мне свои слова не меньше десяти раз, но только когда показала мне «Нью-Йорк тайме» с нашими с Шивой фотографиями, я поверил.

– Шива поправляется, – сказала Хема. – С ним все хорошо. А вот у тебя развилась пневмония и вокруг правого легкого скапливается жидкость. Поэтому ты до сих пор на дыхательном аппарате. Но положение улучшается, и Дипак говорит, что завтра тебя от аппарата отключат. Твоя новая печень работает нормально, почки восстанавливаются.

Не такой представлял я себе нашу встречу с Хемой, но радость и облегчение на ее лице были бесценны.

В тот же день я впервые повидался с Дипаком и Стоуном. Я старался совладать с эмоциями. По идее, я должен был быть им благодарен. Мне кажется порой, что мы, хирурги, носим маски, дабы скрыть свои желания, спрятать готовность надругаться над телом другого человека. Только амнезия, тот факт, что пациент не запомнит ничего, кроме слов анестезиолога «сладких вам снов», позволяет нам оставаться хирургами. И вот они передо мной, лица, организовавшие спланированное насилие над моим телом. С виду такие скромные и застенчивые, они полны амбиций, что и позволило им рискнуть жизнью Шивы ради моей жизни. Спасибо этой гадкой трубке у меня в глотке, она лишила меня возможности выдать

неблагодарность: «Хорошо, что Шива это провернул, иначе бы вас совесть заела».

Очнувшись через некоторое время, я забыл про трубку и попытался заговорить, в результате чего у меня перехватило дыхание и началась паника. Мои трепыхания включили сигнал тревоги у дыхательного аппарата. Сейчас сестра решит, что я «сражался с респиратором», и вкатит мне кураре внутривенно. Этот препарат, производное яда, которым смазывали свои стрелы амазонские племена, парализует все мускулы, и ты лежишь недвижим, словно покойник, и не мешаешь аппарату дышать за тебя. Помоги тебе Боже, если тебе не назначили параллельно какой-нибудь сильный седатив, потому что без снотворного ты останешься в полном сознании, но не сможешь даже глазом моргнуть. Мысль о том, каково мне придется в таком параличе, повергла меня в ужас, хотя я сотни раз назначал своим больным кураре (с седативом). Избыток знаний – проклятие пациента.

Под ласковые слова Хемы я постарался успокоиться, аппарат задышал, и медсестра удалилась. Когда мне полегчало, я написал: «Как там Шива?»

Отвечать ей не пришлось, потому что в эту самую секунду моя вторая половинка в сопровождении Томаса Стоуна появилась в дверях.

Лицо у моего брата, которого я не видел восемь лет, был осунувшееся, он совсем не походил на фотографию из «Нью-Йорк тайме». При виде своего отражения, передвигающегося самостоятельно, у меня закружилась голова. На Шиве был больничный халат, одна рука прижата к животу, другая опирается на стойку капельницы. Брат редко смеялся и на шутки почти никогда не реагировал, но, увидев меня, осклабился, будто шимпанзе, которому удалось закрыть в клетке зрителя.

Обезьяна ты, обезьяна, хотел я сказать, хватая его за руку. Тебе бы почаще смеяться, это тебе к лицу, со лба исчезают морщины, и уши меньше топырятся. По вискам у меня потекли слезы, у него глаза тоже оказались на мокром месте. Я сжал ему пальцы – хоть азбукой Морзе передать свои чувства. Он кивнул – не надо ничего говорить, вот что он старался мне сообщить – и наклонился ко мне. Зачем, интересно, ведь не поцеловать же он меня хочет... Он стукнулся своей головой о мою. Это было до того неожиданно и удивительно, этаким возврат в детство, что я рассмеялся, и проклятая трубка сразу ободрала мне глотку, принуждая смолкнуть.

Я указал Шиве на живот. Он развел полы халата, стали видны кое-какие швы, хотя большую часть скрывала марля с торчащим из нее дренажом. Я приподнял брови, спрашивая, больно ли ему. Он ответил:

– Только когда дышу.

И мы оба засмеялись, сморщились и прекратили смех. Стоун смотрел на этот молчаливый диалог со странным выражением на лице.

Я и не подозревал, что у Шивы возникли осложнения: инфекция желчи, для борьбы с которой потребовались антибиотики, и тромб вены в правой руке, на которую ему ставили капельницы. Ему назначили антикоагулянты, и тромб потихоньку рассасывался.

Я долго держал его за руку, довольный, что брат рядом, что я могу поблагодарить его, стискивая пальцы, но он только плечами пожимал. Я потянулся за ручкой, Хема подсунула мне блокнот, и я написал: Нет больше той любви, как если кто положит душу...*

* Евангелие от Иоанна, 15:13. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.

Он не дал мне закончить, придержал меня за руку и произнес:

– Ты поступил бы точно так же. Я засомневался, а он кивнул:

– Точно так же.

В тот вечер Дипак отсосал жидкость из моего правого легкого, оно задышало, и он вытащил осточертевшую трубку у меня из глотки. Первым моим словом было «спасибо», и, когда гадкий аппарат увезли, я сразу крепко заснул.

Следующее утро изобиловало мелкими чудесами: я смог повернуться на бок и посмотреть в окно на небо, смог сказать «Ой!», когда от неосторожного движения заболели швы. Хемы рядом не было. В отделении царила тишина. Моя медсестра, Амелия, была неестественно весела. Я предположил, что час еще ранний.

– Нам надо на рентген, – произнесла она, снимая с меня все оковы и готовясь выкатить мою кровать.

На рентгенологии меня засунули в бублик томографа, но, странное дело, сканировали голову, а не живот. Какая-то ошибка, факт. Но распоряжение поступило от Дипака, и оно гласило: «КТ с контрастным веществом и без контрастного вещества».

Я опять в палате. Полдень. Ни Хемы, ни Стоуна, ни Шивы. По словам Амелии, они вот-вот явятся.

С помощью физиотерапевта я несколько секунд постоял рядом с койкой. Ноги подгибались. Сделав несколько шагов, я в изнеможении опустился на стул. Казалось, я участвовал в марафонском забеге. Навалилась сонливость. Немного погодя я съел свой крошечный обед, сделал еще пару шагов, даже пописал стоя. Сестры помогли мне лечь. Мне показалось, им не терпится уйти.

Томас Стоун появился у меня в два часа дня. Под глазами у него были

темные круги. Он сел на краешек кровати, как бы не вполне сознавая, что делает. Коснулся моей руки. Разлепил губы.

– погоди, – попросил я. – Не говори пока ничего. Я посмотрел на облака, на далекие дымовые трубы. Мир

был такой же, как всегда, но я знал: стоит Стоуну заговорить, как все изменится.

– Валяй, – решил я. – Что с Шивой?

– У него обширное кровоизлияние в мозг, – хрипло произнес Стоун. – Это случилось вчера вечером, примерно через час после того, как мы от тебя ушли. С ним была Хема. Он внезапно схватился за голову... несколько секунд... и он потерял сознание.

– Он умер?

Томас Стоун покачал головой.

– Оказалось, у него артериально-венозная патология, кавернозное переплетение сосудов в коре головного мозга. Скорее всего, он жил с этим с самого рождения. Он получал антикоагулянты из-за тромба в руке... Через неделю мы бы их отменили.

– Где он?

– Здесь. В отделении интенсивной терапии. На аппарате искусственного дыхания. Его осматривали два нейрохирурга. – Он потряс головой. – Гематому удалить невозможно. Они считают, слишком поздно. Мозг мертв.

Я не очень уловил, о чем он говорил потом. Вроде бы моя КТ выявила похожий паукообразный сосудистый узел, только меньшего размера. Но из него кровь не разлилась. Чудо своего рода, ведь после того, как я заполучил печень брата, у меня кровоточило все.

Через несколько минут в палату вошли Хема, Дипак и Вину. Я понял, что Стоуна они делегировали, чтобы сообщить мне дурную весть.

Бедная Хема. Мне бы попробовать ее утешить, но на меня самого свалилось такое горе... Да тут еще чувство вины. Я вдруг страшно устал. Они расположились вокруг меня. Хема, рыдая, припала мне к ногам. Мне хотелось, чтобы они ушли. Я на секунду закрыл глаза и очнулся, только когда медсестра выключала один из инфузионных насосов. В палате никого не было. Сестра отвела меня в ванную, потом я уселся в кресло. Вернутся ко мне силы когда-нибудь?

Когда я вышел из забытья, Томас Стоун находился рядом.

– Он не может сам дышать. Зрачковый рефлекс, как и все прочие, отсутствует, – ответил он на мой немой вопрос. – Его мозг умер.

– Хочу его видеть.

Отец откатил меня в зал, где лежал Шива. Хема была с ним, глаза заплаканные, красные. Она повернулась ко мне, и я пожалел, что остался в живых и стал причиной ее горя.

Казалось, Шива спит. Теперь монитор внутричерепного давления торчал из головы у него. Эндотрахеальная трубка кривила ему губы, неестественно задирала подбородок. Грудь вздымалась и опускалась в задаваемом аппаратом ритме, и этот ритм определил и мои «если». Если бы я не поехал в Америку. Если бы не встретился с Циге. Если бы не открыл дверь Генет...

Хема отвезла меня обратно в палату, помогла перебраться на кровать.

– Было бы лучше, если бы вы с Шивой меня похоронили. Ты бы сейчас была на пути к Миссии вместе со своим любимым сыном.

Это было крайне глупо и жестоко с моей стороны – подсознательная попытка унять свою боль за ее счет. Но на мой выпад она отвечать не стала. Есть точка, когда горе так велико, что человек перестает реагировать на раздражители и делается странно спокоен, – она достигла этой точки.

Мэрион, знаю, ты считаешь, что я выделяла Шиву... Может, и так. Мне очень жаль – больше мне нечего сказать. Мать любит своих детей в равной мере... но порой одному ребенку надо уделять больше внимания, оказывать поддержку, чтобы ему легче жилось на свете. Шива был такой.

– Мэрион, я должна извиниться перед тобой не только за это. Я считала, это ты виноват в том, что Генет изувечили, и во всем, что за этим последовало. Я держала на тебя зло. Когда мы прибыли сюда, Шива мне все рассказал. Сынок, надеюсь, ты меня простишь. Из меня вышла глупая мать.

Я лишился языка. Что ещестряслось, пока я валялся без сознания?

С улицы донесся вой сирены, к больнице приближалась карета «скорой помощи».

– Они хотят отключить Шиве аппарат искусственного дыхания, – проговорила Хема. – Ненавижу их за это. Пока он дышит, даже если это аппарат дышит за него, он для меня живой.

На следующее утро, после того как сестры помогли мне принять первый душ, я натянул свежий халат и попросил отвезти меня в палату к Шиве.

– Остановитесь здесь, – велел я, хотя до его палаты было еще далеко.

Через полуоткрытую дверь я увидел, что у постели Шивы сидит Томас Стоун. Он щупал Шиве пульс – да так и остался сидеть, держа сына за руку. О чем он думал? Я целых десять минут наблюдал за ним, прежде чем он поднялся и двинулся прочь. Меня он не заметил, так как свернул в

противоположную сторону.

Я покатил в своем кресле за ним. Окликнул:

– Доктор Стоун, – хотя страстно хотелось завопить: «Отец!»

Он подошел ко мне.

– Доктор Стоун, – пробормотал я. – Операция... это его единственный шанс. Неужели нейрохирурги не могут вырезать сосудистый узел и удалить тромб из мозга? Почему бы не попробовать?

Он подумал.

– Сынок, они говорят, что ткани там – извини за такое определение – вроде мокрой туалетной бумаги. Кровь с веществом мозга. Давление такое высокое, что, если они к нему прикоснутся, это вызовет только новое кровоизлияние.

Я не хотел этого принимать.

– А ты можешь сделать операцию? Ты и Дипак? Ты же делал трепанации. Я делал трепанации. Что нам терять? Прошу тебя. Дадим ему этот шанс.

Отец молчал так долго, что даже мне стала ясна ошибочность моего предложения. Потом положил руку мне на плечо:

– Мэрион, помни одиннадцатую заповедь. Не берись за операцию в день смерти пациента.

Немного погодя Томас Стоун принес мне в палату КТ Шивы. Я был потрясен, как широко распространился белый мазок – так кровь выглядит на томограммах, – он захватил оба полушария, проник в желудочки. Мозг оказался сдавлен в узком пространстве черепной коробки. Только тут я понял, что положение безнадежно.

В связи с аневризмой – то есть патологическими изменениями стенок узла сосудов в мозгу – Шива не мог быть потенциальным донором сердца или почек, поскольку существовали опасения, что такие же перемены произошли и в этих органах.

Хема не хотела присутствовать при отключении дыхательного аппарата. Я сказал, что побуду с ним в минуту смерти.

Хема первая попрощалась с Шивой.

Когда Вину вывел ее, я находился у дверей палаты. Зрелище разрывало сердце: конец сари наброшен на голову, плечи опущены: мать покидала ребенка, который еще дышал. Должно быть, ей казалось, что она его бросает. Люди смотрели на нее и вытирали глаза, когда темная фигура в сари проплывала мимо них в комнату скорби.

С помощью Дипака я забрался к Шиве на кровать. Было восемь часов вечера. Я расположился рядом с ним. Вся аппаратура кроме дыхательного

аппарата и одной внутривенной линии была отключена. Дипак отклеил ленту, что крепила трахеальную трубку к щекам, затем, по моему кивку, впрыснул морфий в инфузионную систему. Если какая-то часть мозга осталась у Шивы жива, он не почувствует боли, страха или удушья. Дипак выключил дыхательный аппарат, заглушил сигнал тревоги, выдернул у Шивы изо рта эндотрахеальную трубку и вышел из палаты.

Наши с Шивой головы соприкасались, палец мой лежал на его сонной артерии. Тело у него было теплое. После того как вынули трубку, он ни разу не вздохнул. Выражение его лица не менялось. Примерно минуту пульс оставался прежним, затем стал прерываться, словно поняв, что его верный товарищ – легкие – сошел со сцены. Сердце забилося чаще, удары делались все слабее, слабее... Последний толчок – и все стихло. Мне вспомнился Гхош. Из всех разновидностей пульса эта была сама редкая и вместе с тем самая распространенная: это была его обратная сторона – полное отсутствие.

Я закрыл глаза и прижался к Шиве, баюкая его тело и орошая слезами его голову. Меня пронзило чувство физической уязвимости, я никогда не испытывал ничего подобного, даже когда мы находились на разных континентах, словно с его смертью и в моей биологии что-то поменялось. Тепло быстро уходило из его тела.

Я укачивал Шиву, прижимался своей головой к его голове, вспоминая, что когда-то мог заснуть только в таком положении. Меня охватило отчаяние. Хотелось остаться в этой кровати навсегда. Между смертью Чанга и Энга прошло всего несколько часов, когда здоровому близнецу предложили освободиться от мертвого тела, тот отказался. Я его хорошо понимал. Пусть Дипак даст мне смертельную дозу морфия, пусть моя жизнь закончится именно так: дыхание прервется, пульс станет слабеть, пока не пропадет совсем. Пусть мы с братом покинем этот мир в объятиях друг друга, как, обнявшись, мы находились в материнской утробе.

Я представил себе, как Шива получает телеграмму, входит в мою палату, предлагает себя в качестве донора. Пожертвовал бы я собой ради него? Наверное, когда он увидел меня, то почувствовал то же, что я сейчас: какая бы кошка между нами ни пробежала, жизнь потеряет всякую цену и быстро закончится, если с братом что-то случится.

Я вспомнил, как мы взбегали по склону холма, передавая друг другу безжизненное тело ребенка, которого хотели доставить в приемный покой, а его родители торопились следом. Сейчас мой брат был словно тот ребенок.

Минуты шли.

В конце концов холод его кожи, чудовищная пропасть, что пролегла между плотью мертвой и плотью живой, заставили меня по-новому взглянуть на нас перед лицом таких ужасных перемен, и вот что я понял:

Шива и я были одним существом по имени Шива-Мэрион.

Даже когда нас разделял океан и мы считали, что нас двое, мы были Шива-Мэрионом.

Он был распутник, я – вечный девственник; он был гением, выпитывающим знания без малейших усилий, я упорно грыз гранит науки; он прославился операциями на фистулах, я оказался одним из многих хирургов-травматологов. Если бы мы поменялись ролями, во вселенских масштабах ничего бы не изменилось.

Рок и Генет сговорились убить мою печень, но Шива сыграл важную роль в судьбе Генет, и поэтому мне выпал именно такой жребий. Все наши поступки оказались взаимосвязаны. Но теперь благодаря обмену органами – смелой и блестящей операции – Шива-Мэрион изменился. Четыре ноги, четыре руки, четыре почки и так далее, но только одна печень. И пусть почти все органы, составляющие его часть, умерли, но половинка его печени сохранилась и процветала. Что ж, надо предпринять меры, ввести режим дальнейшей экономии: хватит и двух ног, двух глаз, двух почек. Пусть осталась только половинка печени, одно сердце, одна поджелудочная железа, две руки – но Шива-Мэрион не умер.

Шива живет во мне.

Назовите это надуманной схемой, которую я изобрел, только бы оправдать то, что остался в живых... и окажетесь правы. Мне так удобнее. Слезы мои высохли, объятия разжались, оставив в покое отбракованное тело. В жуткой тишине палаты, набитой молчащими машинами, за задернутыми занавесками, рядом с ледяным трупом Шива наставлял меня. Он греб прочь от тонущего корабля, и ход моих рассуждений оказался ему по душе, совпал с его логическим подходом.

Родившиеся как единое целое, грубо разделенные, мы снова слились воедино.

Они собрались у дверей палаты унылой шеренгой. Но я их не виню, они ведь не ведали того, что открылось мне. Они искренне сочувствовали мне. Томас Стоун, Дипак, Вину, многочисленные сестры и помощники – мои друзья, моя больничная семья, пока я сам не угодил под их опеку. Я пожал всем руки и поблагодарил от нашего с Шивой имени. Пожалуй, я показался им чересчур сдержанным, они не этого ожидали. Томаса Стоуна я оставил на самый конец. Пожав ему руку, я поддался какому-то иррациональному чувству – оно явно исходило от Шивы, не от меня – и

обнял его первым, не стал дожидаться, пока он обнимет меня. Я хотел дать ему понять: как отец он сделал все, что полагается, он жил в нас и мы жили благодаря его таланту. Он ухватился за меня, точно утопающий, и это сказало мне, что я (или Шива во мне) поступил правильно, хоть и неуклюже.

Хема, сложив на груди руки, глядела в окно на огни стройплощадки, примыкающей к нашему общежитию, и на далекие очертания моста за ней. Ко мне она стояла спиной. Увидев в стекле мое отражение, она не стала сразу поворачиваться ко мне, как все прочие. Я остановился в дверях, и мы долго смотрели в глаза нашим отражениям.

– Вот и мы, Ма, – произнес я.

При звуках моего голоса она вскинула голову, задумчиво провела пальцами по подбородку, по щеке... Она изучала мое отражение, как деревенская девчонка у колодца, что пытается отгадать намерения высокого улыбающегося аватара у себя за спиной.

Потом неторопливо, словно в танце, повернулась ко мне лицом.

Я приблизился к ней.

– Вот и мы, – повторил я и протянул к ней руки. – Можем отправляться домой, Ма.

Это, наверное, показалось ей очень странным, даже диким. Ведь жить здесь и сейчас, смотреть в будущее и не оглядываться назад – таким был прежний Шива.

– Вот и мы, – сказал я. Она приникла ко мне. Мы крепко обняли ее.

Глава шестнадцатая. Она идет

Чудесным утром ровно через три недели после перемещения Шивы мы с Хемой покинули Госпиталь Богоматери. Томас Стоун настоял, что будет нас сопровождать. Воздух лучился и переливался, казалось, стоит чихнуть или кашлянуть, и он разлетится на тысячи осколков, точно стекло. Кирпичный фасад покрывала сверкающая роса. Больница недавно прославилась, и город принужден был раскошелиться на аварийный ремонт; скульптура фонтана больше не нуждалась в дополнительных подпорках, очистили ее и от наслоений птичьего помета. Чистенькая и словно кастрированная, фигура потеряла всякую связь с местом, где я провел последние семь лет жизни.

Желтое такси помчало нас в аэропорт Кеннеди. Только-только взойшло солнце, но по автостраде неслись потоки машин, тоненькая жесть на такой скорости никак не защитила бы водителей от опасности. Хема задумчиво глядела в окно, совсем как я семь лет тому назад. Слышала ли она шум, производимый высшим разумом, этим суперорганизмом, балансирующим на грани хаоса?

1986-й был для нашей семьи годом несчастий. Хема верила, что свою роль здесь сыграли цифры, ведь «1» значило рождение, «8» – судьбу. Начало 1986-го ознаменовалось катастрофой космического челнока «Челленджер», взорвавшегося 28 января (первый месяц и цифра восемь в дате). Ровно через 88 дней после «Челленджера» произошла трагедия в Чернобыле. На фоне таких событий смерть одного из близнецов, последовавшую восемнадцатого числа, почти никто и не заметил.

Через восемь дней наша семья понесла еще одну утрату: мой сосед Холмс и Эпплби из детективного агентства сообщили мне, что Генет скончалась в тюремной больнице Галвестона, как раз когда силы стали ко мне возвращаться. Ребенка Генет усыновила семья из Техаса, и она отправилась на поиски. Задержали ее в какой-то картонной хижине рядом с дамбой, где она оказалась без средств к существованию. Кожа да кости, она скончалась в тюремном изоляторе через два дня. Вроде бы отказали надпочечники. Я лучше знал причину. Она умерла, пытаясь обрести величие и не находя его, она искала его повсюду, оно от нее ускользало, а почему, она так и не поняла. Со стыдом признаюсь, что почувствовал облегчение, когда узнал о ее кончине, иначе мы бы до конца жизни не дали друг другу покоя.

В международном зале отлетов мое ухо выхватило фразы на бенгальском, арабском и тагальском. Пассажир, улетающий в Лагос, визжал на пиджин-инглиш что-то насчет несправедливости «Бритиш Эйрвейз», насчитавших ему четыре фунта лишнего веса. На этом фоне Томас Стоун без белого халата смотрелся только что прибывшим иностранцем.

– Ты вернешься, Мэрион? – спросил он, когда настала пора прощаться.

Я хотел быть вместе с Хемой, когда прах Шивы будет погребен между Гхошем и сестрой Мэри Джозеф Прейз, вот и все, что я знал. Грот у тыльной стены Миссии, до которого долетало журчание ручья, скоро превратится в настоящий семейный склеп. Еще я хотел повидать матушку Алмаз и Гебре, мое присутствие послужило бы для них утешением. А вообще-то я не задумывался о своем будущем.

– Разумеется, вернусь, – ответил я. – У меня же здесь дом, машина, работа...

– Будь разборчив в еде и питье... – напутствовал он меня. Это он так хотел сохранить свое рукоделье.

Чувствовал я себя прекрасно. Прочие пациенты с пересаженными органами вынуждены сражаться, чтобы их организм не отторг чужака. Кортизон, который они принимают, приводит к катаракте, диабету, патологическим переломам костей и прочим побочным эффектам. Я не проглотил ни таблетки. Никакие боли меня не мучили, если не считать покалывания под ребрами – это Шивина половинка росла, стремясь поскорее занять отведенное ей пространство.

– А как же ты? – Я все не мог подыскать подходящего обращения к отцу; в больнице он был для меня «доктор Стоун», а за ее стенами я никак его не называл. – Как там твоя работа? (В Бостоне он не появлялся с начала моей болезни.)

Чуть заметная улыбка только придала печали его лицу. Он близко к сердцу принял смерть Шивы, судьба словно не могла ему простить попытки убить Шиву при рождении и отыгралась, когда он стремился спасти сына.

Отец даже не пытался пожать мне руку. За всю жизнь мы обнялись единственный раз, это было в день смерти Шивы. Вот и сейчас мы только кивнули друг другу на прощанье.

Зато Хема взяла руку Стоуна в обе свои ладони. Как они встретились возле моей койки после долгой разлуки, я не видел и теперь глядел на них с детским любопытством.

– Томас, прекрати! – велела Хема. – Что за грусть в глазах? Ты сделал все, что мог, слышишь меня? Ты в лепешку расшибся ради сыновей. Никто

на свете не сделал бы больше, чем ты. Томас, если бы Гхош был с нами, он сказал бы то же самое. Он бы гордился тобой, твоей работой, тем, насколько она важна. – Она в последний раз погладила его по руке и направилась к выходу.

Наш самолет набрал высоту над Квинсом, под нами уже простирался океан, а я все думал о словах, сказанных Хемой Стоуну на прощанье. За ними крылось извинение за то, что все эти годы она воображала его каким-то чудовищем. И, погладив его по руке, она попросила прощения.

Самолет приземлился в Риме. Нам предстояла пересадка-и четырнадцатичасовое ожидание. Тут мне пришла в голову мысль. Мы с Хемой схватили такси и велели отвезти нас в центр Рима. Мы вели себя словно дети, прогуливавшие школу.

Хему не надо было долго убеждать. Мы заселились в отель «Хаслер» – лучшую римскую гостиницу, по моим сведениям. Роскошное здание выходило на Испанскую лестницу. С крыши открывался чудный вид на купол собора Святого Петра на фоне закатного неба.

Каждое утро мы осматривали достопримечательности. К обеду возвращались в гостиницу и устраивали себе сиесту. Вечерами бродили по улицам и переулкам у подножия Испанской лестницы. Заканчивали день ужином в уличном кафе.

– Все какое-то знакомое, правда? – заметила Хема. – Эти меню, размноженные на ротаторе, минестроне и *pasta fagioli*... официанты в белых рубашках и черных брюках, белые фартуки...

Я понимал, что она имела в виду. Итальянцы перенесли все это в Эфиопию, вплоть до зонтов над круглыми столиками с пластиковыми столешницами. Такого спокойного, умиротворенного лица я не видел у Хемы с той минуты, когда пришел в себя на койке в Госпитале Богоматери.

– Жалко, Гхоша нет с нами. Ему бы очень понравилось, – улыбнулась Хема.

На четвертое утро мы поддались на уговоры портье и отправились на экскурсию с гидом из нашей гостиницы. Что мы хотели увидеть? Удивите нас, сказали мы. Сверните с проторенной тропы. Покажите нам места, где не надо ходить до изнеможения или ждать в очереди.

Он начал с Santa Maria della Vittoria, скромной церкви в десяти минутах пешком от отеля. Непрительная каменная коробка, казалось, исторгла из себя изысканный фасад, выходящий прямо на улицу (автомобили ехали буквально в двух шагах). По словам гида, ее построили около 1624 года в честь святого Павла, затем покровительницей был избрана Дева Мария. Помещение было небольшое – по сравнению с

собором Святого Петра так даже крошечное, – с коротким нефом под низким сводом. Коринфские пилястры у боковой стены обозначали три придела-ниши, каждый со своей решеткой и с местом, где зажигали свечи. Когда мы дошли до конца нефа, гид повернул налево:

– Это капелла Корнаро. Ее-то я и хотел вам показать. Я не сразу понял, что это, а поняв, не сразу поверил.

Перед нами плыла голубая мраморная скульптура. Это был «Экстаз святой Терезы» Бернини. Мне захотелось сказать гиду: «Не тратьте лишних слов. Я знаю, что это». Хотя, по правде говоря, мне была известна только фотография из календаря, которую мама приколотла к стене автоклавной. Наверное, прошло лет тридцать, прежде чем Гхош оправил для меня в рамку этот ветшающий листок бумаги. Пусть даже на стене моего дома в Америке он не смотрелся, казался дешевым сувениром, все равно он заключал в себе целый мир. В эту поездку я захватил листок с собой, намереваясь разместить там, где надлежало, где он был у себя дома: в автоклавной.

Я оглянулся на Хему. Она поняла. Каким ветром нас сюда занесло? Неужели это Гхош заявил о себе? Уж он-то наверняка знал, что скульптура Бернини находится в двух шагах от нашей гостиницы, пусть даже никогда не был в Риме. Гхош привел нас сюда не для того, чтобы показать мраморную святую Терезу, а чтобы мы увидели сестру Мэри Джозеф Прейз во плоти, ибо эта фигура всегда олицетворяла для меня маму. Я пришел, мама.

Мы зажгли свечи. Хема опустила на колени, отблески пламени дрожали у нее на лице, губы шевелились. Она верила во всех богов, в реинкарнацию и воскресение – и не видела противоречий в этих тонких материях. Как я восхищался ее верой, ее отзывчивостью – последовательница индуизма ставила свечку в память о монахинь-кармелитке в католическом храме.

Я тоже преклонил колени, обратился к Господу, и к сестре Мэри Джозеф Прейз, и к Шиве, и к Гхошу – ко всем тем, кто жил у меня в душе и во плоти. Благодарю вас за то, что жив, за то, что сподобился увидеть это мраморное чудо. На меня снизошло спокойствие, чувство завершенности, словно, придя сюда, я окончил некий цикл и теперь могу отдохнуть. Если «экстаз» означает внезапное проникновение священного в повседневную жизнь, то – да, на меня снизошел экстаз.

Мама заговорила.

Ей еще будет что сказать, но пока я об этом не подозреваю.

Глава семнадцатая. Родные пенаты

Мы прилетели ближе к вечеру. Прошло уже почти семь лет, как я покинул Аддис-Абебу. Белые строения Миссии как-то стесались, сносились, точно археологические находки до реставрации.

У Шивиного навеса я попросил таксиста выпустить меня.

– Дальше пойду пешком, – сказал я Хеме.

Я стоял, вслушиваясь в шелест шин отъезжающей машины; листья сухо шуршали, словно монетки, пересыпаемые рукой ребенка. Звук этот больше не казался мне зловещим. Вот он, выщербленный бордюрный камень, остановивший мотоцикл, но не его наездника. Я посмотрел вниз, на деревья, на тени, куда он упал. Это место уже не внушало мне страх. Все мои призраки исчезли, возмездие, которого они домогались, свершилось. Я взглянул вверх деревьев на город. Небо намалевал безумный художник, наполовину закончив работу, он вдруг отказался от лазури и разбрызгал по полотну охру, краплак и сажу. Ярко освещенный город сиял, но то здесь, то там его накрывал туман, что стелился по земле, точно дым от многочисленных маленьких сражений.

Я поднялся по склону холма к дому, обуреваемый тысячью воспоминаний. Вот мы с Шивой торопливо скачем на трех ногах, чтобы успеть к обеду, вот мы и Генет возвращаемся из школы домой... Впереди показались фигуры, обступившие такси и Хему. Матушка, Гебре и Алмаз отошли от машины, готовясь встретить меня, их силуэты четко выделялись на фоне угасающего неба.

После нашего приезда прошло три дня, когда матушка вызвала меня в приемный покой. Юная девушка, которую забодал бык, истекала кровью. Если бы мы взяли ее куда-то перевозить, она бы точно умерла. Я сразу забрал ее в Третью операционную и быстро нашел источник кровотечения. Последующие действия – удалить поврежденную кишку, промыть брюшную полость, вывести колостому – были рутинными, но очень сильно на меня повлияли. Я почувствовал себя на священной земле, на том месте, где со скальпелем в руке стояли Томас Стоун, Гхош и Шива. Закончив операцию и собравшись уходить, я посмотрел на стеклянную дверь, отделяющую Третью операционную от ее нового соседа, операционной номер четыре, и увидел Шиву. У меня перехватило дыхание.

Шива, мы никогда тебя не забудем, сказал я своему отражению. Наверное, этими словами я определил свое будущее.

В комнате Шивы среди его вещей я нашел ключ с брелоком в форме государства Конго. Под навесом обнаружился странного вида мотоцикл с ярко-красными куцыми крыльями, каплевидным бензобаком, рулем, который в Америке назвали бы «обезьянья трапеция», и сверкающими хромом колесами. Хема сказала, что Шива купил мотоцикл с рук пару лет тому назад и без конца с ним возился. Выезжал на нем поздно ночью, когда дороги были пусты. Ушастый мотор показался мне знакомым и, когда я его завел, низким рокотом подтвердил свое происхождение.

Я оперировал три дня в неделю, а когда срок действия моего обратного билета подошел к концу, не стал ничего предпринимать.

Печень Шивы работала во мне прекрасно год за годом. Помогли и инъекции иммуноглобулина против гепатита В. Вирус заснул настолько глубоко, что ни один анализ крови не смог его обнаружить. Матушка-распорядительница настаивала, что это чудо, и я был принужден согласиться.

В 1991 году, через пять лет после возвращения, я стоял у ворот Миссии, как когда-то в детстве, и смотрел, как силы Народного фронта освобождения тигре и прочие борцы за свободу входят в город. Одеты они были так же, как и эритрейские партизаны, с которыми мне довелось встречаться: рубахи, шорты, сандалии, на груди патронташи крест-накрест, в руках – винтовки. Они не маршировали строем, но их лица выражали уверенность в себе Людей, знающих, что борются за правое дело. Никаких беспорядков, никакого мародерства. Единственным мародером оказался сам товарищ Пожизненный Президент, который, прихватив казну, бежал в Зимбабве, где его поделец Мугабе предоставил ему убежище. Менгисту все презирали, он опозорил нацию, до сих пор никто о нем не может сказать доброго слова. По словам Алмаз, души загубленных им людей собрались на стадионе и готовы оказать ему достойный прием на пути в ад.

Каждый вечер, перед тем как отправиться спать, я заглядывал к матушке. Годы не прошли для нее даром, руки дрожали, спина сгорбилась, но она, как и раньше, радовалась жизни. Под звуки Баха – ее единственной пластинки – мы с ней выпивали по чашке какао. «Глория» никогда ей не надоедала и в моем сознании неразрывно связана с матушкой. Сидя со мной, она предавалась воспоминаниям и улыбалась так, словно всегда знала, что я вернусь на землю, с которой был изгнан. Она всегда хотела, чтобы Бог призвал ее к себе во время молитвы или во сне, и ее просьба была услышана. В 1991 году, через несколько месяцев после того, как Пожизненный Президент бежал, я обнаружил ее тело в кресле, пластинка на проигрывателе продолжала вертеться. Еще вчера под ее присмотром

высаживали новый сорт розы, *Rosa rubiginosa* «Shiva», который она официально зарегистрировала в Королевском обществе. Казалось, весь город, от богача до последнего бедняка, явился на похороны. Алмаз сказала, что души тех, кто был благодарен матушке, рядами выстроились вдоль улиц, ведущих на небо, и что ее трон находится рядом с Марией.

Алмаз и Гебре удалились на покой и обосновались в новых удобных жилищах, выстроенных для них Миссией. Теперь они вольны были тратить свое свободное время как заблагорассудится. Я бы не удивился, если они посвятили его посту и молитве.

«Институт хирургии фистулы имени Шивы Стоуна», возглавляемый Хемой, растет, равно как и его финансирование. Хема трудится не покладая рук, и молодые гинекологи со всей Эфиопии, а также из других африканских стран приезжают на стажировку и приобретают квалификацию.

Штатная стажерка, принимавшая меня в своей комнате много лет тому назад, тоже в Институте Шивы и под руководством Хемы выросла в неплохого хирурга, успешно обучающего молодых докторов (между прочим, нелегкая задача). Я пристал к ней, чтобы открылась, как ее зовут на самом деле.

– Найма, – сказала она.

Но для всех, включая ее саму, она так и осталась штатной стажеркой – никто никогда не называл ее иначе.

Просматривая бумаги матушки, я обнаружил, что анонимный жертвователь, много лет финансировавший работу Шивы, был не кто иной, как сам Томас Стоун. Сейчас он занят поиском филантропов, чтобы выделяли средства на поддержку Миссии.

Только в 2004 году послание сестры Мэри Джозеф Прейз попало ко мне. Это случилось сразу после Нового года по западному календарю, в ту пору, когда мимоза, окружившая здание поликлиники, покрылась фиолетовыми и желтыми цветами и воздух наполнился ароматом ванили.

В перерыве между операциями я заглянул в автоклавную. Фото святой Терезы Бернини висело несколько криво. Поправляя его, я обнаружил, что крюк, на котором висит картинка, шатается. Чтобы его укрепить, пришлось фото в рамке снять со стены. Толстая бумага с обратной стороны с одного конца отклеилась – автоклав насыщала влагой воздух в помещении. Я попытался прилепить подложку обратно. Из-под нее выскользнула тоненькая бумажка, исписанная синими строчками.

Руки у меня никогда не дрожат, но сейчас пожелтевший листок так и прыгал перед глазами.

Он был почти прозрачный, казалось, вот-вот рассыплется в прах. Как Гхошу до меня, мне предстояло решить, читать ли чужое письмо. Я был уверен: это письмо, которое мама написала накануне моего рождения. Потом оно попало к Гхошу, затем ко мне. Я увез его в Америку, привез обратно. В течение двадцати пяти лет я понятия не имел, что оно у меня. До этой минуты.

Маленьким мальчиком я спрашивал, глядя на картинку: «Когда ты придешь, мама?» И вот она пришла.

Глава восемнадцатая. Послед

19 сентября Дорогой Томас!

Вчера вечером Бог велел мне повиниться перед тобой в том, чего я никому никогда не открывала, даже Господу. Много лет тому назад в Адене я отвернулась от Бога, так же, как Он отвернулся от меня. Меня постигло такое, через что не должна проходить ни одна женщина. Я не могла простить мужчину, обидевшего меня, не могла простить Бога. Лучше бы я умерла. Но я прибыла сюда, в Миссию, скрыв горечь и позор под облачением монахини.

В книге Иеремии, 17, сказано: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» Лукаво было мое сердце, когда я прибыла в Эфиопию.

Но наша работа изменила меня. Я осталась бы твоей ассистенткой до скончания века. А теперь все опять меняется.

Несколько месяцев тому назад ты был словно одержим бесом, и я пыталась дать тебе утешение. Теперь у меня под сердцем ребенок. Не вини себя.

Было нелегко укрыть свое тело от матушки, от посторонних. Много раз я собиралась сказать тебе. И не знала как. Но сейчас в меня вселился страх. Сроки подходят. Вчера вечером ребенок энергично шевелился. Это заставило меня задуматься: а вдруг Томас хочет, чтобы я осталась? Я появилась в Миссии и перед тобой, прячась от мира и с лукавым сердцем. Не годится, чтобы наше расставание было таким же.

Я должна бежать из Миссии, чтобы мой позор не пал на нее, как когда-то бежала сюда, чтобы скрыть свое бесчестье. Если, получив это письмо, ты придешь ко мне, я буду знать: ты хочешь, чтобы я осталась с тобой. Но что бы ты ни предпринял, моя любовь к тебе останется неизменной.

Мэри.

За операцией – обычной ваготомией и гастроеюностомией по поводу язвы двенадцатиперстной кишки – мне стоило немалых трудов сосредоточиться. Дорога домой показалась мне неизведанным путем.

Она любила его. Любила так сильно, что бежала из Адена к нему. Пятна крови на одежде, в которой она прибыла в Миссию, сказали мне то, о чем она не могла говорить. Преодолев все преграды, она предстала перед доктором – перед мужчиной, – с которым встретилась на корабле, отпльвшем из Индии. А потом, многие годы спустя, она любила его так

сильно, что готова была расстаться с ним. В последнюю минуту она решилась написать ему и обо всем рассказать. И принялась ждать, придет он, или нет.

И Томас Стоун пришел. Конечно же, она заметила, что он рядом. Он взял ее на руки, понес, пустился бегом, каждая его слезинка, что упала ей на лицо, знаменовала любовь. Он пришел не из-за письма, он его так и не получил, – просто в глубине души он знал, что наделал, и знал, что делать, ибо в душе его жила любовь.

Я представил себе, как Гхош после смерти мамы в поисках Томаса Стоуна заходит к нему в бунгало. На столе лежит новая книга с закладкой, где-то на видном месте – письмо. Стоун не видел ни книги, ни письма, поскольку всю предыдущую ночь проспал в кресле у себя в кабинете, как делал нередко, а после смерти мамы не появлялся у себя на квартире. Почему Гхош просто не отправил письмо Стоуну по почте? Во-первых, у него поначалу не было адреса. Всякая связь с Томасом прервалась. Правда, с течением лет Гхош, скорее всего, установил его местонахождение. В конце концов, Эли Харрису оно было всегда известно. Но по-видимому, Гхоша обидело упорное молчание: пусть, мол, старый друг заботится о моих детях, а я ни при чем. Шли годы, и Гхошу стало казаться, что, переслав письмо, он окажет Стоуну медвежью услугу. Более того, это может привести к катастрофе: вдруг Стоун, как всегда боялась Хема, возьмет и заявит о своих правах на детей. Да он, в конце концов, не поймет, о чем письмо, – не поверит ему!

Поняв, что смерть его не за горами, Гхош ощутил себя хранителем письма. Что, если оно спасет Стоуна, снимет камень с души? Что, если Стоун, хоть и с запозданием, вспомнит о своих сыновьях, восстановит справедливость? Ведь обида у Гхоша давно прошла.

И Гхош отдал книгу и закладку Шиве, а письмо – мне, тщательно спрятав его от меня. Я поразился благоразумию умирающего, вложившего письмо за картинку в рамке. Он препоручил дело судьбе – как это было похоже на Гхоша! Когда еще я разыщу Томаса Стоуна? Когда еще найду письмо? А если найду, передам ли адресату? Все это Гхош предоставил на мой выбор. Это тоже любовь. Гхош мертв уже четверть с лишним века, а по-прежнему учит меня, что доверие возникает только из подлинной любви.

– Шива, – произнес я, глядя в небо, где звезды разогревались перед ночным представлением, и вспомнил ту ночь, когда мне пришлось поспешно бежать и Шива подсунул мне «Краткие очерки» отца с закладкой внутри.

Несколько слов, написанных мамой на закладке, указывали на то, что письмо существует. Годы спустя я спросил его в телефонном разговоре: «Шива, что заставило тебя дать мне книгу?» «Хотел, чтобы она была у тебя» – таков был краткий ответ. Любое наше действие или бездействие меняет мир, сознаем мы это или нет.

Придя к себе, я сел, трясущимися руками разложил письмо на коленях и набрал номер Томаса Стоуна. Отцу было уже далеко за восемьдесят, почетный профессор. По словам Дипака, глаза старика подводили, но движения были настолько точны, что он мог оперировать в темноте. Тем не менее сам он проводил операции редко, предпочитал ассистировать. Некогда Томаса Стоуна прославил книга «Практикующий хирург. Краткие очерки тропической хирургии». Теперь он был знаменит как пионер, осуществивший прорыв в деле пересадки органов. Моя судьба послужила доказательством, что такая операция возможна, а смерть Шивы показала, какому риску подвергается донор. Многие дети с непроходимостью желчных протоков были спасены благодаря пересадке части печени от родителей.

В трубке я слышал тишину вакуума, окружающего Землю, затем из невероятной дали раздалась высокие сдвоенные тоны телефона, живые и энергичные, столь отличающиеся от хрипения вялых аналоговых сигналов местных абонентов. Я представил себе телефонную трель и эхо в квартире, которую когда-то вскрыл, словно банку сардин, лишь бы только Томас Стоун узнал о сыне.

Я подумал о маме. В нескольких словах она изложила всю свою жизнь. Наверное, она написала письмо ближе к вечеру того дня, когда начались боли. Ночью ей стало хуже, потом наступил шок, и на следующий день она умерла. Но она дождалась Томаса Стоуна. Он поступил правильно, хотя целых полвека не подозревал об этом.

Томас Стоун ответил после первого звонка. Неужели он еще не спал, ведь в Бостоне уже миновала полночь?

– Да?

Голос у отца был четкий и настороженный, будто он ждал этого звонка. (Травма, обширное кровоизлияние в мозг или ребенок, умирающий от билиарной атрезии?) Этот голос принадлежал человеку, отдавшему все свое искусство и опыт, заключенные в девяти пальцах, делу спасения людей и передавшему их следующему поколению врачей, он был рожден для этого и больше ничего не умел.

– Стоун слушает, – повторил он, и голос его звучал совсем близко, словно он находился со мной в одной комнате и ничто не разделяло два

наших мира.